



САВВА  
ДАНГУЛОВ

# ДИПЛОМАТЫ

САВВА ДАНГУЛОВ • ДИПЛОМАТЫ

СОВРЕМЕНИК





*C. Kanyev*

**Савва Дангулов**

**ДИПЛОМАТЫ**





**БИБЛИОТЕКА  
РОССИЙСКОГО  
РОМАНА**

**•СОВРЕМЕНИК•**  
**Москва 1977**

**САВВА  
ДАНГУЛОВ**

# **ДИПЛОМАТЫ**

**РОМАН**

**•СОВРЕМЕНИК•  
Москва 1977**

**Дангулов С. А.**

**Д17** Дипломаты. Роман. М., «Современник», 1977.

575 с. с портр. (Библиотека русского романа).

Роман «Дипломаты» С. Дангулова известен широкому кругу советских и зарубежных читателей. Писатель исторически достоверно и высокохудожественно рассказывает о жизни и борьбе героев Великой Октябрьской революции.

Д  $\frac{70302-051}{M106(03)-77}$  70-77

P2

# I

Если в предрассветный час подняться по железным ступеням Исаакия и взглянуть в провал окна, Петроград поднимется навстречу большой и сумрачный: врубленные в камень линии улиц, не улицы, а марсианские каналы, нещедрый блеск куполов, массивы парков, точно в их зыбкой мгле скрыты все тайны города, тусклое свеченное тяжелой невиской воды и далеко, за восточными пределами города, всполохи зари, неяркой, но грозной,— Россия там.

Дом уже уснул, когда парадная дверь застонала под кулаками.

— Это еще что?

Репнин нащупал босыми ногами ночные туфли, встал. Ему показалось, что в оконных шторах вспыхнул и погас белый рубец — точно на улице включили и выключили фары автомобиля.

«Да который теперь час?» — обернулся он к столику, на котором лежали часы, и, не дотянувшись, поспешил к двери. Тотчас кулаки застучали с новой силой. Репнин ускорил шаг и уперся в стену. «Что за беда?» Пахло мятой — Елена пролила, вечером ей было плохо. В глубине дома потрескивала штукатурка — печи остывали за полночь. Мрачно гудело в трубе. «Хоть бы паклей какой заткнуть — воеет, как на погибель». Тьма, заполнившая дом, была твердой — колуном коли, не расколешь. Только высоко под потолком рдел кусочек меди. Как проник сюда луч и зажег люстру?

Репнин пошел медленнее — рука стала чуткой: стеклянный колпак настольной лампы, рубчатая обивка крес-



ла, стакан на столе (в нем плеснулась вода), пресс-папье, ребристое покрытие секретера, дверная ручка. Он открыл дверь — посреди столовой с керосиновой лампой в руках стояла Егоровна.

Репнин взял лампу, шагнул в прихожую. Егоровна пошла вслед.

— Что так на дворе бело? — взглянул он в оконный проем над головой.

— Снег выпал.

— Отпирай.

— Так просто, не спросивши? — она приподнялась на цыпочках. — Кто там... кто?

В ответ неистово и слепо загудели кулаки.

— Да открывай ты, старая! — шумно дохнул Репнин, дохнул так, что слабое сердечко пламени вздрогнуло и погасло. — Держи лампу, я отопру.

— Не торопи, батюшка. Помирать в потемках страсть неохота.

— На свету помирают праведники, а нам с тобой потемки уготованы, — засмеялся Репнин. — Помолчи уж.

— А чего молчать-то? На немых и слепых воду возят.

Репнин распахнул дверь. Так и есть: белым-бело. Всмотрелся — у самого крыльца автомобиль, подле него трое матросов с винтовками и, кажется, морской офицер — черная шинель, матово поблескивает козырек форменной фуражки, белые виски, ярко-белые, как свежее-павший снег.

— Репнин? — человек не поднял, а взвел темные глаза. Да, они у него наверняка темные, как шинель, как бушлаты матросов, как бескозырки.

— Чем могу служить?

Офицер поднес к козырьку слабо согнутые пальцы и тотчас отнял:

— Кокорев. Именем революции!.. На сборы двадцать минут.

Репнин тревожно помедлил.

— Что так скупое? За двадцать не управлюсь.

— Поторопитесь!

— Благодарю за доброту. Прошу вас... — Репнин указал взглядом на открытую дверь. — Спички есть, молодые люди?

Кокорев загремел коробком, зажег спичку — так и есть, глаза черные, с искоркой.

Моряки сидели в гостиной, поставив перед собой винтовки, керосиновая лампа висела прямо перед ними, и тени плоских штыков на белом поле стены были беспощадно четкими.

— Господа...— обратился Николай Алексеевич к гостям, и голос его впервые дрогнул.— Я буду рядом,— он взглянул на дверь, ведущую в соседнюю комнату.— Потихе там!..— крикнул он Егоровне, неожиданно осмелев.— Не разбуди Илью.

— А их буди не буди, одинаково! — откликнулась Егоровна.— Они и спят и не спят...

Было слышно, как Репнин откашливается, открывает платяной шкаф и все делает громче обычного, хочет сказать: «Я здесь и никуда бежать не собираюсь».

Вошел Илья Алексеевич, вздыхая и покряхтывая — одышка перехватила горло. Едва вошел, раскланялся и долго не мог управиться с пуговицами жилета — толстые пальцы плохо сгибались. Сел за стол, положил перед собой руки.

— Простите, а снег уже перестал?

— Нет, еще идет,— матросик помоложе ответил за всех и тотчас снял бескозырку, снял и надел вновь.

В незанавешенное окно, выходящее во двор, было видно дерево, опушенное снегом, бесстыдно праздничное, и огонек в окне флигелька неожиданно печальный — будто только он и проник в смысл того, что происходило сейчас в доме.

— Я закурю,— сказал между тем Кокорев и направился было в коридор.

— Курите здесь,— Илья Алексеевич закашлялся.— Здесь... курите...— повторил он, переводя дух, и поднес платок к глазам, застланным слезами, но Кокорев быстро прошел в коридор.— Однако разве его остановишь? Норовистый! — улыбнулся Илья Алексеевич и взглянул на старого матроса.— В двадцать лет и мы... а?

Матрос не шелохнулся, тень бритой головы, большой и круглой, была точно приколочена к стене.

— Нет, товарищ Кокорев больше нашего успел,— он едва заметно повел головой в сторону двери, за которой курил сейчас командир.— Двадцать... а с белым флагом уже у немцев побывал... на той бумажке мирной его рука, верно слово,— сказал он, не сводя глаз со старшего Репнина.

Илья Алексеевич не ответил, только хмуро посмотрел на дверь, за которой курил Кокорев.

Дверь открылась, молодой человек вошел в комнату.

— Может быть, вы и нам расскажете,— переместил на Кокорева тяжелые глаза Илья Алексеевич,— как ходили с белым флагом к немцам?

Командир взглянул на старшего Репнина: нелегко было понять интонацию, с которой был задан вопрос,— то ли одобрял Репнин поступок Кокорева, то ли порицал.

— А какая в этом доблесть? — произнес Кокорев и умолк — вопрос остался без ответа.

Явился Николай Алексеевич.

— Ну, брат, прощай...— Братья облобызались по-мужски жестко и, застеснявшись, улыбнулись.

— Елена, ты где?

— Я сейчас...

— Тогда сядем да помолчим.

Восемь человек замерли: братья Репнины в разных концах стола, Егоровна у печи и матросы на стульях.

Молчали. Было слышно лишь, как дышит Илья. Щеки его казались сине-багровыми, точно огонь, прохваченный дымом, подобрался к лицу — вот-вот воспламенится и затрещит. Егоровна нетерпеливо передвинулась на стуле, спросила, обращаясь к Кокореву:

— Человек добрый, а куда ты все-таки повезешь нашего хозяина?

Матросы встали и пошли к выходу.

— Елена...

Репнин взглянул на дверь, что вела в комнату дочери, двинулся за матросами.

— Елена! — крикнул он уже с улицы и запнулся — дочь шла за ним, она была в шубе.— Куда собралась, дочка?

Но Елена даже не замедлила шага.

— Ты думаешь, я отпущу тебя одного? — произнесла она.

Кокорев зябко передернул плечами, точно от этих слов Елены потянуло ветерком.

— А я что, не внушаю доверия?

— Умоляю вас...— произнесла Елена.

Молодой человек быстро пошел к автомобилю.

— Садитесь.

Они ехали уже минут пятнадцать. Плоские штыки матросов тускло поблескивали.

Репнин думал: «Да не на Шпалерную ли он меня везет?» Туда в эти дни свозили всех званых и незваных.

Машина взобралась на Троицкий мост и остановилась — заглох мотор. Сразу стало ветрено.

— Страшновато смотреть на дворец,— сказала Елена.

Молодой человек вобрал голову в плечи, мрачно откликнулся:

— И на Петропавловку.

Репнин смолчал. Что-то было в этом военном озлобленно-воинственное, неутоленное. Наверно, так бывает с человеком, который только что вышел из боя. Он не остыл и все еще держит саблю обнаженной.

Слабый дымок возник над помятым радиатором машины и исчез — автомобиль двинулся дальше.

Невский лед, запорошенный снегом, был расчерчен тропами. У моста лед вспух, и черная тропа подступила к воде — видно, последний смельчак перешел здесь Неву накануне вечером. А дальше, прямо на льду, устойчиво и неярко горел костер, и низкое пламя отражалось в неживых просветах салтыковского дома.

Репнин перехватил взгляд дочери, более сумрачный, чем прежде. «Вот и она затревожилась не на шутку,— подумал он.— Может, спросить этого седого мальчика: «Простите, а не на Шпалерную ли мы держим путь?» Впрочем, если наш путь туда, конвойные должны вести себя иначе, да и Шпалерная осталась в стороне...»

— Вы говорите по-французски? — спросил Репнин.

Кокорев помедлил с ответом.

— На ваш взгляд, для солдатской службы русского недостаточно?

— Не по-немецки же вы говорили с... теми, когда ходили к ним с белым флагом? — бросил Репнин, однако тут же стал серьезным. Кокорев не ответил на улыбку.

— Я говорил по-русски...— внимательно посмотрел на Репнина Кокорев и вновь ссутулил плечи. Ветер гнал над Невой облако снежной пыли.— Но признайтесь,—

сказал Кокорев, не сводя глаз с облака.— Признайтесь, не очень-то уютно ехать с человеком, который ходил к немцам с белым флагом?

— И это верно,— добродушно усмехнулся Репнин: ему не хотелось без крайней нужды обострять разговор.— Невелика гордость подписаться под таким миром, хотя обстоятельства могут заставить каждого... стать парламентаром. Сам-то человек не вызовется.

— А я сам вызвался,— обернулся к Репнину Кокорев, и острые, с косинкой глаза его сверкнули.

Вновь взвилось над Невой снежное облако, взвилось выше каменного борта, и пороша, жесткая и льдистая, ударила в лицо.

— Знаете ли вы такое местечко... Ардаган? — вдруг закричал Кокорев, стараясь пересилить голосом ветер. Репнин определенно задел его за живое.— Ардаган. Слышали? В январе там погиб мой отец, полковой хирург...— Кокореву казалось, что его плохо слышат, и он пытался повернуться к сидящим позади и, главное, произносить каждое слово громко.— Гаубичный снаряд попал в палатку! Там отец тачал кишки солдату, попавшему под обстрел «максима»,— Кокорев умолк, дожидаясь, когда прошумит снежное облако: он потерял надежду перекричать его.— Так я хочу сказать,— произнес он неожиданно тихим голосом, когда ветер несколько смирился,— хочу сказать, что взял белый флаг потому, что думал об отце...— Кокорев снял варежку и вытер сухой ладонью разожженное ветром лицо.— Когда мы выбрались из кольцевого окопа (слышите: была ночь, в ноябре там в четыре часа ночь!), когда выбрались из окопа и открытым полем, как полагается, с белым флагом и трубачом пошагали к немецким позициям, я все время ловил себя на мысли: «Случись это раньше — отец был бы жив». И позже, когда посреди поля, перехваченного колючей проволокой, нас встретили германские генштабисты, и еще позже, когда, точно на прием в потсдамскую резиденцию Вильгельма, к нам явился штабной генерал, одетый по сему случаю в парадный мундир с крестами, звездами, лентой через плечо, я думал об отце: «Случись это раньше...» — Кокорев посмотрел в пролет Невы, ветер улегся, и далеко справа глянули колонны биржи, сейчас невесомые.— И еще позже, когда возвращались через поле с завязанными глазами (прежде чем отпустить, нам

завязали глаза). «Случись это раньше... Он был бы жив...»

Кокорев умолк, а Репнин посмотрел вокруг: Зимний был мертвым, с черными прямоугольниками окон.

И Репнин вдруг вспомнил светозарный августовский день четырнадцатого года и торжественную службу на второй день войны. К чему кривить душой: все казалось ему в тот день таким искренним и настоящим. И золотое летнее солнце на паркете, и бледные, в волнении лица офицеров, и сокровенные голоса хора, поющего торжественную литургию, и сдержанный баритон священника, читающего манифест царя народу, и блеск иконы Казанской божьей матери, той самой, перед которой в горячей молитве преклонил колена Кутузов, отправляясь вослед армии, идущей на сближение с Наполеоном. Когда зал откликнулся на манифест вдохновенным «ура», слезы застлали глаза Репнина и он подумал: «Вот она, истинная Россия, и нет силы, которая повергнет ее».

А сейчас он ехал мимо Зимнего дворца, и все сто окон, сто слепых окон молча следили за движением автомобиля, и обнаженные штыки покачивались над головами Репниных — отца и дочери. Репнин взял руки Елены и приник к ним губами.

— Что с тобой, папа?

Ему хотелось сказать ей что-то значительное, что чувствовал он в эту минуту, но он не мог. Он знал, что пока она вот здесь, пока она с ним, все будет хорошо. Странное дело, но он ни о чем не хотел больше думать, ни о чем, даже о том жестоком и горьком, что поведал сейчас Кокорев. Не хотел думать...

### 3

В дедовском доме Репниных в Москве на Остоженке в резной черного дерева шкатулке, привезенной бог знает кем из очередного турецкого похода, хранились семь драгоценных листиков, уложенных в мягкую папку. Николай помнит, что лишь однажды дед показал ему эту бумагу, показал, не выпуская из рук. Был сентябрь, и вечернее солнце пахло осенней пылью. Дед смотрел на солнце, точно видел его в последний раз. Из всего, что сказал тогда дед, Николай запомнил одну фразу:

— Дальний наш предок, первый, самый первый, ходил с войском царя Ивана Васильевича на Казань и лежит на кремлевском холме у собора...

Странно было слышать: «наш предок». До сих пор первым из Репниных Николай считал деда. Оказывается, кроме деда, еще были первые. Значит, их седины были ярче дедовских, и бороды длиннее, и кряхтели они громче, и ворчали почаще, и припадали на правую ногу покрепче... Как только они передвигались, эти самые первые Репнины?

— Первый Репнин...— сказал дед и закрыл окно; в комнате вдруг запахло табаком и канифолью.

Много лет спустя, когда молодой Репнин думал о дед, тот вспоминался ему вместе с запахом табака и почему-то канифоли. Николаю тогда казалось, что это и есть запах старости. А потом они ходили с делом в Кремль и долго стояли на паперти собора. В полумраке горели свечи, из собора несло холодом.

— Там все государи,— ткнулся дед во тьму.— А наш где-то тут,— оглядел он кремлевский двор.— Да, тут лежит твой и мой прародитель. Не Желнин какой-нибудь, бондарь вонючий, а наш с тобой праотец.

Николай подумал тогда: «А при чем здесь Желнин, в самом деле? И почему он бондарь и притом вонючий, когда известно, что он гофмейстер и едва ли не посол при английском дворе? При чем здесь Желнин?»

Николай прожил в Москве до двенадцати лет, и Москва запомнилась ему домашней: уроки — домашние, спектакли — домашние, а нередко и церковь домовая.

А потом приехал отец из Петербурга — он всегда приезжал на рождество и пасху — и спросил:

— Как твоя латынь? Нет, нет, не табель,— и, не дождавшись ответа, заметил: — Недаром же мы собирали фамильное серебро...

В смысл этой фразы Николай Репнин проник много позже. В словах этих были и упрек и надежда. Упрек брату Илье: двадцать лет он отдал дипломатии, а посольский пост был от него так же далек, как и в первый год службы. А надежда? Отец хотел связать ее с именем младшего чада — то, что не удалось старшему, отец желал младшему.

— Дело не только в рвении,— рассуждал вслух отец.— Не в этом дело... Обеднели мы!

«Обеднели!» — не было для Алексея Репнина беды страшнее. Нет, суть не в том, что с Фонтанки Репнины переселились едва ли не в Новую Деревню и даже не в том, что Черная речка намертво отрезала от Репниных большой свет. Все, что свершилось, свершилось не на Фонтанке и даже не на Черной речке, а на Дворцовой, шесть. Странное дело, но министерское начальство повело себя с Алексеем Репниным так, как если бы он вдруг перестал быть дворянином и обратился в инородца, которые и на правах просителей бывали на Дворцовой нечасто. Беспощадны признаки оскудения: у Алексея Репнина уже не просили протекции. Министр общался с ним не иначе как через третье лицо, и коллеги дружно заболели, когда надо было ехать к Репниным, хотя Алексей Петрович не давал повода ни министру, ни сослуживцам вести себя так. Он неукоснительно соблюдал все нормы света, и один бог знал, чего стоило это Репнину. Пусть будут ростовщики и неоплаченные векселя. Пусть будут даже ломбарды и заложенное серебро, лишь бы сохранить большие и малые условности и не выпасть из лодки, которая зовется светом. Однако все можно скрыть — очень трудно скрыть бедность. Где-то она обманула бдительность Репнина, и тайное стало явным. Как ни велико было презрение Алексея Петровича к разночинцам, по строю быта и общественному положению он все меньше отличался от них. Да, Алексей Репнин, гордившийся родовитостью, не без горечи сознавал, что одной ее, даже в сочетании с блестящими способностями, недостаточно. И он мучительно думал, как восполнить недостаток капитала.

— Восточные языки — вот главное! — воскликнул он. — На восточные языки их недостает... — он не без иронии произносил «их», что совершенно определенно означало «тех... не столько родовитых, сколько имущих».

Но в решительный момент Алексей Репнин раздумал делать сына драгоманом. Этот путь слишком очевидно обнаруживал недостаток состояния, чем не преминули бы воспользоваться в межродовой вражде недруги Репниных. Да и к изучению восточных языков, как средству стать дипломатом, все чаще прибегали купцы и немцы. А какой смысл Репнину низводить себя до положения менялы?



— А может, есть способ обрести те же привилегии другой ценой?

Кто-то подсказал ему: есть дисциплина, которая дает те же преимущества, что и восточные языки,— международное право.

— Ты думаешь, сын, бондари вонючие Желнины талантливее нас? Какое там! В их родне не было математиков и физиков, а у нас их сколько: Маврикий да Захарий с Назарием! Желнины! Не столько царь в голове, сколько рубль в мошне! Нет, не торговал наш дед блинами, не ваксил царских сапогов...

«Опять Желнины и опять бондари вонючие»,— подумал Николай. Что-то эти слова подозрительно походили на слова деда, произнесенные им в тот памятный день на паперти кремлевского храма. Откуда эта неприязнь? Казалось, многое, что делает человека сильным, на ущербе: и состояние и интерес к жизни. Человек не питает уже прежней любви к почестям, а неприязнь к давним недругам осталась. Чудилось, только она и способна возбуждать энергию, звать и двигать к цели.

Отец увлек сына из дому и словно предупредил этим, сколь значителен будет разговор. Они шли вдоль каменного барьера Невы от Троицкого моста к Летнему саду. Плоский камень мостовой был скользким — только что прошел дождь, и отец стучал палкой усерднее, чем обычно. Этот напряженный стук как бы подчеркивал: главное, самое главное Николаю Репнину еще предстоит услышать. Наконец они дошли до Летнего сада и тенистой аллейкой проникли в его заповедный уголок. Здесь было прохладно и тихо, где-то высоко над городом ветер растолкал тучи, и на сухой песок упал блик.

— Вот что, Николай,— сказал отец.— Ты должен вернуть былую славу Репниным...— он поднял голову и посмотрел на солнечный луч, пробившийся сквозь листву.— У тебя для этого есть больше, чем было у твоего брата, и, быть может...— он все еще смотрел на дымный лучик, и Николай, к изумлению, увидел, как дряблые веки отца выронили по слезинке,— и, быть может,— продолжал он,— у меня... Обещай, что сделаешь.

Он часто заморгал, будто ослепила струйка солнца, протянувшаяся от невысокой ветви к земле. «Ну вот, сейчас он еще раз вспомнит Желниных, и все встанет на свое место»,— подумал Николай.

— Да, да, покажи этим мерзавцам Желниным...— произнес отец, точно угадав мысль сына, и его голос неожиданно обрел силу.

Странное дело, Николай не питал к Желниным той ненависти, какую хотел внушить отец, и плохо понимал, какие, в сущности, причины могли вызвать неприязнь к этой семье, чтобы неприязнь эта стала едва ли не призванием, смыслом жизни. Но отец потребовал, и Николай, не обнаруживая сомнений, обещал.

Отец умер, сраженный склерозом, как двумя годами раньше умер дед. Николай сдержал слово, хотя и не воспринял ненависти к Желниным. Он женился на Марии, племяннице тех самых Желниных, которых отец наказывал предать анафеме.

Из того, что когда-то Алексей Репнин говорил сыну, в памяти осталась жесткая формула: «Достоинство что позвонок, без него человек рухнет». Николаю была близка эта заповедь отца. Однако за образец он принял иной строй жизни. На годы и годы он сознательно порвал со светом, уединился на Черной речке. Книга да, пожалуй, токарный станок (мастерской, которую он соорудил и оборудовал, позавидовал бы любой токарь) были в эти годы его отрадой.

Расчет старого Репнина оказался верным: международное право явилось для его сына тем пушечным ядром, которое проломило крепостную стену министерства. Но одно дело войти в министерство, другое — там утвердиться. Вскоре оказалось, что для российского иностранного ведомства Николай Репнин был чем-то вроде ученого немца — его место в министерстве было навечно заключено в своеобразный круг. Дипломат-клерк, дипломат без связей, живого языка и общения, дипломат без заграничной практики — вряд ли эта перспектива могла радовать Репнина. Николай Алексеевич стал проситься за границу. Согласие на заграничный пост удалось получить не без труда. На сборы дали месяц,— Репнин сполна использовал его. Пять больших обитых жостью сундуков погрузили в петербургском порту. В них вместе с платьем Николая Алексеевича и жены (со времен думных дьяков и подьячих русские дипломаты не выезжали в чужие страны без сундука с мехами), вместе с подарками для английских друзей (вино из небогатых фамильных подвалов да водка-белоголовка не исключались), вместе

со столовым серебром и, разумеется, словарями лежали сверла для ручной дрели, тесочки с наковаленкой — с годами изменились и Репнины.

Необыкновенно проявилось дипломатическое дарование Николая Алексеевича в это первое пребывание за границей: его ум, его такт, его обаяние, его, наконец, умение видеть людей и находить ключи к их сердцу. У него сложился свой взгляд на профессию дипломата. «Не недоценить сил противника, не обмануться в своих силах» — в этой формуле сказался и характер Репнина, и его понимание своей профессии и места в жизни. Из великих дипломатов прошлого его кумиром оставался Горчаков. В Бисмарке он не принимал фанатизма, в Талейране — авантюры. Горчаков был консервативнее в своих средствах, внешне не так ярок, как эти два, но основательнее в познаниях и, главное, в поступках, а потому надежнее. Среди полководцев, не только русских, его симпатии неразделимо были на стороне Кутузова — превыше всего Репнин ценил в нем мудрое спокойствие, пренебрежение к фразе, умение видеть все грани события, понимание того, что человек может, а что ему не под силу. И не только это пленяло Репнина в старом полководце, но и способность того оградить себя от лицемеров (они, как чертополох, могли расти и на камне), его умение не поддаваться тщеславию.

Репнин овдовел, когда дочери было девять. Не без помощи родной тетки (Желниной, разумеется) Николай Алексеевич определил Елену в Смольный институт. Репнин не обманулся в дочери. В ней угадывался математический талант Репниных (вон как своеобразно глянули на свет Захарий с Назарием), хотя Елена видела свое будущее иным... Среди сверстниц она слыла существом во многом загадочным. Вот попробуй пойми, почему на ее руке вдруг появилось обручальное кольцо? Одни говорили, что кольцо — семейная реликвия и Елена надела его в память о матери. Другие считали, что Елена надела кольцо, чтобы оградить себя от случайных ухажеров. Третьи полагали, что девочке не терпится заглянуть в завтра и почувствовать себя взрослой.

Старший, Илья, жил вместе с братом. Жизнь у него сложилась нескладно. В Балканскую где-то на черногорских высотах, занесенных снегом, с чисто репинской одержимостью искал русских генштабистов, несущих

разведывательную службу в горах, и жестоко простудил бронхи. Ушел в отставку и обрек себя на унылое холостячество. Была у Ильи тайна: сын Егорка. Мать Егорки — младшая Кочубеева дочь Вероника. Их особняк, облицованный гранитом, был виден из репнинского окна. Муж Вероники, мот и гуляка, имевший где-то на французском Средиземноморье второй дом, бывал в Питере наездами. Не в характере Вероники было мириться с этим. Не считаясь с людской молвой, не очень сообразуя свой поступок со сроками очередного приезда мужа в Питер, дочь принесла в большой кочубеевский дом сына и вскоре прогнала мужа, заодно и любовника, впрочем, взяв с него слово беречь тайну... Четырнадцать лет, что прошли с тех пор, Илья эту тайну берег. Николай да, пожалуй, Елена, кому открыл Илья заветный этот секрет, не в счет.

Человек нестарый и деятельный, Илья решил отдать остаток лет и сил истории, которой, впрочем, занимался и на далекой чужбине. Труд о славянском порте на Средиземноморье — плод этого увлечения. В нынешнее ненастье Илье было не до Средиземного моря. В городе ходили слухи, что на историко-филологическом отделении академии, которое призрело Илью после его ухода из министерства, негласно существовал совет прорицателей политической погоды. Да, именно так их именovala петербургская молва, хотя сами себя они, возможно, и называли иначе. Илья держал дом и брата на весьма почтительном расстоянии от своих академических интересов. Единственно, для кого все происходящее на Университетской набережной не являлось тайной, была толстая тетрадь в сером коленкоре. Вечером, когда дом укладывался на покой, Илья раскрывал тетрадь и брал перо. Репнина-младшего не очень интересовало, что составляло суть полуночных изысканий брата, но в одном он не сомневался: вряд ли это была седая история.

А как складывалась жизнь самого Репнина? Ведь после смерти жены он остался один. Он был молод (сорок лет — начало жизни не только для англичан), умен, образован, родовит, хоть и не богат. На хорошем счету в обществе. Какой петербургский дом не хотел заполучить его в зятя! Но Репнин не спешил. Одни объясняли это тем, что он решил посвятить себя воспитанию доче-

ри, и это походило на истину. Другие утверждали: он любит женщину тайно и преданно, однако она, как это, увы, бывает часто, не свободна.

#### 4

Они достигли Леонтьевской, справа в пролете распахнутых ворот обозначился фасад Смольного. И Репнин вспомнил, как однажды чистым августовским утром он привел Елену в канцелярию Смольного института к княгине Елене Александровне Ливен. Начальница была приветлива, и это немало озадачило Репнина. Что скрывалось за добротой этой женщины, утомленной вниманием титулованной столицы? Все объяснилось тут же. Княгиня вспомнила свою поездку в Лондон, откуда вернулась накануне, и не без внутреннего смятения стала расспрашивать Репнина об обстоятельствах женитьбы своего племянника Алексея Ливена. И хотя Репнин отвечал вполне пристойно, начальница смутилась. Как ни самоуверенна была начальница, она понимала: такой разговор с человеком, которого она видит впервые, неуместен. Желая победить неловкость, начальница сделала жест, в иных обстоятельствах немыслимый: она вышла к дочери Репнина, которая ожидала отца в приемной, и, изобразив улыбку, произнесла:

— Поздравляю тебя, Елена, теперь ты смолянка...

Для Репнина не явилось неожиданностью, когда двумя неделями позже, приехав в Смольный навестить дочь, он встретил княгиню Ливен и та едва узнала его. Очевидно, требовалась еще одна история с племянником, чтобы оживить прежний интерес начальницы к Репнину.

И вот сейчас они ехали черным смольнинским парком, черным от ветвистых, потемневших в оттепели дубов, и Репнину думалось, что все прежние посещения института были не этой весной или даже летом, а где-то далеко-далеко, за синей мглой лет, быть может, не в этом веке.

У парадного подъезда их встретил человек в форменной куртке путейца и, внимательно глядя на Репнина не улыбочивыми глазами, заметил:

— Ленин просил провести вас к себе, как только вы придёте... Дочь? — он развел руками, но, заметив строго сдвинутые брови Елены, произнес поспешно: — Полагаю, что можно.

В вестибюле было полутемно. Пахло мокрым сукном (где-то рядом сушились шинели) и сальными свечами. Шли молча, путеец был суров необычайно. (Репнин слышал, как он отчитал Кокорева за то, что тот привез Репнина чуть ли не под конвоем. «Мальчишество и позерство! — говорил он негодуя. — Вы там у себя в Галиции привыкли всех водить под стражей!») Теперь они шли коридорами, широкими и ровными, как степной шлях, и Репнин слышал шаг путейца — тот продолжал гневаться. Когда поднялись по лестнице, путеец поотстал.

— Простите, вам известен Чичерин? — Голос человека в форменной куртке потеплел. — Дипломат, ставший революционером.

Репнин взглянул на путейца — вместе с голосом оттаяли и его глаза:

— Это какой же... Чичерин?

Путеец смутился, быть может, ему показалось, что он затеял разговор, недостаточно зная предмет.

— Чичерин... в прошлом дипломат, сейчас политический эмигрант... кажется, в Лондоне. Просился в Россию еще в феврале, а угодил в лондонскую тюрьму.

— Ну конечно — Георгий Васильевич! — воскликнул Репнин. — Знаю...

Репнин хотел сказать еще что-то, но лестница кончилась, и собеседник Николая Алексеевича заключил:

— Вот мы и вышли на большую дорогу.

Да, пожалуй, не коридор, а дорога. Елена как-то говорила: коридоры Смольного измеряются верстами. Ну что ж, это удобно. От одного конца до другого — жизнь. Все вместит эта дорога — и появление на свет, и годы зрелого отрочества, и годы возмужания, и радость первого жизненного успеха, и, как сейчас, пору ненастья... И впервые в эту ночь, шагая по сумеречным коридорам Смольного, он подумал, что в эти часы, в эти считанные часы, еще до того как над Петроградом, над его камнями и водами взойдет бледное светило, в его жизни может произойти нечто такое, что все сокрушит и вздыбит. Что случилось этой ночью и какие еще силы пришли в движение? Все ли из того, что стряслось в эти роковые ме-

сяцы, известно Николаю Репнину, или, быть может, история продолжает нести свои илистые воды в море и многое еще предстоит изведать людям из того, что они не знали. Репнин думал о Ленине и не мог вспомнить ничего, кроме того, что говорил как-то Илья: когда брат учился на естественном отделении Петербургского университета, он знал, и довольно близко, Александра Ульянова. По словам Ильи... Однако нужно усилие, чтобы восстановить все, что говорил Илья об Ульянове. Помнится, он говорил о нем хорошо.

Коридор поворачивал налево — быстро прошли солдаты в кожанках, с виду самокатчики, девушка в гимнастерке, с телеграфной лентой, которую она дважды обвила вокруг руки, человек в пенсне, быть может, студент или молодой ученый, тоже с телеграфной лентой — ее концы свешивались ему на грудь, как сантиметр у портного.

Очевидно, кабинет был где-то рядом.

— Вот мы и пришли, — сказал Кокорев и взглянул вначале на Репнина, потом на Елену, вернее, на обручальное кольцо Елены. Она заметила этот взгляд, но руки с кольцом не отняла — ей и прежде оно служило защитой. — Как видите, комната самая мирная, — Кокорев открыл дверь, за столом, покрытым синей бумагой, сидела девушка и ела хлеб, посыпанный солью. Хлеб был черный, и крупные солинки лежали густо. Взглянув на вошедших, девушка покраснела и спрятала хлеб в стол.

— Вы Репнин? — спросила она, не глядя на Николая Алексеевича. Краска медленно сошла с ее лица. — Подождите, пожалуйста, — сказала она и ушла в соседнюю комнату.

Репнин взглянул на стол, за которым только что сидела девушка, и улыбнулся: в граненом стакане стояла зеленая веточка. Ее три листочка были блестящими и толстыми. «Только такие листья и могли не облететь в эту осень, — подумал Репнин. — Только им под силу огонь и стынь этой поры».

Девушка вошла со стопкой бумаг и, не закрывая за собой двери, безмолвно, движением глаз пригласила Репнина войти.

Репнин вошел в кабинет, ожидая увидеть смуглолицего человека с темными, по-степному горящими глаза-

ми (об Александре Ульянове Ильи говорил, что тот был темноволос и кудряв), а Ленин оказался совсем иным: бледнолицым и светловолосым.

Владимир Ильич вышел из-за стола.

— Простите... Тот Репнин, что был в начале века российским консулом где-то в Сербии или Черногории, ваш отец?

— Нет, брат.

— Очевидно, старший?

— Старший.

Репнину хотелось сказать: «Да, да... старший брат, кстати, он учился и с вашим братом, Александром. Помоему, они были даже приятелями». Но Репнин смолчал. Ни к чему, решил он, совсем ни к чему.

— Значит, старший? А я...— произнес Ленин, удерживая пальцы у лба. Он не сказал, о чем подумал, но Репнин решил: очевидно, вспомнил статью Ильи о средиземноморских портах.— Вот, вот... а я думаю,— предложив Репнину сесть, Ленин быстро вернулся к столу, словно намереваясь тотчас приступить к делу, но, дойдя до кресла и даже отодвинув его, не сел, а, обернувшись, внимательно посмотрел на собеседника.— Что говорит вам такое имя — Чичерин? Нет, разумеется, не тот профессор и городской голова! — произнес Ленин с веселой иронией.— Я имею в виду его племянника... Георгия Васильевича...

— Чичерин? — переспросил Репнин, а сам подумал: «Опять Чичерин!» И на память пришел Караул: белый дом на холме, и с его крыльца на пятнадцать верст окрест широкая и мягкая равнина, милая неяркой и впечатляющей прелестью своей, очень русская — лес, свободный росчерк Вороны, тускнеющее поле, опять лес, а за ним полоска тумана. А потом прохладная ясность в кабинете Бориса Николаевича, дяди Чичерина. Просторный стол с аккуратной стопкой мелко исписанных страниц — Борис Николаевич уже писал тогда воспоминания — и рядом с этой стопкой иллюстрированный Бедкер — Борис Николаевич любил листать его в редкие минуты отдыха.

— Я бывал в Карауле, их родовом поместье под Тамбовом,— заметил Репнин.

— У отца или у дяди? — спросил Ленин.



— Нет, отца уже не было в живых, у дяди... Я знал его до последних дней, а умер он уже в нашем веке в возрасте весьма почтенном.

— Погодите, значит... Борис Чичерин? А знаете ли вы, как однажды его хотели сделать ректором столичного университета?

Репнин воспрянул: последняя фраза Ленина определенно импонировала его мыслям о Чичерине.

— Как же,— подхватил Николай Алексеевич и, взглянув на Ленина, осекся: тот был строг.— Можно по-разному относиться к Борису Николаевичу, но его образованность и ум...

Ленин вышел из-за стола и зашагал по комнате. Репнин подумал, что те несколько слов, которые он произнес, непредвиденно взволновали Ленина, хотя слова эти были самыми обычными: кто не знал, что Борис Чичерин был человеком необыкновенно наторенным в разных науках.

— Ну, знаете! — бросил Ленин нетерпеливо, и Репнин понял, что его предположениям суждено сбыться: лаконичная реплика Репнина о Чичерине действительно задела Ленина за живое.— Кому не известно, что Чичерина пытались перевести в Петербургский университет вовсе не за интеллект и ученые доблести.

Репнин взглянул на стену, по которой пронеслась стремительная тень Ленина.

— А за что? — спросил Репнин недоуменно. Ленин явно вызывал его на спор.

— Его хотели сделать щитом,— не без раздумья добавил Ленин.

— Щитом? — Недоумение достигло предела. В самом деле, какое отношение «щит» имел к Борису Николаевичу Чичерину? Нет, если и было в природе слово, более неуместное сейчас, то только это.

— Щитом, дабы оградить двор от натиска молодых...— Ленин все еще стоял перед Репниным.— Где щит, там и меч. Нет, скажите, какой смысл монарху заводить роман с либералом, да еще таким, как Борис Чичерин... Аннибал либерализма?

Репнин ничего не ответил. Наступило молчание. Оно было долгим и тягостным. Когда Репнин поднял глаза, Ленин сидел за столом, как показалось Николаю Алексеевичу, смущенный и тихий. Быть может, он даже доса-

довал на себя, что опрометью ринулся в бой и оборвал важную ниточку.

— Погодите, а не писал ли ваш брат о средиземноморских портах? — спросил вдруг Ленин. — Да, о необходимости помочь южным славянам соорудить порт на Средиземноморье в обход Константинополя? — Он все еще хранил в памяти фразу, с которой разговор начался.

Николаю Алексеевичу хотелось сказать: «Как же, писал! Именно брат, кстати, тот самый, что был одноклассником Александра Ильича», — но Репнин снова остановил себя: «А надо ли? Еще подумает — не преминул воспользоваться этим пустяком. Нет, мне это ни к чему, решительно ни к чему».

— Да, это статья брата, — сказал Репнин.

Владимир Ильич посмотрел на него: не надо было затевать разговор о старике Чичерине. Неужели не ясно, что для Репнина профессор Чичерин — ученый муж, почтенный гражданин, патриот. В этом разговоре определенно не было смысла. Или все-таки был смысл? Почему не сказать правду, прямо и бескомпромиссно, даже если какой-то контакт в беседе будет на время оборван. Натянулась ниточка и звонко лопнула, ей не под силу, этой тонкой ниточке. Пусть его собеседник знает, что Ленин намерен говорить прямо и открыто, и то небольшое, что их сближает, пусть служит этой цели...

Репнин взглянул на стену, потом на стол. Только сейчас он увидел: на мраморной доске чернильного прибора стоял стакан и в нем зеленая ветка, точно такая, как у девушки, что сидела при входе. Видно, веточку принесли девушке и она разделила ее: три листочка себе, три Ленину.

— Нет, Борис Чичерин вам мил больше, чем мне, — засмеялся Ленин. Ему вдруг стало бесконечно смешно, что он вознамерился склонить Репнина на свою сторону в таком более чем деликатном вопросе, как назначение профессора Чичерина в Петербург. Он смеялся самозабвенно, не тая голоса (в том кругу, к которому принадлежал Репнин, никто не смеялся так громко). — Вот о молодом Чичерине мы думаем одинаково. Верно? — спросил Ленин.

Репнин улыбнулся:

— Возможно.

Ленин встал из-за стола.

— Так вы знали Георгия Васильевича еще по Тамбову?

— Нет, не только...— Николай Алексеевич помедлил с ответом.— Позже мы встречались в Лондоне, и не раз,— и Репнин вспомнил длинные вечера в мансарде на Ооклей-сквер, такие же длинные прогулки с Чичериным вдоль Темзы, весенней, укрытой теплым туманом, и зимней Темзы, прохваченной северо-восточными холодными ветрами. «В этом мире,— задумчиво говорил Чичерин, глядя на темные глыбы зданий,— есть один мотор, который может привести в движение и ум, и интеллект, и знания, и талант,— капитал. Впрочем, даже в том случае, если нет всех или некоторых из этих достоинств, мотор действует». Помнится, Репнин хотел сказать другу нечто резкое: «Ты узурпировал мою бедность и хочешь обратить меня в свою веру!» Хотел сказать, но так и не сказал.— Он был политическим изгнанником, а я секретарем посольства,— произнес Репнин, внимательно глядя на Ленина.

— Это на Чешем-плейс? — спросил Владимир Ильич.

Репнин подумал, что Ленин, наверно, бывал на Чешем-плейс, когда жил в Лондоне. Впрочем, изгнанникам вход в посольство был заказан. Да они и не очень туда стремились. А на Чешем-плейс Ленин определенно был — это Репнин понял по фразе, которую произнес Ленин только что. Пошел туда специально? Нет. Просто занесло случайным ветром, поднял глаза и увидел каменное здание на углу, может, даже с трехцветным флагом. «Россия?.. Россия ли?» И, прибавив шагу, стремительно прошел мимо. И Репнин вдруг увидел, как Ленин пересекает Чешем-плейс — шаг широк, как и размах руки, сложенный зонтик зажат надежно, воротник демисезонного пальто поднят и котелок чуть-чуть сдвинут на лоб.

— Да, на Чешем-плейс. Однажды он пригласил меня посетить его в мансарде на Ооклей-сквер. Как вы понимаете, такого рода визиты не могли поощряться в посольстве, но отказать было бы непорядочно.

— Вы пошли?

— Не потому, что разделял его воззрения, а просто так... в знак старого комбатантства.

Ленин откинулся на спинку кресла, взглянул на Репнина внимательно.

— Я не скрою от вас,— произнес Ленин,— что адресуясь сейчас к вам по рекомендации Чичерина.

Наступила пауза, видимо, не просто было вести разговор: одному — начать, другому — поддержать.

— Вы были третьего дня на собрании в иностранном ведомстве, когда туда явились наши комиссары? — спросил Ленин.

— Был.

— И вы, конечно, знаете, как мы поставили вопрос?— Ленин взял ручку и легонько ударил обратным концом по столу.— Всех, кто хочет служить Советской России, мы примем как равных... Именно так был поставлен вопрос?

— Да, именно так.

— И вы сказали вместе со всеми «нет»?

— Разумеется.

Ленин протянул ладонь и тронул зеленую веточку, тронул оберегающе, как трогают голову ребенка.

— Сказали категорически?

— Да.

Ленин посмотрел в окно: там уже начинался рассвет, выступили контуры соседнего здания, белая полоска снега на крыше, невысокая мачта и, кажется, флюгер на ее вершине.

— А мог бы я вас спросить, Николай Алексеевич...— Ленин впервые так назвал собеседника,— мог бы спросить: почему?

Репнин взглянул вслед за Лениным в окно и там, дальше, за крышей соседнего дома, выше трубы, выше мачты, выше флюгера на ней, явственно рассмотрел купола Смольнинского собора, пока еще тусклые, но отчетливо прорисованные на бледном поле рассветного неба.

— Почему? — Наверно, Репнину явилось желание высказать этому человеку все, что сейчас думал. Сказать, что единственно, о чем он мечтает, это служить России, служить ее величию, чтобы навсегда ушли в небытие ее беды и несчастья — деревни, опустошенные сыпняком, поля, сожженные солнцем, сохи на полях, лучины в избах, чтобы канула в вечность эта дремучая тьма, кото-

рая, точно вода в половодье, вон как широко разлилась по России. Репнину хотелось высказать все это.— Почему? — повторил он и ответил одним махом:— Веры нет...

— Ну что ж, и на том спасибо.

Ленин встал. Возможность возразить собеседнику, сшибиться в споре прогнала усталость. Он дошел до окна, бросил в него быстрый взгляд, обернулся и пошел к Репнину.

— Вы очень богатый человек?

Репнин смешался.

— Вы получили от могущественных предков нефтяные земли?

Репнин окончательно смешался — не ждал, что вопрос будет поставлен так прямо, с такой грубой, как ему казалось, прямоотой.

— Немного земли, отнюдь не нефтяной.

— Тогда что же вы защищаете?

Репнин качнулся в кресле.

— Да, что вы защищаете, когда говорите нам «нет»? — Ленин не сводил с него глаз.— Сердцем, разумом, наконец, жизнью своей, какую истину?

Репнин вновь увидел купола Смольнинского собора, небо разгоралось позади них, и купола становились все объемнее. И, странное дело, вид этих куполов горячо стеснил грудь.

— Всегда, сколько помню себя...— сказал Репнин и запнулся.— Всегда...— продолжал он не без усилия,— отказывая себе во многом, разрешал одно — говорить правду.

— Я прошу вас об этом.

— Самую жестокую и злую... правда всегда зла,— сказал Николай Алексеевич.

«Какая сила родила в этом человеке такую ненависть к тому миру и воодушевила на такое подвижничество? — думал Репнин.— Мученическая смерть брата и желание отомстить всем убийцам на века и века (отмщение правого способно обрушить небо)? Или идеал, тот высокий идеал, который разбудил и повел на смерть Пестеля?..— Репнин смотрел на Ленина.— Нет беспощаднее огня, чем горе, однако оно способно родить чудо. Какая сила звала к жизни этого человека?..»

— Я отнюдь не считал тот порядок жизни совершенным, но он был устроен людьми, которых я уважаю, уст-

роен не вчера и не сегодня...— Репнин смотрел Ленину в глаза.— И я не могу признать нынешний порядок более справедливым только потому, что он утверждён силой.

— Сила не всегда синоним несправедливости! — бросил Ленин.

— Но вы принудили, вы...— произнес Репнин.

— Принуждение, к которому обратились мы, благо,— сказал Ленин и улыбнулся, он был непоколебим в своей жизнерадостности.

— Благо?

— Благо,— сказал Ленин и улыбнулся вновь.— Оно служит интересам большинства.

Теперь встал Репнин, он почувствовал, что этот невысокий человек с выпукло-сильным лбом и быстрым взглядом, непобедимо веселым даже в эту воинственно-суровую пору, очень хорошо понимал, что происходит в мире, верил в свою большую веру и, главное, знал, что надо делать, только он и знал сейчас во всем мире, во всем бесконечно просторном мире, что ему надлежит делать.

— Но вы повели за собой это большинство, не сказав ему всей правды,— Репнин на миг задумался, опустив глаза.— Вы не дадите ни земли, которой народ жаждет, ни мира, по которому народ страдался.

— Мы дадим ему и землю и мир... Как вы относитесь к декрету о мире? Вы полагаете, это отступничество? — Ленин вернулся в свое кресло.— Кстати, о мире,— продолжал Ленин, он понимал, как труден для Репнина этот вопрос, и не настаивал на ответе.— Мы предполагаем предать гласности тайные договоры. Нам необходимы совет и помощь человека, который знаком с правовыми нормами, знает тексты...— Ленину казалось, что Репнин помрачнел, но теперь он хотел закончить свою мысль.— Помогите нам в этом.

Репнин поднял глаза — за окном неярко, но все более зримо светились купола.

— Сказать вам «да» — значит отречься от прошлого и будущего,— ответил Репнин.

— Прошлого — да, но не будущего.

— Простите,— произнес Репнин дрогнувшим голосом и умолк; надо было набраться сил.— Но, быть может, вы меня приняли за кого-то иного? Я Николай Репнин, вице-директор второго департамента Российского министерства иностранных дел... Вы не ошиблись?

— А может, и в самом деле ошибся? Но тогда ваш уход из лондонского посольства, и объяснение с послем Бенкендорфом, и все, что в газетах получило название «репинской истории», не было вызовом официальной России, а следовательно, протестом против войны?

— Мне была ненавистна эта война... Кроме слез и неслыханного позора, она ничего не дала России.

Ленин не сводил с собеседника глаз — он знал: все решится сейчас, сию минуту.

— Но тогда какой смысл вам вести себя так, как вы ведете себя сейчас?

Репнин медленно поднялся:

— Да, но это нечто совсем иное.

Они простились, и, уходя, Репнин осторожно закрыл за собой дверь, но, прежде чем сделать следующий шаг, взглянул на стол, за которым сидела девушка, и увидел зеленую ветку в стакане. Он коснулся ладонью листьев и, вспомнив жест Ленина, точно такой же оберегающий, задержал на миг руку. Задержал и тотчас отнял, натолкнувшись на остро-внимательные глаза человека, стоящего у окна.

— Знаю и я эту Медную гору, как, впрочем, и эсер Сладкопевцев,— произнес человек, не сводя глаз с Репнина. В его внешности, как показалось Николаю Алексеевичу, было нечто польское: узкое лицо, чуть удлинённый, с крупными ноздрями нос, лоб с зализами, темно-карие глаза, одновременно рассеянно-туманные и сосредоточенно-твердые, достающие до дна.— Из Верхоленска мы бежали вместе... «Червоный штандарт» был позже...

Странно, но все время, пока Репнин шел по длинному смольнинскому коридору, сопровождаемый молчаливой Еленой, он думал о человеке с остро-внимательными глазами. Какой дорогой он пришел в Смольный? Наверно, интеллигент-фанатик, борец за польскую свободу. Кирсановка Репниных стояла у тракта, по которому гнали поляков в Сибирь. Сколько помнит Репнин, среди них все были интеллигенты: бледнолицые, с орлиными глазами, в желто-серой арестантской одежде. Наверно, и этот с бородой и зализами ходил длинным трактом в Сибирь...

Репнин шагнул в вестибюль, намереваясь покинуть здание, когда справа, в полутьме, увидел человека в шапке, который, сняв шапку, пытался стряхнуть с нее снег.

Не замедляя шага, Репнин вгляделся пристальнее и опознал Раймонда Робинса. Дзержинский, а теперь этот Робинс... откуда они вдруг? — не мог не подумать Репнин. Трудно сказать, был ли когда-либо Робинс, как гласила молва, золотоискателем, ищущим земные клады на снежных берегах Юкона, но человек он был колоритный. Робинс был одним из тех американцев, которые первыми явились после Октябрьского переворота в Смольный. Впрочем, люди осведомленные не очень обманывались насчет истинных целей, которые ставил перед собой американец. Известно, что Робинс приехал в Россию как лицо официальное: представитель американского Красного Креста, полковник американской армии. В этом качестве Робинс действовал еще при Керенском и во многом успел, став самым осведомленным американцем в России. Официальное положение Робинса не изменилось и при большевиках, и он использовал его сполна: информацию, которую добывал Робинс американскому послу о положении в стане красных, не мог добыть никто другой. Робинс наверняка действовал с ведома посла, который, объявив бойкот новой власти, тем не менее хотел знать, что происходит у красных... Следовательно, миссия Робинса в Смольный была миссией разведывательной. Понимали ли это красные лидеры, а если понимали, то почему допустили американца так близко?

Эти два человека, повстречавшиеся Николаю Алексеевичу на коротком пути по Смольному, — поляк с зализами и американский полковник — завладели вниманием Репнина и шли за ним неотступно. Нужно было усилие, чтобы заставить себя не думать о них...

## 6

Они покинули Смольный, когда туманное утро уже пробивалось к Петрограду. Всю дорогу Репнин не пророчил ни слова. Нелегкие думы обступили его. Они были медленны, точно невская вода, что видна была с Троицкого моста в расселинах льда, и, пожалуй, черны тоже как она. Неожиданно пришла на память фраза Ленина: «Как вы относитесь к декрету о мире? Вы полагаете, что это отступничество?» Где-то здесь был ключ к беседе.



Репнин поднял воротник, точно хотел, чтобы густой мех отгородил его от всего, что лежало рядом; от столпотворения камней большого города, от снега, от неба, от липово-серой невской воды,— от всего, что возвращало мысль и чувство к пережитому. Репнин хотел, чтобы глаза его видели только то, к чему была устремлена мысль, лишь это.

Декрет о мире как первооснова новой дипломатии, ее главный закон, ее конституция? Декрет о мире как детище дипломатии, которая не столько материально творит, сколько утверждает идеи, демонстрирует, взывает к сознанию страждущего человечества? Или, наконец, декрет о мире как средство отступить от союза, изменить товарищу по оружию, предать? Нет, Репнин должен нащупать твердое ядрышко истины сам. Легче всего провести мысленную черту между тем миром и нынешним и провозгласить начало новой эры. Труднее эту черту провести в собственном сознании и внутренне согласиться с тем, что того мира нет, по крайней мере в России. Итак, что же произошло? Верно, Россия три года была союзницей стран Согласия и честно несла нелегкий крест. Порукой тому миллионы ее сынов, что не могут уже встать из мокрой галицийской и привисленской земли. Но Репнин и прежде считал, что, кроме неслыханного позора, война ничего не дала России. А если так, то выход из войны для России благо. Благо, даже если Россию обвинят в отступничестве. Но декрет о мире претендует на большее. Как понимает Репнин, это единственный в своем роде дипломатический документ, адресованный не столько правительствам, сколько народам, через голову правительств — народам. Декрет утверждает истины, одно упоминание которых способно воспламенить камень: равенство больших и малых наций, ликвидацию всяческого угнетения и колониального господства, ликвидацию тайной дипломатии... Да, декрет провозглашает отмену тайной дипломатии и обещание вести все переговоры открыто. Тайна, как первооснова дипломатии, объявилась крамольной, а министерство иностранных дел, в сущности, становилось министерством европейской революции... Нелегко было улыбнуться Репнину сейчас, но он, кажется, улыбнулся. Николай Репнин — директор департамента министерства европейской революции! Парадоксально?.. Декрет о мире как команда к атаке на тот мир,

призыв к всеобщему наступлению революции... Нельзя же представить, чтобы Репнин оказался среди атакующих.

Они вернулись домой в восьмом часу, фиолетовые от холода и бессонницы, равнодушные ко всему. Им открыла Егоровна. Она кинулась на грудь Репнину и принялась реветь в голос — наверно, так солдатки встречали мужей, вернувшихся с войны живыми.

— Уймись,— молвил Репнин, снимая ее руку со своей шеи.— Белого света постыдись...— бросил он, указав на окно, из которого цедился рассветный сумрак.

Он попросил Елену дать ему чаю погорячее и второе одеяло. Когда Елена принесла чай, он стоял в дальнем конце комнаты, припав спиной к теплой кафельной стене, едва удерживая веки, чтобы не уснуть. Елена встала перед ним.

— Вот мы и вернулись,— сказала она почти ликующе.

...Когда, проснувшись, он отодвинул шторы, на дворе был уже вечер, лежал синий снег и мигали звезды, задуваемые ветром,— ветер был жестокий, балтийский, ему под силу задуть звезды.

Репнин понял: в тревожном и, быть может, больном сне он оставался весь день. Но сейчас голова была свежа и глаза ясны — это он почувствовал, когда смотрел в окно, прежде он не видел в природе такой ясности. Все, что произошло минувшей ночью, впервые встало в сознании так отчетливо. Он вспомнил разговор с дочерью: «Вот мы и вернулись!..» Страх, да, страх, который внушал тот мир ночью, перестал быть страхом... Но воодушевило это его на борьбу или на примирение с тем миром? Нет, поразительная ясность, которая только что открылась за окном, была обманчива. И тогда он подумал о Настеньке. Репнин вдруг почувствовал: никого не хочется так видеть, как ее. Вот сейчас встать и через город, через эти тишину и ясность, сквозь мороз и ветер — к ней, отбросив к дьяволу все условности — и поздний час и мужа... Мужа? Ну, ему-то у дьявола надлежит быть отродясь!

Репнин, когда он этого хотел, мог действовать стремительно. Ровно через полчаса — те самые полчаса, которые требовались ему в самых чрезвычайных обстоятельствах, чтобы собраться и быть готовым предстать

перед любимой женщиной или министром,— извозчик, одержимый веселой и злой лихостью, мчал Репнина через весь город на Кировскую.

## 7

Мысль, что они могли в жизни разминуться, позднее казалась ему невероятной. У дочери Губина (в первом департаменте министерства он занимал то же положение, что Николай Алексеевич во втором) был день рождения. Отцы дочерей на выданье уже начали на Репнина облаву. Репнин купил традиционную корзину хризантем и поехал к Губиным. Дочь вице-директора, такая же тщательно промытая и худая, как отец, но только без усов, сидела рядом с отцом и торжественно молчала, будто ее навечно обрекли быть именинницей. И вот часу в одиннадцатом, когда встали из-за стола и начались танцы, пришли новые гости. Репнин был за карточным столом, когда появилась она... нет, ее он не рассмотрел. Репнин лишь увидел, как она возникла в дверях и тут же исчезла. В следующую секунду муж стоял перед Репниным. Он был высок и тонок. Белые, с рыжиной усы слегка торпорщились, при этом левый ус был заметно гуще правого. Румянец на щеках незнакомца был непрочным. Он точно ветхая ткань расползался по нитям. Ярко-красные нити, оборванные, будто вздутые ветром, разметались по лицу, лежали в уголках губ, на подбородке, на висках, даже на веках. Но чем дольше стоял незнакомец перед Репниным, румянец не убывал, а разгорался. Видно, человек, стоящий напротив, был немало увлечен всем тем, что происходило за ломберным столиком,— он наверняка был отчаянным игроком.

Николаю Алексеевичу не везло. Карты валились из рук, и Репнин встал из-за стола. Незнакомец сочувственно улыбнулся и устремился к освободившемуся стулу — он ждал этой минуты.

— Я тебе не велю...— услышал Репнин рядом смеющийся женский голос и в ту же секунду увидел, как она стала рядом с мужем с очевидным намерением помешать ему занять освободившийся стул.

Но он уже успел взять колоду.

— Николай Алексеевич... Простите, я не ошибся? —

поднял он белесые брови.— Инженер Шарль Жилль,— отрекомендовался он.— Николай Алексеевич,— заметил он, обращаясь теперь уже к жене,— будет тебе приятен...

Потом Репнин часто вспоминал этот миг, этот первый миг, когда увидел ее, и говорил себе, что первое впечатление оказалось очень верным: самое характерное для нее было — улыбка, неяркая, и ладность округлых плеч и ласковость кожи.

— Ну смотри... пеняй тогда на себя... Ты мне Николая Алексеевича выбрал...— сказала она и взяла Репнина под руку.

— Это хороший выбор,— медленно произнес муж, не без труда преодолев «р» — родным языком для него был французский.— Хороший.— Как все иностранцы, он любил это слово.

Впрочем, он уже погрузился в игру и конец фразы произнес не столько осмысленно, сколько по инерции. А Репнин и Анастасия Сергеевна прошли в дальнюю комнату дома, куда шум праздника едва доносился.

— Как давно вы знакомы с Губиным? — спросила она.— В Англии вы его не могли знать.

Репнин был озадачен: молодая женщина недвусмысленно дала понять, что знает его,— да не рассказал ли ей о Репнине Губин?

— Простите, но вы знакомы с семьей Губина... домами? — спросил Репнин, и тут выяснилось нечто неожиданное: оказывается, одной из семи женщин, перед которыми с некоторых пор раскрылись тяжелые ворота большого мужского монастыря, именуемого министерством иностранных дел («Да здравствует Февральская революция!»), была Анастасия Сергеевна. Нет, разумеется, речь шла не о дипломатической работе, а всего лишь о референтской, даже переводческой (большого всемогущий Февраль поднять не смог), но и это было немалым успехом, по крайней мере для Анастасии Сергеевны, ее знание французского было реализовано.

— Вам должно быть обиднее моего, Анастасия Сергеевна,— сказал Репнин.— Ваша дипломатическая карьера (он льстил ей: дипломатическая!) оборвалась, едва вы вкусили сладость плода...

Она рассмеялась:

— Представьте, не оборвалась!

— Каким образом?

— Вам известен такой человек: Маркин Николай Григорьевич?

— Не тот ли матрос Маркин, что захотел раскрыть тайну шифра? — спросил Репнин.

Илья говорил на днях, что большевики вызвали из Кронштадта корабельного морзиста, поручив ему расшифровать секретные тексты.

Она подтвердила.

— Погодите, а не вас ли я видел в синей гостиной, когда был в министерстве третьего дня?

Репнин вспомнил туманный полдень, глыбы быстро тающего снега на Дворцовой площади, запах махорки в синей гостиной (вот сроду не подумали бы, что этот запах проникнет сюда!) и людей в бушлатах и солдатских гимнастерках, сидящих вокруг овального стола и разучивающих французские глаголы, — именно французская грамота пришла к ним едва ли не прежде русской — аномалия революции! Она сидела к Репнину спиной, и он не видел ее лица, но голос, как понял сейчас Николай Алексеевич, принадлежал ей. Выходя из гостиной, Репнин едва ли не нос к носу столкнулся с министерским швейцаром Еремеичем. «Дипломатические курьеры! — скосил Еремеич глаза на дверь, за которой происходил урок. — Отродясь не видел столько курьеров! — удивленно воскликнул он и добавил: — Вместо ветра!» Репнин остановился озадаченный. «Это почему же «вместо ветра», Еремеич?» — «Коли семя вызрело, надо же его кому-то по свету раскидать!» Однако Еремеич недаром простоял полтора десятка лет у министерских дверей. Его мнению нельзя было отказать в логичности.

Анастасия Сергеевна подтвердила: в синей гостиной он видел в тот день именно ее. Она это сказала, не смутившись. Наоборот, с радостной лукавинкой. Даже с вызовом.

Она сидела далеко от него на диване, а он у полуоткрытой двери. Отсвет огня настольной лампы (в комнате была зажжена только эта лампа) лежал рядом с ней. Только изредка, когда она меняла позу, блик падал на лицо, и он видел, как свет золотит ее щеки. А она рассказывала, как жила летом на Финском взморье, как ходила холодными росными утрами на болота за ягодами, как убегала от лося, который вздумал с ней поиграть, серо-голубой, с трепещущими ноздрями... А Репнин слу-

шал и думал: пусть говорит и о болоте, и о ягодах, и даже о лосе, которого, может, видела, а может, и нет, пусть говорит, лишь бы говорила... От мягкой солнечности, которую излучала эта женщина, не было спасения.

За полночь, когда дежурные пьесы были сыграны на фортепьяно и счастливая именинница уснула, обложенная подарками, как подушками, явился Жилль.

— Я соединил вас намеренно,— сказал он, глядя белыми глазами то на Репнина, то на жену.— Надеюсь, что вы предостерегли ее,— он говорил по-русски лучше, чем показалось Репнину вначале.

— Простите, речь идет о Дворцовой? — спросил Репнин наобум. Как полагал он, решение Анастасии Сергеевны остаться на Дворцовой вряд ли одобрял муж.

— Да, конечно,— просиял Жилль. Ему показалось, что в Репнине он обрел союзника.

Жилль пригласил Николая Алексеевича провести остаток вечера у них на Кирочной. Репнин согласился и сам подивился легкости, с которой это сделал. Он готов был ехать с ней и много дальше Кирочной. Уже под утро, порядком выпив, Жилль извлек из стола связку ключей и, открыв одну за другой три двери, ввел Николая Алексеевича в странную комнату со сводчатым потолком, без окон, глухую и изолированную, как сейф.

— Вы добрый человек и не строите локомотивов,— сказал Жилль,— поэтому я вам могу открыться...— он приподнял кальку, прикрывавшую большой письменный стол, там лежала железнодорожная карта мира.— Вот моя идея — смотрите!

Белая ладонь Жилля пронеслась над азиатскими просторами России и переместилась в Америку.

— Что багдадская магистраль в сравнении с этой дорогой? — воскликнул Жилль.— Вот где масштабы: Париж — Москва — Аляска — Сан-Франциско — Нью-Йорк. Из одного полушария в другое без пересадки!..

Репнин смотрел на него, встревоженного и бледного (румянец на лице Жилля загорелся и погас), думал: он уже видит себя командиром железных поездов, соединивших Старый свет с Новым. Видно, он деятелен и немало тщеславен, этот человек.

Однако как ни важна была для Жилля железнодорожная стратегия, он воспользовался ею, чтобы расположить гостя да, пожалуй, уединиться с ним.

— В прошлый раз наша беседа оборвалась, как только заговорили о Дворцовой,— произнес Жилль, не сводя глаз с двери, за которой была жена.— Не скрою, когда Анастасия Сергеевна была приглашена в министерство, мне это льстило,— он тронул кончиками пальцев левый ус, тот, что был погуще.— Но ведь тогда там был Терещенко, а сейчас бог весть кто!.. Мне кажется,— он посмотрел на Репнина с надеждой,— лучше вас никто не знает, что мне делать.

Но прежде чем Репнин нашелся, вошла Анастасия Сергеевна. Она поняла: попытки мужа склонить на свою сторону гостя не имели успеха.

— Вечер был так хорош, что вряд ли стоит его портить,— засмеялась она.

— Хорош... хорош...— повторил Жилль: он действительно любил это слово.

Репнин был рад, что и в этот раз деликатная тема не получила развития, однако он не мог не подумать: «К политике ее шаг решительно не имеет никакого отношения, на нее это не похоже. Но тогда... что это такое: последствия семейного конфликта, скрытого, зреющего исподволь, неожиданный результат затянувшегося единоборства со своей совестью или своеобразное проявление разочарования?» Репнин оглядел комнату: эти стены должны были досказать то, что еще скрывали их обитатели. Но стены были немые.

Уже под утро пожаловали гости, очевидно, в доме принимали и в необычный этот час. В пролете распахнутых дверей Репнин увидел человека атлетического сложения, крутоплечего, в сутане католического священника и рядом с ним приземистого и большеголового человека с густо-коричневым лицом, чем-то напоминающего грибоподберезовик.

— Не тревожьтесь, это наши близкие,— произнесла Анастасия Сергеевна, следя за взглядом Репнина, которого заинтересовал приход столь поздних гостей.— Большой — наш пастырь, настоятель собора святой Екатерины, отец Рудкевич...

Репнину стоило труда, чтобы не выразить удивления. Так вот он какой, глава католического прихода на Невском! В Питере шутили, что Рудкевич похож на того генерала из личной охраны монарха, который за годы и годы своей службы при суверене ни разу не надел гене-

ральских погон и истинное звание которого едва ли знал кто-либо, кроме его высокого покровителя. Официально Рудкевич был всего лишь настоятелем католического храма святой Екатерины, однако, как утверждали люди осведомленные, его действительное положение мало чем отличалось от положения папского нунция, при этом по праву нунция он не отказывал себе и в том, чтобы быть старейшиной дипломатического корпуса. Впрочем, нынешний пост Рудкевича давал ему даже некоторые преимущества в сравнении с правами, которыми он обладал бы, если бы Ватикану дозволено было иметь посольство в православной стране: его связи с русскими людьми были шире связей любого посла, он знал язык и культуру народа, как не знал ее никто из послов, он был вхож в дома, в которых послы едва ли бывали.

— А кто будет этот второй? — указал Репнин на спутника Рудкевича.

— Бекас, — ответила Анастасия Сергеевна.

— Это имя?

Она рассмеялась.

— Нет, разумеется, кличка!..

Она смешно зажмурила глаза.

— Кто вы такая? — вдруг спросил Репнин. — Вы, вы...

— Кто? Отец строил железные дороги на нашем юге, — сказала она, поняв этот вопрос так же прямо и откровенно, как он был задан.

— Вы были с ним?

Ей понравилась его настойчивость.

— Да, с тех пор как умерла мать... — сказала она и предупредила следующий вопрос. — Мать умерла рано.

Он осмотрелся. На подоконнике стояли стеклянные сосуды, наполненные синей жидкостью, как в аптеке, — наверно, причуды Жилля. Ни один человек не проходил по Кирочной, чтобы его не уловили сосуды Жилля и не поставили для порядка с ног на голову — иногда это было очень смешно. Впрочем, в сосудах отражалась и квартира Жилля — люстра, обремененная хрусталем, точно дерево листьями.

— Мне нравится ваша квартира. В ней и простор и тепло, — сказал он.

Но Анастасия Сергеевна и бровью не повела — ее явно не устраивало такое продолжение разговора.



— Главное, не отдать себя во власть предрассудков,— сказала она в ответ,— не наложить на себя цепи...— Она продолжала думать свою нелегкую думу.— Никто не умеет это сделать лучше, чем сам человек.

Удивительное дело, когда в предрассветные сумерки Репнин шел Литейным, все забылось: и карты, и именинница, и железная дорога Жилля, помнились лишь бледные губы Настеньки. Репнин понимал, как, наверно, понимала и она, что в эту ночь свершилось такое, что им трудно будет преодолеть. Тем не менее Николай Алексеевич был немало удивлен, когда на следующий день из машины, подкатившей к дому Репниных, вышла Анастасия Сергеевна. Он выбежал навстречу и принялся целовать ей руки на глазах изумленной дочери, стоявшей у сена.

— Представьте, я такая...— произнесла Анастасия Сергеевна.— Решила застать вас врасплох.

Он повел ее смотреть дом. Она заполнила комнаты шумом платья, озорным стуком каблучков, смехом.

А потом они сидели у него в кабинете, и все, кто был в доме, пользуясь тем, что кабинет был залит солнцем, а смежную комнату заполнила тень, наблюдали за ней. Даже Илья стряхнул с пиджака пепел и, сдерживая одышку, выполз из своей берлоги, чтобы издали взглянуть на нее.

— Если человек умеет наложить на себя цепи, он должен уметь и сбросить,— говорил Репнин.

— Наложить легче. Сбросить труднее,— ответила она.

А вечером, вернее ночью, она позвонила и сказала, что Шарль велел упаковывать чемоданы. Они уезжают в Норвегию, совсем уезжают. Да, очень скоро. Судя по всему, через неделю.

«Вот она, истинная цена ее мятежности,— подумал он.— На словах она бунтарка и воительница. Но в роковой час, когда надо принять решение, истинно бабье, слабое, привычное, берет верх, и женщина отдает себя этой силе и даже испытывает нечто похожее на счастье». Ему захотелось, пренебрегая обычаями и нормами, явиться на Кирочную и объясниться. Сказать, что он заклинает ее не уезжать.

С тем он и уснул в ту ночь, когда явились матросы и повезли его в тот конец города, на тот край света, самый крайний край.

Ему открыла Настенька. Она стояла в полутьме коридора и странно ширила глаза. Он взял в ладонь ее пальцы, поднес к губам. Сердце колотилось, трудно было дышать.

— Вы одна, Анастасия Сергеевна?

— Совсем одна. Прошу вас.

Они вошли в первую комнату, вторую. Сердце колотилось все громче. Его окружала тишина, грохочущая тишина.

Он огляделся: на щите, прикрепленном к двери, красовались газыри, самые разные, от тех, что украшали черкеску Шамиля, до тех, что и сегодня носят на Кавказе.

— Это Шарль,— сказала она и взглянула на газыри.— Его страсть.

А Репнин подумал: невеселая страсть, что-то в ней от обидного сознания, что металла, из которого сделаны эти газыри, недостает тебе самому...

Они дошли до гостиной. Она устроилась на софе, подобрав под себя ноги.

Он встал и пошел к ней. Ему почудилось: вода в синем сосуде колыхнулась и автомобиль, бегущий мимо, расплавился и потек по мостовой.

— Я... буду кричать,— произнесла она.

Он подошел и поцеловал ее в губы, глаза, шею.

— Я сейчас возьму у вас ключ и запру этот дом,— шепнул он, едва переводя дыхание: сердце не давало говорить.— Запру и буду оборонять... Все пушу в ход: и медные подсвечники, и люстру, и газыри — они же не пустые...

Она засмеялась. И в этом смехе было все: и то, что ей хорошо, и то, что она не хочет принимать эти слова всерьез.

— А ведь я знала вас прежде,— вдруг сказала она,— видела вас и издали наблюдала за вами... издали...— добавила она.— Когда на облачном небе следишь за луной, знаешь, где она скроется за облака и где вынырнет... Ступайте туда. Ну!..— она указала на стул, который он только что покинул.

— Погодите... послушайте, что я хотел вам сказать,— произнес он и почувствовал: она затихла. Он чувство-

вал, как затихли руки, дыхание, голос, может, даже сердце.— Я должен успеть сказать вам, зачем пришел,— он разомкнул руки, но она продолжала сидеть рядом, такая же кроткая и внимательная. Ему было необыкновенно хорошо сознавать, что он отпустил ее, а она не ушла.— Я пришел, чтобы умолить вас: не уезжайте...— Ему хотелось сказать ей: «Если бы я был простодушнее и доверчивее, чего доброго, принял бы вас за женщину, которая решилась бросить вызов всем силам мира... Но вот прошло всего две недели, и куда делась ваша миссия на Дворцовой, ваш Маркин!.. Цепи оказались крепче, чем вы думали!..» — Не уезжайте! — мог только сказать он.

Она вздохнула и окинула печальным взглядом комнату. Сейчас он увидел на полу распахнутый чемодан — она уже начала сборы.

— А я пока не уезжаю,— произнесла она и встала. Остановилась у чемодана, захлопнула крышку.— Не уезжаю... пока.

Что означали ее слова: она действительно отложила отъезд или просто хотела успокоить его? И в какой мере она была искренна с ним? Что руководило ее поступками? Не могла же она так просто тогда приехать к нему? Человек в ее положении не делает такое просто, даже оговорив, что это на него похоже. И не могла она произнести, не вкладывая в это особого смысла: «Я знала вас прежде и издали наблюдала за вами!..»

— Я хочу верить, что вы говорите правду,— сказал он.

— Вы хотите спросить: остаюсь ли я? Остаюсь... пока.— Внизу прогремел автомобиль, и отражение, странно длинное и изогнутое, на миг возникло в синем сосуде.

— Я все собираюсь вас спросить,— заговорил Репнин.— Какой смысл был вам возвращаться на Дворцовую?..

Анастасия Сергеевна побледнела. Белыми стали даже мочки маленьких ушей.

— А я... свободная женщина, поймите, свободная,— сказала она с радостной и гневной отвагой, точно счастливая тем, что может произнести: «свободная».

— Вас даже не способен смутить... Маркин? — спросил Репнин.

— Ничуть,— ответила она.— Он мне даже интересен... Поймите меня правильно,— сказала Анастасия Сергеевна серьезно.— Все, что делают эти люди, как бы сказать поточнее... для них насущно. Хотя бы тот же французский, только представьте: французский! Я сегодня взглянула на Колю Маркина, взглянула на его тельняшку, стиранную всеми дождями и ветрами, подумала: «Когда на Руси французский язык был так нужен людям для жизни и, мне кажется, для дела, как он нужен сейчас этому человеку?»

— Вы полагаете, Анастасия Сергеевна, что профессиональному дипломату французский нужен меньше, чем вашему другу с Охты?

— Нет, я не об этом,— сказала она.— Вы учили французский в детстве, как учили его ваши братья и сестры, имея в виду не столько дипломатическую службу, сколько известные нормы жизни.

— Нет, и дипломатическую службу,— настаивал он.

По улице проехал извозчик, и в синем сосуде лошади сучили ногами, лежа на спине, колеса экипажа вертелись, как заведенные, и только пассажиры были неподвижны. Казалось, нет позы удобнее для них: их тяжелые туловища опирались на головы.

— Согласитесь, Николай Алексеевич, что вы свой французский учили в иных условиях, чем учат его эти люди, которые садятся за книгу, не всегда поев досыта.

Он смолчал, то ли не хотел осложнять разговор, то ли не просто было ответить.

«Нет, политика не участвует в ее жизни,— подумал он.— Какая тут к черту политика — она просто истосковалась по честности, которая одна дает настоящему человеку и надежду и радость».

Они прошли полутемные комнаты, задержались в прихожей — она не успела зажечь там свет.

— Идите,— велела она.

— Не уезжайте...— Репнин подумал, что не сказал ей что-то важное, очень важное.— А что такое цепи? — спросил он, вспомнив.

— Цепи — жалость,— сказала она.

Он вышел из дома и оглядел улицу. Нет, синий сосуд на подоконнике врал — дома стояли как прежде, их не перевернули вверх дном. И прохожие шли как обычно. Только снег усилился и валил сейчас крупными хлопьями.

«Значит, цепи — жалость?..» Нет, он не понял того, что происходило сейчас в душе Анастасии Сергеевны. Ну конечно же, она не выдаст себя, как бы ей ни было плохо. Напротив, чем хуже ей, тем счастливее она будет выглядеть — у каждого своя игра... Один обороняется от всех бед хмурой озабоченностью. Другой — бранью. Она... веселой бравадой, забавной укоризной, шуткой. А на самом деле на душе у нее... непросто. Цепи — жалость... Что ей было жаль? Стойкое благополучие? Изменчивую и все-таки надежную стихию? Мужа, который был к ней щедр и милостиво внимателен? Весь уклад прежней жизни, которая всегда казалась добрее, чем была на самом деле? Не беда, что при этом ты обречла себя на гибель и убила в себе самое святое, что дано тебе богом и матерью. Главное, сберечь прошлое. Цепи — прошлое?.. Он, Репнин, готов собрать всю силу своей души, чтобы сокрушить ее прошлое. Он, Репнин, и... ее новые друзья с Дворцовой?

Репнину померещилось, что эта борьба за Настеньку, пока еще призрачная, завела его бог знает куда! Нет, нет, тропа непонятно вильнула, сделала зигзаг, перечеркнула открытую поляну и привела Репнина в стан к новым друзьям Анастасии Сергеевны с Дворцовой. Разве нет у него другого пути?

## 9

И вновь он вспомнил свой последний визит на Дворцовую. Дай бог памяти, как он попал туда? Зачем тогда он прибыл на Дворцовую, шесть? В какой колокол бить? Что спасать? Повсюду в золотой, голубой и синей гостиных пылали каминные, острый запах горелой бумаги растекался по дому. И Репнин вспомнил августовский день четырнадцатого года. Да, именно возле этого окна стоял, ожидая приема у Сазонова, германский посол Фридрих Пурталис и смотрел на бледно-голубое, почти белое питерское небо. Что хотел увидеть посол в свечении облаков, какие тайные надежды с этим связывал? В дрожащих руках германского посла были ноты, объявляющие войну России, именно ноты — одна на случай, если Россия отвергнет германское требование о демобилизации. Другая, если оставит это требование без ответа. Когда

посол стоял у окна, устремив глаза в зенит, он еще не знал, что смятение, которое обнаружилось сейчас только в движении рук, замутит сознание и он оставит у Сазонова обе ноты.

Но это уже было начало конца. Да, печальный конец, каким он обозначился в эти дни, берет начало в трагических событиях того августовского дня, а может, еще раньше... А камин горит. Репнин раздвинул шторы, увидел затененный квадрат Зимнего дворца и в окнах красноватый свет — то был огонь уже иного мира. А потом Репнин шел по дому. Зеленый зал. Салон. Банкетный зал. Рюмочная... И вдруг полутьма; где-то здесь легла граница, отделяющая представительские залы от собственно служебных. Будто бы из господской половины попал в людскую. И зеркала отступили во тьму, и золото погасло, и мрамор каминов обратился в дешевый фаянс, только шкафы, как прежде, красного дерева. Репнин входит в свой кабинет, садится в кресло, затихает. Может, по русскому обычаю посидеть минуту в тишине, чтобы потом отправиться в великий поход из старого доброго времени в безвестное будущее. Где он кончится, этот поход, один бог знает.

Репнин шел из зала в зал, из кабинета в кабинет, шел не останавливаясь. Тишина и запах дыма, устойчивый, намертво напитавший за эти дни камень и дерево... Кажется, где-то сбоку прошел Сазонов. Матово поблескивает обнаженный череп, почти бесшумен быстрый шаг. «Я сторонник английской позиции,— произносит он темпераментно, стараясь говорить в такт шагу.— Посол, достаточно зарекомендовавший себя в одной стране, будет хорош и в другой. Особенности страны можно пренебречь. Главное, ум и характер...»

Немилосердно скрипит в новых штиблетах Бахметьев. «Я сказал ему, что посол не имеет права быть тщеславным,— слышен простуженный бас — Бахметьев из Вашингтона и не успел акклиматизироваться.— Тщеславие вредная спутница самомнения, и нет для нашего брата болезни опаснее. Дипломат, страдающий этим недугом, плохо видит, слышит, мыслит...»

Сделал несколько шагов и замер старик Гирс, с некоторого времени сердце становится у него поперек горла и не дает идти. «Без крайней необходимости дипломат не должен портить отношений ни с друзьями, ни с недруга-

ми,— говорит Гирс, переводя дыхание, последнее слово далось ему с трудом.— Хлопнуть дверью всегда успеете...»

Репнин остановился: тишина и запах дыма. Впрочем, откуда явились эти господа? В справедливых словах и прежде не было недостатка, но кто-то помешал их превратить в дело... Дым и тишина. Тишина и дым. Репнин раздвигает шторы: прямо перед ним безупречно прямой ствол Александрийской колонны и над ней на бледном небе срезанный туманом, точно разрушенный, ангел без креста. Не мираж ли это?

Значит, министерство европейской революции? Да, министерство европейской революции на Дворцовой, шесть, в пяти минутах ходьбы от опочивальни самодержца всероссийского, бок о бок с главным штабом, едва ли не в покоях Ламсдорфа и Сазонова?.. Господи, причудится же такое!

Ничего Репнин не хотел сейчас так, как сбересть этот мир, его стойкость, непреодолимую силу границ — сколько сил отдал он упрочению этого мира. «Мы предполагаем предать гласности тайные договоры». Это он, Николай Репнин, российский дипломат, советник, без пяти минут посланник, а может, и посол, будет предавать гласности тайные договоры?

Но окончен ли тот разговор? Или Репнину предстоит его продолжить? Если Чичерин покинет Англию через две недели, значит, он будет в Питере еще в январе. Репнин сделал усилие, чтобы вызвать в памяти Лондон, порт, Темзу, но увидел серое лондонское небо, сизый сумрак тумана, желтые огни...

Он остановился. Снег шел и шел. Репнин поднял глаза. Прямо на него с глухой стены кирпичного дома мчалось трехглазое чудовище: «Локомотивы. Уполномоченный в России инженер Шарль Жилль».

— Господи... что за наваждение?

Он вернулся поздно. В доме было темно, свет горел только в столовой. Николай Алексеевич прошел к себе, намереваясь час-другой отдать чтению — томик Бисмарка на письменном столе оставался раскрытым. Он уже сел за стол, но, не дотянувшись до настольной лампы, отнял руку.

Свет из столовой проник в кабинет — в дверях стоял Илья.

На память пришла та далекая осень, когда Илья впервые приехал из Черногорни — молодой атташе, почти секретарь, он был жизнерадостен и горд собой. Илья стремительно двигался по дому, тоненький, златокудрый, в чудесно сшитом костюме цвета яркого турецкого табака. «Мы великая держава, и нам это надо понять», — сказал он однажды пятнадцатилетнему брату, неожиданно возникнув перед ним. — Без крайней нужды не следует снимать посольские здания в аренду, надо строить свои...» — добавил он и помчался дальше — ему очень хотелось казаться старше, чем он был. А сейчас он стоял в дверях, и тревожные хрипы распирали грудь.

— Ты что же... бежишь от меня? — спросил Илья.

Казалось, дверь защемила его и не выпускает.

— Садись, брат, — Николай Алексеевич указал взглядом на кресло.

Наступила пауза, она была прочной — никому не хотелось нарушить ее первым.

И вдруг вспомнились слова Ильи, сказанные накануне: «Ты заметил, чем больше нам с тобой лет, тем разница в годах все меньше. И не только в годах. Вот смотрю в зеркало и думаю: никогда мы не были с тобой так похожи друг на друга, как теперь... с каждым годом все больше». Он не без радости сделал это открытие. Сделал и счастлив — брат. Никто бы этому не обрадовался, а он счастлив — брат, брат...

— Питер уже знает о твоей встрече с Ульяновым, — произнес Илья, и в груди его загудело — верный признак волнения.

— Донесли сподвижники с Университетской набережной? — спросил Николай.

— Свою голову не уберег от позора, пощади мою — она у меня побелее твоей, — сказал Илья.

Николай медленно захлопнул книгу, отодвинул — его кулаки сейчас лежали на столе, неподвижные, намертво сжатые.

— Прости, брат, но, наверно, я понимаю это не хуже тебя, — наконец произнес Николай.

— Хуже, — сказал Илья.

Николай встал и пошел к двери.



«Цепи — это жалость», — неожиданно вспомнил он слова Анастасии Сергеевны и остановился.

— Жалость, жалость, — повторил он.

## 10

Говорят, Клайд кормит Шотландию. Когда идешь из города в порт, из-за кораблей, что стоят на Клайде, не видно воды.

Петр свернул за угол — порт был внизу.

— Белодед?

Петр обернулся: из-за акации, ярко-желтой и ветхой, вышел человек и захромал к Петру. Он был коренаст и рыжеус.

— Можно и не останавливаться, пойдемте вместе.

Белодед подумал: ну, усы тот отпустил явно для конспирации, а как нога, на которую он припадал с такой силой? Конспирация или все-таки полицейская отметина? Петр знает, нет страшнее тульских и тверских костоломов — руки у них каменные.

— Я сейчас уйду, — шепнул человек, не останавливаясь. — Запомните, вы поедете не один. Скажу больше: с вами отправится некое лицо.

Он так и сказал: некое. Аккуратный конверт (в такой вкладывают визитную карточку) лег Петру в карман. Белодед ощутил твердую кожу конверта. «Неужели возвращение на родину?» Он почувствовал, как похолодели руки.

А человек уходил; сейчас он хромал больше обычного — под гору идти было труднее. Однако если это конспирация, то неумелая: кто не знает, что хромым, кривым и бородатым полиция берет в первую очередь.

Белодед вскрыл письмо уже в порту: все так, как думал Петр, — он едет в Россию! Не было добрее вести, и недаром он ждал ее все эти месяцы... Да и кто из русских людей в Англии не ждал этим летом заветного часа, когда вернется на родину. Но что все-таки значат слова о некоем лице?.. Кто он, этот человек, с которым Петр отправится в Россию? С чего начать сборы и пойти ли к Кире сейчас или собраться с мыслями?

Петр огляделся: он сидел на железной скамье, облитой дождем (дождь прошел только что, студеный, де-

кабрьский). Ветер растолкал облака, набежало солнце. И вновь счастливо и беспокожно заныло, заколотилось сердце. «Нет, нет, все кончить и выехать завтра, все пережить и уехать. А Кира?..» Однако солнце торопится, белесое, неожиданно утратившее и тепло и яркость, торопится и все-таки не сдвинулось с места. А как же Кира?.. Надо идти к ней...

Петр подумал: он позвонит сейчас к Клавдиевым и ему откроет Ангелина Тихоновна. Бывает же так в жизни: разум рухнул, зато память стала еще яснее, будто бы, погибнув, разум отдал все силы памяти. «Нет, милостивый государь, не вам со мною тягаться в знании света...» А потом этот сундук, из которого она извлекает иконы. «Еще мой батюшка говорил: независимость личности — прежде всего в карманных деньгах. Снесу еще одну икону этому старьевщику...»

Как-то даже не верится, что эти две женщины выросли из одного корня. Сундук с иконами и пейзажи Киры. Матовое здешнее солнце не могло рассеять мглы — пейзажи были тускло-сизыми, сумеречными. Да, эта русская девушка, очень русская (у нее только глаза жадной и горячей черноты, а волосы желто-льняные, и вся она совсем льняная), увидела в зеленых и влажных лугах нечто такое, что могла заметить и полюбить только она. Вот так близко прикиннешь к земле, полюбишь ее, а придет пора прощаться... что тогда? Ведь Кира родилась здесь, и запах клевера она ощутила впервые в шотландской деревушке, куда возил ее отец. А когда Петр пришел в их дом, она счастливо растрожилась не только потому, что это был он, Петр. Просто явился русский, и она увидела в нем то далекое, снежно-суровое, что звалось Россией.

Если ее спросить: «Поедешь?» Как она? Однажды, уже этой весной, Петр видел, как Кира стояла на лестнице, сбегаящей в порт, и смотрела на Клайд. К судну, что было готово к отплытию, шла лодка, и в ней была семья, русская семья: муж с женой, уже немолодые, и двое маленьких детей. Шел дождь, и мать пыталась накрыть детей пледом, а пледа не хватало. Петр оторвал взгляд от лодки, посмотрел на Киру. Что думает она и хотела ли бы она быть той, что склонилась сейчас над детьми? И Петру вдруг почудилось, что он знает ответ Киры. Она могла бы сказать так, как сказала Петру од-

нажды: «Я не собираюсь быть ни твоей женой, ни женой кого-либо другого. Мой друг — свобода...»

И вот Петр шел к Кире: он едет в Россию.

Ему действительно открыла Ангелина Тихоновна.

— Все-таки, Петя, вы плебей. Жмете руку так, точно я прасол. К тому же у меня перстни... Вот смотрите, здесь вся наша жизнь и вся родословная.— Она слабо шевельнула средним пальцем.— Это колечко моей помолвки, оно простенькое, но мне дорого очень — с него началась жизнь. А это обручальное кольцо,— она согнула и слегка выдвинула палец, искоса взглянув на Петра.— На этом перстне бирюза умерла, верно, бирюза умирает, разве вы не знаете? А вот это трагическое кольцо — видите, роза и крест...— она сняла кольцо без камня, протянула его Петру.— Им обменялся с Кириным отцом друг — болгарин, тоже революционер, враг монархии (она сказала: революционер и монархии), обменялся на счастье и погиб. Колюшка очень верил в это кольцо, как в талисман верил... Однако эта вера охранила его душу, не сердце...— она поднесла руку, обремененную кольцами и перстнями, к груди, будто защищая ее от нескромного взгляда мужчины.— Кира, к тебе!.. Ну идите же, смелее... Кира!

Она позвала внучку еще и еще, но Кира не вышла. Ангелина Тихоновна махнула рукой и направилась к себе. Петр подошел к двери Кириной комнаты — дверь полуоткрыта. Ему подумалось, что комната пуста, он заглянул. Кира спала, и ее откиннутая рука была странно торжественной, какой она никогда не бывает в жизни.

Он тихо вошел и сел на край тахты. Было слышно Кирино дыхание. Что-то безмятежно радостное, легкое делала она во сне — шла босая по лугу, сидела под тенистым деревом с книгой или бежала под гору по зеленой и мягкой траве и кричала: «Я бегу к вам! Бегу!..» Как она похорошела за эти три месяца, пока ее знает Петр. Но все казалось, придет день, и красота заколеблется. Что-то необъяснимое вызревало в глубине ее глаз.

Единственное желание — разбудить ее и сказать: «Поедем! Собери со стен холсты, скрути потуже холмистые поля и овраги, поросшие осокой, и поедем».

— Кира... Кир, мы едем в Россию. Я не спрашиваю, я говорю тебе: мы едем...

Она лежала тихая и странно безмолвная, глядя куда-то прочь. Потом села, обхватив колени.

— Что же делать?..— она взглянула на Петра глазами, в которых был страх.— Что же делать мне, а? — она устремила глаза на мольберт, где стоял недописанный этюд (сенокос где-то в Шотландии, скирды, темные, почти черные, а за ними гаснущая заря).— Только не уезжай сегодня... дай подумать.

— Если не решишь сама, я пойду к Клавдиеву,— сказал Петр.

Она заметно смутилась. Она боялась Клавдиева. Он не был для нее грозой. Он был ее совестью.

— Если не решу я, он не сделает это за меня.

— Ты должна,— повторил Петр, но Кира не ответила. Губы ее набухли, лицо стало необычно маленьким. Это было похоже на диво: только что такая красивая, она вдруг утратила и красоту и, ему не хотелось в этом со-знаться, обаяние — он не любил ее такой.

— Я жду тебя завтра до вечера...— сказал он, не глядя на нее.— В семь я приду к этой ели,— он взглянул в окно, за которым виднелась темная громада ели.— Если ты решишь, пусть окна будут освещены и я поднимусь за тобой.

— Ты и здесь остаешься самим собой. Ель, освещенные окна...— Она улыбалась, не утирая глаз.— А нельзя ли проще?

— Нет, так лучше,— сказал он больше себе, чем ей.— Завтра в семь я буду стоять у ели.

Он поцеловал ее в щеку — она была холодной и со-леной.

## 11

Петр убежден: все Белодеды происходят с Кубани и берут начало из станицы Прочноокопской, большой и красивой станицы, которая стоит на правом, высоком берегу Кубани и видна за версты и версты. Петру всегда казалось, что старшим из всех Белодедов был отец, и несказанно обидно, что, великий умница и мастер, он был невелик ростом, немногим больше божьей коровки, которую брался подковать. «Добрый человек, и чего ты так мал?» — спрашивали кузнеца проезжие. Кузнец

взмахивал молотом, и вместе со звонким ударом падало на землю незлобивое слово: «А как мне быть не малым?.. Родила мать двойняшку, меня и сестру, и ей не дала росту, и меня обидела — что полагалось ей, дала мне, а что мне — перепало ей». Но за недостаток роста мать воздала сыну и умом и умением — лучшего кузнеца в станице не было. Взял Дорофей жену добрую, если не самую красивую, то самую дюжую. Идет Дорофей в церковь, а станица смеется: «Пасет жена Дорофея». Принесла она Дорофею трех детей: двух сынов и дочь. Идет Дорофей с женой и детьми в церковь, а станица смотрит — и смеяться как будто неудобно. «Ох, и дока этот коваль... вон каких наковал!» Была у Дорофея тайная страсть: ружья. Из водопроводной трубы и куска простого железа он сооружал нечто такое, чему дивилась вся Кубань. По точности боя и красоте отделки не было ружья, равного дорофеевскому. Свое умение Дорофей передал детям: все они были и кузнецами и оружейниками. Не без тревоги Дорофей смотрел на младшего — уж больно по сердцу пришлась тому отцовская страсть к оружию. «Вакула — человек мирный, он и с ружьем мухи не пришибет, — не раз говорил отец. — А вот как Петро?»

Налетела холера на станицу и унесла Дорофея. Старший, Вакула, взял себе кузню. Младший, Петр, ничего не взял и подался на север, в черные донецкие степи. Точно полая вода, идущая в низину, в Донбасс стекались все, кого на тысячи верст окрест смяла беда, — с кубанских, ставропольских, донских степей, с кавказских предгорий, с великой Средне-Русской равнины. Шахты обладали способностью завидной — в них горе переплавлялось в гнев. Запали этот заряд гнева, и заклоочет огонь в недрах потаенных — от Ростова до Петербурга слышно. Свою долю ненависти и веры добыл в шахтах и Петр.

Вакула был человеком с замахом, да и мать с сестрой были ему добрыми помощниками.

В ту пору Кубань как на дрожжах подымалась — у золотой земли и пенка золотая. «Русская Америка!» — трубили газеты. Кубань строила заводы. Вакула поставил рядом с отцовской кузней мастерскую — фаэтоны, тачанки, тарантасы на рессорном ходу! А что надо для степного края? Колеса! А потом снял на корню свою мастерскую и перенес на окраину соседнего города. Когда

тремя годами позже Петр приехал на Кубань, брат увлекся новой идеей.

— Фаэтон должен быть с мотором,— говорил Вакула, листая петербургские журналы с рекламными объявлениями автомобильных фирм.— «Ауди», «Бенц», «Даймлер», «Ариес», «Дикси», «Крит»,— не без удовольствия повторял он названия знаменитых фирм.— Бесшумный ход! Нет дыма, наименьший расход бензина, масла и шин! Первенство мира! «Гран-при»!.. «Даймлер»! Просят не смешивать с другими фабриками, именуящими себя «Даймлер»... Да разве можно в наше время мастерить брички и фаэтоны, когда есть такое чудо? Вот моя программа,— воодушевленно изрекал Вакула.— Ремонтная мастерская на Черной речке в Питере. Потом ателье проката. Потом фабричный склад «Ауди» или «Бенца». Потом... Лельку за автомобильного принца выдам! — кивал он на сестру, если та в эту минуту случайно оказывалась в комнате, ей уже сравнялось восемнадцать, и она была хороша красотой степной красавицы — ярко-смуглая, с густым румянцем, с очами жаркой, не успевшей остыть смолы.

Петр смотрел на брата, иронически скосив глаза, соображая, какой дерзостью ответить на торжественную тираду.

— «Оружейная торговля «Картушев и компания»! — вдруг произносил Петр самозабвенно-лихим тоном, заимствованным у Вакулы.— Специальность: ружья, винтовки, штуцера, револьверы, пистолеты всех новейших систем! — Петр видел, как мрачнеет брат.— Оружейный склад «Эдуард Вениг», дробовые ружья, винтовки, револьверы, автоматические пистолеты, охотничьи припасы! — азарт поединка увлекал Петра, в голосе были и мятежная ирония и дерзость.— «Маузер»! «Маузер»! «Единственный уполномоченный в России, продажа оружия российскому правительству, казенным учреждениям, частным войскам, офицерским школам, корпусам и экономическим обществам!» «Маузер»! «Современное автоматическое скорострельное оружие!..» — Петр смотрел на брата, и его душил хохот — нет, не уныние сейчас отражалось на лице брата, а откровенная тревога, больше того, панический страх. «Остановись, сатана!.. — вдруг восклицал Вакула.— Дай тебе волю, ты поставишь под дуло и государя императора!..» Но Петра уже трудно было

остановить. «Государя?.. Ну что ж, и государь смертен...» — неопределенно произносил он, но Вакулы уже не было рядом.

Петр видел, как на исходе дня, когда звонили к вечерне, Вакула с матерью шли в церковь. Большие, в черных, добротной шерсти костюмах, они шли через город, щедро одаряя нищих мелочью. Петр глядел на них, и гневом закипало сердце. «Ты смотри, Лелька,— говорил он сестре.— В каких тварей обратились». А двумя днями позже Вакула призвал брата: «Зависть очи выела — на мою копейку заризишься!.. Сестру не мути... А коли дом мой тебе постыл, вот тебе бог, вот и порог...» Петр только усмехнулся: «Мне тебе завидовать нечего, темный ты человек. Вот дохнет революция еще разок и сожжет тебя вместе с твоими осями и рессорами...»

Все, кто хотел учиться,— нет, не просто грамоте — грамоте революции,— ехали в Одессу. На севере был Питер. На юге — Одесса. В Одессу направился и Петр.

Человек может прожить до седых волос, оставшись младенцем, но станет мужем, если встретит на жизненном пути учителя... Десяти учителей не бывает, как не бывает десяти матерей. Учитель всегда один, тот самый, которому суждено подарить тебе жизнь.

Ранним вечером на Приморском бульваре появляется человек в мягкой фетровой шляпе. Он идет небыстро и, остановившись, долго смотрит на море. Море загорается на глазах. Вода сизая, почти черная, точно это не вода, а нефть. Потом солнце вспарывает над городом облачное небо. Глыба огня приближается к нефти, и море дымится густо-красными, лиловыми, алыми дымами. Все видится: сгонь подступит сейчас к роковой отметине — и море глухо ахнет и взорвется. Море и в самом деле взрывается, но оно немо. Лишь косые линии взрывной волны впечатались в небо и отвердели.

Человек в фетровой шляпе стоит на берегу и смотрит на море. В стеклах пенсне бушует огонь, которым объято море. Человек улыбается. В улыбке, так чудится Петру, нет и тени восхищенного любопытства. «И на кого в наш век действует этот парад красок?» Кажется, вот сейчас человек поправит пенсне, усмехнется и рассыплет по кирпичной мостовой дробный стук своей трости, точно иронический смешок. Петр знал: в имени человека, под ко-

торым тот был известен в городе, скрывалось нечто непроницаемо-таинственное — Фавн. Стострочные фельетоны, подписанные его именем, не разрушали образа человека, а скорее дорисовывали: «Молчаливая дума», «Человек и его тень», «Зачем понадобился туман?» Одно появление Фавна на Приморском вызывало тревожное любопытство. Да и молва, которой окружил человека город, была чем-то схожа с хмуро-внимательными взглядами горожан: «Жестко премудр, ядовит, скрытен и опасен безмерно». Петр чувствовал, что город, сам того не желая, одел человека в броню, попробуй прошиби ее, подступись, даже если у тебя в кармане лежит письмо. Да, именно к Фавну было адресовано письмо, с которым Белодед прибыл в Одессу. Впрочем, на конверте стояло иное имя: Воровский.

— Вы когда-нибудь видели портрет Степняка? — спросил Воровский. — Вы очень похожи на него... такая же чернота в глазах, лихая. — Воровский улыбнулся. — Вам никто не говорил?

Петр не ответил. Ему говорили об этом, и не однажды. И к тому же... не было второго человека, на которого Петр хотел бы походить так, как на легендарного Степняка.

Они шли окраинной улочкой (село солнце, тишина была пыльной) и молчали.

— Для меня Степняк — это вера, храбрость и... благородство! — сказал Петр.

Воровский остановился.

— Благородство? Однако как понимаете это вы, не отвлеченно, а применительно к жизни?

— Нет поступка благороднее, чем взять на себя чужую вину, — ответил Петр, не задумываясь.

Воровский снял пенсне и протер его.

— Это как же?

Петр вспомнил Кубань, станицу над рекой, покатые степи, разваленные сврагами, точно ударами сабли. У самого оврага жили два брата. Как в сказке: младший — добрый труженик и отец большой семьи. Старший — конокрад. Старший задумал жениться и по сему случаю угнал табун. Полиция нагрянула, когда молодые были уже в церкви. Полиция не вошла в храм. Она потребовала, чтобы конокрад вышел на паперть. Свадьба не прервалась: вместо старшего брата вышел брат младший. «Я



угнал табун», — сказал он и ушел на каторгу. Говорят, вернулся в станицу стариком.

— Вот это и есть благородство, — сказал Петр и взглянул на Воровского, тот улыбался, иронически улыбался.

Они расстались вскоре, а Петр так и не вернулся в город. Он ушел в степь и остался там до утра. Нет, этот человек и в самом деле был одет в броню. Непросто было добраться до его сути.

— Погодите, вы сказали, Степняк... Но он был не прост и не однолик, Степняк-Кравчинский, — заметил в следующий раз Воровский, когда они шли спокойным шляхом в Новую Одессу. — Чем он симпатичен вам? Не храбростью ли?

Петр ответил не сразу — ноги мягко погружались в пыль, ботинки стали седыми.

— Храбростью... дерзкой! Не он ли на глазах столицы вогнал кинжал в грудь Мезенцева? Это ли не храбрость?

— Храбрость... — произнес Воровский.

Петр захотел сказать Воровскому что-то такое обидное, что достало бы до сердца, однако не посмел.

— Вы уверены, что тот, кто придет на место Мезенцева, поведет себя иначе? — мельком взглянул на Петра Воровский.

Петр достал платок и пытался промокнуть им лицо, которое неожиданно стало мокрым.

Лето было дождливым и холодным. Воровский работал у железной печи, а когда печь остывала, доставал плед и укрывал им ноги. В глиняной плошке быстро высыхали чернила. Воровский извлекал из стола химический карандаш и принимался его скоблить. Потом брал с печи чайник, лил воду в плошку. Петр приоткрывал дверь, Воровский улыбался и молча указывал Петру на табурет и раскрытую книгу на столе. Петр садился, брал книгу и, скосив глаза, видел: перо Воровского как будто рушило скалы, оно продвигалось медленно. Фельетон, пока он рождался, почти не вызывал улыбки у Воровского — точно смех, как подземный гром, разразился и отгремел, не вырвавшись наружу.

Той же окраинной улицей, какой они ходили не однажды, Воровский привел Петра в городской дворик с кирпичным домом. В глубине каменного сарая он раз-

бросал ногой ветхие доски (едва ли Петр мог угадать сейчас в этом человеке Фавна) и первым полез в черную прорубь.

— Ящики уложите здесь,— сказал Воровский, поправляя пенсне, когда добрались до дальнего отсека катакомб.— Уложите и заставьте камнями... вот так,— и Петр поймал себя на мысли: «Да Фавн ли это?»

А потом произошел тот случай с Королевым, и точно взрывом Петра бросило через три моря и опустило на далеких Британских островах. Имел ли этот случай какое-то отношение к спору Петра с Воровским? Разумеется, имел, хотя Воровский не знал ни Королева, ни события, которое заставило Петра покинуть Одессу. Не знал и — так думал Петр — не знает.

## 12

Все началось с истории весьма обиденной. В городе пошла по рукам книга с описанием жизни румынского первопечатника Иверяну. Петру захотелось ее прочесть. Молодая женщина в железных очках, работающая библиотекарем на Пушкинской, сказала Петру, что книга есть у одного местного книголюба, и обещала свести с ним. Прошло немало времени, и Петр основательно позабыл о своей просьбе, когда молодая женщина подвела к Петру человека в бархатной блузе. Так одевались в ту пору живописцы или солисты оперы. Но Степан Степанович Королев — так отрекомендовался человек в бархатной блузе — был всего лишь приказчиком в большом рыбном деле. Каждое утро, вернее на исходе ночи, он встречал в порту возвращающихся с уловом рыбаков и закупал рыбу. «Задача нелегкая,— признался Королев,— если учесть, что в порту работаю не я один». Но дело это Королева устраивало — занят он был не больше трех-четырёх часов в день, а остальное время мог отдавать книгам и, пожалуй, курам, которыми увлекался немало.

Степан Степанович вызвался показать Петру книги, и они отправились к новому знакомому Белодода. Дорога шла вдоль кручи, то поднимаясь, то опускаясь, и Королев часто останавливался, чтобы перевести дух — мучила жестокая одышка. Жил Королев в собственном кирпичном доме. Позади дома стоял обитый жестью

сарай с курами. Степан Степанович не держал ни плохих книг, ни плохих кур. В библиотеке было много старых книг на древнеславянском — непостижимо, каким чудом они попали сюда. Вооружившись лупой, Королев близоруко склонялся над раскрытой страницей, рассматривая ее, как ладонь, из которой следует извлечь занозу. Хозяин упросил Петра остаться на обед и весьма церемонно представил жену — женщину краснощекую и деятельную. Она была одета в ярко-белое накрахмаленное платье, которое шумело, когда она двигалась по дому.

К двум часам стол был накрыт, но хозяева не спешили, ожидая кого-то. Наконец подкатила линейка, и в дом вошел седоусый господин с большим кожаным портфелем. Он извлек из портфеля конверт и молча положил на тумбочку, стоящую у окна, затем дождался, когда хозяйка вынесет полотенце, умылся, не торопясь поцеловал руку хозяйке, ткнул синие губы в макушки сына и дочери, которые ждали этого, как благословения, подал холодную руку гостю и хозяину, сел за стол. Королев, с любопытством наблюдавший за тем, какое впечатление произведет гость на Петра, шепнул Белодеду: «Кассир... привез жалованье. Имею честь принимать дважды в месяц».

Новая книга, купленная у букинистов, давала более чем достаточное основание, чтобы Петр появился у Королева, а Королев у Белодеда, при этом ни вечер, ни даже ночь не были препятствием. Единственно, чего опасался Петр, не попасть бы к Королеву тридцатого или пятнадцатого. Не очень хотелось встречаться с кассиром. Сейчас Петр даже не может объяснить почему. Но однажды это все-таки произошло. Кассир был не один. Рядом с ним оказался молодой человек с тростью, украшенной монограммой. На нем был безупречно сшитый костюм в крупную клетку. Петру показалось, что появление господина с тростью явилось и для Королева неожиданностью. Когда Петр собрался уходить, Королев не пытался его отговаривать. «Коли беден, поведешь дружбу и со свиньей...» — молвил он, провожая Петра к калитке, и так рубанул ручищей, что куры, сидящие у будки, бросились врассыпную. Он говорил о человеке в клетчатом костюме.

Неизвестно, чем бы кончилась дружба с Королевым, если бы однажды Петр не получил письма, написанного острым и твердым почерком. Петр до сих пор не знает,

кто его написал, но уверен: он был Белодеду другом. «Королев больше, чем вы думаете, больше и опаснее. На его совести Седой и Арсеналец, да только ли они?» Человека, названного в письме Арсенальцем, Петр видел в редакции «Черноморского вестника», — он прибыл из Киева с двумя чемоданами взрывчатки и был схвачен. Седым звали юного друга Петра, дважды ходившего на весельной лодке в Болгарию и убитого в порту... Вновь и вновь Петр пытался воссоздать в памяти все, что знает о Королеве. Все казалось подозрительным, и в то же время не было причин для подозрений. Петр оставил старую квартиру и переехал в противоположный конец Одессы. Уму непостижимо, как узнал новый адрес Белодода Королев. «Вот какую птаху я раздобыл», — как обычно, с придыханием произнес он, появившись у Петра и протягивая толстый том Дмитрия Кантемира, изданный в молдавском монастыре.

В тот же день Петр перебрался в Новую Одессу, а неделей позже увидел на степной дороге человека с тростью. В этот раз человек был без трости, да и вместо костюма в клетку на нем была голубая форменная шинель. Вслед за этим соседи сообщили Петру, что накануне был в Новой Одессе человек и интересовался Петром. «В руках у него была книга?» — спросил Петр. «Книга». — «Один был?» — «Один». Значит, Королев шел по следу Петра, увлеченный погоней, забыв об осторожности.

Петр не пошел домой, остался у товарища, чья мазанка стояла на краю села. Всю ночь они пробыли с другом в зарослях подсолнуха у дороги, ожидая полицейских. Полицейские явились в третьем часу. Их было двое, Королев третий. Видно, где-то далеко за селом они оставили линейку и направились в село пешком. Они прошли в двух шагах от Петра, а Королев ближе остальных, Петр слышал его дыхание. Пожалуй, протянутой рукой не достанешь, но будь в руке кинжал, как в тот раз у Степняка, не мудрено достать. Там же, в полутьме придорожного подсолнуха, Петр сказал себе, что убьет Королева. Вот и сейчас он помнит, как посветлело на душе, когда сказал себе это. Он не думал в ту минуту ни о женщине в крахмальном платье, ни о мальчике и девочке, которые подносили головы к губам кассира, точно просили благословения, ни о теплом и светлом королевском доме, на-

полненном книгами и окруженном, как нимбом, разноцветьем породистых кур. Он думал только о Королеве, его черной душе, более черной, чем куртка Королева, пропахшая рыбой.

Петр не видел после этого Воровского, но хорошо помнит, что продолжал прерванный разговор, нет, теперь уже не о терроре, а о карающей деснице революции, праве казнить врага — пусть на годы и годы вперед все убийцы видят, что значит поднять руку на революцию. А затем в предрассветный час Петр встретил Королева на пологой горе, поднявшейся над морем, — тот возвращался домой из порта. Еще не видя Королева, Петр услышал дыхание, трудное, с надрывом, видно, подъем был нелегким. Королев появился над взгорьем, точно медленно вынырнул из моря, и, привалившись к изгороди, замер, грузный и беспомощный. Только трубно гудело в груди да пахло рыбой.

Петр зашагал к Королеву. Чем ближе был Королев, тем запах становился сильнее, сладковато-удушливый, маслянистый. Петр подумал: Королев слышит его шаги, но не может справиться с разбушевавшимся сердцем. А потом прошла вечность, прежде чем Петр врубил нож в тело, и Королев осел, цепляясь за изгородь, — казалось, минуты сочтены, но он все еще не мог унять одышку.

Петр пошел к морю. Его знобило, и руки пахли рыбой. Не было запаха противней. Петр добрался до воды и, опустившись на колени, стал мыть руки, драя их песком и галькой, но запах рыбы точно врос в кожу. Петру чудился этот запах в воде, в песке и гальке, в самом воздухе, он был неистребим, этот запах, как неистребим, наверно, был Королев — да убил ли Петр его там, в призрачной тьме города, у изгороди?

Той же ночью Белодед покинул Одессу.

## 13

Вакула слышать не хотел о Петре. Однако следил за ним ревниво: как было известно Вакуле, брат обосновался где-то в Шотландии, не то в Абердине, не то в Глазго, служил на корабле, много плавал. Говорят, даже тайно бывал в России, и не раз. При мысли об этом холодный

ветер забирался Вакуле за пазуху: «Где-то бродит брат под окном, точит кривой нож...»

Хозяин дома, в котором жил в Глазго Петр, привез жену из Сицилии, когда еще был боцманом. С тех пор прошло лет шесть, и боцман стал владельцем доходного дома. Он ходил по коридорам и верандам обширного жилища, как по палубе корабля, и только покрикивал; дом, как корабль, блистал чистотой.

Петр возвращался из плавания, и ему приятно было видеть молодую сицилианку с горячими глазами, стоящую у окна в цветастом нездешнем платке. Иногда она раскрывала окно и кричала, взмахивая руками, точно крыльями:

— О, рус... красиво!

И он бросал ей подарок:

— Стелла, лови...

Она протягивала руки, но сверток летел через голову и падал за спиной.

Если хозяин оказывался тут же, он наблюдал за всем этим без улыбки.

Именно в такую минуту Петра увидела Кира. Сверток не долетел до окна, молодая женщина вытянула длинные руки, и сверток лег в раскрытые ладони. Все, кто видел это — был июльский вечер, горячий и душный,— захлопали в ладоши, а Кира воскликнула:

— Bravo... ах, как хорошо!

Он оглянулся: длинноногая девушка, почти подросток, стояла рядом и смотрела на него смеющимися глазами. Петр улыбнулся:

— Вы русская?

— Русская.

— Не Клавдиева?

Петр слышал, и не раз: за углом в особняке с мраморным крыльцом живет русский историк Клавдиев, тот самый, кого мятежная судьба сына заставила переселиться в Англию еще в конце прошлого века. В семье Клавдиевых пятеро: сам Клавдиев, его жена, невестка с сыном и дочерью.

Ей было приятно идти с ним, большим и веселым,— она все смотрела на него и улыбалась.

— Нет, нет, книги я понесу сама, а бабушку я вам покажу так...

А он смотрел на нее и думал: сколько ей может быть лет? Семнадцать или восемнадцать? Нет, все-таки восемнадцать... Ее гофрированная юбка и светлая блуза слишком просты для взрослой девушки, которая к тому же хочет нравиться.

Но когда они пришли, оказалось, что бабушка уехала к внуку (потом Петр узнал, что старший брат Киры третий год был в больнице), и Кира повела Петра к себе. Позднее, когда он узнал ее ближе, он часто думал: как она осмелилась сделать это?

Комната выходила в сад. Это была мастерская художницы. Правда, этюды, которые Петр увидел, он понял не сразу. Нечто очень обыденное. Лодки на берегу Клайда. Рыбачьи сети на шестах. Розовые скалы (именно розовые — из камней, добытых в этих скалах, сложен Глазго). Чайки над морем. Дети, лежащие на прибрежной гальке. Женщины, стирающие белье. Все было написано на фоне блеклых здешних зорь, расцвечено неяркими красками шотландского неба, солнца, деревьев, воды, рыжего прибрежного песка, густой и до оскомины зеленой луговой травы.

И когда он взглянул на Киру вновь, она уже не показалась ему таким ребенком, хотя детскость, застенчивая и покоряющая, в ней осталась.

— Я читал где-то,— сказал он и посмотрел ей в глаза,— что есть голоса, которые ставит сама природа,— человек раскрыл рот и запел.

— Ко мне природа была не так щедра, как, впрочем, и ко всем Клавдиевым,— она помолчала, точно ждала, когда собеседник впитает эти несколько слов.— У Клавдиевых есть свой девиз: «Все настоящее создает труд...» — она подняла глаза.— Там... царство труда,— она имела в виду деда.— Не верите?

Он смутился, ничего не ответил.

— Пойдемте, я говорила ему о вас.

«А знаете, Кира,— сказал Петр, когда они поднимались к Клавдиеву,— я не видел его в городе». — «А Клавдиев и не бывает там», — так и сказала — «Клавдиев», будто она сама носила другую фамилию. Петр знал: старик вечно бодр, всегда работает и, наверно, хорошо работает, если каждую новую страницу его труда этот черт Тимбер чуть ли не выхватывает у него из-под пера. Петр диву дается: и что это англичанин так ухватился за кни-

гу Клавдиева, когда речь в ней идет о делах, насущных не для Англии, а для России,— «Горчаков и Бисмарк»?

Лестница. Темная некрашенная дверь. Полумрак. Запах клея и бумаги. Стеллажи с книгами. Коричневый дерматин переплетов едва обнаруживается в полутьме — книги дремлют.

И неожиданно широкая фрамуга, письменный стол и человек над столом, маленький. Петр подумал: даже как-то непонятно — Клавдиев, и так мал.

— Это ты, Кира?

— Да, Клавдиев. Я привела к тебе Петра Дорофеевича.

Клавдиев обернулся, шагнул навстречу Петру. У Клавдиева, как у врубелевского Пана, вся сила в глазах — твердые, в серых лохмах, они полны неубывающего света.

— Здравствуйте... Кира Николаевна говорила мне о вас,— он так и сказал: «Кира Николаевна» — завидная возможность лишний раз произнести имя сына.

Он стоит сейчас прямо перед Петром, раскачиваясь, упираясь, то на каблук, то на носок, и Петр может хорошо его рассмотреть. У него бородка клинышком, рыжеватая, пересыпанная сединами, и такой же рыжеватый венчик вокруг бледной лысины. Лицо бело-желтое, с голубыми, чуть выпуклыми линиями кровеносных сосудов у виска. Когда он вбирает губы (он любит это делать), аккуратно остриженный треугольник под нижней губой приподнимается и смешно топорщится. Смеется редко, точно стыдясь улыбки, но улыбка хороша.

— Кира Николаевна сказала мне, что вы рабочий?

— Рабочий, Федор Павлович.

— Вот это и есть... век двадцатый!..— воскликнул он и закачался с каблука на носок еще усерднее.— Значит, все, что имеете, добыли своими руками? Только то прочно, что добыто своими руками,— он вдруг раскрыл кулаки, не без любопытства оглядел ладони. Они у него белые, пальцы смешно растопырены, большие пальцы изогнуты полумесяцем.— Я вот тоже стараюсь... своими руками,— он вдруг улыбнулся, застенчиво и любяще взглянул на Петра.— А вы за кого, за Плеханова или, может, за этого лохматого... Дейча?..

— Я за самого себя, Федор Павлович,— ответил Петр, рассмеявшись.



Клавдиев ожил.

— А вы кто, простите?..— Клавдиев смотрел сейчас на Петра снизу вверх.— Вот мой Колюшка, отец Киры Николаевны, был за справедливость, за справедливость терпимую... За диктатуру пролетариата, но за терпимость.

— А по мне демократия — это свобода для угнетенных,— сказал Петр.

— А разве это исключает терпимость?

— Когда дело дойдет до крови, Федор Павлович...

— А вы кровь видели? Вот это тоже... век двадцатый,— произнес Клавдиев, не дождавшись ответа. Он сел. Петр стоял над ним.— Чтобы продолжить с вами разговор, надо иметь силы,— улыбнулся Клавдиев.— Я хочу, чтобы вы бывали у нас. Вы человек прямой, мне с вами легко разговаривать.

Они спустились в комнату Киры.

— Терпимость — это всеобщая вера Клавдиевых? — спросил Петр.

Она стояла сейчас у окна, и ее глаза, пронзенные светом, казались светло-коричневыми.

— Всеобщая,— она отошла от окна, и глаза обрели прежний цвет.— Только случайно я не стала историком,— произнесла она вне видимой связи с предыдущим.

Петр подумал: «Действительно, она лишь случайно не стала историком, это на нее похоже». Из тех немногих встреч, которые были у него с Кирой, Петр понял: в ней были и дисциплина ума, и логичность мысли, и то рациональное восприятие факта, когда факт освобождается от скорлупы и остается лишь ядрышко, в котором всегда мысль...

Через три дня, вернув первую из взятых книг, Кира сказала ему:

— Вы видели когда-нибудь здешние пляски? Хотите ...в шотландский театр?

Они действительно побывали в этом театре. Крышей для него было небо, кулисами — скаты холмов. Они сидели на взгорье и смотрели на сцену — она была внизу, у самой реки. Но едва село солнце, реку заволокло туманом и сцена перестала быть видна. Потом он смеялся: занавес упал вовремя. Он снял с себя пиджак и надел на нее. Она была очень смешная в пиджаке — из рукавов виднелись только кончики пальцев, и, аплодируя (изред-

ка туман рассеивался, и они с удивлением обнаруживали, что танцы продолжаются), она высоко поднимала руки, чтобы рукава упали.

Вдруг стало тепло и посыпал дождь, вначале маленький, как сквозь шелковое сито, а потом сито прорвалось, и хлынул ливень. Петр не успел набросить на нее плащ, она вымокла до нитки. Они бежали, укрывшись одним плащом. Она замерзла так, что стучали зубы.

Они стояли под огромным каштаном, и он чувствовал, как, мокрая, продрогшая до костей, она отогревается у него на груди и становится все более кроткой. Он поцеловал сначала ее глаза, потом губы — они пахли парным молоком и свежим хлебом.

А потом они сидели в каком-то окраинном кабачке, забившись в угол, и, смеясь, наблюдали, как рядом кутит большая семья, наверно, крестьяне, накануне продавшие по хорошей цене ячмень. Они пришли сюда со своими судками и чугунками, с ячменным вином, которое разливали из кувшинов. Петр и Кира смотрели на соседей (те кутили напропалую) и смеялись, смеялись от души — почему-то каждый пустяк мог заставить их смеяться.

А потом он просил рассказать о себе, и она рассказала, как отец бежал в Англию из сибирской ссылки, бежал через Архангельск, и как потом на семью обрушились беды: болезнь брата — туберкулез тазобедренной кости, наверно, ушиб («Я люблю его больше жизни, потому что знаю — он погибнет»), а потом смерть отца. «А вы смерти боитесь?» — спросила она внезапно. «Нет». — «А я боюсь. Все вижу, как меня хоронят, и хочется, чтобы было много народу и чтобы говорили обо мне разные хорошие слова. Вроде: «О, да она действительно подавала надежды...» Даже странно, живая я не тщеславна, а мертвая тщеславна... А вы как?» А потом просила говорить о России. «Я люблю, когда рассказывают о России, и все помню, где там что стоит, например, в Петербурге... где Казанский собор, а где Летний сад и, конечно, Академия художеств... Я часто брожу по Петербургу одна и не могу заблудиться, мне кажется, я там все знаю, а остальную Россию представляю смутно, только солнце и снег... А Кубань, она какая? Тополя, желтые реки и пыль?.. А почему вы здесь, а не в России? Революция? Как папа — государственный преступ-

ник? Преступник, а глаза мягкие. Погодите, а они все-таки у вас не черные... верно, не черные? Вот приду к вам днем и рассмотрю».

## 14

В следующий раз, когда Петр явился к Кире, она сказала, что с утра его дважды спрашивал Клавдиев.

В библиотеке горел верхний свет — Клавдиев был здесь.

— Что вы думаете об этом? — Он указал взглядом на стопку газет, лежащих на столе.

— Есть новости о походе Корнилова на Петроград? — спросил Белодед.

— Нет, другие новости: Керенский дал оружие рабочим! — Клавдиев сейчас стоял перед Петром и медленно раскачивался с носка на каблук. — Согласитесь, Петр Дорофеевич, если вы взяли винтовку, вам захочется выстрелить?

— Вы хотите сказать, следует ждать революции? Рабочей революции?

Клавдиев перестал раскачиваться.

— Я хочу сказать: она уже произошла в сентябре, впрочем, вы будете иметь возможность меня проверить. Кстати, помните мою формулу терпимости?

Петр улыбнулся:

— Свойство моей памяти, Федор Павлович, запоминать не только то, с чем я согласен.

— Главное, чтобы вы запомнили. На большее я не претендую, — сказал Клавдиев.

Петр стал бывать у Клавдиевых все чаще. Нередко он поднимался наверх.

— Даю вам вакансию на полтора часа, — говорил Клавдиев, глядя на чугунные часы размером в десертную тарелку, висящие рядом с окном.

Это значило, полтора часа Петр может побыть в библиотеке. Как установил Петр, в сущности, все книги библиотеки Клавдиева посвящались одной теме: Горчаков и Бисмарк. Крымская война и послевоенная деятельность Горчакова («Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится, она собирается с силами») были ядром библиотеки. Это чуть смешно, но библиотека напоминала Петру

большое подсолнечное поле на родной ему Кубани, над которым с утренней зари до вечерней работала неустанная пчела. Не объять поля взглядом, не пересчитать оранжевых шапок, но нет такой, на которой бы не побывала пчела и не взяла свою долю нектара.

— А винтовки, розданные в сентябре, выстрелили,— произнес Клавдиев, неожиданно появляясь в библиотеке.— Помните наш разговор?

Петр увидел письменный стол Клавдиева и груды газет, лежащих поверх рукописи. Видно, терпение изменило Федору Павловичу, и, оставив рукопись, он принялся за газеты. Сегодня у Клавдиева были на это немалые основания: новая революция в России приближалась на всех парах.

— А не полагаете ли вы, что за восстанием в России последует взрыв в Центральной Европе? — вдруг спросил Клавдиев.

— Может, и так,— улыбнулся Петр — слова Клавдиева были ему приятны.

Клавдиев стоял сейчас перед Петром, глаза его были закрыты.

— Союз... вольных республик?

— Да, если дать свободу мечте,— засмеялся Петр.

— Вчера говорил с Кирой Николаевной: очень хочется в Россию,— Клавдиев добрее, чем обычно, посмотрел на Белодеда. «Не часто приходилось видеть таким Клавдиева. Куда девались строптивость и упрямство? Перед любовью к России и он безоружен?» И еще подумал Белодед: «Быть может, настало время поговорить с Кирой определеннее? Не об этом ли сейчас просит его Клавдиев?»

Петр поехал с Кирой за город к полого-каменным холмам. Они начинались на северо-запад от города.

На двадцатой миле Петр и Кира оставили дорогу и пошли открытым полем. Вечер наступил незаметно: солнце было бронзовым, а поля черными. Это было очень красиво: черные поля и пламенеющие холмы. Кира раскрыла этюдник — она спешила не упустить этот миг, а Петр сидел в стороне и смотрел на нее.

Заря погасла, но они не уходили. Они лежали на камнях, плоских и как будто нетвердых, и камни не холодили тела, они точно набрались за день тепла и теперь неторопливо отдавали его. Было необыкновенно хорошо ле-

жать и смотреть на облачное небо, нет-нет, а на нем прорывались звезды, беспокойные, студеные. Он протянул руку, и Кира придвинулась. «Кира,— сказал Петр,— я собираюсь в Россию. Ты отпустишь меня туда одного?» Она лежала, запрокинув руки, глядя на небо. «Я ни о чем не хочу думать... я не способна думать сейчас...»

Когда далеко за полночь он открыл глаза, ее волосы разметались по его лицу и рука, легкая и теплая, лежала у него на груди, словно охраняя от того большого и бездонного, что было вокруг: неба, мягкого простора, поля. Он стянул с себя свитер и укрыл ее, потом придвинул этюдник, зажег спичку. Злыми маками горели холмы, и стог был бесстыдно ярок. Тот миг, короткий и преходящий, когда зажглись холмы и поле заволокло тенью, она запечатлела точными и верными красками.

Они вернулись домой, когда на небе еще было полно звезд. Простились у ели под окнами. «Я спросил тебя, а ты не ответила...» — сказал он. Но она лишь слабо подняла руку и ушла. В этот раз он дольше обычного ждал, пока засветятся окна. Свет вспыхнул, но она не подошла к окну.

Это было четыре дня назад, и он, признаться, не думал, что так скоро должен повторить этот вопрос вновь и потребовать ответа, более определенного, чем прежде. «Я еду в Россию. Пойми: еду. Если дороги тебе...» Вечером, без пяти семь, Белодед простился с хозяевами и вышел. Он перешел дорогу и проник во двор Киры. Вечер был темный, беззвездный, и напитанная влагой земля тоже темнела. Только неширокая, выложенная камнем дорожка, которой он сейчас шел, сумеречно светилась в ночи. Но ему неприятно было идти по ней — к стуку сердца прибавлялся стук ботинок. Он оставил дорожку и пошел по траве. Они так и условились тогда: светлое окно — Кира едет. Темное — остается. Он поднял глаза и на фоне глухого, неразлично темного неба увидел черный конус ели. Он обернулся: Кирино окно было темно. Он пошел со двора, но тотчас остановился. Это же глупо — вот так разом все оборвать! Он кинулся к двери, застучал — ответа не было. Он поднялся в дом, разыскал в темноте ее дверь, открыл, постоял посреди комнаты, дожидаясь, пока глаза привыкнут к мраку.

— Кира,— сказал он, так и не дождавшись минуты, когда способен будет что-то видеть.

— Это ты,— она стояла рядом.— Я не поеду...

## 15

Поезд шел в Лондон. Петр был в купе один. Он погасил свет, раздвинул шторы. Давно закатилось солнце, а на небе все еще удерживалось текучее пламя. Не шла из головы слова Киры, последние слова: «Не поеду». Ну конечно же, Россия видится ей иначе, чем Петру,— далекой, не познанной взглядом и сердцем, поэтому сурово-недоступной.

А пламя все еще тревожило небо. Петр припик к стеклу. Что отразило небо: давно отошедшую на запад зарю или кипение битвы, фронты которой опоясали Европу от атлантических берегов до белых просторов России? И Петр вспомнил газетную телеграмму, прочитанную накануне: в Брест выехала мирная русская делегация. И сознание многократно повторило: в Брест, в Брест.

Петр снова взглянул на небо и вздрогнул; в этом свечении почудился ему не столько отсвет огня, сколько крови. На снег, на крепкий русский снег она легла, медленно текущая и алая. Сколько ее пролилось в эти годы? Сознание выхватило из телеграммы строку: «Ленин сел за стол переговоров...» И Петр подумал: это будет нелегкое единоборство. Какой он, Ленин, за столом переговоров? Петру припомнилась фотография в доме друга, много ездившего по белу свету. Капри, май, быть может, конец мая. Ясное утро, уже знойное. Позади взгорье в горячей дымке. В такой зной полежать бы на прибрежном песке, подставив спину солнцу, но русские играют в шахматы. Два человека склонились над доской, склонились низко: битва в разгаре. На одном из них котелок не без озорства чуть-чуть сдвинут на лоб (признак хорошего настроения). Кулаки на коленях сжаты. Он узнал Ленина. Противник строг и хмур, в то время как на лице Ильича улыбка. Сжатые кулаки и улыбка? Да, пожалуй, так. Петр хорошо помнит: фигура Ленина устремлена вперед. Спина выражала упорство. Его явно увлек азарт боя. Именно таким было впечатление от фотографии: не холодное спокойствие позиционного бой-

ца, а порыв человека эмоционального, способного решить исход битвы коротким и сильным ударом. Петр взял лупу и попробовал рассмотреть фигуры, стоящие на доске. Это было нелегко — доска вне фокуса.

Над полем стлался паровозный дым. Ветер свивал его и развивал, будто снеговую порошу на гладкой, схваченной морозом земле. И вновь на память пришла Россия. «Ленин сел за стол переговоров». Петр зримо увидел человека, склонившегося над шахматной доской, и взгляд сощуренных глаз, и сжатые кулаки на коленях. Там, в России, началась новая баталия, не менее упорная, чем битва этой войны. Как сложится единоборство и какая лупа поможет рассмотреть его?

Поезд прибыл в Лондон без опозданий — для военной поры то было счастливым исключением. Петр выждал, когда вагон опустеет, огляделся.

— Товарищ... Белодед? — Человек снял и протер очки. — Литвинов.

Старенький «металлуржик», окутанный синеватым облаком керосинового дыма (второй год машины ходила на керосине), повез в гостиницу. Придерживая чемодан, который стоял у ног, Белодед осторожно поглядывал на Литвинова. Твердый воротничок уперся в подбородок, губы сомкнуты.

Петр вспомнил пятнадцатый год, аншлаг над просторной страницей лондонской газеты: «Русский экстремист Максим Литвинов бросил бомбу...» Разумеется, Литвинов не бросал бомбы, но эффект от его речи был таким, как если бы он настоящей бомбой сокрушил зал, где заседали европейские социалисты. Конференция обсуждала, по существу, один вопрос: позиция социалистов в войне. Не надо быть большим знатоком Марковского учения, чтобы уразуметь: социализм и империалистическая война — понятия-антиподы. Но почтенные делегаты отважились согнуть в кольцо камень, которому от природы не велено гнуться. Оказывается, идеалы русской и английской короны едва ли не явились первоосновой «Коммунистического манифеста». Но вот пресекается торжественный глас органа. Разумеется, демократия предполагает терпимость: конференция согласилась выслушать и представителя русских большевиков. На трибуну поднимается Максим Литвинов. Он идет медленно, и сто делегатов, потупивших глаза, кажется, видят толь-

ко ботинки, погружающиеся в зеленый ворс ковровой дорожки.

Литвинов говорит. Какую-то минуту зал затаил дыхание — тишина неожиданности, тишина любопытства. Потом зал взрывается. Он вопит так, точно его обдали кипятком — не от этого ли пошли по лицам красные пятна? Кажется даже неправдоподобным, что люди в белых манишках могут так кричать. Спокоен только человек, идущий с трубины. Но, странное дело, зал и теперь не смотрит ему в глаза. А человек идет неторопливо, будто каждым шагом, крепким и обстоятельным, вразумляет и втолковывает. Человек ушел, но зал еще долго не может прийти в себя. Красные пятна, как и следы крепких ног человека на ковровой дорожке, исчезают не сразу.

А старый «металлуржик» между тем продолжает путешествие по Лондону.

— Как в Глазго... дождь и ветер?

— Ветер...

Петр улыбнулся, однако его спутник не был щедр на слова.

— А здесь второй день ясно, электричество зажигают только вечером.

— Нет тумана?

— Да, представьте... даже как-то непривычно.

Говорит о пустяках, но манера говорить прежняя.

В кабине лифта Литвинов, наклонившись, долго рассматривает кнопки — какую нажать, наконец нажимает осторожно и тщательно.

Лифт вздрагивает, на миг замирает и нехотя взбирается.

В коридоре полутемно, красная лампочка не дает света. Затихли шаги Литвинова.

— Здесь, кажется,— говорит Литвинов.— Да, здесь, прошу.

Комната не больше вагонного купе, но в ней есть все: койка, тумбочка, стол, два стула и даже умывальник с эмалированным тазом вместо раковины.

— Как находите ваше жилище? Большого пока не можем вам предложить.— Литвинов подходит к окну и распахивает его.— Не боитесь простудиться? — Он снимает пальто, шляпу.— Знаете ли, дорогой Белодед, зачем мы вас вызвали?



Петр поднимает на него глаза: вот и закончился разговор о ветре, дожде и туманах.

— Нет, не знаю, Максим Максимыч.

Он сказал: «Максим Максимыч» — и вспомнил первую встречу в Берне или Штутгарте, нет, в Штутгарте. Литвинов носил усы лемешком и полотняную русскую рубашку, расшитую крестиком. Сколько лет могло быть ему тогда: тридцать или тридцать пять? Но и в ту пору его звали почтительно-любяще — Максим Максимыч, и он казался Петру таким дядюшкой, покладистым и щедрым, чем-то под стать лермонтовскому Максиму Максимычу. С тех пор прошло немного лет, и дело не только в том, что Литвинов давно не носит усов и вышитой рубашки, что-то изменилось в самом человеке.

— Так вы не знаете, зачем вас вызвали? — Литвинов сидит дом напротив — девушка подняла на вытянутых руках простыню и ловко набросила на веревку.

— Мне кажется, речь идет не просто о возвращении в Россию...

Литвинов взял чистый лист бумаги и легким движением карандаша вывел берег реки, высокий, отвесно падающий, всхолмленную воду, лодку.

— Одно возвращение на родину может сделать человека счастливым... Вам предстоит еще совершить доброе дело для революции, — твердым движением карандаша поставил на лодке мачту. — И не только это. — Он прикрепил к мачте паруса и распустил их. — Право, не знаю, как объяснить вашу миссию точнее, — он начертил над корабликом облачко. — Вы отправитесь вместе с Георгием Васильевичем Чичериным... — карандаш вновь пришел в движение, над рекой, над ее крутым берегом, над парусами возникла цепочка птиц, долгая, печальная. — Вам надлежит помочь Чичерину в этой поездке, помочь, значит, охранить... — Литвинов подвинул рисунок на середину стола, внимательно всмотрелся, точно примеряясь. — А теперь у вас будет десять минут, чтобы привести себя в порядок... только десять минут, нам предстоит сегодня вояж....

Он отстегнул ремешок ручных часов и, положив перед собой, снял с рычага телефонную трубку.

— Хэлло, Билл... Хэлло, да, наша конференция... Как всегда, на Викториа-стрит, — заговорил он по-английски. — Нет, мы начнем конференцию в восемь, и со мной

будет Клин... Я говорю, Боб Клин...— Литвинов взглянул на Белододеда, точно приглашая разделить иронию. Ведь, кажется, все так просто: конференция состоится на Викториа-стрит ровно в восемь и Литвинов явится туда с Бобом Клином.— Хэлло, мистер Паркинс, мы встретимся завтра в двенадцать... Нет, не могу ни в одиннадцать, ни в два...— он достал памятку и, сняв очки, близоруко рассмотрел, памятка была тщательно заполнена почерком Литвинова, сколько раз он заглянул туда за день! — Не могу... В одиннадцать у меня встреча в Британском музее, а в два я должен быть на Пикадилли... Хэлло, мистер Уиндоу... Да, да, это я, Литвинов, я сказал, Максим Литвинов, теперь вы слышите меня? — Литвинов зажал ладонью трубку.— Эти старые тори, когда хотят — слышат, когда не хотят — не слышат.— Он вновь закричал в трубку: — Мистер Уиндоу, я отправил пакет почтой... да, лондонская почта работает исправно, и вы получите пакет завтра после обеда...

Он положил трубку, взглянул на часы: видно, разговор со старым тори, который прикинулся глухим, разве-селил Литвинова — в глазах еще не погас веселый огонек.

— У нас есть две минуты,— он указал взглядом на телефонный аппарат.— Вы только что были свидетелем работы посольства Советской России в Лондоне. А час назад оно было на вокзале Ватерлоо, в четвертом окне вокзальной почты в течение десяти минут были опечатаны и посланы пакеты посольства в Манчестер, Бирмингем и Дублин, а еще раньше посольство расположилось на три часа в Британском музее, а утром — на втором этаже омнибуса проследовало с восточной окраины Лондона на западную... Запомните этот момент, дорогой Белододед, он может не повториться: это единственное посольство, которое не обременено штатом первых, вторых и третьих секретарей, швейцаров в ливрее, взводом поваров, выписанных из Петрограда, и шифровальной службой.

— Я смогу увидеть Чичерина еще сегодня? — осторожно спросил Петр.

— Да, разумеется... если не помешает одно обстоятельство.

— Какое? — спросил Петр.

— Чичерин в тюрьме.

— Речь идет о побеге?

— Нет, просто о возвращении в Россию.

Белодед встал.

— Простите, но я... не поеду.

Максим Максимович снял очки и улыбнулся, робко и ласково.

— Не понимаю,— он водрузил очки и долго смотрел на Белодеда, все так же улыбаясь.— Почему?

Только сейчас Белодед обнаружил, как мала эта комната — он задел и сдвинул кровать, чуть не опрокинул стул, в стакане угрожающе плеснулась вода.

— А какой смысл мне ехать? — воскликнул он, оставиваясь перед Литвиновым.— Ну, посудите, может ли быть картина глупее: два пассажира, имея при себе паспорта и билеты, плывут по морю... Что же в этом остроумного?

— Погодите, но в каком случае все это было бы... остроумно?

— Если бы надо было сесть за весла и пересечь море или на «Ньюпоре» преодолеть линию фронта и опуститься на степной дороге...

Литвинову даже не хотелось возражать. В самом деле, серьезно говорил Белодед или шутил? Если даже шутил, в шутке этой была доля правды. Белодеду, несомненно, хочется, чтобы эта поездка была опаснее, чем она есть на самом деле. Но как объяснить этому человеку, что все отнюдь не так легко? Не решит ли Белодед, что Литвинов заговорил о трудностях поездки после того, как о них вспомнил сам Петр?

— Все не просто,— сказал Литвинов и отошел к окну.— Вы знаете, по какому обвинению посадили Чичерина и, главное, кто этому способствовал?

Белодед не шелохнулся.

— Его обвинили... ах, дай бог память, в антивоенной пропаганде среди англичан, кажется, так звучит формула обвинения, но дело много серьезнее...

Литвинов присел к столу, придвинул рисунок, взял карандаш. Он молчал, думал, только карандаш скользил по бумаге: река была обращена в дорогу, кораблик в нечто напоминающее танк, птицы — в самолеты. Тихий, почти деревенский пейзаж обратился в военный.

— Когда пал царь и русские устремились на родину,— Литвинов испытующе смотрел на Белодеда,— здеш-

нее русское посольство воспротивилось возвращению соотечественников. Нельзя сказать, что оно отказывало эмигрантам в их просьбе, но установило во всем этом известные степени: в первую очередь возвращались те, кто поддерживал идею Февраля, а все, кто хотел идти дальше, оставались в Англии. Именно на этой почве у Чичерина возник конфликт с посольством.

— Вообще с посольством?

— Нет, лично с Набоковым, с тем самым Константином Набоковым, братом Владимира Набокова, издателя «Речи». Да это и не важно. Как вы знаете, со смертью Бенкендорфа преемником посла стал Набоков.— Литвинов взглянул на Петра поверх очков, точно хотел убедиться, интересно ли тому все, о чем он сейчас говорит. Однако он прочел в глазах Белододеда и спокойное радушие и внимание.— А дальше произошло то, чего следовало ожидать.— Литвинов подошел близко к окну и чуть пригнулся — там в пролете домов была видна Темза, темная, как город.— Когда Чичерин призвал в свидетели прессу и жестоко атаковал посольство, Набоков применил запрещенный прием: власти не без помощи русского посольства обвинили Чичерина во вмешательстве в английские дела. А об остальном вы знаете: Чичерина бросили в Брикстон, и неизвестно, как долго он просидел бы там, если бы не революция... Теперь представляете состояние Набокова? Чичерин выходит из Брикстона и едет в Петроград, как утверждают газеты, чтобы возглавить иностранное ведомство новой России. У англичан руки связаны, а у Набокова...— Литвинов стоял сейчас перед Белододедом.— Вы помните этот случай в девятьсот седьмом с русским эмигрантом, которого отказались выдать царю шведы? Отказавшись выдать, они предложили бедняге покинуть пределы Швеции, и он тут же сел на корабль, идущий во Францию. Но когда корабль достиг берега спасения, беглеца нашли в каюте бездыханным... Нет рук длиннее, чем у русской политической полиции,— вы это знаете не хуже моего.

— Значит, не надо пересаживаться ни на весельную лодку, ни на «Ньюпор»?

— Не надо,— согласился Литвинов и, сняв очки, взглянул на Белододеда.— Пусть мягкая мебель в салоне и лампа под зеленым абажуром, которая будет стоять в

каюте, вас не обезоруживают: это будет самая опасная ваша поездка...

Белодед молчал: так вот почему рядом с Чичериным ехал на родину он, Петр! И волнение, тревожное и все-таки радостное, объяло Белододе. Было точно такое состояние (оказывается, оно повторяется!), как в ту далекую азгустовскую полночь (Королев был уже мертв), когда он спрыгнул с каменистого черноморского берега в лодку, уперся веслом в бурую громаду прибрежной скалы и, оттолкнувшись, налег на весла: впереди было море, большое море, день и ночь безвестного пути.

## 16

К главному входу в Брикстон на машине не пробиться — фронт автомобилей преградил путь.

— Зрелище более чем примечательное: Великобритания великодушно дарует свободу русскому борцу, — смеется Литвинов. — Герцен непростительно ошибался, когда говорил, что Англия плохая помощница революции.

Их встречает чиновник Форейн-оффис — молодой человек в щегольском пальто с округлыми лацканами. Он приподнимает шляпу и обнаруживает пробор, который тщательно разделил на темени рыжеватые, слегка выющиеся волосы.

— Мне надо еще десять минут, только десять, — произносит молодой англичанин по-русски.

Литвинов поправляет очки — крупные губы выражают и хмурое нетерпение и озабоченность.

— Я готов ждать и пятнадцать, мистер Тейлор, но мистеру Чичерину ждать труднее.

Тот, кого Литвинов назвал Тейлором, ушел, а Петр продолжал смотреть на Литвинова. «Откуда этот мистер Тейлор и откуда его русский язык?» — спрашивал взгляд Белододе.

— Вы же знаете, я давал уроки русского языка, — сказал Литвинов, желая лаконичной фразой ответить на все вопросы Белододе.

— Да, но я не знал, что среди ваших учеников были английские дипломаты.

Литвинов рассмеялся.

— Были.

А молодой клерк, казалось, взвил полами модного пальто старую пыль Брикстона — все, что от природы было безгласным, загудело, застучало, загремело.

Потом все стихло, и наступила тишина. Белодед опять увидел улыбающегося клерка: он весел, как прежде, только лицо покраснело и волосы стали влажными, — и игра требует сил.

— Разрешение получено. Все как нельзя лучше. — Он улыбался так, будто стоял не посреди каменного леса, а на поляне, освещенной солнцем.

Они садятся на деревянную скамью и ждут. Света лампы не хватает на весь коридор, и дальняя стена уходит в полутьму. Чичерин должен прийти оттуда. Вдруг становится неправдоподобно тихо. Тишина камня, железа, сомкнутых губ... В окно, окованное железом, видна ветряная мельница. Это кажется необычным: тюрьма и мельница. Когда возникает ветер, крылья мельницы движутся. Наверно, эту мельницу видел из тюремного окна и Чичерин. Она такая же, как на холмистых русских полях: широкоплечая, чуть приземистая, с распростертыми руками крыльев. Она словно примчалась сюда из России, из русской юности, из русских сказок, чтобы сказать, как бессмертна и неборима жизнь.

Петр слышит: в глубине каменного дома хлопает дверь, хлопает так, будто ее рвануло и ударило ветром.

Петру кажется: человек идет один.словно перед ним открыли все двенадцать дверей, обитых железом, и сказали: иди вот этой каменной тропой и не сворачивай, здесь все дороги прямые — и на волю и в неволю. И человек пошел: он идет не спеша, спокойным и усталым шагом, идти нелегко, но он знает, что дойдет.

Чичерин появляется из сумерек с матово-бледным лицом, и только глаза глядят весело.

— Ну вот, я как будто бы на свободе, — улыбается Чичерин, но Петру его улыбка кажется печальной. Рука Георгия Васильевича легкая, до обидного мягкая, хотелось бы, чтобы она была и тяжелее и тверже.

Чичерин выходит на улицу и снимает шляпу.

— Какое счастье увидеть над головой небо, — он оглядывается вокруг. — По-моему, будет снег, вон как побелело... — он встречается взглядом с мельницей и улыбается. — Почти русская картина, не правда ли? — спрашивает он, а Петр думает: «Ну конечно же, он смотрел

на эту мельницу из тюремного окна и думал о России, обязательно думал о России».

«Металлуржик» устремляется вперед, и автомобили, стоящие перед тюрьмой, спешат вслед.

Лондонцы, запрудившие улицы, выходят к краю тротуара, они обескуражены. В самом деле, процессия более чем странная: какой доблестью завоевал старенький «металлуржик» честь возглавлять процессию лимузинов?

А «металлуржик» исправно гремит по камням Лондона, неторопливо пересчитывая их — все камни отмечены, ни один не пропущен.

Петр не сводит глаз с Чичерина: в его речи, в манере говорить есть холодноватая складность слова, породистость фразы, но нет свойственной интеллигентам того круга (никуда не денешься — для Петра Чичерин дворянин) покровительственной ласковости, которая почти всегда обидна. А небо над городом посуровело, и по брезентовому тенту машины застучала снежная крупа, мелкая и злая. Потом пришел ветер, а вместе с ним и крупный снег — началась вьюга.

— Россия!.. — как показалось Петру, восторженно произнес Чичерин и, застеснявшись, заговорил спскойнее, точно оправдываясь: — Вот так же в далеком Карауле, на Тамбовщине, встанет снежная туча и застит солнце, а к вечеру закрутит пурга все гуще и круче. А утром сугробы, солнце и сугробы... И синие следы саней — кто-то уже проехал по первопутку.

А «металлуржик» идет через Темзу, достигает Ооклей-сквер, где Георгий Васильевич снимает мансарду.

— Слушайте меня внимательно и следуйте за мной, — говорит Чичерин и храбро скрывается во тьме дома. — Предупреждаю: лестница длинная, и считать ступени надо точно, иначе попадете в квартиру хозяев. Итак, двадцать семь ступеней. — Чичерин идет впереди. Петру слышно, как он дышит и, кажется, считает. — Все, двадцать семь, — говорит он стесненным голосом: мансарда на самом небе. — Теперь поворачивайте налево — вот и дверь.

Скрипнула дверь, пахнуло холодом и книжной пылью.

— А света нет, — повернул выключатель Чичерин. — Где-то была лампа...

Он нащупывает стекло керосиновой лампы — это слышно по стуку запонки о стекло.

— Спички?

В синеватом пламени видна темная с рыжиной борода Чичерина и губы. Быстро сохнет запотевшее стекло, свет становится ярче, обнимая всю комнату. Лежит раскрытая книга. Отстоялся недопитый чай. В стакане с желтой водой безнадежно высох стебелек ромашки, и стол припудрен ярко-рыжей пылью. Поверх начатого листа бумаги легла ручка, и у самого кончика пера запеклось на бумаге чернильное озерцо: очевидно, все пресеклось на нетерпеливом вздохе, на печально-раздумчивом слове, на движении руки, которая повисла над бумагой, — дверь открылась без стука.

— Уцелел мой шесток, не растревожился, не обломился, — оглядел Чичерин комнату. — Теперь вижу: не много охотников жить по соседству с богом!.. — Он взглянул в окно, за которым бушевало ненастье. — Как на маяке... где-нибудь на Гогланде в Балтике, а?.. Где-то тут у меня была коробка сахарного печенья, — он раскрыл нижние дверцы книжного шкафа, коробки не было, снял с полки стопу словарей (там у него был тайник) — такой же результат, на минуту прервал поиски, раздумывая, а потом стремглав, едва ли не ликуя, устремился к тумбочке у кровати, но и там коробки не оказалось.

Литвинов снял очки и принялся старательно их протирать — очевидно, это верное средство справиться с волнением.

— Не хотите ли сказать, Максим Максимович, — произнес Чичерин, недоверчиво глядя на гостя, — смущенная улыбка Литвинова все объяснила. — Не хотите ли сказать?

— Да, хочу сказать именно это, — заметил Литвинов и, раскрыв портфель, извлек оттуда едва ли не содержимое гастрономической лавки.

— Ваша предусмотрительность, Максим Максимович, как и ваша обстоятельность... — Чичерин только развел руками.

Стол был накрыт.

— Вы полагаете, в Брикстоне меня сковала летаргия? — Чичерин посмотрел на Литвинова. — Нет, я все знаю, что совершалось в мире. Впрочем, проверим...



Литвинов говорил, и в зыбкой мансарде Чичерина, обдуваемой ветрами, вставал Петроград семнадцатого года. Ленин сказал, что опубликует тайные договоры. Дипломаты, аккредитованные в Петрограде, забастовали. Да, единственная в своем роде забастовка: дипломаты отказываются иметь дело с новой властью. Комиссары Советского правительства явились на Дворцовую, шесть: все, кто желает сотрудничать с революцией, встретят понимание правительства.

— Англичане полагают,— продолжал Литвинов,— Бьюкенен будет в Лондоне через две недели после вашего отъезда из Англии. Кстати, ходят слухи, при этом упорные, что преемником Бьюкенена, своеобразным преемником,— поправился Литвинов,— будет Брюс Локкарт.

Шевельнулись кустистые брови Чичерина:

— Это какой Локкарт, тот, что был вице-консулом в Москве?

— По-моему, тот.

— Но он не столько дипломат, сколько...

— Да... тот Локкарт.

Полунарек, прозвучавший в реплике Чичерина, был понят Литвиновым.

Георгий Васильевич смотрит на Белододеда,— кажется, в сознании Чичерина зреет мысль, пока еще неясная даже для него, но дерзкая, способная увлечь.

— А что, если завтра, например, вам, товарищ Белододед...— произносит он.— Именно вам, товарищ Петр...— он произносит «товарищ» с торжественной прямоотой и сердечностью,— явиться в российское посольство в Лондоне и от имени правительства новой России предложить сдать дела?

— Я готов...— отвечает Петр и смотрит на Литвинова: не обескуражит ли этот шаг Максима Максимовича? Но у Литвинова теплеют глаза.

— Пусть это будет пробным шаром! — говорит Литвинов.— Риска нет, а толк может быть.

— Ах, высохли чернила,— тычет Чичерин ручкой в чернильницу.— Высохли! Дайте карандаш, Максим Максимович,— он берет карандаш и, пододвинув лист бумаги, начинает писать.— Полагаю, что надо задать два вопроса, так сказать, фактических — на них нелегко отве-

тить. Встряхните этого монархиста Набокова! Скажите ему...— карандаш Чичерина стремительно побежал по бумаге — чтобы поточнее выразить мысли, Георгий Васильевич должен писать.— Итак, два...

Петру нравится его темперамент, его быстрая и неожиданная реакция, его способность дерзко мыслить. Вот идея возникла, и он хочет ее обосновать в первую очередь для себя и формулирует «фактические вопросы».

— Раз! Известно ли вашему превосходительству (так и нарекать его — пусть корчится!), что декретом съезда Советов создано рабоче-крестьянское правительство во главе с Ульяновым-Лениным? Русское посольство должно представлять именно это правительство, и никакое иное. Два! Когда ваше превосходительство намеревается сдать дела и ценности? — Чичерин отодвигает бумагу, заполненную скорописью.— Кстати, вы были когда-нибудь в нашем лондонском посольстве? — спрашивает он Петра.

— Был в мае у Набокова.

— Каналья! — восклицает Чичерин.— Небось говорил о роковых ошибках дома Романовых и клялся в верности демократии?

— Клялся.

— Вам надо пойти туда завтра. Кстати, что он говорил в тот раз, когда вы были у него?

Честное слово, Петр не думал, что к этому разговору придется когда-либо вернуться.

— Все вспоминал встречу с английским коллегой в Петрограде, сэром Джорджем Бьюкененом. По словам Набокова, сэр Джордж убежден: все беды — в Ленине, не надо было его пускать в Россию.

— Вы слышали,— обратился Чичерин к Литвинову, которого эти несколько слов Белододе подняли со стула.— Вы слышали: «Не надо было пускать Ленина в Россию!» Попробуй прикажи грозе встать во фронт перед полосатым столбом!

Стихли голоса. Было слышно лишь, как гремит крыша да где-то далеко-далеко тоскливо и шало ревет паровоз.

— Они по-своему верно решили проблему роли личности в истории.— Литвинов посмотрел на окно, которое стало белым от снега.

Чичерин шагнул к стене, там над железной кроватью висела карта Европы. Его пальцы с длинными ногтями пришли в движение — он вынул кнопки и, свернув карту, отнес в угол и дважды энергично тряхнул: запахло пылью.

Карта легла на стол. Это была обычная ученическая карта, по которой английские школьники изучают географию Европы. Круги и линии расчертили карту. Синее кольцо вокруг Львова. Красное — вокруг Сольдау. Ломаная прямая прошла через Ковель — Ровно — Проскуров. Более поздняя линия фронта не прочерчена — Георгий Васильевич был уже в тюрьме.

Чичерин провел ладонью по карте.

— Древние говорили: не бойся жертвовать. Да, как в шахматах, отдать королеву и взять верх.

«Два человека склонились над картой, — думает Белодед. — Настолько разных, что кажется неправдоподобным, что они идут одной дорогой. Но, наверно, и в этом сила идеи, которой они посвятили себя, — она способна сплотить разных людей.

Литвинов — дитя современного города. Он рационален и организован. Все, что он делает, тщательно рассчитано и устремлено в одну точку. Сильной и умной рукой он мог бы перекраивать карту, заставив землю в три пота работать на человека — командовать армиями геологов, металлургов, землепроходцев, взрывать горы, строить города.

Чичерин — философ, творец мысли. Его стихия — замысел, нередко стратегический, когда мысль охватывает пространство видимое и невидимое, когда она уходит за горизонт и обнаруживает, что ты увидишь завтра. Философ и... поэт, музыкант, знаток и интерпретатор Моцарта. Все это в лице Георгия Васильевича, в желтоватобледном отсвете кожи, во взгляде больших темных глаз, в неярком блеске волос, тронутых первой сединой... Петр видит его на трибуне всемирного форума отстаивающим интересы нового русского государства — его интеллект, его умение мыслить и обобщать, наконец, его способность говорить на иностранных языках с той же свободой и изяществом, с каким говорит на русском, — что можно еще пожелать человеку?.. Но вот вопрос, как все это сообразуется у Чичерина с умением выдюжить будни?.. Наверно, немалое искусство поразить мир проектом антивоен-

ного пакта, а затем отстоять его перед высоким форумом, но еще большее искусство уметь держать фронт, изо дня в день отбивая атаки врагов и атакуя...»

## 18

Когда Петр вернулся в гостиницу, портье вручил вместе с ключом записку, сложенную, как складывают обертку для порошков. «Буду в отеле ровно в девять — выйди навстречу. Кира». «Значит, решила: едет!.. Ну конечно же, едет. Иначе она и не могла поступить». Он взглянул на часы: без четверти. Вышел на улицу. Распоживалось. Где-то справа, над Дувром, а может, дальше, над Ла-Маншем, Дьеппом, долинами Луары, ветер высвободил кусочек звездного неба, но звезды были тусклые, будто светились на ущербе. Он вновь взглянул на часы: «Сейчас подойдет, сию минуту». Проехал автомобиль, один, второй. Потом где-то в стороне, из боковой улицы, донесся размеренный топот конских копыт — автомобиль еще не получил всеобщего признания, по крайней мере у лондонских аристократов. Цок... цок... цок... — высекал конь, а Петру мерещилось, конь отсчитывает секунды: «Одна... две... три...» Петр подошел к краю тротуара. «Не идет... Опаздывает. А прежде являлась точно».

— Петр! — послышалось за спиной.

Белодед обернулся. Ему показалось, Кира пробует улыбнуться. И вся она какая-то сникшая, будто ей хочется отступить и умчаться.

— Пойдем куда-нибудь, но только на воздух, — сказала она.

Спустились к реке.

Пароход тянул баржу. Когда баржа попадала в полосу света, они вдруг видели, что там свой мир, до смешного самостоятельный: собака ходит у конуры, ветер треплет белье, развешенное на веревке, в деревянном домике посреди баржи светится окно, наполовину закрытое кружевной занавеской, человек в старых, залатанных брюках чистит ботинки... Перед кем он будет щеголять в них на барже?

Они стояли и смотрели на баржу, и все их мысли были там, будто они пришли сюда единственно для того, чтобы взглянуть на мир, медленно движущийся по воде,

хотя ничего удивительного не было в нем, все было так же, как на берегу, даже обыденнее. Он первый понял это.

— Ты поедешь? — взглянул на нее Петр и поразился, как изменилась Кира за эти два дня.— Поедешь?..

Она подошла к краю каменной площадки, подошла так близко, что Белодед увидел ее отражение в воде.

— Ой, как мне трудно,— сказала она и приникла щекой к его плечу.

Он сжал ее руку, как сжимают руку ребенка, когда переходят дорогу, заполненную быстро бегущими автомобилями, заставил отойти от берега.

— У тебя голова закружится.

Но Кира улыбнулась, и опять он заметил: в улыбке не было радости.

— Нет... голова у меня не кружится.

А потом они сидели на деревянной лестнице, спускающейся к реке.

— Я не буду тебя спрашивать ни о чем... Когда скажешь... тогда скажешь,— заметил Петр.

— Я все скажу...

Он посмотрел вокруг: вода и холодный камень, негде уберечься и капле тепла.

— Я хочу слышать твой голос,— сказал он и ощутил ее руку у себя на груди — только и было жизни, что в теплой руке.

— Я стояла тогда в комнате и смотрела на ель.

— И видела, когда я подошел к ели?

Ее ладонь продолжала лежать у него на груди.

— Видела. Я хотела распахнуть окно и окликнуть тебя...

— Не зажигая света?

Она молчала. Ну конечно же, она и теперь не решилась уехать. Именно она, а не Клавдиев. Но что ее удерживает здесь? Мать настаивает. Мать знала о Петре и враждебно сторонилась. А может, всему виной больной брат? Нет, все в ее призвании, в работе. Она как-то сказала: «Уеду туда, и все может погибнуть, я могу не суметь там, страшно сказать, не почувствовать». Значит, все в красных скалах. Это все-таки предрассудки, но предрассудки честного сердца. Вон как ее свело за эти дни.

— Я знаю: тебе трудно сказать...

— Нет, я скажу.

Она забралась под рукав, и ладонь медленно продвинулась от запястья к локтю.

— После твоего отъезда я говорила с Клавдиевым. Он сказал: «В Россию поедем вместе». Так и сказал: вместе.

— Но когда это будет? — спросил он.

— Летом или осенью, — ответила Кира. — Той осенью, — уточнила она.

И вновь смятение охватило его. Нет, стена не рухнула, она существует и сейчас кажется более неодолимой, чем прежде.

— Навсегда?

— Ты требуешь от меня... — она не отводила глаз, как некогда, жгучей чернью налились зрачки.

— Нет, скажи, — попросил он; никогда прежде она не противилась с такой упрямой силой, как сейчас.

— Я скажу... Сейчас скажу, — вымолвила она, но глаза, мускулы лица, линии подбородка, даже очерк волос надо лбом, до сих пор такой мягкий, странно напряглись.

— Я не говорю о себе, но ты... дала слово отцу. — Он почувствовал, что и его голос стал непривычно жестким.

И он вспомнил августовский полдень и белое облако над самой маковкой ели, что растет под Кириным окном. Кира приподняла верхнюю доску шахматного столика, что служил и письменным столом, пододвинула к окну. Пахнуло острым, не притупившимся за годы запахом лака и табака. «Вот здесь все», — сказала она. Петр увидел низку ярко-желтых четок; наверно, из Болгарии, подумал он. Флакон в деревянном футляре с рисунком, нанесенным на дерево раскаленной иглой. Открыл стеклянную пробочку, ощутимо улавливался запах розового масла — он не выветрился за десятилетия — тоже Болгария. Серебряный бритвенный прибор — стакан и мыльница. Янтарный мундштук с колечком по краю. Металлическую пластинку дагерротипа: человек со светло-русой бородой (вон откуда льняной отлив Кириных волос) и полными губами смотрел на Петра. В уголках глаз, в приподнятой брови и задиристость и вызов. «Веселый был?..» — спросил Петр, почему-то хотелось, чтобы был веселым. Кира подняла не улыбочные глаза: «Может быть, только весе-

лым его я уже не помню». — «Что так?» — «Умер в муках». — «Чухотка?» — «Как у всех способных русских». Только сейчас Петр увидел второй дагерротип, поменьше. Он взял его: дом с колоннами, затененный наполовину кроной старого дерева. «Где-то в России?» — «В Москве, на Сретенке». — «Дом отца?» Она улыбнулась: «Да, Клавдиевых... — и стала хмурой. — Перед смертью все смотрел». — «Прощался с Россией?» — «Прощался и требовал». Петр переспросил: «Требовал?» Она помолчала. «Требовал, чтобы я вернулась туда, хотя бы я...» — «Обещала?» Вновь наступило молчание. «Да, обещала».

— Помнишь? — повторил он. — Ты обещала?

— Обещала, но я хочу быть честной.

Она подняла лицо, будто опасаясь, что слезы, заполнившие глаза, прольются.

— Я все обдумала, — сказала она, — приеду на лето. Буду работать. Пойду по березовым рощам — они светлее красных камней. И к хвойному бору прикоснусь. И зарю на болотах подкараулю — она, говорят, там неистовая. И рожь напишу. И по холодным лугам пройду... А потом мы взглянем и решим, честно решим.

— Ну, хорошо... — отозвался он. — Только приезжай.

Они стояли на мосту, и ветер обдувал их. Петр думал, она видит любовь иной, чем он. Для нее их любовь — поля с меловыми холмами, море и звезды, а для него — дом, огонь в очаге, свет висячей лампы над столом, покрытым белой скатертью.

— А кто был твой отец? — спросил Петр.

Она скрепила руки, поднесла к подбородку.

— Он был хороший человек, — произнесла она, видно, немудреные эти слова обнимали для нее все. — Щедрый, бескорыстный, храбрый, что еще можно сказать о человеке?

— Но... терпимость была и его верой?

Они пошли вдоль воды.

— Я заметила, часто дед лучше понимает внука, чем сына или дочь — понимание приходит через поколение, — она остановилась, взглянула на воду, пошла тише. — Надо, чтобы разочаровалось целое поколение — разочарование обязательно. Человечество шагает вперед, как шахматный конь: через поле разочарований.

Петр рассмеялся; вода отразила голос, смех прозвучал громко.

— Из всего этого я понял: терпимость не была в семье Клавдиевых верой всеобщей,— сказал он.

— Нет, отец исповедовал другую веру.

— Он выстрадал эту веру в Сибири? — спросил Петр.

— Еще раньше,— ответила она.

Они могли опоздать на вокзал и сели в трамвай. Трамвай был холодным и необжитым — час поздний, и в трамвай никто не садился. Он бежал через Лондон, не умеря скорости даже на подъемах, бежал и гремел, точно похваляясь тем, что он такой холодный. Возникали особняки с изящно изогнутыми козырьками. Проплывали доходные дома, широкобедрые, сплюснутые, с низкими этажами, точно в этом городе не только земля, но и небо были дороже золота и расти домам некуда. Поднимались корпуса оффисов, строго-торжественные, узкие, с окнами, похожими на бойницы цитадели — не проникнуть туда ни картечи, ни солнцу. Мелькали дома и окна, много окон: оранжевые, бледно-голубые, ярко-белые, зеленые. Отсюда, из трамвая, заполненного ненастьем, Петр смотрел на них с завистью. Каждое окно казалось домовитым пристанищем счастья.

И все-таки ему было хорошо в этом трамвае, может, трамвай дал им ту крышу, о которой они мечтали, по крайней мере Петр. Она сидела напротив него, их колени смыкались. «Ну что ты так просто смотришь — поцелуй меня». Или: «Мне холодно... дай мне в рукав твою руку... ой, какая она добрая!» Или еще: «Ты сидишь от меня далеко... пододвинься ближе». Он делал все, что она хотела, делал и смеялся. Ему нравилось, что есть на свете человек, который им повелевает.

Когда они ступили на перрон, все морщинки, печальные и усталые, вдруг вернулись к ней.

— Только ты мне больше ничего не говори. Я приеду... нет, не загадывай, приеду...

Она едва успела подняться в вагон — поезд тронулся. Он уже не видел ее лица, видел только руку, которая взметнулась и слабо повисла.

Лишь придя в гостиницу, он вспомнил: завтра утром он должен быть у Набокова.



Петр остановил машину в двух кварталах от посольства и пошел пешком. Накрапывал дождь. Пахло весной. Теперь он мог думать только о предстоящей встрече. Он вспомнил, что был здесь дважды. Первый раз году в одиннадцатом. Был май, и на плоских камнях у Темзы продавали веточки вереска, лилово-розоватого. Поезд в Глазго уходил после полуночи, и у Петра был свободный вечер. Шла вторая неделя его жизни в Англии, и Петр был уверен, что вполне обойдется тремястами английских слов, которыми запасся в России; для того чтобы носить кули с углем, триста слов просто клад. Однако неожиданно оказалось, что он нем. Лондон не хотел его понимать, как, впрочем, позднее и Глазго. Чтобы его английский был понятным, он обращался к карандашу, а когда тот ломался, поднимал с земли кусочек кирпича и выводил нужное слово на асфальте.

Вот и в тот раз, охваченный тоской, тупой и изнуряющей, он вышагивал по городу. И вдруг его осенило. Он подумал, что в этом чужом городе с нерусским языком, домами и даже небом должен быть островок России. Так он пришел на эту улицу, но подойти к дому было мудрено.

Первое впечатление: в посольском особняке происходит нечто сумбурное и, быть может, торжественное, например, пожар, если такой пожар бывает в природе. Как при пожаре, особняк был ярко освещен, оцеплен полицией, обложен толпой зевак и осажден автомашинами самых дорогих марок — в этом, пожалуй, было единственное отличие картины, которая представилась его глазам, от пожара.

Улица была уставлена автомобилями самых изысканных форм и расцветок — черные с ярко-белыми шинами «деляжи» и «пежо», длинные, точно гончие псы, «роллсройсы» и «даймлеры», могучие ломовики «бенцы», но были и открытые фаэтоны (весна уже пришла в город) с откидным верхом, с нарядными сиденьями, с зеркальными смотровыми стеклами, с запасными шинами, заключенными в металлические чехлы и укрепленными на подножках, с сигнальными рожками и грушами... У-у-у... о-о-о... гу-у-у... Автомобили стонали и пели, похваляясь друг перед другом стойкостью и изощренной гибкостью

голосов. Видно, еще до того как Петр вступил в эту улочку, начался разъезд, и машины пришли в движение.

Кто-то дюжий, не иначе как с луженым горлом, по неведомому и мудреному алфавиту выкрикивал имена, звания, страны. И машины проталкивались к парадному подъезду, проявляя и норы, и грубое упрямство. Это как-то не очень сочеталось с матовым блеском обнаженных плеч и мерцанием брильянтов, с мягким шуршанием вечерних платьев и сверканьем красных лысин и затылков, с непорочной белизной воротничков и манишек, со всем тем, что сейчас разыгрывалось в дрожащем свете фонарей.

Петр стоял на противоположной стороне тротуара и жадно распахнутыми глазами смотрел: там, на почти театральных подмостках, играли в Россию. Но как она была непохожа на Россию, которую он знал, лежащую во тьме оврагов и болот, затянутую злым дымком тумана. Петр попробовал податься вперед: все-таки любопытно — Россия! — но ему преградил путь тот дюжий. «Поворачивай, милай, нынче не до тебя! Ах, язык натрудил: день ангела цесаревича... по случаю! Торжественный прием!..» Нет, в самом деле, если бы тот произнес «торжественный пожар», Петр не удивился бы — уж очень все это пахивало тоскливым дымом. «Поворачивай, говорю, — рвал железную пасть дюжий. — Александр Константинович Бенкендорф, их превосходительство, гофмейстер и граф, созвал мир... по случаю! Понял?» Он сказал «Бенкендорф» — и мурашки побежали по спине: пахло холодной влагой Алексеевского равелина... Ну конечно, это был спектакль, и человек, само имя которого было синонимом русской беды, играл в Россию. Эх, хватить бы по этому дому полымем — не было бы огня справедливее!

Петр побывал здесь вновь в конце этой весны, посольский особняк и улица обрели иной вид. Нарядное здание российского посольства атаковала толпа. Ни полицейские, дни и ночи несущие вахту у особняка, ни дворники, возглавляемые дюжим швейцаром («день ангела цесаревича... по случаю»), не могли сдержать людской волны. Через двор, что лежал позади особняка, непросто было пробиться к подъезду. Петр почувствовал, как недостает этому дому суровой мужественности и правдивости, чтобы разговаривать с этими людьми.

Посольский дворик превратился в ноев ковчег русской эмиграции. Кого только он не принял в эти дни: и почтенного народовольца, пробывшего полжизни на каторге, чей гордый профиль просится на монету; и молодую женщину с тремя детьми, которые самим своим обликом свидетельствуют, как необыкновенно хороша была их мать; и жилистого финна, сутулого и большерукого; и могучего украинца в свитке, бог весть какими тайными тропами проникшего сюда; и пышноусого матроса в бушлате, храброго командора с «Потемкина» или «Тавриды», у которого от прежней силы и величественности остались только гордая осанка и сомкнутые уста; и юную одесситку, настолько юную, что, кажется, она только для того и появилась в этом ковчеге, чтобы сообщить его обитателям, страдающим, гонимым, борющимся, что никогда не облетит и не оскудеет зеленая ветвь жизни. И надо всем каменное крыльцо парадного входа и на крыльце — затянута в корсет фигура Набокова.

Тот раз Петр просил Набокова принять его, и, о чудо, Набоков принял тут же. Если бы Петр имел возможность сравнивать, то он увидел бы: ничто уже не напоминало прежнего посольства, все стало тусклее, тише, быть может, даже демократичнее, чем прежде. Вместе с портретом российского самодержца во весь рост, водруженного над столом посла (одно это заставляло посла приподнимать плечи), было сдано в кладовую все, на чем оставила несмываемый след двуглавая хищная птица: штофные обои, мебель, посуда, серебро. Хочешь не хочешь, а будешь демократом, если посольство приходится обдирать как липку, от корня до кроны. Что изволите делать со всем этим добром, коли вензель врос в дерево, стекло и металл, как тавро в живую кожу, а ведь тавро выжигают — кто не видел, как дымится кожа, когда в нее впекают каленое железо.

Да и Набоков, казалось, был другим, чем прежний посол. Он уже не подчеркивал расстояние между собой и посетителями. Встав из-за стола, он не возвратился в кресло, а решительно пошел в затененный угол комнаты, где у камина стоял журнальный столик. Он спросил, какие папиросы курит Петр, и, не дождавшись ответа, протянул руку к дверце шкафа, чтобы извлечь пачку асмоловских, которые хранил для избранных вместе с коллекционным вином. Так или иначе, а Набоков тот раз явил

немало доброжелательности и, воодушевившись, охотно рассказал историю, которая с ним приключилась на днях. Собственно, история совершенно пустячная и вряд ли ее стоило рассказывать, если бы... впрочем, он хотел бы ее поведать другу. Кстати, как зовут друга?

Он не обмолвился? Верно ли назвал гостя? Именно Дорофеевич? За последнее время в посольстве перебывало столько Кузьмичей, Панкратичей, Фомичей, не мудрено и ошибиться. Значит, Дорофеевич? Петр Дорофеевич? Преотлично. Так вот, он, Набоков, хотел поведать историю, однако не знает, с чего, собственно, начать? Ах да, все обстояло как нельзя просто и... мило, просто и мило. Набокова посетил старик Дейч. Ну Петр Дорофеевич знает, знаменитый Лев Дейч, в своем роде патриарх русской революции. Разумеется, просит определить на пароход, идущий в Россию. Нет, не только его самого. Если бы речь шла о нем самом — тоже трудно, очень трудно, но куда ни шло, но как быть с женой? Английское адмиралтейство полагает, что за женщину оно ответственно вдвойне, и не желает брать на себя риска. И вот однажды, когда он, Набоков, и Дейч ломали головы над этой проблемой (Набоков собрался в кресле и внимательно взглянул на Петра — он знал, где его речь обретает драматическое звучание), старик Дейч вдруг спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а вы не сын Дмитрия Николаевича Набокова, министра финансов в семидесятых годах?» Разумеется, он, Набоков, ответил утвердительно. «Ах, какое совпадение! — воскликнул Дейч. — Ваш отец вел следствие по моему делу, и хотя послал на каторгу, но сделал это, как бы это сказать... вынужденно! Он послал, а вы возвращаете. Не правда ли, знаменательное совпадение, а?» Вот и все, что хотел рассказать Набоков. Занятно? Нет, что ни говорите, но среди старых русских чиновников были истинные демократы. Как вы находите, Петр... Петр...

— Дорофеевич.

— Да, как вы находите, Петр Дорофеевич?

Петр внимательно взглянул Набокову в глаза: к чему он призвал сюда тень отца? Конечно, не затем, чтобы сказать, как либерален был отец, скорее всего, как человек и, больше того, либерален он сам, Константин Набоков, вчера еще слуга монарха, а сегодня... И все-таки ничто так не выражало тогда, в апреле, душевного смя-

тения Набокова, как этот монолог. Но тогда за спиной Набокова было правительство, правда, временное, неправомочное, обремененное страхом и сомнениями, но все-таки правительство, а как теперь?

Никогда прежде посольский особняк не казался Петру таким сумрачным. Черные деревья без листвы, черные клумбы, да и сам особняк ненастно-темный. Петр не без изумления обнаружил: парадная дверь посольства заперта. Петр позвонил — один раз, второй. Что-то громоздкое и трудно повинующееся пришло в движение. Потом дверь приоткрылась, из темноты глянул глаз, неприязненно-строгий. Петр сказал, что хочет видеть Набокова, и напомнил, что был у него в апреле. Прошло немало времени, прежде чем раскрылась посольская дверь. В особняке было полутемно. Поодаль, у окна, сидел все тот же швейцар, но не в ливрее, а в скромной куртке и, прихлебывая, пил из блюдечка чай. От блюдечка валил пар — видно, особняк плохо отапливался. Потом швейцар неопределенно крикнул во тьму, и появился юноша. Железные щеки юноши были тщательно выбриты и промыты, и воротничок безупречно чист и тверд, и костюм сидел безукоризненно, только под глазами собралось больше черноты, чем следует, а она, как известно, от избытка радости не возникает. Он поклонился Петру и пропал во тьме. Где-то в утробе особняка ожесточенно хлопнула дверь, прежде чем вылощенный юноша возник вновь. Он вздохнул, поклонился и предложил Петру следовать за ним. Ковровая дорожка скрадывала шаги. Тяжелые бра давали ровно столько света, сколько требовалось, чтобы обозначить тусклую медь дверных ручек. Юноша приоткрыл массивную дверь и впустил туда Петра.

## 20

Петр огляделся — письменный стол был пуст. Остро пахло анисовыми каплями и лаком. На матовом колпаке большой настольной лампы лежали отблески пламени: горел камин. Петр обернулся — в стороне от камина, склонившись над прямоугольным столиком, сутулая фигура человека, на фоне огня темная.

— Да, да, помню, вы приезжали еще весной... Садитесь, вам здесь будет хорошо у огня, — человек протянул

руку — как все в комнате, она была темной, только неистово горели на полусогнутых пальцах лиловым, алым, ярко-оранжевым огнем перстни.— Вот решил посидеть в темноте, дать покой глазам и, быть может, мыслям — когда темно, лучше думается, ничто не отвлекает, не раздражает, да и душе покойнее. Нет, вы садитесь поближе к огню, вам будет теплее. Потом я зажгу свет... Как же, помню, вы были весной, у нас был полон двор отъезжающих в Россию. Тогда волна катилась на восток, а теперь, говорят, на запад! Скоро докатится эта волна из Совдепии...

Петр осмотрелся. Да не кабинет ли это Александра Бенкендорфа, гофмейстера, чрезвычайного и полномочного посла Российской империи, которого недавно сразил в сумеречных покоях дома жестокий склероз? Петр подумал: Бенкендорф — и вновь, как в ту весну, когда у подъезда посольского особняка он впервые услышал это имя, пахнуло сырým ветром. Точно заговорили зловещим звоном цепей, студеной тишиной и стуком кованых сапог и Петропавловка, и Шлиссельбург, и этапные дворы на большом Владимирском тракте, и из холодного небытия встали тени жертв всеильного жандарма: черные глазницы Пестеля, белые губы Бестужева-Рюмина, Рылеева разверзшиеся уста... Он только подумал: Бенкендорф — и сырая тьма особняка будто сомкнулась с бездонной тьмой столетия.

— Курить будете? Тут у меня остались...

Они закуривают, над столиком повисает многослойное облачко, и, побеждая все запахи, по дому плывет устойчивое дыхание доброго асмоловского табака.

— Вот так сидим и мерзнем — нет денег! Верой и правдой удерживаю посольство. Хотел уволить письмоводителя и английскую стенографистку-переписчицу, но как без них? Сто фунтов на церковь! Поп, дьякон, псаломщик — все надо! Прошлый раз решил: уволю певчих! Пришел батюшка, руки воздел: «Смилуйся!» — «Вот даю вам сто фунтов — делите, как считаете нужным». Поднял глаза к небу: «Пощади!» — «Никакой пощады, отец Михаил, нет денег». У меня и трехсот фунтов на посольство нет... Что делать?

Он поднимает руки над головой. Как-то странно: сидит черный человек с красными руками — это от пламени, что сейчас вновь ожило.

— Вы в Лондоне давно? — он еще не успел опустить руки — пламя в камине опало, и руки посинели.

— Два дня.

— Слыхали, Чичерина выпустили.

Петр неторопливо сбил с папиросы пепел, так удобнее было отвести смеющиеся глаза:

— Да, ходят слухи...

— Слухи? — Набоков нетерпеливо затаился. — Стал бы я запирать посольство и ставить на ночь двух полицейских у входа, если бы это были слухи. — Он попытался затаиться еще, но хватил лишнего, закашлялся, взглянул на Петра глазами, полными слез. — Станный человек, — голос его обессилел, он произнес, не размыкая губ. — Именно странный.

Он встал и пошел по комнате, пошел молча, точно хотел, чтобы все, что у него сейчас возникло в сознании, перегорело и улеглось. Когда он подходил к камину, Петр видел, как вздрагивают его покатые, совсем женские плечи. Что-то он готовился сказать такое, что не успел сказать до сих пор.

— Вот полюбуйтесь! — произнес Набоков и потянулся к папке, в которой, очевидно, лежали все письма Чичерина, все, которыми Чичерин, как бомбами, забрасывал дом с трехцветным флагом на фасаде; Набоков долго не мог справиться с тесемочками, неожиданно ослабевшие руки отказывались повиноваться. — Почерк такой мелкий, что в пору вооружиться лупой, — пожаловался Набоков и действительно извлек стекло в металлической оправе. — Вот, извольте!

Петр не сводил глаз с Набокова. Тот сидел за столом и близоруко водил глазом по страничке, точь-в-точь как в Одессе Королев. Казалось, Набоков сейчас вскинет голову и сквозь стекло покажется глаз, словно вспухший, готовый лопнуть и вытечь. Так это же Королев: толстые плечи, короткая шея и, не будь так темно в комнате, бледно-розовые десны! Каким образом Королев вполз в зыбкую лондонскую тьму и превратился в Набокова? Или он хочет дать понять Петру, что вечен, или убеждает Петра убить его еще раз?

— Вы только посмотрите! — настаивал Набоков, обращаясь к Белодеду и вертел перед Петром круглым, естественно укрупнившимся глазом, а Белодед смотрел на него брезгливо-настороженно и думал: «Только бы

спрятал свое стекло!.. Только бы спрятал...» — Посмотрите, это все письма Чичерина! Да, так черным по белому: «Я не вижу разницы между Александрой Федоровной и Александром Федоровичем!» Каково? Не человек — бедствие!

Петр подумал: «Может, пришло время сказать?.. Да, взять и сшибить одной фразой: «А когда ваше превосходительство намерено передать посольство представителям народа?» Да, так прямо и врезать, а потом взглянуть, как его покорежит».

А Набоков вернулся на место и вытянул руки, униженные перстнями, белые руки, пухлые, совсем не мужские. Он вдруг зевнул и погладил их.

— У меня вышел с ним однажды разговор, — произнес Набоков и взял металлический прут, лежавший у камина. — Чичерин пришел сюда в некотором роде как глава комиссии по возвращению соотечественников на родину. Чтобы как-то наладить беседу, я сказал: «Если не изменяет память, в русской голубой книге много Чичериных. Там есть воеводы, стольники, клирики». Он никак не реагировал, видно, все это не было предметом его гордости, — Набоков вскопал прутом угли — огонь разгорелся. — А я продолжал как ни в чем не бывало: «Какой-то Чичерин, говорят, был комендантом Полтавы». — Веселые блики сейчас гуляли по стенам, точно стая краснокрылых птиц ворвалась в комнату. — Он и эту мою фразу пустил мимо, но в меня словно бес вселился. «Был еще один Чичерин, по-моему, думный дьяк поместного приказа, его подпись значится под грамотой тех, кто призвал Романовых на престол. Этот последний не ваш предок?» — Набоков стоял посреди комнаты и хохотал. Огонь в камине разгорался все ярче, и комната быстро заселилась краснокрылыми птицами. — Не ваш предок, а?

Петр встал. Ну что ж, наверно, минута настала. Сейчас Набоков кончит хохотать, и Петр произнесет эти несколько слов и посмотрит, хватит ли у того сил продолжать смеяться. Если бы он видел лицо Петра, то уже бы осекся. Но Петр стоит почти рядом с камином вне поля света. Еще секунда, две, от силы три... Слышен только смех и удары сердца, впрочем, сердца не слышно, его воспринимает только дыхание Белододеда — оно стало дробным, маленькие и сухие глотки, очень сухие, нестерпимо горячие.



— А когда все-таки...— произносит Петр, и ему кажется, что говорит кто-то другой, а он, Петр, слушает и дивится: голос тверд и спокоен, почти спокоен.— А когда все-таки вы передадите посольство правительству народа?

Как ни трудна эта фраза, она произнесена. Набоков не смеется. Перестали сотрясаться округлые плечи. И голос затих. И сам он одеревенел. Пауза. Где-то стучит машинка — как Петр не замечал этого прежде? Пробежал автомобиль — неужели первый за все время их беседы? Кто-то опрокинул стул, он загремел в пустом доме так, точно потолок обвалился.

— Вас кто сюда направил?.. Чичерин?

Набоков протягивает руку к маленькой настольной лампе, которая стоит прямо перед ним, рука неколебима,— это Петр видит по обшлагоу сорочки. Вспыхивает свет. Желтое, точно подкрашенное охрой, электричество. И Набоков тоже подкрашен охрой, даже кончик хрящеватого носа, даже щеки. А все-таки любопытно, как он сейчас себя поведет? Наверно, суть человека, его характер должны проявиться именно в такую минуту.

— Вы почему стоите? — вдруг спрашивает Набоков, в голосе доброжелательно-иронический смешок.— Прошу вас.

Петр садится.

— Так на чем мы прервали беседу? — он идет к письменному столу, идет медленно,— очевидно, хочет использовать время, чтобы овладеть собой.— На чем? — он стоит теперь за письменным столом. Петр в одном конце комнаты, Набоков в другом.— Вы спрашиваете: когда?..

У него нет сил произнести всю фразу, гнев душит (гнев или все-таки страх?), хотя он и понимает, что должен быть спокоен, даже в какой-то мере спокойно-ироничен, в этом спасение, только в этом. Ах, как бы он возликовал, если бы смятенный мозг осенила сейчас шутка, ну самая пустяшная.

— Но что я должен передавать?

— Посольское здание, архивы, фонды, шифры...

Набоков рассмеялся — кажется, он нашел повод для шутки.

— Но зачем шифры? Ведь вы проповедуете принцип открытой дипломатии?

— И шифры,— повторил Петр так, точно хотел сказать: у меня нет ни времени, ни желания шутить.

— Но почему я должен передавать посольство, на каком основании? — в интонации Набокова сейчас не было ничего категоричного, он допускал возможность разговора.— Я уполномочен законным правительством, министром...

— Терещенко?

Набоков взял пресс-папье и нетерпеливо передвинул его.

— Хотя бы Терещенко.

Петр шагнул к письменному столу.

— Но он не спасет даже своих сахарных заводов на Полтавщине, не говоря уже о правительстве.

— И это Чичерин?

Петр приблизился к столу:

— Чичерин...

Набоков протянул руку — где-то близко, может даже за спиной Петра, раздался звонок, один раз, второй, третий, как сигнал о бедствии, как призыв о помощи.

Раскрылась боковая дверь — она была врезана в панель, вылощенный юноша выдвинул розоватую лысинку.

— Все посольство, всех сюда! — Набоков не мог сдерживать гнева.— Всех сюда: и дипломатов, и причисленных, и канцелярию, и церковный дом...— он смотрел теперь на Белододеда, и Петр впервые увидел, как он изменился за лето и осень — всеильная охра выжелтила ему даже губы, он пытался сцепить их зубами, но они выхватывались и неудержимо тряслись.— Ну, говорите теперь, говорите... все... ну!

Петр оглянулся — кабинет был полон народу. Это походило на чудо: как удалось вызвать из мертвого, скованного холодом и отчаянием дома столько людей и как они, недвижимые, безъязыкие, молча сидящие по нормам, обрели вдруг способность двигаться и что-то приносить?

— Ну, говорите же все, что хотели сказать мне.— Набоков хотел опереться о стол, но руки ожесточенно застучали по столу, и он их снял и скрепил. Но даже в этом положении они продолжали трястись, казалось, кто-то третий схватил его за плечи и трясет.— Ну, говорите же...

Петр подумал: никакого пафоса и позы, все должно быть сказано спокойно, может, даже буднично-спокойно, сила всего, что он намерен сказать, именно в этом.

— Я пришел,— сказал Петр и подумал: так тихо, будто эти люди и не входили.— Я пришел, чтобы сказать не от своего имени, от имени правительства Советов...— он оглядел присутствующих и был удивлен, что его слушают — очевидно, они не нашлись еще, не поняли, что происходит,— ваши обязанности исчерпаны, и вы никого не представляете. Поймите, господа, никого!

Когда Петр очутился на улице, небо над городом показалось ему резко-синим, каким он никогда не видел его прежде.

Пароход уходил из Абердина. Как накануне, падал снег, обильный и мокрый. Впереди шел катерок, и мощный прожектор высвечивал воду. Где-то там, в Северном море, судно встанет под охрану военных. А сейчас было хмуро и холодно. Шотландский берег исчез, как только пароход отчалил, даже огни на берегу растеклись бесследно.

Петр смотрел на Чичерина. Воротник демисезонного пальто был приподнят, от этого Чичерин казался и выше и стройнее. Снег падал на лицо, серебрил виски, бороде — человек старел на глазах.

— Дерзость — дипломатическое качество? — спросил Петр и нетерпеливо посмотрел на Чичерина.

Чичерин молчал и смотрел во мглу, точно там искал ответа на вопрос, который был задан.

## 21

Поздно вечером, когда судно вышло в открытое море, Петр поднялся на палубу. Море было сизо-фиолетовым, гудящим. Черные с желтинкой стлались тучи, когда они приподнимались, виднелись корпуса кораблей, идущих рядом. Сыпал холодный дождь, но уходить с палубы не хотелось. В сознании Белододе вдруг возникло лицо Набокова, облитое мерцающим светом камина, и весело, радостно-лихо стало Петру. Чем-то этот поход в посоль-

ство был похож на поступок Степняка, врубившего кинжал в нетвердую грудь Мезенцева!

Однако дерзость — все-таки дипломатическое качество! Это же здорово — вот так явиться к тирану или к тому, кто представляет его, и сказать, что он должен уйти. Ведь если освободить отношения между людьми от толстого слоя мишуры, которая их обременяла годы, если прогнать всех швейцаров, в ливреях и без ливрей, сжечь на большом костре горы ярко-белой хрустящей бумаги, украшенной водяными знаками и еще не исписанной посольскими каллиграфами («Ваше превосходительство!..», «Бесконечно признательный вам...», «Ваш покорный слуга...», «Слуга...», «Слуга...», «Слуга...»), если расколотить эти бра, которые тоже врут, создавая таинственно-торжественный полумрак там, где никакой таинственности и торжественности нет, а есть ложь, если все это испепелить и истолочь в ступе, то люди должны вести себя так, как повел себя Белодед с Набоковым. Пришел и сказал: вы здесь по недоразумению, господин, и лучше, если... Впрочем, больше можно и не говорить, будет многословно. Он-то, Набоков, должен догадаться, о чем идет речь. В октябре на Дворцовой площади и того не говорили.

Надо, чтобы и впредь было не иначе: человек, оставшись один на один с тем миром, чувствовал бы себя так, словно в нем, только в нем сейчас Россия, и он вправе говорить от ее имени. Люди не рыбы в океане. Они могут и не ходить косяками. Иногда они остаются одни. Ведь мы же доверяли тому костромскому или тверскому парню, которому дали гранату и, указав на царские хоромы, сказали: «Иди разговаривай и, если надо... огнем!..» Почему же мы должны ему доверять меньше сегодня и завтра? Он меньше предан революции? У него убавилось ума? Время непоправимо подсекло его волю? Нет и нет!

А Чичерин прав: иногда будущее видится нам и совестью нашей, и нашим другом, и нашим судьей. Непросто представить зримо, каким оно будет, будущее, но его голос Петр слышит явственно. «Действуй так, как велит тебе твоя преданность новому миру! Не робей, не оглядывайся, не опасайся, что кто-то схватит тебя за рукав и скажет, будто ты слишком самостоятелен. Будь самостоятелен! Действуй свободно, во всю мощь ума и опыта, набирайся сил и иди дальше! Если надо, остерегись... если велит тебе разум и опыт, трижды испробуй, прежде

чем сделать шаг, но шаг этот сделай, без него не добудешь победы».

Петр вошел в кают-компанию. Еще на лестнице, где ощутимо распознавался голос моря, он уловил едва слышную мелодию — внизу в полутьме играл Чичерин. В стороне сидел старик в вязаной куртке и с погасшей сигарой во рту, устремив на Чичерина взгляд крупных, на выкате глаз. Но Чичерин, казалось, не видел его. Он был во власти мелодии. Нет, в ней не было многогласной могучести — не слышались ни медь, ни трубы, ни даже гудящие струны виолончели и альты, что созвучно неумолчному голосу грозной толпы или шуму леса. Этот голос был и сердечнее, и сокровеннее. В безбрежном мире, наполненном гудением шквального ветра, перед которым не было преград, звучал голос, вызванный к жизни человеком, слабый и все-таки неодолимо стойкий.

Старик в вязаной куртке задумчиво жевал потухшую сигару. Он был обескуражен и насторожен. Кем ему виделся Чичерин, артистически играющий Моцарта?.. Сыном английского ленд-лорда, порвавшим с семьей и ушедшим в искусство, вечным студентом или артистом, бездомным и гонимым?

Петр вернулся в каюту вместе с Чичериным. Били часы. Девять, десять, одиннадцать... Медленно остановились удары. Чичерин поднес часы к настольной лампе, принялся переводить стрелки.

— Завтра в это время мы будем в Стокгольме, — сказал он.

— Нас встретят? — спросил Петр.

— Воровский.

Петр не сумел сдержать вздоха, но Чичерин будто не заметил этого — он молча переводил стрелки.

## 22

Зима семнадцатого года не считалась с календарем. Декабрь не принес в Питер ни обильного снега, ни морозов. Туманы, что полая вода, поднимались от реки, высоким валом втекали в Невский, медленно заполняя своей теплой влагой Садовую и Литейный, площадь у Николаевского вокзала. Туман шел высоким валом, накрывая собой и Казанский собор, и Маринку, и Главный штаб,

и Академию художеств, и Биржу с ее колоннами, и красно-серое здание бывшего немецкого посольства на площади у Исаакья, и разводные питерские мосты... Подобно мачтам погибших кораблей, из серо-стальной пучины тумана торчали только стволы мечети, шпиль Петропавловки да округлая скала Исаакья.

Где-то над городом солнце торит извечную свою стежку, там блеск облаков и ясное небо, а Питер будто навсегда погружен в сумерки — они стали его ночным и дневным светом. В такую погоду не мудрено сбиться с пути, тем более что ехать надо на какую-то Фурштадтскую. От Троицкого моста, где обосновалось английское посольство, доберешься туда не иначе как через центр; из французского и японского посольств, которые, будто близнецы, утвердились на набережной, не проще. Точно в расчете на ненастье, посольства выстроились на невской береговой линии — отдай команду, и рассчитаются как на поверке: французское, японское, английское, бразильское, шведское!.. Все на одной линии, все на набережной. Набережная, в сущности, была посольским кварталом, который можно было бы обойти за десять минут. Разумеется, никто пешком не ходил, даже тогда, когда из одного посольского особняка можно было увидеть другой, но это вопрос особый — послы, как известно, к пешему строю неприспособлены.

Но неожиданно идеальный ранжир посольств смят и нарушен. Это сделали американцы. Для своего посольского здания они облюбовали скромный особняк на Фурштадтской. Не на набережной или хотя бы на Морской или Миллионной, а на Фурштадтской, стоящей в стороне от больших дорог столицы. И произошло необычное: восемь посольств, как восемь кораблей, стоящих на якоре, забыв о национальном престиже и достоинстве, вдруг снялись с якоря и устремились на Фурштадтскую. Устремились, пренебрегая петербургским ненастьем, будто они никогда не знали другой дороги, кроме этой. Впрочем, к чему каждый раз ездить на Фурштадтскую, когда посольское здание можно арендовать здесь. Посольство Испании: Фурштадтская, 52, миссия Сербии: Фурштадтская, 34... Новый посольский квартал? Пожалуй, новый. Столица мирового капитала переместилась из Лондона в Нью-Йорк, и нехитрая посольская география русской столицы отразила эти изменения.

А пока суть да дело, зима укрыла город шапкой тумана, и по новым и старым магистралям города спешат на Фурштадтскую автомобили, высвечивая путь светом автомобильных фар, оглушая воздух неистовыми гудками. День у американского посла расписан плотно: завтрак с сербским посланником, обед с депутатами Учредительного собрания, полуденный чай с итальянским поверенным в делах, ужин (поздний) с лидерами эсеров и, наконец, ночная поездка к Троицкому мосту, к Бьюкенену. Надо отдать должное Бьюкенену, он не балует американского посла визитами — то ли ему не просто смириться с утратой британского престижа, то ли он в самом деле перманентно болен. Посол стар, брюзглив, у него постоянно болят ноги и поясница, он забнет, он давно просится на родину и может себе позволить роскошь не ездить к американскому послу, тем более что депутаты Учредительного собрания бывают и у него.

Длинная очередь русских депутатов, которых принимает американский посол, неожиданно прерывается: накануне пришла дипломатическая почта, и посол занят. Пока дюжие парни, доставившие пять хорошо утрамбованных мешков с почтой, отсыпаются в верхних комнатах дома, посол в какой уже раз перечитывает машинописную страничку на тонкой рисовой бумаге. Оказывается, вещи, о которых до сих пор говорили недомолвками и намеками, имеют названия, при этом достаточно точные. Посол ставится в известность, что русский вопрос будет предметом англо-французских переговоров, которые состоятся в Париже еще до нового года. Плодом переговоров явится договор. Он предусматривает прямую помощь, а следовательно, и прямой контакт с Украиной, казачьими районами, Финляндией, Сибирью, Кавказом и другими «полуавтономными русскими областями». Россия разделяется на сферы влияния: у Англии — Кавказ, Дон, Кубань, у Франции — Украина, Бессарабия, Крым. Очевидно, с молчаливого согласия союзников полем деятельности Соединенных Штатов должен стать Дальний Восток. «Не началось ли?» Посол вздыхает — рисовая бумага трепещет, точно живая. Странно, что столь значительные слова не отяжелили бумаги. Бумага воздушна: поднеси спичку — пепла не останется.

А в городе становится все сумрачнее, все медленнее идут по улицам автомобили, все громче кричат их рожки.

Иногда кажется, что автомобили идут тоннелями. Вдоль набережной — один тоннель, от набережной до Фурштаттской — второй. И еще кажется: в городе живы только посольские особняки, только они и бодрствуют. Все остальное рассеялось, провалилось в тартарары.

Но занимается ветер, студёный, неукротимо крепчающий, он дует с великих русских равнин, словно им дышит сама Россия. Он вторгается в город, и под его напором литые пласты тумана распадаются, точно лед на весенней реке. Рушатся сумеречные тоннели, по которым шли автомобили, и гаснут огни. День возвращается на землю, а вместе с ним и город, большой, объятый нуждой, воодушевлением и веселой тревогой. Голос мальчишки-газетчика весел: «Ленин сместил Духонина и назначил Крыленко!.. Русская армия под началом прапорщика!..» И мрачный голос (лица не видно, щедр бобровый воротник): «Докатились... генерал козыряет прапорщику!»

Был декабрь семнадцатого года.

Близился вечер, и медленные сумерки уже втекли в дом и заполнили все его поры. Николай Алексеевич снял пиджак. На улице еще не зажигали света, и небо казалось неестественно низким. Шел трамвай, дуга скользила по проводам, рассыпались искры, и дрожащий огонь долго держался над улицей, и дома, дым над ними, облака, снег зеленели. Репнин переоделся, взял с книжной полки Коленкура и, включив ночничок, прилег. Но даже любимый Коленкур не шел.

— Ты спишь? — В дверях стоял Илья.

— Нет, брат, — Николай Алексеевич подобрал ноги. — Садись поближе, — ему нравилось, когда брат сидел где-то рядом. — Здесь удобнее.

Но Илья Алексеевич сел у двери.

— Мне тебя отсюда лучше видно, — заметил он, и по стесненному дыханию Репнин почувствовал: брат неспроста отказался сесть на кушетку. — Да, мне лучше отсюда, — повторил Илья по инерции, лишь бы что-то сказать, видно, другие думы владели сейчас им. — Послушай, Николай, сегодня утром, когда мы вернулись к тому разговору, — он помолчал, — меня смутила одна твоя фраза...



Только сейчас Репнин обратил внимание, что брат был не в домашнем костюме, как обычно — бумажные брюки, вельветовая куртка, Илья обожал вельветовые вещи, — а в пиджаке.

— Смутила фраза? Какая именно?

На миг Илья, казалось, перестал дышать.

— Ты сказал, что тебя попросили составить перечень тайных договоров, заключенных Россией в нашем веке, — он на минуту умолк — то ли длинная фраза утомила, то ли ждал ответа от брата. Илья извлек из жилетного кармана часы, шумно открыл крышку и так же шумно закрыл, он волновался и должен был дать работу рукам. — Но ты понимаешь... о каких договорах идет речь?

— Да, разумеется, очевидно, и Бьерк, и тройственный секретный пятнадцатого года, и тот Покровский-Думерг, да только ли это...

Старший Репнин поднес к уху закрытые часы, прислушался — сквозь серебряную оболочку были слышны удары маятника.

— Надеюсь, ты не так прост, чтобы не понять — дело не в инвентаризации...

— Что ты хочешь сказать, брат?

И опять исчезло грохочущее дыхание Илья, исчезло на мгновение, чтобы возникнуть с новой силой.

— Что сказать? Не сказать, а спросить: ты... Репнин?

Николай Алексеевич обернулся к брату и увидел: тот пытается возвратить часы в жилетный карман и не может — часы точно вспушли.

— Репнин.

Илья зажал часы в кулак, но высоко поднять не смог — цепочка не пускала.

— Нет... нет... тебя, как нитку вокруг пальца. Да, вот так, вот так... — Илья выдвинул толстый мизинец и обернул вокруг него цепь. — Так вот.

Николай Алексеевич подошел к брату.

— Ты не витийствуй, — он взял из рук Илья часы и вложил их в жилетный карман. — Хочешь, чтобы тебя слушали, говори спокойно, да тебе и вредно этак, — он подвинул стул, сел. — Ну говори.

Илья встал и тихо пошел к окну.

— погоди, я должен успокоиться.

— Успокаивайся. Там в кувшине холодный квасок.

Было слышно, как Репнин-старший стучит стаканом, не в силах с ним справиться.

— Ну, теперь можешь?

— Ты слышал когда-нибудь, что сделал твой прадед Пармен Репнин, когда младший сын вернулся в Россию с женой-полячкой? — спросил Илья. — Нет, он их псами не затравил, он был человек просвещенный и казнил гуманно: проклял и выгнал в белое поле. Сурово? Но за измену не милуют.

— Измену?

— А ты думал что? — голос Илья наполнился гневом. — А знаешь ли ты, что тройственное соглашение писано вот этой рукой? — он протягивал Николаю пухлую ладонь, всю в красных пятнах. — Коли я это делал, наверно, думал о благе России не меньше твоего, а?

Николай вскочил, стул опрокинулся и полетел прочь.

— Ты с ума сошел!

— Нет, нет, ты посиди, а я доскажу все, что хотел сказать, — заметил Илья, сдерживая громкое дыхание. — Я вчера читал стокгольмский листок от третьего дня. Большевики разослали по нашим посольствам и миссиям депеши, предлагая всем, кто на это польстится, почет и тысячные оклады... Тридцать телеграмм, тридцать! И ни одного согласия. Мы-то знаем, среди посольских есть разные люди, и хорошие и дурные. Но даже самый последний человечиска, о котором все наслышаны, не человек — собака, понимаешь, собака, даже он отверг... А ты будешь первым, как тот евангельский отступник, которому вослед сыпались камни. Указующий перст будет обращен на тебя: «Вот он, Репнин, что за тридцать поганых сребреников...» Ты что хочешь, чтобы я на тебя, как на Канна, пошел? Ты этого ждешь от меня, да? Этого? Что же ты молчишь, а? Или сказать нечего?

Николай молчал, он только сосредоточенно смотрел на Илью, но в этом взгляде не было даже укора.

— Меня одно заботит, — заметил Николай Алексеевич задумчиво. — Как мы жить в одном доме будем? Может, мне проторить тропку во флигелек, а?

— Нет уж... коли быть кому из нас раком-отшельником, то мне, — бросил Илья. — Тут у меня перед тобой все привилегии.

Илья вышел.

Николай продолжал стоять у окна и слышал, как в соседней комнате грохочет своими простуженными бронхами брат, как он неуклюже волочит ноги, не без труда открывает шкаф, кряхтит, стягивая ремни на чемодане, и неудержимо вздыхает. И, странное дело, вопреки тому бесконечно обидному, что Илья только что сказал, он не вызвал у Николая Алексеевича озлобления. Наоборот, было жаль его. (Репнин вдруг представил себе, как Илья ходит по флигельку, прислушиваясь, как ветер колотит острыми локтями по крыше.) Николаю Алексеевичу хотелось подойти к брату, силой вырвать из рук нелепый, стянутый ремнями чемодан, сказать ободряюще-участливо, как говорил прежде: «Не дури, Илья, ближе тебя у меня никого нет, да и я, наверно, для тебя не на дороге подобран». Хотелось сказать все это брату, но неведомая сила останавливала. Да и поздно было что-то делать: в соседней комнате стало тихо — Илья ушел.

Где-то далеко хлопнула дверь, будто ее рвануло ветром, и послышались шаги — явилась Елена.

— Пойдем, дочка, за Патроклом,— Репнин сказал «за Патроклом» — так Илью Алексеевича звала только Елена.

Елена молча дождалась, когда отец накинёт пальто и наденет шапку, и молча пошла, видно, не раз она ходила с отцом за Патроклом.

Репнин поглубже нахлобучил шапку и шагнул в снежную мглу двора. Но когда они вышли на дорожку, ведущую к флигелю, и Репнин увидел характерные, как-то вразброс, следы ног брата, ведущие к дедовскому флигельку, и через каждые пять шагов прямоугольник чемодана, перехваченный ремнями (брату было нелегко идти, и, отдыхая, он ставил чемодан на снег), Николаю Алексеевичу стало не по себе. В самом деле, как он войдет сейчас в холодную полутьму дома, посмотрит брату в глаза и что ему скажет? Но делать было нечего, они уже переступили порог дома.

Репнин не помнит, когда он был здесь последний раз. Дед построил кирпичный флигелек для себя и уходил сюда каждый раз, когда не ладил с женой. Последние годы он все чаще брал с собой старшего внука. «Пошли, Илья», — обычно кричал он внуку и, собрав нехитрые пожитки, шел через двор. В эти дни никого, кроме Ильи, он видеть не хотел, а жену называл не иначе как

«она», «ей», «ее» или даже «тамбовской казначейшей» — предки ее происходили из Тамбова. Последний раз он перебрался во флигель за три недели до смерти и умер у горячей печи, пытаясь согреть зябнувшие ноги. Трубка выпала у него из рук, уголек прожег платье, прожег и погас... С тех пор во флигеле никто не жил.

Репнин миновал переднюю, вошел в столовую и поразился холодной сырости, которой был пропитан здесь самый воздух. Дверца голландской печи была открыта. В печи дымилась поленья. Илья сидел в овчинной шубе и смотрел, как пенистая капля шипит и вздрагивает на срезе полена.

— Пойдем, брат,— сказал Николай Алексеевич и, обернувшись, взглянул на Елену.

Илья молчал. Только сейчас Репнин подумал: брат сидел перед той самой печью, у которой умер дед, и, наверное, в такой же позе.

— Пойдем,— повторил Репнин-младший, не в силах ничего добавить. Сейчас и Елена стояла перед Ильей, но тот сидел неподвижно, мрачно глядя в печь.

— Отпустите вы мою душу на покаяние! — наконец вымолвил он, не поднимая глаз.

Николай Алексеевич покинул дом первым.

Вечером пришел пакет с вензелями и львами. Не без трепета Репнин вскрыл его. «Советник британского посольства Арчибальд Скотт имеет честь пригласить господина Николая Репнина...» Белый картон билета матово поблескивал. Золотая кайма, которой был обрамлен срез, казалась безупречной. Билет точно гласил: Скотт тут ни при чем, как и самый прием, который он затеял. Главное не в этом: вопреки всем ветрам, которые жестоко обдувают планету, вопреки ненастьям войн и революций нерушимо могущество владычицы морей, и девственно-белый картон, охваченный на срезе золотой каймой, имеет честь об этом свидетельствовать.

Однако что это могло значить для Репнина? Последнее приглашение от англичан пришло едва ли не в январе прошлого года — можно запомнить и Репнина, если между одной встречей и другой две революции. Но как добыть ответы на вопросы, которые неожиданно перед тобой встали, когда министерство намертво выключено,

а коллеги бегут от тебя как черт от ладана?.. Прежде в такого рода обстоятельствах он не преминул бы спросить директора департамента, а возможно, даже и министра. Нет, не специально, а в ходе той полуофициальной беседы, которая была каждый полдень у Сазонова в золотой гостиной за чашкой чая.

Помешивая крепкий чай серебряной ложечкой и печально глядя в стакан, Сазонов начинал: «Погодите, я вам сейчас скажу...— и, охватив белой пятерней тщательно выбритый подбородок (бороду он отпустил уже при Терещенко), продолжал значительно: — Что вам надо пойти, у меня нет сомнений, но какую задачу следует поставить в связи с этим визитом — вот вопрос...»

Как ни расплывчат такой ответ, он ориентировал. А что делать теперь? И к кому обратиться? У кого просить совета? Да надо ли просить его, если Репнин вольная птица?

Впрочем, есть одно средство, старое и испытанное, которое прежде действовало безотказно, да и теперь сохранило, наверно, частичку былой силы: Летний сад... Этот сад чем-то похож на дипломатический клуб — по правую руку посольство французское, по левую — английское. Однако когда Репнин был последний раз в Летнем саду? Да не в мирное ли еще время? В ту пору Летний сад действительно был дипломатическим клубом. Люди встречались, как корабли в море, встретились, обменялись салютами и разошлись. Тридцать встреч, тридцать приветствий, три фразы, сказанные при каждой встрече, не в счет. Но именно в этих трех фразах весь смысл.

Вот движется шхуна французского посла Мориса Палеолога. Он смугл, его брови лохматы, как старые дубы, да и сам он кряжист и сучковат, как старый дуб, но движется с чисто французской легкостью и изяществом и при поклоне даже пробует сгибать шею, хотя она утратила эту способность еще до приезда Палеолога в Петербург. А это движется яхта русского министра иностранных дел Сергея Сазонова, она быстра, и ей отнюдь не чужды крутые повороты. Облику Сазонова свойственно что-то восточное — узкий череп, жилистая и очень подвижная шея, нос с горбинкой. А это неторопливое и тщательно надраенное судно Пурталеса. Рядом с пос-

лом Франц Шульц — советник, забубенная и светлая голова, автор наилюбопытнейшей книги о морском праве и добрый приятель Репниных — Николая и Ильи. К послу и советнику не подступиться — целая эскадра лодок и лодчонок сопровождает их. Нет, не столько посольская челядь, сколько купцы и купчихи, торгующие цейсовскими и герцовскими стеклами, паровозами, красками и локомотивами. А вот и крейсер сэра Джорджа Бьюкенена. Английский посол частый посетитель сада не только потому, что посольское здание через дом отсюда, но и потому, что прогулки прописал врач. И теперь посол пришел в сад не по своей охоте — взгляните, как осунулся он, как обвисли его седые усы, которые до сих пор отнюдь не выдавали ни возраста, ни душевного состояния сэра Джорджа.

И торжественно-печально, повторяя шаг и повадку хозяина, шествуют по аллеям псы: массивный бульдог с человеческими глазами. Длинная и нелепо косолапая такса. Молодой доберман с марлевой повязкой на ушах. Английский дог, жилистый и подобранный, с мордой Мефистофеля... пес, даже если посол не собачник, ему более чем необходим: он дает послу повод отказаться на какой-то миг от автомобиля и пройти по улице вместе со всеми смертными. Пес, как сигара, трубка, стек, пенсне или палка, обладает для посла силой магической: он позволяет неожиданно отвлечься от беседы, прервать ее, легко сдержаться... в конце концов неизвестно, как поведет себя пес, даже если он пес дипломата!.. По аллеям Летнего сада, устланным осенней листвой, идут послы и едва ли не в ногу с ними шествуют собаки... Они торжественны, как послы, и, как послы, глубокомысленно-печальны, может, поэтому был снаряжен в Летний сад пес с мордой Мефистофеля.

В двух кварталах от Невы Репнин отпустил извозчика и пошел к Летнему саду пешком. Невысокое январское солнце стояло над Петроградом. По Каменноостровскому шли солдаты нестройной колонной, как ходили летом семнадцатого. Старик, повязанный шерстяным платком, из-под которого торчали сине-малиновый нос и сивая бороденка, с маху лепил на рекламную тумбу «Известия». Медленно двигалась пролетка с беломраморной Венерой на сиденье, и при взгляде на обнаженные плечи становилось еще холоднее.

Несмотря на полуденный час, в Летнем саду было непривычно безлюдно. Только снег, ярко-белый, да строгие линии знаменитой ограды возвращали саду его прежний вид. На садовой скамейке сидел солдат и, разостлав перед собой газету, подкреплялся. На газете лежали черный хлеб, две головки чеснока (молва свидетельствовала, что он хорош против испанки и тифа) и щепотка соли. Солдат ел неторопливо и торжественно: натурал черную корочку зубком чеснока, посыпал корочку солью, бережно разламывал и сначала отравлял в рот кусок хлеба, а потом крошки, которые собирал в предусмотрительно подставленную ладонь.

Репнин вспомнил тот безветренный, затканый осенней паутиной день, когда отец увлек его на дальнюю аллею Летнего сада и в очередной раз предал Желнных анафеме, а заодно потребовал и клятвы от сына. Николай Алексеевич сберег ощущение того дня: и сентябрьскую солнечность, и сухую тишину сада, и особую, характерную для ранней питерской осени прозрачность воздуха и перспективы, и главное... тяжесть, вот тут, у сердца. Однако все в мире относительно. Большая беда лучше видится, когда на пороге еще бóльшая беда. Чего стоят все репнинские проблемы той поры в сравнении с бременем, которое легло на плечи Николая Алексеевича сегодня? Вот он стоит сейчас посреди Летнего сада, и кажется, все силы на ущербе: ни шагнуть вперед, ни отступить. Ну, конечно же, в том мире были господа и рабы, была ложь в самой первосути общества, но было там и нечто настоящее, было, было... Самоотверженность храбрых и честных сердец. Нет, не только тех, кого призвала революция, но и просто русских людей, желающих видеть родину освобожденной от скверны. Если бы не было этого чистого и честного, Репнин бы не мог жить. Ему бы просто не хватило воздуха. Но он жил, хотя вокруг были господа и рабы... Или его совесть обросла броней? Или само представление о совести было иным? И потом он сказал: оставалось в той России и нечто настоящее. А быть может, это уже была не та Россия, а новая, нарождающаяся?

Вот он сейчас стоит посреди Летнего сада, пустого сада. Слева в декабрьском сумеречном ненастье очерчивается особняк британского посольства. Не всю землю укрыло половодье революции. Торчат острова, как вехи:

британский особняк, наверно, один из них. Остров спасения... убежище? Даже не очень правдоподобно: переступи порог, и ты в ином мире. Быть может, и белый картон пригласительного билета зовет к бегству. Говорят, в древние времена в ненастье белые голуби прокладывали судам путь. Такие же белые, как крашеный картон пригласительного билета?

А по соседней дорожке человек в дубленом полушубке вел на коротком поводке бульдога в оранжевой попоне, и далеко в стороне рядом со старухой шествовал дог с мордой Мефистофеля, заметно подобравшийся и постаревший. По привычке псы совершали утреннюю прогулку по большим и малым кругам Летнего сада, по привычке — время не останавливалось.

## 23

Репнин решил ехать к англичанам. Он помнил Скотта и однажды был у него в посольской квартире. Но если бы даже Скотта не существовало в природе, как и его посольской квартиры, Репнин полагал, что нет причин для отказа. Он не знал, какие мотивы определили его приглашение в посольство в столь ненастную пору. Но для него этот визит, как он полагал, был даже полезен.

Он бывал в этом доме и прежде, но каждый раз входил в него с трепетом душевным. Что-то было в этих беломраморных покоях такое, что холодило душу. (Нет, Пушкин здесь ни при чем, хотя, как гласит светская хроника, именно в большом зале салтыковского дворца судьба впервые свела поэта с его убийцей.) Что-то было в этом доме для Репнина фатальное. Даже фокус с системой зеркал, грубый и жестокий, оскорблял достоинство. Оставаясь незримым для гостя, хозяин, стоящий на втором этаже, видел отраженным в зеркале каждого, кто входил в дом, и в зависимости от положения и ранга спускался с почти заоблачного высока на одну, две или три ступени. Ничто так наглядно не обнаруживало дипломатических рангов, как лестница в салтыковском доме, по которой английский посол снисходил до простых смертных. Снисходил или нет.

Главное, пробежать роковые пять сажен от парадного входа до лестницы и не дать хозяину спохватиться и привести в действие беспощадную машину. «Ниже пятой сту-



пени сэр Джордж ко мне не спускался,— заметил как-то со смехом Илья.— Лишь однажды спустился на четвертую, но потом вернулся обратно. Это объяснялось не столько моими успехами, как я потом точно установил, сколько тем, что у сэра Джорджа на русской службе начали слабеть глаза».

А как будет нынче? Впрочем, нынче Репнин гость не посла, а советника. С этой мыслью он подошел к парадным дверям салтыковского дворца. Как в прежние времена, безусый швейцар с картинными сединами, более похожий на английского посла, чем сам сэр Джордж, сткрыл Репнину дверь и сдержанно поклонился. Репнин не успел раздеться, как Скотт уже стоял подле него, низвергнувшись с заоблачных высей. Это, однако, было нарушением традиции и для Скотта. В прежние времена здесь в большей мере оставались верны английскому правилу: чем сдержаннее и строже, тем действеннее.

— Ну что ж, мы замкнули круг,— сказал Скотт, показывая Репнину свои розовые ладони.— По-моему, десять лет назад, когда я приехал, мы встретились с вами здесь? Лондон был потом?

— Верно, Лондон был много позже,— произнес Репнин, не останавливаясь, ему все мерещился сэр Джордж Бьюкенен, стоящий на своей четвертой или пятой ступени, господи, какое счастье обмануть его бдительность.

Репнин нашел, что для семи часов, когда начинался прием, здесь было даже слишкомлюдно. Большой зал дворца, прелесть-зал, который так нравился Репнину своими необыкновенными пропорциями и лилейно-белыми тонами, казался сегодня странно тусклым — электричество горело вполнакала. В распахнутые двери он увидел старуху Варвару Оболенскую, выдавшую трех дочерей за англичан и по сему поводу претендующую на положение жемчужины в британской короне. Репнин помнит, когда она еще обнажала бело-розовое тело, чем дальше, тем больше оголяя руки, грудь и шею. Потом на каком-то пределе, когда оголять больше уже почти нечего, она принялась торопливо и не очень ловко драпировать то, что так недавно обнажала. Сейчас она сидела посреди белокаменного зала закупоренная в тюль и кружева — свободными еще оставались нос, блеклые губы и веки. Ах, эти веки! Они будто норовили запахнуться, увлекая бедную в небытие.

Потом он увидел, как молодой человек в куртке студента горного института прошел мимо с девицей, расцветенной бледно-голубыми бантами. Репнин ускорил шаг, но, проходя, услышал голос студента, может, более громкий, чем обычно, определенно рассчитанный на то, чтобы его слышали и поодаль.

— Нет же, Пүшкин бывал здесь и прежде. Если ты полистаешь его письма, там есть письмо и к Дарье Фикельмон, написанное по-французски, то самое, где он ее называет самой блестящей из светских дам.

Репнин улыбнулся: однако посещение салтыковского дворца для девицы с бантом не пройдет бесследно.

— Мой друг Репнин...— услышал Николай Алексеевич голос Скотта.— Только что я говорил о вас с послем. Ему нездоровится, он выйдет к гостям позже, но вас он хотел бы видеть сейчас.

Репнин подумал: все становится на место и через полчаса причины, побудившие Скотта пригласить Репнина в посольство, откроются.

Они вошли в небольшую комнату, служившую хозяйкам гостиной, и в пролете распахнутых дверей Репнин увидел бесчисленную анфиладу комнат. Двери стояли строго одна против другой. Это была в своем роде столбовая дорога салтыковского дворца, его торжественный тракт. Все, что было в этом доме изысканного и богатого — зеркала, обрамленные золотым багетом, резное дерево, фарфор и мрамор,— сопровождало эту торжественную дорогу. По мере приближения к посольскому кабинету все стремительно увеличивалось в размерах, становясь монументальным и впечатляющим. К моменту, когда человек подходил к кабинету, он должен был обратиться в пигмея, стоящего перед великаном.

А Репнин? Если и думал он сейчас о чем-нибудь, то лишь о том, что где-то слева, в четырех-пяти шагах, идет еще одна тропа, неширокая, сумеречная, сдавленная пыльными стенами, высланная истершимся паркетом, по которой день и ночь, бегом и вприпрыжку, спотыкаясь и сталкиваясь друг с другом, спешит посольская челядь. Две тропы, как две судьбы, две линии жизни, идут рядом, нередко расходятся и смыкаются, но, наверно, никогда не пересекаются.

Репнин уже готовился войти в кабинет посла, когда вновь услышал голос молодого человека в форменной куртке (Господи, как он попал в эту половину дома?):

— Пушкин был влюблен в графиню Фикельмон. Кстати, пусть тебя не смущает это непривычное для русского уха имя: она была Дарьюшкой, да, да, Дарьей Федоровной, дочерью Хитрово...

Репнин остановился, чтобы рассмотреть юношу, но Скотт уже распахнул перед Николаем Алексеевичем дверь.

— Имею честь, господин Репнин...— по тому, что эти слова Скотт произнес по-русски, Николай Алексеевич понял: они больше адресованы ему, а не сэру Джорджу Бьюкенену, который поднялся сейчас из-за стола, но сдвинуть затекшие ноги и выйти навстречу Репнину или был не в силах, или (и об этом мог подумать Репнин) не хотел.

— Да... да... Репнин, Репнин,— произнес Бьюкенен по-русски, как показалось Николаю Алексеевичу, лишь для того, чтобы что-то сказать, впрочем, посол тут же перешел на английский: — По-моему, я знал одного Репнина в Лондоне еще в том веке, а другого в Софии в этом...

Николай Алексеевич улыбнулся: приятно, однако, прожить такую жизнь, чтобы ее масштабы измерялись уже не годами и десятилетиями, а, как сейчас, полустолетием — один конец жизни уперся едва ли не в седловину девятнадцатого века, другой перекинулся в двадцатый.

— Да, один Репнин — Лондон, другой — София...— продолжал свои расчеты сэр Джордж Бьюкенен.

— Все верно,— улыбаясь, подтвердил Репнин.— Первый — мой отец, второй — старший брат.

Бьюкенен наклонил голову, стараясь взглянуть на Репнина поверх очков:

— Теперь я и сам вижу: отец и брат.

Скотт нетерпеливо переступил с ноги на ногу, словно осведомляясь у посла, куда приглашать гостя — к журнальному столику в глубине кабинета или к письменному столу? Посол протянул над столом дрожащую руку — жест не столько державный, сколько немощно-склероти-

ческий, стариковский, но Репнин не садился — продолжая смотреть на Скотта, он точно хотел дать понять, что не сядет, пока тот будет стоять.

— Простите, но я хочу покинуть вас,— поклонился Скотт.— Хозяину надлежит быть среди гостей. А сегодня хозяин я.

— Да, да, разумеется,— заметил Репнин.— Особенно после того, как вы передали меня в столь надежные руки...— добавил он, улыбаясь.

Скотт пошел к выходу, Репнин опустился в кресло и взглянул на посла. Все шестьдесят четыре года, которые прожил этот человек,— годы странствий по белу свету, двадцать пять лет посольской службы в Токио, Риме, Дармштадте, Вене, Берлине, долгожданный пост посла в Софии уже в возрасте почтенном и, наконец, семь лет, прожитые в России, дороги, события, встречи, а вместе с ними и тревоги, нелегкий труд, сомнения, еще раз труд, изнурительный, расцвеченный радужным сиянием приемов и все-таки немилосердно тяжелый посольский труд,— все это выступило у него на лице. Что-то было в худых плечах, вздернутом носе, глазах, которые решительно отказывались смотреть туда, куда устремлялось лицо, во всем этом что-то было жестоко-смятенное, на всю жизнь смешавшееся и, смешно так говорить о человеке, кроличье.

— Приходилось ли вам ловить себя на мысли,— улыбнулся сэр Джордж, и кончики усов приподнялись,— как ни тяжела ваша служба за границей, нет страны, которую вы покидали бы без труда,— вам всегда немножко больно. Так было со мной в Болгарии. Так сейчас в России,— он умолк и, сомкнув губы, опустил голову.— Вот так... кружится голова, как при океанской качке... Я мог бы отказать себе во многом, только не в прогулках по Летнему саду, но в последние дни я не могу добраться туда, хоть это и рядом. Нечего мудрить, просто пришла старость и нет сил.

Он передернул плечами и нетерпеливо передвинулся в кресле — просторно и холодно было в этом кресле, как в пальто, которое неожиданно стало свободным и потому не греет.

— Явилась старость, и силы ушли, совсем ушли.

«Каким образом сэр Джордж сумеет перебросить мост к главному, ко всему тому, что должно явиться со-

держанием беседы? Не для того же пригласил меня сюда, чтобы говорить о старости?»

— Вы дипломат и должны понять меня: через две недели я буду в Лондоне.— Бьюкенен напруг плечи и положил на стол руки, свои руки, но такое впечатление, что он достал из-под стола пару чужих рук, больших, естественно белых, с сине-зелеными венами, выложил на стол эти руки и не знает, что с ними делать.— Через две недели я буду в Лондоне и увижу сэра Эдуарда Грея. Я знаю вашу жизненную позицию и осведомлен обо всех метаморфозах, которые в ней наметились,— он вопросительно посмотрел на Репнина, а потом на руки, потом опять на Репнина и вновь на руки — они лежали неподвижно, становилось даже жутко, что они так непонятно мертвы, в то время как глаза, рот, уши находились в движении.— Тем больший интерес представляет для меня беседа с вами и... если хотите, ваше мнение. Повторяю, я не хочу воздействовать на вас, чем больше вы останетесь самим собой, тем для меня ценнее. Я... это Грей, а вы... это я,— рука обнаружила признаки жизни.— Представили? И вот сэр Эдуард Грей задает вам вопрос, то есть не вам, а мне. Но вы... вы готовы ответить, оставшись самим собой?

Однако от Бьюкенена трудно было ожидать такой резвости мысли — вон как он повернул разговор. Для человека такого темперамента, как сэр Джордж, это, пожалуй, и не очень характерно.

Посол медленно разнял руки, сейчас перед ним лежали два кулака, руки пришли в движение, но все еще выглядели чужими — лицо серое, с рыжинкой, а руки снежно-белые.

— Полагаете ли вы, что русские отправляются в Брест, полные решимости договориться с немцами? — он разжал кулаки и опрокинул руки ладонями вверх — ладони сейчас желто-белые, без кровинки.— Даже ценой жертв?

Репнин помедлил с ответом и вдруг ощутил, что торжественная тропа, которой Николай Алексеевич шел сюда, пересеклась и он намертво отрезан от того, что было его средой, его жизнью.

— Я не знаю, как поведут себя немцы и не могу предугадать. Но если условия будут в какой-то мере приемлемыми, у меня нет сомнений.— Репнин взглянул на Бью-

кена — его руки все еще лежали вверх ладонями. — Нет сомнений: русские выйдут из войны.

Бьюкенен сжал руки, сжал с необычной энергией, и Репнин вновь увидел на столе два кулака.

— Благодарю вас, — произнес Бьюкенен с чувством. Видно, ответ Репнина перекликался в его сознании с чем-то таким, что уже было ему известно. — Еще вопрос: как, по-вашему, большевики относятся... к державам Соглашения?

Репнин ждал этого вопроса — для сэра Джорджа Бьюкенена нет проблемы важнее. Вновь на какую-то минуту наступила тишина.

— Мне кажется, им нет смысла портить отношения с союзниками. Старое дипломатическое правило гласит: «Хорошая дипломатия не увеличивает числа своих врагов». — Репнин на миг умолк, ему послышалось, как где-то далеко-далеко, за Фонтанкой, за Литейным мостом, гремят выстрелы. — Заминку в брестских переговорах вызвало требование русской делегации не перебрасывать немецких войск с востока на запад. Не думаю, что это только жест.

Бьюкенен угрожающе пододвинул кулаки к Репнину.

— Но союзники... — он запнулся, и без того бледное лицо стало белым. — Я хочу сказать, что союзники узнали о намерении нового правительства вступить в переговоры с немцами, после того как генерал Духонин получил соответствующее распоряжение.

Репнин молча взглянул на посла: даже в таком более чем корректном разговоре Бьюкенен не мог победить своей неприязни — она была сильнее опыта, выдержки, профессиональной гибкости, наконец.

— Я сказал, сэр, то, что думаю. Это мое мнение.

— Но какая форма отношений между нашими странами устроила бы не свое правительство, если бы признание... если бы...

— Если бы признание было исключено? — спросил Репнин.

Бьюкенен смутился, воинственно выдвинутые кулаки отодвинулись к самой кромке стола.

— Ну, если не исключено, то отсрочено? — поправил он Репнина — он был рад, что может смягчить слишком категорическую формулу и хотя бы этим проявить великодушие.

— Кстати, как относятся англичане к просьбе нового русского правительства о назначении представителя в Лондоне? — спросил Репнин, спросил стремительно, точно рассчитывая на нерасторопность собеседника.

Бьюкенен осел в кресле, будто провалился в него, — кулаки упали.

— Но мы ведь условились, что вопросы буду задавать я.

Вновь наступила тишина, и в ней прозвучали выстрелы, одиночные, с неверными интервалами, первый где-то рядом с посольством, кажется на Марсовом поле, остальные дальше.

Сэр Джордж сидел, сомкнув уста. Его усы мрачно шевелились.

— Стреляют, — произнес он печально и вдруг улыбнулся. — Мы привыкли, всю ночь стреляют, — он помрачнел. — Вот так проснешься и не спишь до утра: стреляют и поют, поют и стреляют... революция! — он поднял брови, наморщил лоб в мучительном раздумье. — О чем мы говорили? Ах, да... красный представитель в Лондоне? Ну что ж, может быть, это и есть форма наших отношений. Кстати, кто бы им мог быть... Литвинов? И как это совместить с прежним русским послом?.. Там Набоков... Два посла: Литвинов и Набоков. Как это будет выглядеть: красный и... так сказать, белый. Не поставим ли мы в ложное положение первого, да и второго? Вы правовик. Как там в истории международного права, были прецеденты? — он встал, очевидно дав понять, что разговор исчерпал себя. — Литвинов и Набоков. Красный и белый. Можно задать вам еще один вопрос? — он медленно подошел к Репнину и оперся о стол.

Он стоял сейчас подле Репнина, стоял нетвердо.

— А что, если бы союзники заявили завтра... да, да, совершенно официально, что они настаивают на участии России в войне, пусть сам народ, русский народ, решает эту проблему. Как решит, так и будет. Как бы, на ваш взгляд, встретили здесь такое сообщение?

Репнин обомлел. Он мог ожидать от Бьюкенена любого вопроса, но только не этого. Не из праздного же любопытства британский посол спросил об этом, не из любви к парадоксам, не из кокетства же, в конце концов? Нет, все это не похоже на сэра Джорджа. Очевидно, эта мысль возникла у Бьюкенена как реальный дипломати-

ческий ход. Но чем он вызван? Дело зашло далеко, и все равно Россию не заставить воевать. Упорство союзников, требующих выполнения Россией союзнических обязательств, упорство неумное, раздражает русских. Может быть, более реальной и в конце концов более умной политикой будет заявление, что союзники не настаивают на участии русских в войне?

— Как бы повели себя русские, если бы такое заявление...

Репнин не сводил глаз с Бьюкенена: тощая фигура английского посла выжидающе покачивалась.

— Ну что ж, если такое заявление было бы искренним, я бы, например, ему обрадовался.

— Благодарю вас, — стереотипным «благодарю» посол старался сгладить впечатление от столь лаконичного и необязывающего ответа. — Но для меня этот вопрос в известной степени праздный, — заметил Бьюкенен.

— Почему? — спросил Репнин. Он понимал: именно этого вопроса жаждет Бьюкенен, и полагал, что может пойти послу навстречу.

— Отныне посол отступает на второй план и его место займет... дипломатический представитель. Мы ждем его со дня на день.

— Вам известно его имя?

— Да, естественно, — с радостью подхватил посол — нехитрый замысел удался, и это воодушевляло. — Мистер Локкарт, один из тех англичан, кто немало сделал для упрочения наших связей с Россией.

— Я сейчас припомнил: он прожил в России достаточно и говорит по-русски? — спросил Репнин.

— Да, не в пример Робинсу, у которого то же ампула, — заметил Бьюкенен и, пододвинув раскрытую книгу, закрыл ее, дав понять, что для него эта беседа клонится к концу, очевидно, книга только потому и оставалась открытой, чтобы в удобный момент закрыть ее и подать соответствующий знак собеседнику.

Англичанам нелегко смириться с лаврами Раймонда Робинса, подумал Репнин. Вызов Локкарта в Петроград, в сущности, продиктован желанием использовать опыт Робинса. Как полагает сэръ Джордж, их новый представитель имеет даже некоторые преимущества перед американцем: жил в России, знает русских и русский.



— Слышите, теперь поют? — настороженно поднял сэр Джордж тонкий палец, провожая Репнина к двери.— Вот так всю ночь... стреляют и поют, поют и стреляют...

Уже очутившись на торжественной тропе, ведущей из посольского кабинета в большой зал, Репнин подумал, что назначение Локкарта в Россию — знамение нелегкого для России времени. Оно свидетельствовало сразу о нескольких печальных обстоятельствах: и о том, что акт признания непредвиденно отдалялся, и о том, что обычные дипломатические отношения уже не устраивали англичан, и о том, что сэр Джордж Бьюкенен, отягощенный печальным бременем лет, заметно уставший, хотя и опытный Бьюкенен, должен был уступить место молодому, наперисто агрессивному и, как думает Репнин, авантюристичному Локкарту.

На столбовой дороге большого салтыковского дома было сейчас полутемно и тихо, даже тише прежнего. Только студент в куртке все тем же патетическим шепотом пытался досказать историю, почти восемьдесят лет тому назад разыгравшуюся в стенах этого дома:

— Нет, Пушкин не мог сдержатъ обиды. Он бросил Дантесу: «Вы... вы — бесчестны».

Но почему все-таки так подозрительно опустел большой зал? Репнин оглянулся и невольно замер, пораженный: в нескольких шагах от него, широко расставив ноги, точно опасаясь, что случайный удар может повергнуть ее наземь, стояла старуха Оболенская и ела; рядом мрачно ворочал пустыми глазами и сопел Федор Мезенцев, внук Оболенской, потом Лев Шевелев-Хазанов, племянник Оболенской... Как ни грубо это сравнение, но все это зрелище длинного стола, за которым двести голодных петроградских аристократов молча двигали челюстями, слишком напоминало Репнину стойло.

Репнин миновал зал и подошел к окну. Он отодвинул шторы и взглянул на улицу. Через площадь, от Троицкого моста, размеренно и упрямо шел солдат, припадая на костыль. Он дошел до памятника Суворову и остановился, подняв голову. Потом заковылял дальше. Репнин смотрел вслед солдату и не мог оторвать глаз, пока тот не исчез в ночи. Солдат устал и шел медленно. Ему явно не хотелось сейчас ни стрелять, ни петь.

Не было еще девяти, а машина уже стояла у подъезда. Репнину показалось, что в машине кто-то есть, кроме шофера. Не Кокорев ли? Что это могло значить? Сегодня Репнин мог бы добраться до Смольного и без провожатого. Очевидно, это жест, но какой? Жест простого внимания? Не рано ли? Все-таки сдержанность всегда была последней стадией возмужания. Молодым классам ее и прежде не доставало. В свое время этой сдержанности, благородной и суровой, определенно не доставало нуворишам.

Репнин оделся.

— Елена встала?

— Нет еще, батюшка,— Егоровна бросила полено в печь, недобро взглянула на Репнина.— Где ей встать, когда вернулась в одиннадцать.

— Я не знал.

— Знать надо — не чужая.

Репнин приоткрыл дверь в спальню дочери. В комнате было темно, но слабый лучик, пробившийся меж штор, упал на висок и, кажется, даже коснулся глаз. Вот раскроет она веки, и прольются потоки сими... А все-таки откуда эти глаза: у матери были не такие, да и у него, Репнина, тоже. Что-то непостижимое в ее глазах: она смеется, а глаза печальны, и ничто не может растревожить их. Какие-то они необычные, эти глаза, и все-таки именно такими должны они быть у Елены, не иными. Он осторожно прикрыл дверь и направился к выходу.

Увидев Репнина, Кокорев поклонился весьма радушно — он определенно был рад встрече с Репниным и, очевидно, возлагал на эту встречу какие-то надежды. И вновь Репнин не мог не подумать: а как поведет себя Кокорев, когда узнает ответ Репнина, и явится ли у него тогда желание ехать с Николаем Алексеевичем из Смольного?

Кокорев вышел из машины.

— Вы где сядете, Николай Алексеевич?

— Позади.

— Можно с вами?

— Сочту за честь...

— Ну так уж за честь,— рассмеялся Кокорев.— Про-

стите, а Елена Николаевна в этот раз не поедет? — спросил он.

Николай Алексеевич был обескуражен: собственно, при чем тут он, Репнин, когда Кокорев приехал за Еленой?

— Нет, не поедет, — заметил он.

Кокорев смотрел на Репнина и улыбался, улыбался откровенно — он, видимо, не считал необходимым скрывать улыбку, если у него было хорошо на душе. Юноша определенно надеялся, что Репнин поинтересуется, почему ему так радостно сегодня, но Репнин молчал, угрюмо глядя на небо.

— Помните эту историю с испанским послом? — вдруг заговорил Кокорев — у него не хватило терпения дольше беречь тайну. — Да, испанец оказался единственным, кто передал наше предложение о мире своему правительству. Передал и поплатился головой. Нет, не казнили, разумеется, отозвали! — он посмотрел на Репнина, ожидая, какое впечатление произведет эта новость, и, увидев, что в глазах собеседника не прибавилось и капельки живого интереса, быстро спохватился. — Я так думаю, — заметил Кокорев в отчаянной попытке поправить положение, — что падению испанца помогли петроградские коллеги. Там, — Кокорев неопределенно повел головой, — отступничества не прощают.

— Возможно.

Кокорев не видел лица Репнина, но по тому, как было произнесено это единственное слово, он понял: зачем было рассказывать эту историю Репнину.

— Кстати, завтра у Ленина будет весь дипломатический корпус, представленный в Петрограде, единственный в своем роде случай; все двадцать послов и посланников — у Ленина, двадцать!

Репнин не мог не улыбнуться — это действительно было необычно.

— В своем роде запоздалое вручение верительных грамот? — улыбнулся Репнин.

— Да, конечно, — охотно подхватил Кокорев. — Хотя истинных послов не будет...

— Каких? — встрепенулся Репнин — реплика Кокорева была неожиданна.

— Истинных, — подтвердил Кокорев, — Робинса и этого... Локкарта, который ожидается на днях.

Однако этот Кокорев из молодых, да ранних.

Они поднялись на третий этаж и широким смольнинским коридором пошли к кабинету Ленина. Далеко впереди из раскрытой двери плеснулась на паркет пригоршня света, и они увидели Владимира Ильича. Он шел быстро, одна рука у него была согнута в локте — очевидно, нес книги, держа стопку у самой груди. То ли услышал шаги идущих позади, то ли почувдился голоса, он обернулся.

— А я иду сейчас и думаю: наверно, уже пришел. Дипломатия предполагает точность. Так? — он отвел голову, желая получше рассмотреть, как принял эти слова Репнин. — И еще думал, предложу сейчас Репнину, нет ли у него желания пойти со мной побродить — на воздух, на ветер, к реке, под открытое небо... Скажу по секрету, в Смольном мало кто знает, что рядом река необыкновенная. Что может быть лучше большой реки! Так пойдем? Или, может быть, здесь посидим? Или все-таки пойдем, решимся? Вот сейчас оставлю книги и пойдем.

Было безветренно и даже солнечно, но свет не декабрьски резок, а тени густые — справа шла туча, синеватая, медленно растущая.

— Где-то здесь на берегу у Петра были смоляные склады, — Ленин посмотрел вдоль реки, мягко сощурился. — Да, именно к этим берегам со всей России везли смолу. Помните, в народе говорят: «На воде да на смоле флот Петров стоит...» Был у него и ум, и характер, и замах, но трудового человека не жалел. Одно слово — царь.

Репнин побледнел, стал похож на тучу, что шла сейчас с востока. Петр был одним из немногих, на кого хотел походить Репнин. Когда-то в молодости он даже подражал Петру: грубоватой статью фигуры, резкостью суждений, нарочитой неловкостью говора, норовом.

— Но Петр продвинул Россию на столетие, — Репнин смотрел на восток, откуда шла туча, и, казалось, лицо его восприняло ее цвет и тревожное мерцание. — Кем была Россия до Петра, кем стала при нем?

— Верно, он был и характером крепок и делом упрям. — Ленин смотрел вдаль, точно сама история выстла-

лась перед ним, такая же широкая и неоглядная, как эта река.— Но царевой крепостью и упрямством.

— Иногда полезно пойти народу наперекор,— произнес Репнин убежденно.

— Наперекор? — переспросил Ленин.— Чтобы защитить интересы народа, действовать наперекор ему не надо. По этой самой причине сгорел Февраль и возобладал Октябрь. Народ требовал мира и земли. Февраль ушел от ответа. Октябрь ответил. Все очень просто.

Они смотрели туда, откуда шла туча. Она шла медленно, но неотвратно. Здесь свет все еще был прозрачным и резким, а там, откуда она пришла, он стал лиловомглистым, неживым. И все, что лежало в том краю, крыши и окна домов, купола храмов, наконец, поворот реки, лишилось крови и потускнело.

Ленин произнес «сгорел» и «возобладал» так убежденно, так откровенно торжествуя, что возражать было бессмысленно — он стоял на этом не словом, жизнью.

— По-моему, в тот раз мы не договорили,— произнес Ленин, глядя в глаза Репнина,— он почувствовал затруднение собеседника и как бы подал руку.— Кстати, чтобы не забыть: мы получили телеграмму из Лондона, Чичерин будет в Питере в январе,— он произнес это скороговоркой, точно хотел дать понять: все это действительно сказано им, «чтобы не забыть», и, в сущности, к делу не относится.— Итак, жду от вас ответа. От себя могу сказать — мы бы хотели, чтобы вы сказали «да».

— Я скажу «нет».

— Простите, почему?

— Вряд ли случайно, что никто или почти никто из дипломатов не откликнулся на этот призыв о сотрудничестве,— заговорил Репнин.— Полагаю, что и я не должен этого делать. Посудите сами, почти семнадцать лет я отдал дипломатии. Я пошел туда по призванию. Кстати, дипломат и карьера не всегда синонимы. Все, что я совершал, совершал с открытыми глазами и считал справедливым. Встреча с отцом мне не угрожает, его уже нет в живых. Хотя будь он жив, анафемы мне не миновать... Но брат, мой брат, который отдал дипломатии двадцать лет и был моим наставником и, если хотите, другом... Что он скажет?

— Скажет или... сказал?

— Я хочу быть откровенным: сказал. Вы поймите, что для меня Питер не безбрежное море. В этом городе у меня есть свой город, где я знаю каждую улицу, каждый дом, а в нем каждого человека. Это город со своим уставом и нравами, попирать которые не позволено, город моих близких, всех тех, кто составлял гвардию моих дедов, живых и мертвых. Легче расторгнуть брак, уйти из семьи, порвать с отцом, чем вырваться из пределов этого города.

Ленин взглянул на Репнина.

— Нет, я должен все понять. Что вас держит — боязнь молвы? Чего же здесь опасаться, здесь радоваться надо! Пусть вас проклянут ваши недруги и предадут анафеме! Но вы живы, полны сил и решимости служить благородному делу. Да поймите вы, бедный человек, именно это и есть мужество, а значит, и радость и удовлетворение.

— Я хочу служить России.

— Вы будете ей служить так, как никогда не служили...

Ленин посмотрел на Репнина, будто тот возник перед ним впервые. Что говорило сейчас Ленину лицо Репнина? Наверно, честный, бескомпромиссный человек. Честный по складу всей своей натуры, по складу, быть может, представлений о жизни, для которого высшим благом были добрые начала человека, неспособность к подлости прежде всего. Но в плену ложных истин, более того, истин лживых.

— Россия? Она без конца и края, как горе, которое поселилось в ней,— Ленин обратил лицо к ветру, точно хотел, чтобы ветер, который дул все сильнее, коснулся его.— Вот если прокляла та Россия, не будет проклятия сильнее. Бойтесь этого проклятия — остальное не страшно. Однако я хотел говорить не об этом,— произнес Ленин и разом отшел все слова, не имеющие отношения к тому, что намеревался сейчас сказать.— Мне необходим ваш совет,— продолжал он и посмотрел на Репнина.

Прямота, с какой это было сказано, казалось, импонировала Репнину.

— Вы знаете, что революционное правительство России приказало русским войскам, находящимся за рубежом, вернуться на родину.

— Да, мне известен этот приказ,— ответил Репнин и взглянул на снеговую тучу, она застлала последний кусочек сини и разом изменила цвет земли и неба, цвет и свет.

— На приказ откликнулись наши армии, в частности те, что были на Балканах, откликнулись и двинулись на родину, от Дуная к Днестру и Бугу.— Ленин посмотрел на Репнина и сдвинул брови,— казалось, неживой свет, который пролила на землю туча, проник в самые поры лица Репнина.— Войска возвращались на родину в полном порядке, хлеба и фуража у них в обрез. И вот новость: приказом маршала Авереску войска окружены и остановлены. Авереску подтянул к ним артиллерию, а вы знаете, что у него на этот счет опыт есть. Помните девятьсот седьмой год, пылающие румынские села в Приднестровье?..

Репнин смолчал, только ссутулил плечи.

— В общем, положение трагическое: посреди снежной степи, без хлеба и крова тысячи и тысячи русских людей. Не скрою, я хотел бы знать ваше мнение... что делать?

— Очевидно, обратиться к русскому посланнику в Бухаресте,— сказал Репнин.

— Это к кому же... Поклевскому? — спросил Ленин, не останавливаясь.

— Да, к Поклевскому-Козелл,— произнес Репнин.

Ленин продолжал идти.

— К человеку, который в доказательство преданности России призвал сэра Эдуарда Грея?

Репнин ничего не ответил, лишь прибавил шагу: господа, вот они, времена! Нет, решительно нельзя было себе представить, что эта история известна Ленину. Надо было отвечать Ленину, но как? Сколько помнит Репнин Поклевского, тот вел долгую тяжбу с русским военным агентом в Бухаресте адмиралом Веселкиным. Адмирал, опираясь на связи при дворе (по слухам, он был внебрачным сыном Александра Третьего), пытался сокрушить Поклевского, используя грубые средства. Но посланник не обнаружил ни сомнения, ни страха. Многоумный и ловкий политик, он просто регистрировал каждый шаг адмирала и в бесстрастных, но точных донесениях в Питер методически компрометировал его. Это единоборство продолжалось годы. В него втянулось даже румынское

правительство, которое раскололось на тех, кто благоволил к посланнику, и на тех, кто симпатизировал адмиралу. В решительный момент Веселкин пустил все козыри, в дело был вовлечен сильнейший из покровителей — царь потребовал отзыва посланника. Однако и этот удар оказался для Поклевского не смертельным. Он знал: есть обстоятельства, когда можно обойти даже царскую депешу. Он апеллировал через английского коллегу в Бухаресте к сэру Эдуарду Грью. Адмирал был посрамлен, а вместе с ним и высококи заступник. Что же касается Поклевского, то он обнажил истину, которая больше всех поражений на фронтах свидетельствовала о позоре николаевской России: очевидно, русский посланник представлял в Бухаресте не только русские интересы.

— Нет, Поклевский нам не указ и не помощь,— сказал Ленин.

— Но тогда какой же выход из положения? — спросил Репнин,— он был готов любой ценой сменить тему разговора и не упоминать о Поклевском.

— Если говорить о нас, то мы ответили мерой чрезвычайной,— произнес Ленин.— Арестовали посланника и заключили в Петропавловскую крепость.

Теперь стало холодно Репнину— он вытянул руки, точно в ненастье искал огня.

— Разумеется, вы не одобряете нашего шага, больше того, считаете его произволом?

— Да, считаю.

— Простите, почему?

— Если вы хотите доказательств, прошу запастись терпением,— сказал Репнин и пошел тише, будто хотел настроить Ленина на иной душевный лад.— Правило, гласящее, что иностранец подчиняется законам той страны, на земле которой он сейчас находится, на послов не распространяется,— Репнин, разумеется, знал, что Ленину известна эта простейшая истина, однако по привычке любил каждую истину утвердить с азов.— Посол как бы замещает в стране своего пребывания того, кто его сюда направил, иначе говоря, монарха или президента. Вот вам задача на задачу: допускаете ли вы арест румынского короля и заключение его в Петропавловскую крепость? — Ленин не ответил. Он поднял воротник пальто.— Марк Туллий, имея в виду некоего посла, говорит, что посол



олицетворяет сенат и авторитет республики,— напомнил Репнин. Здесь он был в своей стихии и обрел дар речи.— Посол считается как бы экстерриториум и не связан гражданскими законами народа, на земле которого он живет. Если даже он пренебрег законами государства, претензии адресуются не ему, а правительству, которое его послало...

Репнин умолк и посмотрел на Ленина. Тот был молчалив, хмуро молчалив. Вряд ли Репнин сообщил Ленину нечто такое, чего тот не знал (кстати, его собеседник, кажется, был по образованию юристом). Главное, точно определить факт и построить систему доводов. Очевидно, Ленин взвешивает доводы Репнина, копит контрдоводы, хоть это и нелегко, в его положении нелегко. Факт остается фактом: Диаманди заключен в Петропавловскую крепость.

— Посол должен быть защищен от покушений на неприкосновенность, и это обязанность правительства, при котором он имеет честь находиться.— Репнин выдержал паузу, его мысль работала напряженно.— Она остается в силе даже в том случае, если страны объявили друг другу войну: послу и персоналу посольства предоставляется возможность свободно выехать из страны,— Репнину казалось, что доводы его исчерпаны, однако он старался проверить себя вновь и вновь.— Если даже посол уличен в покушении на общественное спокойствие и безопасность страны, арест посла исключен.

Репнин умолк. Они тихо вышли на тропу, ведущую от реки к Смольному, громада которого неясно проступала в снежной замети.

— Вот вы сказали,— произнес Ленин негромко,— что посол не связан верностью государству, при котором аккредитован?

Репнин внимательно посмотрел на Ленина: что скрывалось за вопросом?

— Ни в коем случае. Посол свободен от верности законам.

— Вы еще сказали: посол должен быть защищен от покушений на неприкосновенность, и это обязанность правительства, при котором он имеет честь находиться...

Репнину показалось, что и он начинает понимать замысел Ленина, но он повторил не противясь:

— Именно обязанность правительства...

Ленин обернулся.

— Заметьте, при котором он имеет честь находиться.

— Совершенно верно: честь находиться...

Ленин усмехнулся пока еще тайной мысли.

— Теперь разрешите задать несколько вопросов мне? — спросил Ленин. — Вы помните, как реагировала официальная Европа, когда перестало существовать правительство монархической России и к власти пришел Миллюков? Вы помните, что за два дня, я подчеркиваю — два! — на Дворцовой, шесть побывали послы всей Европы, да только ли Европы, чтобы сообщить о признании нового правительства?

— Да, разумеется, я это видел.

— Очевидно, поступая так, они заботились и о возобновлении своих прав, в частности права экстерриториальности, не так ли?

— Возможно, и так.

— Теперь перенесемся в наше время! Представьте, после создания нового правительства прошло почти два месяца. Однако послы вдруг убоялись иностранного ведомства как черт ладана. Не следует ли понимать этот факт так, что правительства стран, считая и королевское правительство Румынии, не признают революционной России?

Ленин чувствовал себя все увереннее, и это сообщилось голосу, который становился крепче, эмоциональнее.

— И это очевидно, — согласился Репнин.

— А если очевидно, то не значит ли все это, что румынское правительство желает сохранить свободу рук? Именно свободу рук, на манер той, которую обнаружило это правительство, интернировав тысячи русских людей... Не полагаете ли вы, что нормальные дипломатические отношения между государствами не предполагают такого акта?

— Да, разумеется, — ответил Репнин.

— А если таких отношений нет, если правительство румынского короля добровольно отказалось от этих отношений, то посол со всеми его правами становится простым смертным, превращается в частное лицо, и мы вправе поступать с ним, как сочтем нужным, тем более... — Ленин рассмеялся и ускорил шаг. — Тем более что пример нам подало, так сказать, королевское правительство Румынии.

Повалил снег, повалил обильно и застлал все вокруг — в белых сумерках потонула и колокольня Смольнинского собора и монастырские дома.

— Ну, как вы находите мои доводы с точки зрения Марка Туллия?

Когда они вошли в здание и Ленин взглянул на Репнина, тот был белее снега, что лежал на его плечах.

— Какая просьба будет ко мне? — спросил Репнин тихо.

— Быть рядом, когда я изложу эти доводы дипломатам, и защитить тех русских.

Ленин произнес «тех русских», указав взглядом на окно, за которым свирепствовало ненастье, и Репнин увидел вечернюю степь, занесенную снегом, — русские, о которых говорил Ленин, были там.

— Вы слышали, что на смену Бьюкенену прибывает лицо, миссия которого своеобразна? — спросил Ленин — теперь он был заинтересован в том, чтобы смягчить тему разговора.

— Локкарт? — подсказал Репнин.

— Да, Брюс Локкарт, — уточнил Ленин. — Что бы это могло означать?

Хотя вопрос, который так неожиданно поставил Ленин, и не был нов для Репнина, он смешался.

— Англичане никогда не рвут отношений напрочь, — произнес Репнин, ему показалось, что он вышел из положения с честью. — Опыт подсказывает им, что это нецелесообразно.

— И только? — спросил Владимир Ильич. Ответ Репнина, несмотря на то что он был внешне эффектен, явно не устраивал Ленина. — И только? — повторил свой вопрос Ленин.

— Очевидно, назначив Локкарта, англичане дали понять, что нынешние отношения с Россией их не устраивают, — сказал Репнин, хотя хотел сказать больше.

— А какие бы отношения с Россией их устраивали? — спросил Ленин, он все еще стоял в двух шагах от Репнина.

Репнин молчал.

— Тогда разрешите ответить мне, — сказал Ленин.

Ленин пошел к столу, пошел неторопливым, почти бесшумным шагом.

— Вы правы, если смотреть на события с точки зрения дипломатии классической, когда само это понятие рассматривалось как искусство вести переговоры... Так, кажется, звучит эта формула? Если рассматривать эту проблему так, вы правы, но с годами эта формула совершенствовалась.

— Не столько вести переговоры, сколько вести огонь? — мгновенно реагировал Репнин.

Ленин обернулся, и их глаза встретились.

Сейчас было сказано что-то очень важное. Видно, классическое определение дипломатии в современном мире нуждается в коррективах.

...В приемной, как в ту ночь, когда Репнин приехал сюда впервые, сидела над раскрытой книгой девушка и кротко ела сухарик. В стакане так же ярко, как в ту ночь, зеленела веточка, полная листьев.

Вошел этот высокий, с бледным лицом и печально-внимательными глазами, тот, что тогда говорил о «Червонном штандарте». Он поклонился присутствующим и быстро прошел в кабинет Ленина. «Есть в поляках нечто строго испытующее,— подумал Репнин,— когда они смотрят на тебя в упор, вот и тогда, на тракте, когда кандалы тоскливо и грозно вторили их усталым шагам, они смотрели так же».

## 26

Утром, еще не открыв глаз, Репнин ощутил запах свежее испеченного пирога. На память пришло что-то очень далекое, затянутое голубоватой дымкой детства: зеленый дворик в Москве, веранда, затененная купами мохнатых лип, стол, накрытый ярко-белой скатертью, пахнущей свежестью, и прямоугольное фарфоровое блюдо с кулебякой. Тогда пирог подавался в знак семейных радостей. Он был символом милых и добрых примет, которым радовалась семья, а вот сегодня... пирог примирения?

Братья заняли свои места за столом: Илья в одном конце, Николай — в другом. Илья явился в темном костюме, графленном синей ниткой. Как надо было понимать это? Может, так: он, Илья, явился сюда, разумеется, не из-за кулебяки, будь она даже кулебякой прими-

рения. Он просто не хочет разрушать семейное торжество. Однако он помнит о разрыве и не намерен его прощать. Поэтому его присутствие за столом — акт вежливости, быть может, протокольный акт. Именно об этом свидетельствует темный костюм. Но Илья был обескуражен, когда увидел, что брат одет не менее строго. Темный костюм... что это могло значить?

Братья сидели в разных концах стола, торжественные и молчаливые, и чудесный пирог, испеченный добрыми руками Егоровны, пирог примирения, нетронутым стоял посреди стола.

— Эка вы... святые, Никола Угодник да Илья Пророк! Нету мне с вами сладу! — произнесла Егоровна и сильным ударом большого кухонного ножа рассекла пирог надвое.

Елена уже не могла сдержать смеха до конца завтрака (втайне она была хохотуньей и искала повода посмеяться), а братья деловито ели кулебяку — не было труда серьезнее. Не повернулось бы все так круто, Илья принял бы седеющие усы салфеткой и удалился дописывать очередную главу книги («Адмирал Рождественский стал жертвой более чем досадного промаха разведчиков. Предупрежденный о появлении в Северном море японских миноносцев, он обстрелял близ Гулля английских рыбаков. Гулльский инцидент доставил немало хлопот и дипломатам»). В иных обстоятельствах ничто бы не могло возобладать над желанием сесть за стол и окунуться в родную стихию дипломатической истории, но сегодня... Каждому должно быть понятно, почему облачился в темный костюм он, Илья. Но чего ради вырядился брат?

— Куда собрался, брат? — спросил Илья. — В Царское на прием к государю или, может, к смоляным складам?

— К смоляным, — ответил Репнин.

Илья вздрогнул — прямота этих слов ошеломляла.

— Не на встречу ли дипломатов?

Николай Алексеевич медленно поднял глаза. Однако молва движется на быстрых ногах — Илья все знает.

— Да, разумеется.

Заходили, загудели, застонали бронхи Ильи.

— Двести лет стоит Петропавловка, железным камнем обложен Алексеевский рavelин, но дипломатов там

до сих пор не было. Ты помнишь случай с Андреем Матвеевым в Лондоне?

Репнин не сразу сообразил, о чем идет речь.

— С ним что-то приключилось за день до вручения отзывных грамот?

Илья сжал и разжал пухлые руки — для него это своего рода гимнастика, особенно в минуту волнения.

— Коли забыл, я напомню, — произнес он нарочито медлительно — когда инициатива в разговоре переходила к нему, его речь становилась странно медленной. — Российского посла в Лондоне Матвеева водворили в долговую тюрьму — козни недругов России. Посол пробыл за решеткой один миг, стремительный и преходящий, однако достоинство посла, Петрова посла?.. Королева Анна направила к послу гонца, да не просто гонца, а статс-секретаря: «Ее величество сожалеет... Королева отдала приказ наказать виновных немилосердно...» Посол отказался видеть королеву, не вручил отзывных грамот и выехал из Англии!.. Ты думаешь, королева сочла себя оскорбленной? Ничуть не бывало! Она продолжала считать себя виноватой — шутка ли учинить такое над послом! — Илья неожиданно поднялся из-за стола, и Николай Алексеевич вдруг увидел грозно изогнутую бровь брата, выражающую и неуступчивость и упрямую энергию. — Чтобы уладить конфликт, королева сделала лорда Уитворта, британского поверенного в российской столице, послом чрезвычайным: наихитрейший шаг! Этим актом королева как бы свидетельствовала перед всем миром уважение державе Российской и ее суверену. Но не только это. Новое положение посла предполагало вручение верительных грамот монарху, а значит, публичную аудиенцию у царя, что давало послу возможность вместе с приветом королевы передать и сожаление ее величества. Царский кормчий, выехавший в соответствии с принятым ритуалом за послом и персоналом посольства, приволок на двадцати каретах добрый полк англичан. И каждый был представлен Петру, и каждый громко и или молчаливо свидетельствовал в этот день: сожалею о случившемся, сожалею. Матвеев представлял не самого себя, а Петра — в нем главное! Вот поэтому Анна клала земные поклоны Петру: сожалею о случившемся и три шкуры сниму с виноватых... Да в поклонах ли дело? Был издан указ по королевству о неприкосно-

венности дипломатов, именно тогда был издан тот указ.— Илья отодвинул стул и зашагал по комнате — куда девалась расслабленность и рыхлость,— в его поступи Николай увидел молодость.— А Матвеев? Я не знаю, что сказал Петр Матвееву, когда остался с ним с глазу на глаз. На мой непросвещенный взгляд, вины Матвеева там не было, но коли была малая толика, то Петр высказал, наверно, все напрямик — не в Петровых правилах юлить и петлять. Но то был разговор тайный. А явный? Петр тут же назначил Матвеева послом при римском дворе и этим точно дал понять всем и прежде всего англичанам: каждый удар недругов по Петрову послу только возвышает его в глазах государя!

— Но ведь Матвеев был послом, а Диаманди?

— И Диаманди посол, или, вернее, посланник, но в данном случае это не важно.

— Нет, он не посланник, по крайней мере для Ленина и его правительства.

— Это по какой же такой причине?

— Не совершен акт признания, а вслед за этим и акт аккредитации, кстати, тот самый, который совершил лорд Уитворт и без которого посланник не является посланником.

— Если не посланником, то кем? — спросил Илья.

— Частным лицом,— ответил Николай и неожиданно осекся: это же слова Ленина! Да, именно так назвал Диаманди Ленин и, очевидно, так назовет сегодня, встретившись с дипломатами: «частным лицом». Значит, он, Репнин, стал на точку зрения Ленина в споре с братом. Это было для него открытием, открытием чрезвычайным. Сказал бы об этом брат с той злой медлительностью, на которую был мастер, это не произвело бы на Репнина такого впечатления, как то, что это открытие сделал он сам.

Илья пошел к двери.

— Прости меня, брат, но, когда ты не прав, ты стараешься увлечь меня в темный лес юриспруденции — в лесу есть убитые и нет убийц...

— Для меня этот лес не светлее, чем для тебя,— сказал Николай примирительно, это было в его характере: в минуту, когда разговор предельно накалялся, он умел ослабить его.— Не темнее, чем для тебя! — повторил Николай, но Ильи и след простыл.

Репнин отпустил автомобиль на Леонтьевской. До приема дипломатов оставалось минут пятнадцать. Впереди уже обозначился характерный шатер смольнинского фасада, когда мимо прошумели длинные лимузины дипломатов. Автомобили шли стремительно, и флаги держались над радиаторами как накрахмаленные, замедли скорость — материя обвиснет и упадет. Опытный глаз Репнина отметил привычные цвета. Красно-бело-синий — французский. Белый с ярко-красным солнцем — японский. Звездно-полосатый — американский. Зеленый с глобусом в центре — бразильский. Красный, перепоясанный желтым кушаком — испанский. А потом замелькали один за другим звезды, кресты, круги... И Репнин подумал: национальные флаги, как и звуки национального гимна, в сущности, условны, но тогда почему же они так тревожат сердце? А поток автомобилей все пронесился мимо, не автомобили — снаряды, — кто-то невидимый обстреливал Смольный институт из своей Большой Берты. Чем закончится сегодня этот обстрел?

Репнин был у парадного подъезда Смольного, когда дипломаты, выбравшись из автомобилей, протапывали стежки к дуайену, который по сему случаю поднялся на парадное крыльцо, чтобы быть заметнее. Сказывалась близость реки — здесь было холоднее, чем в городе. Тяжелая шапка Френсиса скрывала лоб, воротник был поднят, и глаза едва обнаруживались.

Френсис показался Репнину хмурым: видно, и для него предстоящий разговор был непростым. Репнин вспомнил первую встречу с Френсисом. Это было всего лишь в начале года, а сколько с тех пор воды утекло!.. Пришло сообщение о смерти русского посла в Лондоне — Александра Бенкендорфа. Эта смерть не явилась неожиданностью, посол был очень стар и болен. Он все чаще уходил от дел, которые требовали и молодого напора, и энергии, и, главное, инициативы, — шла война. Отставка посла была целесообразна, однако министерство медлило, опасаясь высочайшего гнева. Отставка устранивала всех, кроме самого посла — посольский пост давал Бенкендорфу положение в свете, а люди его возраста к этому безразличны. Только смерть могла сместить Бенкендорфа. И она сделала это, сделала деловито,



без лицемерия и лживых слов. Казалось, смерть человека, к памяти которого ты к тому же равнодушен, не очень подходящий повод, чтобы бросаться в объятия друг другу. Но в дипломатии важна цель, а не повод, поводом часто пренебрегают. Репнин видел, как Френсис стоял в тот день перед Сазоновым и, потупив взор, произносил: «Так безвременно, так безвременно...» В ответ Сазонов трогал обескровленными пальцами виски, такие же голые, как темя, шептал скорбно: «Так безвременно...» Очевидно, в тот момент и у того и у другого не было иной возможности выразить друг другу симпатии своих правительств, и они не преминули воспользоваться смертью Бенкендорфа, сделав это почти с радостью. Так можно было вести себя, если память умершего передается проклятию. Однако об этом не хотел думать ни тот, кто выражал соболезнование, ни тот, кто принимал. Изысканность и видимая искренность, с которой это делалось, находились в вопиющем противоречии с грубой жестокостью, с которой два почтенных дипломата пренебрегли поводом.

Вопреки обыкновению дверь в кабинет Ленина была открыта, и Владимир Ильич заметил Репнина, едва тот явился.

— Я подумал,— сказал он, протягивая Репнину руку,— быть может, вам хотелось отказаться от участия в этой встрече, а я настоял. Впрочем, у вас хватило бы храбрости и отказаться... Вот вопрос,— заметил Ленин и движением глаз указал Репнину на кресло у стола.— Очевидно, мы можем возвратить румынского посланника в его резиденцию на Захарьевской лишь в одном случае: русским должен быть открыт свободный путь в Россию.

— Следовало бы подождать, как разовьется беседа,— сказал Репнин.

— Да, пожалуй, так вернее: выждем, какой оборот примет разговор с дипломатами,— подтвердил Ленин. Владимир Ильич был одинаково сдержан и в том случае, когда возражал Репнину, и в том, когда соглашался.— Но кто выступит от имени дипломатов, кто поведет беседу? Не американский ли посол? — спросил Ленин, он хотел представить оппонента зримо.

— Возможно, и американец, хотя...— Репнин помедлил.— Хотя из тактических соображений он может и преуступить эту роль Нулансу. Француз не преминет ринуться в бой.

— Полагаю, мы можем пригласить наших гостей,— задумчиво произнес Ленин.

Репнин взглянул на Владимира Ильича, взглянул пристально — конечно же, он волновался. Как обычно, Ленин одет тщательно. Костюм отутюжен и хорошо сидит, вот только лацканы блестят да слегка источились края аккуратно заштопанных рукавов, но это можно заметить, лишь присмотревшись,— на белом поле манжет края рукавов неровны, трудно восполнить истершуюся ткань. Видно, зашивали дома — портной сделал бы искуснее. И эта подробность, в сущности незначительная, точно открыла Репнину глаза. Он увидел всю жизнь этого человека, какой не видел ее прежде: и белые снега сибирской ссылки и долгие дороги немилрой чужбины.

— Пригласите наших гостей,— сказал Ленин девушке-секретарю, которая появилась в дверях. Дверь раскрылась, и раззолоченная яхта дипломатического корпуса слепо ткнулась носом в распахнутую дверь и вплыла в кабинет. Репнин смотрел на Ленина: в его глазах были и любопытство, и задор, и раздумье. Однако яхта вплыла в кабинет, неловко потрясла кормой (тем, кто завершал шествие, в небольшом кабинете Ленина было теснее, чем тем, кто шествие возглавлял) и царственно замерла.

Френсис вышел вперед, значительно откашлялся и, не без гордости оглядев яхту (золото и бронза блестели немилосердно), начал церемонию представления дипломатов.

Золотого дождя погон, аксельбантов, нашивок оказалось недостаточно, чтобы повергнуть Ленина в трепет, и Френсис призвал гудящий рой титулов и рангов. Кажется, старейшина дипломатического корпуса поправил Ленину настроение. От улыбки Ленина Френсис смутился и отошел в сторону, уступив место Нулансу.

Ленин и Нуланс стоят друг против друга. А все-таки любопытно, о чем сейчас думает Ленин? Так вот он какой, Жозеф Нуланс, военный министр Франции в роковой предвоенный год, немало ответственный за все, что произошло на Марне и Луаре. Его миссия в России — не

попытка ли наверстать утраченное? Говорят, он неистов. Так было и прежде: неистовость всегда следует за неудачей. Невелик ростом, с посеребренными висками и лицом, тронутым нежной розоватостью, с почти квадратными ладонями и, разумеется, брюшком. Кем он мог быть прежде? Главой крупного провинциального банка или владельцем железнодорожного концерна? Непросто главе провинциального банка стать министром? Нет, он крупнее... Быть может, играл в социалиста, ездил по селам и городам, выступал с импровизированных трибун, устроенных на штабелях леса и папертях храмов, жал руки крестьянам — сколько он их пожал в своей жизни?

Лист в руках Нуланса мелко вздрагивает — хороший признак.

— Дипломаты, аккредитованные в Петрограде, протестуют против ареста румынского коллеги. Персона посланника священна и неприкосновенна. Дипломаты не могут входить в рассмотрение причин: посланник должен быть освобожден немедленно.

— Но для истинного социалиста жизнь тысяч солдат важнее благополучия одного дипломата, — говорит Ленин.

Репнин смотрит на него не без смятения. Случилось почти непоправимое: Ленин пренебрег главным доводом. Как Репнину кажется, соображение, что Диаманди утратил прерогативы посланника, предпочтительнее других соображений. Ну, разумеется, Нуланс социалист, впрочем, не столько социалист, сколько член радикал-социалистической партии, но в какой мере это может его обязать? Это не его совесть и даже не вера, а всего лишь деталь быта — сегодня он живет в особняке на Сен-Дени, а завтра в многокомнатных апартаментах на авеню Д'Обсерватуар. Верните ему его министерский портфель, и он готов стать хоть членом священного братства Игнатия Лойолы. Неужели это непонятно?

Нуланс улыбнулся, его щеки стали еще розовее.

— Поймите, мы не обязаны входить в рассмотрение причин... Посланник должен быть освобожден независимо от обстоятельств...

Репнину кажется, что Ленин сейчас выложит главный козырь, который он так долго берег: «А Диаманди для нас не посланник... Правительство, при котором он ак-

кредитован, утратило права. Пока не совершен акт признания, Диаманди для нас лицо частное...» Главный удар должен быть нанесен сию минуту. Может, поэтому Ленин вышел из-за стола и приблизился к Нулансу — прием старого полемиста: чтобы сокрушить противника, надо видеть его глаза.

Ленин просит прочесть телеграмму, полученную от русских войск, интернированных в Румынии.

Телеграмма читается. Точно тишина далекой молдавской степи вошла сюда. И слышны сдержанные голоса людей, сидящих у костра. И полные тревоги, совсем человеческие вздохи ветра. И робкое поскрипывание сбруи. И бегущие зарницы на востоке и западе — Авереску продолжает подтягивать артиллерию, если ударит, то оттуда. И тишайшее движение падающего снега, который пошел в обед и будет, наверно, идти до утра. И кажется, ветер занес слабые хлопья снега сюда. Снег падает на серо-синие седины Нуланса. На эполеты парадного кителя шведского посланника. На золотое шитье парадного мундира испанца...

Но Ленин будто бы исчерпал все аргументы и перевел взгляд на дуайена.

Френсис выходит из укрытия. Он начинает говорить: в большом теле Френсиса голос бесправен — так он зыбок, так лишен силы.

Френсис полагает, что совершена ошибка и посланник будет освобожден. Он даже полагает (о чудо!), что освобождение Диаманди подкрепит справедливое доверие цивилизованных стран к рабоче-крестьянскому правительству. Так прямо и произнесено: «к рабоче-крестьянскому правительству».

«Что же это может означать? — не мог не спросить себя Репнин. — Откроют дорогу русским войскам или воспрепятствуют этому, теперь уже объединив силы? Очевидно, откроют дорогу войскам. Но в обмен на освобождение Диаманди? Быть может, так, но это еще вопрос будущего. По крайней мере Ленин ничего не обещал, как, впрочем, и Френсис. Все решится в ближайшие часы. Френсис прямо сказал об этом: в ближайшие часы».

Дипломаты покинули Смольный.

Ленин попросил Репнина остаться. Николай Алексеевич слышал, как автомобили отошли от подъезда Смоль-

ного, и мысленно последовал за машинами: дипломаты сейчас едут по городу медленно, распушив флаги, по Невскому, обязательно по Невскому, потом с Литейного на Фурштадтскую — путь хоть и не самый короткий, но зато самый выигрышный. Державы Согласия и их друзья демонстрируют единство. Одной этой причины достаточно, чтобы совершить экскурсию в Смольный. Давно не видел Невский такого зрелища. Женщина в кружевном чепце приблизилась к окну: «Наконец-то!» Человек в котелке локтями проложил себе путь к борту тротуара: «Я же говорил!» Мальчик в гимназической шинели, заметив звездно-полосатый флаг, едва не сломал лакированный козырек форменной фуражки: «Vive les Etas Unis!»<sup>1</sup> Старик в дохе скептически шевельнул тюленьими усами: «Большого они уже не могут». Немного, однако, надо, чтобы возликовал нынче Невский.

Быть может, они уже добрались до Фурштадтской. В зале-ротонде американского посольства они сейчас держат совет. Ленин явно не пошел на уступки. Больше того, уступок требует он, разумеется, в ответ на освобождение посланника. Отвергнуть требование Ленина? А не бессмысленно ли это? В конце концов он отстаивает правое дело — тысячи людей, кстати, ни в чем не повинных, обречены на холод и голод. Не исключено, что они обратятся к оружию, даже вопреки желанию Ленина.

Уже вечером раздался звонок из американского посольства.

Телефонограмма. Нет, не только от Френсиса-дуайена, но и от американского посла.

Стиль телефонограммы торжествен. Таким стилем пишут приветствия по случаю рождения престолонаследника или избавления дружественного народа от чумы.

Френсис провозгласил: если Диаманди будет освобожден, то он, Френсис, будет рассматривать арест румынского посланника как средство протеста Советского правительства против недопустимого (именно эта формула: недопустимого!) образа действия румынских властей.

Ленин отвел глаза от телеграммы, он посмотрел на Репнина, точно увидел его впервые.

---

<sup>1</sup> Да здравствуют Соединенные Штаты! (франц.)

— Вы хотите что-то сказать, не так ли?

— Владимир Ильич, я все думаю, почему вы не заявили, что Диаманди для вас всего лишь частное лицо? — спрашивает Репнин. — Более веского довода не было, и вы им пренебрегли. Почему?

— А вы полагаете, что к этому доводу надо было обратиться при всех обстоятельствах?

— Но этот довод дал бы нам чистый выигрыш без риска...

Ленин пошел по комнате (руки сжаты и поднесены ко лбу).

— Да, этот довод дал бы нам чистый выигрыш, — говорит Ленин, не останавливаясь, он будто советуется сам с собой. — Но к доводу этому надо было обратиться в крайнем случае, — он останавливается. — В самом крайнем... — вдруг произносит он. Ленин сейчас достиг Репнина, взглянул на него. — Быть может, я не прав, — проговорил Ленин, ему не хочется изрекать категорические истины. — Но сказать, что Диаманди частное лицо, значит дать понять дипломатам, что и их положение в Петрограде своеобразно, — Ленин смотрит на Репнина — какое впечатление эта фраза произвела на него. — В конце концов, чем нынешний статус Диаманди отличается от положения любого из дипломатов?

— Разумеется, ничем, — заметил Репнин, — но, быть может, надо было об этом сказать.

— А есть ли смысл?

Ленин улыбался — или он почувствовал, что одержал верх в этом нелегком споре, или улыбнулся вот так непосредственно, чтобы просто ободрить Репнина: он великодушен и отнюдь не намерен загонять противника в угол.

— Это бы решило спор в нашу пользу сразу, — сказал Репнин теперь уже больше по инерции.

Владимир Ильич рассмеялся, не скрывая хорошего настроения. Оно улучшалось на глазах. Видно, он решил проверить себя, затеял спор и убедился, что прав.

— Положительно нет нужды обращаться к крайним средствам, — сказал Ленин. — Принять этот довод — значит бросить вызов всем дипломатам и обратить их против себя, зачем? Вот если бы другие средства не дали результата. Кстати, почему не было среди них англичанина? Не потому ли, что уехал Бьюкенен?

— Может быть. К тому же, в этой игре потери возможны, а приобретений никаких. Англичане не спешат утратить свободу рук.

— В их нынешнем положении это важно? — спросил Ленин.

— Весьма, — подчеркнул Репнин. — В дипломатии нет позиции выгоднее и в том случае, если есть желание отношения улучшить, и в том, если осложнений не избежать.

Ленин задумался.

— Последнее наиболее вероятно. Прелюбопытно, что думает на этот счет товарищ Дзержинский, — протянул он руку к телефону, стоящему на столе. — Даже интересно, что думает он.

## 28

Открылась дверь, и вошел человек со строго внимательными глазами — «Червонный штандарт», так назвал его Репнин про себя. Ленин представил его Репнину.

— Пусть на этот нелегкий вопрос ответит товарищ Дзержинский, — сказал Ленин.

Репнин вновь услышал: «Дзержинский», и неосознанно, по самому звучанию этого имени, по самому сочетанию этих букв, поставленных именно в таком порядке — «Дзержинский», тревожным ветром пахнуло на него. Нет, он не вспомнил при этом ни мрачные рассказы о полуночных налетах на дома коллег и друзей, ни печальные вереницы людей, идущих по Миллионной и Моховой под охраной кожаных курток. Он воспринял это имя без всего, что могло бы ему сопутствовать, и тем не менее беспокойство объяло его.

— Я не думаю, чтобы англичане так повели себя случайно, — возразил Дзержинский и кончиками длинных пальцев коснулся лба, рука у него была сухой и крепкой. — У посла своя позиция, как вы знаете, — он взглянул на Репнина; очевидно, встреча с Репниным была для него не в такой мере неожиданной, как могло показаться Николаю Алексеевичу. — Он единственный из дипломатов, кто считает, что бесполезно заставлять русских продолжать войну. Результат такой политики — ненависть русского народа к союзникам.

— Вы полагаете, такую же позицию займет и преемник английского посла? — спросил Ленин.

Репнин заметил, как сверкнули темные глаза Дзержинского.

— Нет, мне так не кажется, Владимир Ильич. Но на всякий случай... посол не хочет отступить от своей позиции.

— А как вы думаете? — обратился Ленин к Репнину.

Репнин поднял глаза, — Дзержинский смотрел на него в упор, с той твердой пристальностью, с какой смотрел вчера, когда они встретились в приемной Ленина, с какой смотрел, наверно, прежде, когда шел (ничто не могло отвратить Репнина от этой мысли!) каменным трактом и тоскливо и грозно гремел кандалами. Странное дело, но эмоционально Репнину не хотелось согласиться с Дзержинским вот так легко, всего лишь эмоционально.

— Я, пожалуй, согласен, — промолвил Репнин, чувствуя, что эти три слова стоили ему крови.

Репнин вышел из кабинета Ленина. Ему казалось, что Ленин жестоко сшиб его с Дзержинским. Если бы Ленин знал, что думает Николай Алексеевич о Дзержинском, то, наверно бы, посмеялся над Репниным, назвал бы все это суеверной чепухой. Случайно или нет, но все поляки, с которыми когда-либо общался Николай Алексеевич, ничего не хотели знать, кроме польской свободы. В известной формуле «За нашу и вашу свободу» их, по существу, устраивала первая часть формулы. Теоретически, как полагал Репнин, должны быть и другие поляки, но Николай Алексеевич таких не знал. А Дзержинский? Каким был он?

Репнин не мог забыть сегодняшней встречи с дипломатами. Так было и прежде (наверно, это профессионально для дипломата и не одному Репнину свойственно): после того как событие произошло, Репнин, оставшись наедине с собой, дотошно его исследовал, а заодно и поведение каждого лица. Он разделял точку зрения, которая, как утверждали друзья по министерству, принадлежала старику Гирсу: «Чтобы видеть все грани предмета, надо уметь перевоплощаться не только в своего гос-



подина, но и в своего врага». Сегодня произошло нечто любопытное, большее, чем ожидал Репнин. Как будто бы корпус выступил едино, а в действительности был разобщен.

Нулансу, чтобы быть на высоте, недостает равновесия и, пожалуй, лояльности к противнику. Репнину кажется, что это как раз тот тип посла, которого постоянно одолевает искушение говорить своему правительству то, что правительству приятно, а не то, что ему надлежит знать. Даже интересно, как отсутствие мудрой целесообразности и чувства равновесия может лишить француза качеств, которые испокон веков свойственны галлам: стремления к логике, остроты глаза и ясности ума, характерного для француза образа мышления, который хочется назвать юридическим, хоть это и не совсем точно.

У Репнина создалось впечатление, что и Френсис действовал с оглядкой. Он поступал так, полагает Репнин, не столько из робости, сколько из желания сообразовать свое мнение с мнением высокого лица в государственном департаменте, которому посол подчинен, мнением, которое не очень известно послу да вряд ли ясно и самому высокому лицу. Парадоксы американской дипломатии? Да, пожалуй. Уверенность американского дельца, действующего на мировых рынках, его умение быстро мыслить и ориентироваться, его вера в партнера, его решительность, которая почти всегда безошибочна, его способность идти на риск, его интуиция, в конце концов, стали нарицательными. Наоборот, американский дипломат, как полагает Репнин, явление совершенно противоположное: он подозрителен и лишен инициативы. Совершенно очевидно, что позиция Френсиса была иной, чем позиция Нуланса, как очевидно и то, что в позиции выжидания американский посол мог быть и не в такой степени последователен. Однако Френсис принял эту позицию, так думает Репнин, все по той же причине: он знает, что новый строй России враждебен ему, но какова должна быть точка зрения посла, Френсису не ясно. На всякий случай он принял позицию, в которой, строго говоря, мало смысла.

А как повели бы себя англичане, которых сегодня не было? Очевидно, парадоксы есть и здесь, парадоксы не меньшие. Английский дипломат, как это хорошо знает

Репнин за годы жизни в этой стране, не похож на дипломата, как его представляет толпа. Больше того, внешне он являет собой нечто дипломату противоположное. Он молчалив и замкнут. Он откровенно пренебрегает острым словом, которое так импонирует публике. «Остроумие — не дипломатическое качество» — это почти его девиз. Казалось бы, дипломат такого типа не может рассчитывать на успех. Но жизнь показывает другое. Английский дипломат — человек здравого смысла. Он, пожалуй, даже человек золотой середины, если полярными противоположностями будут способность человека парить в небесах и передвигаться по грешной земле, преодолевая ее рытвины. Выше всех благ такой дипломат ценит терпение. А там, где есть терпение, есть и умение склонить партнера принять твою точку зрения или по крайней мере приблизиться к ней. Хороший английский дипломат следовал этому правилу всегда. Правило это тем более симпатично ему сегодня, когда Британия перестает быть владычицей морей и ее дипломат зависит от доброй воли партнера больше, чем когда-либо прежде. Кстати, и к этому выводу английский дипломат пришел благодаря здравому смыслу. Иначе говоря, в событии, которое произошло сегодня, английский дипломат не обнаружил бы своих антипатий, как Нуланс, и не отстранился бы в такой мере, как Френсис. Он действовал по... Репнину. Да, Репнин любит себя поставить на место человека, который ему противостоит. Старик Гирс прав, когда утверждает: хорошему дипломату, чтобы видеть все грани предмета, надо уметь перевоплощаться не только в своего господина, но и в своего врага.

Уже затемно Репнин покинул Смольный.

Он шагал городом, в который словно попал впервые: парки совсем весенние, мокрые заборы, ветхие двери особняков со сдвинутыми набекрень козырьками навесов. Шагал напропалую, весь полоненный мыслями о прошедшем дне. Пришли в движение стопудовые камни сознания: что-то продолжало свершаться и в жизни Репнина, неумолимо свершаться, хотя камни пришли в движение с трудом, как и надлежит стопудовым камням.

Репнин поехал на Охту.

Анастасии Сергеевны дома не оказалось. Ее горничная, молодая финка, рослая и крепкоплетчая, с большими розовыми руками, которые она будто только что вынула из воды, встретила Репнина радушно и, улыбаясь, сказала, что хозяйка уехала утром и, очевидно, вернется к обеду.

— Вы могли бы подождать, — добавила горничная тем доброжелательно-участливым тоном, который больше самих слов свидетельствовал для Репнина, что горничная безошибочно восприняла тон и интонацию, какие были приняты по отношению к нему в доме Анастасии Сергеевны.

Вечернее солнце лежало на скатерти, совсем дачной. Стояли венские стулья, из того века, с выгнутыми, чуть-чуть откинутыми назад спинками. Над столом висела нарядная керосиновая лампа под абажуром, тоже из того века (последнее время в Питере часто выключалось электричество). Со стены глядела любительская фотография. Репнин всмотрелся: Настенька. Совсем девочка. Идет степной дорогой. Юбка облепила ноги — ветер встречный. Воротник белой блузы распахнут, видна шея, обожженная солнцем. Косынка, тоже белая, простенькая, сбилась почти на затылок, концы, острые, как два крыла, разлетелись по сторонам — ничто так не передает стремительного порыва ее фигуры, как эта косынка. А позади, поотстав на два шага, едва поспевая за нею, идет человек в полотняной рубахе-толстовке и фуражке путейца. В руках у него палка, глаза едва видны из-за стекол очков, выражение глаз ликующе-восторженное, молодое. Видно, настроение Настеньки передалось и ему. Отец? Очевидно, он. А кругом степь, виден склон холма, полоска леса на горизонте и большое небо, все в облаках, ярко-белых и округлых, как мокрые простыни, вздутые ветром. Кто-то подсмотрел этот счастливый миг в жизни человека.

У ног Репнина легла полоска света — в первой комнате зажгли электричество.

— У нас есть кто-нибудь? — голос Настеньки, радостно-возбужденный, почти счастливый. — Входите, Коля.

Значит, она не одна? Репнин быстро пошел ей навстречу. Еще до того, как он увидел ее, в комнате вспыхнул свет.

— Господи, кого я у нас вижу! — в ее голосе не столько радость, сколько испуг, это Репнин услышал явственно. — Как вы сюда попали, Николай Алексеевич?

— Я жду вас уже полтора часа, — произнес он и замолчал: из первой комнаты послышались шаги.

— Вот что, Коля. Располагайтесь и займите гостя, а я управлюсь на кухне, — обернулась она к своему спутнику. Но у спутника Настеньки это не вызвало радости.

— Достопочтенная Анастасия Сергеевна, — произнес он. — Накормите меня, а уж потом... может, займу гостя, а может, и не займу, — он посмотрел на Репнина без улыбки. — Что делать будем: в Питере, говорят, хлеба ни крошки.

— Тогда идите, Коля, на ту половину, я сейчас приду, — указала она глазами на соседнюю комнату.

Она взглянула на Репнина, потом на дверь, в которую прошел матрос:

— Мой ученик... Николай Маркин.

— Погодите, это какой же Маркин? — поинтересовался Репнин. Неожиданная догадка встревожила его. — Не тот ли, что захотел прочесть тайные договоры?

Настенька улыбнулась — открытие Репнина было ей приятно.

— Вы угадали: тот.

Репнин помрачнел. Тот самый матрос из Кронштадта, о котором говорил Илья в последний раз. Безвестный матрос, пришедший по призыву революции в святая святых империи, чтобы предать гласности тайное тайных. Но вот загадка: как проник простой этот человек в тайну шифра? Какой потаенной стежкой добрался до заветного ядра, посредством какого дива?.. Наверно, упорством и дотошностью, которые пронес через века злой тьмы и благодаря которым выжил — непросто было выжить мужику на Руси.

— Мой ученик, — сказала Настенька и вновь улыбнулась. Репнин заметил: в течение пяти минут, пока продолжался разговор о Маркине, она просветлела.

Репнину не понравился ее тон — слишком небезразличный к гостю. Он и прежде замечал: ее внимание к человеку больше, чем этот человек для нее значит. Слиш-

ком много щедрот, хотя щедрость и благо. Каждый раз, когда она расточает эти свои щедроты, у него такое чувство, будто она чуть-чуть обделяет Репнина. Наверно, он плохо знает ее, хуже, чем надо знать. Все, что он думал о ней сейчас, разумеется, его тайна, но себе-то он может сказать это?

— Вы к нам из дому? — вдруг спохватилась она.

— Нет... дома был еще утром.

— Ах, и вы, верно, голодны... я сейчас, — она заторопилась.

Тотчас в соседней комнате загремели крепкие шаги Маркина — наверно, матрос успел поесть и возвращался к Репнину. Николай Алексеевич ощутил нечто похожее на смятение. Отчего бы это? Что произошло сейчас, если встреча с простым матросом вдруг заставила Репнина так встревожиться?

— Анастасия Сергеевна как-то говорила мне о вас, — произнес Маркин, быстро входя в комнату. — Курите? — он достал коробку «Зефира» и распечатал ее. — Прошу...

Репнин взглянул в лицо матросу и обомлел: так это вон какой Маркин! Два разных человека соединились вдруг для Репнина в одном лице: тот матрос из Кронштадта, о котором говорила Настенька, и другой, тоже матрос... Репнин вспомнил туманный, с изморосью день 4 ноября, огни в окнах Зимнего дворца, тусклые, с больной желтинкой, какими они бывают только днем, грязно-серый квадрат картона на дверях министерства, одним своим видом объяснивший все, что стряслось в эти дни с Россией. Картон сообщал тем, кто этого еще не ведал, сегодня в 16.30 (так и было начертано по-военному: в 16.30!) чиновникам иностранного ведомства надлежит быть на Дворцовой, шесть... Репнин явился на Дворцовую и поднялся к себе в кабинет. Взглянув в окно, он увидел Мойку, сейчас почти черную, и штыки патрулей, движущихся вдоль реки. А потом был и парадный зал министерства, люстры и бра, зажженные, как на погибель, и многократ усиленные зеркалами, торжественная тишина, словно перед большим приемом, и синие губы товарища министра Петряева, будто он только что выбрался из студеной речки на знойное солнышко. Это сочетание парадного мундира и синих губ все объясняло.

К Петряеву подходили едва ли не на цыпочках, как к попу на причастие, и для каждого он находил свое сло-

во, которое настораживало, волновало, тревожило, звало. Потом вошли комиссары — их было трое. Один из них был знаком с Петряевым. Он представил двух своих товарищей, в том числе матроса в бескозырке.

Николай Алексеевич не видел лица матроса, видел лишь его волосы, вьющиеся, блестящие, какие бывают у очень молодых людей. Пока говорил его товарищ, матрос стоял, чуть-чуть расставив ноги, и его руки, отведенные за спину, сжимали бескозырку. Затем руки разомкнулись, и дипломаты увидели, как бескозырка описала полукруг и легла на стол, разбросав ленты. Матрос явно хотел смирить свой голос, однако это плохо ему удавалось.

Обращаясь к «чиннам-дипломатам», матрос великодушно пообещал оставить их на службе и даже выхлопотать пенсию, однако потребовал в обмен признания революционного правительства. А пока дипломаты размышляли, матрос попросил их положить на стол ключи от сейфов. «Ключи на стол!» — сказал матрос без обиняков.

Репнин видел, как дернулся и побагровел Петряев. Затем он встал и, нетвердо ступая (не вовремя затекла нога), пошел к выходу. За ним устремились торопливой и, Репнин это видел, несмелой толпой дипломаты. Все чувства слились в этом движении толпы: и благодарная солидарность и, так решил Репнин, стадность, самая примитивная, — дипломаты пробивались к выходу, не щадя друг друга.

И тогда Репнин увидел матроса в лицо: синие с косинкой глаза, туманные полудужья бровей. Сильным и упругим движением, как показалось Репнину, кошачьим, матрос отпрянул от стола и очутился между дверью и Петряевым. «Назад!» — крикнул матрос что было мочи. Он не схватился за кольт, который висел у него по матросскому обычаю на бедре, а всего лишь решительно и хмуро пошел на Петряева.

Дипломаты отринули от двери, и вновь Репнин уловил нечто напоминающее стадность — дипломаты обходились друг с другом не очень-то церемонно. «Назад!» — крикнул матрос, и толпа дипломатов, точно идущая от берега волна, возвратилась к столу. На минуту в зал втекла тишина, и вновь Репнин увидел в окно, как движутся вдоль Мойки обнаженные штыки — патруль не был ви-

ден, видны были только штыки, сине-стальные, медленно движущиеся на фоне такого же сине-стального неба.

Опять заговорил матрос. Сейчас в нем боролись два чувства: сознание, что тон, принятый им вначале, не очень подходит для разговора с дипломатами, и понимание, что он не должен это обнаружить — обнаружить это значит высказать слабость. Матрос сказал, что правительство революционной России намерено обнародовать тайные договоры, и повторил: «Ключи на стол!» Впрочем, посоветовавшись с товарищами, он дал дипломатам на раздумье сутки. На этот раз первыми вышли из зала комиссары.

Видно, кому-то торжественное сияние люстр показалось в эту минуту кощунственным. Сейчас горели только бра, горели тускло. Очевидно, мимикрия стала и природой человека: все, что недавно блестело и рвалось наружу в лице и в мундире Петряева, неожиданно погасло, подчиняясь тусклому свечению настенных ламп.

Померк и Петряев. Он будто сросся со своим креслом, и несвежая кожа подлокотников стала кожей Петряева, и пыльный войлок спинки кресла стал мышцами Петряева — таким неживым стал он весь. А под окном лежала Мойка, и штыки, что неколебимо двигались вдоль реки, виделись Репнину черными.

С тех пор как комиссары пришли на Дворцовую, минуло полтора месяца. И вот два Маркина соединились для Репнина в одном лице: тот, что расшифровывал дипломатическую тайнопись, и бедовоокий, с кольцом на бедре, что нагнал столько страха на дипломатов.

### 30

Они сидели друг против друга. Маркин виделся Репнину крутым и сильным камнем, вросшим в речное дно и обкатанным работающей волной. «Вот он, человек из народа, — думал Репнин, думал почти с восторгом и, что греха таить, со страхом. — В нем и цепкая хитринка, и душевное здоровье, и мысль! Вон как начал этот человек: распознал тайнопись того мира, распознал, дьявол! Сколько мощных лбов напрягалось, чтобы законспирировать эти тексты, укрыть их непробиваемым панцирем шифра. А вот пришел простой человек, из тех, кого мы

сами испокон веков величали «лаптем», и прочел грамоту. На стороне его была не только сила, но еще и ум, то есть как раз то самое, что так часто мы в нем подвергали сомнению...»

— Вы полагаете, что на смену прежним дипломатам придут дипломаты новые? — спросил Репнин; если Маркин хотел резать правду-матку, Репнин готов был прийти ему на помощь.

— Дипломат не пирог, его не выпечешь ни за час, ни за два, — заметил Маркин. — Почему новые? Нам могут помочь и старые!

Репнин выдержал паузу — она была долгой и не обещала ничего хорошего.

— Тот раз в ответ на призыв комиссаров, — сказал Репнин, — министерство покинули все дипломаты...

Маркин рассмеялся — видно, воспоминание о встрече на Дворцовой для него не было неприятным.

— Да, в тот день они были один за всех и все за одного.

Маркин, как заметил Репнин, смеялся в охоту, как смеются дети, забыв обо всем.

— Но ведь комиссары были правы, поставив так вопрос? — спросил он Репнина и провел ладонью по раскрасневшемуся лицу.

— Все было... много сложнее, — сказал Репнин.

— Я понимаю. Но комиссары были правы? — повторил Маркин и достал зажигалку, сделанную из двух винтовочных гильз.

Репнин подумал: нечто подобное ему однажды говорил Ленин.

— Быть может, и правы, — ответил Репнин уклончиво. — По-своему, — уточнил он.

— Дипломаты решили блокировать революцию, — Маркин тронул колесико, и синий язычок пламени утвердился на фитиле, однако матрос не спешил подносить его к папиросе. — Решили объявить блокаду, так?

— Можно назвать это и блокадой, — ответил Репнин.

— Значит... все двери на засов? — Маркин не спеша зажег папиросу, но огня не погасил — он точно хотел показать этим, что контролирует каждое свое движение, каждое слово. — А я так думаю, что Россию блокировать нельзя, как нельзя блокировать небо! — Он медленно выдохнул облачко дыма, оно поднялось и повисло у него



над головой, будто раздумывая, выйти в форточку или остаться в комнате.— Скажите, пожалуйста, а вы были на Дворцовой, когда туда пришли комиссары?

Ничего не зная о смольнинской беседе Репнина, Маркин задал Николаю Алексеевичу тот же вопрос, что задал Ленин.

— Был,— ответил Репнин, быть может, его лаконичный ответ даст понять Маркину, как ему не хочется продолжать разговор.

— А не думаете ли вы, что в иных условиях дипломаты могли и не отвергнуть предложение комиссаров так единодушно? — вдруг спросил Маркин.

— Я вас не понимаю,— отозвался Репнин. Кажется, Маркин нашел то самое продолжение разговора, какого так опасался Репнин.

— Если бы мы говорили с каждым дипломатом в отдельности, вряд ли бы все они сказали «нет»,— заметил Маркин и отложил папиросу на край стола. Струйка дыма, тонкая и непоколебимо прямая, встала над папиросой.

— Допускаю... не все,— произнес Репнин, в то время как ветер колебал струйку дыма.— Допускаю,— повторил он, а сам подумал: вот он и подобрался к своему главному вопросу. В нем, в этом вопросе, всего два слова: «А вы?» Именно: «Как бы вы ответили, Репнин, если бы этот вопрос был поставлен перед вами не на народе, как тогда, а с глазу на глаз, как сейчас?»

— Да, вы правы, трудно все,— вдруг сказал матрос и взял папиросу — он не хотел продолжать этот разговор. Из великодушия не хотел?

А Репнин между тем думал: «Откуда взялся этот человек, откуда он родом, как он... образовался вот такой?»

— Простите, вы... из крестьян?

Маркин внимательно посмотрел на Репнина — он не ожидал от него такой прямоты.

— Как есть мужик, пензенский, из села Русский Сырмяс.

— А грамоте где обучились?

— Все в том же Русском окончил трехклассную церковноприходскую школу,— проговорил матрос.— На этом все и кончилось. Ни о чем не жалею, как об этом... Чтобы стать хорошим человеком, надо быть грамотным.

«Три класса церковноприходской, только три класса! — подумал Репнин. — Но тогда как он мог сделать то, что сделал?»

— А потом учились всю жизнь? — настаивал Репнин.

— Учителем была революция. Она обучила и жизни и грамоте.

— И на Дворцовую послала революция? — спросил Репнин.

— Да, революция, — ответил Маркин, как нечто само собой разумеющееся. — Товарищ Ленин послал.

И вновь на память пришла беседа с Лениным, и мысль Репнина, внезапно осенившая его во время этой беседы: в самом деле, какая сила родила в Ленине такую ненависть к тому миру и воодушевила на такое подвижничество? Мученическая смерть брата и желание отомстить всем убийцам на века и века или идеал, высокий идеал? Сто раз верно, что нет беспощаднее огня, чем горе, только оно и способно родить чудо. Кстати, человек, сидящий сейчас перед Репниным, — знает ли он эту страницу в жизни Ленина?

— Известно ли вам, что старший брат Ульянова был казнен?

Маркин привстал.

— Да, я знал это.

— Вы полагаете... не только в заповеди христианской, но и в революции нет молитвы за отмщение?

— В революции должна быть молитва за отмщение, — произнес Маркин, овладевая собой. Видимо, слова Репнина задели в его душе чуткую струну.

— Меч возмездия? — спросил Репнин.

— Не месть, а возмездие, не кровь, а память, которая ничего не хочет прощать, — промолвил Маркин, и в его глаза, только что темно-синие, а сейчас почти черные, будто кто-то занес искру.

Все время, пока матрос говорил о Ленине, он имел в виду и себя; что-то произошло в жизни этого человека такое, что потрясло, встревожило и воззвало к борьбе все его существо.

Маркин молчал, лишь кровь медленно сходила с лица.

— Путь был долгим и нелегким, — неожиданно вымолвил Маркин.

— И у каждого были жертвы? — спросил Репнин. Все время, пока продолжалась эта беседа, Репнин, быть

может, в силу привычки, чисто профессиональной, ни на секунду не упустил ее нить.

— Жертвы,— ответил Маркин.

Репнин не сводил глаз с матроса.

— Вы были когда-нибудь во Владикавказе? — вдруг спросил Маркин.

— Был однажды,— ответил Репнин.— Русский Вавилон, многоязычный и разноплеменный, хотя проспект Александровский очень российский.

Маркин вздохнул.

— На этом проспекте... казаки зарубили моего отца.

— За такое... мести мало,— промолвил Репнин и подивился сказанному — не его слова.

Маркин встал.

— Нет, наше чувство больше.

### 31

Маркин ушел в десятом часу.

«Почему она так потянулась к этому человеку и что ей дорого в нем? — думал Репнин.— Его безбоязненная верность долгу, его пренебрежение к суете мирской, его грубая целеустремленность? Чем интересен был ей этот человек? Зрелостью ума и сердца или (чего кружить, когда надо идти напрямик) первосутью мужчины, которому двадцать семь и у которого глаза синие?»

За полночь она вызвалась проводить его; ветер переменился, пошел снег, и мороз присмирел. Они шли и шли, и было такое ощущение, что Питер кончился, затерявшись в снежной замети, а начался какой-то иной город, старорусский, деревянный, с резными ставнями и мезонинами — часовенкой и башенкой, не то Тверь, не то Клин с Торжком.

В эту ночь на полпути от вечера до рассвета, на развилке дорог, ведущих к ее и, может быть, его дому, она рассказала о своей жизни.

Анастасия Сергеевна родилась в Питере в семье инженера-путейца. Мать ее была фабричной девушкой с Охты и умерла, так и не освоившись с новым положением, когда Настеньке было четыре года. Говорили, мать была человеком солнечно-радужным, наделенным тем природным тактом, который с покоряющей силой неред-

ко обнаруживается и в русской девушке-крестьянке. Отец тяжело пережил смерть жены и черты ее не переставал открывать в дочери. Он воспитал ее в духе подвижничества и убедил, что призвание человека — идти по земле и строить, много и красиво строить. Несколько лет они провели в предгорьях Кавказа, в степном крае, среди казаков, строили дорогу к морю. Там, в степном раздолье, кончилось детство Настеньки и началась юность.

Зимой она жила в городе, хлебном, очень южном, с большими базарами, конскими ярмарками и яблоневыми садами, с соборами и гимназиями, со скачками на выгоне и крестными ходами, когда в степь выходил весь город и молил бога о благодатном дожде. Зимой она училась, а летом уезжала к отцу, в степь, на станции и разъезды, где строилась дорога к морю, и была с отцом повсюду: там, где дорога пересекала горные потоки (Эльбрус — рядом, его седловина видна на заре), пересекала многовековые курганы (точно караван верблюдов, они растянулись от горизонта к горизонту), упиралась в гору, что встала стеной у самого моря. Иногда Настенька была переводчицей — ее французскому, который она учила и в школе и дома, это было полезно. Бельгийцы, жившие в полотняных палатках тут же у железнодорожной насыпи, держались особняком. По утрам они молились католическому богу и делали гимнастику — и в том и в другом, как думала Настенька, здесь они были куда прилежнее, чем у себя дома. Для русских рабочих все это было в диковинку, как и автомобили необычных форм и расцветок, которые привезли бельгийцы; пробковые шлемы и безрукавки из ярко-белой ткани, в которые они обряжались летом; бочки с вином и сырами, которые шли на стройку в количествах несметных. Настенька виделась бельгийцам русской боярышней, и отцу следовало быть бдительным. С радостью и тревогой следил он за тем, как выросла Настенька. В нем боролись два чувства. Он хотел, чтобы среди подруг она была... если не самой красивой, то самой яркой — это слово больше шло к ней. И он опасался, чтобы ее красота не стала причиной их разлуки.

По случаю очередной поездки в Питер Настеньке сшили новое платье. Отец взглянул на нее и не скрыл огорчения. Что-то не поняла в том, что дала ей природа.

Уже в Питере отец между хлопотами о новых мостах и паровозах улучил минутку и пригласил в дом знаменитого портного, попросил взглянуть на дочь и объяснить на сто лет вперед, что ей будет к лицу. «Ну конечно же, платье должно быть открытым!» — сказал портной. Он предписал открыть шею и, может, чуть-чуть плечи и обязательно руки, да повыше... Отец сидел в темном углу комнаты обескураженный. Видно, решение, которое он все-таки принял, далось не без труда. «Ну, что ж... открыть так открыт!» Настеньке сшили первые открытые платья, и отец понял, что немало осложнил себе жизнь... Неизвестно, как бы развивались события дальше, если бы не смерть отца, смерть трагическая — что-то произошло в тоннеле. И тогда появился Жилль. Ему было сорок. Ей — семнадцать. Он увез ее в Бельгию и обратил в свою веру. Она не воспротивилась новой вере. Наоборот, многое пришлось по душе: строгая и впечатляющая обрядность церкви, ее аристократизм, умение войти в дом и подчинить его быту церкви. Это было красиво, легко и совсем необременительно: по крайней мере так все воспринимала Настенька. Как ни строги законы, нет церкви более светской. И в Питере Настенька по утрам слушала проповеди каноника Рудкевича, а вечером принимала его дома — каноник был постоянным карточным партнером Жилля. Кстати, церковь, как думала Настенька, обладала еще одним достоинством: она, подобно поднявшейся реке, разливалась повсюду и заполняла пустоты. Нет, никакой пустоты в жизни Настеньки не было. Первое время она создавала дом, создавала на годы и годы и была полностью увлечена этим. Как ни велик Питер, на много месяцев она забыла все тропы, кроме одной: от Кирочной до Конюшенной, тринадцать. Здесь находился большой мебельный магазин «Северной компании». Когда был ввезен в дом последний гарнитур и укреплена последняя люстра, Анастасия Сергеевна принялась постигать премудрую науку званых обедов. Наконец, она обживала экономию, которую подарил ей Жилль где-то в пригородах Христиании. А когда прешло увлечение и первым, и вторым, и третьим, Анастасия Сергеевна вдруг почувствовала, что и церковь способна не на все — оказывается, есть пустоты, которые не может заполнить и она. Анастасию Сергеевну не радовали больше ни просторный и богатый дом, ни круг друзей, который был

всегда так дорог, ни привязанность мужа. Ей показалось, что, отдав себя во власть этой новой жизни, она изменила своей сути — не об этом она мечтала под просторным степным небом, в полотняных городках, на строящихся полустанках и разъездах. Очевидно, как ни старалась она, жизнь мужа не стала ее жизнью... Где-то здесь встали между ними крепостные стены. Но проходили дни, и приглашение влекло чету Жилль в особняк сановного хозяина на Васильевском, загородное имение или многокомнатные апартаменты нового дома, выстроенного страховым обществом «Россия»... Мало-помалу возникла инерция — видно, спасение было в ней.

Февраль семнадцатого ворвался в Питер ветром, льдистым и вьюжным снегом. Литейный заполняли манифестанты. Иногда шумные толпы втекали на Кирочную... И вновь к Настеньке подобралась тоска, и вновь она подумала: сколько бы она ни старалась, не сможет чужой жизнью, будь это даже жизнь мужа, заполнить собственную. Она подумала: одним из тех богатств, которые она обрела в жизни и которыми гордилась, был ее французский. Она пошла к Губину и умолила принять ее на вакантную должность референта Главного архива — он находился все на той же Дворцовой, шесть, под одной крышей с министерством... Нельзя сказать, что Жилля порадовало это решение, но он ему не препятствовал. Слишком шаг Анастасии Сергеевны был в духе времени — этой весной не только у нее голова пошла кругом. Жилль не без увлечения осваивал новое положение жены. Наверно, ему показалось, что ее неожиданный шаг открывал какие-то перспективы и для него. Теперь Жилль выходил навстречу возвращающейся из министерства жене (именно выходил, а не выезжал), а потом медленно шествовал с ней через город, далеко выбрасывая деревянные ноги: этот русский бельгиец выглядел почти русским патриотом в такой трудный для его второй родины год... Однако дальше произошло нечто непонятное для Жилля: минула весна, а затем грозное лето, за которым последовали ненастные октябрь и ноябрь. Среди коллег Анастасии Сергеевны, которых знал Жилль, не было ни одного, кто бы не проклял бы новое учреждение на Дворцовой, шесть. Анастасия Сергеевна поступила иначе: она вернулась на Дворцовую. Жилль только развел руками. Ничто не могло его так скомпрометировать,

как этот шаг жены. Он решил поговорить с ней и начал издалека. Она разгадала его намерение, едва он произнес три слова, и сказала, что не изменит своего решения. И хотя сказала она это, как обычно, кратко-ласково, было ясно: она все решила и не отступится.

32

Елена ждала отца, а его не было. В седьмом часу неожиданно явился Кокорев.

— Вы к папе?

— Нет, к вам, Елена Николаевна.

Елена смутилась — это было необычно.

— Тогда заходите.

Кокорев переступил порог и остановился.

— Елена Николаевна, прошлый раз вы говорили об Уитмене, — он отвернул борт шинели и достал аккуратный том в красной коже. — Не о таком ли вы думали?

Елена приняла томик, приятно весомый.

— Какая же это прелесть! — произнесла она, не в силах скрыть восхищения. — Да вы заходите... прошу вас... — ему показалось, что, произнося последнюю фразу, она как-то значительно подчеркнула, что просит именно она.

Они сидели в кабинете Репнина, в том самом, куда уходил Репнин переодеваться, когда Кокорев нагрязнул с отрядом матросов.

Где-то в другом конце дома, точно зверь в клетке, сеял мелкие шаги Илья.

— Послушайте, как это хорошо, нет, только послушайте, — произнесла Елена и начала читать:

Я не пройду эту дорогу за вас,  
Если вы не осилите ее сами.

Она умолкла и посмотрела на Кокорева:

— А ведь это счастье — никому не переступить своего пути в жизни, как бы он ни был тяжел, правда? Помню, в детстве все думала: путь человеку заказан; вначале большие детские счеты, затем он перебирается к четырем действиям арифметики, вслед за этим берется за алгебру и геометрию и, наконец, едва ли не на четвереньках доползает до логарифмов! От такого однообразия, пожалуй, рехнешься! И все думалось — детский ум изощ-

рен,— надо изобрести пилюли, спасение в них! Проглотил беленькую — и постиг все, что лежит на больших детских счетах, положил на язык голубенькую — и познал умножение, принял желтенькую — и получил пятерку по алгебре! Итак, в одной коробочке — начальная школа, а в другой — гимназия, в третьей — горный институт! Только соблюдать интервал между таблетками, чтобы желудок усвоил их, чтобы там не повстречались английский с испанским и не получился какой-нибудь эсперанто!

Она засмеялась, всплеснула руками так, что вспыхнула золотая точка обручального кольца. И Кокорев подумал: «Кто мог быть ее первым мужем? Безусый студент, ушедший добровольцем на фронт и погибший под Солдау в рукопашной, или тридцатилетний капитан-артиллерист, сложивший голову в безуспешной попытке взять приступом карпатский рубеж австрийцев? Пожалуй, капитан-артиллерист. Мальчишка-студент не по ней».

— А если бы мне сказали сейчас: проглоти вот эту пилюлю и станешь Ковалевской или Скловодской, честное слово, отказалась бы! Да что отказалась? Разогнала бы всех алхимиков, кто готовят эти таблетки, а сами пилюли выбросила в печь! Человеческая дорога не повторяется, как не повторяется рисунок человеческих губ или цвет глаз!

Сейчас руки ее успокоились, и кольцо на руке было спокойным, матово-червонное, тускло горящее, как думалось Кокореву, символ ее судьбы и ее дороги в жизни.

Часом позже они простились. Кокорев сказал, что достал два билета на рабочий бал в большом зале Михайловского артиллерийского училища, и просил ее быть с ним. Она призналась, что любит этот зал и бывала там в годы своего смольнинского детства. А он подумал: «Ну конечно же, ее муж был артиллеристом, и они, наверно, познакомились в Михайловском училище — оно недалеко от института, и, пожалуй, старшие смолянки бывали там на рождественских вечерах артиллеристов».

Он отважился спросить об этом.

— А если я отвечу на все ваши вопросы утвердительно, тогда что? — рассмеялась она. — Мой муж не был артиллерийским офицером, и вообще... у меня не было мужа.

Наверно, Елена была рада, что одной фразой исчерпала тему.



Всю неделю Елена повторяла эти несколько строк из Уитмена:

Я не пройду эту дорогу за вас..

Репнин увидел у нее томик в красной коже, спросил, откуда он; она сказала.

— Этот молодой военный с седой головой? — переспросил Репнин.

Ей не понравились его слова, но она ответила утвердительно.

— И он прочел именно эти строки из Уитмена?

— Он...

— Это похоже на него?

Елена сказала не столько Репнину, сколько себе: «Похоже» — и прочла еще тише, тоже себе:

Я не пройду эту дорогу за вас,  
Если вы не осилите ее сами.

### 33

— Отдаю должное твоему знанию таможенных правил, — саркастически заметил Илья, быстро входя в комнату. — Но таможня — это еще не Россия!..

— А что есть Россия? — спросил Николай, сохраняя самообладание, — он пока не понял, в какой связи была произнесена братом динамичная эта фраза и какую цель она преследовала.

— Россия есть... мужик наш сиволапый!..

— Ты хочешь сказать, что с Университетской набережной он был виден тебе лучше, чем мне с Дворцовой? — спросил Николай.

— Я не знаю, что ты рассмотрел с Дворцовой, но мне на Университетской набережной очевидно: правительство Ульянова — не правительство мужика русского!.. Кстати, хочешь проверить?

— Каким образом? — спросил Николай не без тревоги — было слишком очевидно, что Илья готовил западню.

— Изволь... В Думе на Невском открылся второй крестьянский съезд. Русская деревня — там, избяная, бородатая. Да, да, что пашет наши скудные суглинки и подзолистые, та, что кормит и одевает нас, грешных... Нет,

ты не смейся моей затее!.. Тебе это откроет глаза, как открыло мне!..

— Ты там был уже?..

— Не теперь, в ноябре и многое узрел. Кстати, Ульянова я слушал там!..

— Ну, и... что? — спросил Николай.

Илья просиял — план разговора с братом удался.

— Ты об Ульянове? Не очень уверен, что он придет на нынешний съезд...

Николай Алексеевич припомнил сейчас, что Илья действительно был на прошлом крестьянском съезде. Был и не без увлечения рассказывал, что мужики устроили obstructionism новому премьеру. Сторонники Ленина настаивали, чтоб их лидер выступил на съезде как глава нового правительства — расчет был точен: заставить съезд признать правительство де-факто. Но нет хитрее русского мужика — он без труда проник, по словам Ильи, и в замысел сторонников Ленина. Съезд согласился выслушать большевистского премьера, но только, чур, в качестве... главы соответствующей фракции, — маневр большевиков не удался.

«Правительство Ульянова-Ленина — не правительство мужика русского», — не шли из головы слова Ильи. Репнин отважился и пошел на съезд. Подходя к Думе, Николай Алексеевич заметил, что каждый поворот улицы, каждый человек, повстречавшийся ему на пути, полны значительного смысла, заметил и не преминул отчитать себя нещадно: надо же вот так накалить сознание... Однако не успел он сказать все это себе, как остановился будто вкопанный: вот она, Россия-матушка, собственной персоной. Прямо на него шел великан — в тулупе и лаптях — косая сажень в плечах. В обильных сединах волосы сомкнулись с бородой — не борода, а лес, поваленный ветром, девственная чаща, бурелом. И посреди леса, точно вода в бочагах с отблесками неба, — глаза. В них и живая натура, и улыбка, и ум. Вот он, сын России, само чудо русского поля и русского леса. Никто так жестоко не голодал, не корчился под розгами, не потел в кровавом поту, стараясь взломать немощной своей сохой пласт глины, твердой и бесплодной, точно камень. И никто с такой лихой и безбоязненной удалью и злостью не защищал эту скудную землю от врагов. Все тайны мира сокрыты в этом человеке с пепельно-седой бородой — он

многомудрый Сусанин, рачительный отец и зачинатель русской первосилы.

Но мужик в тулупе исчез так же внезапно, как и появился, исчез, будто провалился в преисподнюю.

Он, этот мужик, возник на пороге Думы, как напоминание о том, что он есть, — в самом здании Думы Репнин его не увидел, да и не мог увидеть.

То, что Илья назвал бородатой Россией, выглядело здесь по-другому. Бород в Думе было немного, как не было посконных армяков и лаптей. Зато было много поддевок, крытых черным и синим сукном, полушубков, тщательно выдубленных, окрашенных в мягко-коричневые, серые краски, черных пальто с шалевыми воротниками. По виду вся эта масса людей, собравшаяся на Невский, меньше всего напоминала мужиков, каких Репнин привык видеть на разъездах и полустанках, когда длинными российскими дорогами ехал из Питера на юг. Скорее это были молодые помещики, деятели земства, или землемеры и агрономы, мечтающие о перестройке российского земледелия на американских и европейских началах.

Репнин не без удивления отметил для себя, что он беспрепятственно проник во дворец и пересек вестибюль, никому не было дела, кто он такой и зачем он сюда пожаловал.

Николай Алексеевич вот так беспрепятственно проследовал бы и дальше, если бы его не окликнул голос справа:

— Поистине настали новые времена, если дипломатия обратила свой взгляд на русскую деревню...

Репнин оглянулся: Борис Кислов. В своей куртке из черного кастора, украшенной крупными пуговицами, он был, как всегда, возбужден и бдителен. Странная судьба была у Бориса: его мать — пятидесятилетняя вдова из старопетербургской семьи, разорившейся в пух и в прах еще в прошлом веке, воспылала страстью сделать из своего чада дипломата и внушила эту страсть сыну. Отдавая должное целеустремленности Кисловой, состоятельный Петербург отнесся к ее затее сдержанно — с его точки зрения, Кислова не имела на то морального права, то есть была недостаточно богата. Пока мама была занята осадой железных стен министерства, ее сын атаковал латынь с греческим и даже арабским и успел немало.

Однако длительная кампания, предпринятая волевыми Кисловыми, закончилась для них бесславно: латынь с греческим и арабским были побеждены, а крепостные валы министерства продолжали стоять непоколебимо. Короче, блистательная карьера дипломата, о которой мечтала энергичная Кислова, своеобразно обернулась для ее чада: он стал толмачом вначале у посла испанского, потом у австрийского поверенного в делах, а затем попеременно побывал у шведского, датского и норвежского посланников и прочно осел в американском Красном Кресте. Странное дело, но это бродяжничество по дипломатическому Питеру ни в какой мере не угнетало Кислова. Наоборот, он казался даже преуспевающим, сохранив на веки веков жизнелюбие и добрый нрав. Если это не было защитной реакцией, то трудно было объяснить, что же это такое?

Репнин шагнул навстречу Кислову, намереваясь ответить на приветствие, и вдруг увидел рядом с ним Робинса.

— Вы знакомы, Николай Алексеевич? — спросил Кислов и не без торжественной похвальбы (так на цирковом ковре рефери выкрикивает имена борцов) назвал американца, не преминув сообщить, что тот представляет американский Красный Крест.

Робинс протянул руку, — с тех пор как он перестал держать ею кирку и лопату, она не стала менее твердой.

— Мне ваше имя знакомо, — сказал Репнин по-английски.

— Не скрою, что и вы для меня не инкогнито, — заметил Робинс и подмигнул Николаю Алексеевичу с грубоватой и добросердечной откровенностью.

«И Робинс пришел сюда затем, чтобы повидать русского мужика и взглянуть в его очи и души, — подумал Николай Алексеевич. — И для Робинса он всемогущий столп и пуп России, единолично отправивший к праотцам и Карла и Наполеона».

Видно, встреча с американцем так увлекла Репнина, что он не заметил, как опустел вестибюль — толпы людей перешли в зал, — судя по всему, там происходило сейчас нечто значительное. Николай Алексеевич последовал за всеми, впрочем, место, которое он облюбовал, находилось в задних рядах и было достаточно укромным.

В зале, как тут же установил Репнин, действительно происходило нечто для съезда значительное — выступал Ленин. Репнин еще не определил, как принимает главу большевиков съезд, но что-то неуловимое показывало, что Ленин расстроен и необходимо усилие, чтобы победить плохое настроение и овладеть собой.

— Когда я пришел сюда,— произнес между тем Ленин,— я слышал часть речи предыдущего оратора, который, обращаясь ко мне, сказал, что я хочу разогнать вас штыками... Нет такой силы, которая могла бы покорить волю народа, волю крестьян и рабочих!

Теплая ладонь, большая и шадящая, легла на плечо Николая Алексеевича. Репнин оглянулся — Робинс.

— Как вы полагаете, такой угрозы действительно нет? — Робинс чуть-чуть оперся на подлокотники кресла, чтобы его слышал только Репнин,— в глазах американца ни искорки прежнего радушия — сплошное ненастье.

— Вы... о штыках, господин Робинс?

— Да, разумеется: не дойдет ли дело до штыков? — он подмигнул, в этот раз хмуро, не обнаружив, шутит ли он или говорит серьезно, да и в глазах Кислова, который напряженно вслушивался в речь американца, не было улыбки — ему-то лучше знать Робинса.

— Штыки — огнюдь не ближайшая перспектива,— засмеялся Репнин, но Робинс был серьезен — то ли он не понял Репнина, то ли не разделял его оптимизма.

А Ленин сделал паузу и оглядел зал, который тревожно приумолк,— казалось, сам воздух большого зала был заряжен сейчас электричеством неприязни, сама тишина не хотела принимать слов человека, стоящего на трибуне.

— Товарищи, здесь говорили, что новая волна революции, быть может, сметет Советы. Я говорю: этого не будет. Я твердо уверен, что Советы никогда не погибнут; революция 25 октября доказала нам это... Советы выше всяких парламентов, выше учредительных собраний...

Электричество, которым был заряжен воздух, родило искру: зал заволновался.

— Ложь!

Ленин поднял ладонь и сделал движение, точно хотел сдержать волну, идущую на него. Какой-то момент

ладонь будто упиралась в эту волну — напор был велик.

— Нельзя говорить, что это ложь, — заговорил он вновь, и по тому, как он произнес эти слова, было видно, что он вновь овладел вниманием зала. — Такой революции, какая была у нас, никогда и нигде не было.

И вновь Репнин почувствовал, как горячее дыхание человека, сидящего позади, коснулось его щеки.

— Вы полагаете... не было?.. — спросил Робинс.

А Ленин, удерживая зал, развивал свою мысль:

— Когда буржуазия начала гражданскую войну, мы были свидетелями ее, они подняли восстание юнкеров, и мы, победители, были к ним, побежденным, милостивы. Мы сделали больше: мы сохранили даже им воинскую честь... Мы видим, что заговор кадетов продолжается, мы видим, что они организуют восстание против Советов во имя золотого мешка, корысти, богатства, мы открыто объявляем их врагами народа.

Репнин вышел из зала вместе с Робинсом.

— Кадет вне закона! — произнес Робинс. — Вы полагаете, что Ленин был достаточно терпим к кадетам, прежде чем обратиться к крайним мерам? — Робинс устремил в Репнина свой левый глаз, глаз наихитрейший, в то время как правый был зажмурен напрочь. — С вашего согласия я спрошу об этом Ленина, — вдруг объявил Робинс, почувствовав, что Репнин испытывает затруднение с ответом на его вопрос. — С вашего согласия, — добавил он с той простотой и веселой грубоватостью, которую Репнин заметил в нем и прежде и которая, как это ни странно, была не обидна.

Как полагал Репнин, эти первые минуты общения с Робинсом не давали представления об американце. Он казался проще, чем был на самом деле. Наверно, необходимо время, и немалое, чтобы понять его. Говорят, что Робинс один из тех иностранцев, с которыми беседовал Ленин.

Когда Репнин вновь оказался в вестибюле, он увидел, как Робинс подошел к Ленину, который в пальто и шапке направился к выходу, и довел того до двери. Ленин замедлил шаг, слушая Робинса, а затем взмахнул рукой и рассмеялся — казалось, в смехе этом человек разом потопил все свои печали и беды.

Когда Робинс вернулся к Репнину, улыбка еще удерживалась на лице американца.

— Ленин вам поправил настроение, — сказал Репнин, улыбаясь.

— Да, мы говорили о... «бабушке».

— О бабушке... Брешко-Брешковской? — спросил Репнин, улыбаясь, — с некоторого времени именно так газеты нарекли Брешко-Брешковскую.

— Да, о ней, — ответил Робинс живо. — Я спросил Ленина: какую позицию он занимает по отношению к мадам Брешковской? «А никакую, — ответил Ленин. — Она годится только для картинной галереи». — «Но она боится, что красногвардейцы убьют ее, как только нападут на ее след». — «Чепуха! — ответил Ленин. — Хотите, мы дадим целый взвод солдат для ее охраны? Она может повредить нам, лишь если ее случайно убьют в какой-нибудь стычке, а вину за это свалят потом на Советское правительство».

— Вы связываете это с нашим разговором о терпимости? — спросил Репнин, понимая, что режет правдую матку.

— А вы полагаете, что большевики не обратятся к террору, даже если будут вынуждены обратиться к нему? — спросил Робинс. — Кстати, вы заметили, о чем говорят делегаты? — Он повел головой в сторону зала. — Они требуют раздать крестьянам землю и сохранить частную собственность, большую и малую.

Эта встреча вызвала немалые раздумья Репнина. Чего ради Робинс вдруг решил явиться на съезд? Хотел знать, насколько сильна партия эсеров, зовущая себя крестьянской? Какого именно мужика представляет она и как этот мужик относится к декрету о земле? Что думает мужик российский о новом правительстве и пойдет ли он за Лениным? (Без поддержки мужика все одно что без поддержки России!)

Кстати, в том, с какой охотой и веселой храбростью Робинс устремился к Ленину и заговорил с ним, Репнин понял, что американец был Ленину интересен. Нет, дело не просто в обаянии, чисто человеческом, главное — в опыте жизни, в зрелом интеллекте, в той близости к истокам народного бытия, которые были дороги и для одного и для другого. Репнин полагал, что они должны быть интересны друг другу, хотя каждый себе на уме и у

каждого своя цель, очень земная. Какая цель — вот вопрос... А как с ответом на главный вопрос: «Правительство Ульянова — правительство ли мужика российского?..»

Репнин покинул здание Думы и на повороте улицы едва ли не лоб в лоб столкнулся с тем бородатым, с глазами, похожими на бочаги, полные чистого неба. Он точно ходил по кругу вокруг Думы — то ли нес охрану дома, то ли пытался вторгнуться в него и все переиначить и перекроить на свой лад. И оттого, что он появился внезапно, что шел по неведомому для Репнина пути, что, проходя, пахнул на Репнина грозным ветром и тем сознанием независимости, которая приходит к человеку только с силой, беспокойство охватило Николая Алексеевича...

## 34

К Репнину явился Борис Кислов.

— Простите, Николай Алексеевич, за бесцеремонность, но я полагал, что по праву соседа...— произнес Кислов, робея,— он действительно обитал со своей целеустремленной родительницей где-то на Каменном.

— Полноте, Борис Михайлович, да нужны ли русскому человеку китайские церемонии...— остановил Репнин гостя и вошел вместе с ним в кабинет.— Прошлый раз мы не успели и двух слов сказать друг другу, а надо было бы...— засмеялся Николай Алексеевич, полагая, что эта фраза поможет гостю преодолеть неловкость внезапного вторжения в репнинский дом.

— Да, представьте... все получилось так неожиданно! — мгновенно реагировал Кислов — он был благодарен Репнину, что тот дал ему возможность выйти из положения,— видно, направляясь к Репнину, Кислов трусил порядочно.— Но вот что любопытно,— воодушевленно продолжал Кислов — он обрел уверенность и готов был приступить к делу.— Со времени той встречи на крестьянском съезде прошло без малого два месяца, но господин Робинс помнит ее, отлично помнит, а третьего дня приставил нож к горлу: хочу видеть Репнина!.. Вот я и явился от него с просьбой покорнейшей: отобе-



дать с ним, вы и он, только, в «Европейской»... Обед по нынешним временам немудреный, да в нем ли дело?

Репнин только смущенно улыбнулся: Кислов действительно упал как снег на голову. Сказал, и робость вернулась к нему: понимает, что принес приглашение необычное... Приглашение чисто американское — по-американски неловко и грубо, при этом Кислов не очень помог эту неловкость сгладить, тоже характерно — в делах протокольных русские плохие помощники, англичане сделали бы это глаже... Однако что значит этот жест Робинса?.. На днях Илья говорил Николаю Алексеевичу, что Робинс, до сих пор покорно несший службу американского эмиссара в Смольном, заупрямился и в разговоре с послом высказал мнение, которое посол не разделил... Очевидно, речь идет об отношении Америки к новому русскому правительству. Френсис полагает, что надо создать видимость доброго отношения американцев к большевикам, при этом пойти так далеко, как это возможно с правительством, которое Америка не признала. Если различие во мнении Френсиса и Робинса всего лишь в пределах тактики, а не стратегии, то какова все-таки точка зрения Робинса?.. И еще вопрос, насущный: продолжает ли бывать Робинс в Смольном и какое отношение эти его визиты в резиденцию нового правительства имеют к размовке с послом? (Всего лишь к размовке, не к разногласиям!) И это еще не все: видит ли Робинс Ленина и как далеко зашли его отношения с лидером большевиков?.. Впрочем, последний вопрос можно и не задавать. Репнин знает, как знает сегодня весь Питер: Робинс видит Ленина чаще, чем кто-либо из иностранцев... Но какие надежды возлагает Робинс на встречу с Репниным и что заставило его послать Кислова в дом Николая Алексеевича? Не легко ответить на все эти вопросы, но очевидно: разговор с Робинсом был бы интересен, и есть смысл встретиться с американцем, но надо ли это выкачать тотчас?

— Простите, Борис Михайлович, — задумчиво произнес Репнин. — Это не тот ли Робинс, который на президентских выборах поддерживал Брайана?..

Кислов улыбнулся не без лукавства: хитрит Репнин. Прежде чем дать ответ, хочет выколотить из Бориса Михайловича все, что тот еще не сказал.

— Да, Николай Алексеевич, тот самый Робинс! — с готовностью ответил Кислов — он был рад случаю рассказать о Робинсе все, что знает, и расположить Репнина к американцу. — Да вам известна история господина Робинса?

Репнин ответил не сразу — надо ли обнаруживать, что Репнин хочет знать историю Робинса.

— Мне говорили, что его жизнь — сама история Америки, — заметил Репнин. — В его возвышении, как и в немалом прогрессе его отечества, сыграла свою роль русская Аляска?..

— Его история действительно удивительна! — воскликнул Кислов. — По происхождению он чистый бедняк, как есть без кола и без двора, был и пастухом, и нянькой, и землекопом и мечтал... мечтал разбогатеть!.. Может, эта мечта и увлекла его под землю, в каменную тьму шахты — двенадцать часов без воскресных дней!.. Чем глубже уходил по каменным штрекам, тем сильнее было желание выбраться из-под земли! Но вот как выбраться, когда ты добровольно ушел под землю? Как выбраться? Найти кусок золота и стать человеком?..

Репнин смотрел на Кислова: рассказ о жизни Робинса непонятно увлек Кислова, Репнину даже казалось, что в жизни Робинса Кислов каким-то образом увидел и жизнь свою. «Найти кусок золота и перестать быть рабом!» Нет иного пути к счастью, как найти кусок золота.

— Он понимал, что найти кусок золота все равно что снять солнце с неба. Понимал, но продолжал мечтать — наверно, даже ум не может остудить страсти, которая человеком овладела. Понимал и ушел на Аляску вместе с такими, как он, ушел... Дальше все похоже на конец сказки, которая всегда менее правдива, чем ее начало: солнце, которое он снял с неба, оценили в четверть миллиона долларов, и он купил имение Чинстаг-Хилл, рядом с домом того самого фермера, у которого пахал землю и нянчил детей.

— Вы когда-нибудь говорили ему об этом? — спросил Репнин.

— О чем, Николай Алексеевич?

— О солнце и о чуде...

— Да, однажды.

— И что он?..

Кислов смутился.

— Он сказал, что дело, разумеется, не в чуде.

— А в чем?

— Дело все в боге. Да, я не оговорился: не в чуде, а в боге! Вы, наверно, слыхали, что он религиозен. Его повергает в уныние, что библейские заветы не стали совестью Америки.

— Он полагает, что они стали первоосновой новой России? — засмеялся Репнин и смехом этим немало смутил Кислова.

— Представьте, Николай Алексеевич, он хотел бы, чтобы они стали первоосновой России. Он не прочь это внушить Ленину, подчеркнув, что попытка освободить общество от эгоизма и корысти, в сущности, опирается на веру в бога...

— Извините за дерзость, Борис Михайлович, — отозвался Репнин, не скрывая своего весело-иронического тона. — Но как господин Робинс сочетает службу богу со службой разведывательному департаменту Америки?..

Кислов испытал неловкость и, желая победить ее, улыбнулся.

— Парадоксы в крови нашего времени, Николай Алексеевич. Курицу сядят на утиные яйца, а утку — на куриные — ни та, ни другая не удивляются, когда на свет появляются существа, не похожие на мать.

— Ну, что ж, будем считать, что вы ответили на мой вопрос, — усмехнулся Репнин, — то, что Кислов не отвел его более чем дерзкое утверждение, больше того, подтвердил его, вернуло Репнину хорошее настроение, испорченное неожиданным вторжением дипломата-пролетария. Вернуло хорошее настроение и насторожило: в поведении Кислова было нечто такое, что не вязалось с логикой... Вряд ли Кислов так легко подтвердил бы подозрение Репнина, относящееся к Робинсу, если бы это не соответствовало его, Кислова, интересам. Да и вторжение его в дом лишь для того, чтобы передать приглашение Робинса, не очень было похоже на Бориса Михайловича... В поведении Кислова было нечто такое, что недоступно Репнину. Но что именно?.. Из опыта Репнин знает, что человек, хранящий тайну, ничего так не боится, как прямого удара.

— Как поживаете, Борис Михайлович? — спросил Репнин так, как будто бы они ничего не сказали друг другу прежде и с этого немудреного вопроса беседа должна начаться.

Кислов собрал у глаз морщинки — лицо его выразило и жестокое упорство и жалость.

— Не хочу кривить душой, Николай Алексеевич, все надежды на новые времена!.. — он смотрел сейчас на Репнина с безбоязненной прямоотой.

Как-то разом Репнина покинула ирония: стало жаль Кислова — не ожидал Николай Алексеевич такой откровенности.

— Но ведь парадоксы в крови нашего времени, — произнес Репнин.

— От того, что басурман добрый, он не перестает быть басурманом — хочу на русскую службу, Николай Алексеевич... — сказал Кислов, а Репнин подумал: «Вот и легла на ладонь истинная причина неожиданного вторжения Кислова в дом Репнина. В расчете Кислова нет ничего мудреного: «Не сулят ли новые времена обнадеживающих надежд дипломату-пролетарию и не может ли Репнин помочь этому?» Разумеется, Кислов этого вопроса пока не ставит, но готов поставить. По крайней мере Репнин должен знать: готов поставить.

Репнин сказал, что принимает приглашение Робинса и будет у американца завтра в четыре. Кислов принял согласие Репнина без того энтузиазма, какой, казалось бы, это согласие могло у него вызвать, дав понять Николаю Алексеевичу, что приглашение на обед является для Бориса Михайловича всего лишь поводом для прихода к Репнину.

— Как ни изощрен человек, — сказал Репнин, когда Кислов собрался уходить, — наш разум точно засекает момент, когда в поведении человека нарушается логика.

— Робинс достаточно опытен, чтобы понимать это, — по тому, как реагировал Кислов, Николай Алексеевич понял: Борис Михайлович хочет уточнить, что речь идет именно о Робинсе, а не о нем, Кислове.

— Нельзя же допустить, чтобы Робинс, будучи тем, кем он есть, встречался с Лениным без ведома и согласия на то посла и посольства, — заметил Репнин, игнорируя тревогу собеседника. — К тому же Робинс, если он

намерен возвратиться в Америку, заинтересован в согласии...

Кислов расхохотался и встал — он точно хотел этим смехом расковать неловкость, которая возникла в беседе.

— По-моему, Робинс задал этот вопрос своему вашингтонскому начальству без обиняков.

— И ему ответили согласием?

— Да, согласием, но с одной оговоркой, существенной.

Репнин хотел спросить: «Если вы уж сами заговорили об оговорке, при этом существенной, может быть, вы ответили бы, о чем шла речь?» — но смолчал.

— Государственный департамент, как я понял, разрешил Робинсу поддерживать контакт с новым русским правительством, однако не одобрил курса, который Робинс считал бы целесообразным... — заметил Кислов.

Репнин понимал, что Кислов, хотел он этого или нет, подвел его к самому главному. Как ни заинтересован был Кислов в доброй воле Репнина, вряд ли он решился бы раскрыть смысл последней фразы. «Что же такое курс Робинса и в чем его отличие от линии, которой держится Вашингтон, — вот вопрос!» Но, может быть, Кислов подвел Репнина к этому пределу, чтобы остановиться: «Пусть решит эту проблему Репнин с Робинсом, у Николая Алексеевича будет такая возможность завтра же...» Спросить Кислова — значит пойти на риск... оправдан ли он для Репнина? Но, быть может, есть резон в полувопросе... который в равной мере допускал бы и ответ и молчание, не обаяывая, — в дипломатии есть и такая форма вопроса, нарочито общая, почти отвлеченная, быть может, исполненная юмора — нигде так не всесильна шутка, как в дипломатии.

— Как ни громоздко государство, оно меняет курс легче, чем это способен сделать человек... — заметил Репнин.

«Будь это в моей власти, доверил бы я Кислову службу в иностранном ведомстве? — спросил себя Репнин, когда Кислов ушел. — Человек он, несомненно, способный и, так думает Николай Алексеевич, честный, но его жизнь... не стал ли компромисс второй натурой Кислова?..»

Как показалось Репнину, четырехкомнатные апартаменты в «Европейской» снимались Робинсом под деловую квартиру. Хотя здесь были и кабинет, и гостиная, и небольшой банкетный зал, и даже спальня, Николай Алексеевич безошибочно определил, что Робинс живет не в гостинице и ее апартаменты являются всего лишь местом встреч деятельного американца. Разумеется, эти четыре комнаты могли быть меблированы и под контору, но воздух конторы, даже столь своеобразной, какая принята с некоторого времени на Западе, слишком тяжел, чтобы располагать к беседе задушевной.

Робинс встретил Репнина и повел его чуть ли не через все свои апартаменты в гостиную. Как мог подумать Николай Алексеевич, он это сделал не столько для того, чтобы похвалиться размерами обиталища, сколько убедить гостя, что в квартире они одни. Изящный столик, за которым они уселись в гостиной, был устойчив достаточно — железные кулаки Робинса чувствовали себя на нем превосходно.

— Был в Москве, — заговорил Робинс. — И первое, что сделал, пошел в Художественный театр. Что, вы думаете, я там увидел? «Синюю птицу»! — он взглянул на диван, покрытый зеленым плюшем, — там лежал распечатанный конверт — видно, Робинс только что сидел на диване и читал письмо. — Не знал, куда смотреть: в зал или на сцену! Люди устали, они хотят перешагнуть через нелегкие эти годы и взглянуть в день завтрашний, а может, даже послезавтрашний. Все хотят... и большевики и кадеты. Одни видят мировую коммуну, другие, увы, могучую империю под началом белого царя. «Синяя птица» дает небольшой простор для такой мечты, но это в конце концов и не важно. Захоти ты увидеть в «Синей птице» царство вавилонское, ты его увидишь! Или дело в другом? Все в актере! Чем богаче его душа, тем больше повод для мечты...

«К чему он вдруг заговорил о «Синей птице»? — думал между тем Николай Алексеевич. — Та ли это тема для разговора с Репниным или короткая реплика о «Синей птице» невзначай пришла на ум Робинсу и он решил сделать эту реплику первым узелком беседы? Репнин уверен, что первая реплика должна быть найдена и зара-

нее опробована, как находят и опробуют дебют в шахматах: в конце концов дипломатическая беседа та же шахматная партия. То же наращивание скрытых ударов и контрударов, та же способность постоянно соотносить жертву и выгоду, то же бдительное внимание за движением мысли противника (в иных обстоятельствах ты назвал бы это подкарауливанием), та же решимость коротким и сильным ударом взять верх. От того, как ты начал беседу и как тебе удалась эта первая реплика, во многом зависит и темп беседы, и ее настроение, и близость цели».

— Если у актера нет ничего за душой, ничего вы и не унесете из театра,— продолжал Робинс и вдруг, обернувшись к дивану, взял письмо и извлек его содержимое — на стол легла фотография женщины, очевидно актрисы — женщина загримирована, да и костюм ее чуть экзотичен, так в жизни не одеваются.

— Кто она? — спросил Репнин.

— Нет, вы вначале скажите: нравится она вам или нет? — рассмеялся Робинс и подмигнул Репнину. — Не скромничайте, нравится? — Американец, видимо, принадлежал к тем веселым натурам, которые ни одну новость не могли сообщить без того, чтобы вначале не загадать и не вступить в спор.

Своей репликой Робинс позволил Николаю Алексеичу взять фотографию в руки, рассмотреть ее. Незнакомка была хороша той храброй прелестью, какую обретает женщина в тридцать лет, — ее глаза и остерегали, и настораживали, и (Репнин прочел это в ее взгляде безошибочно) сулили рай земной и небесный, хотя дорога к этому раю могла быть выстлана и горящими углями.

— Вы меня озадачили не на шутку: кто же это? — спросил Репнин и не удержал улыбки — хорошее настроение хозяина передалось и ему. — Кто? — произнес он, но догадка остановила его: «Да не Елизабет ли это, несравненная Елизабет Робинс, актриса редкого таланта, которую Репнин не раз видел в Лондоне?»

— Я рискую ошибиться, — сказал Репнин. — Вот вам мой ответ: Елизабет... Робинс, я видел ее на лондонской сцене, и неоднократно!..

Робинс встал — массивная пепельница на столе восприняла его шаги.

— У меня было предчувствие: угадаете! — Казалось, то, что немудреная его загадка удалась и Репнин опознал женщину на фотографии, сделало американца счастливым.

— Но кто она вам?

— Сестра, — произнес тихо Робинс. — Да, родная, — добавил он и пошел к столу. Как заметил Репнин, в Робинсе было нечто общее с его талантливой сестрой: ее добрая лукавинка, ее обаяние, от которого не уберешься, ее завидная способность (как важно это для актера, да только ли для него?) прямо и доверчиво смотреть в глаза. Что говорить, Робинс разыграл свой дебют не без умения и удачи и, конечно, не преминет воспользоваться выгодами, которые получил. Разумеется, «Синяя птица», как и несравненная Елизабет, имеют к беседе, которая сейчас произойдет, весьма отдаленное отношение, но без них Робинс вряд ли мог сказать то, что намерен сказать.

— Господин Репнин, я вижу в вас умного и прозорливого человека, который нашел в себе силы пренебречь предрассудками... — произнес Робинс с неоглядной уверенностью. — Ничто так не свидетельствует о наличии силы, как способность пренебречь предрассудками. Не удивляйтесь моему вопросу, господин Репнин, — он возник во мне не вдруг, и я полагаю, что... могу задать его вам, — он поднялся и взял со столика, стоящего рядом с диваном, низку янтарных четок — низка была короткой, с крупными, густо-коричневыми и заметно матовыми ядрами, видно, не один год Робинс держал эти четки в твердых ладонях. — Не удивляйтесь тому, о чем я вас сейчас спрошу, — произнес Робинс, овладевая собой, — прикосновение к янтарию дало ему и спокойствие и уверенность. — Вопрос отнюдь не оригинальный: вы полагаете, что русские — за Ленина? — Робинс выпустил из рук четки, положил перед собой, — янтарь слабо поблескивал, казалось, непрочная пленка матовости, покрывшая коричневые кристаллы, не отражала света.

Репнин молчал. Вопрос поставлен в лоб: «Русские за Ленина?» Не просто спросить об этом, много сложнее дать ответ.

— Простите, господин Робинс, а мне казалось, что поездки по России для того и были предприняты, чтобы



получить этот ответ...— засмеялся Репнин, он точно не придал значения серьезности вопроса.

Робинс обратил взгляд на четки, которые одиноко лежали на столе, свившись калачиком, потом на Репнина.

— Я действительно проехал Россию и много видел, много, но в этом ли дело, господин Репнин? — Он тронул четки, калачик неохотно расплелся.— Главное в другом: вот... Керенский и Ленин. Их поединок начался задолго до Октября, хотя был и не столь явным. Керенский и Ленин... Если хотите, я испытал силу доверия России к одному и другому на себе. Я американец и привык считать с фактами. Я не говорю: факт — цитадель правды, но факты и для меня многое значат. Чему же они меня учат в эти почти семь месяцев моей жизни в России? Первое время во главе страны стоял Керенский, потом — Ленин. Когда мне приходилось выезжать в провинцию по делам Красного Креста, я брал три мандата от Советов, три от Керенского. Власть была, разумеется, у Керенского, а чьи мандаты действовали, нет, вы скажите, чьи? Нужен был мне поезд — я получал поезд, нужны были подводы — были и подводы...— Робинс не мог так просто сообщить, чьи действовали мандаты, без того, чтобы не превратить этот вопрос в загадку.— Действовали мандаты Советов! — наконец произнес он, не дождавшись ответа Репнина.— И тогда при Керенском (вы слышите — при Керенском!) я подумал: кто хозяин положения и кого поддерживает народ?.. А потом Корнилов пошел на Петроград и то, о чем я мог только догадываться, стало всеобщим достоянием. Не вам же говорить, что Корнилов был разгромлен не Керенским, а Лениным,— все, что совершилось, совершил Смольный: и мобилизация рабочих, и окопы вокруг Петрограда, и поход кронштадтских матросов, и арест сподвижников Корнилова, засевших в «Астории», и многое другое, что стало известно под именем разгрома корниловского мятежа... А потом эта агония Керенского. Я сам был под Гатчиной и видел, как его покинули собственные войска. Я слышал, находясь с Керенским, как с той стороны кричали солдаты: «Кого вы поддерживаете? Лакея союзников?» Тогда я сказал: «Мне ясно одно: Керенский — мертв, как мертво всякое прошлое»...— Робинс взял на ладонь грудь четок, сжал — янтарь пискнул и примолк.—

У меня свой взгляд на причины того, что произошло в России: сила никогда не была хорошим средством в борьбе с идеями... Мне это может не нравиться, господин Репнин, но это факт, с которым я привык считаться... И потом... мои друзья в Америке говорят: «Мы привыкли, что кандидат в президенты добр, пока он кандидат. В Америке он обещает дать людям работу, в России — землю... Народ легковверен...» Я хочу, чтобы вы возразили мне, — закончил он и взглянул на дверь, ведущую в столовую — видимо, стол был уже накрыт.

Репнин не торопился перейти в столовую, шел, думал: «Американец — человек дела, он все расчленил по звеньям. Первое звено: он хочет знать точно, не обманываясь: кто владеет реальной властью в России? Пока была жива знаменитая русская бюрократия, этот вопрос был не важен, сегодня нет проблемы насущнее. Новая бюрократия еще не создана. Может, поэтому впервые за многовековую историю России именно в эти месяцы, короткие и, быть может, преходящие, хозяином положения является сам народ. «Мы привыкли, что кандидат в президенты добр, пока он кандидат». Да можно ли подкупить народ, навести его на ложный след, лишить бдительности? «Земля и мир» — это подкуп, или все много сложнее? В чьих руках власть и насколько она прочна? — вот первое звено в цепи вопросов, которые интересуют американца».

## 36

Они вошли в столовую.

— На моем столе можно играть в футбол, поэтому я велел составить его, — сказал Робинс.

Сам вид стола, покрытого крахмальной скатертью, являл для Репнина нечто праздничное. Впрочем, не одна скатерть украшала стол — видно, не оскудели запасы питерских складов американцев с вином и хлебом, консервированным мясом и маслом, если в январе восемнадцатого года можно было сервировать стол таким образом.

— Все просто, — сказал Робинс и взял бутылку виски. — Дадут Советы землю — останутся у власти, не дадут — расстанутся и с властью и, пожалуй, с головой.

«Наверно, мы с американцем разные люди,— подумал Николай Алексеевич.— Но и для него проблема проблем: «Дадут Советы мир и землю?» Тот раз в беседе с Лениным Репнин отверг такую перспективу напрочь. «Вы повели за собой это большинство, не сказав ему всей правды,— бросил Репнин тогда с лихой решимостью.— Вы не дадите ни земли, которую народ жаждет, ни мира, по которому народ исстрадался». Но надо ли говорить сейчас все это Робинсу? Не надо. Почему? Сразу и не соберешься с мыслями, но говорить не надо».

— Отказаться сейчас от декрета о земле и мире — значит наложить на себя руки,— сказал Репнин.— Нет, Советы этого не сделают...— закончил он, желая дать разговору иной ход.

— Значит, власть их прочна, господин Репнин? — спросил Робинс,— его вилка повисла над хлебницей.

— Мне кажется, да,— ответил Николай Алексеевич, помедлив.

Робинс взял хлеб.

— Предположим, эта истина установлена,— отозвался Робинс — его мысль развивалась с неумолимой последовательностью.— Предположим... тогда что надо сделать, чтобы удержать Советы от Бреста, и есть ли такая возможность?

Ну вот и второе звено беседы: как удержать Россию от Бреста?.. Но Робинс знает, как знает Репнин, что действуют объективные силы: интересы России — Россия не поступится ими.

— Как ни категоричен этот вопрос, господин Робинс, я смогу ответить и на него,— заметил Репнин.— Ведь в своем нынешнем положении я представляю только себя...

— Да, пожалуйста,— лаконично reagировал Робинс — ему не терпелось услышать ответ Репнина.

— Россия пойдет на мир с немцами, только чудо может изменить эту ее решимость...— сказал Николай Алексеевич.

Наверно, Робинс допускал возможность такого ответа, но, когда это произошло, он смутился — ему надо немало сил, чтобы преодолеть это смущение.

— Простите, но Брест... это в известной мере союз с Германией? — спросил Робинс.

— Если не союз, то сотрудничество,— заметил Репнин; он понимал, что где-то здесь эпицентр проблемы, которая интересовала американца,— разговор становился все напряженнее, все чаще паузы прерывали его.

— Значит ли это, что Россия предпочтет торговлю с Германией торговле с союзниками?..

— Практически это может оказаться и так.

Робинс затих; только тупо ткнулась вилка в тарелку и вызвала звон. Он взял бутылку с виски, налил, не дожидаясь, пока то же сделает Репнин, выпил, однако закусывать не стал, стараясь подольше сберечь живой огонь.

— Я знаю, как знаете вы, господин Репнин: Россия голодает!..— произнес американец, все еще не прикасаясь к вилке,— огонь, бушующий в нем, выплеснулся на щеки.— Я достаточно хорошо осведомлен, как живет Россия. Можно, разумеется, ориентироваться и на Германию, но, господин Репнин, у Германии хлеба нет, у Америки — есть... России не выжить без американского хлеба!.. У меня есть карта — на ней обозначено точно: сколько хлеба осталось в каждой русской провинции...

— Своеобразная география голода, господин Робинс? — спросил Репнин — ему казалось, что Робинс анатомирует русскую беду и желает из этого получить выгоду для Америки.

— Нет, вы не правы, господин Репнин,— произнес Робинс примирительно — он понял, что дал повод своему собеседнику для обиды.— Я американец, и мне позволено думать, чтобы Россия не стала сырьевым придатком Германии.

— Вы хотите сказать, что не любовь к России, а забота об американском благе движет вашими проектами? — спросил Репнин — он понимал, насколько резко может прозвучать его вопрос, но шел на эту резкость сознательно.

— Может быть, вы и правы, господин Репнин,— произнес американец с невозмутимой бравадой.— У меня нет причин стыдиться любви к Америке, хотя я и вижу все несовершенства моей родины и постоянно думаю, чтобы их исправить...

— Используя опыт России? — засмеялся Репнин. В его положении это была единственная возможность —

беседа заметно напряглась, и Репнин воспользовался ею, чтобы ослабить напряжение.

— Вы будто в воду смотрели, господин Репнин,— произнес Робинс и покраснел: было такое впечатление, что Репнин действительно нащупал нечто сокровенное в мыслях Робинса,— взять лучшее у Америки и России — что может быть благодарнее!

— Простите, но что именно вы хотели бы... взять у Америки и России, чтобы получить этот сплав?..

Робинс просиял — разговор коснулся сферы, которая его действительно интересовала.

— Всего... одно качество: предприимчивость собственника, стремление к умножению богатств...

— И более справедливое распределение богатств — от России?

— Да, разумеется. У американской системы нет порока серьезнее.

— Значит, речь идет о том, чтобы... сделать Америке русскую прививку?

— И вылечить ее от векового порока! — рассмеялся Робинс и затих: видно, крамольный смысл его проекта был понят и им.

— Вылечить или... отправить туда, откуда она вернется красной? — Репнин смотрел на Робинса, лицо которого грозно пламенело.— Вряд ли такой оборот дела устроит вас.

— Так или иначе, а Америка должна воспротивиться альянсу Германии и России, даже если этот альянс будет всего лишь экономическим...

— Простите, но воспротивиться... значит признать новое правительство России? — заметил Репнин. Он следил за мыслью Робинса неотрывно — пришло в движение третье звено.— Если говорить о Германии, то такое признание последует, разумеется, после Бреста...

Робинс забеспокоился.

— Я думал над этим... положение действительно своеобразное. Вряд ли Америка решится признать, если решится, то... де-факто,— добавил он задумчиво, темп его речи замедлился, казалось, проблема во всей ее сложности открылась его мысленному видению только сейчас.— Однако есть средство... могущественнее признание.

— Могущественнее... какое?

— Торговля!..— Он воодушевился.— Торговля! Вы назвали мою карту картой голода... Неверно! Не знаю, повторите вы это свое сравнение, если я скажу вам, что карта эта уточняет нужду России не только в хлебе, но и в металле, текстиле, паровозах... Больше того, она учитывает ресурсы России: наличные и требующие затрат... Нет, это не карта голода, а карта возрождения! Не скрою, что среди моих соотечественников не всем нравится мой проект. Есть такие, и их немало, которые полагают, что торговля не очень подходящее средство для борьбы за влияние в России... Они торговле предпочитают оружие. Но я спрашиваю вас: когда штыки побеждали идеи?..

Часом позже, когда они допивали в соседней комнате кофе, разговор вернулся к крестьянскому съезду и Робинс заговорил о Ленине.

— Последний раз я был у него третьего дня,— сказал Робинс.— Он показался мне больше обычного усталым и, это не очень похоже на него, хмурым...— Робинс обхватил чашечку с горячим напитком, будто хотел набраться от нее текучего тепла, согреться — в гостинице было прохладновато.— Мне показалось, что Ленин понял: революция — это не только Октябрь, но те год, два, три, которые предстоит пережить новой России... Я скажу вам нечто необычное: если суждено быть революции, то она совершится в восемнадцатом!..

Уже прощаясь с Робинсом, Николай Алексеевич услышал, как во входную дверь кто-то постучал, а вслед за тем дверь распахнулась, и в ее четком квадрате возникла плечистая фигура светловолосого человека в дубленой шубе, сшитой не без изящества,— это сочетание исконно русской овчины и модного покроя было оригинальным.

— Однако вы, как всегда, опоздали! — приветствовал Робинс человека в шубе.— Знакомьтесь! господин Репнин...

Сделав шаг, человек остановился.

— Очень приятно... очень приятно...— произнес он по-русски с той естественностью, которая должна была свидетельствовать, что он в русском не новичок.— Как же, наслышан... Очень приятно! Локкерт... Брюс Локкерт.

Встреча с Локкертом была задумана или произошла

невзначай?.. Очевидно, произошла невзначай, хотя Локкарт, возможно, и знал о встрече Репнина с Робинсом, знал и приурочил свой приход к этому часу.

Робинс посмотрел на Репнина с той откровенной хитрецей, которая была чуть-чуть и ребячлива и наивна.

— Вот мы сейчас проверим вашу зрительную память! — обратился он к Локкарту и подмигнул Репнину — разумеется, Робинс хотел показать Локкарту фотографию, полученную из Лондона.

Николай Алексеевич отклонялся.

Снег, прекратившийся в полдень, возобновился. Сквозь его зыбкую пелену неверно прочерчивалось здание музея Александра Третьего... Репнин зашагал к Фонтанке, пошел вдоль ее каменного борта. Громада Летнего сада была темна больше обычного — снежная заметь не могла застлать ее. Снег мягко ложился на плоский камень, он точно замедлял движение, приближаясь к земле, подчеркивая и безветрие и тишину... было очень тихо. Кто-то прошел здесь только что: на камне, укрытом нетолстым слоем снега, отпечатки ног весьма отчетливы... Да не лапти ли это, в которые был обут мужик-великан, там, у городской Думы на Невском?

Эта встреча с Локкартом, внезапная и грозная, точно объяснила Репнину многое из того, что было истинным смыслом беседы с американцем. Наивно думать, что Робинса привела в Россию гуманная миссия Красного Креста. Красный Крест всего лишь легализовал миссию, у которой были свои цели. Какие?.. Политическая разведка, достаточно широкая, чтобы иметь представление о том, чем живет сегодня новая Россия и что можно от нее ожидать завтра? Робинс был очень удобен Френсису, прочно осевшему на своей Фурштаттской, — Робинс был в известном роде чрезвычайным эмиссаром, направленным к Ленину, чтобы представить американские интересы и защитить их. Что требовалось от Робинса?.. Точно воспроизвести точку зрения посольства и, получив ответ, так же точно воссоздать его послу. На время, пока Робинс выполняет эти функции, он должен как бы отстраниться от своего «я», от своего мнения, отстраниться напрочь. Но где-то Робинс злоупотреблял своими прерогативами. Робинс — личность весьма своеобразная. Лич-

ность. Свой взгляд, свое мнение. Сделав Робинса эмиссаром посольства, Френсис должен был понять, что он обрек себя на риск столкновения со строптивым американцем. Реплика Робинса о торговле и оружии не отражает ли два мнения, одно из которых принадлежит Робинсу, другое — послу? Наверно, Робинсу не в меньшей степени, чем послу, чужда русская революция — в этом они единомышленники. Но Робинс сказал: идеи не победить штыками. Здесь — он весь. Нет, не только потому, что в правом кармане его пиджака — Библия и он враг силы. Не только потому, что хотел бы соединить Библию и коммунизм. Не только потому, что желал привить Америке русскую вакцину и излечить ее от вековых ее пороков. Нет, его расчеты опираются на реальные представления о русских делах: русские поддерживают новое правительство. Поддерживают ли?.. Да, была всесильная русская бюрократия, воплотившая в себе немецкую изощренность и азиатскую своекорыстность. Все могло пасть — трон, армия, экономическая мощь, но бюрократия... ее, как клопа, не берет ни холод, ни голод... А пока пора свободы, короткая и такая самозабвенно летучая, что даже не верится, что она была, кажется, впервые за всю многовековую историю России. Кто даст мир и землю, за тем и пойдет народ?.. Ну, что ж, и это, наверно, правда, хотя дадут ли на самом деле мир и землю и надолго ли?.. Декрет, как невод, который бросили наотмашь, чтобы уловить доверие народное, как средство борьбы междуусобной? Да похоже ли это на тех, кто отождествил себя с новой властью: на Чичерина, на Ленина в конце концов?.. На Ленина?.. Американец сказал, что последний раз Ленин был хмур. «Революция — это не только Октябрь — революцию еще предстоит утвердить! Она произойдет в восемнадцатом?..» Значит, не все мосты еще сожжены и возвращение в тот мир возможно? Для Репнина возможно?..

Репнин обернулся. Следы исчезли, будто бы великан потерялся в снежной замети где-то между Лебяжьим мостиком и Летним садом. В нетолстый слой снега теперь были впечатаны следы Репнина, впечатаны тщательно, и в них было раздумье, такое нелегкое, что казалось сомнительным, надо ли идти дальше...



Поезд подходил к Стокгольму.

Был день, теплый и дождливый. Не верилось, что где-то на востоке, отсюда всего в каких-нибудь двух тысячах километров, бушуют жестокие вьюги и непробиваемая ледяная броня бережет январское безмолвие озер и рек.

— Когда мы покидали судно,— заметил Чичерин, не отрывая глаз от едва приметной черточки, отделяющей справа темную гладь моря от просторов неба,— была принята открытая радиодепеша: в Брест-Литовске возобновились переговоры, прерванные на десять дней.

— По-моему, они уже однажды прерывались на десять дней,— заметил Петр.

— Да, десять, десять и еще десять,— заметил Чичерин,— это плохой признак. Однако не Стокгольм ли это? Нет, слева, слева?.. У вас глаза моложе.

— Нет, просто мысок тумана, а вот прямо... кажется, Стокгольм.

— Представляю, как нетерпелив и подвижен сейчас Воровский,— поднес руку к глазам Чичерин.— Стучит палкой, немилосердно протирает пенсне... все кажется ему, что без него он видел бы лучше. Кстати, Максим Максимыч говорил мне, что вы встречали Воровского в Вологде.

— Нет, в Одессе,— лаконично ответил Петр и сделал вид, что рассмотрел нечто такое, что не видел до сих пор.

— А не могу ли я рассчитывать на большую откровенность? — заметил, улыбаясь, Чичерин.

Наступила пауза, и Чичерин с нарочитым любопытством взглянул туда, куда смотрел Петр. Он точно говорил Белодеду: «Ну, а теперь вы можете рассказывать...» Петр заговорил. Он вспомнил дом в припортовом районе, в котором нередко сживал с Воровским, две солнечные комнаты, беленные известью. Окна в комнатке Воровского были открыты — сюда доносился запах и моря, и пыльного бурьяна, которым порос большой двор, и подсолнечного масла — поблизости был маслобойный завод. Где-то далеко в стороне напряженно и трубно гудели пароходы, и, выглянув из окна, Воровский видел, как на рейде передвигаются суда. Пакет для Воровского

Петр принял в Марселе и был счастлив передать Вацлаву Вацлавовичу в руки.

Воровский вскрыл пакет и углубился в чтение, а Петр сидел у окна и смотрел на море, на большой двор, поросший бурьяном, на небо, которое было больше, чем двор и даже море, но подобно двору и морю пахло присоленным ветром, пылью и подсолнечным маслом. А Воровский кончил читать и, достав платок, снял пенсне, видно, глаза устали. Воровский протер пенсне — он это делал долго и тщательно, с очевидным намерением продлить процедуру и, так думал Петр, получше обдумать все, что он сейчас прочел. Потом он начал рассказывать о своей газете. Он говорил об этом иронически-добродушно, улыбаясь и выбирая из всего то, что составляло суть, самое смешное, как говорят жизнелюбивые люди даже о самом большом и серьезном. Он рассказал, как остался без газеты (три предыдущие прихлопнули одну за другой — он так и сказал: прихлопнули!) и решил выманить кляузную газетенку и потом осторожно, не обнаруживая своих намерений, превратить ее в газету большевиков. Делу помог случай (он сказал «случай» вполне серьезно, будто бы только он, этот случай, и помог всему предприятию). В Одессу приехал связной партии. «Будем звать его Степан», — сказал Воровский. В столице ему дали явку к Воровскому. Однажды Воровский шел с новым товарищем по Одессе. Был полдень, на чердаках кричали кошки (их и тогда было в Одессе много), и пахло жареной кукурузой — у рекламной тумбы сидел старый грек и на мангале жарил кукурузу. Но внимание Воровского привлек не грек. «Видите дерево, товарищ Степан, а под деревом скамья, а на ней человека? Это капитан в отставке (Воровской назвал фамилию) — хозяин здешней газеты. Очевидно, он и сейчас пьян, как обычно. Но пусть вас это не смущает. Подсядьте к нему и заведите разговор. Ну, да вы лучше меня знаете, что надо сказать человеку, который благодаря случаю стал хозяином газеты, довел ее до более чем плачевного состояния и не знает, что с ней делать». В общем, когда товарищ Степан вернулся от капитана в отставке (Вацлав Вацлавович поджидал его поодаль), газета уже принадлежала Воровскому и его друзьям. «Это и был «Вестник»?» — спросил Петр. «Черноморский портовый вестник», в редакции которого вы сейчас на-

ходите», — ответил Воровский и обвел рукой стены комнатенки, беленные известью. А Петр не мог не подумать: «Наверно, это характерно, что Воровский, человек редкого интеллекта, знающий четыре живых языка (два мертвых — латынь и древнегреческий — не в счет), инженер, педагог и писатель, человек, могущий быть крупным дипломатом и министром, сменил блестящую перспективу на положение редактора маленькой портовой газеты и считает это счастьем своей жизни. Не говорит ли одно это о величии того дела, которому служит Воровский?» А потом, как некогда, они вышли с Воровским на Приморский бульвар и смотрели на море. Оно было удивительно покорным и безмолвным в этот час. «Так и народ, — сказал Воровский. — Подобно морю спокоен до поры».

Петр задумался: все ли он рассказал Чичерину о Воровском? Почти все. Почти? Не рассказал, разумеется, о Королеве, как никогда не говорил об этом Воровскому. Стыдился. Считал недостойным революционера. Боялся грозного слова учителя, хотя понимал, не должен бояться. Петр не видел Воровского с тех пор. Но если бы видел? Разумеется, Воровский непроницаем. И пенсне его непроницаемо. И пальто. И борода. И палка. То, что он не хочет сказать тебе, он не скажет и на адовом огне. Но что-то, наверно, не в его власти. Даже если он и не скажет, прорвется. В интонации. В блеске глаз. В неожиданном повороте головы. Наконец, в стуке палки — он не монотонен, этот стук. В нем тоже своя интонация.

Видно, Чичерин внимательно слушал Петра, потому что, когда Георгий Васильевич заговорил, в голосе прозвучало то же настроение, что и у Петра.

— А вы больше не встречали Воровского?

— Нет... хотя в Одессе бывал и позже. Его уже сослали, кажется в Вологду.

— Да, в Вологду, — отозвался Чичерин. — Перед всеми нами у него одно преимущество: долго работал рядом с Лениным и, как никто из нас, был близок к нему, даже когда подолгу не видел. Нынче статьями о Ленине полна мировая пресса. Естественно: Октябрь — это Ленин. Но Воровский написал о Ленине задолго до Октября. Написал, когда никто об Ильиче не писал. И все предсказал. Все. — Чичерин приник к оконному стеклу, теперь полоска городских строений стала непре-

рывной. — Знаете, бывает так: литераторы считают тебя революционером, а революционеры — литератором, а ты ни первое, ни второе. А у Воровского редкое соединение талантов. Однако вот пошел перрон, и мне кажется, что я вижу Вацлава Вацлавовича. Тот, с палочкой, сутуловатый, да, слева, слева... разве не он?

А Петр смотрел на перрон, думал: «Одесса и Стокгольм, дом, сложенный из пористого камня, неподалеку от моря, с окнами на пустырь, поросший знойным бурьяном, и посольский особняк в сверкающей огнями европейской столице... А каков он теперь, этот таинственный Фавн со своей благопристойной палкой, чем-то похожий на Чехова или на того чеховского героя, интеллигента и порядочного скептика, которому его пенсне не столько помогает видеть, сколько игнорировать виденное?.. Каков он, Фавн?»

### 38

Их встретил Воровский. Небрежно бросил палку на левую руку (изящно изогнутая ручка легла на запястье), приподнял шляпу.

— А мы вас ждали еще утром и собрались было на вокзал, когда пришла телеграмма!

С Чичериным поздоровался с почтительной и сердечной корректностью, Петру с нетерпеливой и искренней пылкостью сдал ладонь, снял с руки палку, пошел быстро.

— А в Одессе море поярче, а? — Воровский поправил пенсне, будто хотел получше разглядеть Белододеда. — Если спуститься в порт, куда на рассвете привозят рыбаки улов...

У Петра похолодело сердце: «Вот он еще раз поправит пенсне и произнесет имя Королева».

— Оттуда, где собираются рыбаки после возвращения на берег, море кажется просторнее, — сказал Петр в отчаянной попытке заставить Воровского говорить о просторном море, и ни о чем другом.

— Вы правы, там море просторнее, — согласился Воровский и ускорил шаг.

Во вздохе Петра, который, наверно, заметил только он сам, было облегчение: кажется, пронесло.

Когда спускались по лестнице на площадь, Воровский заметил, указывая на скромный «бенц», стоящий в стонке:

— Пока нет посольского лимузина, но он будет,— Вацлав Вацлавович обернулся, нетерпеливо постучал палкой по камню.— Есть ли у вас желание, друзья, посетить один стокгольмский дом?..— Глаза Воровского оставались строги, в то время как в голосе слышались весело-иронические интонации.— Ничто не даст такого представления о Швеции и шведах...

Темные усы Чичерина смешно ошетинились.

— Признайтесь, Вацлав Вацлавович, вами руководит намерение не только дать представление о Швеции и шведах?

— А вы полагаете, я хочу вас привлечь к антигерманской акции? — спросил Воровский и пошел быстрее; до автомобиля оставалось несколько шагов, маленький, с парусиновым тентом, застегнутым на крупные перламутровые пуговицы, «бенц» был не очень величествен.

— Возможно, и к антигерманской,— ответил Чичерин.

— У меня еще будет время сделать это,— ответил Воровский.

— Однако я думаю, что вы сделаете это еще сегодня,— заметил Чичерин добродушно.— Кстати, Петр Дорфеевич может составить впечатление, насколько хорошо я знаю нашего посла в Стокгольме.

Чичерин достал свой нож, нож-универсал, нож-несесер, удивительное создание века, и осторожно срезал с парусинового тента автомобиля сверкающую пуговицу, которая готова была оборваться.

— Приберите до того времени, когда у вас будет свой лимузин.

Воровский принял пуговицу без улыбки.

Автомобиль дернулся и с истинно детской беззаботностью покатил по плоским камням Стокгольма.

— Надеюсь, мы будем знать заранее, куда вы нас повезете и что нам надлежит делать? — спросил Чичерин.

— Да, разумеется,— ответил Воровский.— У нас еще вагон времени.

— Небось часа полтора? — поднял смеющиеся глаза Чичерин.

— Час.— Воровский не изменил строго-торжественного выражения лица.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Петр заметил: это пикирование доставляло удовольствие и одному и другому. Воровский был быстрее, в его словах неизменно оказывался большой заряд иронии (всесильный Фавн жив!), а Чичерин наслаждался пылом боя втайне, не показывая, что увлечен поединком, отражал удары как бы между прочим, однако ни один удар не оставлял без ответа.

— Значит, в нашем распоряжении минут тридцать?..— спросил Чичерин, когда автомобиль убавил скорость.

— Нет, почему же? Все сорок.

Чичерин пригладил кончиками пальцев усы — его лицо подобрело.

— Даже Литвинов со своей энергией был великодушнее.

— В наше нелегкое время, Георгий Васильевич, гости должны работать.

Петр поймал себя на том, что не может оторвать глаз от Воровского. Со времени их одесской встречи прошло восемь лет. Тогда Воровскому было почти сорок, сейчас сорок семь. Те же прекрасные радушно-внимательные глаза, тот же чистый лоб, обрамленный темными волосами, только в плечах стал уже да легкая проседь тронула бороду. А в остальном такой, как прежде, — нетерпеливо-резкий, веселый, падкий на озорное слово. Говорят, что в гимназические годы даже штраф в десять копеек за каждую остроу не способен был остановить его.

А Воровский взглянул на Петра и нахмурился.

— Погодите. Белодед... Белодед...— он непонятно забеспокоился.— А знаете, я вспомнил вашу фамилию в какой-то иной связи. Нет, здесь Одесса ни при чем и «Портовый вестник», — он продолжал упорно смотреть на Петра.— Хорошо помню: я произносил вашу фамилию на днях. Но в какой связи? Однако я вам обещаю в эти три дня, пока вы будете в Стокгольме, вспомнить.

— В два дня! — смеясь, поправил Чичерин.— В два! — он показал Воровскому указательный и средний пальцы.

После сумеречного, освещенного желтым электричеством Лондона электрическое солнце залило Стокгольм.

Витрины были празднично расцвечены — рождество еще не отшумело. Нескончаемой вереницей шли автомобили, казалось, что здесь их больше, чем в Лондоне. Уличная толпа выглядела и шумной и непонятно беспечной.

Стокгольмский отель «Регина», в котором остановились гости, был полон обжитой тишины, тепла и мирных запахов, которые лучше, чем все иное, свидетельствовали о благополучии и устоявшемся быте шведской столицы. Оказывается, тридцати минут достаточно, чтобы принять душ, дать дело бритвенным ножам, ощутить приятно-холодную свежесть новой сорочки и даже выпить по чашечке черного кофе. Двухкомнатный номер создавал впечатление квартиры, домовитой и хорошо обогретой, с мерными вздохами чайника за стеной, с мягким шумом шагов, которые то нарастали, то убывали, с поляной за окном, округлой, в снегу.

Когда оставалось лишь повязать галстуки и надеть пиджаки, Воровский осторожно произнес, точно заканчивая разговор, продолжавшийся не один час:

— Нет, это, пожалуй, дом не политиков, мечтающих о карьере, и не государственных мужей, а дом людей деловых, для которых все цели, поставленные в жизни, достигнуты, и они могут позволить себе роскошь принимать людей разных.

— От большевиков до... дипломатов германского кайзера? — спросил Чичерин.

— Да, пожалуй, дипломатов кайзера, — заметил Воровский и взглянул на Чичерина, который не торопясь скрестил два конца галстука.

— Там будет Бухман?

— Нет, советник Рицлер.

Галстук в руке Чичерина оставался незавязанным.

— Необходимо уточнить, — произнес Воровский после некоторой паузы, — готовы ли немцы перенести переговоры в Стокгольм. — Он оглядел собеседников. — Как мне кажется, Георгий Васильевич, вас немец знает меньше и будет с вами откровенен. Вам и карты в руки.

Чичерин медленно повязал галстук, стянул.

— Петра Дорофеевича он знает еще меньше, быть может, беседу с Рицлером начать ему?

Воровский бросил на Белододе быстрый взгляд — он точно соизмерил все, что знал о Белододе, с тем дерзким, неизведанным и сложным, что предстояло сделать сегодня.

— Для Рицлера Белодед человек из народа, не искушенный в премудростях дипломатии, — пояснил Чичерин.

— Однако откуда немец узнает все это? — спросил Воровский.

— А это уж наша с вами забота, Вацлав Вацлавич, — отозвался Чичерин; в этом дружеском поединке он не хотел оставаться в долгу. — Разумеется, ответы нашего друга должны быть лаконичными отнюдь не по форме, а по сути своей. Вы можете говорить сколько хотите, — обратился он к Петру. — Однако если ваши слова пропустить сквозь ситечко, в нем не должно остаться ни единой крупинки.

— А вы полагаете, что слова Рицлера, пропущенные сквозь ситечко, позволят нам собрать пригоршню благородного металла? — заметил Воровский.

— Отнюдь я не надеюсь на это, — ответил Чичерин, он был не так напряжен, как его собеседник, и это помогало ему сберечь силы. — Иногда предпочтительнее находиться в положении человека, отвечающего на вопросы, чем задающего их: ничего не сообщив собеседнику, ты всегда будешь знать, что его интересует.

— Вызвать на себя огонь? — спросил Воровский.

Тяжелая бровь Чичерина вздрогнула, она приходила в движение не часто.

— В дипломатии, как и на войне, иногда надо вызвать на себя огонь.

— Вызвать огонь, потом взломать позицию? — вмешался Белодед.

— Понимаю, вы хотите быть танком?

— Может быть, и танком, — согласился Петр.

Впервые голос Чичерина отвердел.

— Я вам как-то говорил, Петр Дорофеевич, в дипломатии применение танков ограничено.

— Но выяснить круг интересов Рицлера — половина задачи. — Воровский хотел проникнуть в замысел Чичерина до конца.

— Совершенно верно, — отозвался Чичерин. — Вторую половину я возьму на себя. Белодед беседу начнет, я закончу.



— Я имею в виду Стокгольм,— заметил Воровский.

— О Стокгольме буду говорить я,— сказал Чичерин.

Вацлав Вацлавович рассчитал точно: через час после прибытия Чичерина и Белододеда в Стокгольм русские были в доме Лундберга.

Хозяин встретил их едва ли не на парадном крыльце, помог раздеться и повел в дом. Лундберг выглядел истинным богатырем. Он был высок, крутоплеч, широк в груди и, когда ходил, держал руки на весу. Его семьдесят лет сказывались, пожалуй, только в цвете волос, слегка посеребренных на висках, да в цвете глаз, не столь ярких. Его можно было принять за старого борца, закончившего многотрудную и отнюдь не бесславленную жизнь на арене и на склоне лет ставшего владельцем прибыльного дела. Петр с интересом наблюдал, как вел себя с хозяином дома Чичерин. Наверно, Георгий Васильевич отдавал должное радушию Лундберга, которое при всех обстоятельствах гостю симпатично, но видел в нем и нечто иное: хозяин был хлопотлив и чуть-чуть фамильярен — не хватало уверенности.

Из гостей в доме оказался только Рицлер — не мешкая Лундберг повел русских к нему. Советник находился в дальней комнате дома, которая служила одновременно и библиотекой и карточной — не поэтому ли посреди библиотеки стояли ломберные столы? Завидев Лундберга и его русских гостей, Рицлер поднялся из-за столика, где рассматривал старую книгу, и пошел им навстречу.

— Мне приятно с вами познакомиться,— сказал он по-русски с видимым удовольствием.— Очень приятно.

Потом Лундберг представил своего сына и внука. Нет, на их лицах не было и следа того, что династия Лундбергов на ущербе; они были крепки и полнокровны, как два помидора, вызревшие на сильном, отнюдь не шведском солнце. При словах: «Его величество Карл Второй» — сын Лундберга выступил вперед и склонил в поклоне голову. Внук не без достоинства сделал то же, когда Лундберг назвал его Карлом Третьим. Хозяин ни в какой мере не испытал неловкости, сообщив, что он должен выполнять на сегодняшнем приеме роль и хозяйки дома, поскольку его жена занята

своими делами — сегодня вечером собрание пайщиков женского журнала, акции которого по завещанию Карл Первый уступил ей.

39

Как условились, общий разговор с германским советником продолжался минут пять (дежурные фразы на всех широтах дежурны: погода, здоровье, впечатление о городе, немецкий язык для русского уха и русский для немецкого... что еще?). Затем Чичерин и его спутники удалились, и Петр остался с Рицлером один на один.

Петр взглянул на Рицлера: что-то в лице этого человека было старушечье, хотя человек и не был стар, быть может, мягкая округлость щек, подбородка, глаз, быть может, даже рта — у всех стариков добрые рты.

— Я немного знаю русские фамилии. По-моему, род Чичериных весьма знатен? Не так ли?

— Старый русский род, хотя далекие предки из Италии, — сказал Петр.

— Да, да... это отразила фамилия, — заметил Рицлер, — чичероне, предводитель, вожак, ведущий...

Рицлер произнес все это, не выпуская из рук книги. Петр взглянул на книгу — покоробленная кожа была ветхой и ломкой. Видно, при обработке кожу пережгли, да и цвет свидетельствовал о том же — огненно-бурый, горячий. Ни единая строка не обнаруживалась на тусклой поверхности кожи, время все стерло, кожа была голой.

— А не полагаете ли вы, что новое русское правительство призвало такого человека, как Чичерин, чтобы найти общий язык с Западом?

Однако германский советник шел все дальше, разумеется, его интересовал не столько облик Чичерина, сколько характер явления, связанного с возвращением Георгия Васильевича в Россию.

— Вы сказали: «Найти общий язык...» В каком смысле?

Рицлер отстранил книгу. Сейчас она лежала перед Петром. Петр даже чувствовал ее дыхание. Так дышит сама древность. Запах пыли, сладковатый запах плесени.

— Смысл вполне определенный: человек из той среды внушит большее доверие Западу. Не так ли?

— Так можно говорить о человеке, за плечами которого нет ничего, кроме происхождения,— произнес Петр не без запальчивости.— Но Чичерин... революционер.

Немец улыбнулся, как показалось Петру, снисходительно.

— Верно, все верно — революционер,— согласился Рицлер.— Это важно для вас, а для Запада значительно не это: его происхождение, круг его прежних и нынешних связей, круг его интересов. Кстати, Запад в наши дни понятие отнюдь не монолитное. Кажется, отец Чичерина представлял русские интересы в одном из германских княжеств?

Петр заметил: Рицлер был достаточно последователен в своих вопросах. Ему определенно хотелось установить, какая культура причастна к воспитанию Чичерина: немецкая или, быть может, галльская.

— Но такое знание языка...— Рицлер запнулся. Его диагноз точен: великолепный немецкий Чичерина недвусмысленно показывает, какая культура участвовала в становлении человека.— К тому же Моцарт? — вдруг поднял бледные глаза Рицлер.— Мне сказали, что Чичерин не раз наезжал в Зальцбург...

Сейчас видны твердые манжеты Рицлера и крупные запонки на них, нарочито грубые, точно кованые, затянутые благородной чернью.

— Вы осведомлены лучше меня,— заметил Петр.

Рицлер сжимал ладони все крепче, пальцы похрустывали. Сейчас знаки на запонках весьма отчетливы — голова оленя с ветвистыми рогами, очевидно, знак рода. Как кажется Петру, есть что-то общее между книгой, заключенной в ветхую кожу, и этими запонками, затянутыми тусклой пленкой времени... Наверно, не часто философ становится дипломатом, однако, когда это происходит, обретает силу динамита. Но вот вопрос: все, что спросил Рицлер о Чичерине, интересует его само по себе или является своеобразным преддверием того, что составляет предмет его главных забот сегодня.

Рицлер вдруг встал, и, когда Петр хотел сделать то же, немец предупредительно поднял ладонь, удерживая его у стола. У него бледные глаза. Настолько бледные, что кажется, глаза слились с тенями, заполнившими

глазные чаши, и стали неестественно большими. Так и есть: все, что было сказано до сих пор, лишь своеобразное вступление к тому, что Рицлер хотел спросить.

— То, что я скажу, всего лишь мои сомнения, впрочем, не только мои. Верьте мне, господин Белодед, не только...

Он опустился в кресло и резким движением отодвинул книгу в сторону, и этот жест свидетельствовал, как важно для него то, что он намерен сейчас сказать.

— Я немного историк («О философии — ни слова. Он немного историк, впрочем, как каждый философ!»), а коли историк, то должен видеть перспективу... Вы хотите знать, что я имею в виду? Перспективу мира между Россией и Германией, вернее, реальные результаты которые даст он одной стороне и другой. Германии — победить, России — встать на ноги... Итак, главное в умении считать. Кто точнее подсчитал, тот и выиграл... Хотя точность и немецкое качество, результаты могут быть самые неожиданные...

Недоуменно и робко Рицлер смотрел на Белододеа: сейчас тени, заполнившие глазные чаши немца, размылись и глаза, наверно, выглядят, как обычно: они круглы, будто шляпки гвоздей.

— Будь я русским, я бы построил свои расчеты так,— вдруг произнес Рицлер.— Я бы заключил договор и принялся ждать. Вне зависимости от меня в действие пришли две силы: война на Западе и германская революция. В революцию я не верю и с легкой душой сбрасываю ее со счетов. Остается война на Западе. С этим доводом нельзя не считаться. Он действует, как часы на mine замедленного действия. В заданную минуту часы сработают, и мина взорвется. К моменту, когда это произойдет, Россия уже будет не та, что сегодня,— наверно, месяцы передышки для России жизни подобны. Что скрывать, в минуту смертельной схватки, я не оговорился, именно смертельной, которая нас ожидает на Западе, Россия будет готова изгнать завоевателей со своей земли... кто бы они ни были. Признайтесь, что дело обстоит именно так?..— заглянул Рицлер в глаза Петру.— По крайней мере к этому сводятся расчеты русских. Так ведь?

— Вы хотите, чтобы я был в такой же мере откровенен, как и вы? — усмехнулся Белодед.

Но Рицлер точно не услышал в словах Петра иронии.

— Да, разумеется, — подхватил Рицлер. — Кстати, не скрою, что у нас главенствует мнение, особенно среди военных: продолжать войну на Востоке до победы, полностью овладеть ситуацией и таким образом подготовиться к ключевому поединку на Западе. Все, кто держится другой точки зрения и стоит за договор с русскими, не могут не принимать в расчет доводы наших военных и соглашаться на мир при одном условии: самом полном удовлетворении германских требований. Кстати, только так они могут заставить военных отказаться от идеи продолжить войну на Востоке, — лицо Рицлера стало влажным, ему нелегко дались эти несколько слов. — Как видите, мнения на мир с Россией у нас разделились, как, очевидно, и у вас?

Петр насторожился: чего ради Рицлер вдруг распахнулся перед ним?.. Неспроста же он прекратил исповедовать Петра и сам стал исповедоваться. Или он смиростивился над беспомощным положением Белододеда и великодушно позволил ему встать на ноги? Петр тревожно затих; к черту дипломатию, если надо жертвовать своей первоприродой!.. Вот сейчас трахнуть кулачищем по столу так, чтобы вместе со старым фоллантом подпрыгнул и затрясся в предсмертном ознобе Рицлер.

— Вы хотите, чтобы и у нас было два мнения? — спросил Петр, не глядя на собеседника.

— А зачем мне хотеть? — произнес Рицлер и отодвинулся от стола. — Я знаю и так: два.

Петр шумно поднялся, задев коленом ломберный столик, книга в ветхой коже сползла со стола и шлепнулась об пол.

— А не полагаете ли вы, господин советник, что это частное дело России? — спросил Петр, тяжело дыша.

Рицлера будто кинуло в дальний угол комнаты.

— Да что вы, коллега? — произнес он громко, с очевидным намерением, чтобы голос его был услышан за пределами библиотеки.

Их разделяло сейчас не больше трех шагов, на полу между ними лежала книга.

— Коллега! — почти выкрикнул Рицлер.

Нет, не спиной, а, очевидно, влажным затылком Петр ощутил движение ветра, который неожиданно ворвался

в комнату. Он обернулся: в раскрытой двери стоял Лундберг.

— Погодите, да не дуэль ли это? — произнес Лундберг и быстро зашагал к середине комнаты, чтобы поднять книгу. — Я вижу, вы уже отсчитали шаги: тогда где же секунданты и пистолеты? Впрочем, я сейчас все устрою! Старые добрые мушкеты и в рыцарских замках хранились в библиотеке.

Он распахнул дверцы книжного шкафа и, к великому изумлению Петра, действительно извлек оттуда два старинных пистолета с длинными дулами и крупными взводными курками.

— Прошу вас, господа! Да и за секундантами дело не станет. Кстати, вот и господин Чичерин... Чью сторону вы примете? Вас смутила эта старая книга на полу? Так это же нейтральная зона! Мы отсчитали шаги и установили нейтральную зону. Сейчас прогремят выстрелы, и спор будет решен...

— Нейтральной зоны не существует даже здесь... — заметил Рицлер поспешно, он не мог скрыть своей радости по поводу столь своевременного появления Чичерина.

— Все зоны лучше всего устанавливаются с помощью доброго бургундского, — возразил Чичерин. Его голос отразил волнение, он все понял. — Мы будем иметь возможность это сделать немедленно — я слышу, как оно пенится и клокочет, — Чичерин указал на дверь, он не спешил выйти вслед за Рицлером. — Мне остается только напомнить: применение танков в дипломатии действительно ограничено, — сказал он Петру, повстречавшись с ним в дверях.

## 40

Казалось, случай в библиотеке произвел неожиданное впечатление на хозяина — молодой русский стал ему симпатичен, и оставшиеся до ужина полчаса он не отходил от Петра ни на шаг.

— Господин Чичерин пришел не вовремя — мы бы потревожили тишину этого старого дома, а?

Он вызвался показать Петру дом и повел Белодеда сложными тропами с одного этажа на другой. Он был

порядочным хвастунишкой, этот старый швед финского происхождения. Впрочем, предметом его гордости были не размеры его более чем достаточного состояния, не размеры и формы его генераторов и турбин, гордо шествующих по миру и превращающих силу рек в благородный металл, резину, хрусталь, ткань, наконец, не размер его престижа в различных кругах шведского общества. Нет, не это заставляло старого Лундберга гордо поднимать подбородок и вздымать грудь. Как думалось Петру, иная гордость завладела им, гордость ритмично работающим сердцем, несдающейся зоркостью глаз, каменной твердостью мускулов. Может, поэтому все тропы вели сегодня на корт да, пожалуй, в финскую баню. О, это была необыкновенная баня! Просторная, выстланная с пола до потолка голубым кафелем, с печью, обложенной бурым камнем, зримо символизирующим неумную силу огня, который бушует в печи и прокалил стены.

— Вы послушайте, как это происходит, нет, вы только послушайте,— произносил он, стоя посреди бани.— Я беру шланг и ударяю струей воды в эту стену. Стена раскалена, как может быть раскален только камень, и вмиг все кругом становится белым, как в момент сотворения мира, только вода шипит на камне. Нет, я не выключаю воду, а всего лишь нацеливаю шланг на стену и устремляюсь вверх!.. Ах, господи, какой там Эверест с Эльбрусом — выше, выше!.. Одна полка, вторая... ой, погибаю!.. Вперед, вперед!.. Голова раскалена, точно каменная стена печи, на которой сейчас шипит вода... Ни шагу назад!.. Но язык уже не ворочается, да и голову поднять нельзя. Только сердце бьется: стук, стук! И удары разносятся по телу, будто где-то внутри тебя помещен колокол. Это сердце обратилось в колокол — оно стало медным.

Они вернулись к гостям. Лундберг посмотрел в дальний конец зала и не мог скрыть смутения: он увидел жену, она уже вернулась. Жирноволосая и быстроглазая, она шла по дому зыбкой походкой, какой ходят пожилые люди на исходе дня: видно, и для счастливой обладательницы золотых паев женского журнала он оказался страдным. Потом фру Лундберг сидела с сыном, пила короткими и жадными глотками черный кофе, такими же стремительными и ненасытными затяжками истребляла одну сигарету за другой, а потом, забыв про си-

гареты и кофе, вдруг тряхнула головой и, раскрутив ее, точно она была на оси и могла свободно вращаться вокруг шеи, распустила волосы и принялась ими размахивать, как флажком. Она это делала с тем небрежно-величественным видом, как делала, наверно, много лет назад, когда была молода (а волосы блестящи и густы, и действительно необходимо было усилие, чтобы рассыпать по плечам их сноп). Однако ныне, сколько ни вращалась голова на тонкой шее фру Лундберг, ныне... Впрочем, картина, которую являла собой фру в эту минуту, отразилась на лице ее мужа. Он смотрел на нее глазами, в которых была видна и жалость к ней, дико-винно не похожей на ту, какую он знал прежде, и боязнь ее строптивости и деспотической силы, которая угнетала его всегда и сейчас больше, чем всегда, и, быть может, брезгливость... Он не мог сейчас убедить себя в том, что именно он, а никто другой, прожил с этой женщиной половину жизни, спал с ней в одной постели, дышал ее телом, родил с нею сына. Однако как ни остро было это переживание у господина Лундберга, оно продолжалось, как показалось Петру, мгновение. В следующий миг он уже гарцевал вокруг дамы с вуалеткой и стремительная ладонь носилась над ее аккуратной головкой, то взлетая, то падая. А за дальним столиком сидела с погасшей сигареткой фру Лундберг и смотрела на мужа свинцовыми глазами, в которых была боль и, пожалуй, презрение.

А между тем была та удачная минута вечера, когда знакомства состоялись, завязаны первые узелки беседы и хозяева могут вздохнуть облегченно — в их усилиях гости уже не нуждаются. Петр смотрел вокруг и ничего не видел: ни жизнелюбивого хозяина, ни Карла Второго и Карла Третьего; ни хозяйки, потрясающей истершимся пучком жирных волос. Ничто не могло отвлечь его внимания от Рицлера и Чичерина. Они медленно шли по залу, при этом Чичерин что-то увлеченно рассказывал, разводя руками, а Рицлер хохотал, хохотал нарочито громко. Он точно говорил Петру. «Хотя мне не смешно, а я буду хохотать, буду тебе назло и накажу тебя своим хохотом».

Петр был убежден, что Чичерину, как и Петру, ясно, в какой мере лжив этот смех, но он продолжал идти рядом с немцем, продолжал идти. И ничто так не обезоруживало Петра, как это, ничто не повергало в такое



уныние, как вид этих людей, идущих рядом. Однако применение танков в дипломатии ограничено, вспомнил вдруг Петр слова Чичерина.

Петру было любопытно, как Чичерин держал себя на необычном этом приеме. У Чечерина не было причин для хорошего настроения, как не было их и у Петра, но в отличие от Белододеа Чичерин решительно отказывался обнаруживать это. Наоборот, глядя на него, можно было подумать, что у него нет причин быть печальным или тем более обескураженным: настроение строгого раздумья сменялось тем спокойно-радостным состоянием, когда человеку приятно общение с людьми. Наверно, он был мастером короткой беседы, когда поводом служит первая же услышанная фраза, а сам диалог быстр, сжат, чуть-чуть афористичен. В конце вечера, когда было накрыто несколько столов и гости разделились, Чичерин сделал участником беседы и Петра, обратившись к его познаниям в такой своеобразной сфере, как таможенные порядки в Глазго. По правую руку от Чичерина сидел рыбный оптовик из Бергена, говорящий по-немецки. По левую — капитан сейнера, итальянец, а напротив — редактор большой столичной газеты, с небрежной легкостью говорящий по-английски и французски. За столом свирепствовали четыре языка, и понять что-либо было мудрено. Единственный, кто великолепно ориентировался в этой языковой чересполосице, был Чичерин. Его языков хватало и на оптовика из Бергена, и на капитана сейнера, и на редактора столичной газеты.

Возвращались к полуночи. Каждый был погружен в свои думы.

— Ломоносов тоже доказывал свои формулы ученым немцам кулаками, — сказал Воровский.

— Тогда можно было доказать кулаками больше, чем теперь, — отозвался Чичерин после некоторого молчания.

— Мы с вами, Георгий Васильевич, явно недооцениваем столь веский довод, как кулак, потому что им не обладаем, — настаивал Воровский.

— А если... кроме шуток? — вдруг спросил Чичерин, он первым почувствовал необходимость серьезного разговора.

— Немца явно не надо было бить, — сказал Воровский, он реагировал на призыв к серьезному разговору

по-своему.— Петр Дорощеевич мог бы нам испортить обедню.

Реплика осталась без ответа, а Петр уже в какой раз за этот вечер выругал себя. Нет, дипломатия не только ум и жизненный опыт. Не только интеллект, но еще нечто такое, что дается не каждому и по сути своей не просто профессия, а призвание. Есть вселенная, пределы которой поистине необъятны,— человек. Без знания человека нет дипломатии. Тут не пропишешь истин и не блеснешь прозорливостью. Необходимо весь твой ум, и как же ты будешь далек от совершенства!.. Сейчас Петру казалось, что его жизнь со всем ее опытом, который, честное слово, был добыт трудом адовым, почти ничего не прибавляет, чтобы постичь нелегкую эту науку.

Они вернулись в гостиницу. Как всегда в это позднее время, Чичерин отдавал час-другой работе. И на людях он любил работать в жилете, с закатанными по локти рукавами. Петру казалось, все свои помыслы Георгий Васильевич сообразует с тем большим, что определит его жизнь на родине. Все, что видит он за день, что возбуждает в нем мысль и чувство, он сообразует с этим. Прежде чем мысль Чичерина отольется и примет четкие формы, он должен перенести ее на бумагу. Он пишет легко, с видимым увлечением, но у него какая-то своя система записей, свой код, недоступный внешнему взгляду. Петр случайно взглянул на лист, который дописывал Чичерин, и подивился виду рукописи: это мог быть чертеж дома, набросок композиционной основы романа, наконец, план огромного парка с четко пересекающимися линиями. А между тем то была именно рукопись статьи, первый вариант, умещенный на одной странице и для краткости не столько записанный, сколько изображенный графически. Из первого варианта должен был возникнуть второй, где линии обращались в слова, а лаконичные строки-тезисы в пространные абзацы. А потом и третий — это была уже статья. Прочти ее и не поверишь, что она возникла из «чертежа».

Вот и сейчас Чичерин развивал на просторном листе бумаги свои записи, подсказанные быстротечными впечатлениями минувшего дня. А за окном вздрагивало и зыбилося электрическое зарево Стокгольма, несмотря на поздний час, резкое, точно по невидимым желобам и руслам, как реки в море, собралась светоносная вода со

всей Европы, отовсюду, где в четырнадцатом погасли огни, с Вислы и Марны, с прикарпатских равнин и полей Фландрии собралась и разлилась без границ и пределов. Вернется ли она обратно, эта светоносная вода?

## 41

В полдень позвонил Воровский.

— Петр Дорофеевич, помните, я вам говорил о товарище Белододе? Готовьтесь его принять.

Что это могло означать? Ничего особенного, просто Вацлав Вацлавович вспомнил все-таки Белододе, которого видел недавно. Вспомнил имя или увидел человека? Очевидно, человека, раз тот сейчас находится на пути к Петру. Но кто этот «товарищ Белододе» (Воровский так и сказал: «товарищ»), когда в природе не так много Белододедов? В том же Питере, если есть их трое — хорошо, при этом один из них наверняка должен быть братом Петра. Братом? Петр задумался: каким образом в нынешнее ненастное время брат может очутиться в Стокгольме и в каком качестве? Впрочем, сегодня, когда общение с деловым миром у России свелось, в сущности, к связям со Стокгольмом, это более вероятно, чем, например, вчера. Да нет, не может быть! И готовить себя к этому не надо... а если все-таки это он?

Петр выглянул в окно: снег в парке был ярко-белым, не городским. По четко прочерченной лыжне стремились юноша в синем свитере и много впереди девушка. Юноша ускорил бег и нагнал девушку, сейчас они шли шаг в шаг, потом юноша, быть может незаметно для себя, пошел быстрее, и когда спохватился, девушка была далеко позади. Ему неудобно было оглядываться, и единственно, что он мог сделать, чтобы вновь поравняться с нею, идти тише, и он шел все медленнее и, очевидно, высчитывая (нет, это не счет шагов — счет дыхания, счет сердцебиения, счет пауз). Наверно, в своем счете он преодолел какой-то предел и, остановившись, полунаклонился, чтобы поправить крепление, полунаклонился и, конечно, посмотрел назад. А девушка и не думала идти за ним. Она стояла в добрых тридцати шагах от него. Она остановилась в тот самый момент, когда он обошел ее, и, не выпу-

ская лыжных палок, забросила руки и стала орудовать шпильками. Парня это явно ошеломило и немало взволновало Петра... Все это произошло в какие-нибудь три минуты на кусочке снега, который можно было обнять глазом, даже не поводя головой. По незримой ассоциации, внезапной и тревожной, вспомнилась Кира... Нет, нельзя отставать, да, наверно, и нельзя обходить, только шаг в шаг...

В дверь постучали нетерпеливо и робко.

— Разрешите? — произнес человек и поперхнулся.

Дверь приоткрылась.

— Петро... бог всемогущий, пощади!

В дверях стоял Вакула и смятенным крестом пытался осенить грудь.

— Петро... брат...

На какой-то миг Петр все забыл: и презрительно-ненавидящий взгляд Вакулы, и его злое, сбивающее наповал «голодранец... босая команда!», и звон серебряного целкового, брошенного наотмашь: «Хочешь — бери, не хочешь — не бери!», и запах одеколона, сладковато-прииторный, с примесью нафталина, пыли и пота, которым он обдавал тебя пять раз на день, когда проходил мимо, пыхтя и отдуваясь, — все забыл на миг Петр, когда рванулся вперед навстречу брату.

А потом Вакула сидел, большой, пепельноголовый (мать тоже поседела в сорок лет), и его толстые, как две пышки, руки неподвижно лежали на коленях, и он говорил бесстрастным голосом, точно давно, очень давно ждал встречи с братом и поэтому все слова, которые говорил сейчас Петру, десять раз сказал себе, вначале страдая и мучаясь, а потом все спокойнее.

— Ты не думай, что я паду тебе в ноги и скажу: прости. Нет! — говорил Вакула, и его затылок становился малиновым. — Я был крут с тобой, но видел в тебе и брата и сына... а батька Дорофей говаривал: «У Белодедов и разум и норов от кнута — перестань стегать, мы дуреем». И не жди, что скажу: прости! Я хотел тебе добра, а потому и был крутой. Не жди!

— Не жду, я тебя знаю. — Петр искоса взглянул на брата. — Ты мне лучше скажи, как мать да Лелька.

— Мать как мать... она нас с тобой переживет, — ответил Вакула так, точно доброму здоровью матери надлежит не радоваться. — Каленая! — воскликнул он, будто

сокрушаясь.— А Лелька... да что, приедешь в Питер, может, не обойдешь дома, а?

— А я, право, и не думал,— искренне заметил Петр.— Если примете... чего же мне обходить вас? Мать с тобой живет?

— А где же ей жить? — Вакула смотрел все так же строго.— Ты, Петр, можешь обо мне что хочешь думать, но одно всегда признаешь за мной: мать сберег я.

— Да мне и не резон противиться — я знаю, что ты,— заметил Петр примирительно.

— Нет, я говорю к тому, что теперь, когда ты... — он, видно, хотел сказать нечто резкое, но осекся,— когда ты...

— Ну, говори, не робей.

— А чего мне робеть? Я человек свободный, вчера — в России, сегодня — в Швеции, а завтра, может, в Америке... — старший Белодед сидел все так же чинно, и его пухлые руки продолжали лежать на коленях.— А что? Мне... с моим замахом Америка по плечу! А?.. Я тебя не боюсь, Петро, и подлаживаться под тебя не буду! Вот я и говорю: теперь, когда ты... В общем, скажу тебе начистоту: твоя кобыла обскакала мою на повороте и миллион выиграл ты, а не я.

— Ну вот что, брось ты... выкаблучиваться... — взорвался Петр.— Хочешь говорить по-человечески — говори, не хочешь — я тебя не держу.

Вакула встал.

— А ты меня научи быть человеком,— он прищурил глаз.— Научи... Ну, чего не учишь?

— Садись,— произнес Петр, сдерживая себя.— Курить будешь? Впрочем, ты ведь не куришь.

— Кто тебе сказал? Курю.

Он достал трубку, набил ее табаком, запалил. Курил неумело, защебив мундштук негнушимися пальцами.

— А теперь скажи, с чем приехал сюда? Надолго?

Вакула молчал, только ожесточенно потягивал трубку.

Петр отошел к окну. Прямо перед окном посреди заснеженной поляны стояла девушка в красном свитере, а юноша сидел у ее ног и чинил крепление. Время от времени он поднимал глаза и робко и счастливо-ликующе смотрел на нее. Будто ничего не желал он в жизни другого, как сидеть вот так на снегу у ног девушки и прилаживать лыжню. И опять Петр вспомнил Киру. Знал, что ря-

дом брат, но не хотел его видеть. Вот так бы стоял спиной к Вакуле и думал о Кире.

Петр обернулся, Вакула мрачно тянул трубку.

— Ты чего улыбаешься? — спросил он Петра.

— С чем же ты приехал в Стокгольм, а? — Петр перестал улыбаться.

Вакула вздохнул.

— Ты знаешь мою мечту, брат? — вдруг спросил он, и голос его потеплел. — Мою большую мечту?

— Насчет русского Форда?

— Да... только ты не смейся! — Склонившись над камином, он положил в трубку уголек. — У меня еще столько сил, столько сил... ох! — он взметнул кулак, едва ли не такой мясистый и красный, как его голова. — Ох... много! — его кулак продолжал вздрагивать и раскачиваться. — Думаешь, что я русским Фордом не стал бы? Стал! Да только погода у нас в России сейчас не фордовская. Или как ты думаешь?

— По-моему, не фордовская.

— Огня я не боюсь, и Маша Спиридонова с ее огнем и бедой мне по душе.

— Это какая же такая Спиридонова Маша... та?

— А то какая еще — она одна такая... та, что... изверга срубил!

— Значит, ты... революционер?

— Социальный... — сказал Вакула серьезно.

— Но что ты делаешь в России новой, революционер социальный? — Петр не удержал улыбки.

— Что делаю? — Вакула затянулся и, набрав полный рот дыму, так, что его щеки угрожающе взбухли, выпустил, дым застлал ему лицо. — Ты помнишь, на Кубани, в междуречье, на полпути из Лабинской в Армавир, был колодец, глубокий, так что кружочек воды был не больше пятака? Одна бадья шла наверх, а другая спускалась. Помнишь, а? А лошадь, что ходила вокруг колодца и тянула бадьи, помнишь? Да, чалая, с толстым, будто пузырь, брюхом и крупными костями, что торчали, как рога? А глаза ее помнишь? Они были белые и даже днем светили, как два фонаря... Помнишь эту чалую?

— К чему это ты?

— Нет, ты скажи, помнишь чалую? А помнишь, как она околела? Споткнулась и легла в грязь, даже глаза с бельмами не закрыла.

Петр внимательно смотрел на брата, не скрывая своей неприязни.

— Что же ты хочешь этим сказать?

Он опрокинул трубку над ладонью, вытряхнул уголек. Он раскачивал руку, и уголек неторопливо перекатывался по бугристой поверхности ладони.

— А то, что я хотел сказать, я уже сказал! — произнес Вакула. — Не хочу быть чалой с белыми бельмами! Пусть вокруг колодца ходит кто-нибудь другой, тот, что делать больше ничего не умеет, — он поднес уголек к пепельнице и, поставив ладонь наклонно, дал угольку возможность скатиться. — А теперь скажи, чтобы я ушел, я уйду.

— Уйди.

Вакула почти бесшумно пересек комнату и осторожно закрыл за собой дверь.

Когда Петр подошел вновь, красный и синий свитеры покидали парк — они шли нога в ногу.

## 42

У Петра сдавило сердце, когда он подумал, что послезавтра будет в Петрограде. Он уже решил, что пойдет на Литейный. Вопреки тому, что произошло у него с братом, пойдет. В конце концов это семья его матери, его семья. Может, как раз и настало то время, когда все должно войти в свои берега, все, что испокон стояло рядом, встать рядом: мать, сын, сестра. Сестра? Как все-таки Лелька?.. Петр видел ее лет восемь назад. Помнит, как она после долгой беседы с матерью метнулась из дальней комнаты в сенцы, красная до корней волос, схронив от Петра глаза, и там, где она пробежала, трещали стулья и опрокидывались табуреты. «Что с Лелькой, мама?» — спросил Петр. «Да вот втемяшилось, что будет Верой Холодной!» — бросила мать, сжимая черной рукой подол шелкового платья. «Ей же шестнадцать лет, мама...» — заметил Петр. «Ну так что?.. В шестнадцать эта болезнь и берет, позже — легче. Эка народ стал зряшный! Было мне шестнадцать, я коней ковала да детей рожала. В шестнадцать! Я уже после замужества на полголовы выросла!»

Это было восемь лет назад, а сейчас Лельке почти

двадцать пять. А мать как?.. Она была неласкова с Петром, особенно когда рядом был Вакула. Она побаивалась старшего сына и хотя и не звала Петра ни «голодранцем», ни «босой командой», но считала его шалым. Перебирая всех близких одного за другим, она неизменно находила, что ее младший если и походит на кого, то лишь на дядьку Матвея, брата отца, который был известен тем, что сжег полхутора и «сгиб» в Сибири.

Пароход уходил в восемь вечера, а в три они вновь побывали у Воровского.

— Вот всегда так получается в жизни,— произнес Чичерин, когда вышли из машины и неширокой, выстланной асфальтом дорожкой направились к парадному подъезду посольства.— На самое главное времени как раз и не останется...

— Вы полагаете, Рицлер уже дал ответ? — спросил Петр, ему было не совсем ясно замечание Чичерина.

— Полагаю, дал.— Чичерин поднял на Петра глаза — они были сейчас светло-карими, солнце, вышедшее из-за облака, сделало их прозрачными до самого доньшка.— Стокгольм или Брест? — он внимательно смотрел на Петра, точно спрашивал его: «Ну, а сейчас ты меня понимаешь или еще нет?» — Брест... Брест... — заключил Чичерин и ускорил шаг.

Вот уже в какой раз в их беседах возникал этот небольшой западнорусский город («Наверно, островерхние дома крыты черепицей, если смотреть сверху, город кажется темно-бордовым», — подумал Петр), где вот уже месяц за просторным столом, поставленным посреди солдатской казармы, решалась судьба России. В самом деле, что могло быть значительнее в ту пору для русского человека? Быть может, об этом насущном и главном собирався говорить Чичерин с Воровским?

У Вацлава Вацлавовича только что закончился прием, и из дверей кабинета вышел человек в пенсне, держа под мышкой картонный футляр для чертежей, очень похожий на зачехленный ствол пушки. Он прошел гарцующей походкой, с очевидной легкостью и бравадой неся свое литое дуло. Поравнявшись с Чичериным и Петром, он поклонился и, упершись в дверь концом дула, открыл ее и пошел дальше.



Когда они вошли в кабинет Воровского, Вацлав Вацлавович стоял у журнального столика, рассматривая лежащий перед ним чертеж.

— Видели? — произнес Воровский, указывая взглядом на дверь, в которую только что вышел человек с картонным дулом под мышкой.— Известный шведский инженер-энергетик... Я его знал по работе в Симменс-Шюккерт,— он указал глазами на окно, будто фирма Симменса, в которой Вацлав Вацлавович работал в Стокгольме до того, как стал послом, находилась где-то рядом.— Принес свой проект электростанции на торфе. Разумеется, небезвозмездно, но принес нам... Каково?

Воровский вновь взглянул в окно, за которым догорал неяркий январский день, прощел к письменному столу, сел.

— Мне иногда кажется,— сказал он,— что именно здесь, в Стокгольме, нам суждено прорубить окно в Европу,— он улыбнулся.— Первое оконце, крохотное, как в теремах,— он взгляделся пристальнее — там, над городом, освещенным ломким, совсем не январским солнцем, взмыла голубиная стая, белокрылая, мерцающая, в ее полете было что-то знойное, летнее.— В дипломатии, как и в астрономии,— продолжал Воровский, не отрывая глаз от окна,— чтобы карта звездного неба была полной, важно соорудить обсерваторию в месте, созданном самой природой. Стокгольм — незаменимое место для такой обсерватории, отсюда можно увидеть такое, что не рассмотреть из Парижа и Лондона.

— И не только из Парижа и Лондона — из Бреста также,— иронически повел бровью Чичерин.— Рицлер уже дал ответ?

— Дал,— едва слышно произнес Воровский и воинственно приподнял худые плечи.— Жаль, что в тот раз Белодед не поколотил немца!

Чичерин вздохнул: вряд ли он надеялся на лучшее, но теперь, когда ответ стал известен, трудно было сдерживать вздох.

— Вы полагаете, что до конца брестской эпопеи далеко? — спросил Воровский.

— Я просто думаю, что задача у нас будет трудной, невыносимо трудной.

— В Бресте?

— Как говорит ответ Рицлера, в Бресте,— сказал Чи-

черин, потирая лоб. Он говорил медленно, точно стараясь добыть из сокровенных тайников мозга каждое новое слово.— И трудность нашего положения усугубляется тем, что нам нельзя не заключать договора.

— Нельзя,— согласился Воровский.

— Немцы это знают,— добавил Георгий Васильевич.

— Да,— сказал Воровский.

Белодед сидел поодаль и молчаливо участвовал в этом диалоге. Петру была по душе воинственная энергия Воровского. (Еще в Одессе Петр заметил: «Он воин по характеру и призванию. Покуда борется, до тех пор и жив».) Его душевная дисциплина и точность, так необходимые революционеру и, как показали Петру годы жизни в эмиграции, не каждому революционеру свойственные. Первое, очевидно, было в самой натуре Воровского. Второе — приобретенным. Вероятно, влияние семьи, еще вероятнее — профессия. Ведь Воровский инженер, отнюдь не пренебрегающий специальностью. Воинственная энергия и точность... Это не так мало.

— Кстати, от того, как мы отобьемся в Бресте,— проговорил Воровский, возвращаясь на место,— будут зависеть и наши отношения с внешним миром. Признание? Может, и признание.

— Да, пожалуй,— отозвался Чичерин.— Хотя, как мне кажется...— он не закончил свою мысль, очевидно, хотел выразить ее не столь лаконично.— Есть такое мнение, что наша дипломатия начнет свое существование в тот самый момент, когда нас признают великие державы... Верно ли это мнение? Я не склонен отрицать его голословно. В самом деле, все идет к тому, что тот мир начнет нас блокировать, да, это будет блокада, какой не знали ни Троя, ни Севастополь, ни Париж. Блокада военная, экономическая, если хотите, дипломатическая... Признание может отодвинуться на десятилетие!.. Да, надо смотреть вперед: на десятилетие! Но значит ли это, что отношения с внешним миром следует поставить в зависимость от признания? Нет, конечно. Очевидно, надо создать такой тип нашего представительства за границей, которое, не будучи посольством или миссией официально и в этой связи не требуя признания, ничем бы от посольства не отличалось. Я не думаю, чтобы англичане, например, совершенно отказались бы от того, чтобы иметь представительство в России. А коли у них есть

такая необходимость, значит, в порядке взаимности они должны допустить существование такого же представительства в Лондоне. А может быть, не только англичане? Нет, дипломатическую блокаду нам так не прорвать.— Он задумался, устало смежив веки.

Петр и прежде замечал: Чичерин любил заглянуть в день завтрашний, заглянуть не праздно. Вот и сейчас он хотел увидеть, как сложатся наши отношения с внешним миром завтра, какие формы они обретут. Это было свойство характера, быть может, талант. Он, этот талант, требовал и деятельного ума, и, разумеется, фантазии, и, что не менее важно, умения видеть жизнь реально, всегда быть на земле. Если бы он не был дипломатом, он мог бы быть в социалистическом государстве директором мозгового треста, главным проектировщиком, выдумщиком и фантастом, именно фантастом, созидающим, прокладывающим новые пути, изобретающим. Именно фантастом — как все фантасты, он в какой-то мере, так думает Петр, чудак. Из тех великих чудаков, без которых человечество околело бы, не живи они на земле. Наверно, в юности увлекался Шиллером, носил широкополую шляпу и разлетайку. А потом отдал добрый десяток лет немецким философам, побывал во всех университетских городах Европы, перечитал горы книг, жил во флигелях и мансардах и самоотверженно искал свою правду. Наверно, Талейран и Бисмарк не были чужаками. Талейран был старой лисой. Если Бисмарка назвать пантерой, он почел бы это за комплимент... Чичерин?.. Человек иной, даже по складу своей первоприроды... Может быть, характерно (нет, не только для Чичерина, но и для Республики Советов), что человеку такого типа новая Россия могла доверить защиту своих внешних интересов. Кстати, в какой мере все эти годы он был приобщен к живому делу революции — не растворился ли в небесных сферах мечты, не растерял ли интереса к земной практике? Наверно, такой человек может быть уязвим, его легко сделать мишенью критики. Кстати, вот вопрос: как примет его Ленин, как отнесется к тому необычному, что свойственно натуре этого человека, сумеет ли игнорировать это необычное и проникнуть в суть?

Петр думал, одно дело могут делать очень разные люди, быть может, даже успех этого дела определяется тем, насколько эти люди будут разными по интеллекту,

темпераменту, складу ума и сердца. Вот сели за стол два человека, очень разных, но как они нерасторжимы в главном. Как много они могут дать новой России, если все, чем они обладают, собрать воедино. И это, наверно, счастье и для России и, разумеется, для этих людей. И еще, Чичерин — русский, Воровский — поляк. Почему Белодеду это не приходило в голову прежде, хотя одного больше, другого меньше он знал годы и годы.

Пароход уходил из Стокгольма.

Когда Воровский приехал в порт, там был только Петр — у Чичерина была встреча с дельцами из Гетеборга, и он запаздывал.

Они вышли на пристань, вода казалась туманно-бирюзовой, какой она бывает только на театральных декорациях.

— Прошлый раз я говорил, что в Одессе море ярче, — сказал Воровский. — Готов взять свои слова обратно.

«Когда он говорил о ярком море? — напряг память Петр. — Не тогда ли, когда вспоминал одесскую пристань, где по утрам встречаются рыбаков с уловом?»

— Здешнее море — исключение из правил, — заметил Петр. — Вы видели когда-нибудь рыб, выловленных в южных морях? Павлины! Их оперение от яркой воды! — сам того не замечая, он хотел в разговоре увести Воровского подальше от Одессы.

— Правда предпочитает земные краски, — усмехнулся Воровский. — Даже на Черном море, — добавил он, помолчав.

«Вот опять он вернулся к тому, что произошло в Одессе, — подумал Петр. — Он пользуется тем, что мы одни, и вызывает на этот разговор».

— Не Чичерин ли это? — взглянул Петр в конец пристани — ему вдруг захотелось, чтобы человек в черном котелке оказался Чичериным.

Воровский не скрыл своей усмешки.

— Чичерин крагам предпочитает штиблеты и брюки навыпуск.

Петр подумал: «Если сию секунду Чичерин не появится, наверно, нет иного выхода, как заговорить об Одессе».

Но Чичерин появился и, кажется, предотвратил катастрофу.

— Ну что ж, если не Стокгольм, пусть будет Брест, но только бы подороже,— сказал Воровский, пожимая на прощание руки Чичерину и Белодеду.

Сейчас Петр стоял подле Воровского так близко, что были видны морщинка у правого уха Вацлава Вацлавовича и желтые зерна, крохотные, точно зерна пшеницы, на коже вокруг глаз. И оттого, что Петр увидел в лице Воровского нечто такое, чего не видел прежде, стало холодно; нет, это еще не признаки старости, но почему стало так жаль Воровского?

#### 43

Поздно вечером, когда пароход был в море, Белодед подумал, что минута, которую он ожидал, наступила, и постучал к Чичерину — встреча с братом не давала Петру покоя.

Горел ночник, покрытый густо-бордовым матерчатым абажуром. Круглое блюдечко света лежало на исписанных листах. «Он только что закончил работу,— подумал Петр.— Это его время». Посреди стола лежали карманные часы, такие же круглые и едва ли не такие же крупные, как блюдечко света, стук их маятника был слышен, но, очевидно, не мешал Чичерину, быть может, даже располагал к работе, торопил, настаивал. Среди тех вещей, которые Петр видел у Чичерина, это была, пожалуй, самая ценная. «Наверно, семейная реликвия, красноречивый знак рода. Единственная семейная реликвия, доставшаяся от большой семьи Чичериных».

— Вы, наверно, знаете, Георгий Васильевич,— наконец решился он,— в Стокгольме я видел брата.

— Вы полагаете, это для меня новость?— нетерпеливым движением Чичерин потер ухо, отчего оно стало почти малиновым.— Там, у Воровского, вам сказали о нем при мне. Встретили брата? Это же хорошо.

Петр помедлил.

И вновь, как это было несколько минут назад, уверенность, которую он, казалось, обрел, утратилась.

— Боюсь, Георгий Васильевич, что он не вернется в Россию,— произнес Петр единым духом.

— Но вы Воровскому сказали об этом?

— Нет...

— Следовало сказать. Но как это получилось?

Петр вздохнул.

— Все просто: приехал он...

Чичерин взял со стола часы и завел их.

— Нет, все не так просто. Я враг чересчур простого. Расскажите мне, чтобы я понял, обстоятельно. Мое право: обстоятельность — друг правды.

Петр принялся рассказывать. Уже давно минул вечер и настала ночь, а Петр все говорил. Он вспомнил Кубань, станицу на холмистых просторах, кузню на скрещении дорог, низкорослую и рукастую фигуру отца, склонившуюся над наковальной, саманное жилище, полужемлянку-полухату в открытой степи, нехитрую трапезу перед хатой, пшеничный суп, приправленный луком, кашу, дыню-зимовку и голос отца: «На бога надейся, а сам тори свою стежку...» И эту стежку помнит Петр: через пустырь, просший бурьяном, она вывела его к шляху и вдоль шляха, старательно, но не точно повторяя его русло, устремилась в город... А потом шахта в донецких степях и большой город на море, завод за высоким забором, оплетенным колючей проволокой, кузня в деревянных бараках без окон, где у горна можно было от жары обуглиться, а у двери обрасти льдом. А потом опять Кубань, нет, не станица, а город, кирпичный дом под железной крышей, праздничное солнце в окнах, выходящих на улицу, стол, покрытый белой скатертью, и разговор с братом. «Ты, Петро, дурак. Кто нынче служит в кузне за трешницу в неделю? Иди ко мне в кузню — я тебе двугривенный накинута!»

— Так и сказал, «двугривенный»?

Иногда Петр замолкает и смотрит на Георгия Васильевича. Сон давно ушел из глаз Чичерина. Они встревожены и напряжены. Видно, рассказ увлек его. Петр не может не подумать: «А почему так внимательно слушает его этот человек, для которого Кубань, и станица на опаленных горячим солнцем холмах, и люди, сидящие в пыли перед небогатой своей трапезой, и все остальное такое же темное, хмурое и бедное, иной мир, совсем иной мир, который он, быть может, и краем глаза не видел? Почему слушает его этот человек и насколько интересно все это ему? И что это для него: страница неведомой

жизни, чуть-чуть необычной и экзотической, или суровая быль о России, его бедной Отчизне. Нет, этот человек не просто странник, путешествующий в жизни и не нарочно перешедший из одного мира в другой. Что-то большое и истинное свершилось у него и сделало его человеком другого мира, другом иной России. И ничто его уже не способно вернуть в тот мир. И эти часы, тяжелые и массивные, что лежат перед ним на столе и пришли сюда вместе с ним из того мира, отсчитывают новое время в его жизни, совсем новое время».

— Я люблю, когда вы говорите о себе, Петр Дорофеевич, для меня наша революция — это русский рабочий. Нам всем его надо знать чуть-чуть больше, чем знаем мы. Прошлый раз вы рассказывали, как ходили за почтой в Россию. Сознаться, что думали, все дело в почте. Наверно, почта — это много, но не меньше вы сами. Я люблю, когда вы говорите о себе.

— Я расскажу, да только не о себе.

— А если о себе, то в третьем лице? — рассмеялся Чичерин.— Ну, валяйте, как-нибудь распознаю ваши нехитрые шифры.

Петр говорит. Море за окном всхолмилось и поседело. На глазах поседело. И дым, что стелется над водой, стал седым. И чайки, что неотступно идут рядом с кораблем, пренебрегают непогодой и тьмой.

Петр говорит.

Воровский как-то сказал Петру в Одессе: «Смотрю на вас, Белодед, и думаю: по-человечески нет ничего интереснее встречи идеи с характером. Иногда такую искру высечет эта встреча...» Как во всем, что говорил Воровский, в этих словах был смысл, который не сразу познавался,— встреча идеи с характером. Не Петра ли имел в виду Воровский, когда говорил об этом? Может быть, и не Петра, однако эти слова так надежно входили в сознание, что Петр готов был принять их и на свой счет.

Есть нечто значительное, когда идея овладевает твоим сознанием и становится твоей звездой — ориентиром. Наверно, так было и с Петром: жил человек, не очень приспособленный для борьбы, врос грубыми корнями в землю, щедро пил ее соки, мужал на ее ветрах. Кем бы он мог быть, если бы однажды жизнь не вышибла его из седла и не столкнула бы с тем, что Воровский зовет иде-

ей? Кузнецом, слепившим кузню у степного колодца или на скрещении дорог? Мирошником, до седьмого пота несущим вахту у тяжелых жерновов? А характер? Нет, церковь ему не по душе. В ней тишины много. Его увлекло бы другое. Ходил бы стеной станица на станицу, пил араку, здорово пил бы, влюблял девчат табуном и порознь — неотвратимы черные глаза с сининкой. А может быть, рыл бы колодец, рыл бы упорно, пытаюсь дойти до воды, куда до него отродясь никто не добирался, прошел слой глины, белой и черной, прошел щебень и литой камень, проник в самую утробу и достал воду. И всем радостям на свете предпочитал коня, который мчится ненастной степью быстрее тучи, быстрее ветра. Петр вступил на эту дорогу, когда половина жизни, самая бесценная, была уже позади. Казалось, время невозвратно ушло. В возрасте, когда сверстники Белододеда постигали Гегеля и Канта, Петр едва успел во всеобщей истории и элементарной геометрии. Если мудрость — знание, то она осталась для Петра на всю жизнь за семью печатями. Как будто время безвозвратно погибло и ни один университет не в состоянии вернуть Петру утраченных лет, ни гордая Сорбонна, ни многомудрый Оксфорд, и тем не менее такой университет существовал. Со всех концов русской земли стекались сюда студенты. Чичерин знает: в них было что-то общее с тем русским отроком, что пришел в Москву из далеких Холмогор. В этой необычной школе не было классов, как не было и лабораторий. Классами были чистые луга за Женовой и Берном, а лабораториями — пресненские баррикады. Подобно иным университетам, профессорами этой школы были философы и литераторы, знатоки права и искусствоведа, инженеры и зодчие, хотя если говорить о дипломных проектах студентов, то это были не столько чертежи виадуков и мостов, сколько проекты и планы революционных батальон, как они возникли в девятьсот пятом, а были претворены в семнадцатом. Поистине что-то было в этом университете необыкновенное, если в считанные годы дети тульских оружейников и ярославских прядильщиков становились философами и знатоками права. Нет, дело было не в профессорах, хотя они были великолепны в своем подвижничестве и преданности. Главное в другом. В этот единственный на Руси университет студентов собрала идея революции. В сущности,



студентом этого университета был и Петр. Здесь его характер встретился с идеей.

Наверно, это составляло привилегию необычного университета революции: встречи с его профессорами не подчинялись расписанию и месту. Они происходили в кафе и на палубе парохода, на людной городской магистрали и на лесной тропе. Казалось, лекции не прерываются даже в долгие дни поездок. Рядом была книга, полная мудрого молчания, умеющая говорить и, так казалось Петру, слушать. Не было для Петра большей святости, чем книга. Эта вера в книгу, всеильная и, может, чуть-чуть суеверная, была свойственна человеку, который знал, что идет к свету из тьмы. И, как это часто бывало с человеком, который при всех своих университетах оставался интеллигентом-самоучкой, он очеловечил книгу в своем сознании и, быть может, чуть-чуть ее обожествил. Крестьянский сын, он к книге относится точно к хлебу,— грех ее ронять, грех говорить о ней худо, хотя книги, как он понимал, были разные.

Эти парни и внешне преобразились заметно. Никто из них не стал щеголем, но костюм, сшитый отнюдь не второразрядным портным, и крахмальная сорочка были слабостью и молодого туляка и питерца, волею судеб обитающего в лондонских мансардах на Патней Бридж или Сьюнс Коттедж. За кого можно было принять такого человека, рослого, крупноплечего, с копной черных или ярко-русых волос, с черными, чуть нафабранными усами, который ходил по улицам европейских городов с той величавой мощью и свободой, какую никогда не обретешь, если у тебя ее нет от природы, человека, одетого с той легкостью и изяществом, которые неприметны с первого взгляда по той простой причине, что одежда эта, как бы хорошо она ни сидела, не примечается им самим? За кого можно было принять этого человека, если не слышать его говора, чуть свободного обращения с английскими «ар» и «оу»? За крупного инженера? Восходящую звезду авиации или за генерального консула великой державы в крупном атлантическом порту? Впрочем, эти молодые русские понимали, насколько важен им язык, и год от году в их говоре появлялись если не изящество и легкость, что шутя обретается в детстве и неодолимо позже, то свобода говора — мысль не огрублялась. В общем, с Петром произошло в Европе то, что

происходило со многими русскими: и лет прошло не так много, однако изменился он заметно. Быть может, это имел в виду Воровский, когда говорил об идее и характере?

Петр ушел от Чичерина поздно. Рассказал ли он Георгию Васильевичу нечто такое, чего тот не знал? Может, и не рассказал, но этот разговор что-то объяснил и Петру. Как это часто бывает, нужен был собеседник, быть может, такой, как Чичерин, чтобы прожитые годы явились к тебе с такой последовательностью и ясностью, с какой они никогда не являлись к тебе прежде. Петр ушел от Чичерина, а над ночным морем, как три часа назад, летели чайки. Они летели нелегко, то припадая к воде, то невысоко взмывая, точно были впряжены в корабль — так по холмистому берегу идут бурлаки.

Петр вышел на палубу — она была мокрой. Чайки теперь были на уровне плеч, и Петру казалось, что он видит их глаза — они были тускло-печальны, хмуры, глаза усталых рабочих.

#### 44.

Петр шел по Литейному. Где-то здесь был этот дом с бледной березкой во дворе. Как забрело деревцо сюда и как оно выжило? Тот раз, когда он был здесь, березка только-только зацветала и листва, как зеленый дым, едва обнимала дерево. А дом, в котором жил Вакула с семьей, стоял за палисадником, в глубине двора. Вакула говорил: «Не дом, а ларец с кладом! Вон как красив!» Что-то было в домике, как казалось Петру, нерусское: островерхая крыша, неширокие просветы с многоцветными витражами, высокие, точно в католическом храме, двери и полутьма, горестная и тоже какая-то церковная, которая ровно, не сгущаясь и не разжижаясь, разлилась по дому. Соседи утверждали: при старом хозяине (концессионер-француз, рудники где-то в Зауралье) здесь была домовая церковь. Новый хозяин, человек практический, он не верил ни в католического бога, ни в православного, наскоро переделал молельню в дом для челяди, а когда воздвиг особняк на Каменноостровском, сдал нерусский домик Вакуле Белодеду.

Белодеды отважились изгнать полутьму — расшили окна, не помогло! Тогда разрушили кирпичную стену перед окнами — и этого оказалось недостаточно. Выбелили дом известью, как делали на Кубани, — полутьма точно вросла в стены. «Тьму можно прогнать, — говорил Вакула, — а вот чужого бога не прогонишь. Все дело в этом боге». Он привез с Кубани голубей, чубатых и лохмогих, каких разводили тогда на русском юге, и заселил высокий конус чердака. В погожие дни он раскрывал чердачную дверь и голуби высыпали на крышу. Ничего не могло быть радостнее хлопотливой голубиной стаи. Ничто так не напоминало родную кубанскую сторону, богатую и веселую. Но даже голуби не просветлили мрачного петербургского жилища Белодеда. «Есть одно средство высветлить дом, — сказал однажды матери Вакула. — Вкатить в погреб бочонок пороху и перенести дом на небо вместе с чужим богом». — «А к чужому богу нового хозяина в придачу», — засмеялась мать.

Петр шел по Литейному. Металлическая ограда была на месте, столь же торжественная и, как прежде, нелепо нарядная — что делается с железом даже в такие годы? А вот березка высохла: обнаженные ветви точно покорежил ветер. Да и многоцветные витражи расколотило и выклевало железным клювом время. Однако дверь не на ключе, она полуоткрыта, будто предлагает Петру войти. Он переступает порог. Холодноватые сумерки, пахнет топленым молоком и пышками, подпаленными на сильном огне. Давно-давно на Кубани, когда в доме не было хлеба, мать умела приготовить такие пышки на скорую руку: тесто замешивалось на соде и пеклось на сковороде.

— Кого ты ищешь, овца заблудшая?

Петр остановился. Перед ним монах в лиловой рясе. Монах провел Петра по коридору к дальней двери, постучал.

— К вам, — сказал он и, отступив на шаг, улыбнулся добродушно-снисходительно.

Петр открыл дверь. Будто стараясь разгрести неверными руками тьму, к двери подходила мать.

— Ну, здравствуй, мама.

Монах качнулся и крупно зашагал прочь.

— Кто это? — она все еще, теперь по инерции, пыта-

лась разгрести тьму, но тьма не бралась и обтекала пальцы.

— Кто это? Ты, Вакула, или...— и крик, глухой и тяжкий, точно в груди у нее разорвалось само сердце: — Петька!

И гулкие шаги монаха — монах бежал.

А мать, такая родная и вместе с тем неузнаваемо белая и отяжелевшая, тряслась у Петра на груди.

— Ох, солнышко, да с какого же облака ты свалился?

Она с трудом подняла голову — лицо было совершенно мокро от слез.

— А как Лелька? Как она? — спросил Петр, осматриваясь.

— Господи... Что же это я, ополоумела, — она ткнула ладонью входную дверь. — Отец Мирон! Ах, господи, упаси раба твоего... Отец Мирон! — крикнула она вновь громче обычного.

Монах возник в дверях, но войти побоялся.

— Сбегай к Пафнутию, скажи, ради бога, Лельке, брат, мол... Ну! Тот, что за кордоном... брат!

Монах храбро ринулся из дому.

— Да не Вакула, не Вакула! — завопила она вслед. — Петька! Петр Дорофеевич, мол...

Но монах уже хлопнул входной дверью, да так крепко, что долго еще слышался гром в доме.

— Эка глуп человек, даром что при бороде и рясе... Господи, дай взгляну на тебя... Ну, иди вот сюда, к свету. Вакула сказал как-то: Петька небось при красных на министра потянет.

Она стояла поодаль, молча, недобро смотрела на сына. Где-то далеко-далеко, то ли на крыше, то ли на чердаке, ворковали голуби.

— Ты свой нрав собачий не переменил, солнышко?

— Нет, конечно...

Она остановилась по пути к шкафчику, что стоял в углу комнаты. Петр видел спину, седые волосы, разметавшиеся по плечам. Напряженно ворковали голуби. До шкафчика два шага, и, наверно, у нее нет сил сделать их.

— Ты что ж, явился, как прежде... сердце мне рвать?

— Если цело, не я сберег. Если порвано, не я рвал.

— Так-то... солнышко.

Голуби ворковали — им будто передалось настроение встречи.

Она пошла к шкафу, пошла рыхлой, неожиданно ослабшей походкой. Достала вазу с печеньем. Петр узнал: ее печенье.

— Мать...

Она стояла рядом, большая, неласковая, непонятно беспомощная. Стояла, сомкнув губы, не зная, что делать. Потом положила на скатерть руку. Петр тронул руку. Но рука не отзывалась, лежала перед ним, смуглая (кубанское солнце, как кубанская пыль, не отмывается), непривычно жесткая, безнадежно утратившая тепло.

— Ну сядь, мать, расскажи, как вы тут?

Она поставила на стол глубокую тарелку с холодцом (как на Кубани, подумал он, там тоже холодец студят в глубоких тарелках), глечик с медом, кружок свежего черкесского сыра (сама делала — он узнал) и вместо хлеба домашнюю пышку, нет, не резанную, а ломанную на аккуратные ромбы — пышка была разграфлена на ромбы еще до того, как ее испекли. Все то, что они ели в доме каждый день, когда жили на Кубани, только пышка непривычно черная, — видно, белой муки нет.

— Про Лельку расскажи...

Она села в сторонке и внимательно смотрела, точно что-то примеряла.

— Ты сыру испробуй, твой любимый, я помню, — она сказала «я помню», будто сама подивилась тому, что запомнила нехитрую эту подробность.

Она рассказывала о Лельке. А что о ней рассказывать? Вот придет сейчас и сама поведаст о себе. Вдовушка! Нет, не двадцать четыре, а двадцать два. Муж был в саперных войсках и сгиб в болотах. Михуры или Мазуры, одним словом — сгиб! А она подалась в монашки. Брат заселил дом черными рясами от погреба до трубы. Верно говорю: церква не церква, дом не дом. Соседи попадьей нарекли. Убей — не скажу, что у нее на душе!.. Не знаю! Одни пошли в солдатки. Слышал: батальон смерти? Другие — в срамницы... Третьи — в комиссаровы жены. А она? Может, чуток лучше, а? Все-таки господу богу слуга. Весной к богомолкам пристала и пошла ближние и дальние концы мерить. Вот, кажется, идет. Может, одна, а может, с благочинным. Ах, красавец поп,

и человек тихий. Не потревожь неосторожным словом. Слова ласкового не прошу, но и злого... потерпи, солнышко.

Петр перестал есть, ждал, не глядя на дверь.

Раскрылась дверь — не поднял глаз. Видит черные штилеты, сапоги, еще штилеты и полы ряс.

Он взглянул на вошедших.

Стоит старик с лицом Иоанна Крестителя, а рядом сестра, Лелька, в монашеском платье, с худым, исстрадавшимся лицом, на котором остались лишь бледные губы и вразлет брови да глаза темные, чудом вместившиеся в орбиты, заполненные неостывшим воском.

Теперь у Петра хватило силы обвести взглядом всех: и этого, с лицом Иоанна Крестителя, и того, с красной бородой, и еще маленького, с ветхой истершейся бородкой, и еще одного — исполина с клочковатой, исклеванной лишаем бородой. И вдруг, как некогда в детстве, стало Петру беспричинно весело и захотелось гикнуть на стаю чернополых и так пугнуть, чтобы рассыпались по сторонам, спотыкаясь и наступая друг другу на рясы. Но вместо этого выползли какие-то иные слова, кроткие, совсем на него непохожие:

— Лель, что стоишь так? Ну подойди ко мне.

Но она только приподняла грозную, с изломом бровь.

И тогда крик вздул горло, такой необузданно лихой, что не узнал своего голоса:

— Вы к кому пришли? Ко мне? Да?

Будто ветром вышибло всех, кроме того, с лицом Иоанна Крестителя.

— Ты на кого кричишь... блудный?

Петр сжал кулаки, произнес, сдерживая дыхание:

— Уходите, ваше преподобие. Могу ненароком и рясу защемить. Уходите, добром прошу вас.

— Петька,— загудела тревожным шепотом мать.— Пощади нас, не гневи господа.

— Уходите...— Казалось, если кого-то Петр боялся теперь, то только себя.

Благочинный вышел.

— Господи, теперь жди за грехи расплату.

Петр улыбнулся — непросто было улыбнуться в такую минуту.

— Лелюшка... ну поди ко мне.

Но она стояла неподвижно.

Поздно вечером Анастасия Сергеевна подходила к своему охтинскому жилищу. В окнах большой комнаты — свет. Настенька приподнялась на цыпочки. Деверь, Бекас! Он сидел перед чашкой чаю. Вся фигура выражала воинственное ожидание, и от этого на душе стало смутно.

Настенька понимала: в узком кружке питерских и отчасти московских католиков Бекас заметная сила. С недавней поры стало даже модным быть русским католиком. И кого только нет среди новообращенных: молодая поэтесса, очень известная. Пианист, сделавший имя (кстати, в этом участвовала и церковь). Премудрый хранитель египетских свитков. Известная педагогиня с бес-тужевских курсов. Опять поэтесса, но уже в возрасте. Все больше женщины — нервическая вера праотцев Рима им больше по душе. Фраза деверя обрела крылья: «Ортодоксальная вера пережила себя. Она темна, как нечесаные бороды ее духовников, которые надлежало сбрить еще по Петрову указу».

Настенька приподнялась на цыпочки еще раз: Бекас пристально смотрел в окно.

Настенька вошла.

— Ты что это заставляешь себя ждать, точно обер-прокурор синода или министр императорского двора и уделов?.. Я говорю: что заставляешь ждать себя? Громче, громче говори — не слышу! — Бекас точно присказку твердил: «Громче, громче говори — не слышу!» А сам, быть может, и слышал, все слышал, но притворялся. Он вроде того посла, который, явившись к своему коллеге и великолепно зная язык хозяина, тем не менее просит того пригласить переводчика — гостю важна не беседа, а то, что составляет ее второй план и раскрывается в коротких репликах, которыми обмениваются хозяин и переводчик.

Настенька остановилась в дверях.

— Прежде ты была смелее, — произнес Бекас не без лихости. — Или не признаешь? Громче, громче, не слышу! Хороша ты, Анастасия! Коли на мой вкус, краше и не надо! Особенно это вот место у тебя славное, дай-ка по нему тресну! — Он разразился громким смехом, по-

том, словно подавившись, закашлял.— Или обиделась? Не надо, я по-родственному. Ну, подойди...

Настенька подошла к Бекасу, почтительно склонилась над рукой. Он поцеловал в лоб. Чай не согрел губ, они у него странно холодные, неживые.

— Вот обошел, объехал свои владения! Где только не был — и в храме Успенья пресвятой Марии, и во Французской церкви божьей матери в Ковенском переулке, и у Иоанна Крестителя на Садовой, и у святого Казимира за Нарвской заставой, и у святого Станислава на Малой Мастерской, и в этих каплицах... каплицах... Что ни говори — государство! От одного конца в другой — версты, только полосатых столбов нет. Повтори, повтори — не слышу!

— Я говорю: силы откуда?

Он будто обиделся.

— Силы? Да я не так стар, милая. Может, годов на пять постарше тебя, а?

Он смеялся долго, утомительно, и пот выступил на лбу.

Смех стих, будто крутой кипяток в чайнике, который сняли с раскаленной плиты.

— Ты знаешь, зачем пришел?

Настеньке стоило труда рассмеяться — тоскливый холодок натек в грудь.

— Как зачем? Приехали в Питер — пришли навестить. В кои веки.

Гость мрачно оттопырил губы, зашептал. Когда надо сказать нечто значительное, вначале он должен себе нашептать.

— Ты не лукавь, милая, так просто навестить тебя и в иной час поспею, — губы Бекаса, только что такие большие и рыхлые, собрались в трубочку. — Я скажу, а ты подумай: «Убери руки от огня — обожжет!»

У Настеньки упало сердце, но она попробовала улыбнуться.

— Андрей Андреевич... (Прежде ему нравилось, когда она величала его так.)

Но гость уже поднял ладонь.

— погоди, — на какой-то миг он примолк, но губы продолжали шевелиться: он должен дошептать то, что намерен сейчас произнести. — Ты думаешь возвращаться



к законному мужу, милая, или как? Говори громче — не слышу!

Настенька печально смотрела на Бекаса (тоскливый холодок продолжал копиться в груди), потом, спохватившись, она всплеснула руками.

— Ой, как же вы меня перепугали! — Она долго хотала. Знала, остановится — и все рухнет. — Ой, кто же так шутит?

Но гость даже не поднял глаз.

— А я не шучу...

Тишина. Где-то на кухне прислуга колола сосновые щепочки. Они звонко трещали и распадались. «А вдруг сейчас явится Николай? Вот возьмет и явится. Может ведь быть такое».

— Думаешь... возвращаться?

Настенька молчала. Прислуга все еще колола щепу, да где-то далеко, в конце улицы, цокала подковами по мостовой лошадь. Лошадь, очевидно, недавно подкована, устала и стучит неровно.

— Я еще ничего не решила.

Бекас медленно повернулся.

— И долго будешь решать?

Настенька подошла к кафельной стене — что-то холодно стало.

— Не знаю.

— А ты знай! Говори, говори — не слышу!

Настенька молчала, прикинув к горячей стене, точно желая найти у нее защиту. А верно, Николай может сейчас явиться. Настеньке казалось, что он обещал приехать именно в этот час. Тепло приятно растекалось по телу, стало лень и смотреть вокруг, и говорить, лучше всего закрыть глаза и молчать, но говорить надо, что-нибудь, но говорить.

Бекас стоял сейчас прямо перед ней, губы все еще что-то шептали.

— Подниму и чертей и ангелов на твою душу. Подниму! — пригрозил он.

— А что вы мне можете сделать, Андрей Андреевич? — спросила она, открывая глаза. Гость Настеньки воздел грозный кулак, воздел и потряс им.

— Экономии лишу!

Ну вот, опять эта экономия! Давно-давно, еще в год замужества, Жилль переписал на Настеньку экономию в

пригородах Христиании. «Пропасть... бельгийских франков!» — говорил муж. Он даже нещедрые норвежские почвы мерил на бельгийские франки, однако на Настеньку это не производило впечатления. Тогда Жилль повез Настеньку в Христианию, и молодой женщине вдруг понравилось быть хозяйкой экономии. Все — и дом, обложенный камнем и расцвеченный деревом, и ковровая мастерская, и галетная фабрика, и даже хлева были большими, но крепко и красиво построенными и, может, потому светлыми. Впрочем, светлыми были и вода в пруду, и березовая рощица на отлете, и луг перед домом, и яблоневый сад, и поле. Она пробыла в экономии две недели и вернулась оттуда необыкновенно гордой. Ей все казалось: родит сына и привезет сюда на лето и зиму. Она так привыкла видеть себя хозяйкой экономии, что непросто было ей освоиться с мыслью, что экономия теперь не ее.

— Вы не сделаете этого, и... Шарль не сделает.

— Сделает! Да в экономии ли только дело! Ты даже не представляешь, что я могу сделать! Думай, думай — надумала?

Хоть бы он провалился в тартарары, этот достопочтенный Бекас, вместе со своими каплницами, чтобы не видеть его и не слышать. Пусть явится Николай, даже хорошо, если явится.

— Нет, не надумала.

— Думай! Приеду еще. Думай.

Бекас направился к выходу.

Настенька помедлила: проводить до крыльца или проститься здесь?

— Мария, посветите Андрею Андреевичу.

Вышла Мария, будто спрессонья, еще более красная и хмурая, чем обычно, зажгла свет в коридоре, сняла с вешалки шубу. Напитанная непросыхающей петроградской влагой, шуба и дюжей Марии показалась свинцовой, один воротник на добрых полпуда. Бекас, вздыхая и побряхтывая, нехотя полез в шубу, а когда надел, так же нехотя влез в кожаные калоши и пристукнул ногами, точно помогая и шубе и калошам покрепче приладиться и осесть. Поощряемая покорно-понимающим взглядом хозяйки, Мария пошла к двери, намереваясь отпереть и пропустить гостя, но тот не двинулся с места — ждал, когда финка уйдет.

— В таких доспехах вам и ветер охтинский не страшен,— произнесла Настенька.— Всего доброго, Андрей Андреевич,— сказала она торопливо.

И финка, поняв, распахнула дверь во всю силу крепких рук — на крыльцо поднимался Репнин, большой, раскрасневшийся, с ног до головы обсыпанный снегом.

— Эко диво! — воскликнул Репнин, бессмысленно-радостно шуря глаза — с темноты ничего не видел.— Не успел и руку протянуть к звонку, и вот тебе...

Внезапная слабость охватила Настеньку.

— Господи, как же это? — выдохнула она, и голос, собственный голос разбудил ее.— Ах, Николай Алексеевич, вы в самый раз! — вдруг воскликнула она, сама подивившись своей храбрости.— Уж я мечтала-мечтала представить вас Андрею Андреевичу, и вы в самый момент... Андрей Андреевич, знакомьтесь: Николай Алексеевич, добрый знакомый Шарля.

Загремели кожаные калоши и стихли — Бекас поклонился.

— Добрые приятели Шарля и мне знакомы.

Настенька не теряла надежды спасти положение.

— Шарль показывал Николаю Алексеевичу тот проект вторых путей,— она была самоотверженна в своей решимости. «Коли Шарль показывал Репнину проект вторых путей, значит, в самом деле они приятели добрые»,— был смысл ее слов.— Помните, в тот вечер? — нашлась она.

Но у Репнина лопнуло терпение — не пристало прятаться за спину женщины.

— В католичество меня не обращали, и порога храма святой Екатерины я не переступал...— сказал Репнин, который этой репликой дал понять собеседнику, что неподсуден его суду.

Но Бекас не зря берег силы.

— Не тешьте себя, месье,— он придал этому «месье» откровенно иронический смысл.— Ваше поведение противно не только католической церкви.

— Не слишком ли это? — произнесла Настенька, краснея, голос дрожал — игре и притворству пришел конец.

Но Бекас уже открыл дверь.

— Побойся бога, Анастасия! — крикнул он и опрометью кинулся из дому.

...Финка, открывшая было дверь и увидевшая хозяйку на груди Репнина, неловко шарахнулась в сторону, опрокинула могучими икрами кресло и понеслась прочь, обезумев от страха, а быть может, от радости, гремя тяжелыми башмаками, сдвигая мебель с привычных мест.

— Никого мне не надо, кроме тебя, Анастасия. Пусть все восстанет и ополчится. Пусть все пойдет на меня войной. Отобью у всех демонов.

Репнину казалось, что он шел сюда через море, полное грома и всполохов, и дошел до берега тишины.

— Знаешь, Николай, вот эта тревога и... ожесточила меня и родила решимость, которой вчера не было.

## 46

Елена пришла после одиннадцати — у Патрокла во флигельке горел свет.

— Ты почему так долго не спишь? — спросила она и припала холодной щекой к руке Ильи — почти весь Каменноостровский она прошла пешком.

— Сядь... Слышала? Егор приехал.

Она все сразу поняла: мигом отлегло от сердца.

— Замани его утром сюда...— Он пододвинулся к ней, стул угрожающе закрипел, миг — и развалится.— Сил нет хочу видеть!..

Она взглянула на Илью, и вдруг он показался ей таким беспомощным и дорогим.

— Да уж заманю. Только не волнуйся.— Она поцеловала его жесткий чуб.

В эту ночь Елена долго не могла заснуть. Наверно, не спал в своем флигельке и Патрокл. К тревожным вздохам ветреной тьмы, быть может, прибавлялись и его вздохи. Он видел сына шесть лет назад. На Балканах в ту пору гремели пушки, и русские дипломаты не часто наезжали в Петербург. Патрокл прорвался в Питер, но так и не сумел проникнуть в дом к сыну. Он видел его в окно. Три стекла разделяли их. Егорка был на расстоянии протянутой руки: его желтые с огниной вихры, его подбородок, его маленькие, будто прорисованные уши, все репинское, неподдельное, настоящее. Сын стоял рядом, но казался мертвее дагерротипа. Только и было возможности для Ильи сделать Егорку живым — вски-

нуть кулаки и расшибить стекла, расшибить и прикоснуться к тонкой и теплой ребячьей коже: «Живой Репнин!» И вот Егорка в Питере, пятнадцатилетний, почти взрослый. Трудно поверить: здесь, через дорогу, рядом. Сберегут ли они его до утра? И вновь гудят бронхи, и ветер притопывает по железной кровле, и не может отогреть безнадежно замерзшие ноги. Только сберегли бы его до утра.

Поутру, едва продрав глаза, Елена услышала характерный шум кофейной мельницы — пришел из своего флигелька Патрокл. После такой ночи только и надежды на кофе. Сейчас по дому пойдет вкусный маслянистый запах, Патрокл нальет себе коричневой жидкости в чашечку, и вмиг блестящая маслянистость переселится в глаза, и они станут молодыми.

— Аленушка, — вдруг услышала она голос Патрокла у самой двери, — нет моей моченьки ждуть, пойду на воздух, так оно лучше. Часа за два управишься, а? Вот и хорошо. А я пошагал.

Елена подумала: небось не шибко пошагал Патрокл. Давно уже он шибко не шагает. И ей привиделось, как шагает Патрокл: с Каменноостровского на Кронверкский, в деревьястую полутьму парка, по тропам, едва присыпанным снегом, вдоль литых чугунных оград. Все как длинно протянулись и тоска и ожидание — сколько на его пути уместилось улиц. Не от турецкого же кофе, крупно накрошенного шестигранной мельничкой, привезенной из Черногории, столько сил у Патрокла.

В урочный час Илья Николаевич был дома. Нашупал цепочку с нехитрым набором ключей, отобрал английский с щербинками, осторожно открыл парадную дверь. Стоял, прислушиваясь. Прошел в гостиную — ни звука. В столовую — так же тихо. Да не уехал ли он, господи? Нет, не может быть — тогда Елена была бы дома. Он прошел к себе — впервые с тех пор, как перебрался во флигелек. За окном, разогретая солнцем, вызванивала капель. И он повторял за нею вслед счастливо-беспокойно: раз, раз... Однако, кажется, открылась дверь, открылась внезапно. Дом будто вздохнул, и тотчас застучали каблучки Елены: привела! Ну конечно, по шагам слышно — привела!

— А у нас как будто никого нет, заходи, Егорушка.

Илья глубже ушел в кресло, точно желая защититься от голоса, который сейчас услышит. Заскрипели ботинки, не торопясь, с обдуманной важностью.

— Простите, Елена Николаевна, это и есть ваш родительский дом?

— Ну конечно, Егорушка, ты должен помнить.

— Представьте, не удержала память.— Вновь заскрипели ботинки.

— А я сейчас покажу тебе мастерскую папы, и ты все вспомнишь. Говорят, маховое колесо было и твоей страстью.

— А у вас в доме есть маховое колесо?

— Есть, разумеется.

— Это у всех... дипломатов такие колеса?

Илья улыбается: наш, Репнин, умеет видеть смешное.

А шаги все ближе. Сейчас он войдет в неширокое поле полуоткрытой двери и Илья его увидит. Однако он придержал шаг. Илья даже подался вперед. Наверно, все, что встречает на своем пути, рассматривает — для него дом Репниных русский дом, едва ли не первый русский дом. Илья не сдержал вдоха. Почти рядом с ним стоит, нет, не мальчик, а отрок, быть может, даже юноша, на лице и руках удерживается загар, словно знойный июль был только вчера. А глаза темно-карие, репинские, да и в стати его есть что-то, только чуткому глазу Илья доступно, особое, коренное, репинское. А в мастерской уже зашумели, завертели колеса и рассыпал веселые искры напильник. Потом разом все стихло.

— Елена Николаевна, теперь я вспомнил: я был здесь.

И стало еще тише, видно, он наклонился над точильными камнями.

— А как у вас тихо, Елена Николаевна, будто и дома никого нет.

— Папа ушел рано, а дядя... работает.

Илья понял: пришла его минута. Он встал. Все здесь — и тревоги вчерашнего вечера, и бессонная ночь, и поход по длинным каменным путям города.

Он шагнул, пошире открыл дверь, увидел лицо Елены, оно было белым, мелово-белым. Да неужели Илья так плох, что она пришла в смятение?

— Здравствуйте... Илья Алексеевич!

Это сказал он. Хотелось рвануться к нему, сгрести, всей грудью ощутить тугую крепость плеч, уже не мальчишеских: «Егорка, кровь моя, как же долго я тебя ждал!» Хотел сказать, да вот разом убыло дыхание.

— Представьте, вошел в дом и точно никогда в нем не был, а тронул это колесо маховое, и все раскрутилось... все детство мое! Даже странно: как будто на это колесо оно и было намотано.

Илья улыбается: наш, Репнин, и слова все наши.

— Ты его в обратную сторону крути, Егорушка,— произносит Илья.

— Не буду крутить,— говорит Егорка и смеется. И старший Репнин смеется, смеется радостно, как давно уже не смеялся. И Елена улыбается, правда, как-то виновато. Она словно говорит: «Патрокл, бедный мой Патрокл, как же мне тебя жаль!» Нет, это только так кажется Илье Алексеевичу. Елене тоже хорошо, вот она и смеется. Всем троим хорошо. Господи, случится же такое счастье!

## 47

Елена наскоро переделалась, поужинала — в семь на Леонтьевской, в двух шагах от Смольного института, ее ждал Кокорев.

Елена поймала себя на мысли: будто ничего и не изменилось, как прежде, она бежит в институт. Издали угадывался и хорошо выпеченный пасхальный кулич собора, и мохнатая, в снегу шапка смольнинского парка, и восемь колонн института за парком. Елена помнит: в этот час, отмеченный мерным дыханием большого колокола — он точно выдыхает гудящие удары,— смольнянки возвращались из собора после вечерней службы. Как давно это было! Кажется, только камни и молоды, все остальное — собор с мощными куполами, институт с колоннами — померкло и сникло.

— Олена!

Она оглядывается: разумеется, он, кроме него, ее никто так не зовет. Видно, долго ждал: щеки разогрел мороз. Рядом огни Смольного, а по ту сторону Невы туманно-прозрачные огни Охты.

— Помнишь, как мы первый раз ехали через Троицкий? — спросила она. — Ты сидел позади и рассказывал, как ходил с белым флагом к немцам, как завязывали тебе глаза... Ты рассказывал это тогда для папы или... для меня?

— Не было бы тебя, рта бы не раскрыл, — сказал он. — Так глуп и так храбр человек бывает лишь однажды.

Елена засмеялась.

— Не слова ли это твоей мамы? — спросила она, продолжая смеяться.

Он встрепенулся.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю.

Сейчас она шла рядом, припав плечом к его руке. Он коснулся губами ее виска.

— Олена, я все собираюсь спросить: детский доктор... это серьезно?

Она хмыкнула, пошла быстрее.

— Не представляю себе большего счастья, как стать детским доктором! — заговорила она. — Вначале простым, который ездит на извозчике со своими трубками и молоточками, уложенными в саквояж, и на Караванную, и на Сердобольскую, и на Разъезжую, по всему большому Питеру ездит и помогает младенцам, а потом главным детским доктором, например, Елизаветинской больницы на Фонтанке или Петролюбовской на Дегтярном. И чтобы больница умела лечить все: и золотуху, и корь, и ветрянку, и английскую болезнь. И чтобы больница была бесплатной, без всяких справок от полиции. И чтобы обязательно для самых маленьких.

Кокорев усмехнулся.

— Почему только для самых маленьких?

— Они не помнят, кто их спас, и это хорошо. Добро не доблесть, оно обязанность человека, и он должен делать его без надежды, что кто-то когда-то его отблагодарит. Помог человеку и радуйся — большей награды не надо.

Кокорев улыбнулся.

— Я сейчас подумал: а не похоже ли все это на благотворительность знати, которая вначале посылает мужика в огонь, а потом руками своих жен и дочерей штопает ему портки: не дай бог, мужик отдаст богу душу в дыря-



вых портках,— его обдало жаром, нелегко было ему про-  
изнести все это.

— Это тоже мамины слова? — спросила она.

— Мамины,— ответил он, не поднимая глаз.

Им стоило труда возобновить разговор.

— Покажи мне маму,— наконец сказала она.

— Пойдем,— ответил он так, будто ждал этой ее  
пробсы, его дом был где-то здесь.

На звонок вышла мать. Она увидела Елену и отсту-  
пила.

— Простите, я переоденусь,— слышно было, как она  
неловко застучала по ступеням.— Ты всегда так... Ведь  
я женщина!

Он снял с Елены шубку, повесил, сбросил с себя ши-  
нель и, ловко подкинув, попал петлей на крючок. И за-  
смеялся легко и простодушно — он был очень доволен  
собой в эту минуту.

— У нас квартира с наперсток, пойдем в столовую, а  
потом покажу тебе свою комнату.

Низко над обеденным столом, накрытым белой, в  
мягких узорах скатерью, висел абажур зеленого стекла.  
Весь свет — на столе. Нужно присмотреться, чтобы уви-  
деть большой буфет, настенные часы, портрет человека,  
очень моложавого, с темными полубаками, заключенный  
в массивную раму. На противоположной стене в такой  
же раме женщина в косынке сестры милосердия. Тот, в  
эполетах — отец. А женщина кто?

— Простите, задержусь еще на секунду! — крикнула  
мать из соседней комнаты. Она действительно торопи-  
лась, слышно было, как трещат расчесываемые волосы.—  
Вот, кажется, и готова. Здравствуйте,— она протянула  
Елене руку, протянула почти по-мужски.— Зовите меня  
Аграфеной Ивановной, а как вас величать? — она оза-  
боченно посмотрела на Елену.— Что вы бледны, девоч-  
ка? Да не печень ли это у вас? Мы не умеем лечить пе-  
чень, а вот он умел,— она подняла глаза к портрету че-  
ловека в эполетах.

Наверно, она часто поднимает глаза к портрету, поду-  
мала Елена. Нет, не только почтительно-покорно, но и  
требовательно, может, даже вопросительно: для нее он  
живой человек.

— Не знаю, как вы, а я так думаю,— продолжала  
Аграфена Ивановна,— врач только тогда врач, если его

сердцу близка чужая боль,— она смотрела на портрет.— Горя повидал — дольше рек, выше гор, а сердцу не дал обрасти железом...— она угрюмо сомкнула губы, точь-в-точь как на фотографии напротив.— Верьте, до войны, когда он был статским врачом, лечил половину Шлис-сельбурга, а умер... Все говорил: «Бессовестно брать с больного деньги, он несчастен уже тем, что болен...» Вася, займи гостью!

Аграфена Ивановна ушла.

— Она про отца,— сказал Василий, входя в комнату.— Ты пойми ее. Не было операции, которую бы он провел без нее. Она не просто была ему опорой, она врач необыкновенный, именно врач, не сестра. Знаешь, она неграмотная.

— Как... неграмотная?

— Вовсе! Чисто петербургское явление: деревенская девушка пришла в богатый дом, обрела язык и даже манеры, влюбила в себя хозяйского сына и восприняла его профессию, а грамоте так и не обучилась. Она могла бы и не стыдиться этого, но робеет. Даже смешно: такая бесстрашная во всем остальном, а тут... В нашем доме большей тайны нет,

Раздался звонок.

— Это к тебе, Вася! — крикнула Аграфена Ивановна. Елена осталась одна. Эти два человека, глядящие на нее со стен справа и слева, чего они ждали от нее? «Бессовестно брать с больного деньги, он несчастен уже тем, что болен». А разве это не то же самое, что говорила Елена Кокореву, когда они шли сюда? Тогда почему он осмелел ее? Для них бескорыстие — серьезно, а для Елены — нет? Почему?

Аграфена Ивановна внесла поднос с чайной посудой.

— Идут и идут — благо Смольный рядом,— взглянула она на дверь, в которую вышел сын.— Леночка...

— Да, Аграфена Ивановна,— сказала Елена и подумала: «Пришла моя смерть».

— Мы сейчас одни, и я хочу сказать...

— Да,— вымолвила Елена и еще подумала: «Нет, в самом деле пришла смерть моя...»

— Я хочу сказать: хотя я ему мать и он мой единственный,— она вновь взглянула на дверь, в которую вышел сын, теперь странно строго,— я хочу, пусть он выберет все пути в жизни... сам,— она все еще смотрела на дверь,

за которой слышался сдержанный говор сына.— Я ему верю, как должны верить ему и вы...— она помолчала, готовясь сказать главное.— Но прошу вас: коли дойдет дело до главного... подумайте... чуть-чуть подумайте.

Елена ощутила крепкую и шершавую руку Аграфены Ивановны у себя на щеке и вслед за этим такие же крепкие, будто в заусеницах губы. И вновь Елена обратила взгляды на портреты Кокоревых, отца и матери, и подумала: да, они бессребреники, на веки веков бессребреники, поэтому свободны так, как не свободен никто другой, поэтому вправе судить, поэтому правы. Их бескорыстие действительно бескорыстно — что им терять? Наверно, никто в сокровенных помыслах своих не был так близок Елене, как они,— ей легко будет у них.

Когда Кокорев вернулся, он понял, что за эти десять минут, пока его не было, в отношениях между двумя женщинами произошло нечто такое, что при иных обстоятельствах потребовало бы месяцев, а может, и лет.

## 48

Репнин просил Елену быть сегодня дома не позже десяти. Если не позже десяти, очевидно, и его не будет до этого часа. Но ради себя он бы не просил быть именно в это время. Значит, он явится домой в десять, и не один. С кем же, как не с нею!

Дверь в комнату отца была открыта — он все еще занят своим костюмом. Отец казался ей сегодня радостно-спокойным, а поэтому особенно красивым.

— Собираешься в гости? — спросила она.

— Да, к Губиным,— ответил он, не отрывая глаз от зеркала.

Хотелось спросить: «Один?» — но устояла и тихо прошла мимо двери. Быть может, в этом, только в этом и смысл происходящего: они впервые решили появиться вместе на людях, а потом приедут домой, приедут вместе!

В одиннадцатом часу Репнин действительно приехал домой с Анастасией Сергеевной. Не впервые она входила в этот дом, но никогда не была так встревожена и сму-

щена, как сегодня. Неожиданно потерявшись, смотрела на нее Елена, почувствовав необычность минуты. На кухне гремела посудой Егоровна, и только Илья Алексеевич, понимающий, что необходимость в простом и веселом слове никогда так не велика, как в подобную минуту, извлек из старого сундука бутылку черногорского коньяку, припасенного именно на такой случай, и шумно вошел в гостиную.

— Ну вот... кажется, все становится на свои места. Твое слово, брат.

А Николай Алексеевич смотрел на коньяк в маленьких, отмеченных глубокой гранью рюмках, думал: наверно, те несколько слов, которые ему предстоит сейчас сказать семье, должны быть по сути своей так же емки, как эти маленькие рюмки с вином, в которых сейчас спрессовались солнце и время.

— Мы решили соединиться с Анастасией Сергеевной,— произнес он и подумал, что говорит вопреки своей воле на старинный манер, премудрый и торжественный.— Очень прошу вас, большие и маленькие, любить и жаловать Анастасию Сергеевну,— он вздохнул, протянул руку Настеньке, и она устало и доверчиво оперлась на нее.

Странное дело, но она (это было так не похоже на нее) как-то потерялась и сникла. Да только ли она? Ей показалось, что все в этот вечер робеют: и Илья Алексеевич, хотя все, что он делал, говорило об обратном, и Елена, и даже сам Николай, хотя, наверно, в жизни он робел нечасто. За их робостью, как думала она, не было видно радости. Не может же допустить Настенька, что Елена не рада случившемуся, но почему она тогда так присмирела? Или она вдруг увидела, как все сложно, и усомнилась в счастье отца? Или, наконец, нынешняя ее семья, как она сложилась за столько лет, дает ей большую свободу? Потом она вспомнила вечер у Губиных, и ей не стало легче.

— Прежде у Губиных было... милее,— сказала Анастасия Сергеевна, когда они возвращались с Николаем Алексеевичем на Охту.

— Ты о Рудкевиче? — спросил он.

— Может, и о нем,— сказала Настенька, почувствовав, что беспокойство, которое до сих пор владело ею, передалось и ему.

На сегодняшнем вечере у Губиных был и Рудкевич. Он более искусно, чем все остальные, решил задачу, которую задали гостям Репнин и Анастасия Сергеевна. Очевидно, и его ошеломило их совместное появление, но он не только не обнаружил растерянности или тем более смущения, но, казалось, был даже рад этому. По крайней мере Репнину он выказал приязнь. «А ведь у нас был отличный приятель, с которым мы не однажды говорили о вас,— сказал он Николаю Алексеевичу, улыбаясь,— ну конечно же, Ерема Мушат! К сожалению, бедняги нет в живых, и я не могу воспользоваться его свидетельством. Если мое слово может быть приравнено к его, то подтверждаю: разговор был для вас лестным чрезвычайно». Настенька смотрела на Рудкевича и в который уже раз думала: ничто в мире не может сравниться с непроходящей стойкостью настроения Рудкевича. И оттого, что Настенька понимала это, еще тревожнее становилось на душе: какая тьма скрыта за этой улыбкой, какие ветры нашли там себе убежище? Был ли Рудкевич ordinarily любезен с Репниным или это расположение признак замысла, который вызревал в уме папского представителя? Она знала: коли Рудкевич бросил зерно в землю, оно прорастало. Какое зерно он бросил сейчас? Бросил уже или собирался это сделать? А когда отошел Рудкевич, появился Губин, и настроение тревоги не исчезло, а усилилось. Губин спросил, мог бы Кирилл Даубе посетить Репнина дома, возможно, в сопровождении кого-то из старых коллег. Настеньке показалось, что Репнин почувствовал недоброе, однако ответил согласием. А Репнин действительно почувствовал недоброе, но как можно было ответить иначе? Может, следовало поинтересоваться у Губина, чем вызван визит Даубе, но Репнин умышленно не сделал этого, сам Губин ограничил свою роль тем, что передал просьбу Даубе Репнину. Если речь шла сейчас о недружественной акции, не в интересах Николая Алексеевича было возлагать на Губина большую ответственность.

— Вот ты и помрачнел, не испортила ли я тебе настроения? — спросила Репнина Анастасия Сергеевна.

— Нет, ничего, все хорошо,— ответил он. Ко всем ее печалям не следовало прибавлять еще эти.

Все утро Репнин работал в мастерской. Еще в прошлом году ему прислали из Христиании набор сверл, однако он успел лишь распечатать посылку. Сейчас он достал ее и, старательно разложив сверла по размерам, принялся тщательно протирать их. Ему приятны были и неяркий отлив стали и ее весомость. Ничто не давало такого прилива физических сил, как работа в мастерской! Каким же ненастным был этот год, если столько месяцев Репнин не добрался до посылки со сверлами.

Большие настенные часы напомнили гудящим боем, что до прихода Даубе осталось полчаса. Репнин вновь стал вспоминать все, что знает о Даубе, и ему удалось припомнить в этот раз нечто любопытное. Как установил Николай Алексеевич, Даубе появился в министерстве вскоре после того, как Извольского заменил на посту министра Сазонов. Шлейф спутников у Сазонова был невелик, и, как полагал Репнин, это делало тому честь. (Если не считать, что сам Сазонов был спутником в более чем многоцветном хвосте Столыпина.) Среди этих немногих был и Даубе. Подобно самому Сазонову, он был узколиц, плешив от затылка до лба и начисто лишен красноречия; однако сурово сосредоточен, деловит и, что бессмысленно было бы отрицать, обязателен. В том случае, если бы Даубе не обладал этими данными, не избежать бы ему славы, что он пришел с Сазоновым и за Сазоновым. Однако деловые достоинства Даубе оказались столь очевидны, что история его прихода на Дворцовую, шесть была предана забвению и к ней в министерстве не возвращались.

Было еще одно свойство у этого человека: никто искуснее его не умел завязывать отношений с людьми влиятельными — в этом у него был редкий талант, у него и, пожалуй, его супруги, этакой деревенской бестии, курносой и яркощечкой, ласково-радушной, обладающей и умом, и тактом, и интеллектом, который в сочетании с ее внешностью обретал особенную симпатичность. Трудно сказать, во многие ли великосветские дома были вхожи директора министерского департамента, но Даубе и его супруге были открыты двери каждого такого дома. Репнин не склонен был умалять ни данных Даубе, ни завидных качеств его подруги жизни, но при равных возмож-

ностях другие были не столь везучи. Даубе, подобно Саонову и в еще большей степени Терещенко, представлял на Дворцовой, шесть не столько дворянскую или даже дворянско-бюрократическую Россию, дни которой сочтены, сколько Россию, которая вопреки прибывающему возрасту звалась молодой. Всесильный клан Рябушинских влиял на внешнюю политику через таких, как Даубе. В характере Даубе Репнин хотел видеть эту Россию: хваткость, самоуверенную рационалистичность, пренебрежение к традициям, работоспособность, какую российские дипломаты не знали со времен приказного указа, корректное, но достаточно определенное презрение к старым кадровым дипломатам; если говорить о последнем, то Репнин постоянно чувствовал, что из щедрот Даубе перепадало и Николаю Алексеевичу. Не случись революция... трудно сказать, как далеко бы пошел Даубе, не случись революция...

В общем, Даубе оказался в положении человека, который собрал силы в расчете добежать до цели, разогнался и все еще бежал, бежал довольно бодро, хотя цели давно уже не было. Репнин считал Даубе человеком способным и полагал, что у того нет необходимости заискивать перед светом и идти на компромиссы в такой мере, в какой делал это Даубе. Между тем Даубе догадывался о причинах такого отношения Репнина к себе и держался с Николаем Алексеевичем сдержанно. Вот и с просьбой о встрече Даубе обратился к Репнину не непосредственно, а через Губина.

Было пять минут одиннадцатого, когда Репнин увидел в окно черные пальто гостей. «Если они приехали в автомобиле, то отпустили его неподалеку от дома,— подумал Николай Алексеевич.— Но чем вызвана такая осторожность?» Раздался звонок, Егоровна открыла дверь, и Репнин вышел навстречу гостям. Он надеялся увидеть Даубе, важно шествующего во главе коллег, но был немало смущен, когда чуть ли не напоролся на белый клинышек бороды Толокольниковца.

Андрей Федорович Толокольников был единственным из оставшихся в живых сподвижников канцлера Горчакова и на правах строптивного старика иногда позволял себе говорить министру нечто такое, чего не говорили другие. История дипломатической карьеры Толокольниковца (он был послом в государствах отнюдь не третье-

степенных) смахивала на анекдот, но люди сведущие утверждали, что анекдот был недалек от истины. Однажды, продиктовав Толокольникову ноту, Горчаков так поразился его почерку, идеально круглому, четкому и машинно точному, что больше не мог диктовать своих нот никому другому. Как известно, сам процесс писания нот у Горчакова был весьма выразителен. Горчаков диктовал их, вышагивая по кабинету. Шагая по кабинету, Горчаков затевал разговор с невидимым собеседником, осекал неожиданной остротой, смеялся и в темпераментном единоборстве добывал истину, разумеется, свою, горчаковскую. Однако к чему канцлеру нужен был этот невидимый собеседник, когда таким собеседником мог быть человек, сидящий в нескольких шагах от него над листом бумаги? Быть может, Толокольников жесткой репликой, остротой возбуждал мысль канцлера, открывал неожиданно новые пути? Нет, оказывается. Как только в кабинете возникали шаги Горчакова и раздавалось характерное «Ecrivez!»<sup>1</sup>, Андрей Федорович как бы обращался в прах. Наверно, такому человеку, как Горчаков, это и надо было. Канцлер настолько научился не видеть своего секретаря, что был свободен абсолютно. Когда Толокольников заболел, Горчаков полушутя-полусерьезно говорил, что впору и ему устроить себе каникулы. Горчаков отблагодарил секретаря весьма щедро, сделал его послом. И странное дело, Толокольников вдруг обрел дар речи. Казалось, все слова и мысли, которые накопились в нем за годы и годы вынужденного молчания в горчаковском кабинете, вдруг выплеснулись наружу. Да что слова? Теперь он явил и характер, и даже норы, и, это похоже на диво, немалый дипломатический дар. У канцлера было много возможностей отблагодарить Толокольникова, и если он избрал именно эту, значит, представлял себе, на что способен его секретарь.

Из тьмы коридора выступил Ланской и аккуратно выдвинул навстречу Репнину поставленную ребром руку. Ланской заведовал в министерстве японским столом, прожил в Японии половину жизни и, вернувшись в Россию, сберег свои бледно-голубые с искринкой глаза, румянец на белой коже и льняной вихор, который решительно отказывался сесть. Во всем остальном он был чи-

---

<sup>1</sup> Пишите! (франц.)



стым японцем, даже улыбался; всплескивал руками и вбирал в плечи голову так, как это делают только японцы. Речь его была причудливым сочетанием русских слов и японских интонаций.

Вслед за ними появился и Даубе. Репнин ощутил в руке сухую ладонь и рассмотрел в сумерках редкие, колюче торчащие, как у kota, усы.

— О царь-плотник... где же ваш фартук и рубанок? — произнес Даубе доброжелательно — очевидно, Егоровна сказала гостям, что Репнин все утро провел в мастерской.

Они прошли в гостиную в том же порядке: впереди строптиво-самоуверенный Толокольников, достаточно привыкший к роли министерского старожилы и не желающий с ней расставаться и здесь. Вслед за ним Ланской, который то и дело оборачивался и улыбался, и, наконец, целеустремленный Даубе.

Они вошли в гостиную, и Толокольников, не ожидая приглашений, опустился на диван, стоящий у задней стены, с грубоватой фамильярностью старшего, которого такая вольность даже украшает. Даубе неторопливо-расчетливо устремился к креслу по правую сторону от Толокольникова. Ланской выждал, отвесил поклон хозяину и утвердился на краешке стула, стоящего у окна, утвердился непрочно — не ровен час ворвется в комнату сквозняк и выдует достопочтенного знатока японских дел вместе с японским столом, который он незримо здесь представляет.

— Коли память меня не подводит, — произнес Толокольников, подняв тусклые, затененные седыми лохмами глаза, — я был у Алексея Петровича... в том веке! — он слабо шевельнул пальцами, точно говоря о чем-то неопределенном. «Тот век» для него был уже понятием призрачным. — Да здесь ли я был у него? — спросил он, устремив на Репнина не столько глаза, сколько брови.

— Нет, Андрей Федорович, не здесь, то было на Фонтанке, за Летним садом, — сказал Репнин.

— Верно, сейчас и я вспоминаю: на Фонтанке, за Летним садом. Там еще была гостиная с золотой каймой по карнизу, не так ли? Однако помню! — Он просиял. — Алексей Петрович только что приехал из неметчины, приехал... честь честью, с орденом! Красавец орден на шею, с бантом и девизом, — рассказывал он охотно. — А потом

поехал к Горчакову на доклад! Ах, это была картина! Александр Михайлович посадил меня в свое кресло и вонзил в меня глаза: «Вот кто истинный канцлер — его рукой весь Горчаков написан!» Да, меня усадил за свой стол, а Алексея Петровича рядом и зашагал по кабинету: «Ваше величество, как слуга и раб ваш преданный, не могу не обратить вашего внимания на пример бескорыстного служения любезному нашему отечеству русского консула Репнина Алексея Петровича...» И пошел, и пошел! Расписал доблести Алексея Петровича, как писатель-колорист, как ученый и государственный человек; все там было — и мысль и краски. Поставил государя в безвыходное положение: вешай на грудь Репнину еще один орден, и конец делу, теперь уже русский! Как на духу скажу: ежели бы турок окаянный не заварил бы тем часом кашу на Балканах, не миновать Репнину еще одной награды.

Толокольников крикнул еще раз и тихо обвел присутствующих неожиданно строгим взглядом. Репнин решил, что рассказом об ордене необходимая рекогносцировка закончена, теперь следовало переходить к сути дела.

## 50

— Однако в баснях ли дело, когда насущного хлеба нет, а? — произнес Толокольников и шевельнул лохмами. — Вот цель нашего визита, впрочем, быть может, об этом скажет Кирилл Иванович? — взглянул он на Даубе, и тот покорно в знак согласия склонил голову. — Но прежде чем Кирилл Иванович скажет свое слово, хочу заметить: не понапрасну я, древний старец, приволок сюда старые кости. В общем пойми, Николай Алексеевич, не с праздным делом мы к тебе явились.

Лицо Даубе стало напряженно-строгим. Ланской улыбнулся и поджал губы. Глаза Толокольникова медленно отодвинулись в дремучее ненастье бровей и исчезли.

— Я, право, не знаю, как начать, — проговорил Даубе, а Репнин подумал: «И чего кривит душой человек — ведь знает, как начать и как кончить». — Николай Алексеевич, — произнес Даубе очень прочувствованно, — я не имел чести знать вас близко, хотя мы и проработали под одной крышей годы, — вымолвил Даубе единым духом и

умолк, как бы подчеркивая значительность того, что сказал и намерен сказать.— Сознаюсь, испытываю немалую неловкость, что именно мне предстоит изложить вам сущность нашей общей просьбы. Как я полагаю, это имеет право сделать человек, который более коротко знаком с вами,— заметил он, а Репнин подумал: «И на том спасибо, что не обошел эту простую истину».— Вы, разумеется, знаете, что Советы предали гласности секретный архив министерства?

Репнин взглянул на Даубе — его глаза были сейчас так же колоче жестки, как и усы. Действительно, надо знать человека ближе, чем знает Репнина Даубе, чтобы отважиться говорить на столь деликатную тему.

— Да, мне это известно,— сказал Репнин.

— Очевидно, знаете и о том, что факт опубликования вызвал волну возмущения у держав Согласия.

— Да, я могу об этом догадываться,— ответил Репнин.

— Буду откровенен и скажу,— продолжал Даубе,— негодование это обращено не только против власти новой, но и старой и... прежде всего против министров Сазонова и Терещенко, допустивших захват документов.

— Против Сазонова? — переспросил Репнин; он ничем не рисковал и мог называть вещи своими именами.

— Да, против Терещенко и... пожалуй, Сазонова,— подтвердил печально Даубе и умолк: Репнин смутил его.

— Каков же вопрос к задаче? — спросил Репнин не очень корректно, но корректности не доставало и Даубе.

— Собственно, вопроса к задаче нет, как нет и самой задачи,— возразил Даубе.— Я могу лишь высказать личное мнение.

— Да, пожалуйста,— сказал Репнин, а сам подумал: «Все предварительные слова уже произнесены».

— Если речь идет о судьбе наших отношений с державами Согласия, есть одно средство спасти эти отношения,— Даубе выждал, надеясь, что Репнин проявит нетерпение и попросит уточнить, но Репнин молчал.— Короче, речь идет о публичной акции большой группы русских дипломатов — и тех, кто в России, и тех, кого сейчас здесь нет. Да, если хотите, акции,— подхватил Даубе так, будто этот термин принадлежал не ему, а Репнину,— акции...— повторил он и умолк, ему явно хотелось разгнать интерес Репнина к этому.

— И какую истину должна... прокламировать эта акция? — спросил Репнин.

— Чисто патриотическую, — ответил Даубе. — Защитить Россию и, если хотите, министерство... от этого шага красных, — теперь Даубе не заставлял себя ждать, он был заинтересован, чтобы разговор развивался стремительно.

— Что же должна доказать почтенной публике эта акция дипломатов? — переспросил Репнин.

Даубе взглянул на Толокольников, а затем на Ланского. Только сейчас Репнин увидел в руках Ланского кожаную папку. Не без удовольствия Ланской отстегнул пуговицу на папке, и на столик, за которым сидел Репнин, лег лист бумаги, заполненный машинописным текстом. Репнин пробежал текст, задумался. Перед ним лежало открытое письмо дипломатов. Крупная строка над письмом гласила: «Дипломаты протестуют». Очевидно, авторами заглавной строки и текста письма были разные лица — текст был менее категоричен. Строка над письмом восполняла то, что отсутствовало в письме. В письме дипломаты не брали под сомнение достоверность опубликованных документов, однако и не подтверждали их подлинность. Они протестовали против принципа выбора документов. Наконец, они считали неправомерной самую публикацию, полагая, что она могла быть сделана лишь с взаимного согласия тех, чьи подписи стоят под договорами. В итоге дипломаты считают факт опубликования документов противозаконным и, разумеется, беспрецедентным (Репнин знает: в природе нет беспрецедентных фактов, они становятся таковыми, как только попадают в ноты протеста).

Под письмом стоял длинный ряд фамилий. Где-то в середине Репнин обнаружил и свою. Да, так прямо и было написано: «Вице-директор второго департамента». Без прилагательного «бывший». Впрочем, это прилагательное отсутствовало и в остальных случаях.

Репнин оглядел гостей. Сквозь снежную заметь седых бровей выдвинулись глаза — Толокольников был хмур. «Ну, решайся», — точно говорил он. Беззвучно улыбался Ланской. Казалось, для него улыбка и знак радости и знак печали. Напряженно вздрагивали усы Даубе.

— Письмо должно быть предано гласности четвертого января? — спросил Репнин.

— Четвертого, — лаконично ответил Даубе; странное дело, к концу беседы он стал предельно лаконичен.

— А учредительное собрание открывается пятого? — спросил Репнин.

— Какое это имеет отношение к письму? — подал голос Ланской. «Однако этот с несмыслимой улыбкой почтительно робок и нагл», — подумал Репнин. — Какое, в самом деле? — спросил Ланской терпимее.

«Имеет, — подумал Репнин. — Разумеется, имеет», — сказал он себе. Однако цель, к которой стремился Даубе, собрав силы и разогнавшись, отнюдь не прозрачна, продолжал размышлять Николай Алексеевич, и замысел письма совсем не беспредметен. Новое правительство атаковало тот мир, предав гласности тайные договора России, — жестокий удар по тому миру и по всем, кто пытался вдохнуть в него жизнь. Не было силы, которая бы могла сегодня отвратить его. Но, очевидно, так полагал Даубе, нашлась сила, способная этот удар умерить. Отошла в небытие Февральская революция, пришла Октябрьская. А об январской не слышали? Нет, январь был не только в девятьсот пятом. Он есть в пухлых, отпечатанных на серо-зеленой бумаге календарях восемнадцатого года. Пятое января не за горами. Но то день завтрашний, а не сегодняшней. Квадрат письма точно врезан в темную поверхность стола, и шесть глаз обращены на Репнина, шесть молчаливых и твердых глаз, твердых, несмотря на возраст Толокольников и улыбку Ланского, которая, как полярное светило, теплится, но не закатывается. А на темно-коричневой поверхности столика лежал белый лист. Не лист — каменная плита. Упрись плечом — не сдвинешь.

— Я сейчас думаю вот о чем, — сказал Репнин и увидел, как шесть глаз налились тяжелым металлом. — В жизни я не подписал ни единой бумаги, написанной другими... — скрипнул стул под Даубе — Кирилл Иванович приподнялся и сел, видно, вовремя сдержал себя. — Не хотел бы жертвовать этим принципом и сегодня.

— Простите, вы отказываетесь присоединиться к письму своих товарищей, потому что... — Даубе остановил взгляд на Репнине, — потому что связали себя иными обязательствами?

Репнин едва удержался, чтобы не встать.

— Что вы имеете в виду? — спросил Николай Алексеевич как только мог спокойнее.

Даубе посмотрел на Толокольниковца, потом на Ланского, нет, он не обменивался взглядами — просто хотел удостовериться, что в столь ответственную минуту они рядом.

— Вашу встречу с Ульяновым, во время которой, очевидно, шла речь и о тайных договорах, — фраза Даубе была утвердительной, но одновременно содержала и вопрос.

— Да, речь шла и об этом, — ответил Репнин.

Вновь глаза Даубе устремились к Толокольниковцу и Ланскому, но на этот раз они лишь скользнули по их лицам.

— Я понимаю деликатность разговора, Николай Алексеевич, но должен вас спросить, — он умолк, очевидно ожидая ответного «пожалуйста», но Репнин молчал. — Я должен, — повторил он почти извиняющимся тоном. — В этой беседе... вы высказали свое мнение? — Даубе потянулся к коробке с папиросами, с ловкостью профессионального курильщика вынул из папиросы табак, закурил. — Извините за настойчивость: какое? — спросил Кирилл Иванович, спалив единой затяжкой треть папиросы и со стоном выдохнув дым; Даубе на мгновение исчез, застланный сизыми клубами.

— Я выразил сомнение, что этот акт соответствует интересам России, — ответил Репнин. — Независимо от того, какое правительство у власти, — добавил он.

Толокольников наклонился, достал из жилетного кармана миниатюрную пудреницу, украдкой припудрил нос.

— И вы готовы подтвердить это мнение письменно? — спросил Даубе, он был последователен в атаке.

— А разве мое слово ставится под сомнение? — произнес Репнин как можно вразумительнее.

— Готовы подтвердить... письменно? — подал голос Ланской и втянул шею, точно намереваясь принять удар самим теменем.

Репнина объял гнев. Казалось, еще секунда — и он воспламенится. Все, что он думал о Даубе сегодня утром, когда раскладывал сверла, полученные из Христиании, поднялось в нем с новой силой. В самом деле, Даубе учит его чести и любви к России! Даубе, пришедший на рус-

скую дипломатическую службу бог знает откуда! Даубе, который едва кланялся с ним на Дворцовой и готов был походя растоптать Репнина и таких, как он. По какому праву, в силу какого закона он так разговаривает с Репниным? Кто уполномочил его и есть ли человек или общество людей, которые могли бы облечь его таким правом?.. Какое бы удовольствие испытал Репнин, если бы имел возможность выразить Даубе хотя бы частицу своего презрения. Разумеется, Репнин знал, что никогда этого Даубе не скажет. Но одна мысль, что он презирает Даубе независимо от того, что произнесено Репниным или будет произнесено и что Даубе об этом догадывается,— одна эта мысль странно обрадовала сейчас Николая Алексеевича.

— К тому, что я сказал, мне трудно что-либо добавить,— сказал Репнин и оглядел гостей, которые вдруг затаили дыхание, будто намереваясь произнести нечто такое, что не могли произнести до сих пор.

— Благодарю вас,— сказал Даубе и встал.

Толокольников и Ланской последовали его примеру.

Репнин остался один. Зачем Даубе и его сподвижники приезжали к Репнину? Нет, не только заручиться подписью Николая Алексеевича под протестом дипломатов, но и сделать невозможным новый визит Репнина в Смольный. Репнин не кривил душой, когда говорил Даубе, что не одобряет публикации тайных договоров. В конце концов это же он сказал и в Смольном. Должен ли он был об этом говорить Даубе? Пожалуй, должен. Для Репнина это вопрос чести, для Репнина. Рискнет ли Даубе использовать это мнение Репнина в своих целях? Вряд ли. В самом деле, присовокупить к письменному заявлению дипломатов устное мнение Репнина — значит дать понять, что Репнин отказался подписать заявление. Много ли приобретет Даубе, поступив так? Больше утратит, чем приобретет.

Так думал Репнин. А Даубе?

## 51

— Я вам ничего не сказал о Репнине? — спросил Чичерин Петра, когда они покинули Смольный.

— За исключением того, что он профессиональный

дипломат и, кажется, ваш коллега по службе в Министерстве иностранных дел,— ответил Белодед.

Чичерин передвинулся на сиденье и посмотрел в мутноватое окошко автомобиля — на тротуаре, в этот неподзний час безлюдном, ветер свивал снежные вихры.

— Тогда я вам почти все сказал,— усмехнулся Чичерин добродушно-иронически.— Да, он дипломат, хотя и своеобразный, не столько дипломат-практик, сколько ученый, знаток международного права, очень знающий. Погодите, как я сказал? Знаток... знающий? Как плохо! — воскликнул он огорченно и умолк.— А вот если говорить о дипломате-практике, то это его брат Илья Алексеевич. Кажется, он жив. Мы будем иметь возможность видеть и его,— Чичерин вновь взглянул в окошко — солдат вел городского обывателя. Солдат был в шинели, а обыватель в тяжелой шубе с шалевым воротником. Солдат шел вприпрыжку, а обыватель неторопливо.— Мы знали друг друга еще с детства... Будто недавно все это было, а годов минуло пропасть!

Не зря эта часть Питера зовется древней — Чичерин потратил десять минут, прежде чем разыскал дом Репниных. Из всех окон дома было освещено только одно. «Горит настольная лампа,— подумал Чичерин.— Николай заканчивает очередной труд о таможенных законах...»

Георгий Васильевич услышал, как твердая рука повернула ключ, и в дверях возник человек; он шагнул Чичерину навстречу и разверз руки:

— Одно слово, сюрприз, да еще какой!

— Николай! — успел только вымолвить Георгий Васильевич.— Николай... Николай Алексеевич! — произнес Чичерин, тщетно пытаясь высвободиться из объятий.— После таких объятий, Николай, я подумаю, представлять тебе Петра Дорофеевича или нет,— проговорил Чичерин.— Да уж знакомься: Белодед, Петр Дорофеевич, наш добрый товарищ и коллега. Нынешний адрес: Петроград, Литейный проспект, прежний — Глазго...

Рука Репнина показалась Петру приятно твердой.

— Я бывал в Глазго. Прошу вас,— произнес Репнин, приглашая гостей.— Елена! — крикнул он негромко, очевидно желая, чтобы, до того как гости войдут в первую комнату, дочь вышла навстречу,— он хотел выказать гостям полную меру радушия.



Явилась Елена и, смутившись, едва не отступила в комнату, из которой вышла. На плечах был клетчатый плед, видно, она долго читала, уместившись калачиком в кресле, укрывшись пледом.

— Георгия Васильевича ты знаешь давно, — сказал Репнин, обращаясь к Елене. — Я рассказывал тебе о нем, когда говорил о наших поездках в Тамбов...

Представляя Петра, Репнин был немногим щедрее. Он отрекомендовал его другом и сослуживцем Чичери-на, старожилком Глазго.

— Ты можешь говорить с Петром Дорофеевичем по-английски, — заметил Репнин.

Когда Елена протянула руку Чичерину, протянула с недевической строгостью и простотой, Петру показалось, что Георгий Васильевич беспокойно и смущенно пожал ей руку и поднял глаза на Репнина — Чичерин точно искал защиты. Потом ускорил шаг и увлек Николая Алексее-вича за собой.

— Только ради бога не говорите со мной по-английски, — взмолилась Елена, обращаясь к Петру, и сбросила плед на стул, стоящий подле. — Согласитесь, это не-лепо.

— А почему бы не поговорить по-английски? — Белодед и глазом не повел, что шутит.

— Умоляю вас, — проговорила она, и он заметил, что ей нравится просить его.

— А я могу только по-английски, — ему хотелось про-длить этот разговор.

— Очень прошу, — промолвила она; Елена будто свя-зывала с его ответом нечто большее, чем то, о чем шла речь.

Петр улучил секунду и взглянул на Елену, взглянул пристально.

Лицо ее было очень хорошо, хотя и неправильно, — одновременно и наивно-детское, и доброе, хотелось даже назвать его красивым, хотя это было и не так.

— А мы попросим Елену, и она кликнет Илью Алек-сеевича, — сказал Репнин. — Елена, помоги нам, — обра-тился он к дочери.

Елена взяла со стула плед.

— Я готова, только... — она встретилась взглядом с Петром. — Без спичек мне туда не пройти.

Петр вызвался помочь. Белодед заметил: Репнии не противился.

— Только оденьтесь ради бога,— сказала Елена Петру. Ей, как отметил Белодед, безразлично было сказать это.

Они вышли.

Снег кончился, было мглисто, темно.

— Погасите зажигалку...— сказала она и вытянула руку, точно ощупывая снег.

— Какой же толк в том, что я пошел с вами, если зажигалка не дает света?

— Зажигалка не для света — для храбрости,— сказала она серьезно.

Он загасил зажигалку,— перед ним раздвоился ствол дуба.

— Как его повело! — сказал Петр, не отрывая глаз от дерева.— Точно железо на адском огне.

— Нет, не железо — дерево,— отозвалась Елена из тьмы, голос ее был тревожен.— Просто рядом стояла сосенка — вот они и схватились. Дуб устоял, да только вон как его покорежило, хотя, говорят, и не очень стар — лет шестьдесят,— она вздохнула.— К шестидесяти и человек вот так...

— Человек! — усмехнулся Петр.— Не хочешь, а покорежит в шестьдесят, сама природа покорежит! — добавил он и пошел от дерева.

— Я так думаю: каждому человеку дается по солнцу, поспевай счищать с себя скверну, чтобы, не дай бог, не облепило.

— Это какое же такое солнце? — спросил Петр и, оглянувшись, вновь посмотрел на дерево — оно было ему живым укором.

— Какое такое солнце? — переспросила Елена.— Начало жизни — вот какое солнце! Начало — может, детство, а может, юность — это и есть солнце, у каждого оно! Будь таким же чистым, как в начале жизни, и совестливым, и храбрым, и верным. Наверно, я уже старая! — сказала она, радуясь.— Старая! — у нее заметно улучшилось настроение, после того как она установила это.— Береги солнце!

— Значит, «береги солнце»? — произнес он медленно, с суровой значительностью повторяя каждое слово.— Так?

— Да, а что?

Он не ответил, да и отвечать было некогда: они поднимались уже на крыльцо. Но когда он входил в холодный коридор флигелька, думал, упорно думал: «Нет, начало, самое начало — солнце не только для человека, для революции тоже. Сколько будет она жить, пусть не устаёт оглядываться на год первый — солнце светит оттуда».

Когда они возвращались, ее рука оперлась на руку Петра, и он вдруг почувствовал, как ощутимо легка Елена. Было даже немного страшно, что она так невесома, где-то должна же была помещаться ее неуступчивая суть.

## 52

Илья явился через полчаса, и Репнин с Чичериным перешли в столовую. Илья был рад Чичерину. Ему доставляло удовольствие откликнуться на шутку Чичерина смехом, иногда откровенно дружелюбным, иногда ироническим, или поощрительно воскликнуть: «Да разумеется, само собой!» А однажды он даже разразился пространной тирадой.

— Все говорят, мирный договор, мирный договор. Договора надо подписывать так, как подписал последний монарх известный договор на финляндских шхерах,— Илья не без смятения отыскал нужную формулу, чтобы как-то назвать царя, и был доволен, что нашел.— Господи, как все это легко было сделано! Ламсдорф вызвал меня и сказал, что я должен быть в свите государя и в той мере, в какой возможно, информировать его, Ламсдорфа, о развитии событий. Не думаю, что Ламсдорф догадывался, какой оборот могут принять события. Иначе бы он выставил более надежный караул! А так все было возложено на вашего покорного слугу и развивалось стремительно.

Время от времени Петр поднимал глаза и смотрел вокруг. Обстановка в доме не показалась Петру богатой. «Можно быть дворянином и даже кадровым дипломатом и не без труда сводить концы с концами — явление чисто русское», — подумал Петр. В доме было много старых вещей, которые переходили, наверно, из поколения в поколение и к которым в доме привыкли: диван, обтянутый

черной кожей, полукресла с высокими спинками, потемневшие от времени, секретер со множеством ящичков, украшенных медными ручками, он стоял в красном углу, монументальный и немного таинственный, раскрытое пианино (еще сегодня, быть может, на нем играла Елена) и миниатюрный клавесин — из каких далеких времен он перекочевал сюда и кто мог играть в этом доме: покойная жена Репнина? С появлением в доме пианино клавесин был ни к чему, но продолжал стоять как молчаливый свидетель времени. «В этом доме,— думал Петр,— люди успевали привыкнуть к вещам, и вещи как могли помогали жить». Кстати, по обличению своему дом меньше всего напоминал дворянское гнездо. Недоставало не только богатства — изысканности. Если не знать Репниных, дом можно было принять за жилище семьи не столько старопетербургской, дворянской, сколько разночинной. Наверно, это был тот самый пример, когда грань между оскудевшими дворянами и разночинцами воспринималась не без труда.

— Был июль,— продолжал Илья,— на сине-голубом фоне моря все казалось немножко игрушечным: и императорская шхуна, на которой мы шли, и команда в безупречно белых накрахмаленных матросках, которую по поводу и без повода вызывали наверх и строили, и офицеры, тщательно отутюженные и промытые, будто бы приготовленные для погребения, и, простите меня, наш самодержец, которого умиляла игра в матросиков и который сам по мере сил и возможностей поддерживал эту игру. Когда появилась шхуна под германским императорским флагом и стала поодаль, она показалась неестественно красивой, будто то был кораблик, нарисованный детской рукой,— линии неправильны, краски резковаты. А потом на шхуне появился Вильгельм и очаровал всех мощью и красноречием. Надо отдать должное немецкому царствующему дому: он славно потрудился, чтобы воздвигнуть такое великолепие,— не человек, монумент. В общем все происходило блистательно: оркестр, улыбки, крики «ура» и под стать торжественности густо-синее небо. Собственно говоря, я умиленно глазел на эту почти византийскую пышность и не знал, что доносить Ламсдорфу.

Петр перевел взгляд на младшего Репнина. Он больше остальных членов семьи был похож на свой дом — у

него была внешность инженера, быть может, молодого помещика, перестраивающего хозяйство на западный лад, наконец, школьного инспектора, увлеченного осуществлением новых реформ, но не дипломата. Для того чтобы быть дипломатом, ему, пожалуй, не доставало лоска, большей красочности и бойкости речи. Если Репнин избрал ту разновидность дипломатической профессии, которая в равной мере может быть названа и дипломатией и наукой, он больше ученый, чем дипломат. И еще заметил Петр: глаза у него необыкновенные — глаза человека, который все видит.

— Единственное, что контрастировало с общей торжественно-величавой обстановкой, — повествовал между тем Илья, — лицо морского министра Бирилева. С некоторого времени он стал так угрюм, как только может быть угрюм человек, если с ним стряслась беда. Было даже немножко обидно, что среди присутствующих есть человек, которого огорчает всеобщее ликование. Мне стало жаль его — он был добрый служака. Как мог, я пытался рассеять его угрюмое состояние и узнать, что испортило ему настроение, — старший Репнин сделал паузу и иронически оглядел присутствующих. — Видно, в своей печали морской министр истосковался по участию, и потребовалось не так много усилий, чтобы он открылся. «Вы знаете, что произошло не ранее как вчера вечером? — спросил Бирилев. — Император пригласил меня и в блаженно-ласковом тоне сказал: «Мой министр, вам надо подписать вот эту бумагу, но только, чур, не читая ее. Вы ведь верите мне, мой министр?» Я сказал: «Разумеется, ваше величество». — «Тогда подпишите». — «И вы?..» — спросил я Бирилева, еще не догадываясь, что царь подписал, а он, Бирилев, санкционировал договор, разрушающий всю систему союзных обязательств России. «Я подписал», — ответил Бирилев. Вот и все, что я собирался вам рассказать, — заметил, улыбаясь, Илья Алексеевич, изящным жестом достал из пиджачного кармана белоснежный платок и коснулся влажного лба — рассказ стоил немалых сил. — Вот так надо подписывать договора! — сказал он, почти торжествуя.

Он рассказал эту историю с той грацией и легкостью, с какими нередко, наверно, передавал за столом светские новости. И голос, прерываемый хрипами, и рука, только что такая неуклюже тяжелая, и лицо, желто-белое и

оплывшее,— в какой-то момент все это не слышалось и не виделось, жил лишь голос, изящно гибкий, исполненный ума и лукавства.

— Да, это пример для потомков,— заметил он и сощурил глаза — иронию точно ветром смыло, а от добродушия не осталось и следа.

— Однако ты сейчас почти неотличим от морского министра,— Николай посмотрел на брата, он лучше остальных чувствовал приближение грозы и знал, что сдержать ее можно только контрударом.

— Ну нет, Николай Алексеевич,— возразил Чичерин, точно желая предупредить взрыв,— я против исторических параллелей.

Старший Репнин вынес на скатерть желтые кулаки, грозно приподнял и бесшумно положил на стол.

— К черту Вильгельма с Николаем и Бирилева в придачу! — произнес он мрачным шепотом.— Что будет с Россией, господа? — С невеселой решимостью он оглядел всех, кто сидел за столом.— Ленин полагает, надо идти с немцами на мировую? Позорнее этого мира Россия не знала!

Он стоял охваченный беспокойством. Ему казалось, что сию минуту должен обвалиться потолок над ним, однако продолжал стоять.

— Ну, скажите же что-нибудь, господа!..— воскликнул он, но ответом ему было молчание.

— А ты не думаешь,— осторожно поднял хмурые глаза Николай, он был заинтересованно внимателен,— что начинается баталия, самая крупная за все эти годы: и Брест-Литовск и договор с немцами — это вопрос... стратегии?

— Да, но у каждой стратегии есть цель,— произнес Илья и обратил неприязненно-скептический взгляд на брата.— Какая цель здесь?.. Елена, дай карту, что лежит на столе в библиотеке! — крикнул он племяннице. Карту он положил на стол так, чтобы была видна всем.— Что значит отдать немцам эти земли? Это значит лишить Россию всех самых технически развитых областей, а Германию вооружить всем, чего у нее нет: нефтью, углем, металлом... Отдать немцам эти земли — значит заколотить двери и окна Русского государства на Запад, то есть все то, что со времени Петра... Я не Кутузов, но я хочу понимать идею, которая эту стратегию движет.

В тишине, наступившей тотчас, голос младшего Репнина прозвучал необычно:

— Ты сказал: Кутузов... А ведь что такое Кутузов для всех, кто помнит историю? Даже для нас, людей невоенных? Я так мыслю: Кутузов есть прежде всего... жертва, разумная жертва.

— Я этого не понимаю, может, другие поймут! — бросил Илья.

Николай придвинулся к столу и взял карту.

— А я объясню,— произнес он и задумался.— Да, разумная жертва, когда армия, а возможно, и страна жертвуют одним, может быть, очень большим, чтобы спасти еще большее, если хочешь, главное. К чему говорить о дверях и окнах, когда речь о самом доме: стоять ему на этой земле или рухнуть. У Кутузова была дилемма: положить армию или отдать Москву. Он отдал Москву и сберег армию. Выждал момент и погнал Наполеона.

— Сбережь армию? — в едва заметных щелках век открыто враждебно блестели глаза Ильи.

— По-моему, больше.

— Россию?

Сравнение Ленина с Кутузовым (с Кутузовым сравнивался именно Ленин) выглядело наивным, думал Петр, но в этом сравнении был смысл, здравый смысл. По крайней мере Репнин мог выразить свое согласие с помощью такого сравнения, и это прозвучало достаточно веско. Он не побоялся сказать об этом брату без обиняков, прямо, и это располагало к младшему Репнину.

Чичерин, молча слушавший братьев, вдруг забеспокоился.

— Я так думаю,— его голос приобрел и большую силу и большую свободу.— Надо заколотить окна, заколотить их и законопатить. Придет время — все окна настежь!

Поздно вечером Николай Алексеевич и Елена проводили гостей к автомобилю. Снег все еще шел, но ветер стих. Репнин с Чичериным отстали. «О чем они могут говорить? — думал Петр.— Весьма возможно, что Чичерин

сказал о главном. Он просил Репнина быть с ним в хлопотах и надеждах».

А рядом шла Елена, и крылья ее бровей были необычно спокойны. Петру хотелось думать, что она могла бы быть хорошим товарищем. И еще думал Петр: смогли бы они стать друзьями, Кира и Елена? Кажется, он нашел слово, которое искал: друзьями! Вот приедет Кира в Россию, и первое, что он сделает, приведет ее к Елене. Петр похолодел: как она там и какой час сейчас в Глазго? Девять? Еще не спит. Лежит на софе, положив перед собой томик Лермонтова? Или захлопнула Лермонтова и смотрит на солнце, что удерживается на макушке сосны! Откуда пришло это солнце и где оно было два часа назад: в далекой России? Что делает сейчас Петр и думает ли о ней?

Петр смотрел на Елену. Она шла рядом, подняв лицо, и снежинки запорошили брови, набились в волосы. Быть может, для всего ее облика характерны эти брови, неубранные, почти сомкнувшиеся у переносья? В этих бровях Елены Петру виделись и характер, и страсть, и пренебрежение к мирским радостям.

— Что это вы ополчились на дядю Илью? — она оглянулась, указывая на свой дом. — Я люблю его. Патрокл, как добрый конь Казбича, «он не изменит, он не обманет...»

— Почему Патрокл? — спросил Петр.

— По этой же причине, — ответила она. — Не изменит...

Петр молча шел рядом. «Он не изменит, он не обманет. Не изменит...» — хотелось повторять за Еленой. «Не изменит...» Наверно, старший Репнин ближе Елене, ее девичьим бедам и радостям, ее тайнам. Отец слишком ушел в себя, чтобы быть с дочерью. В душу отца, как в железную дверь, не достучишься. Илья мягче, но добрее ли?

Петр спохватился: молчание делалось неловким.

— Хотя это звучит необычно, мне нравится сравнение Ленина с Кутузовым, — сказал Белодед Репнину, который поравнялся сейчас с Петром и Еленой. Репнин не ответил, а Петр подумал: он понимает, ничто так не способно парировать дерзкую фразу, как молчание. — Чтобы дипломат действовал во всю силу средств, отпущенных ему богом, — продолжал Петр — ему хотелось взломать



молчание Репнина,— он должен верить: любой успех в его власти.

— А по мне, Лениным может быть только Ленин, а Кутузовым — Кутузов,— сказал Репнин.

Не вызывал ли Репнин Петра на спор?

— Я хочу сказать, что дипломат новой России только тогда сможет сделать все, что в его силах, если он свободен в действиях своих.

Репнин держал воротник у рта — он боялся простудить горло.

— А я как раз с этим и не согласен,— сказал он и, подняв голову, посмотрел на Чичерина, который садился в автомобиль.— Впрочем, у нас еще будет время развить эту тему,— добавил Репнин с тем веселым радушием и одновременно твердостью, с какими были произнесены им и остальные слова, адресованные Петру.

Когда автомобиль минул Каменноостровский, Чичерин спросил Петра:

— Как вам братья? Я бы хотел, чтобы в завтрашнем разговоре на Дворцовой участвовал младший Репнин.

— Репнин готов к этому? — спросил Петр.

Чичерин не ответил. Он с тревожной сосредоточенностью взглянул на Петра и привалился к спинке сиденья. Петр вспомнил, что последние сутки Чичерин едва ли сомкнул глаза. Минувшая ночь и утро прошли в переговорах с Брестом по прямому проводу. В Наркоминделе на Дворцовой аппарата не было, и Чичерин говорил с Брестом из дворца, напротив. Уже в предутренний час Петр видел, как он возвращался через площадь. Дул ветер, жестокий, почти бесснежный. Чичерин шел, приподняв воротник, погрузив руки в карманы. Поодаль поспешал молодой солдат с винтовкой. Винтовка была у солдата на ремне за плечом. Солдат шел вприпрыжку и, обогнав Чичерина, останавливался, дожидаясь спутника. Чичерин шел медленно. Когда ветер усиливался, он поворачивался спиной, чуть сутулой. Ему нелегко было совладать с ветром — он очень устал в эту ночь.

Видно, сон, который шел за Георгием Васильевичем след в след все эти сутки, настиг его сейчас. Он спал. Старая каракулевая шапка была больше обычного надвинута на уши, шарф выбился из-под пальто, обнажив горло. Петр поймал себя на мысли, что ему очень хочется дотянуться до шарфа и закрыть им горло Чичерина.

Но Петр сдержал себя: до Дворцовой было еще далеко, Георгий Васильевич мог еще поспать.

Как условились, Репнин собрался к Чичерину в Смольный, где у Георгия Васильевича также была рабочая комната. Но в последнюю минуту позвонили и сказали, что Чичерин ждет Репнина на Дворцовой. Наверно, другой счел бы это за плохую примету (ехать надо на Дворцовую!), но Николай Алексеевич был спокоен. Однако когда, входя в министерский подъезд, он увидел старого швейцара, того самого, что... ой сколько лет сряду открывал перед ним эту дверь, он не испытал прилива душевных сил. И все время, пока поднимался по парадной лестнице, было тяжело в ногах и хотелось опереться о перила.

В коридоре Николай Алексеевич едва не столкнулся с англичанами — военным и штатским. Военного Репнин видел тот раз в английском доме у Троицкого (коричневые краги и волосы, разделенные на темени безупречным пробором, очень приметны), штатского... да не Локкарт ли это? Тот раз в сумеречной прихожей, у Робинса, Николай Алексеевич не рассмотрел его. В самом деле, не Брюс ли Локкарт? Как установил Репнин только что, он был много моложе военного, несмотря на позднюю зимнюю пору, загорел и вопреки холодной поре одет в серый костюм.

— Кто этот странный господин в светло-сером костюме? — спросил Репнин Чичерина.

— Успел встретить? Локкарт. Брюс Локкарт. Ты полагал, что он должен быть обстоятельнее? — спросил Чичерин. — В прошлом почти генеральный консул, нынче в известной мере посол.

— Да, пожалуй, — согласился Репнин.

Чичерин сдавил ладонями виски — жест раздумья, жест усталости.

— Я допускаю, что в Москве он был обстоятельнее, хотя положение генерального консула много скромнее того, которое он занимает сейчас, но нынче он не имеет права быть таким.

— Принять облик посла — значит сковать себя, а от него нынче требуется подвижность, — заметил Репнин весело.

— Да, у него сегодня не это амплуа, ему надо бывать в домах, при этом у людей разных, где послы обычно не бывают, ходить по городу, на что послы отваживаются нечасто, ездить по стране неофициально, что в нынешней обстановке для посла исключено, хочешь не хочешь, а наденешь светло-серый костюм в феврале.

— Но его позиция так же отлична от позиции посла, как костюм? — спросил Репнин.

— Да, пожалуй, отлична, — согласился Чичерин. — Нынешний визит преследовал и специальную цель: он притеснялся на прием к Ленину, срочно.

Зазвонил телефон, Чичерин снял трубку.

— Да, да... — сказал он со строгой внимательностью. С кем он говорил сейчас? Нет, темп речи был тот же и непосредственность интонации осталась прежней, чисто чичеринской, но было в речи и нечто новое — желание поточнее выразить мысль, не говорил — диктовал. — Нет, он не согласен с Бьюкененом, — сказал Чичерин. — Тот считал, как вы знаете, что англичанам не стоит жертвовать в России престижем и заставлять Россию воевать, тем более что эта акция безнадежна. Этот, наоборот, видит цель своей миссии в том, чтобы вовлечь...

Сейчас говорил собеседник Георгия Васильевича, видно, говорил горячо, Чичерин сжимал губы.

— Да, просится на прием к Владимиру Ильичу, — вставил Чичерин. — Он спешит, нам спешить нечего.

Чичерин положил трубку. Он сидел некоторое время молча, только мрачно шевелились брови-пики да упрямо оттопыривались губы.

— Брест не входит в расчеты англичан, — наконец проговорил Чичерин, все еще не назвав имени собеседника.

— Может, поэтому в сером костюме Локкарта, как я заметил, есть нитка цвета хаки, — вставил Репнин, смеясь.

— Очевидно, на тот случай, если придется выезжать на фронт, — добавил Чичерин без улыбки. — Дзержинского интересует позиция Локкарта.

— Дзержинского?

— Да, в той мере, в какой миссия Локкарта перестает быть дипломатической.

У Чичерина болела голова. Он не мог понять, чем вызвана эта боль: опять простудил горло — ночью его вызвали в Смольный, автомобиля не было, и он пришел с Дворцовой пешком — шел берегом Невы, против ветра. Просматривая сегодняшние газеты, Владимир Ильич обратил внимание на заметку: «Дипломаты протестуют против опубликования тайных договоров». Среди тех, кто подписал заявление, имени Репнина не было, но в конце заметки был приведен перечень имен тех, кто присоединился к заявлению устно, — там значилась фамилия Репнина. «Прелюбопытно узнать, — спросил Владимир Ильич секретаря, — это тот Репнин, что был у меня?» Он стал вспоминать разговор Репнина о тайных договорах и вспомнил фразу Николая Алексеевича: «В дипломатии нет серьезного дела без тайны. Там тайна — душа каждого дела».

Это было вчера, а сегодня в час дня Владимир Ильич должен быть с Чичериным на Дворцовой — Ленин просил показать английские папки. Несомненно, Ленин удержал в памяти газетную заметку с намерением спросить об этом Чичерина, быть может, это произойдет по дороге из Смольного. Ну, а если бог помилует по дороге на Дворцовую, то наверняка не пощадит в самом министерстве — никто лучше Репнина не знает английских папок, и Чичерин просил его быть. От такой перспективы как не заболеть голове? Не пощадит Ленин Репнина, да и Чичерину воздастся.

Первая мысль: убедить Владимира Ильича не ехать на Дворцовую и отказаться от услуг Репнина, однако эта мысль отмечена. Как можно? Нет. Георгий Васильевич не сделает этого. В самом деле, в какой мере такое решение отвечает интересам дела и какое объяснение Чичерин даст Ленину? Пусть встретятся. Да, как ни неприятна такая перспектива, она кажется сейчас Чичерину единственно разумной. По крайней мере Репнин допускает эту встречу, если согласился на нее, да к тому же после напечатания письма! А Ленин? Разумеется, Чичерин предупредит его, и Владимир Ильич волен решить, говорить ему с Репниным или нет. Впрочем, к чему загадывать, когда жизнь может все перекрыть.

Автомобиль идет на Дворцовую. Чичерин сидит рядом. Ленин искоса смотрит на него. Воротник у Чичерина поднят, виден конец ярко-лилового шарфа — бережет горло. Однако нелегко Георгию Васильевичу на петроградском ветру, хоть он и храбрится! Вчера Ленин увидел над столом Чичерина военную карту российского запада, беспощадно утыканную флажками, а на столе — полевой телефон. Вряд ли у Чичерина была нужда в большом сером ящике, в котором звонок гремел так, как не гремел в этом доме даже при смолянках, но Чичерин не чувствовал неудобства. Наверно, в полевом телефоне ему виделась могучая гаубица, ведущая огонь по врагу. Будь у революционной русской армии форма, Георгий Васильевич облачился бы в нее, открыто предпочитая гимнастерку пиджаку.

Автомобиль идет на Дворцовую. Свирепо развоевался над Питером февраль, ветрено. На окнах автомобиля выросла крепкая наледь. Ленин нагибается, чтобы разглядеть город.

— А Невский мог быть в этот час и более людным, — говорит он, не отрывая глаз от стекла. — Не только же погода тому причиной? — На скрещении Невского и Садовой он долго смотрит вслед женщине в валенках, которая, переходя улицу, не слышала автомобильного сигнала. — Вы заметили, эта женщина не ускорила шага даже после того, как увидела автомобиль, ей было все равно, — он вновь умолк. — Сказать, что нужда ожесточает человека, еще не все сказать, — он все еще думал об этой женщине. А когда Невский кончился и справа засинели просторные снега Дворцовой площади, глаза вдруг потеплели: быть может, вспомнил октябрь семнадцатого и бой, который новый мир дал старому вот здесь, на камнях площади, еще не укрытых снегом. — Погодите, — произнес он весело. — Что там наговорил Репнин о тайных договорах?

Чичерин откашлялся — в минуту волнения у него начинало першить в горле. «Все имеет свое начало и конец», — подумал он.

— А разве его мнение могло быть иным? — спросил Георгий Васильевич.

— А почему бы его мнению и не быть иным? — ответил вопросом на вопрос Ленин.

— Очевидно, такой поступок не заслуживает оправда-

ния,— заметил Чичерин.— Однако справедливости ради необходимо сказать, что все это он говорил и прежде,— произнес он медленно. Чичерин понимал, что последние слова определяли все.

— А почему он держится этой точки зрения? — спросил Ленин.— Потому ли, что хочет взять под защиту прежнюю политику, или потому, что убежден — дипломатия и тайна нерасторжимы?

Чичерин улыбнулся не без облегчения: казалось, Ленин сам подвел разговор к логическому концу.

— Очевидно, последнее, Владимир Ильич.

Они вышли из автомобиля и медленно направились к парадному подъезду министерства.

— Не думает ли он, что дипломатия новой России должна быть тайной? — Ленин остановился, прямо и остро взглянул на Чичерина.

— Быть может, он думает и так,— сказал Георгий Васильевич.— Но вряд ли его можно осуждать за это — вся жизнь Репнина прошла в этом доме,— глаза Чичерина точно уперлись в фасад министерства.

— Вы могли бы быть и не столь снисходительны,— улыбнулся Ленин.— Кстати, не объясняется ли ваша мягкость тем, что я сейчас буду иметь честь говорить с Репниным?

— Да, Владимир Ильич, я просил его быть.

Ленин ускорил шаг.

— И при этом... не думаете ли вы, что я буду там дипломатом в большей мере, чем хочу им быть? — Ленин указал взглядом на дверь, в которую они входили.

— Вы хотите сказать, что в разговоре с Репниным намерены называть вещи их точными именами?

— Да, несомненно, хотя, быть может, такая манера и не в традициях этого дома.

«Нет, наивно предполагать, что Ленин замолчит заявление Репнина или парирует легкой иронией,— думал меж тем Георгий Васильевич.— В его правилах прямо взглянуть Репнину в глаза, прямо спросить: «Погодите, вы повели себя неким образом странно. Мы ждали от вас признания, а вы атаковали нас. Я не знаток дипломатического правопорядка, но на языке простых смертных это зовется вероломством».

Чичерин смотрел на Ленина, и ему казалось, что губы его жестко сомкнуты. У него действительно сейчас лицо

человека, способного сказать: «...на языке простых смертных это зовется вероломством». Нет, решительно все имеет свое начало и конец. Нелегко придется нынче Репину!

А Ленин уже поднимался парадной лестницей, и глаза были обращены на хрустальный шар люстры.

— Вы начинали дипломатическую службу в этом доме? — спросил Ленин, не сводя озорно-иронических глаз с люстры.

— Нет, в московском крыле этого дома.

— Но здесь бывать приходилось?

— Да, разумеется.

— При Ламсдорфе или Извольском?

— При Ламсдорфе.

Чичерин думал: наверно, он проверяет сейчас память, способность рисовать в сознании нечто такое, что недостижимо для глаз. Как часто за годы жизни на чужбине возникал в сознании холодный блеск этого дворца. «Французский посол Палеолог был принят сегодня на Дворцовой, шесть русским министром иностранных дел Сергеем Сазоновым». «Наш корреспондент видел, как министр Сазонов покинул британское посольство у Трицкого моста и направился пешком к себе — он вошел в министерство не с Дворцовой, а с Мойки...» «Через полчаса после того, как автомобиль германского посла Пурталеса отошел от подъезда министерства на Дворцовой...» Да, всему, что требовало широкой огласки в свете и прессе, были открыты парадные двери на Дворцовой, все, что отодвигалось на второй план и было не в такой мере всегласно, имело доступ с Мойки. Впрочем, для общественного мнения не только России Дворцовая и Мойка были почти синонимами.

— Горчаковские циркуляры шли отсюда? — спросил Ленин.

— Да. Министерство было здесь,— ответил Чичерин.

## Е5

«Сейчас пройдем вестибюль,— подумал Чичерин,— минем зеркальный зал, быть может, зайдем в большую приемную министра, и Ленин нетерпеливо потребует анг-

лийские папки. Вот здесь и начнется самое главное». Однако все обернулось проще. Ленин скептически оглядел банкетный зал, где два ряда зеркал, поставленных лицом к лицу, создавали иллюзию простора, и вдруг ему стало скучно.

— Очевидно, архив неподалеку? — спросил он.

— Да, разумеется, Владимир Ильич, — сказал Чичерин и увидел, как неожиданно просиял Ленин — шестнадцать зеркал банкетного зала отразили идущего навстречу Репнина.

— Я рад этой встрече, — вырвалось у Репнина.

— Я видел эту радость, повторенную много раз, — простосердечно рассмеялся Владимир Ильич и обвел глазами зеркала.

— Однако радость не стала от этого меньше, — улыбнулся Репнин.

— Верю, — сказал Ленин.

Они неторопливо пошли из банкетного зала, пошли медленно — зеркала повторяли каждый их шаг.

У самой двери Ленин остановился.

— Простите, договора подписывались в зеркальном зале?

Казалось, зеркала многократно повторяют вопрос Ленина, но они лишь немо шевельнули губами — не мудрено, что у них отнялся голос: вопрос Ленина подводил к самой сути.

— Да, в том случае, когда подписывал Сазонов, — произнес Репнин и едва заметно склонил голову, давая понять Ленину, что первым должен пройти в дверь он.

Они покинули зеркальный зал, и Чичерину показалось, что в длинном и пустом коридоре, ведущем в дальние апартаменты министерства, шаги вдруг стали слышнее.

— Тексты договоров хранились в министерстве? — продолжал расспрашивать Ленин.

Чичерин убедил себя тут же, что и в этом вопросе решительно не было ничего предосудительного; они намеревались ознакомиться с текстами, и вопрос Ленина скорее имел отношение к процедуре, чем к чему-либо другому.

— Да, разумеется, в том случае, когда надо было обратиться к текстам, обращались к подлинникам. Ко-



ний снимать категорически воспрещалось — тайна не терпит компромиссов.

Чичерин не слышал смеха Ленина, но по тому, как застучали крепкие подошвы ботинок, Георгий Васильевич понял: Ленину все труднее было скрыть иронию, которая жила в нем.

— Значит, тайна = душа каждого дела? — спросил Ленин, не останавливаясь.

Чичерин видел, как побледнел Репнин — разумеется, он понял, что Ленин намерен дальше говорить по существу. Это было свойственно самой натуре Николая Алексеевича: он хотел защищать свою правду в открытом бою. Чичерин это знал, как знал и то, что любая попытка предотвратить столкновение обречена на неудачу.

— Владимир Ильич, — сказал Репнин, замедля шаг и указывая глазами на боковой коридор — архив был в этой стороне, — дипломатия не сможет защитить интересов государства, если она не охраняет каждый свой шаг тайной.

Ленин рассмеялся.

— Да, конечно, если речь идет о том мире, — Ленин искоса посмотрел в окно — в едва просвечивающихся сумерках пасмурного дня неясно проступали очертания Зимнего дворца. Ничто так точно не обозначало тот мир, о котором говорил Ленин, как этот дом, бесконечно мертвый, вопреки ярким краскам, которыми был окрашен фасад.

— Погодите, а вы полагаете, новая русская дипломатия понесет все свои дела на открытой ладони? — Репнин медленно раскрыл руку, и она точно вспыхнула в полутьме коридора.

— Если говорить о принципах — несомненно. Наша сила в правде, а к чему нам скрывать ее, когда она за нас?

— Принципы всегда благородны, — заметил Репнин. Ленин сжал лацканы пиджака.

— На чей взгляд благородны? Нет благородных принципов на все случаи жизни. Есть единственно благородные, как и единственно справедливые принципы, правда, у нас.

— Но действительность слишком сурова, она требует компромиссов, — заметил Репнин. Его тон был терпимым. — Пройдут годы, и вы поймете, что с вашей прав-

дой, в мороз холодно, в зной жарко, хотя вид у правды великолепный. Нет более революционной поры, чем та, когда революция свершается.

— А это зависит от людей, совершивших ее,— возразил Ленин.

— Верно,— согласился Репнин.— Но я хочу взглянуть на эту правду глазами людей, которые будут жить в середине века.

— У нас есть союзник, которого старая русская дипломатия не имела,— человек, желающий себе и нам счастья, человек обыкновенный,— сказал Ленин.— Но он будет нашим союзником лишь в том случае, если мы не окружим свои дела непроницаемой завесой тайны. Я говорю о принципах стратегических, о целях нашей дипломатии, как они определены сутью рабочего государства,— подчеркнул Ленин.

— И я говорю не о простой секретности, которая в каждом деле возможна, а о тайне, стратегической, так сказать, тайне, как она была воспринята дипломатией, став ее натурой. Я бы хотел со временем продолжить этот спор! — воскликнул Репнин, улыбаясь.

— Это соответствует и моему желанию,— отозвался Ленин, входя в кабинет.

На них пахло тем особенным запахом бумажной пыли, к которому так тревожно чутко сердце каждого, кому знаком мир старой рукописи и книги.

Двумя часами позже Ленин возвращался с Чичериным с Дворцовой. Поздние сумерки уже обволокли Питер. За всю дорогу Ленин не проронил ни слова. По тому, как он простился с Репниным (фраза, как помнит Георгий Васильевич, была сдержанно-корректной: «Я подтверждаю: мы еще продолжим наш спор»), Чичерин понял; он не обманывался относительно позиции Репнина. Ну конечно, тот не отступил от своего мнения. Не отступил и будет стоять на своем.

— А как вы решили с Репниным? — спросил Ленин, когда они подъезжали к Смольному.

Чичерин насторожился, радостно-смятенная догадка возникла в сознании и тотчас была отмечена.

— Что решили, Владимир Ильич?

Ленин даже приподнялся на сиденье.

— Можем мы рассчитывать на его усилия в Наркомате иностранных дел?

Чичерин отодвинулся, чтобы лучше рассмотреть Ленина.

— Но разве то, что... произошло, не составляет... препятствия, Владимир Ильич?

— Что произошло? О каком препятствии идет речь? — спросил Ленин.

Чичерин испытал неловкость.

— Вся эта дискуссия о... тайных договорах.

— А вы считаете, это может явиться препятствием? Быть может, в вопросе этом был и ответ.

Поздно вечером Репнин был в Смольном у Чичерина. Репнин заметил: секретари всегда чем-то похожи на начальников. У Чичерина был либеральный секретарь. Он разрешил Репнину войти в кабинет, пренебрегая тем, что Чичерин в кабинете не один. Репнин переступил порог и увидел Дзержинского; тот, видимо, уже простился с Чичериным и готовился выйти. Впрочем, увидев Репнина, Феликс Эдмундович почувствовал, что сделать это тотчас неудобно — последний раз их разговор пресекался едва ли не на полуслове, уйти — значит усугубить неловкость.

— Я только что сказал Георгию Васильевичу, — произнес Дзержинский, и его тонкие брови дрогнули. — Прелюбопытная тема: революция и дипломатия. По-моему, это новая сфера, еще не тронутая ни наукой, ни практикой, как вы полагаете? — Он поднял голову, и его нос, очень характерный, прямой, сомкнувшийся на переносье со лбом, стал виден Репнину.

— Однако... новая сфера в жизни, как неосвоенная земля, тверже обычной — без железа и тут не обойтись, — сказал Репнин и помрачнел: пожалуй, Дзержинский истолкует эту фразу слишком пространно и, упаси господи, примет за комплимент.

Дзержинский улыбнулся, как показалось Репнину, благодарно, улыбнулся светло-кариими глазами, раскланялся и медленно вышел.

Георгий Васильевич взял со стола книгу и тут же осторожно возвратил обратно — видно, короткий диалог между Дзержинским и Репниным дал и Чичерину достаточный материал для раздумий.

— Ты знаешь, о чем шла речь только что? — спросил Чичерин и взглянул на дверь, в которую вышел Дзер-

жинский. Очевидно, то, что он намеревался сказать, относилось больше к Дзержинскому.

Репнин отрицательно повел головой.

— Корпус дипломатов все больше обретает значение троянского коня, которого союзники оставили в тылу России.

— Троянский конь, как известно, был средством отнюдь не дипломатическим,— возразил Репнин.— Кортики, приданные к парадным костюмам, извлечены из ножен, грозные кортики.

Чичерин нахмурился — кажется, Репнин не разделял его тревоги.

— Да, пожалуй, грозные кортики. Заговор кортиков.

Наступила пауза, прочная, что массив камня, в пору вгонять бур и скалывать — иначе не преодолешь.

— Ну что ж, на этой патетической ноте начнем дипломатию новой России? — сказал Георгий Васильевич, прямо глядя в глаза Репнину.— Мог бы я рассчитывать, Николай, на твою помощь?

Репнин не мог скрыть растерянности. Разумеется, он ждал этого вопроса, ждал не первый день, но, когда Чичерин задал его, не было вопроса неожиданнее.

— Разреши подумать,— проговорил Репнин, он понимал, что ответ на предложение Чичерина должен быть обстоятельнее и точнее, но на большее был сейчас не способен,

— Ну что ж... думай.

Репнин медленно шел к окну, шел, наклонив голову, он ничего сейчас не видел.

## 56

Чичерин сказал Петру, что Ленин примет их не раньше девяти. Дул ветер, крепкий, с льдистым снегом, сбивающий с ног. До девяти оставалось минут сорок, и Петр сел в трамвай. Человек в форменной фуражке горного инженера держал на коленях примус. Солдат с деревянной ногой попробовал сесть и, не уместив ногу, встал. Он стоял, припав к стене-перегородке, будто опасаясь шальной пули. На повороте в трамвай вскочил юноша в гимназической шинели, в руках была пачка газет.

— Советы отклонили ультиматум германцев! — закричал он. — Ни войны, ни мира!

— Ни войны, ни мира, — пожал плечами человек с примусом и скосил глаза на Петра. — Мне эта фраза кажется нелепой, а вам?

Трамвай мчался не останавливаясь, исторгая гром. И ломкие блики падали на снег вместе с осколками грома. Казалось, гром не вмещается в пределы улицы и она медленно раздается. Хотелось думать о тихом солнце на белых скалах, безветренном небе и море, большом, медленно вздыхающем.

Когда это было все-таки, поздней весной или летом десятого года? Петр хорошо помнит: в комнатке Ульяновых под прохладной льняной салфеткой стояла ваза с абрикосами. Помнится, когда они ждали Владимира Ильича (он был на море), Надежда Константиновна угощала Петра этими абрикосами, крупными, ярко-желтыми, разделенными бороздкой. А когда могут быть абрикосы в Порнике на Бискайе? Они ждали долго, и Надежда Константиновна рассказывала Петру о Порнике, море, рыбаках. Она говорила, а ветер, дувший с моря, врывался в комнату сквозь открытое окно и трепал голубенькую шторку, бледно-голубенькую — солнце здесь свирепое, все перекрашивает в свои цвета.

— Когда мы приехали, шли холодные дожди и Владимир Ильич все смотрел на небо, — сказала она.

— Как он? — спросил Петр.

— Владимир Ильич как? — переспросила она и, дотянувшись до двери, что была рядом, тронула ее кончиками пальцев. — Вот как...

В распахнутую дверь Петр увидел комнату, очень солнечную, два окна выходили на море. На письменном столике, придвинутом к окну, — стакан с недопитым молоком, а на тарелке кусок серого деревенского хлеба. Яркий, в разводах морской камень удерживает стопу мелко исписанных страниц. Раскрытые книги, приваленные камнями, всюду: на стульях, подоконнике, диване. Посреди стола — недописанная страница и поперек, точно перечеркивая, простенькая ученическая ручка. Стул далеко отодвинут от стола — видно, человек встал внезапно, рывком и потом сюда не возвратился.

— Владимир Ильич работал? — спросил Петр.

— Три дня и почти три ночи ждал вас, готовил па-

кет,— сказала она.— Даже окон не закрывал: на море был шторм, гром горы рушил, и ливень был такой, что ручей подступил к самому окну, а он головы не поднял. Хозяйка испугалась, думала, что его сожгло, влетела в дом, осенила крестом, но, по-моему, он ее не заметил. А когда кончил, свалился и проспал часов пятнадцать.

— А я думал, он другой,— сказал Петр,— встает в семь, делает гимнастику, читает газету, пьет утренний кофе, идет в библиотеку, после обеда променад у моря.

Она улыбнулась.

— Не столько у моря, сколько в море! Прошлый раз рыбаки уже лодку в воду столкнули — уплыл к горизонту. Выплыл белее скал меловых, счастлив.— Она помолчала.— Разумеется, в его правилах и гимнастика, и утренний кофе, и променад, но если говорить о характере...

— Натиск? — спросил Петр.

— Да, пожалуй, натиск,— указала она взглядом на соседнюю комнату.— Именно натиск, когда день смыкается с ночью и есть только цель, к которой надо пробиться.

А потом Надежда Константиновна отодвинула шторку, и они увидели песчаный откос и дальше высокий берег, утесом вторгшийся в море. Владимир Ильич должен был прийти оттуда, а с ним сын таможенного сторожа — они рыбачили вместе. Петр видел, как светловолосая женщина, совсем северянка, заждавшаяся сына, стала поодаль и, подняв ладонь, пыталась отстранить солнце. Она стояла босая, подоткнув повыше юбку, точно так, как делают это женщины на Кубани, когда моют пол, и Петр видел, что бронзовые ноги были нежно-смуглыми, почти белыми повыше икр.

— Андре! — крикнула женщина и развела руки, защищаясь от солнца, точно оно сдвинулось на небе.— Андре!.. Андре-е-е!

Но было тихо, только слышалось, как далеко-далеко, будто удары маятника, морская волна стучит о берег.

— Андре! — крикнула женщина без надежды, что ее услышат на берегу.— Андре,— повторила она уже себе.

Надежда Константиновна улыбнулась.

— Володя,— произнесла Надежда Константиновна, будто речь шла всего лишь о сверстнике мальчика, которого звала хозяйка.— Володя,— повторила она и опять улыбнулась снисходительно-радостно.

А потом далеко в стороне, на откосе показались Владимир Ильич и, поотстав от него, сын хозяйки. Ленин что-то рассказывал спутнику, очень смешно жестикулируя удилищем и ведерком с рыбой. А мальчик старался идти с Лениным в ногу, нарочито увеличивая шаг, и, когда это не удавалось, переходил на быстрый шаг и, перегнав Ленина, некоторое время шел спиной вперед.

— Владимир Ильич,— сказал Петр, глядя в окно.

— Володя,— отозвалась Надежда Константиновна.

Он вошел в дом шумно-хлопотливый, веселый и, поставив ведерко с рыбой на табурет, спросил:

— Нет, скажите, вы в морской рыбе смыслите? Вот эта, с бакенбардами, как у Маклакова, что это за рыба? А вот та, с усищами, как у графа Фредерикса? Сколько позы и достоинства! А эта, с полубаками? Горемыкин, и только! Не ведерко, а кладезь мудрости! Надя, взгляни...— он вдруг обернулся к Петру, сказал серьезно: — А я и представлял вас таким могучим. Нет, нет, не смейтесь, я говорю дело: настоящему бойцу кулаки не обуза.

Он стоял перед Петром воинственно-настороженный, крепко сбитый, подобранный, весь точно на тугих пружинах.

А Петр думал: «Если дойдет до рукопашной, хорошо иметь его рядом».

Потом они сидели с Владимиром Ильичем на краю сада, смотрели на вечернее море и пили чай. Море было спокойно-дымным. Оно было близко, но не давало свежести. И все-таки было приятно чувствовать море подле, большое, торжественно-сильное.

— А я давно о вас наслышан,— говорил Владимир Ильич, глядя на Петра.— Знаю: есть в партии такой человек... Нет, не скороход и не хозяин новостей, а гонец, скажу даже, гонец революции. Шагнул — прошел державу, еще раз шагнул — хребет остался позади, еще шаг — море. И ничто не может встать на пути. Есть, говорят, в партии такой человек.

— Не один, Владимир Ильич.

— Я говорю об одном,— сказал он.

Прошла светловолосая женщина. Она поклонилась Белодеду, высоко вскинув голову и смешно закрыв глаза, сдула с глаз прядь выгоревших волос, в обеих руках у нее были корзины, она шла в сад. Петр слышал, как в саду зашумела листва. Он поднял глаза и увидел моло-

духу с корзиной. Ее руки точно плескались в листве, и легкий стук падающих плодов сопровождал каждое движение. Эти звуки были почти музыкальны, в них и стремительность, и ловкость, и ликующая полнота жизни. А потом женщина вновь прошла мимо и так несла округлые плечи, будто красота и молодость были властны над землей и морем. И Петр вдруг поймал себя на мысли, что смотрит на каменистую тропку, теперь уже пустую, по которой прошла молодуха. Петр оглянулся и увидел, что Ленин тоже смотрит на тропу и в глазах, чуть-чуть весело-иронических, и светлое раздумье и радость. И Петр подумал: наверно, и он видел, как женщина прошла в сад и отвела русую прядь, упавшую на глаза, с какой жадной охотой работала, как возвращалась из сада, запрокинув голову, гордясь строптивой прелестью своей. Он все видел, и это хранили сейчас его глаза.

А потом Надежда Константиновна сказала:

— На станцию мы пойдем все вместе, надо только, чтобы жара спала...

Солнце село, но дорога, идущая вдоль моря, была видна из конца в конец, и там, где она взбиралась на холм, выгибая спину, и там, где стлалась долиной. Когда кончился подъем и они взошли на гору, Ленин вдруг вытянул руку.

— Видите? Выше, выше... рядом с облаком! Смотрите на мою руку — голуби! Ах, какие птицы! Это голуби соседа, он пустил их еще вчера вечером. Представляете, всю ночь где-то там, между землей и звездами! — Он стоял посреди дороги, счастливый тем, что способен ощущать значимость этой минуты. — Нет, только представьте, — еще долго не мог успокоиться он, — какая птица! Голубя увозят за море, там он не был отродясь, и он летит кратчайшим путем к дому. Что-то происходит в маленьком мозгу непознанное, какой-то гениальный фокус природы.

Петр молчал. Он узнал об этом человеке нечто такое, чего не знал прежде.

А потом стояли на платформе, как всегда, казалось, что через минуту поезд тронется и не будет сказано много из того, что следовало сказать. Петр молчал и смотрел из окна улыбаясь. Нет, в облике Ленина не было ни торжественного, ни тем более величественного. Перед окном стоял человек в пыльных башмаках (они долго



шли по этой дороге вдоль моря), с ивовой палкой в руке. Его шляпа была чуть-чуть сдвинута, а лицо покраснелось от неумолимого здешнего солнца. И Надежда Константиновна рядом, в полотняном платье и белой панаме. Они молчали, однако Петру казалось, что и в молчании, как теперь, они ему необходимы. А потом они подняли руки, все так же улыбаясь, и платформа вдруг сдвинулась с места и побежала отставая.

Петр подумал: «Почему все-таки я представлял его не таким? Не идол, слепленный по образу и подобию всевышнего, а человек живой крови. «Смотрите на мою руку — голуби!.. Что-то происходит в маленьком мозгу непознанное, какой-то гениальный фокус природы». И глаза, когда женщина шла из сада — и она для него чудо природы. Нет, он действительно другой — сколько будешь думать, не выдумаешь такого. Человек. Человек...»

## 57

Трамвай продолжал лететь, рассыпая жесткий звон. На новом повороте юноша в шинели забеспокоился.

— Я пошел,— сказал он и засунул газеты за ремень.

— Иди, у тебя ног много,— сказал солдат и постучал деревянной култышкой.

Юноша вытянул руки и ринулся в темноту.

Петр последовал за ним.

— Германцы идут на Питер! — подал голос юноша где-то справа.— Ни войны, ни мира!..

Петр остановился: в соседстве этих фраз Петру почудилось нечто тревожное. И казалось непонятным, что снег падает так спокойно-торжественно и кротко светят огни Смольного. Хотелось взломать тишину сигналом такой тревоги, чтобы черти взвыли.

В смольнинской комнате Чичерина, большой и пустынной, был обжит один угол: стол стоял там.

— Как.., город? — поднял глаза Георгий Васильевич.

Петр положил на стол газету.

— Все новости здесь,— сказал он.

Чичерин погрузился в чтение. Только сейчас Петр увидел стакан недопитого чаю на столе, складной нож Чичерина, кусок сахара на чистом листе бумаги. Однако Чичерин уже разбил холостяцкий бивак, подумал Петр. А

Чичерин одолел газету, неловко сложил (в нетвердых руках газета гремела, точно лист железа), замер — даже темные зрачки на миг остановились.

— А как здесь? — спросил Петр, имея в виду Смольный.

Чичерин улыбнулся — Петр угадал его мысли.

— Трудно.

В соседней комнате бешено вертелась ручка телефонного аппарата.

— Какой же госпиталь без бинтов? — вопрошал женский голос.— Бинты... Бинты.

Чичерин указал глазами на стену:

— Департамент Подвойского. Вот так круглые сутки: бинты, снаряды. Потом опять бинты.

— Здесь как? — повторил вопрос Петр.

Чичерин развернул и вновь свернул газету — этот жест был необходим, чтобы возобновить прерванный разговор.

— Полчаса назад закончилось заседание ЦК,— произнес Чичерин и закрыл глаза, будто ослепленные ярким светом.— Решено... не заключать договора,— добавил он.

— Не заключать? — Петр еще не мог осмыслить сказанного Чичериным.— А... Ленин?

— Все оказалось сильнее Ленина.

— Было голосование?

— Да, и Ленин остался в меньшинстве.

Так вот что происходило в эти часы в Смольном. С памятных октябрьских дней для России не было дня более ненастного, чем сегодняшней.

— Как понять все это? — спросил Петр.

— Нас ждут события грозные,— казалось, Чичерин хотел сказать больше, много больше.

В соседней комнате, точно вода из брандспойта, зашипел телефонный звонок.

— Кладите в телеги солому и везите! — твердил все тот же голос.

На столе Чичерина шевельнулась бумага — дверь в комнату открылась.

— Георгий Васильевич,— услышал Петр и поговору, неповторимо характерному, с мягким «р», узнал Ленина. Петр обернулся, но Ленин его не заметил.— Прошу вас сегодня же ночью проштудировать германский проект до-

говора, — сказал он и движением руки дал понять, что сказал еще не все, но в этот момент увидел Петра, и жест остался незавершенным. — Здравствуйте! — приветствовал он, и его рука потянулась к Петру. — Гонец? Как не помнить! — произнес он почти ликующе и добавил: — Я говорю Наде: нет, ты все забыла! Помнишь Порник и молодого человека, что свалился к нам с неба!

А за стеной вновь раздался звонок.

— Везут на двух подводах, — послышался все тот же женский голос. — Если выживут...

Ленин поднял серьезные глаза. Было слышно, как щелкнул рычажок телефонного аппарата. Разговор за стеной закончился, но Ленин все еще был серьезен.

— Не думаете ли, Георгий Васильевич, что дипломатия и жизнь никогда не стояли так близко? — он указал взглядом на стену, за которой женщина говорила по телефону.

— Наверно, это полезно, Владимир Ильич, — согласился Чичерин. — Дипломатия всегда была дальше от жизни, чем необходимо. Недоставало версты заветной.

— Вы обрели ее, эту версту, Георгий Васильевич?

— Пожалуй... обрел. Вот Маркин: в кои веки посла просили аудиенцию у дипломатов в бушлатах? Кстати, Локкарт просит вас принять его.

Ленин, приблизившийся было к двери, чтобы покинуть комнату, остановился.

— Локкарт? — он вернулся к столу. — Хочет участвовать в брестской баталии? Ну что ж, я готов.

Из чичеринской комнаты Петр вышел с Лениным.

— А в тот раз мы с Надей несколько дней не могли прийти в себя, — заметил Ленин все так же живо, — все спрашивали друг друга: а как гонец, домчался ли?

«Откуда эта бодрость в голосе и улыбка? — думал Петр. — Ведь всего полчаса назад состоялось голосование, которое порушило все, за что он боролся месяцы, что месяцы — годы, жизнь! Неужели ему так просто возобладать над собой?»

— Мы с Надей полюбили и домик на берегу Бискайи и семью, в которой жили, — рассказывал Ленин с видимой радостью. — Лето в Порнике! Как там хорошо работалось по утрам!

Петр слушал и думал: «Да нет, все было не так размеренно точно и спокойно. Он, Петр, знает, что было все не так. Был шторм, и гром колот и рушил горы, и бушующее море сомкнулось с небом, как день сомкнулся с ночью, три дня и три ночи... И все эти дни и ночи он просидел за письменным столом, не поднимая головы, а потом сон, наверно, железный, без сновидений. Все было как в жизни. Все было как сейчас — без сна, на нервах. А вспоминаются тишина и синее море. Придет день, и кто-нибудь напишет, как Ленин умел дозировать время, как рационально и точно делил день на труд и отдых, обязательно будет написано обо всем этом с уверенностью, не вызывающей сомнений, что так именно было. А на самом деле так не было. Все было многократ труднее. Но почему все-таки, обернувшись назад, на Порник, на Бискайю, он помнит только тишину и море?»

— Мой стол стоял у окна, выходящего прямо на море. И свет и шум моря настраивали и, быть может, чуть-чуть успокаивали, это необходимо,— говорил Ленин, а Петр думал: «Он жизнелюбив. Может, поэтому жизнь представляется ему легче, чем она была на самом деле».

Ленин неожиданно остановился у раскрытой двери, умолк. Потом вошел в дверь и встал в стороне, точно посреди большого и светлого поля, окинул долгим взглядом все вокруг. Петр приблизился к Ленину, оглянулся. Они стояли посреди зала, который действительно был и просторен и высок, как поле.

Петр посмотрел на Ленина и не узнал: что-то невидимое и еще непонятное Петру вдруг ворвалось в сознание. Так это же актовый зал Смольного! Тот самый, куда пасмурным ноябрьским утром прошлого, девятьсот семнадцатого года вошел Ленин, чтобы возвестить начало новой эры. Если когда-нибудь возникнет необходимость найти эпицентр революции, он здесь. Отсюда Советская власть зашагала по земному шару. Но почему один вид этого зала так потряс Ленина? Ведь он, очевидно, был здесь после ноября, и не однажды... Почему потряс сегодня?

Они возвращались.

Ленин молчал. Думал о чем-то своем, нелегком. Шаг был почти бесшумен. Глаза полузакрыты. Весь ушел в себя. Потом тихо заговорил:

— На днях я вдруг подумал: Парижская коммуна прожила семьдесят два дня, мы — почти сто...

Что-то большое и тревожное вызвал у него в сознании один вид этого зала. Его мысли шли трудной тропой, и непонятно, как они добрались до этого сравнения.

— Да поймите же, — взглянул он на Петра так, точно Петр только что неуступчиво возражал ему. — Поймите, вопрос так и стоит: жить нам или нет... — он остановился, приподнял ладонь. — Мне говорят: «Ленин хочет отдать территорию и выиграть время!» Именно так: отдать одно и выиграть другое, главное. Почему главное? Речь идет о судьбе революции, — он остановился вновь, сейчас лампа светила сбоку, и Петр увидел на стене всю его динамичную фигуру, которую не в силах была остановить беда, какой бы сокрушающей она ни была. — Наше достоинство попрано, но, стиснув зубы... стиснув... — он умолк и тихо пошел дальше. Ленин остановился и, нащупав ладонью крашеную поверхность двери, нетвердо оперся. — Локкарт просится на прием? — он отнял руку от двери, усмехнулся. — Надо отдать ему должное: момент он выбрал верно. Не раньше, не позже — теперь.

Они пошли дальше.

— Но как повернутся события завтра?

— Завтра? — Ленин взглянул на Петра быстрым, как показалось Белодеду, жестко-суровым взглядом, взглянул, будто хотел сказать: «И ты не понимаешь, что происходит, не понимаешь, несмотря на все ненастья твоей жизни». — Завтра... то есть сию минуту? — спросил Ленин. Он продолжал идти, но теперь уже размеренно, подчеркнуто размеренно, будто отсчитывал шаги от вопроса до ответа. — Немцы пойдут на Питер, и ЦК станет перед новой перспективой, — сказал он наконец.

— Более трудной?

— Да, несомненно, — он остановил на Петре короткий и твердый взгляд. — Но решение о мире будет принято. Кстати, может оказаться, что нам нужен будет... гонец. Да, гонец, который... проложит дорогу и доставит пакет: наш протест и согласие заключить мир на условиях Бреста, — он пошел быстрее. — Не гневайтесь, если за полночь вас затребуют в Смольный.

Был одиннадцатый час вечера, когда Лелька разбудила Петра.

— Да вставай ты, вставай, господи! Не растормошишь, не растревозишь! — он ощутил холодную с мороза руку сестры на щеке. — Вставай, взгляни вот! По храму ходила бумага...

Петр открыл глаза: листовка. Напечатана на тетрадной бумаге. Поверх тетрадных линий в косую (они несмываемы) шесть густо-черных строк: «Сегодня германская армия заняла Двинск. На очереди Псков, Ревель и Петербург». Так и написано: «Петербург». «Немецкая листовка, — подумал Белодед, — хоть и напечатана в Питере».

— Благочинный, говоришь, немецкую бумагу изловил? Поп — орел! А вдруг и в самом деле нагрянут германцы? Как ты?

— А мне ничего не страшно.

Он подумал, глядя, как сестра идет из комнаты, вскинув голову: такой в самом деле ничего не страшно.

Петр стянул рубаху, раскрутил до отказа кран. Вода студено калила тело.

— Сердце выхолодишь — остановится! — крикнула Лелька.

Приближаясь к Смольному, Петр окинул привычным взглядом здание — его опытному глазу освещенные окна говорили о многом.

В кабинете Ленина в этот раз горит не настольная лампа, а люстра. Неужели новое заседание ЦК? Но ведь оно было сегодня утром и назначено на завтра в два.

В коридоре его встретил Кокорев.

— Петр Дорофеевич, а вас тут искали по всем путям и тропкам! Заседание ЦК! — произнес он торопливо. — Да, назначили на завтра в два, а потом перерешили, — он двинулся к выходу, однако тотчас обернулся. — Простите, Петр Дорофеевич, — он подошел к Белодеду вплотную. — Германцы где-то под Режицей! Километрах в ста от Двинска. Что-то решат они? — он указал глазами в дальний конец коридора — кабинет Ленина был там. — Я вернусь через час, не могли бы вы улучшить минуту.

Есть разговор важный — во! — он полоснул горло ребрышком ладони.

Петр шел, думал: «Хорош парень! И вера есть и воинственная храбрость. Только иной раз не поймешь, когда говорит правду... А в остальном хорош, даже оружие любит, как надлежит борцу». Позавчера Кокорев принес браунинг, миниатюрный, быть может, дамский, — обнаружил его в подполе охтинского рыбороторговца при обыске, пистолет зарос ржавчиной, и Петру стоило немалого труда заставить его действовать — любовь и верность Кокорева на сто лет вперед были Петру обеспечены.

Видно, заседание ЦК должно было вот-вот начаться. Мелькнула кожаная куртка Бухарина.

Торжественно, на ходу поправляя пенсне, прошествовал Троцкий.

Прошагал Сталин, и дым его трубки, горьковато-терпкий, не размывающийся, удерживался в коридоре.

Прошел Свердлов, он все время протягивал руку и опирался ладонью о стену, точно желая убедиться, здесь ли она еще.

Быстро и бесшумно промчался Урицкий.

Едва ли не последним (заседание уже, наверно, началось), останавливаясь и шумно переводя дыхание, последовал Стучка.

Петр приблизился к двери, но, прежде чем открыть ее, остановился. Он вдруг вспомнил последнюю встречу с Лениным и слова, от которых до сих пор мороз идет по коже: «Наше достоинство попрано, но, стиснув зубы, стиснув...» И Петр подумал: с той лондонской поры, теперь уже далекой, когда он узнал о трагической коллизии Бреста, он постоянно ловил себя на мысли — а как Ленин? Как ему в этом нелегком единоборстве с противником и, увы, со своими сподвижниками? Петр знает себя: сказать «Троцкий», «Бухарин» — еще не все сказать. Всегда будет ощущение, что судишь за глаза. Всегда будет не хватать живого восприятия, которое ничто не может заменить. И еще: Петр стоял на пороге большого и тревожного, что зовется завтрашним днем. Какие взрывы родит этот день? Каким дождем окропит? Какими камнями забросает?

Ленин повернулся на шум открывающейся двери, указал Петру на свободный стул. По одну руку от Петра сидел Стучка, по другую — Урицкий. Лицо Стучки от вол-

нения было влажным. Он достал записную книжку и, развернув, принялся обмахивать себя. Но книжка была мала и не давала прохлады. Стучка махал сильнее и потел все больше. Урицкий, наоборот, был неподвижно-внимателен. Казалось, люстра опрокинулась в зеркальца его пенсне.

Говорил Троцкий. Он стоял у карты, и маленькая рука с бледно-розовыми ногтями вздымалась и парила над топкой хлябью Полесья, перемещаясь на северо-восток.

— У них два пути,— говорил он, и Петр понял: речь, очевидно, шла о падении Двинска.— Первый, мы в этом уверены, Псков и Питер.— Троцкий произнес «мы в этом уверены» стремительной скороговоркой, как бы между прочим.— И второй: Киев. Эти данные пока недостоверны, но они есть,— он отнял руку от карты и возвратился к столу.— Если сведения о наступлении на Украину подтвердятся, а мы будем знать об этом в ближайшие сутки-двое, то мы...— он взглянул на Ленина и помедлил.— Обратимся к Берлину и Вене и спросим: что означает этот шаг?

Троцкий взял папку, почти неслышно захлопнул и положил на стол — он кончил.

Петр смотрел на Ленина. Губы его стали белыми, как, впрочем, и веки. Ох, недобр он был в эту минуту!

Встал Урицкий. Круглый огонь дрогнул в пенсне и погас.

— Надо действовать, товарищи! — он снял пенсне, будто пламя, накалившее стекла, жгло глаза.— Очевиден факт: ЦК не имеет решения! Нет ничего опаснее...— он переложил пенсне из одной руки в другую, словно его небезопасно было держать в руках.— Все должно быть решено именно сегодня,— он взглянул на Бухарина, который задумчиво поскребывал бородку.— Мы знаем мнение тех членов ЦК, которых здесь нет. Среди них сторонники и той и другой точек зрения. Я предлагаю...— он упорно смотрел на Бухарина, который все еще был занят бородой.— Я предлагаю два таких голоса присоединить к голосам тех, кто настаивает на мире, и решить спор. Или же... должны подчиниться те, кто в меньшинстве,— взглянул он на Ленина и закрыл глаза, взгляд Ленина все еще был непримиримо жесток.

— Меня формальная сторона предложения не смущает,— подал голос Свердлов, он подошел к вешалке и,



сняв кожанку, накинул на себя.— Мы знаем точку зрения тех, кто не смог быть сегодня, надо причислить их голоса и решить... Лев Давыдович,— обратился он к Троцкому,— я не могу с вами согласиться; нельзя откладывать решение вопроса даже до завтрашнего утра.

— Нельзя, нельзя,— замахал погасшей трубкой Сталин.— Надо сказать прямо, по существу: немцы наступают, у нас нет сил, пора сказать прямо.— Не выпуская трубки, Сталин отрицательно повел рукой, потом положил трубку перед собой.— Нет сил,— подчеркнул он и отодвинул трубку, отодвинул брезгливо, будто не держал ее во рту. Ильич остановил на Сталине взгляд: однако позиция Сталина претерпела изменения.

Вновь наступила пауза. Она была прямо обращена к Ленину. Он не произнес пока ни единого слова. Его глаза были прикованы к записям. Столпотворение записей. Будто они столкнулись где-то над головой и осыпались на бумагу. Стараясь прочесть написанное, он медленно поворачивал бумагу.

— Вопрос коренной,— Ленин заговорил тихо, но вполне отчетливо.— Вопрос коренной,— повторил он.— Шутить с войной нельзя. Теперь невозможно ждать, ибо положение определено. Игра зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен, если дальше продолжать политику золотой середины. Иоффе писал из Бреста, что в Германии нет и начала революции...— Ленин взглянул на Иоффе, стоящего подле, тот непроизвольно отодвинулся, точно слова Ленина уперлись в него.— Теперь нет возможности ждать. Это значит сдать русскую революцию на слом! — воскликнул он почти гневно и умолк; он должен был сдерживать себя.— Если бы немцы сказали, что требуют свержения большевистской власти, тогда, конечно, надо воевать. Теперь речь идет не о прошлом, а о настоящем! Если запросить немцев, это будет только бумажка,— шагнув, он очутился подле сидящего Троцкого.— Это не политика, Лев Давыдович! — заметил он и резким жестом точно отстранил возможные возражения.— Теперь среднее решение невозможно. Теперь не время обмениваться нотами и выжидать. Теперь поздно прощупывать. Ясно: немец может наступать,— Ленин методически повторял свое «теперь», точно хотел этим словом закрепить сказанное.— Нужно предложить немцам мир!

Тишина сменилась гулом голосов, глухим, но устойчивым.

Записная книжка остановилась в руках Стучки. Он поднял на Белододе глаза.

— Я сейчас проделал такой эксперимент,— заговорил Стучка оживленно.— Я подумал: если все слова, которые были произнесены здесь, обратить прямо к народу. Вы поняли меня: прямо. Вот вопрос: чьи слова принял бы народ?

— Прощупывать не надо,— возразил Урицкий, он хотел снять пенсне и уронил его.— Если наступают, надо обороняться,— заметил он, поднимая пенсне.— При таком положении в ЦК, как теперь, нет возможности прощупывать.

— Прощупывать немецких империалистов действительно поздно,— подхватил Иоффе.— Мы по-прежнему должны быть за мировую революцию.

— Все было построено на невесомых величинах,— произнес Троцкий и коснулся лба тыльной стороной руки,— слова «на невесомых величинах» точно соотносились с жестом.— Игры с войной не было. На наш запрос немцы должны дать ответ.

— С этой неразберихой необходимо покончить,— намертво сжал в кулаке трубку Сталин.— Нужно все взвесить и сказать: мы за возобновление переговоров.— Ильич внимательно смотрел на Сталина: нет, нынче Сталин за Брест, определенно за Брест.

Бухарин поднялся, пошел — глаза полузакрыты, казалось, он не видит. Все, кто был в комнате, внимательно следили сейчас за ним. Он бы так дошел до стены, если бы не тишина, наступившая в комнате. Его остановила тишина. Он обернулся и, заметив на себе взгляды присутствующих, не удержал вдоха. Привычным движением руки пригладил виски, забирая волосы на уши.

— Ничто не может быть неправильнее, чем эти разговоры об игре,— он не взглянул при этом на Ленина, хотя слова без адреса были обращены к нему.— У нас недооценка социальных сил революции такая же, как была до восстания. Во время восстания мы одерживали победы, хотя была у нас неразбериха. Мы до сих пор по всем провинциям побеждаем.— Он воодушевлялся все больше, сейчас его голос звучал так, будто он говорил на площади.— Немецким империалистам нет смысла принимать

мир, они идут ва-банк. Теперь нет возможности отложить бой. Объединенный империализм идет против революции.— Лицо его покраснело, пот струился ручьями, он сбросил кожанку и остался в сатиновой косоворотке.— Если даже немцы возьмут Питер, рабочие будут вести себя так, как в Риге. Все социальные возможности у нас еще не исчерпаны. Мы можем и мужиков натравить на немцев.— При словах «натравить на немцев» кто-то сбобу скептически усмехнулся.— У нас есть только наша старая тактика, тактика мировой революции,— закончил он и пошел к окну. Он стоял у окна, приподнявшись на цыпочки, обратив лицо к открытой форточке, его грудь вздымалась.

— Бухарин не заметил, что перешел на позиции революционной войны,— сказал Ленин и принялся тщательно складывать записи, сказал, не глядя на Бухарина, который все еще тянулся к открытой форточке и не мог отдышаться.— Крестьянин не хочет войны и не пойдет на войну. Можно ли теперь сказать крестьянину, чтобы он пошел на революционную войну? Но если этого хотеть, тогда нельзя было демобилизовывать армию. Перманентная крестьянская война — утопия. Революционная война не должна быть фразой. Если мы не подготовлены, мы должны подписать мир. Сравнивать с гражданской войной нельзя. На революционную войну мужик не пойдет...— Он взглянул на Бухарина, который, отдышавшись, отошел от окна, зябко поводя плечами.— Революция в Германии еще не началась, а мы знаем, что и у нас революция не сразу победила,— воскликнул Ленин, обращаясь к Бухарину, который взял со спинки стула кожанку и остановился, словно не зная, что с ней делать.— Я предлагаю заявить: мы подписываем мир, который вчера нам предлагали немцы.

Стучка сунул книжку в карман — она так и не дала прохлады.

— А я все занят своим экспериментом,— сказал он Петру.— Нет, нет, вы недооцениваете мою мысль: это очень важно! Переадресуйте все, что здесь было сказано, России, трудовой России: за кем она пойдет?

— Крестьянскую армию надо было демобилизовать,— воинственно произнес Ломов, особо подчеркнув слово «надо».— Завтра же следует призвать всех под революционные знамена! Если теперь сдаваться, то к чему тогда

огород городить! — он смотрел на Ленина, к нему, только к нему он обращался. — Надо с максимальной энергией развивать нашу тактику развязывания революции.

Поднялся Зиновьев и, дойдя до кафельной печи, протянул к ней руки: видно, из печи не ушло тепло.

— Единственная военная сила, с которой мы должны считаться, — это германская армия, — проговорил он, не отнимая рук от печи. — Нужно сегодня же послать телеграмму немцам. Нужно знать, чего они требуют, — Зиновьев повернулся и приник к теплой стене спиной.

Петр взглянул на часы: Кокорев должен быть уже в Смольном. Не хотелось уходить. Минута была критической. Как разовьются события? Чья точка зрения победит? Мысль Бухарина была эффектной: революционная армия, атакующая бастионы старого мира! Что может быть более воодушевляющим и красивым? Троцкий словом не обмолвился о своей формуле «Ни войны, ни мира», однако говорил он именно о ней. Запросить Берлин и Вену, а пока выждать — это и есть «ни войны, ни мира». Все, кто опасался решительных действий, хотели уйти под сень формулы Троцкого. Наконец, перспектива, к которой звал Ленин, казалась Петру хоть и трагически нелегкой, но ясной. Спасти революцию! Кстати, где-то здесь ответ и на вопросы беспокойного Стучки: за кем пойдет народ, за кем последует Россия? Быть может, на этом прения не закончатся, но смысл их уже ясен. Все, что было произнесено, в сущности, сводилось к одному: предлагать мир немцам или нет? Ответ на этот вопрос даст голосование. Когда оно будет? Не раньше чем через час.

Петр зашагал по коридору. Кокорев шел навстречу.

— У вас есть пять минут, Петр Дорофеевич? — шинель еще дышала морозом и дымом — видно, в автомобиле, в котором он примчался сюда, было накурено.

— Да, несомненно.

Кокорев остановился, пропуская идущих позади де-вушек-телеграфисток, и этим показывал Петру, что его ждет доверительный разговор.

— Если перспектива вашей поездки к немцам реальна, я хочу быть с вами.

Кокорев ушел — почему он был сегодня менее многословен, чем обычно? Он просил Петра или сообщал ему о факте, который свершился? Не второе ли? Значит,

Белодед едет к немцам не один. Но почему это тревожит Петра? При всех обстоятельствах вдвоем легче, тем более когда рядом такой добрый малый, как Кокорев.

Петр поспешил в кабинет Ленина и едва не столкнулся в коридоре со Стучкой.

— Можете не идти,— промолвил Стучка.— Большинство за Лениным,— и добавил, помедлив: — А вы так и не ответили на тот мой вопрос.

— Отвечу,— сказал Петр, улыбнувшись.— Отвечу со временем,— добавил он.

## 59

Петр решил дождаться матери, но свалили сон и тепло. Невысокая софа, укрытая цветистым кавказским ковром, стояла у самой печи. Петр привалился к теплой стене и уснул. Сквозь сон слышал, как где-то рядом скрипела сапожищами и сумрачно гудела мать: «Господи, в каком краю носило его... какими ветрами погоняло?» И еще: «Околеем... околеем...» И вдруг совсем явственно, точно и не спал: «Нет, барышня, нам Белодода Петра Дорофеевича». Петр открыл глаза, открыл челегко. В дверях — Кокорев, в желтой коже, рядом — Лелька, но какая-то необычная, в кисейном платье с открытыми руками, действительно барышня.

— Простите, Петр Дорофеевич.— Кокорев, как всегда, официален.— Прислали за вами. Нет, не просьба, а приказ. Почти приказ,— поправился он.

— Пять минут дадите?

Кокорев взглянул на часы тоже очень официально («Это уже для Лельки»,— подумал Петр), произнес:

— Да, не больше.

Кокорев откозырял, как козырял, наверно, в армии, и вышел, прищелкнув каблучками («И это для Лельки»,— подумал Петр).

«Делагэ» стоял с погашенными огнями, однако мотор работал. Они тронулись. Минули Литейный и свернули на Невский. Был одиннадцатый час, но город выглядел необычно людным. Мимо, обгоняя «делагэ»,

промчались один за другим «ллойд» и два «даймлера», новенькие, давно невиданные на питерских улицах — в каких гаражах они сберегались, под какими замками и засовами? Где-то справа распахнулись парадные двери и зашумела толпа молодых людей, откровенно праздничная. Да и дома выглядели не так, как две недели назад, когда приехал Петр. Все, что способно пламенеть и светиться: граненый хрусталь люстр, крахмальные скатерти, зеркала и бронза,— все хлынуло в окна, загорелось, заблестело. Видно, и в самом деле старый Питер ждал своего часа.

— Ленин спал?

— Какое там! Третья ночь на исходе — глаз не смежил. Вот отошлет пакет, тогда...

Петр подумал: «Дни сомкнулись с ночами, как тогда, в Порнике».

Петр оглядел Смольный. О чем говорили его окна Белодеду в этот раз?

Лишь несколько окон Смольного светились, светились вразброс: окна Чичерина, Подвойского да еще просторное на третьем этаже — его окно. И в Смольный пришла усталость.

Дверь в кабинет Ленина была полуоткрыта. Петр узнал голос Владимира Ильича — он говорил по телефону. Кажется, и Ленин услышал приближающиеся шаги — стул отодвинулся, Владимир Ильич шагнул от стола.

— Ну вот, пришел и наш час, гонец революции,— произнес он и посмотрел на трубку, лежащую на столе.— Нет минуты, чтобы проводить вас в путь-дорогу... Сейчас Гофман, все остальное потом,— сказал он почти весело.— Пакет у Чичерина. Путь добрый.

Простуженный Чичерин с шарфом вокруг шеи усадил Петра перед собой.

— Не обижайтесь, я еще раз произнесу эту фразу: здесь действительно нужен ваш темперамент и, как бы это сказать, норов. Придет, конечно, время, когда и у нас будут департаменты, а в них турецкие, персидские и греческие столы, а за ними дипломаты в белых воротничках, а сейчас ваш департамент... на колесах и айда в дорогу! — он указал глазами на лежащий перед ним темно-синий конверт, прошитый суровой ниткой и скрепленный сургучными печатями, тяжелыми и круглыми,

как часы Чичерина.— Здесь письмо генералу Гофману, мы удостоверяем, что согласны на немецкие условия... Вынуждены согласиться,— конверт печально лежал на столе, Петр не торопился его взять.— Выезжаете немедленно.

— В Двинск?

— Да, в Двинск, навстречу наступающим немцам,— Чичерин запнулся. Быть может, он увидел в этот час, как по русским дорогам, скованным февральской наледью, по заснеженным проселкам, большакам и шляхам, от русского юга до севера движется злая немецкая волна.— Пакет надо доставить как можно раньше. Чем раньше...— он не договорил, да в этом и не было нужды, и без того все было ясно.— Вручите пакет и возвращайтесь в Питер,— Чичерин полез в жилетный карман за часами, но потом, вспомнив про стенные часы, поднял глаза.— В путь добрый. Да, возьмите с собой Кокорева, он знает французский, это необходимо.

Разумеется, и один в поле воин, думал Петр, но если рядом с тобой товарищ, силы не просто удваиваются. Быть может, это и имелось в виду, когда решили послать с Петром Кокорева.

И маленький паровозишко с прицепленным к нему спальным вагоном, с белой эмалированной дощечкой «Петроград — Гельсингфорс» устремился в непрочные сумерки февральской ночи.

Предполагалось, что поезд должен быть в Двинске часам к двум ночи, но где-то за Псковом маневровый паровоз сошел с рельсов, и прибытие в Двинск отодвигалось часа на полтора. Поезд будто для того и замедлил ход, чтобы Петр мог получше рассмотреть русскую землю в жестокую эту пору.

В неярком свете февральской ночи снег казался фиолетовым, а серые солдатские шинели — густо-лиловыми, почти черными. Рядом с полотном железной дороги, словно проведенный нетвердой рукой, шел проселок. И всюду на проселке фигуры солдат, точно бегущие под уклон, поторапливаемые попутным ветром. Сил давно нет, только и надежды на ветер. Не дай бог, затихнет.

На исходе первой ночи в поезд поднялись двое военных, едущих навстречу своей части,— старик с белыми бровями и его спутник.

— Какая там стратегия — пустое! — говорил старик. — Если современные средства и масштабы применить к такому делу, как растление совести, размеры катастрофы ни с чем не могут сравниться! — старик держал перед собой руку и как бы видел в ней собеседника, ей говорил, ей внимал. — Да будет вам известно, молодой человек, что в десятиmillionной русской армии сражалось полтора миллиона — остальные торчали в тылу. За спиной каждого окопника, по существу, шесть интендантов! В каком состоянии находилось у этих шести, то бишь восьми с половиной миллионов такое обременительное хозяйство, как совесть? Да и у тех полтора миллионов, которые все это видели: в каком? — рука старика задрожала, трудно было ее держать на весу. — Вы скажете: преувеличивает старик! Наверно, не все шесть были прохвостами, да и вообще сукиных сынов было среди них не так много, — рука старика теперь не просто дрожала, а ходила из стороны в сторону. — Прохвостов из них делали, как делают перчатки и чемоданы. Так сказать, фабрика по изготовлению сукиных сынов! Легальный дезертир, удостоверенный гербовой печатью с двуглавым орлом, дезертир его величества, наконец! — старик с облегчением опустил руку. — Армия, в которой нарушены принципы, не может быть боеспособна, — заключил он сокрушенно.

Тот, кого старик назвал молодым человеком, на самом деле был человеком средних лет, черную шевелюру его уже тронула обильная седина. Только кожа лица, такая же, как волосы, сизо-бронзовая, не отступила перед натиском возраста. Трудно сказать, был ли этот человек профессиональным военным или штатским, только что пришедшим в армию, но полувоенный костюм очень хорошо сидел на нем.

— Нам легче отстоять и сбереечь эти принципы, генерал, — возразил молодой.

— Вы не оговорились, — спросил генерал, — легче?..

— Именно легче, — подхватил молодой. — Армия нарушила принципы потому, что их нарушило общество, в котором она существует. У нас так не будет.

— Простите, а как будет у вас?

— В обществе, основанном на справедливости, это немыслимо.

— Дай бог, — сказал генерал.



Тяжело дышит паровоз — подъем. Дверь в купе открыта. Петру видно: Кокорев курит у окна. Где-то позади невысоко встала луна, и снег за окном слабо светится, как, впрочем, и облака над снежным полем. Когда огонек папиросы Кокорева разгорается, пейзаж за окном меркнет.

— Петр Дорофеевич?

— Да, Вася.

— Вы сказали, человек без оружия не человек.

— Сказал.

— А вам случалось... убивать?

Петр подумал: «Вот сейчас возьму и расскажу об Одессе и Королеве. Расскажу от начала до конца, и все станет ясным Кокореву, а быть может, и мне. Как только тайна перестает быть тайной, она перестаёт быть и бременем... Не открылся Воровскому, а открылся Кокореву, разве не смешно? Если открыться, то Воровскому! Открыться и все понять до конца... Воровскому! А сейчас сердце на замок!»

Под колесами поезда загудели рельсы, и мимо медленно поплыли фермы моста — поезд пересекал реку.

— А зачем убивать... без необходимости?

— А если есть необходимость? — вздохнул Кокорев.

Все еще проплывали фермы моста и под вагоном гудели рельсы.

— Если есть такая необходимость, убил бы, хотя бы-ло бы нелегко.

— А вы смогли бы сказать об этом женщине, которую любите?

Поезд пошел сейчас под гору. Паровоз дымил.

— Нет, не смог бы, — сказал Петр.

— А если бы она спросила?

Дым застлал окна.

— Все равно... не сказал бы.

— Но врать женщине, которую любишь?

Дым схлынул, но в вагоне не осветлело. Луна зашла за тучу. Поля лежали темные, намертво сомкнувшиеся с черным лесом и небом.

— Все зависит от человека, с которым говоришь, — сказал Петр.

— Но женщине, женщине вы скажете эту неправду? — настаивал Кокорев.

== Пожалуй, нет, — ответил Петр.

Они ехали долго. «Нет», «нет», повторенное многократно мощным перестуком колес, гудением рельсов, тревожным вскриком паровоза, стояло в сознании.

— Кто она? — наконец спросил Петр. — Я ее знаю?

— Как-то я слышал, — задумчиво произнес Кокорев, — как вы говорили с Чичериным о Репнине.

Петр вздрогнул.

— Елена Репнина?

— Да, — сказал Кокорев. — Вы ее знаете?

Петр почувствовал, что ответить нелегко.

— Знаю.

Петр пожалел, что сказал Кокореву о Репниной. Его ответ, как заметил Петр, взволновал Кокорева. Он уже ни о чем не спрашивал Белододе. Поздно ночью, когда Петр проснулся, Кокорев все еще стоял у окна. Что-то было в этих людях, Кокореве и Репниной, общее — готовность к жертвам, возвышенное и, увы, беспомощное представление о долге. Однако что так встревожило Кокорева? Не увидел ли он рядом с Еленой Петра? Вновь неярко вздыбились снега за окном, белое ненастье, казалось, вошло в вагон, и лицо Кокорева стало видимым.

Белодед поймал себя на мысли, что не может думать о Елене так, как думал после первой встречи. Тогда он мечтал о встрече Елены и Киры и допускал, что они могут быть подругами. А теперь?

Где-то под Режицами поезд остановился.

Вагон окружили конные немцы. До утра еще было далеко, но поля уже укрыл туман — пахло талым снегом и почему-то сырým бельем. Немцы спешили и поднялись на насыпь. Из окна Петр видел, как долговязый офицер в короткой шинели и крагах тщетно пытался зажечь папиросу — видно, безнадежно отсырели спички.

Не выпуская незажженную папиросу изо рта, офицер как-то смешно забросил длинные ноги и полез в вагон. У немца было смугло-оливковое лицо и черные волосы. Он поднес слабо согнутую ладонь к козырьку форменной фуражки, произнес, не глядя в глаза:

— Соблаговолите... документы...

Да, так и сказал: «Соблаговолите», — и от этого пах-

нуло тоскливым ветром. Не очень укладывалось в сознании, что в русском поле стоит разъезд конных немцев во главе с офицером, говорящим по-русски.

— Значит, вы направляетесь к генералу Гофману? — Офицер вновь взял под козырек и вернул документы. — Парламентеры, так сказать? Ну что ж, я помогу, но... это не просто, — только сейчас он поднял рассеянно-матовые глаза. — Ведь идет война... уже идет.

Он вышел из вагона и тотчас вернулся с двумя солдатами.

Медленно поднялся семафор, поезд тронулся.

Офицер даже не снял шинели, будто зашел в вагон на четверть часа: сейчас поезд подойдет к станции и он выйдет. Кстати, вдоль железнодорожного полотна, поспешая за поездом, движется конный разъезд немцев, и там конь офицера, серый, в яблоках.

Кокорев стоял у окна в противоположном конце вагона и изредка, осторожно смотрел на немца. Петр видел, как при этом сужались глаза Кокорева и вздрагивали ноздри.

— Вам не по душе этот немец больше, чем любой другой? — спросил Петр Кокорева вполголоса.

— Больше, — сказал Кокорев, не оборачиваясь.

— Ведь он небось добрый час простоял на ветру, дожидаясь? — улыбнулся Петр, все-таки его не покидало чувство юмора. — А потом был так вежлив: не крикнул, не вспылил, поверил почти на слово...

— И взял в плен, — добавил Кокорев.

— Погодите, вы сказали, в плен? — Петр уже все понял, однако тона не изменил — он не ожидал, что слово это услышит именно от Кокорева.

— Да, и вы будете находиться в плену столько, сколько хочет немец. — Кокорев взглянул в дальний конец вагона, и вновь ноздри вздрогнули.

— Но... Гофман? — произнес Петр, точно каждое слово Кокорева было для Белододеа откровением, — он подошел к Кокореву ближе.

Кокорев улыбнулся — было приятно, что в столь ответственном разговоре инициатива принадлежала ему. Пожалуй, прежде было иначе.

— Но именно Гофман, а никто иной, прислал этого офицера, прислал и наказал держать вас ровно столько, сколько ему, Гофману, будет угодно.

Петр взглянул на немца: казалось, тот не шелохнулся, продолжал смотреть в окно, за которым спорой рысью двигался конный разъезд и этот конь без седока, в яблоках.

— Ну что ж, я сейчас подойду к нему.— Петр указал взглядом на офицера,— и скажу: напрасно он думает, что обманул меня.

Кокорев потерял руки, не ладони, а тыльные части рук, потерял одну о другую. Лицо его стало меловым, и только зерна пота, рассыпавшиеся по лицу, свидетельствовали, как ему худо.

— Я хочу задать вопрос,— сказал Петр Кокореву, укаывая на немца,— последний вопрос.

Кокорев встревожился:

— Вы хотите пригрозить ему?

— Я просто скажу, что хочу говорить с Гофманом.

— Он откажет, Петр Дорофеевич.

— Вот тогда я пригрожу ему.

Петр увидел, как заалели мочки ушей Кокорева.

— Петр Дорофеевич, не считите мальчишеством,— произнес Кокорев.— Но лучше это сделать мне.

— У вас нет права,— сказал Белодед, сказал с той интонацией, которая не оставляла сомнений: он не передоверит этой обязанности никому.

— Но если немец обратится к оружию, я пристрелю его,— сказал Кокорев, и рука скользнула к заднему карману брюк — маленький браунинг, тот самый, что Кокорев нашел на Охте, был там.

— Этого не надо делать,— возразил Петр.

— Сделаю, Петр Дорофеевич. Не могу не сделать.

— Не надо,— проговорил Белодед, а сам подумал: «А он настоящий, этот Вася Кокорев!»

Петр пошел в конец вагона, где стоял немец. Чем ближе Петр подходил к офицеру, тем медленнее становился шаг. Белодед будто хотел, чтобы, до того как будут сказаны все слова, сам шаг, неторопливо-размеренный и, быть может, грозный, был замечен офицером.

— Господин офицер,— немец продолжал смотреть в окно, будто самое значительное происходило там, где резвой иноходью бежали кони,— когда мы сможем увидеть генерала?

Офицер обратил глаза на Петра, глаза, не лицо — было похоже, что тонкая шея офицера отвердела и плохо поворачивается.

— Мне нелегко ответить на ваш вопрос,— проговорил немец.

— Когда мы можем вручить пакет генералу? — произнес Петр громче — хотелось, чтобы каждое слово было слышно в том конце коридора, где стоял Кокорев.

Квадратные плечи офицера приподнялись, выражая недоумение.

— Не знаю,— сказал немец.

За высокими плечами немца было окно. Дальше — полотно железной дороги. Еще дальше — поле. Светало далеко в стороне, за косогором; очевидно, солнце должно было взойти оттуда. Поезд шел медленно, и конная группа немцев могла двигаться с ним вровень.

— Я хочу вам сказать,— произнес Петр отдельно — когда он волновался, он должен был говорить отдельно, иначе слова наскакивали одно на другое и получалась каша.— Хочу сказать,— повторил он еще четче и медленнее, а заодно и громче: он хотел, чтобы Кокорев все слышал,— ваш план мне ясен.

— Какой план? — улыбнулся немец. Это было похоже на диво: деревянный человек, едва научившийся двигать руками и ногами, вдруг улыбнулся.

— Вам надо удержать нас здесь, чтобы выгадать часы, которые вам необходимы.

Плечи офицера опять выразили недоумение.

— Наверно,— он указал взглядом на лесок вдали.— Гофмана там нет,— он пододвинулся к окну и посмотрел вниз: рядом лежал овраг.— И там нет,— он продолжал смотреть в овраг.— Мы посреди равнины, как посреди моря,— он окинул взглядом заснеженное поле, оно действительно было похоже на море, безбрежное, выпуклое, разделенное надвое червонной стежкой, позади уже встало солнце.— Другое дело, если мы приедем в Двинск,— обнадеживающе вздохнул офицер и тут же добавил: — Но кто знает, когда мы там будем.

Кони продолжали скакать, и лиловые тени стлались по снегу. Солнце лежало еще низко, и тени были велики, едва ли не от дороги, по которой стремились кони, до горизонта.

Поезд остановился, мимо прошли кони, и косогор за-слонил их. Вначале он срезал ноги, потом скрылись кру-пы, только головы еще долго удерживались над белой гладью поля. На память пришла Кубань. Вот так было, когда кони переплывали реку — храбро входили в воду, пофыркивая, задрав свирепые морды, потом вода подни-малась все выше и выше, еще миг — и скроет с головой, вдруг лошадь будто повисла на помочах, и течение подхватывало ее и увлекало. Только морды коней, беспойно-злые, держались над бугристой водой реки.

Поезд сейчас стоял посреди белого поля, и линия го-ризонта огибала его. Нет необходимости даже запирать дверь вагона — иди куда хочешь!

— Другое дело, когда приедем в Двинск,— повторил офицер и даже сочувственно улыбнулся.

Немец оказался не так прост, как хотелось Петру. Этот офицер даже не сделал попытки удержать Петра. Двери вагона открыты — путь свободен, а когда ты дойдешь до цели, вот вопрос. Но и тут офицер не вино-ват. В самом деле, разве можно винить в том, что так велика русская земля? Иди куда хочешь!

А кони уже минули косогор, и их тени странно пере-ломались и тащились по снежному полю точно с вывих-нутыми ногами.

Петр вернулся к Кокореву.

Ранним вечером поезд приблизился к Двинску.

Солдаты вышли из купе (до сих пор они никак не проявляли себя) и встали у выхода из вагона.

— А вот теперь пойду и потребую,— сказал Петр Ко-кореву.

— Петр Дорофеевич, не хочу вас отговаривать, но, быть может...

Кокорев отстегнул карман гимнастерки, отстегнул и вновь застегнул, и Петр увидел близко, у самых глаз, руку Кокорева — красные пальцы с неестественно корот-кими ногтями, заусеницей на безымянном и лиловым ног-тем на указательном (видно, след молотка, который опу-стился на палец ненароком) — типично мальчишескую руку.

— Нет, пойду я,— коротко бросил Петр.

Кокорев поднес ко рту руку, торопливо откусил заусе-ницу и, взглянув на палец, зажал и спрятал — палец был в крови.

Петр подошел к офицеру — он стоял у окна и медленно, с видимым удовольствием расчесывал волосы, они у него что вороново крыло, сизо-черные, блестящие. Закончив расчесывать волосы, офицер принялся приглаживать их. Белые ладони мягко обнимали голову.

— Мы сумеем вручить наш пакет здесь?

Офицер продолжал приглаживать волосы:

— Не знаю.

Поезд стоял в доброй сотне саженей от вокзала. Между поездом и вокзалом — пустые пути, полузанесенные снегом. Кажется, прежде чем закатиться за горизонт, солнце остановилось над землей.

Петр надел пальто, шапку.

— На вокзале есть телефон?

Офицер все еще смотрел в окно.

— Не знаю.

Петр пошел к выходу.

— Вас не пустят, — коротко бросил офицер, впервые в голосе прозвучало раздражение.

Петр спрыгнул на снег.

Офицер сейчас над ним.

— Я буду стрелять!

Но Петр уже зашагал по рельсам.

Какой-то миг тишины, миг раздумья, потом голос офицера:

— Еще раз предупреждаю, вернитесь!

Петр продолжал идти.

Только слышно, как хрустит под ногами снег, затянутый ледком — днем подтаяло, да по рельсам передвигается тень.

Петр считал: раз, два, три... Надо отсчитать три секунды. Если выстрела не будет, можно идти хоть до Минска!

Спина стала чуткой, будто ее немилосердно обожгло. Странное дело, но спина обрела способность ощущать и холодное дыхание снега, и кроткое прикосновение февральского солнца, неслышного на ущербе, и движение ветра, который нажимал меж лопаток прохладно-упругой ладонью.

Кокорев стоял в пяти шагах от офицера, спрятав в рукаве браунинг. Офицер крикнул Петру: «Я буду стрелять!» — однако даже не отвел руки к квадратному бедру, к которому точно прибита кобура с маузером. Навер-

но, кожа на спине офицера стала чуткой не меньше, чем на спине Петра. Позади Петра стоял немец, позади немца — Кокорев.

## 61

В полночь Гофман принял их в полевом штабе где-то между Двинском и Брестом.

Он сидел у раскрытой печи, в которой давно погас огонь, и грел ноги, обутые в толстые шерстяные носки.

— Эти русские болота! — произнес он и указал глазами на окно, будто бы болото лежало у стен дома. — Пропали ноги, пропали — не могу ходить!

Однако работа в русском отделе германского генерального штаба была для Гофмана небесполезна — в русском языке он преуспел немало.

Не раскрывая конверта, Гофман передал его адъютанту, который стоял тут же. Адъютант взял со стола большие канцелярские ножницы, не без удовольствия сломал сургучные печати, надрезал и ловко выдернул нитку.

Адъютант прочел письмо и кивком головы, тихим и сдержанным, дал понять Гофману, что это как раз тот документ, которого ждали в штабе.

Однако это не устроило Гофмана, он взял документ и близоруко рассмотрел одну за другой две странички. Потом поднял глаза, быть может, с намерением протиснуться с русскими, и вдруг увидел Петра.

— А я вас ждал завтра или даже лучше послезавтра. — И, точно застеснявшись, добавил: — Послезавтра я встретил бы вас с большими удобствами.

Петр осмотрелся: на щитах, крытых зеленым бархатом, рыцарское оружие и доспехи, судя по всему, тевтонское — чешуйчатые кольчуги, стальные шлемы, мечи с нарядной рукоятью. Очевидно, германская цитадель на русской земле — усадьба немецкого барона, владельца обширных угодий и сыроварен. Варил сыр и коллекционировал кольчуги.

Гофман указал русским гостям на кресла подле себя, велел принести чай.

— Простите, быть может, вы любите крепкий чай — я завариваю его сам, — произнес он.



Петр отказался, однако Гофман выдвинул ящичек секретера, достал деревянную коробку квадратной формы и, нащупав ногтем линию разреза, отделил крышку — послышался запах сухого чая, остропряного.

— Когда вы из Петербурга?

Петр говорил, но Гофман не слушал — вопрос праздный, но генерал его должен задать.

— Как благополучно вы... — он какое-то время искал слова и с силой выдохнул: — доехали? Кстати, последний вопрос менее отвлечен, чем предыдущий. Вашей поездке не помешали германские... войска? — он не постеснялся спросить об этом, хотя отлично был осведомлен, каналья. — Какой вы увидели армию кайзера? — Ну, это уже сверх меры — да не на комплименты ли он напрашивается?

А между тем вопросы становились все существеннее. Гофман точно стоял за спиной у Петра и кончиками пальцев осторожно, но достаточно настойчиво подталкивал его к главному. Кажется, от долгого лежания вопросы спрессовались в сознании Гофмана и теперь вдруг вырвались с невиданной силой — так высокогорное озеро, созданное людьми, всей тяжестью давит на воду в прорытом тоннеле, и вода словно отвердевает — ею можно и рыть землю и крушить скалы.

Гофман взглянул на щит с оружием и доспехами, потом посмотрел на свои шерстяные носки и вышел в соседнюю комнату. Он вернулся в ярко начищенных сапогах и, прежде чем сесть, какое-то время постоял перед Петром, будто желая дать ему возможность обзреть себя.

— Есть момент, — вдруг заговорил Гофман, — когда армия начинает двигаться сама и никто ей не может сказать «стоп», ни генерал, ни сам император, — он стоял сейчас над Петром со скрещенными руками. — Остановить — значит вызвать... катастрофу.

Петр встал, встал и Кокорев.

— Даже большую скорость можно загасить, — сказал Петр.

Правый сапог Гофмана пришел в движение. Гофман притопывал все энергичнее.

— Но я не могу вас понять, господа большевики! — воскликнул Гофман, он приблизился к столу. — Вы просите мира и забрасываете наших солдат листовками, —

он наклонился над столом.— Вот, вот! Это ваша листовка, господа большевики?

Он протянул Петру лист бумаги такой яичной желтизны, что глазам больно.

— Если это вопрос, то он вряд ли уместен сейчас...

— А мне не надо ответа: и ваша плохая бумага и ваш плохой немецкий язык. Вот, вот, послушайте. Ах, где мои молодые глаза?

Он выдвинул ящик, достал лупу размером с чайное блюдце и безбоязненно поднес к лицу — губы, а за ними нос угрожающе вздулись.

— Вот посмотрите, нет, только посмотрите! — желтая бумага в руках дрожала.

А Петр смотрел на Гофмана и думал — все недруги обратились для Петра в Королева! Все, кто обременил своим злым сердцем землю, все, кто жег ее недобрым пламенем, все, все.

— Вы могли бы убить такого? — спросил Петр Кокорев, когда двумя часами позже (беседа с генералом была отнюдь не лаконичной) они покинули штаб Гофмана.

Кокорев оглянулся на Петра.

— Не можете забыть нашего разговора?

— Не могу.

Внизу вспыхнули и погасли фары — там ожидала немецкая машина, она должна была доставить их на вокзал.

62

Поезд пришел в Петроград уже под утро, и прямо с вокзала Белодед направился в Смольный. Казалось, город и не помышлял об опасности, которая над ним нависла. Дворник в фартуке совсем довоенной ослепительной белизны и свежести двигался по мостовой, размахивая метлой, как косой. Он был заведен на века, этот дворник. Чалая лошаденка, впряженная в дровни (откуда они — с Охты или Мги?), тащила воз соломы — не каминны ли топить? Перед Таврическим стоял солдат с красной повязкой на руке. Солдат был мал, а колонны дворца стройны, торжественно строги и немислимо высоки,

но солдат смотрел на них так, точно они были ему по плечу.

А Смольный, как всегда, не спал. Там, где парадная лестница Смольного достигает третьего этажа, Белодед встретил Чичерина.

— Ленин ждал вас к полуночи, потом к рассвету, а сейчас,— Чичерин достал из жилетного кармана часы,— поди, уже семь, а?

— Восемь,— проговорил Петр.

— Даже десять минут девятого,— поднес к глазам часы Чичерин.— Вы не так быстро,— сказал он Петру.— И я полуночник, но в это время даже я сплю,— он пошел тише.— А когда не сплю, начинают болеть лопатка и пальцы,— он раскрыл ладонь, медленно пошевелил пальцами.— Да, пальцы немеют,— сердце, не могут идти так быстро.

— Гофман подтвердил получение пакета? — спросил Петр.

Георгий Васильевич поднял лицо — они вошли в тень.

— Да,— Чичерин бросил на Петра быстрый взгляд, слишком быстрый для того состояния, в котором сейчас находился.— Немцы прекратят наступление? — спросил он.

— Трудно сказать,— ответил Петр.— Положение остается серьезным.

Они прошли к Ленину, но Владимир Ильич не смог принять их: он беседовал с военспецами и просил быть минут через сорок, а пока не терять времени даром и переговорить с Троцким.

Едва заметным кивком головы Троцкий дал понять, что он заканчивает работу и просит подождать. Петр видел широко расставленные локти Троцкого, круглую — колесом — спину, жилистую шею, волосы, лежащие крупными, небрежно зачесанными прядями. Петр не без зависти смотрел, как небольшая, крепкая рука бежит по бумаге и очередная страничка мягко ложится на стол. В сознании Петра это отождествлялось с плоскочечатной машиной, работу которой он однажды наблюдал в Берне,— даже воздух не успевал расступиться перед очередным листом, падающим с машины. Прежде чем лечь в стопку, страничка какую-то секунду удерживалась в воздухе, мягко пружинила. Троцкий выстреливал странички

со стремительностью и ритмичностью машины, разве только не укладывал в стопку, а небрежно устилал стол. Петр смотрел и думал: как должны выстроиться мысли, если вот так, без сучка и задоринки, не останавливаясь и не сбавляя темпа, можно выдохнуть статью. Видно, и в самом деле Троцкий заканчивал работу — странички вылетали со все увеличивающейся скоростью. Одна упала на стул, другая легла на подоконник.

Троцкий бросил перо, устало повернулся и позвал секретаря. Вошел секретарь — тучный юноша с шафрановым лицом и стал укладывать в стопку странички.

А Троцкий снял пенсне и, приблизив его к настольной лампе, принялся протирать. Тонкие пальцы Троцкого без удовольствия прощупывали стеклышко. Глаза, освобожденные от пенсне, утратили природный блеск и живость, стали непривычно плоскими и сонными. Троцкий, точно догадавшись об этом, надел пенсне и прозрел.

— Так вы были у Гофмана? — спросил он, поворачивая стул к Петру — это Троцкий сделал ловко, не вставая со стула. — И он держался непримиримо?

Петр подумал: откуда он знает, как держался Гофман? Ведь Чичерина Троцкий не мог видеть. Впрочем, сказать: «Он держался непримиримо» — все одно что ничего не сказать. Если речь идет о Гофмане, нетрудно догадаться, что он держался именно непримиримо.

— Да, он был выше неба, — произнес Петр.

Троцкий остался строгим.

— Пригрозил: «Если вы откажетесь от договора, мы тряхнем вас всей нашей мощью»? Пригрозил? Так ведь?

Петр недоуменно посмотрел на Троцкого: «Вот дьявол, он уже все знает!» Впрочем, достаточно ли оснований у Петра считать Троцкого провидцем? В самом деле, если Гофман держался непримиримо, что подтвердил Петр, то, разумеется, он мог пообещать привести в действие немецкую мощь. Нет, никакой прозорливости тут нет.

— Да, смысл его ответа был именно таким, — согласился Петр.

Троцкий встал, встал бурно, нет, он не так устал, как предполагал Петр.

— И он сказал, что через два дня они будут в Пскове, а еще через день в Петербурге! Сказал он так или не сказал?

Петр выругался про себя, выругался крепко, как еще, наверно, не ругался со времени Кубани. Нет, это все-таки похоже на диво: у Гофмана был он, а Троцкий точно, в деталях (самое удивительное, проклятые подробности — их не придумаешь!) воссоздает беседу Петра с Гофманом.

— Да, он говорил и о Пскове и о Петрограде, — подтвердил Петр.

— И вы, очевидно, думаете сейчас о том, сидел ли я во время вашей беседы с Гофманом под его письменным столом, на котором лежит фотография жеребца? Думаете вы сейчас об этом, нет, скажите искренне, думаете?

Петр рассмеялся:

— Чего греха таить, вы так точно рассказывали, мог подумать и об этом!

Троцкий теперь шагал по комнате.

— Так я могу сказать вам: я там не был, но знаю, понимаете, знаю! — комната была просторной, и Троцкий мог шагать быстро. — Псков и Петербург! Слыхали? Псков да еще Петербург! Вот бурбон! Потрудился бы взглянуть на календарь, который стоит под его носом! Какой нынче год? Восемнадцатый! Что он понимает, этот жирный пингвин! Все пойдут в тартарары, только время останется. Время не стареет!

Троцкий шагал по комнате, убыстряя шаг, и это разогрело его, прибавило огня глазам, густоты голосу, резкости жестам. Он говорил, а Петру казалось, что Троцкий все еще сидит за столом и выстреливает свои странички.

Потом он вдруг умолк, удивленно посмотрел на Белодеда, до сих пор он не смотрел на него.

— Простите, товарищ, вы родились на русском юге?

— Да, Лев Давыдович, на Северном Кавказе.

Троцкий обрадованно закивал головой.

— Вот, вот. Я почувствовал это по вашему говору. Значит... из крестьян?

— Да, в прошлом сын кузнеца, потом ушел в город.

— Это хорошо, я это сразу заметил, — он все еще был рад, что угадал в Петре южанина, потом стал мрачнеть,

мрачнеть неудержимо.— А Гофман порядочная скотина! Правда ведь?

Петр вышел от Троцкого обескураженный. Безостановочно стучала печатная машина, и бумага складывалась в аккуратную стопу. Что произошло с Петром только что? Ездил бог знает куда, был на свидании с самой смертью, рассек немецкий фронт от пуповины до кадыка, видел все, что может увидеть человек, благополучно вернулся и вдруг обратился в куль угля, в железную тумбу! Да, в тот самый момент, когда твое слово обрело цену золота (нет, не потому, что ты семи пядей во лбу, а потому, что видел то, чего не могут видеть другие), вдруг лишиться языка! Если бы в немецкий тыл свозить памятник Скобелеву, он бы наверняка рассказал больше. Такого позора еще не бывало! Быть может, в этом повинен не только Петр? Троцкий. Честное слово, это не признак энергии и деловитости. Деловитость корректна, она предполагает внимание.

— Петр Дорофеевич, по моим расчетам военспецы уже ушли.— Навстречу шел Чичерин, он сказал «военспецы» так, чтобы слышал Подвойский, который появился из-за поворота.— Простите, Петр Дорофеевич, у меня несколько слов к Николаю Ильичу,— короткий разговор с Подвойским в полутьме смольнинского коридора несбыкновенно воодушевил Чичерина.— Нельзя пренебрегать опытом военспецов,— сказал он Петру.

«Георгий Васильевич истинный феномен,— подумал Петр.— Вряд ли Подвойский догадывается, что Чичерин за свою долгую и многотрудную жизнь не держал в руках оружия». Петр пошел тише. «Но какой толк, что оружие держал в руках ты?»

## 63

В кабинете Ленина точно никого и не было: тихо, свежо. Впрочем, в комнате легкий запах лаванды — никто так не любит душиться, как военные.

— А я вас заждался! — приветствовал Ленин Чичерина и Белодода.— Все думал: как он там... гонец? Садитесь вот сюда, хочу вас видеть.

Наверно, и это ему важно — видеть. То, что не сумеет сказать Петр, доскажут глаза.

— Вы приехали часа два назад?

— Полтора.

— Как долго ехали туда?

Петр задумался, обычные вопросы для начала беседы, очевидно, разведка, легкая, подвижная.

— Где принимал вас Гофман?

— В пригородах Двинска.

— Полевой штаб?

— Так мне показалось.

— Как выглядит Гофман?

Медленно открылась дверь, вошел Троцкий.

— Я спрашиваю Петра Дорофеевича, как выглядит Гофман.

Ленин точно хотел сказать Троцкому: «Ваше мнение знаю, мне хотелось теперь знать, как воспринял Гофмана Белодед».

— Я смотрел на Гофмана,— сказал Петр,— и казалось, что попал в натуральный класс Академии художеств.

Ленин улыбнулся, впрочем, улыбнулся и Троцкий, хотя все еще смотрел хмуро.

— Небось явился в парадном мундире, как победитель к побежденному? — заметил Ленин.— Немцы это любят.

— Да, в парадном,— ответил Петр без энтузиазма.— Чуть ли не в каске с шишаком! Жива в них тевтонская природа. Если б мог надеть рыцарский шлем с рогами, натянул бы! Кстати, этот наряд больше подходит Гофману,— сказал Петр.

— Тевтонский? — переспросил Ленин.— Не сторонник ли он древнегерманской доктрины: первый удар по восточному соседу, потом по всем другим?

— Да, сегодня это его доктрина. Гофман сказал: «Первую вину и бог прощает».

— Однако его русский язык не так примитивен?

— Да, к войне с Россией он подготовился основательно.

Ленин встал. Петр заметил: он делал это каждый раз, когда возникала потребность что-то додумать, до конца освоить. Видно, Петр сказал Ленину нечто такое, что тот еще не знал.

— Но он действительно солдафон, лишенный интеллекта?

Петр помедлил с ответом. Ему вновь показалось, что Ленин продолжает спор с невидимым противником, страстно возражает, урезонивает, вразумительно убеждает.

— Нет, я не увидел в нем просто солдафона, не считают его только солдафоном и русские военные, с которыми я беседовал, они находят, что Гофман куда одареннее всех германских стратегов, включая Людендорфа и Гинденбурга. В том, как он осуществил Танненбергскую операцию, были и расчет и глубина мышления.

Ленин пододвинул к окну стул и, поднявшись на него, открыл форточку. Он сделал это очень легко, с видимым удовольствием. «Если после бессонной ночи,— подумал Петр,— у него сохранилась такая потребность, наверно, он очень здоров».

— Мне говорили военные, что он критиковал Людендорфа, и достаточно зло,— сказал Ленин.— Эта смелость опиралась на авторитет или заступничество высокого лица?

— Мне так кажется, и на авторитет,— сказал Петр.— Не в наших интересах оглуплять его, тем более что тридцать дивизий, которые все еще идут на нас, сила реальная.

Наступила пауза. Встал Троцкий и медленно пошagal в противоположный конец комнаты — там на тумбочке стоял графин с водой.

— Пакет был вскрыт, разумеется, до вас? — спросил Ленин.

— Нет, при мне и досконально исследован.

— В самой реакции не было ничего импровизированного? — настаивал Ленин.— Все спепетировали заранее?

Петр попытался сосредоточиться. «В самом деле, как реагировал на письмо Гофман? Что было в этой реакции главным, какими подробностями сопровождалось?»

— Он пытался внушить: «Легче начать наступление, труднее остановить». В военном деле есть пора, старался доказать Гофман, когда командование утрачивает власть над войсками,— начало наступления... Он повторил дважды: «Когда машина набрала скорость, привести в действие все тормоза — значит разбиться в пух и в прах»,— добавил Петр и мельком взглянул на окно.



За окном разыгралась пурга, время от времени ветер подбирался к самой форточке и бросал в комнату щепотку снега — снег был по-февральски мягким и бесшумно падал на пол. Чичерин тоже поглядывал на окно и потирал зябнущие руки.

— У вас создалось впечатление, что автомобиль Гофмана все еще мчится?

— По-моему, да... при этом на скорости большей, чем вчера.

— Это инерция?

— Думаю, замысел.

— Это всего лишь ваше предположение?

— Нет, я опираюсь на то, что видел своими глазами: на восток идут эшелоны с тяжелой артиллерией, боеприпасами и горючим.

— Вы сказали: с тяжелой артиллерией и горючим? Что это значит, по-вашему?

— Еще три дня наступления, и немцы смогут обстреливать Питер...

Ленин искоса взглянул на стенку справа: там висела карта Европейской России. Он будто бы еще раз измерил маршрут немецкого наступления: Минск — Псков — Питер. Все пути были точно на ладони.

— Еще вопрос: в этом единоборстве Людендорф — Кюльман немцы не так монолитны, как нам кажется. Чью сторону представляет Гофман?

Петр подумал: «Вот здесь мои познания и кончились, но как признаться в этом?»

— Мне кажется, сторону Людендорфа... Но, отправляясь к Гофману, я, откровенно говоря, не думал об этом.

— Нам надо думать и об этом... Как ведет себя русское офицерство в местах, которые вы проезжали?

— В Двинске офицеры надели погоны.

Рука Ленина, припавшая ко лбу, печально замерла.

— А мог бы я вам задать еще один вопрос: как вы понимаете все, что увидели в эти дни? Что скрыто за поступками немцев, какой расчет?

Петр задумался: видно, Ленин хотел, чтобы Белодед не просто отвечал на вопросы, отвечал неторопливо и точно, но и оценил все, что увидел в эти дни, обстоятельно взвесил и определил.

— Войсками забиты все дороги: шоссейные, грунтовые, железные,— сказал Петр.— Такое впечатление, что у немцев нет Западного фронта, есть только Восточный. Очевидно, им нужен здесь успех. Даже сегодня у них нет уверенности, что он достигнут.

Петр оглянулся и неожиданно встретился с взглядом Троцкого. Его глаза были полны печального внимания.

— Движение германского вала не остановится? — спросил Ленин.

— Я это видел, возвращаясь от Гофмана: немцы идут.

Троцкий встал, едва не опрокинув стул.

— Даже человек, напоровшийся на пулю, еще продолжает идти,— сказал он и взял стакан.

— Вы полагаете, германцев можно уподобить смертельно раненному? — спросил Ленин.

Петр взглянул на руку Троцкого, охватившую стакан, он обратил внимание на то, что ногти Троцкого чуть-чуть подкрашены.

— Нет, почему же? Их рана пока не смертельна, но достаточно серьезна, чтобы не только угрожать другим, но и подумать о собственной голове.

Ленин сейчас смотрел, как в хрупких руках Троцкого вода осторожно переливается из графина в стакан.

— О собственной голове? — произнес Ленин, искренне заинтересованный, чем кончится операция с графином и стаканом.— А по-моему, надо ударить во все колокола и поднять народ.

— Но тогда какой смысл идти на договор? — спросил Троцкий, он пил воду короткими глотками, как пьют вино, не торопясь, удерживая прохладную влагу во рту, даже смакуя.— Очевидная истина: одно исключает другое.

— Очевидных истин меньше, чем мы иногда думаем,— сказал Ленин, он сказал «мы», щадя Троцкого.— В данном случае как раз одно не исключает другого.

Троцкий допил воду и, возвратив стакан на стол, удобно устроился — он был подчеркнуто нетороплив, точно выгадывал время: чем дольше, тем надежнее.

Петр рассмотрел сейчас, что розоватые ногти Троцкого были приятно удлиненной, миндалевидной формы. И Белодед вдруг подумал, что этот человек, очевидно,

долго и упорно готовил себя к тому, чтобы занять нынешнее положение (при этом не только изучал историю и языки — как заметил Петр, в его английском были и подвижность мысли и блеск), и говорить с трибуны, и носить костюм, и ходить, повинуясь незримому ритму, и безошибочно знать, какие галстуки и какой формы усы тебе к лицу, и вот так искусно подкрашивать ногти, и... Петр обратил взгляд на Ленина, увидел аккуратно заштопанные рукава и подумал, что, наверно, и он готовил себя всю жизнь к этим тревожным дням, но, очевидно, многое, что было свойственно одному, оставалось чуждым другому... В этом доме, полном людей в кожанках и рабочих блузах, у Троцкого была тропа, по которой ходил только он.

— Ничего еще не ясно! — воскликнул Троцкий, обращаясь. — Все может измениться к лучшему в один момент. Все может взорваться у них и обратиться в прах.

Троцкий подошел к окну. Медленно вызревал белеющий питерский рассвет. Сыпал снежок. Сквозь непрочную пелену проступали очертания соседних крыш и округлые линии смольнинской церкви, сейчас однообразно желтой. Троцкий не отрывал взгляда от окна — так легче было совладать с собой.

Ленин все так же сосредоточенно смотрел на него.

— Настало время сказать: конец революционной фразе! — произнес Ленин жестко. — Если договор не будет подписан, хотим мы или нет, а хорошую революцию сдадим на слом.

Троцкий, точно оттолкнувшись от окна, устремился к столу.

— Но надо призвать народ к отпору. Оружие? Мы добудем его в борьбе. — Он поднял голову, и, как это бывало с ним в минуты полемических стычек, губы побледнели и вздрогнули.

— А я не буду больше спорить! — сказал Ленин добрым, больше того, кротким голосом, которым произносил самые категорические суждения, и придвинул стопку влажных листов, только что принесенных из типографии. — Политике революционной фразы пришел конец. — Он прямо посмотрел в глаза Троцкому. — Если она будет продолжаться... — он помедлил, точно раздумывая, говорить то, что решил сказать, или повреме-

нить.— Лев Давыдович, вы помните, как я поставил вопрос на последнем заседании ЦК? Очевидно, у меня нет необходимости повторять это вновь?

Ленин ни разу не показал, что тяжелое единоборство, длившееся почти три месяца, выиграно им, Лениным, и это дает ему какие-то преимущества. Не показал до той самой секунды, пока не заметил, что Троцкий игнорирует этот факт. Продолжать разговор в прежнем тоне — значит поощрить Троцкого, да это и не в правилах Ленина. Владимир Ильич дал понять, что следует от слов перейти к делу. Он показал, что точно и жестко реализует это преимущество.

А сейчас Ленин был занят типографскими оттисками. Он осторожно отделил один влажный лист от другого, разложил на столе. Взгляд Петра упал на четвертушку бумаги, исписанную стремительным ленинским почерком с характерными отпечатками пальцев наборщика. Последние две строки были подчеркнуты: «Социалистическое отечество в опасности! Да здравствует социалистическое отечество!» Видно, Ленин написал воззвание ночью и тут же отдал в набор.

— Георгий Васильевич,— отнял Ленин глаза от бумаги, которую читал,— как у вас там, в международном праве, есть такая формула: «Подписать договор — значит собрать силы»? Так, кажется?

— Именно,— произнес Чичерин, оживившись, и в усталые глаза впервые в это утро проник свет.— «Мирный договор при поражении есть средство накапливания сил».

Ленин прошел комнату из конца в конец, остановился перед картой Европейской России.

— Не думаете ли вы, Георгий Васильевич, что блокада военная отныне будет сопровождаться блокадой дипломатической?

Петр отметил: фраза, которая до сих пор могла быть адресована Троцкому, сейчас была обращена к Чичерину. Очевидно, во внешних делах России начиналась новая пора.

Битва за Брест, кажется, достигла своего апогея. И вновь Петру пришла на память фотография: Ленин, играющий в шахматы... И сжатые кулаки на коленях. И устремленная вперед фигура. И котелок, чуть-чуть сдвинутый на затылок. И спина, выражающая упорство.

И, разумеется, улыбка. Да, сжатые кулаки и улыбка!.. Напряглась мысль, мысль. Все во власти человека и его воли. Битва за Брест достигла своего апогея. И еще: наверное, у каждого творческого человека, будь он поэт, зодчий или ученый, есть создания, без которых нельзя составить представления о нем самом. Теория развития органического мира — у Дарвина, «Фауст» — у Гете, условные рефлексы — у Павлова... У Ильичева гения есть тоже имя. Октябрь — это Ленин. Брест — тоже Ленин.

#### 64

Петр вернулся домой в первом часу дня и никого не застал. Наверно, мать поехала на Охту за хлебом. Засыпая, Петр вспомнил холодноватые сумерки кабинета Ленина, мерзнувшие руки Чичерина, гремящий наперекор холоду и усталости шаг Владимира Ильича. И эти слова Ленина о блокаде военной и дипломатической, обращенные к Чичерину. Нет, для Ленина Чичерин был не просто более профессионален, искушен, опытен, неизмеримо более соответствен, быть может, благодаря своему происхождению и даже опыту жизни для общения с тем миром. (Психологически человек такого типа, как Чичерин, мог рассчитывать на известное доверие того мира — репнинская проблема!) Но не только это, как думает Петр, определило решение Ленина, и, наверно, не столько это. Брест оставался самой больной болью России. Еще предстояла наихудшая борьба, и Ленин хотел, чтобы рядом был человек, который и во взглядах на брестскую проблему был бы его единомышленником, а не антагонистом.

Петр проснулся, когда окна были занавешены тьмой и где-то в другом конце дома неожиданно громко стучали часы, так стучат только на рассвете.

...Поезд уже отошел, когда принесли отпечатанный на машинке список делегатов и экспертов. Белодед пробежал список: Соловьев-Леонов — человека с такой фамилией Петр знал в Одессе. Роман Соловьев занимался самообразованием и не без помощи немцев-колонистов, живущих на север от Одессы, учил язык. Петр

помнит, что был он долговязым, сероглазым, ходил в льняных косоворотках, расшитых болгарским крестом, и любил цитировать Ницше. Бывая в Одессе, Петр видел его и в двенадцатом году и, кажется, в тринадцатом. В пятнадцатом его уже не было — говорили, уехал в Америку.

Воспоминания, точно костер на ветру, разгорались все ярче, новые детали возникали в памяти. Петру захотелось повидать Соловьева-Леонова, и он пошел по вагону. Однако ни бороды, ни льняной косоворотки, ни, как показалось Белодеду, серых глаз он не приметил. «Очевидно, это какой-то другой Соловьев», — сказал себе Петр и перестал думать — костер так же быстро погас, как и разгорелся.

Поздно вечером в дверь купе кто-то постучал, постучал настойчиво:

— Простите, не здесь ли товарищ Белодед?

— Да, пожалуйста.

Видно, человек обладал здоровьем завидным — рука с такой силой рванула вагонную дверь, что та чуть не сорвалась с колесика.

— Петро!

Конечно же, это был Соловьев-Леонов, разумеется, без бороды и льняной косоворотки, но все остальное было при нем.

Первые полчаса беседа развивалась стремительно: сшибались имена, годы, города. Потом неожиданно вторглось молчание.

— Как там за большим морем? — наконец спросил Петр, поддвигаясь к Соловьеву и чувствуя плечом упругое плечо. — Как Америка?

— Новый свет, новый! — подхватил Соловьев. — Нет, не другая сторона земли, другая планета!

— Погоди, а ты... Троцкого на той планете не встречал?

Соловьев внимательно посмотрел на Петра:

— А ты откуда знаешь? Встречал.

— Ну и как он там?

Соловьев сжал плечо Петра большой и доброй ладонью.

— Утро вечера мудренее, Петро. Оставим что-нибудь и на утро.

— И на том дай бог!

Поезд шел медленно — к утру не добрались и до Пскова. Вьюжило, неярко отсвечивали стянутые льдом озера и реки. В Новоселье в вагон поднялся старик железнодорожник. Из-под шерстяного платка торчал околыш форменной фуражки.

— Как вы поедете дальше, ума не приложу, — сказал старик и, подув на красные с мороза пальцы, осторожно пошевелил ими. — На всех путях эшелоны с войсками! Если и выколотишь эту пробку, все одно в реку упрешься — мост взорван!

Петр повел старика в салон-вагон — там собралась делегация.

— Взорван мост, — сказал старик, войдя в салон, и, размотав платок, поправил фуражку.

— Простите, но дрезина есть в Новоселье? — спросил Иоффе.

— Если не дрезина, то хотя бы дровни? — добавил Петровский.

— Есть и одно и другое, — сказал старик и переложил платок из одной руки в другую. — Но ведь моста нет.

— На дрезине добраться до моста, а на дровнях через реку, — нашелся Карахан.

Решили протолкнуть поезд до моста, а пока суть да дело — послать вперед дрезину. Но до моста добрались лишь на следующее утро. Добрались и наняли дровни. На них и въехали в Псков, прямо к подъезду гостиницы «Лондон», а позже к входу в кирпичный особняк, где разместились псковская комендатура немцев, — делегация хотела быть в Бресте не позже двадцать восьмого.

Поезд прибыл в Брест в час дня.

Седой полковник, худой и длиннорукий, с огненно-красной кожей, точно вырос из земли:

— Генерал Гофман поручил мне от имени делегации его величества германского императора... — без видимых затруднений проговорил он по-русски, в то время как глаза, уставленные на Чичерина, угрожающе расширились.

Чичерин терпеливо слушал немецкого полковника, потупив взор. Но каждый раз, когда Георгий Васильевич поднимал глаза и взгляды встречались, бледность трогала щеки Чичерина.

— Герр полковник Шлобуттен,— произнес Чичерин.— Судьба-баловница где-то сталкивала нас. Генеральское консульство в Москве. Прием в день рождения германского императора?

— Господь милостивый, пощади раба твоего! — вдруг вырвалось у полковника, и краска испуга, а может и смятения, залила щеки, победив природную красноту кожи.— Так это же было еще в том веке!

— Нет, в том не могло быть! — улыбнулся Чичерин, самообладание вернулось к нему.

— Я начинал свою службу в Москве в том, а кончил в этом веке,— заметил полковник, он воспользовался этой возможностью, чтобы реабилитировать себя.

— Ну вот, после того как мы уточнили это важное для нас обоих обстоятельство, можно вступить и на землю Бреста,— казалось, Георгий Васильевич сделает еще одно усилие и обратит полковника в прах, но Чичерин неожиданно обнаружил великодушие.

— Генерал Гофман... от имени... приветствовать вас,— возобновил речь полковник механически.

— Благодарю,— сказал Чичерин и вместе со всеми направился в противоположный конец перрона, откуда можно было пройти на привокзальную площадь.

Автомобили медленно пересекли Брест (Петр мог счесть себя провидцем: здешние церкви действительно были чем-то похожи на костелы), прошумели по мосту и въехали в пределы крепости. Крепость была велика. Стены лежали дальше, чем мог объять глаз, но Петру показалось, что они составляли замкнутый круг. В круг было вписано несколько зданий, и среди них церковь и каменный особняк, построенный без претензии, однако довольно нарядный.

— Это и есть белый дворец,— сказал Шлобуттен.— Договор будет подписан там! — Он многозначительно поднял палец.

Петр вышел из автомобиля и зашагал прочь от особняка.

— Вот куда явилась Россия за позором своим.



Петр поднял глаза: Солсбъев. Туча тучей. Точно и не спал в дороге — лицо поросло зеленью.

Когда Петр вошел в комнату Чичерина, Георгий Васильевич стоял у окна и смотрел на лошадь, гарцевавшую вокруг дерева.

— Мне показалось, Георгий Васильевич, что в этом диалоге с полковником на вокзале... В момент, когда полковника можно было кончить одним ударом, вы вдруг пощадили его.

— Пощадил? — спросил Чичерин, и Петр увидел, как настороженно-гордо взметнулась борода, хотя глаза все еще следили за лошадью.— Иногда выгоднее пощадить противника, чем разнести его. Ничто так не обнаруживает поражения противника, как такого рода пощада, и вместе с тем она дает возможность сохранить отношения. В дипломатии не следует спешить рвать отношения даже с врагом. Я вам это докажу.

Сейчас они сидели за маленьким письменным столом, накрытым зеленой тканью, и Чичерин излагал план беседы Петра с Гофманом.

— Нет, это не диверсия, а операция, если хотите, тактический маневр,— говорил Чичерин.— Все хорошо запомните, и детали, именно детали...

Как это было перед визитом к Набокову в Лондоне, Чичерин взял карандаш и, положив между собой и Петром бледную ладонь, как бы начертил несколько имен, повторяя: «Белодед», «Гофман», «Шлобуттен».

— Я звоню полковнику Шлобуттену,— Чичерин указал кончиком карандаша в ту часть ладони, где невидимо обозначалось имя полковника,— и прошу, чтобы он вас принял сегодня. Первое: вы и Шлобуттен,— карандаш соединил два имени.— Повод: распорядок ближайшего заседания. Вы говорите с ним по-русски и изредка по-английски, по-английски обязательно. Разговор должен продолжаться не меньше двадцати — тридцати минут. На уточнение собственного распорядка — десять минут. Все остальное свободный полет. Что именно? Не вас мне учить. Попытки японских купцов проникнуть в Австралию и Южную Америку. Американские коммерсанты на стокгольмской бирже... Впечатления, разумеется, чисто светские, о Европе, какой вы видели ее, и обязательно мысль о том, что немцы напрасно отвергли Стокгольм как место переговоров,

это вредит их престижу. Повторяю: обязательно Стокгольм. Он не тверд в английском, однако любит по-английски говорить. Я так думаю: вас захочет видеть Гофман, возможно, тут же, не отказывайтесь. Нас в этой беседе интересует одно...

Чичерин изложил Петру свой замысел. В беседе с Гофманом Петр представляет только себя. Все, что он говорит Гофману, лишь его, Петра, мнение. Мнение Белододеа? Русским стало известно, что немцы хотят наказать их за отказ заключить договор 10 февраля. Очевидно, немцы готовят новый проект договора, много тяжелее против прежнего. Замысел: Россия искренне желает мира, однако Германии нет смысла испытывать ее терпение. Разумеется, угрозы не в характере новой России, но есть объективные факторы, с которыми должны считаться и немцы... И еще: Петр помнил вопрос Ленина о единобрстве Людендорфа с Кюльманом и в этой связи о позиции Гофмана? Георгий Васильевич просил Петра иметь в виду: эта проблема продолжает интересовать его, Чичерина, и, он так думает, Ленина.

## 66

Встреча с Шлобуттенем была назначена на четыре. За пятнадцать минут Петр вышел из дому. Был ранний вечер, не по-февральски ясный, с красным небом и фиолетовыми тенями. Звонили к вечерне, и удары колокола; размеренные и неторопливые, плыли над Брестом, отражаясь в черепичных, железных, цинковых крышах, в крепостных стенах, в булыжных и кирпичных мостовых.

И, побеждая все звуки, арабский скакун торжественно нес по городу всадника, облаченного в кожу — кожа была красновато-коричневой. Она блестела, и фигура на коне, как, впрочем, и сам конь, казалась бронзовой. Улицы опустели. Их покинули даже немецкие солдаты, и было жаль, что пропадает такое величие: всадник с тяжелыми плечами, красно-коричневый хром, облегающий плечи, недвижимо торжественная стать всадника, как и гордая иноходь коня, и цокот копыт, и осторожный посвист плетки. Жаль было и иного: какой смысл пристраивать к грузовику зыбкий помост и вталкивать лошадь

на грузовик, а потом сооружать над головой коня фургон, чтобы скакун не простудился, и везти через прикарпатские и привисленские поля с сожженными деревьями, через реки, через болота, где по горло в воде лежат солдаты, через половину Европы, чтобы знатный всадник проскакал на породистом том скакуне по пустым улицам русского города? Однако кем мог быть всадник, чьи округлые формы, в сущности, были копией всех памятников германской доблести и гордыни? Туман замутил перспективу, и что-либо рассмотреть было трудно.

К пяти часам брестского времени английский язык Петра и соответствующая тирада, касающаяся шведской столицы, сработали, и полковник Шлобуттен пригласил Белодеда в кабинет шефа.

Увидев Петра, Гофман встал, неторопливо стянул перчатки и, бросив на стол, сделал несколько шагов, как показалось Петру, рассчитанных. Он точно хотел сказать Петру, что нормы вежливости в какой-то мере должны распространяться даже на немецкого генерала, вступившего на неприятельскую землю, если он интеллигентен.

Они обменялись рукопожатиями, и Гофман возвратился в кресло.

— Старые солдаты даже в безвыходных обстоятельствах предпочитают не говорить на языке врага,— произнес Гофман по-английски и покраснел — собственно, покраснели уши, а все лицо оставалось бледным.— Но это предрассудки! Ни один язык немцу не дается так легко, как английский,— он испытующе посмотрел на Петра, добавил смеясь: — Я имею в виду лексику, не произношение! Короче, люблю говорить по-английски! Тот раз в Двинске вы обмолвились, что шесть недель назад были в Лондоне?

— Пять с немногим, господин генерал,— возразил Петр.

— Нет, нет, я понимаю, что англичане хотя бы формально остаются союзниками России, и отнюдь не покушаюсь на военные тайны,— его крупные уши продолжали пламенеть.— Лондон интересует меня чисто человечески. Я вам признаюсь, люблю Лондон. Нет, не туманы и дымы, а его мокрые парки и камни, его строгую красоту, которая хороша и без солнца.

— Когда я уезжал,— сказал Петр,— в Лондоне уже думали о весне и в Гайд-парке продавали первые подснежники. Англичане звали их подснежниками победы.

Странно, но на сей раз чуткие уши Гофмана точно не восприняли этой фразы — они медленно погасли.

— Каждый народ видит в подснежниках этой весны подснежники победы,— подтвердил Гофман и всмотрелся в толстое стекло, которым был укрыт стол, как в зеркало; только сейчас Петр рассмотрел под стеклом большую, в четверть стола, фотографию гофмановского скакуна, точнее, фотографию головы лошади — конь ярился, и в гневных глазах, сейчас обращенных на хозяина, хлопотало пламя. (Не об этой ли фотографии говорил Троцкий?) — Да, подснежники победы,— повторил Гофман, как припев, лишь бы думать о чем-то совсем ином, что не имеет никакого отношения ни к подснежникам, ни, быть может, к победе.— Господин Белодед, я хотел бы говорить о деле, говорить напрямик,— неожиданно перешел он на русский и не устоял перед искушением произнести это выразительное русское слово «напрямик». — Могу я это сделать?

— Да, пожалуйста,— сказал Петр, а сам подумал: «Нет, не английский и не ложная тоска по английской столице определили его интерес к этой беседе. Очевидно, то, что он имеет сказать сегодня ему, Петру, он давно хотел сказать кому-то из русских, и это для него важно. Наивно думать, что, решившись на эту встречу, какие-то задачи припас только ты».

— Господин Белодед, в этот свой приезд в Брест русские действительно хотят заключить договор?

«Возможно, Гофман спрашивал искренне, в конце концов он серьезно верит, что такого желания у русской делегации прежде не было», — думал Белодед.

— Это будет в не меньшей степени зависеть и от делегации германской.

— Каким образом, господин Белодед? — жесткие, с проседью брови Гофмана приподнялись.

Белодед может подумать ненароком, что поводья арабского скакуна, который мчал Гофмана по улицам Бреста, сейчас не у Гофмана, а у Петра. Нет, не надо натягивать поводья и осаживать коня. Лучше отпустить по-свободнее и дать скакуну волю.

— Не скрою, господин Гофман, до нас дошли слухи, что завтра на стол будет положен договор, который...— в наступившей тишине Петр все еще слышал цокот копыт и поскрипывание седла.

— Да, да, господин Белодед,— конь шел такой бодрой рысью, что Гофману стоило труда перевести дух.

— Будет положен договор, который не совсем тождествен прежнему тексту,— сказал Петр, прославивая каждое слово молчанием: такое впечатление, что скакун перешел с рыси на галоп.

— Не значит ли это, что русская делегация готовится в очередной раз хлопнуть дверь?

Наверно, настало время сказать все, о чем наказывал Чичерин накануне.

Петр говорил и время от времени поглядывал в окно. Там был виден Западный Буг, замерзший и припорошенный снежком у берегов, свободный ото льда и черный по середине. Реку охватили перелески, такие же, как февральская вода, черные и бездонно-дремучие. Необъяснимо, но один вид реки, большой и спокойной, внушал Петру ощущение уверенности. Россия исстрадалась по миру, для нее сегодня нет желаннее насущнее. Но Россия не хочет мира любой ценой.

— Вы верите, что новая русская армия, набор которой вы объявили, охранит революцию?

— Верю, господин Гофман.

Кажется, конь перешел на легкую рысь — дыхание генерала улеглось, он почти спокоен.

— На что опирается ваша вера, господин Белодед? Поймите, для меня это вопрос профессиональный.

— Простите, господин генерал, но это будет армия, на которую не распространяются ни ваш опыт, ни ваши познания.

— Что же это будет за армия, даже любопытно? — спросил Гофман спокойно — конь сменил легкую рысь на шаг, ритмичное дыхание генерала было едва уловимо.

— Это будет армия, которая впервые осознает, во имя какой цели она собой жертвует,— сказал Петр.

Гофман всплеснул руками, и сердце вновь загудело — конь мчал галопом по Бресту, казалось, кованые копыта коня падают на сухой бульжник.

— Это ваше личное мнение, господин Белодед?

— Абсолютно, господин генерал.

— Но, как всякое мнение официального лица, оно не может быть только личным?

— Личное, господин генерал.

Гофман взглянул в окно, взглянул на миг и словно отпрянул: черная вода, черный лес, едва ли не черное небо.

— Господин Белодед, вам известен новый проект договора?

— Нет, я могу о нем лишь догадываться.

Гофман взял перчатки и положил на стул подле себя.

— Я сейчас не хочу знать,— он подчеркнул «сейчас»,— как примет его русская делегация завтра,— он протянул руку к стулу и потрогал перчатки — руки должны были что-то делать.— Но хочу сказать вам,— он сделал паузу и внимательно посмотрел на Белододеда,— если немецкие условия будут отвергнуты, это грозит России...

— Чем это грозит России? — спросил Петр.

Гофман пододвинул к себе маленький атлас в синем переплете — чудесное мюнхенское издание, которым так гордятся немцы.

— Господин Белодед, не хочу скрывать, положение дел на вашем фронте нам известно не хуже, чем вам,— он развернул карту и протянул руку к лупе. Петр подумал: сейчас возьмет лупу и опять станет похож на Королева. Поистине, все злое оборачивалось для Петра лицом и сутью Королева. Но Гофман так и не дотянулся до лупы.— Ваши солдаты покинули окопы и разошлись по домам. Я скажу больше: фронт практически рухнул и нам ничего не противостоит. Неужели все это вам не ясно?

Петр понимал, в словах Гофмана есть своя логика. Однако обнаруживать это и тем более подтверждать не имело смысла.

— Вы говорите так, будто бы успехи вашей армии вам неприятны даже больше, чем мне,— рассмеялся Петр.

— По-своему вы правы,— произнес Гофман, искоса глядя на Петра, смех Петра встревожил и смутил его.— Не то чтобы нас огорчили или огорчат эти успехи. Не скрою, стратегически большое наступление в России сулит нам свои выгоды, но плох тот военачальник, который до того, как бросить в огонь солдат, не попытается достичь тех же целей путем бескровным.

— А мне говорили, что идею Бреста поддерживает господин министр Кюльман? — заметил Белодед таким тоном, будто только эта фраза и была способна продолжить разговор.

Верхняя губа генерала скептически приподнялась:

— Вы предполагаете, что идею Бреста поддерживает только господин статс-секретарь?

Вопрос, который он сейчас задаст Гофману, подумал Петр, должен начисто лишить того возможности маневра.

— Простите, разве у вас с господином статс-секретарем Кюльманом один взгляд на Брест? — спросил Петр.

— И вы в плену этой нехитрой азбуки: Кюльман — миротворец, Гофман — милитарист. Все гораздо сложнее.

— В каком смысле, господин генерал?

— Если решение принято, оно отражает точку зрения статс-секретаря в такой же мере, как и мою. Все остальное история, ее место в мемуарах.

— Ну что ж, главное, чтобы ответ был, а ждать мы умеем — нас хватит, господин генерал.

— Ждите, господин Белодед, мы хотим мира не в меньшей мере, чем вы.

— Тем более что у вас нет тылов, какие вы хотели бы иметь, — заметил Петр, улыбаясь, и быстро взглянул на Гофмана — эта фраза была откровенно грубой, но в разговоре с таким человеком, как Гофман, могла быть уместной вполне.

Гофман взял перчатки, хлопнул ими по колену.

— Наши тылы благополучны, по крайней мере настолько, чтобы воевать не оглядываясь.

— Тыл германский... и европейский?

Гофман не удержал вдоха — этот русский был похож на того тибетского исцелителя, которого Гофман однажды видел в Японии, тибетец безупречно знал географию тела, он мог оперировать иглой с завязанными глазами, острие безошибочно находило нужный нерв.

— Вы хотите сказать, у вас один фронт, а у нас два? — Гофман воспринял безбоязненную прямоту, с которой произнес свою фразу Петр.

— Это вы и без меня знаете, — заметил Белодед.

Гофман начал натягивать перчатки.

— Тем более нам надлежит действовать, если условия не будут приняты,— он оперся о стол.— Мы вынуждены будем действовать,— уточнил он.— Вынуждены... и не делаем из этого секрета.

Гофман все еще стоял, уперев сильные руки в стол — не будь стола, рухнул бы.

— Не скрою, что по-человечески меня волнует вопрос, что произошло с господином Троцким десятого февраля,— он помолчал, очевидно подыскивая нужное слово, чтобы уточнить мысль.— Какая мысль владела им, какой план он хотел построить?

Белодед испытал неловкость. Этот генерал был порядочным иезуитом,— не все повороты его мысли были так грубы, как казалось Петру вначале.

— А разве господин Троцкий вам не ответил? — спросил Петр, спросил как бы между прочим, дав понять Гофману, что для него, Белодеда, этот вопрос не столь важен.

— Для меня линия поведения господина Троцкого на переговорах представляла немалый интерес,— заметил Гофман так, будто он и не ждал другого ответа и задал свой вопрос лишь для того, чтобы сказать то, что намеревался сказать.— Он мне показался и работоспособным и достаточно красноречивым, господин Троцкий,— признался Гофман.— Тем более непонятно все, что произошло десятого февраля. Накануне речь шла, насколько мне известно, о Риге. Господин Троцкий спросил, нет ли возможности оставить за Россией Ригу. Статс-секретарь понял вопрос главы русской делегации так, что Рига — единственное препятствие к заключению договора. К господину Троцкому явился посланник Розенберг, предлагая изложить свое требование письменно. Но господин Троцкий ответил отказом. И одна и другая стороны поняли, что наступила критическая стадия переговоров. И тогда произошло то, что мир запомнит под именем событий десятого февраля. Господин Троцкий заявил, я вам это воспроизведу сейчас точно.— Он потянулся к папке, лежащей на столе, и, не дотянувшись, оставил свою затею, махнул рукой.— Все знаю, что заявил господин Троцкий десятого февраля: Россия не заключает мира, но заканчивает войну, распускает войска по домам и оповещает об этом народы и государства. Короче: «Ни войны, ни мира!» — он посмотрел на Белодеда в упор.—



Объясните, такое решение выгодно России? Я понимаю, что это, так сказать... компетенция России, но...

Белодед усмехнулся: единственная возможность уйти от вопроса — не говорить же об этом с Гофманом — обратиться его вопрос в шутку.

— Последний ваш аргумент показался мне убедительным, господин генерал, это действительно компетенция России,— произнес Петр, а сам подумал: «Ни мира, ни войны!» Сколько бед уже принесла эта формула России и как дорого мы за нее еще заплатим. В бою, где счет идет на человеческие жизни, это измена. Сегодня — фронт, сегодня уже бой...

Петр встал. Гофман стоял напротив и смотрел в толстое стекло, укравшее стол, и Петру вдруг показалось, что крупное лицо генерала отразилось в стекле мордой лошади — что-то было в их облике общее, человека и лошади, недоуменно-свирепое, упрямое. Конь определенно был снят в тот момент, когда на полном скаку готовился взять препятствие, грозное и как будто неодолимое.

Белодед вернулся к себе и, не зажигая света, снял пиджак и прилег. (Мглистое небо стлалось над Брестом, над Бугом. За Тираспольскими воротами, словно корона могучего дуба, стояла раскидистая туча.) И вновь, как это было в дни поездки в Двинск, он старался вспомнить все, что накануне рассказывали ему о Гофмане военные. Их рассказ был исполнен иронии наигорчайшей, и это готов был понять Петр. В начале века Гофман был военным атташе при штабе японской армии, действующей против русских в Маньчжурии. (Ему было тогда тридцать два, но верхняя губа уже достаточно утолщилась, чтобы выражать и льстивое внимание и брезгливость.) Потом он вернулся на родину и несколько лет отдал службе в Эльзасе. В сумерки, когда пыль заволакивала пограничную деревушку, будущий генерал переплывал на скакуне деревенскую площадь и неслышно устремлялся в поле. Покачиваясь в седле, Гофман размышлял о судьбе германской империи, где она попытается проложить дорогу своей гордыне, на Западе или Востоке, и как сложится судьба самого Гофмана — русский опыт, накопленный в Маньчжурии, не применять же в Эльзасе. Назначение в Восточную Пруссию будто было уготовано

Гофману самой судьбой. Если Гофману суждено проявить себя где-либо, то только здесь. В будущей войне с Россией деятельный и еще не старый Гофман может найти истинное место. (Его брезгливая губа выражала и гнев.) А потом война и победа — одна, а вслед и другая. Ах, жаль, что генеральский скакун был не белым. Не в столь отдаленные времена победители въезжали в завоеванные города на белых конях. А потом был Брест, и в сумерки, когда туман, точно полая вода, заполнял низины и овраги и подступал к самому городу, генерал вливался на скакуне в пределы призрачных озер. Быстрые ноги лошади скрывала кромка тумана, и плавный бег казался скользким. В такую минуту генерал почти парил в небесах. Впрочем, мечты его были никак не ниже небес.

Петр думал: не надо строить иллюзий насчет истинных намерений генерала. У него достаточно ума, чтобы видеть ближайшую цель, и воли, чтобы претворить ее в жизнь. Если решение в какой-то мере зависит от этого человека с толстой губой, выражающей и снисхождение и брезгливость, не следует уменьшать опасность.

Уже туман встал над крепостными брестскими стенами, когда Петра пригласили к Чичерину. Чичерин стоял у горячей печи и задумчиво листал томик Овидия. Видимо, он только что вернулся: руки были красны, глаза застланы влагой — на дворе было по-февральски ветрено.

— Вы говорили с Гофманом? — Чичерин достал платок и вытер им глаза. — Говорили протокольно или по существу?

— Мне представляется, по существу, Георгий Васильевич.

Чичерин закрыл том и бережно положил на самый край стола (Петр и прежде замечал: Чичерин не чувствовал края стола — книги сползали и шумно грохались об пол, блюда решительно не могли утвердиться на плоскости столешницы, даже старинные часы вдруг утрачивали массивность и вес и обретали способность скользить, что было отроду им противопоказано).

— Как далеко они пойдут в своих намерениях?

— Гофман дал понять: их армия копит силы для удара. По-моему, она уже готова нанести его и нанесет, если мы...

— Отвергнем их требования?

Чичерин не двинулся с места: щеки сухо блестели, губы казались жесткими.

— Я признаю только рассказ с деталями. Садитесь.

Он указал на кресло за письменным столом, Петр сел. Чичерин отошел в сторону и опустил на край дивана, обитого черной клеенкой.

— Мне показалось даже, что Гофман меня ждал,— начал свой рассказ Петр.

## 67

День 3 марта выдался в Бресте ветреным. Невысоко, смятенной и беспорядочной стаей бежали облака, то открывая, то вновь затеняя солнце. Даже когда солнце достигало земли, оно не прибавляло тепла, и поля, укрытые рваной тканью снегов, и коричневые воды реки и ее притоков, и деревья, по-зимнему обнаженные, были холодны, будто жизнь ушла из них навсегда. Да и город затих и странно настроился, только ломаные линии крыш стали более четкими.

От особняка, где расположились советские делегаты, до Белого дворца — рукой подать. В машине не было необходимости, и делегаты пошли пешком. Впереди шел Сокольников, чуть поотстав — Карахан. Им нелегко было идти вместе. У Сокольникова быстрый шаг, у Карахана — неторопливо-величественный. Позади стучал палочкой Григорий Петровский. Чичерин заметно устал в эти дни, ему явно был не под силу большой, перетянутый ремнями портфель. Промчался открытый автомобиль с немецкими делегатами. Немцы были верны себе — в торжественных обстоятельствах (а сегодня у них было торжество) они и в пределах крепости передвигались на автомобиле.

Едва Петр вошел в зал заседаний, его встретил долговязый Мирбах. Граф Мирбах не чуждался элементарной истины: человеческие отношения живы вниманием, их надо развивать.

— Вспомнил сегодня Афины! — произнес он почти ликующе — он был очень торжествен в парадном мундире, шитом золотом.— Вспомнил Афины и пошел в церковь... Как я любил ходить в Афинах в церковь! Ничего не знаю красивее церковного пения...— Мирбах сиял, зубы, не по

возрасту молодые, искрились.— Знаете, когда басы гудят в церковных сумерках, нет, это великолепно! — щеки Мирбаха лоснились, глаза были полны доброго огня, да и щедрое золото мундира торжественно блестело.— Здесь, в Бресте, бас необыкновенный, не бас, а живой орган!..

Петр слушал и думал: как можно так воодушевиться тем, к чему ты в данную минуту равнодушен? Ведь нельзя же серьезно поверить, что Мирбаху сию минуту, именно сию минуту так необходимо говорить о церковном пении. Вот он расплылся в улыбке, и кажется, даже золотые нашивки полны радушия, а ум в это время холоден. «Без обаяния нет дипломата,— мысль Мирбаха следует этой стежкой.— И при всех обстоятельствах надо уметь расположить человека, если даже ты и не знаешь, будет ли этот человек тебе полезен когда-либо».

Петр окинул взглядом зал заседаний — однако зал специально наряжали к нынешнему дню. Все под темный цвет скатерти, укрывшей большой стол: и жесткие полукресла, и небогатые драпри на окнах, и даже полумрак, который перекрасил в унылые краски все живое и мертвое,— окна закрыты шторами и точно сужены, чтобы, упаси господи, слишком много света не ворвалось в зал.

Тусклое стекло оконных просветов пригасило и без того неяркие краски. За толстым пологом ненастья, за дымами и тучами зябко куталось робкое дневное светило. Так вот оно, это унылое солнце мартовского дня, который недруги избрали, чтобы врубить в металл и камень беду России.

Прозвучал колокольчик — звон был почти малиновым. Председателя явно смутил легкомысленный звук, и он торопливо опустил руку.

— Я предлагаю простейший способ ведения заседаний,— сказал председатель и посмотрел в глаза Гофману, будто бы почтенное собрание, поместившееся в этом зале, все сто человек, расположившиеся за длинным столом, сейчас представлял только Гофман.— Договор прочитывается вслух, статья за статьей, и тут же постатейно обсуждается. Как вы полагаете? — хотя «вы» относилось ко всем, председатель обратил взгляд на Гофмана, и генерал тихо опустил глаза.— Итак, других мнений нет. Приступаем к чтению.— Председатель посмотрел на сек-

ретаря. Тот поднялся над столом, с трудом извлекая длинные ноги, кажется, нет им конца.

Чтение началось.

Это еще не договор и, строго говоря, не преамбула — секретарь зачитывает длинный список делегатов, всех тех, кого правительства уполномочили подписать договор. Петр заметил: как ни безучастно лицо делегата, когда секретарь называет его имя, оно вдруг странно меняется, выражая и растерянность, и несмелое внимание, и чувство собственного достоинства, появившееся на миг, только на миг, и даже не совсем свойственное этому лицу радушие.

Фон Розенберг (в отсутствие Кюльмана он был главой делегации) качнулся в кресле и торжественно приподнял недобро-красивое лицо. Генерал Гофман беспомощно шевельнул плечами, как птица, у которой перебиты крылья. Он не мог не понимать, что вопреки протокольным условностям глава делегации он, Гофман, а не Розенберг, и он, Гофман, а никто другой сегодня герой дня.

Австрийский советник Чичерич фон Бачани печально сомкнул глаза, и нервный тик исказил его лицо. (Вместе со своим министром иностранных дел Черниным он испытал искушение заключить сепаратный договор с Россией и был нещадно бит союзниками — казалось, следы этого битья хранит сейчас лицо, изуродованное гримасой.)

Генерал-адъютант Зеки-паша, турецкий военный атташе в Берлине и делегат султана на конференции, услышав свое имя, встал, попробовал пробиться из второго ряда в первый, и когда это не удалось, почтительно раскланялся. (Во многовековом единоборстве с Россией пришел черед и оттоманской Турции почувствовать себя победительницей и хотя бы отчасти вознаградить себя за Рымник, Измаил и Фокшаны с Плевной.)

Полковник Петр Ганчев, осененный званием флигель-адъютанта его величества царя болгар, когда секретарь назвал его, прищелкнул под столом каблуками. (Болгарская ли мать родила почтенного полковника и слышал ли он когда-нибудь о Шипке, а если слышал, какая тропа привела его в Брест, на эту Голгофу братской России?)

— Императорская Германия... — прозвучал голос секретаря, такой чистый и успокаивающе ровный, будто голос этот возник не на земле, а на небе, — ... и обязуемся

всегда жить в мире и дружбе...— прочитал секретарь, и казалось, его устами глаголет истина: всегда России и Германии жить в мире и дружбе.

— Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися сторонами линии и принадлежавшие раньше России, не будут более находиться под ее верховной властью; установленная линия обозначена на приложенной карте, являющейся существенной составной частью настоящего мирного договора,— произносит секретарь и, на какую-то долю секунды оторвав взгляд от текста, смотрит на карту, лежащую перед ним, и шурится, и несмело пламенеет — такое впечатление, что он поднес лицо к огню,—...существенной частью,— повторяет секретарь и закрывает глаза.

Секретарь продолжает читать, а Петр думает: чтобы не подчеркивать размероз аннексии, немцы перенесли упоминание о ней из текста договора в приложение, молча изобразив это на карте.

— Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние дела этих областей,— читает секретарь, и взгляд Петра медленно перемещается по карте — она лежит перед ним. Синяя линия, густо-синяя, располосовала запад России. Она вторглась в пределы России на восток от Риги, прошла по руслу Западной Двины почти до Дриссы, оставила врагу Вильно, едва не коснулась Новогрудка и Пружан, вышла к Брест-Литовску и, невидимо преодолев Черное море, коротким ударом отсекала от России Карс, Ардаган и Батум. Впрочем, карта выполнила свою роль лишь частично — не все доверено сказать и ей.

— Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами Четвертого союза,— произносит одним духом секретарь,— территория Украины немедленно очищается от русских войск и русской Красной гвардии... Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских войск и русской Красной гвардии... Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты — от русского флота и русских военно-морских сил...

Надо воздать должное секретарю: он невидимо уловил внутренний ритм этих слов и едва ли не обратил их в стихи.

Остается только удержать в памяти названия отторгнутых земель: Финляндия, Эстляндия, Лифляндия, Украина, Армения...

Петр поднимает глаза на Гофмана: лучик, который только что лежал на столе, переместился на мундир генерала и вот-вот доберется до шитого золотом погона. Генерал, улыбаясь, смотрит на Сокольников, который печально склонился над столом, защитив крепко сжатыми кулаками лоб. Генерал готов даже повторить строку из договора: «Они решили впредь жить между собой в мире и дружбе». Генерал улыбается, а на самом деле что у него на душе? Способность улыбаться, когда на душе хмуро, — немалое мужество. Гофман не очень уверен, что договор, который сейчас читают за большим столом брестских переговоров, в интересах Германии. Да, как это ни парадоксально, он, кайзеровский генерал-майор и начальник генерального штаба верховного главнокомандующего на Восточном фронте, не очень уверен в этом. Разумеется, он сейчас не встанет и не прервет чтения. Наоборот, он поставит подпись и при этом даже изобразит нечто вроде улыбки. Но как далеко его истинное мнение от того, что он должен изображать сейчас, хотя, казалось бы, что в большей степени способно утвердить величие Германии, чем Брест? Брест был Гофману навязан. Розенберг — не Рихард Кюльман. И все-таки в облике Розенберга Гофману видится статс-секретарь. Статс-секретарь по иностранным делам — фигура значительная, но в столкновении с главнокомандованием да еще во время войны все козыри у военных. Однако похоже, в споре Кюльман — Людендорф весы склонились на сторону первого. Вряд ли дело в личных качествах Кюльмана, скорее, в качествах лица, которое стоит за Кюльманом. Гофман склонен думать, что в самые напряженные дни Бреста Кюльман имел контакт непосредственно с кайзером, контакт неофициальный, больше того, личный. Брест — его, Кюльмана, создание. Гофман с ненавистью смотрит на Розенберга, хотя очевидно: Розенберг — это не Кюльман.

Впрочем, сейчас взгляд генерала обращен к окну. Гофман смотрит в окно, как можно смотреть только в будущее: его взгляд отрешен и мечтателен. Всегда любопытно рассмотреть события сегодняшнего дня из дня завтрашнего. Что скажет Гофман о Бресте завтра? Как

будут выглядеть брестские приобретения и просчеты, а заодно, в каком свете предстанет осторожный, но достаточно упорный поединок с Кюльманом?

«Позволив большевикам заключить мир, мы, в сущности, поможем им осуществить страстное желание народа, а следовательно, захватить и удержать власть», — к этой мысли Гофман пришел много позже, хотя впервые возникла она у него еще в пору переговоров.

Кюльман полагал, что в Бресте немцы выиграли самое крупное свое сражение, Гофман был убежден, что ни одно из поражений первой войны не может сравниться с поражением немцев в Бресте. «Война упущенных возможностей» — этой фразой Гофман лаконично подвел итог войне и, разумеется, Бресту.

А чтение договора продолжалось.

— Принимает советская делегация этот пункт? — наступила пауза, она была так велика, что председатель склонился над столом, опершись на кулаки, — в таком положении он мог ждать сколько угодно. — Итак, принимает?

Уже вечером, когда небо за окном потускнело, но, прохваченные заревым солнцем, встали над Брестом облака, советские делегаты подписали договор. Петр сидел рядом с Чичериным. Как обычно в пору напряженной работы, перед Чичериным лежали раскрытые часы. Когда последний, пятый, экземпляр договора был подписан, Чичерин пододвинул Петру часы.

— Запомните эту минуту, Петр Дорофеевич, — сказал Чичерин, не сводя глаз с циферблата.

Часы показывали пять часов пятьдесят минут.

Вечером специальный поезд с советскими делегатами отошел в Петроград.

В вагоне было тихо. Свет полупогашен — казалось, что вагон спит. Поезд шел сейчас открытым полем. Паровоз был где-то недалеко от вагона, и густые снопы искр вместе с дымом стлались за окном, то разгораясь, то затухая.

— Завидую тебе, Петро, — сказал Роман и печально посмотрел на Белодеда. — Ты сильный, переживешь и это.

Петр подошел поближе.



— Я заметил,— сказал он,— надо уметь вызвать силу, она есть в каждом, как и слабость.

— В каждом сила? Нет! Помню, как по верхушку удерживали нашу землю. Сколько людей легло, отстаивая каждый вершок. А тут — на! — отрезали половину земли русской.

Они расстались за полночь, но Петр уже не мог уснуть до утра. Все казалось, что вот тут, за стеной, очень худо человеку, надо помочь ему, и не знаешь как.

Под утро, в тот час, когда тьма словно затвердевает, Петр подошел к двери Соловьева-Леонова.

— Это ты, Петро? — услышал он голос Романа, очень ясный, спросонья человек так не скажет.

— Я... а ты все не спишь? Спи.

— И ты не спишь,— заметил Роман, опять очень ясно и серьезно.— И тебе надо спать,— потом помолчал, вздохнул, во тьме вздох прозвучал тревожно, заглушая и шипение паровоза — он рядом,— и стук колес, и злой посвист ветра за окном.— Знаешь, о чем думаю? Мы не должны смириться.

Петр задумался: «Да, не должны, не должны! Уже сейчас надо собирать силы и... ударить! Собирать постепенно, может, даже тайно и обрушиться на немца, чтобы и духу его не было на русской земле».

— Собирать силы,— сказал Петр.— Изю дня в день собирать.

Петр физически ощутил, как затих Соловьев.

— Нам протестовать надо! — вдруг взорвался Роман.— Если надо лечь на рельсы — лечь. Если пистолет разрядить в себя — разрядить!

Уже на заре в сонном полузабытии Петр услышал, как где-то рядом грохнулось что-то безнадежно тяжелое, грохнулось глухо, наипрочь. Петр кинулся в купе Соловьева, кинулся наобум, думая, что если стряслось что-то плохое, то там... За окном вагона, как прежде низко припадая к земле, наслаивался дым, смешанный с огнем и паром, и в колеблющемся свете Петр рассмотрел Романа. Он лежал на полу, и рука, точно вывихнутая, торчала из-за спины.

— Помоги мне,— сказал Роман.

Петр попытался приподнять его и наткнулся рукой на что-то холодное, скользко-холодное. Это был наган — Белодед видел его у Соловьева, когда ехали в Брест.

Петр приподнял Романа и, укладывая в постель, долго не мог возвратить в прежнее положение руку, а когда глянул на пол, увидел темное пятнышко крови. На груди Соловьева затрещала рубаха — Петр рванул что было силы, обнажил грудь и плечи. Ладонь остановилась у предплечья — рана была здесь.

Поезд пришел на рассвете. Роман не спешил на перрон, дожидаясь, пока выйдут остальные.

— Тебе помочь? — спросил Петр.

— Нет, пойду сам, — сказал он, пряча глаза.

Петр видел, как, выбравшись из вагона, Соловьев пошagal в противоположную от вокзала сторону. Черная повязка, бог весть откуда добытая, поддерживала раненую руку.

## 68

Весна восемнадцатого пришла в Петроград вместе с мартовским дождем, который неожиданно упал на белые снега, на Неву, на деревья, опущенные инеем, и в одну ночь потревожил и залил талыми водами лед. Только вчера город был белым и голубовато-дымное сияние стояло над невской набережной, над Летним садом, над каменными просторами петроградских площадей, а сегодня все точно обуглилось: кора деревьев, напитанная влагой, кованое железо оград, камень... Да, есть такая пора весны, самой ранней: до того как зеленым дымком затянет деревья и засинит небеса и воды, все, кажется, становится исчерна-черным. Вечерами, будто врезанные в самую тьму, неестественно ярко горели окна. И голоса города, только вчера ярко-звонкие, отраженные в сухой тверди льда и камня, сегодня вдруг набухли, расплылись и потекли вместе с Невой, глухие, длинные, повторенные эхом. Все растопила весна, все зачернила угольным карандашом, — только светится в ночи неровная ледяная стежка, что легла кое-где через парки и не успела стаять.

Едва весть о брестском событии достигла Английской и Французской набережных, Невского и Фурштатской, дипломатический Петроград собрался в дорогу. Ломовики, гривастые и крепконогие, потащили грузовые фуры с черными посольскими сундуками, перехваченными ремнями, на Московский вокзал к товаро-пассажи́рскому

поезду, особняком стоявшему на запасных путях. Имя северо-русского города легло на сундуки и чемоданы: «Вологда». Оно прошло наискось их ребристые стены. Оно своеобразно преломилось в говоре пассажиров этого необычного поезда: «Волóгда», «Вологд».

Дипломаты стран Согласия покидали столицу революционной России, не скрывая неприязни к новому строю, не делая из своего поступка тайны.

Что означал этот шаг?

Одни говорили: Вологда призвана стать транзитным центром на пути дипломатов на родину.

Другие полагали: дипломаты не верят в мир большевиков с немцами и хотят покинуть Петроград до того, как немцы в него войдут.

Третьи, наконец, считали: выезд дипломатов из Петрограда — средство протеста против брестской инициативы большевиков, а выбор города не имеет значения.

Так или иначе, а товаро-пассажирский поезд, в такой же мере разношерстный (международные вагоны и платформы, груженные автомобилями), в какой и разноплеменный по составу пассажиров, готовился покинуть Петроград и уйти на восток, во мглу северных русских лесов, еще не тронутых мартовской оттепелью, оставив Петроград строить догадки и недоумевать относительно истинных причин отъезда дипломатов, отъезда, в такой же мере похожего на хорошо рассчитанный маневр, в какой на организованное бегство. Но как примет Брест Россия? Не возмутится ли ее достоинство, не взорвется ли и не потребует помощи извне?

На рассвете в посольство привозят утренние питерские газеты и по долгим лестницам особняка, чертыхаясь и проклиная судьбу, поднимается в свою скромную келью секретарь-переводчик. Пока посол досмотрит свой самый сладкий сон, переводчик должен окинуть орлиным взором содержание тридцати трех питерских газет и, что еще диковиннее, уместить его на трех машинописных страничках, разумеется, изложив текст по-английски — за более чем достаточный срок жизни в России русский язык все еще остается для посла за семью печатями.

Ровно в десять, ни минутой раньше, ни минутой позже, секретарь внесет папку с заветными страничками в посольский кабинет и, возложив ее перед многомудрым

ликом шефа, замрет, весь превратившись в зрение и слух: проглотит ли, не поперхнется?

А дальше — день. Большой день в чужой стране. От одного берега до другого — океан. Но человек, надо отдать ему должное, храбро бросается в воду.

В двенадцать посол будет завтракать с русскими военными, в два разопьет бутылку бургундского с бывшим королем лесным, в четыре сядет за обеденный стол с королем нефтяным, в семь — театр, в одиннадцать — ужин... И всюду рядом с послом, как его поводырь и ангел-хранитель, секретарь. Он и тень, он и блик, готовый в любую минуту воспрянуть и растушеваться. В деловой беседе он между послом и гостем. На званом обеде он по левую руку от посла. В большом приемном зале он за спиной посла. Ни одно слово не произнесет посол, чтобы между ним и собеседником не оказался секретарь. Точно искусственные зубы или слуховой аппарат, секретарь поместился где-то внутри посла, превратившись из человека в приспособление. Посол научился его не видеть, в этом ведь нет большой необходимости. Для него секретарь — только голос, часто переходящий на шепот, едва внятный. Но вот чудо: хоть секретарь и незрим, он мыслит. Посол догадывается, секретарь не просто переведет на русский его речь, он, словно знаки препинания, расставит акценты, осторожно придаст речи и живописность и юмор, общие рассуждения обогатит именами собственными, вставит невзначай крылатое словцо, сообщив речи и мысль и блеск.

Нет, посол не так прост, чтобы не понимать деликатности своих отношений с секретарем. Действует защитный рефлекс. «Майкл, ты у меня министр!» — с фамильярной хитрецей подмигивает он секретарю. Но секретарь нем. Упаси господи воспринять тон посла — завтра останешься без должности. У секретаря своя дорожка — он следует по ней неколебимо: «Ваш прогноз оказался верным, господин посол!», «Вы предупредили серьезную неприятность...», «Вы парировали...» И пошло как по-писаному: «Предупредили!», «Предугадали!», «Превозмогли!» — «Пре... пре... пре...» Каждый, как умеет, играет свою роль.

А сейчас утро, и три странички лежат перед послом. Три странички, впитавшие все, что отважились сказать читателям питерские газеты.

Тайна декабрьского слета в Париже мало-помалу становится явью — новая политика по отношению к России дает свои плоды.

Три крейсера уже идут в русские порты: американский — «Олимпия», французский — «Адмирал Об», английский — «Глори».

Англичане, как всегда, в авангарде: их военное судно с десантом на борту будет в Мурманске 9 марта.

Но хорошая политика никогда не была прямолинейной, тем более что Брестский договор еще подлежит ратификации. Пусть «Глори» идет в Мурманск, а товаро-пассажирский состав с дипломатами в Вологду — у каждого своя цель: у военных — военная, у штатских — штатская. Главное, чтобы все контакты были сохранены и все добрые слова были произнесены — чем добрее, тем лучше.

— Скажи, Майкл, когда Брюс Локкарт должен быть у Ленина?

## 69

Репнин замедлил шаг, намереваясь свернуть по коридору за угол, и едва не столкнулся с девушкой в вельветовой блузе, с той самой, которую привык видеть за маленьким столом в приемной Ленина.

— Простите, Владимир Ильич у себя?

— Да, принимает Локкарта.

Репнин не остановился. В момент, когда мир с немцами уже не отдаленная перспектива, а вопрос дней, англичане направили к Ленину своего самого деятельного эмиссара. Все силы пришли в движение!

Репнин вошел в комнату, которую только что покинула девушка в вельветовой блузе. Было необычно тихо. Эта тишина только подчеркивала значительность события, происходящего рядом. Репнин взглянул на часы — четверть одиннадцатого. Ленин пришел в кабинет час назад, значит, беседа началась недавно. Судя по тому, как Ленин говорил о Локкарте с Репниным, Владимир Ильич никогда не встречался с англичанином, это их первая беседа.

Репнин был прав: первая встреча. Когда десять минут назад Локкарт шел смольнинским коридором (благо ко-

ридор был от горизонта до горизонта и давал простор мысли), он не мог признаться себе, что его уверенность непонятно поколеблена при одной мысли о предстоящей встрече.

Локкарт пытался разобраться в своем чувстве, которое было для него ново. Все, что говорилось Локкарту о Ленине, которого Локкарт хотел видеть, но до сих пор не видел, сводилось к рассказам о воинственной энергии этого человека. Даже воспринятая не непосредственно, через вторых лиц, энергия эта, как казалось Локкарту, была способна вызвать порядочное опустошение в противном Ленину стане. Среди постоянных собеседников Локкарта были два человека, в жизни которых Ленин занимал свое большое место. Эти двое были не похожи друг на друга, как только могут быть не похожи люди: первый — идеалист, второй — бизнесмен, первый — профессиональный дипломат, второй — едва ли не профессиональный военный, первый... Короче, это были Чичерин и Робинс.

Нравится это Чичерину или нет, но он, как полагал Локкарт, человек дворянской культуры, при этом не столько века двадцатого, сколько девятнадцатого. Как ни жестока была русская революция, она склонила на свою сторону немало тех, на ком держалась та Россия. Не столько буржуа, сколько дворян, и это, наверно, характерно. Среди последних — Чичерин. В своем неизменном желто-коричневом костюме, сшитом из недорогого твида, как думает Локкарт, еще в Лондоне, костюме, заменившем русскому министру иностранных дел и фрак и визитку, Чичерин принимал зарубежных дипломатов, ездил в Смольный на прием к премьеру, появлялся в кругу своих коллег на Дворцовой.

Локкарт впервые беседовал с Чичериным на Дворцовой, в кабинете, который до этого был кабинетом Терещенко, а еще раньше Сазонова; Чичерин держался корректно-лояльно, даже дружественно. Это не помешало ему произнести несколько жестких фраз вроде того, что британский империализм столь же ненавистен русским, как и германский милитаризм.

В каком качестве Локкарт явился к Чичерину? В более чем своеобразном: он английский представитель. Не посол и не поверенный в делах, а именно представитель. С отъездом Бьюкенена у англичан в России нет посла.

Есть поверенный в делах — Линдлей. Но он лицо официальное и никаких дел с большевиками не имеет, подобно Френсису и Нулансу. Поэтому практические связи с новым русским правительством возложены на Локкарта. У Линдлея — Локкарт, у Френсиса — полковник Раймонд Робинс. Своеобразный теневой дипломатический корпус в Петрограде.

Локкарт щепетилен и точен в своих отношениях с британским поверенным в делах. Линдлей осведомлен о каждом значительном шаге Локкарта. А как Робинс? Он не делает секрета из своих отношений с большевиками. Он встречается с Лениным часто. Очевидно, американцы думают, что эти встречи полезны им. Вряд ли большевики думают иначе. Линдлей и Френсис послали своих эмиссаров к большевикам в надежде (она всегда оправдана) не все мосты сжечь. У Ленина свой план: прямо противопоставить эмиссаров послам: Локкарта — Линдлею, Робинса — Френсису.

Трудно сказать, в какой мере русским известна жизнь Робинса, но они достаточно осведомлены о жизненной стезе Локкарта, однако в их поведении нет предвзятости. Это свойство национального характера или тактический ход их молодой дипломатии — истинная дипломатия не уходит от борьбы, если даже ей противостоит фигура столь своеобразная, как Локкарт.

Кстати, эту корректность по-своему преломила и истолковала пресса. Для нее Локкарт влиятельный англичанин, прибывший в Питер в качестве доверенного лица Ллойд-Джорджа, при этом симпатии Локкарта, разумеется, на стороне русской революции. Все это повторялось прессой столь настойчиво и было так убедительно, что ввело в заблуждение и русских и англо-французов. Первые устремились к Локкарту, вторые — от него!

А как поведет себя Ленин? Какой тактики держится он?

Ленин не заставил себя ждать: он принял Локкарта тотчас же. Когда, войдя в комнату, Локкарт шагнул к письменному столу, из-за которого вышел Ленин, англичанин увидел боковым зрением, сумеречным и нерезким, как с полукресла, стоящего у окна, поднялся Троцкий.

— Здравствуйте,— произнес Ленин, протягивая руку и с испытующей твердостью глядя Локкарту в глаза, точно говоря: «Даже любопытно — вон вы какой, Брюс Локкарт!» — Мне хвалили ваш русский язык. Будем говорить по-русски?

— Ну что ж, по-русски так по-русски! — произнес Локкарт с неунывающей отвагой, теперь пожимая руку Троцкому.— Здравствуйте, здравствуйте.— В голосе Ленина Локкарт почувствовал радушие и хотел ответить полной мерой.— По-русски так по-русски! — повторил он, просяив.

Ленин вернулся за стол и предложил Локкарту место слева от себя, в то время как Троцкий пошел к своему полукреслу. Мгновенная пауза будто засекала позицию каждого: Ленин и Локкарт готовы были начать беседу, Троцкий, удалившись к окну, явно свидетельствовал, что его интерес к этой беседе ограничен.

Локкарт еще раз оглядел кабинет (так вот где первый большевик России читал Робинсу свои полуночные проповеди!) и пододвинул стул ближе к письменному столу — он не намерен был тратить время на раздумья — разумеется, он будет благодарен советскому премьеру, если тот осветит нынешнюю стадию отношений с немцами.

Ленин посмотрел на Локкарта не без улыбки; наверно, Локкарт мог бы ответить на этот вопрос не хуже Ленина — ведь все опубликовано, все на ладони.

Но вопрос задан и требует ответа. Быть может, ответ будет в такой же мере лишен оригинальности, как и сам вопрос, но, очевидно, для начала беседы такой вопрос, как и ответ, необходим.

— Мы вели переговоры с милитаристами, и условия, которые нам предъявили, могли предъявить только милитаристы,— Ленин скосил глаза на книгу, лежащую на столе.— Условия эти нельзя назвать иначе, как скандальными, но мы их примем.

— Но как прочен будет такой мир и на сколько его хватит? — спросил Локкарт и, придвинувшись к столу, прищурился с очевидным намерением рассмотреть название книги.

— На сколько его хватит? — Ленин воспроизвел вопрос Локкарта даже интонацией, не утаив чуть иронического отношения к словам англичанина.— На сколько



хватит, трудно сказать. Ясно одно: если немцы нарушат слово и сделают попытку навязать нам буржуазное правительство, мы обратимся к оружию.— Он придвинулся к столу, взял со стола книгу.— Мы будем воевать до последнего, если даже придется отступать до Волги и Урала! — Ленин потряс книгой.— Но мы будем воевать на собственных условиях: мы не станем таскать каштаны из огня для союзников!

— Простите, господин премьер, но тогда какова основа ваших отношений с союзниками? — спросил Локкарт и медленно откинулся в кресле, повторив движение Ленина, это давало ему возможность рассмотреть название книги, лежащей на столе, кажется, это была французская книга.

— Нам так же ненавистен англо-американский капитализм, как и германский милитаризм,— сказал Ленин.

Ленин повторил слово в слово фразу Чичерина, которую произнес тот во время первой встречи с Локкартом на Дворцовой. Значит, не было формулы Чичерина, была формула Ленина! Новая для Локкарта возможность убедиться в истине, к которой он пришел своим путем: ни одно крупное решение Чичерин не принимает без того, чтобы не посоветоваться с Лениным.

— Но какова все-таки основа для нашего сотрудничества? — спросил Локкарт, обхватив спинку стула, на котором сидел только что; книга была перед ним, французская книга «Антимилитаризм после войны». Она была издана, как показалось Локкарту, в Лозанне и принадлежала Голлею. «Кто такой Голлей?» — не мог не спросить себя Локкарт. Видно, Ленин листал эту книгу еще сегодня утром, готовясь к беседе. Для него встреча с Локкартом — еще одна возможность дать бой коварному Альбиону.

— Вы живете по-своему, мы — по-своему,— возразил Ленин почти миролюбиво.— Но мы можем позволить себе пойти на временный компромисс с капиталом. Такой компромисс для нас даже необходим: ведь если капиталисты объединятся, они нас задуют. К счастью, капитал по самой своей природе не способен к единству. Поэтому, пока существует германская опасность, мы пойдем на риск сотрудничества с союзниками, что представляет выгоду для обеих сторон. В случае немецкой агрессии мы готовы принять даже военную помощь.

Локкарт забеспокоился и взглянул на Троцкого, но тот казался странно безучастным. Последний раз, когда они виделись, Троцкий был иным. Это было числа пятнадцатого — шестнадцатого, где-то здесь, в Смольном, в кабинете Троцкого, с красным ковром посередине. Троцкий только что вернулся из Бреста. Он еще не знал, чем ответят немцы на его формулу «Ни войны, ни мира», но считал, что ответ этот не сулит ничего доброго. Троцкий негодовал. Нелегко было установить, против кого обращен этот гнев, но Троцкий был неистов. И вдруг молчание сковало Троцкого. Молчание, которое трудно понять: то ли это неизбежная реакция ума, который не знает иных состояний, кроме шторма и штиля, то ли равнодушные к делу, которое человек уже считает не своим.

— Но согласитесь,— возразил между тем Локкарт.— Теперь, когда вопрос о мире решен, немцы получат возможность бросить все свои силы на запад. Они могут даже разгромить союзников, в каком положении тогда окажется Россия? К тому же хлебом, который немцы вывезут из России, они смогут накормить свое голодающее население,— добавил Локкарт и тут же огорчился, что сказал это: пожалуй, последний довод ничего не прибавлял к тому, что было произнесено раньше.

— Как все ваши соотечественники, вы мыслите конкретными военными категориями и игнорируете психологический фактор,— Ленин поднялся, пошел по комнате, пошел размеренным и спокойным шагом, при этом, как заметил Локкарт, он не убыстрил и не замедлил шага, когда миновал Троцкого, он точно хотел сказать этим Троцкому: «Вы начисто выключились из разговора. Вряд ли это уместно, хотя бы по соображениям такта. Но вас это устраивает, и не сетуйте, если я пойду вам навстречу до конца». — Но даже с вашей точки зрения аргументация не обоснована,— продолжал Ленин.— Германия давно отозвала свои лучшие войска на запад. Что же касается возможности Германии получать из России большое количество продовольствия, то можете не беспокоиться. Пассивное сопротивление — более сильное оружие, чем то, которым располагают военные.

Прощаясь, Локкарт подумал: «Что сообщил Ленин нового?» Пожалуй, ничего. Все, что он сказал Локкарту, он многократно повторял в своих последних речах да, пожалуй, в беседах с Робинсом. Все, в том числе и эту

формулу об одинаково непримиримом отношении большевиков к немцам и странам Согласия. Впрочем, эта формула, повторенная в беседе с Локкартом, обрела новый смысл, отнюдь не обнадеживающий.

Локкарт вновь оказался в длинном смольнинском коридоре, мысль его упорно возвращалась к Робинсу. Где-то тесная дорожка, которой шли англичанин и американец, невидимо раздвоилась, образовав вилку, и Локкарт увидел своего коллегу далеко в стороне. А потом вступил в действие закон времени: чем дольше они шли, тем дальше оказывались друг от друга — вилка! Вот хотя бы этот вечер у Локкарта. Резиденцией Локкарта в Питере стал дворец на набережной. Локкарт собрал друзей — не столько новоселье, сколько холостяцкая пирушка. Робинс не приехал к началу — у него была очередная встреча с Лениным. Американец явился, когда гости были уже за столом. Локкарт не сводил глаз с Робинса. Американец был необычно пасмурен и замкнут — он явно находился под впечатлением беседы, которая была у него в Смольном. Робинс встал из-за стола, так и не разомкнув уст, но, когда гости перешли в гостиную, Робинс дал свободу и мысли и страсти. Он высмеял утверждение, что большевики работают на германскую победу. «Нам нечего ждать от русской буржуазии, которая реставрацию привилегий связывает с немецкой помощью, — сказал Робинс. Затем он извлек из кармана вчетверо сложенный лист бумаги. — Вы когда-нибудь читали эти стихи? — спросил он. — Я переписал их из газеты». Он присел на подоконник так, чтобы отблеск заходящего солнца (оно было живописно в сочетании с силуэтом Петропавловской крепости) лег на бумагу.

Он начал читать:

Мы мертвецы. Вчера мы жили —  
Дышали, пели и любили,  
Сегодня мы лежим недвижно  
В долинах Фландрии.

Смените нас на поле боя,  
Наш факел сильною рукою  
Вздымите смело к небесам.  
Но коль измените вы нам —  
Нам никогда не знать покоя  
В долинах Фландрии<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Перевод с английского А. Сергеева.

Получилось так, что ирония Робинса в адрес антибольшевиков и стихи о войне слились воедино. Среди гостей Локкарта вряд ли были друзья новой России, но слова Робинса потрясли и их. Подле Локкарта стоял Бенжи Брюс, чье предубеждение против большевиков было хорошо известно. Но в тот момент и он полагал, что признание Советов и помощь им были бы правильной политикой. Ни единым словом Робинс не обмолвился о встрече с Лениным, но все поведение американца в этот вечер слишком очевидно было подсказано этой встречей и ее отраило.

После сегодняшнего своего похода в Смольный Локкарт понял лучше, чем прежде: Ленин мог владеть воображением Робинса. Но, возвращаясь к смольнинской беседе, Локкарт задумался и над подробностью, которая к беседе отношения не имела, но была подробностью значительной. Разногласия между Лениным и Троцким живы. Поединок продолжается даже тогда, когда диалог между ними, как это было сегодня, в сущности, является диалогом молчания. Лондон возлагает свои надежды на эти разногласия.

Но вот вопрос: насколько серьезны козыри, которыми обладает Троцкий? Троцкий человек недюжинной энергии и, пожалуй, темперамента. Но его тщеславие, как признает Локкарт, весьма чувствительно к похвалам. На нем, на этом тщеславии, и Локкарт мог играть не без успеха. Льстить Ленину... что может быть более нелепым? Ленин против лести бронирован. Каковы реальные шансы противоборствующих сил? Любопытен рассказ, который поведали Локкарту однажды. Происходило заседание Совнаркома. Троцкий внес предложение. Ему возразил весьма страстно один из комиссаров. Разгорелся спор. Кажется, Ленин воспользовался этим и углубился в работу — блокнот и карандаш были перед ним. Наконец кто-то из присутствующих, утомленный спором, произнес: «Владимир Ильич, давайте же решим...» Ленин оторвал взгляд от своей работы и в одной фразе, только в одной, предложил формулу решения — мир был восстановлен тотчас. Даже при желании не толковать этот эпизод, слишком широко он, как полагал Локкарт, давал ответ на главный вопрос: как ни упорен поединок, исход его нетрудно предугадать — слишком неравны силы.

Простившись с Локкартом, Ленин принял Репнина.

— У нас к вам просьба, Николай Алексеевич,— произнес он, пожимая ему руку, и взглянул на Троцкого. Корректно-вежливым «у нас» Ленин сделал еще одну попытку присоединить Троцкого к общему разговору.— Только что здесь был английский представитель, на днях будет американский.— Он помолчал, очевидно намереваясь произнести главное.— Нельзя ли исследовать такую проблему: как поведут себя страны Согласия после заключения мира? Двадцать страниц на пишущей машинке. Мнения и мысли. Ваш вывод. Ваш...

Репнин встретился взглядом с Лениным. «Поймите, что для нас это проблема проблем»,— точно говорили в эту минуту глаза Ленина. А Репнин подумал: как ни важна для Ленина эта работа, она имеет и педагогическое значение. Эти двадцать страниц текста могут стать своеобразным мостом, по которому Репнину предстоит перейти из старого мира в мир новый.

— Я бы не беспокоил вас, Николай Алексеевич, но это важно.

— Очень,— согласился Троцкий и взял с соседнего кресла свою папку с медной застежкой.

— Очевидно, для такой работы нужен месяц,— добавил Ленин,— у нас месяца нет, у нас есть неделя.— Но Ленин, казалось, сказал не все.— Вот задача для дипломата: Робинс и Локкарт. Кстати, исследуйте и ее...

Уже очутившись далеко за пределами Смольного, Репнин вдруг увидел на противоположной стороне улицы Локкарта. Тот шел кромкой тротуара, шел быстро. Англичанин так задумался, что на какой-то миг утратил контроль над собой, над своей походкой, над лицом своим.

Репнин убавил шаг, посмотрел Локкарту вслед. Наверно, Локкарту кажется, что он настолько перевосплотился в дипломата, что истинное лицо его не угадывается. Ему-то надо знать, что это не так. Есть в этих людях для Репнина нечто такое, что выдает их с головой: в их походке, которая и на большом приеме остается скользящей (перебежками, перебежками!); в их взгляде, который чем-то похож на блуждающий в небе луч и который то расслаблен, то тверд; в их манере говорить, которая при кажущейся свободе и безыскусности неизбежно будет сведена к системе вопросов; в их желании перейти на до-

верительный тон, прежде чем это может позволить себе-седник; в их почти патологической боязни так встать и так сесть, чтобы, упаси господи, за спиной не оказался кто-то; в их фамильярности, которую никуда не упрятать и которая, очевидно, определена тем, что в своей карьере они, как правило, опережают возраст и ум; в их, наконец, неожиданно угнетенном виде, который вызвало к жизни постоянное одиночество, одиночество тоскливое, знакомое разве только зверю... Нет, определенно есть некая беспомощность в людях, носящих маски.

Репнин явился к Чичерину в Смольный, однако кабинет был пуст. На письменном столе, в правом его углу, лежал раскрытый томик Верхарна. Репнин взял книгу. На память пришли дождливый июльский вечер над Темзой, над столпотворением корабельных мачт и портовых кранов, Чичерин, медленно читающий Верхарна. Сейчас и не упомнить стихов, но был в них (это Репнин помнил отчетливо) смятенный страх перед неизвестностью железных дебрей большого города. Потом Репнин не раз возвращался к воспоминанию об этом вечере и, разумеется, к стихам Верхарна, впрочем, не только Верхарна... Чичерин любил Овидия. Не странно ли: Верхарн и Овидий? Что влекло Чичерина: Овидий — век минувший, Верхарн — слишком очевидно нынешний. Как ни крепки узы, связывающие Георгия Васильевича с тем миром — его средой, его увлечениями и идеалами, весь он в мире нынешнем.

Пришел Чичерин. Взглянул на Репнина, склонившегося над Верхарном, улыбнулся, впрочем, не столько Репнину и Верхарну, сколько своим мыслям, с которыми не хотел расставаться.

— Только что у Леннина был... Робинс!.. Видно, он схватился со своим посланцем не на шутку... Не ровен час вызовет извозчика и укатит на Николаевский...

— Это почему же на Николаевский, а не на Финляндский?..

— А по той причине, что американцы нынче ездят через Владивосток — на войне дальняя дорога самая ближняя.

Но Репнина маршруты Робинса не очень занимали — не это волновало Николая Алексеевича. Слишком ощути-

мую зарубку оставили в сознании слова Ленина: «Робинс и Локкарт — вот задача для дипломата...»

— А почему Робинс вдруг стал для Френсиса опаснее остальных? — заметил Репнин, не отрывая глаз от убористых строк книги.— В конце концов... план русско-американской торговли, к которому он взывает, дело бескровное.

— Бескровное, когда нет намерения обратиться к оружию,— сказал Чичерин.

— Но в данном случае такое намерение есть?

— Все говорит за это.

Репнин закрыл книгу — Верхарн лег на прежнее место.

## 70

Своеобразный календарь с обозначением фамильных торжеств у Репниных вел Илья Алексеевич. Большой день был еще за горами, за долами, а старший Репнин уже подавал знак:

— Четырнадцатого марта Елена родилась, не забывай!

И разом приходили в движение невидимые веретена, много веретен, наращивая с каждым днем скорость, обгоняя друг друга, заставляя напряженным гудением и тревожиться и радостно замирать сердце.

Уже много дней вертелись эти веретена и в этот раз («Четырнадцатого марта родилась Елена!»), когда Илью Алексеевича осенила счастливая мысль.

— Замани, Ленушка, к нам Егорку... оказии такой больше не будет!

— Заманю,— сказала Елена и собралась было идти, но Илья Алексеевич удержал ее.

— У нас будут свои? — спросил он.— Совсем свои?

Казалось, румянец, обьявший ее щеки, поднялся до бровей — еще миг, и огонь спалит их.

— Я сделаю так, чтобы Егорка был с тобой,— сказала Елена.

Но тоскливый холодок подозрения уже проник в его сердце. Видно, и к Елене подобралось всевластное лихо. Кого она хочет уберечь от Ильи? Беда шла на дом Репниных, и, кажется, не было от нее спасения.

— Кто этот человек? — осторожно возобновил Илья Алексеевич прерванный разговор, увидев Елену на следующий день.— Я его знаю? — он взял ее руку, поднес к колючей щеке.

— Помнишь, Патрокл, того, седоголового, что пожаловал к нам ночью?

Он затих, все отвердело в нем, только зрачки ворочались едва заметно.

— Да не чекист ли он, Ленушка?

Она не очень понимала это слово. В том кругу, в котором она жила, это слово было синонимом других слов, таких же устрашающих.

— Знаешь ли, кого ведешь в дом?

Он пугал, старый добрый Патрокл, а ей решительно было не страшно.

Они встретились с Ильей вновь лишь в канун дня рождения.

— Ленушка, я просил кликнуть еще Поливанову,— он сказал: «Поливанову», а не «Агнессу Ксаверьевну», как звали ее обычно в семье, и этого не могла не заметить Елена, сказал не из храбрости.— Хочу поразвлечь ее маленько, с той среды она люстры черным крепом обернула. Ты не тревожься: денег добуду.

Он сказал: «Денег добуду»,— а Елена подумала: «Опять запрется в своей келье, а потом ненароком выйдет с круглым свертком под мышкой и пойдет из дому подчеркнуто твердым шагом, глядя вперед. И так сверток за свертком. Говорят, до войны у Патрокла была необыкновенная коллекция черно-белой графики».

— Хочу показать ей Егорку,— сказал Патрокл, имея в виду Паливанову.

Агнесса Ксаверьевна Поливанова (в свете просто: Поливанова 1-я) была закадычной подружкой Ильи Алексеевича, карточным партнером, поверенной всех самых сокровенных дел. Душа смятенная, Агнесса Ксаверьевна неожиданно оказалась очевидицей события, которое явно не было рассчитано на ее маленькое сердце: в прошлую среду на рассвете в дом вторгся взвод латышей. В автомобиль, что стоял у подъезда, погрузили сундук с личной корреспонденцией Поливанова 1-го, ларец с фамильным золотом, рядом поместили самого Поливанова и увезли. Двумя днями позже Поливанов 1-й вернулся, как говорят, под расписку, однако без сундука и, разумеется, без



ларца. Так или иначе, а с той злополучной ночи Агнесса Ксаверьевна постоянно ловила себя на том, что прислушивается к шуму автомобилей и вздрагивает при звуках автомобильного рожка. Она ходила по дому тихая, смотрела на мужа влажными глазами, точно видела в последний раз.

— Хочу развлечь Агнессу и показать ей Егорку, — повторил Патрокл. — Егорка ей будет любопытен.

Елена устремилась прочь. Патрокл не мог не заметить: ее решительно не устраивало продолжение разговора.

Прежде бывало так: в канун праздника, когда вкусное дыхание только что вынутого из печи сдобного теста распространялось по дому, Илья Алексеевич приходил на кухню. Он любил наблюдать, как Егоровна прослаивает заварным кремом многоярусный пирог, украшает крупными абрикосами, вынутыми из варенья, готовит бабку, сбивает сахаристое, туго текучее безе. Не было в этот момент у Ильи Алексеевича большего желания, как получить из рук Егоровны кусок пирога и потом нести его на ладони, горячий, напитанный пылающей влагой, пахнущий вкусно ванилью, с румяной, мягко вдавленной корочкой. А сейчас Илья Алексеевич нес на дрожащей ладони пирожок с вишней, тяжелый и сплюснутый, испеченный из серой муки восемнадцатого года, и на душе лежал то скливый туман, такой же, как этот пирог, серый и тяжелый: необычным нынче будет день рождения Елены.

Первой из гостей приехала Поливанова 1-я. Она пошла за Ильей Алексеевичем, кутая плечи в просторный шерстяной платок, закрыв глаза.

— Молва рассказывает, что Кочубей в панике, ждут приезда Софьи, — произнесла Агнесса Ксаверьевна, когда вошли в комнату Патрокла, и, сбросив туфли, она взобралась на софу — это место у печи было любимо ею. — Приедет и возвратит Георгия Ильича (она так и сказала «Георгия Ильича», не «Егорку») в Швецию.

Старший Репнин сник. Он сидел перед чашкой кофе, опустив голову, тонкая струйка пара коснулась вихра седых волос, и вихор странно удлинился.

— Знаешь, обидно сознавать, — говорил Илья, не поднимая головы, — что все вершится помимо твоей воли и

ни на что ты уже не можешь влиять. Да поедет ли он в эту Швецию? У него свое разумение — взрослый. Не поедет...

— А вот он придет сюда, и мы все узнаем, — говорит она.

— Узнаем, — произносит он и смотрит на часы. — Через полчаса узнаем, — добавляет он, а сам не сводит глаз с часов, словно эти полчаса истекнут сию секунду.

А на улице вызванивают трамваи, точно их сто лет держали взаперти, лишив возможности двигаться и звенеть, а сейчас вдруг выпустили. Нет, это уже звенит не трамвай, а дверной звонок.

— Поброди, Егорушка, по дому, а я пока займусь собой, — говорит Елена. — Или лучше зайди к Илье Алексеевичу, он тебя ждал.

— А он ничего не говорил о пилках для лобзика?

Елена смеется — Патрокл все рассчитал точно.

— Да ты спроси его, он у себя.

Слышно, как застучали шаги Егорушки и неожиданно замерли — видно, стоит где-то рядом, не решается войти. И два человека, два старых человека, тоже поптичьи вытягивают шеи, дожидаясь стука в дверь, и робеют не меньше мальчика, что пришел за пилками для лобзика и стоит сейчас у самой двери.

— Илья Алексеевич, разрешите?

Вздых вырвался из груди старшего Репнина и отозвался в его больных бронхах.

— Заходи, Егор.

Илья видит: в раскрытой двери стоит сияющий мальчик — да нет, нет же, не надо переоценивать его счастливой улыбки, он рад не встрече с тобой, а пилкам для лобзика!

— Заходи! — говорит Илья, а сам счастлив безмерно. — Позволь представить тебе Егора, — обратился он к Поливановой. — Ты должен знать Агнессу Ксаверьевну, сестру твоего дяди Корбанского. Да знаешь ли ты своего дядю Корбанского? — спросил Илья Алексеевич и рассмеялся.

Егор покраснел — разумеется, отродясь он не слышал, что у него есть такой дядя.

— Нет, признаться...

Илья достает из шкафа третью фарфоровую чашку и пытается налить в нее кофе; рука дергается, и кофе про-

ливается. Старший Репнин становится к мальчику спиной и, придерживая одной рукой другую, медленно наполняет чашку.

— Прошу тебя, Егорушка, вместе с нами.

Но Егорка брезгливо косится (он не может скрыть этой брезгливости) на мокрые руки Патрокла, которые тот пытается вытереть, и, разумеется, замечает, что платок Патрокла не очень свеж.

— В какую гимназию тебя определили: в Первую на Ивановском, или Петра Великого на Большом, или, быть может, эту... Человеколюбивого общества? — Агнесса Ксаверьевна говорит, и ее серые глаза, опущенные густыми ресницами, точно надвигаются на тебя. — Господи, надо же такое придумать: Человеколюбивого общества! Будто речь идет не о людях, а о собаках. В какую тебя определили, Егорушка? — спрашивает она; у нее очень симпатично получается: «Егоушка!»

— Дед сказал мне: «Месье Шаброль тебе заменит все гимназии: и Первую и Человеколюбивого общества — не умеют учить в Питере!»

Илья Алексеевич улыбается: однако храбр старик Кочубей, да и молодой Репнин не из робких — молодец Егорка!

— Ну и как месье Шаброль... хорош?

— Добрая душа! — восторженно восклицает Егорка. — Коммунар!

— Ты сказал: коммунар?

— Да, как все французы!

Агнесса Ксаверьевна беззвучно шевелит губами и скользит взглядом по столу: кажется, и она пытается рассмотреть там пилки — сейчас самый раз вручить их Егорушке.

— Вот, Егор, я припас тебе, — говорит Илья Алексеевич, распечатывая пачку с пилками. Илье Алексеевичу приятно вручить Егорке нехитрый этот подарок — сколько бы ни жил на свете, все б дарил ему пакеты с немудреными этими пилками, лишь бы Егорка улыбался в ответ вот так простодушно и искренне.

— Погоди, Егорушка, а как твои летние каникулы? Куда устремилшь стопы свои — в Швецию или, быть может, к деду в Тверь? — спрашивает старший Репнин.

— Какая там Швеция, дядя Илья? Конечно, в Тверь, на Волгу!

Он берет пилки и уходит. Слышно, как стучит ботинками в столовой, он счастлив. Илья смотрит на подружку, которая вновь забралась на софу и припала к теплой стене — ей холодно. А сумерки растекаются по дому, они гасят блики, затягивают тусклой пленкой бумагу и ткань, обволакивают мебель. Только лица светлы, только их не может загасить вечер, что-то есть в коже лица такое, что живет и во тьме.

## 71

Сумерки, что сизый мартовский снег, будто завалили Патрокла, лишили глаз и слуха.

— Патрокл, милый Патрокл... посмотри, какое чудо принесли наши гости! И вы взгляните, Агнесса Ксавьеревна! Сильный и добрый зверек! Кажется, мангуста!

Это Елена. Она мчится из гостиной через весь дом, и в шкафу звенит посуда. Илья нащупывает прохладную костяшку выключателя, поворачивает — неудобно, если Елена их застанет сидящими вот так, в темноте.

— Я прошу вас, такое чудо!

Сейчас улыбаются и Агнесса Ксавьеревна с Ильей Алексеевичем, в улыбке и умиление наивной восторженностью Елены и сомнение — идти или нет смотреть чудо? Но Елена решает за них, она хватает Агнессу Ксавьеревну за рукав и увлекает в гостиную.

Илья выключает свет и возвращается на софу. Он сидит в темноте, доверив всего себя думам о Егорке. Из гостиной доносится смех и голос Агнессы, в темноте он особенно отчетлив:

— О, да как же мы красивы! А как зовут нас? Какой мы породы? Кто мы такие?

Потом неожиданно наступает тишина. Минута тишины. Большая минута тишины. Открылась дверь — Агнесса. Она вошла едва слышно.

— Как этот военный проник к вам в дом? — спросила она. — Каким образом?

Он молчал. Все, что смутно роилось в нем все эти дни, что мучило и давило, сейчас вдруг поднялось и встревожило.

— Он тебе известен?

Прошла вечность, прежде чем она разомкнула уста.

— Он был, когда забирали Поливанова,— сказала она.— Его нельзя не запомнить — молодые седины.

За полночь, проводив Агнессу Ксавьерьевну, старший Репнин вернулся на Черную речку. Дом спал, только Елена бодрствовала.

— Входи, Патрокл,— сказала Елена, заслышав шаги рядом с дверью.

Но Илья не вошел — в конце концов дверь не мешала произнести то, что он хотел произнести.

— Это твой Кокорев был с обыском у Агнессы Ксавьерьевны и увез на Шпалерную Поливанова,— сказал старший Репнин.

Он слышал, как Елена вздохнула и медленно хлопнула книгу.

— Ну и что ж...— сказала она.

Он выдержал паузу.

— Я говорю, твой Кокорев — чекист.

Он видел, как задрожало в комнате пламя свечи.

— Это все, что ты хотел сказать?

Илья Алексеевич едва достиг своей комнаты, когда в столовой застучали частые, быстро удаляющиеся шаги Елены и хлопнула входная дверь.

Старший Репнин выбежал во двор, отодвинув тяжелый деревянный засов ворот — путь через дом к парадной двери был бы длиннее,— выглянул на улицу. Ему почудилось, что он приметил Елену, перебегающую дорогу; потом ее тень на дороге — видно, над ее головой ветер тряс фонарь,— длинная и печальная, вздрогнула.

— Ленушка... Елена!

Налетел ветер и медленно растер голос на голых камнях вместе со скупой пригоршней снега.

Илья стоял у распахнутых ворот без пальто, в ночных туфлях, простоволосый, всматриваясь в дальний конец улицы, туда, где ветер грозил пустым кулаком уличного фонаря невысокому питерскому небу. Вот она, беда, что уже пошла в атаку на дом Репниных!

А в сознании Елены жили слова Патрокла. Надо было очень хорошо знать Елену, чтобы обратиться к этим словам. Всю дорогу, пока она мчалась в тот конец города, ее знобило, на сердце наплывали тоскливые туманы и было непередаваемо горько, что Патрокл мог подумать

о Кокореве так худо, что семейный праздник, начатый светло, закончился так нескладно, что было, наконец, что-то зловещее даже в облике мангусты, которая сейчас бегаёт по дому.

Елена была у дома Кокорева, когда уже рассвело. Она безбоязненно позвонила, но на звонок не отозвались. Только теперь Елена вспомнила, что мать Василия накануне уехала в Кувшиново за мукой и пробудет там дня два. Она позвонила еще и еще — нет ответа. Быть может, Василий ушел от Репниных в Смольный, а возможно, так уснул, что ничего сейчас не слышал. Она набралась терпения и позвонила в третий раз, позвонила настойчиво — в доме было тихо. Она уже пошла прочь, бесконечно усталая и сникшая, когда услышала, как открылась дверь.

В дверях стоял Василий. В шинели, без сапог, белый вихор вздыблен, но в глазах нет сна — видно, беспокойство уже перекинулось от Елены к нему.

— Что ты так?

То ли взгляд ее был грозен, то ли он вдруг застеснялся своего вида — Василий отпрянул, и Елена вошла в дом.

Он принялся целовать холодные руки, но она отстранила его.

— Я очень озябла, дай мне чего-нибудь горячего.

А потом они сидели в его комнате над пылающим чаем, и она говорила, не глядя на него:

— Сейчас согреюсь и все скажу, только согреюсь.

Она как-то потемнела и ожесточилась за эту ночь, кожа лица стала серой. Она пила чай, не отнимая стакана ото рта, торопясь допить.

Он уже почувствовал недоброе и зло ошетинился. Этот жест, которым она отстранила его, был откровенно неприязненным.

— Я очень верю в тебя и тебе, Василий, — наконец произнесла она без запинки. «Так гладко можно говорить, — мелькнуло у него, — если ты все это обдумал». — Скажи мне все напрямик, как бы ни было тяжело, напрямик скажи, — повторила она, а он вновь подумал: «Видно, всю дорогу от Черной речки до Леонтьевской она твердила эти слова, иначе не произнесла бы их так храбро».

Она допила чай, но не отняла рук от стакана — все еще было зябко.

— Верно говорят, ты не простой красный, а тайный агент красных? — спросила она и впервые взглянула ему в глаза.

Кокорев улыбнулся — не случайно ему померещилось в этой встрече недоброе.

— Верно, агент,— сказал он и протянул к ней руку.

— Ты не тронь меня,— сказала она, отводя руку.— И ходил с обыском к Поливановым? — она недобро взглянула на него.

— Это к каким Поливановым... на Моховой? Разумеется, ходил и арестовал сундук с золотом,— пояснил он, улыбаясь.

— И не только сундук с золотом, но и самого Поливанова, так? — спросила она.

— Арестовал Поливанова,— сказал он и неожиданно для себя заметил, как слезы застилают ее глаза.

— Как ты мог это?

Она плакала, охватив голову руками, и чудесные волосы точно расплескались.

— Елена, послушай...— устремился он к ней. Ему было и смешно и больно.— Только послушай и поймешь меня,— говорил он и, дотянувшись ладонями, вдруг ощутил желобок на спине, и ему стало жаль ее.— Я верю, ты поймешь меня,— сказал он, но Елена вдруг привстала.

— Хочу тебя спросить еще,— сказала она.— Ты решился на все это... по своей воле?

— По своей, разумеется.

— Если ты способен лишить человека свободы, ты способен лишить его и жизни... да?

Он стоял у распахнутой двери и видел, как она шла вдоль кромки тротуара, присыпанного скудным городским снежком, и сильный сквозной ветер, казалось, покачивал всю ее. Она была очень слаба в эту минуту и необыкновенно сильна — он знал ее настолько, чтобы понимать это.

## 72

Анастасия Сергеевна была на распутье. Третий день в доме Репниных готовились к отъезду в Москву. Собирались все: Илья Алексеевич, Елена, Егоровна. Московский дом Репниных на Остоженке занимали дальние

родственники, которые готовы были выехать по первому требованию хозяев. Репнин говорил, что Елена приняла это известие без энтузиазма, однако заметила, что ее дом там, где дом ее отца. Илья, наоборот, был воодушевлен, он полагал, что издревле Репниным больше везло в Москве, чем в Питере. Егоровна следовала за Еленой.

Настенька была в смятении.

Она не знала, что ей ответить Жиллю, который обстреливал ее письмами и телеграммами. Она не знала, что ей делать с питерским домом. Она не знала, что ответить деверю, который грозил явиться вновь. Она не знала, что отвечать питерским друзьям, которые все еще пытались что-то советовать. Она знала единственное: она любит так, как никогда и никого не любила, а потому готова предать анафеме и дом, и Жиллю, и Бекаса в придачу.

Она сказала, что едет, и тотчас, точно услышав это слово, явился мальчик из храма святой Екатерины на Невском и сказал, что ее просит к себе настоятель. Она пошла не раздумывая.

Каноник Рудкевич был не страшен, а разговор с ним никогда не был для Настеньки обременителен. Рудкевич казался Анастасии Сергеевне самым светским из всех светских, никогда не говорил о боге. Больше того, все его увлечения, по крайней мере доступные постороннему глазу, никакого отношения к церкви не имели. Настеньке определенно импонировал характер настоятеля — Рудкевич был постоянно полон сил, неизменно деятелен. Иногда даже казалось странным, каким образом этот человек может быть всегда одинаково бодр. Когда он являлся к Шарлю, больше всех была рада Настенька. Нет, Рудкевичу не сопутствовала благодатная тишина, наоборот, с ним приходила жизнь, очень земная. Он был высок, широк в плечах, когда ходил, загребал руками, как человек, которому некуда девать свою силу, брился наголо и был равнодушен к ослепительно белым сорочкам. Смеясь, он закидывал голову и весь розовел, нет, не только нос, щеки, подбородок, но и голова, затылок, шея — все становилось ярко-розовым, все было полно здоровья и силы.

Иногда Настеньке казалось, что настоятель ухитряется быть таким даже в храме. Как-то она долго наблюдала, как он, совершив свадебный обряд и проводив молодоженов, остался в храме с большой группой прихо-



жан. Он принялся им рассказывать что-то непобедимо веселое, сам увлекся, хохотал громче всех и был необыкновенно симпатичен. Настенька наблюдала за ним из сумеречного угла, не слышала, что он говорил, но была уверена, что говорил он не о боге, да и вообще весь он, гололобый, красный, с здоровущими плечами и руками, был бы хорош верхом, или на облучке тарантаса, или за рулем автомобиля, но не в храме. А может, именно таким должен быть настоятель, если хочет сберечь влияние на сердца и души людей? В конце концов миф о небе силен в той мере, в какой небо похоже на землю.

Как полагала Настенька, Рудкевич любил бывать в ее доме. Настенька даже готовила для него любимое блюдо — вареники с вишнями, вишни Анастасия Сергеевна ухитрялась добывать во все времена года. Нередко вареники подавались в комнату Шарля, где настоятель беседовал с хозяйкой дома.

Сейчас полдень, и храм пуст. Его полумрак стремительно пронзают три солнечных луча. Они врываются из верхних окон и рассекают храм по наклонной. Где-то под куполом лучи пересекаются. Служба давно кончилась, а в глубине храма звучит орган. Со свету Настенька сомкнула глаза, застланные слезами, а когда раскрыла, увидела прямо перед собой Рудкевича. Он шел навстречу, протянув могучие руки. Он сиял и искрился. Лицо его и круглая голова, выбритые и отполированные до зеркального блеска, будто прибавляли света храму.

— Господи, как же я вас долго не видел,— произнес он.— А хороши вы сегодня необыкновенно. И не перечьте.

Она улыбнулась:

— Нет для женщин волшебнее слова, чем это. По крайней мере ее хорошее настроение зависит от него.

Они поднялись в комнатку, которая служила Рудкевичу кабинетом.

— Ах, это церковная сырость,— заметил настоятель и открыл форточку, запахло сухим ветром, пыльным, городским.— Слышите? — поднял Рудкевич палец, словно призывая быть внимательнее — рядом, на уровне церковного окна кто-то играл на мандолине, играл негромко, но очень четко.— По-моему, нет инструмента, который способен в одно и то же время так точно передать и мелодию и человеческую речь.— Он помог Настеньке снять пальто, пригласил сесть, но сам не торопился опу-

ститься в кресло.— Анастасия Сергеевна, родная, вы знаете, о чем я хотел с вами говорить? — вдруг произнес он, все еще прислушиваясь к мелодии, которая доносилась сюда, нужно было усилие, чтобы ее услышать.— Нет, скажите, догадываетесь?

Настенька молча кивнула головой, кивнула и улыбнулась.

— Ну и что ж? — спросил он, не тая улыбки,— он, бестия, знал, как хороша у него улыбка.

Анастасия Сергеевна пожала плечами, выражая нерешительность, быть может, неловкость.

— Не знаете? — взглянул он на нее, продолжая улыбаться.— А я знаю,— заметил он и кротко погасил улыбку.— Вам надо ехать к мужу, милая Анастасия Сергеевна.

У него это получилось так просто и искренне, так участливо и по-человечески проникновенно: «Вам надо ехать к мужу», что она подумала: «Может, мне и в самом деле надо ехать к Жиллю?» Она едва сдержала себя, чтобы не сказать ему об этом.

— Вы затрудняетесь ответить мне?

Она не разомкнула губ.

Он осторожно прикрыл окно, сейчас мелодия просачивалась сюда по капельке.

— Анастасия Сергеевна, выслушайте меня. Нет, я не хочу, чтобы мои слова значили для вас больше, чем слова доброго друга. Я знал вашу семью, много лет знал вашего мужа.— Он как-то хотел заставить ее разомкнуть уста.— И я вам хочу сказать, нет, нет, бог здесь ни при чем... Я хочу подтвердить эти слова честным словом человека, если хотите, друга вашей семьи, если хотите, вашего духовника. Ну, вы же знаете, что мне известно больше, чем вам? Сердца мне открыты! Это человек достойный и, верьте мне, Анастасия Сергеевна, вам бесконечно преданный. Заслужил ли он, чтобы с ним вот так?..

Настенька молчала.

Рудкевич ткнул ладонью в оконные створки — они распахнулись. Ворвалась мандолина — радостно-сбивчиво, она пыталась договорить что-то очень лихое.

— Вы влюблены? — спросил он прямо, и бесенок веселости, вызванный мандолиной, заплясал в его глазах — все-таки он любит жизнь, этот святой отец. Он понимал, как трудно было ответить на этот вопрос.— Ну

что ж, любовь благо, тем более что человек, которого вы любите, и умен, и хорош собой, и души необыкновенной...— он сделал паузу, точно дожидаясь, как она примет эти слова. Не может быть, чтобы у нее не возникло искушения горячо, всей силой сердца подтвердить: «Да!.. Да!..» Но и на этот раз она смолчала.— Ну, скажите, влюблены?

Она испытующе посмотрела на него.

— Это даже не то слово... я... я... люблю...— сказала она едва слышно, будто все время говорил не он, а она, и это исчерпало ее силы так, что даже этой фразы она не могла произнести полным голосом.

Очевидно, он ждал этого слова и давно готовился услышать, но, когда оно наконец было произнесено, он понял именно в эту минуту, что предстоит нелегкий разговор и кто знает, как он закончится. Опыт отца Рудкевича, опыт человека, который изо дня в день говорил с людьми о самом насущном, подсказывал: ничто не требовало от него таких усилий, ни в одном разговоре он не чувствовал себя так зыбко и так в конце концов ложно, как в разговоре, в котором участвовала любовь.

Но у него была цель, и он отважился на приступ.

— Анастасия Сергеевна,— он старался говорить так же добродушно-миролюбиво, как начал,— скажите, вас связывает с этим человеком многолетняя дружба? У вас одни взгляды на жизнь, на призвание в жизни? Скажите: да?

Она внимательно посмотрела на него.

— Я люблю этого человека.

Видимо, ответ ее воодушевил Рудкевича.

— Иначе говоря, вас связывает только... любовь?

Она продолжала смотреть на него, теперь внимательно-но-неприятно.

— Он благородный человек, и я люблю его.

Ему захотелось пошире распахнуть окно, чтобы веселый речитатив мандолины еще раз заполнил паузу, но он сдержал себя.

— Вы говорите, что он благородный человек. Чтобы сказать так, в наше время надо знать человека годы. Вас связывает с ним только любовь?

Она подняла голову так, будто решила сражаться.

— Да... и это немало.

Рудкевич пошел к окну, и Настенька последовала за ним взглядом: округлая, большая, добрая спина. Такая спина может быть у старшего брата или даже отца: добрая спина. И Настенька подумала: как соединились в этом человеке, на вид очень цельном, духовник, врачующий души грешных, и крупный дипломат. В одном он, как говорил Шарль, тактик, в другом — стратег. Как сочетать первое и второе? Или первое является легальным обличьем второго?

— Любовь — чувство святое, и я не подниму на него руку, но любовь ли это — вот вопрос. Верьте мне, Анастасия Сергеевна, я это знаю: часто люди принимают за любовь нечто такое, что любовью не является, — порыв сердца, может быть, благородного, увлечение, наконец. Освободиться от ига любви не следует, но освободиться от ига такого увлечения благо. Да, увлечение, и все пошло кругом, все сместилось, все опрокинулось. Кажется, что человек, которого ты встретил, создан для тебя самим богом, ты не можешь прожить без него дня, ты убежден, что строй его ума, душа его, все, из чего соткан его характер, удивительно тебе соответствуют. Да что ум и сердце? По тебе создан весь он, его кровь, плоть, тело его. Но есть одно испытание, есть в природе один меч, такой непобедимой стали, равной которой в природе нет ничего: все рушится под его ударом, его не боится только любовь. Этот меч — время. Проверь себя этим мечом. Устоял — стал сильнее. Убоялся меча — отступись. Не разрушай жизнь человека, да и свою побереги! — он поднял на нее глаза, полные строгой скорби. — Анастасия Сергеевна, были вы под этим мечом?

Она не могла сказать слова — она боялась того, что хотела сказать.

— Нет... — ей почудилось, что сказала не она, а кто-то другой.

— Отступитесь.

Когда она, объятая сомнениями и почему-то страхом, бежала по лестнице, ей привиделось, что отец Рудкевич распахнул окно — было слышно, как играла мандолина.

Она понимала, что Рудкевич иезуит, ей было очевидно и то, что двигала им отнюдь не добрая воля, больше того, ей было ясно, что разговору с ней предшествовал разговор с деверем, и тем не менее ей казалось, что он нашел слова, чтобы посеять сомнение и поколебать

веру. Дома, на Охте, ее ждал Репнин, ждал ее решения о поездке в Москву, но она не пошла домой. И прежде в минуты тревоги она шла на Неву. Была в этой реке, в ее черной воде, в ее каменных, врезанных наперекор ненастью берегах, в самих очертаниях построек, возведенных по берегам, то стремительно вздымающихся, то падающих,— была в этой реке мятежная сила. Отдай себя во власть этой стихии, и она развихрит в тебе любую непогоду.

Настенька пошла на Неву.

Природа была полна ожидания — казалось, земля, уже созревшая для цветения, вот-вот разверзнется и родит чудо. Анастасия Сергеевна думала, что вопреки всем ненастьям, овладевшим ею, что-то радостное высветлило душу. Она была большой и ласково-доступной, эта радость лежала высоко в груди и казалась физически ощутимой. И подобно тому, как это бывало с Анастасией Сергеевной прежде, она стала думать: откуда эта радость и почему вдруг стало так хорошо? Анастасия Сергеевна вдруг вспомнила, что уже на Невском, когда она вышла из храма святой Екатерины, неожиданная мысль осенила ее: она сражается с Рудкевичем не одна. Рядом с нею он. И это понимает Рудкевич. Поэтому к природной деликатности прибавилась осмотрительность, какой прежде не было. Наверно, никто так не чувствует сильнее плечо друга, как женщина. И от сознания, что он был рядом, во всех ее радостях и бедах рядом, любое испытание, которое готовила Анастасии Сергеевне жизнь, казалось ей преодолимым и решительно не было страха.

А о каком испытании может идти речь? Испытанию временем? Кажется, об этом говорил ей Рудкевич? Да каждую ли любовь следует испытывать временем?

Она пришла домой поздно. Репнин ждал. Он сказал, что поезд уходит в десять вечера. Она обещала выехать в Москву через несколько дней.

Николай Алексеевич не спрашивал, чем вызвана перемена в ее решении. Он знал, что Настенька сделала это не без основания и в условленный день будет в Москве. Тем не менее он решил отложить свой отъезд и явиться в Москву вместе с нею.

Елена была в этом доме однажды, лет пяти от роду, и все, что с ним связано, рисовалось, как в тумане. Она помнит, как ранним летом отцвели яблони и лепестками, точно молодым снегом, запорошили зеленое сукно письменного стола. Помнит большую лампу над столом, круглую, надутую, точно пузырь, неожиданно вырвавшийся из рук ребенка и уткнувшийся в потолок. И все, что вспоминалось о доме на Остоженке, было окрашено в какие-то неестественно радужные тона — лепестки цветущих яблонь были снежно-солнечными, ковер туманно-зеленым, лампа такой густой синевы, какой не бывает даже море. Они, эти краски, были однажды, как один только раз бывает у человека детство, и потом погасли. И вот сейчас все оставалось на своих местах: и гобелен с оленями и круглая лампа, но не было прежних красок, как не было уже детства.

Каким-то чудом это состояние души Елены подсмотрел Илья Алексеевич. Он повел Елену в дальний конец дома, привел в комнату, неширокую, с одним окном, выходящим в сад. Комната была пуста, совершенно пуста: ни стола, ни стула, ни кровати, и смотреть было не на что; странно, что пустая комната могла сказать сердцу Патрокла так много.

— Вот здесь родились все Репнины,— сказал Илья Алексеевич значительно.— Все Репнины... и наш дед, и твой дядя, и отец твой..

Ей почему-то стало жаль и отца и дядю Илью — уж больно комната была неказистой, чтобы быть торжественными воротами, через которые пришли в этот мир все Репнины.

— А я... я тоже здесь? — спросила она наугад, хотя, если говорить искренне, ей не очень хотелось, чтобы она родилась здесь.

— И ты,— сказал Патрокл, и она вдруг почувствовала, что смотрит на комнату другими глазами. Пустая комната, только что такая неприветливая, обрела для нее иной смысл, и дом как-то преобразился — только что стоял в тени и вдруг невидимо переключался на солнечную сторону.

А в большой кухне Егоровна поставила опару и уже затопила русскую печь. Предстоящее воскресенье, а вме-

сте с ним и приезд Николая Алексеевича и Анастасии Сергеевны совпадали со страстным воскресеньем — пироги из кислого теста, какие пекла Егоровна, пироги с капустой, картошкой, грибами были хороши. Еще утром, когда семья приехала на Остоженку, Егоровна обошла дом и хотя по складу своего характера не подала виду, но осталась домом довольна. Впрочем, на вопрос Ильи Алексеевича, как понравилась ей кухня, заметила хмуро, что, как ни хороша кухня, все одно в ней ничего само по себе не сварится, не изжарится, не испечется.

Еще в Питере Егоровна заметила: Настенька была ласкова с ней, но именно поэтому старая не очень ей верила. Егоровна полагала, что у всех невест (для нее она была невестой) поначалу рука бархатная. Егоровну не столько беспокоила судьба Николая Алексеевича и даже ее собственная, сколько Елены. Как Анастасия Сергеевна отнесется к Елене, как сойдутся они, как поделят место под крышей репинского дома и хватит ли им этой крыши. Как ни хорошо относился Николай Алексеевич к Егоровне, он не спросил у нее совета, но если бы надумал спросить, она, пожалуй, сказала бы «нет». И еще сказала бы: «Живи-ка ты, друг мой, один да люби птенца своего. Вот я живу одна».

Но Николай Алексеевич решил по-своему, и Егоровна должна была считаться с этим, тем более что Елена решение отца одобрила. Пожалуй, это было главным. Так или иначе, а младший Репнин решил жениться. И, не раздумывая, Егоровна поставила опару и растопила печь — сна знала по многолетнему опыту, что новое дело надо начинать с пирогов, остальное приложится.

## 74

— Ты видишь кого-нибудь? — спросила Настенька Репнина и прищипнула щекой к его руке, когда поезд подошел к перроку. — Видишь?

Репнин улыбнулся.

— Кажется, промелькнул Илья... очень торжественный.

Они медленно пошли к выходу, и все казалось, что эта вагонная толчея, шарканье ног, стук чемоданов, разговор с носильщиками, разговор пассажиров между

собой о пустяках — все это так буднично и незначительно по сравнению с тем большим, что было в душе у Репнина и Настеньки, что хотелось остановиться и подождать, пока все схлынет и невидимым течением вымоет и выщелочит. И они действительно остановились, ожидая, пока убудет толпа. Но наперекор потоку пассажиров и движению чемоданов уже пробивались Илья Алексеевич и Елена.

Ну вот, Настенька не вошла еще в дом, а семья Репнинных выглядела сейчас куда более сплоченной, чем некоторое время назад; в извозчичьей пролетке женщины усадили под верхом (моросил дождь, прерывистый, апрельский), а братьям пришлось сесть напротив. Да, впервые за столько месяцев братья сидели плечо к плечу, являя редкое единодушие.

Пока пролетка катила по московским бульжникам и торцам от Николаевского вокзала к Остоженке, Настенька не проронила ни слова. Она была благодарна судьбе, что шел дождь и на улицах было мало народу. Казалось, если и ей суждено совершить грех в самом первородном и тяжком виде, она это сделает только теперь, когда переступит порог репнинского дома, ее нового дома. Где-то здесь ляжет резкая черта, отделяющая прежнюю жизнь от будущей. До того как она переступила этот предел, никто не отнимал у нее возможности вернуться. После того как она его переступит, такая возможность, по крайней мере для нее самой, будет утрачена. Хорошо все-таки, что это произойдет не в Питере, а в Москве, но между Москвой и Питером нет непреодолимых стен. Наоборот, для того круга людей, к которому принадлежит она, на шестисотверстном пути, отделяющем один город от другого, Москва где-то переходит в Питер, и наоборот. Однако грех этот будет виден и за Уральским хребтом, так думала она.

И все-таки, когда Репнин полушутя-полусерьезно подал ей руку и они поднялись на крыльцо старого репнинского жилища, она просияла. Это же счастье — войти вот так с любимым в его и твой дом. И эту улыбку заметили и Елена, и Илья Алексеевич, и Егоровна, стоявшая у раскрытой двери, и все улыбнулись. Это придало ей силы. Она переступила порог с той лихой и светлой отвагой, с какой человек переступает новый рубеж в жизни.



Илья Алексеевич приподнял короткий, с ямочкой подбородок, намереваясь произнести нечто торжественное, потом неожиданно махнул рукой, взял Настеньку под руку и, оставив брата одного, пошел по дому.

А потом Елена приняла ее из рук Ильи и повела показывать ту маленькую комнатку, которую показывал накануне Патрокл, а из комнаты этой они перешли в галерею и кухню, а из кухни в сад. Сад еще был обнаженным, только сирень уже выстрелила бледно-зеленые ворсистые листочки. Сад был еще голый, но уже полон птичьего гама.

— Вам будет хорошо у нас,— сказала Елена, и глаза ее вдруг повлажнели.

Они стояли в тишине сада и плакали крупными и молчаливыми слезами. Было в этих слезах и сознание, что вопреки всем невзгодам свершилось что-то очень большое, чего они обе желали, и сострадание к своей женской слабости, и тревога, и робость, и счастье. Они бы так плакали долго, если бы рядом не оказался Николай Алексеевич.

— Боже милостивый, что это еще такое? — спросил он и, взглянув на женщин, испытал неловкость: явно пришел не вовремя.

Репнин ушел, а они еще долго не могли вернуться в дом. Небо оторвалось от земли, кое-где даже посветлело. Смолкли шумы города. Стало и теплее, и тише, и спокойнее. Из дому донесся бойкий ритм польки-бабочки. Это Илья Алексеевич завел мощный «Циммерман», под усиленные рупором вздохи граммофона могла бы танцевать вся Остоженка. «Циммерман» вздыхал, вожделенно замолкал, шептал и вновь вздыхал, и звал женщин в дом, а Настенька и Елена не торопились — что-то еще не было сказано такое, что было и у одной и у другой на сердце и что не в силах были объять слова.

— А я тебя не отпущу из дому, если даже будешь просить,— сказала Настенька восдушевленно, обхватив плечи Елены.— Да, да, если даже придет час, а вместе с ним человек, может, хороший человек, все равно не отпущу... веди его сюда.

— Человек... человек... — произнесла Елена так, будто бы все это было за какой-то далекой гранью, где начинается нечто призрачное, что, быть может, существует, а возможно, создано воображением.

Илья Алексеевич устремился к Настеньке, едва она вошла в дом, подхватил и повлек по большому кругу, танец дал и дыхание и силы. Граммофон играл, Илья Алексеевич видел, как разгорается огонек в глубине глаз Настеньки, как огонек этот упал на щеки яркой ветвью, густой, не убывающей в силе. А Настенька видела в распахнутую дверь стол, накрытый крахмальной скатертью, и на нем внушительную для нынешней суровой поры рать пирогов Егоровны. Илья Алексеевич мчал ее по кругу, победив сердцебиение, а она внимательно следила за всеми, кто стоял поодаль и наблюдал. В глазах Елены она увидела восторженное внимание, Егоровны — хмурю задумчивость, Николая... Нет, его глаза сейчас не видны. Он наклонился над письменным столом, и видны срез лба и губы, сейчас почему-то бледные, но вот он выпрямился, и она вдруг почувствовала, как по нему соскучилась. Скорее бы конец и граммофону, и танцам, и пирогам. И к чему все это задумали, когда надо было, как велит сердце: она и он, только.

Было уже за полночь, когда встали из-за стола, вышли в сад все вместе и долго слушали, как мягко шумит ветер прошлогодней листвой и перекликаются во сне птицы. И все, казалось, отступило куда-то прочь, и нет рядом города, большого города. А потом все ушли, остались лишь Репнин и Настенька.

— У тебя нет ощущения простора и... воли? — спросил он.

Она дотянулась губами до его губ.

— Я хочу, чтобы оно у меня было, — сказала она.

Настенька обернулась и вдруг увидела, что в доме уже погасли все огни, все, за исключением одного — лишь окно их комнаты было освещено. И она подумала, что предел, за которым у нее начнется новая жизнь и о котором она думала там, у порога дома, ей еще предстоит переступить.

Репнин решил не откладывать встречи с Чичериным и отправился в Наркоминдел на следующее же утро. Он понимал, что это утро могло быть началом новой работы. «Наверно, в Питере все это совершилось бы труд-

нее», — думал Репнин, спускаясь к Пречистенскому бульвару. То ли потому, что все, что надо было пережить, пережито, то ли потому, что сегодня этому событию сопутствовало счастье его личной жизни и все перекрасило в свои краски, но на душе Николая Алексеевича было спокойно. Он подумал, что дипломаты стран Согласия, выехавшие из Питера раньше, чем его покинуло правительство, наверно, уже прибыли в Вологду. Разумеется, испокон веков в Москве существовали генеральные консульства, по крайней мере у великих держав, однако консульство не посольство, а консул даже по официальному статусу не дипломат. К тому же в этом жесте стран Согласия (в них дело, только в них!) было нечто дискриминационное. Отстранившись от прямых контактов с революционным правительством и поручив все дела консулам, союзники точно хотели сказать: «Большее не позволяет нам сделать ни наш престиж, ни отношения с внешним миром». Но жест союзников, как понимал его Репнин, говорил и об ином: «Вопрос о признании решительно снимался».

Репнин перешел мостовую и готовился подняться на тротуар, когда справа, у рекламной тумбы, увидел Илью. В руках у него были газеты. Как и в Питере, Илья начал день с похода за газетами, с чтения прокламаций и афиш, которыми за ночь оклеивался город. Илья заметил Николая первым и, не отрывая глаз от рекламной тумбы, наблюдал за братом. Глаза Ильи были пасмурны — они все понимали: и куда держит путь Николай и как значительно для него это.

Репнин прибавил шагу — братья разминулись. Репнин заставил себя не думать о брате, хотел заставить себя. «Как бы то ни было, надо изучить документы, — решил Репнин. — Прочсть все, что надо прочсть о нынешней позиции союзников. Каждое серьезное дело надо начинать с чтения документов».

Репнин свернул налево и тихими арбатскими переулками пошагал на Спиридоньевку. Шел, думал: нет более русского города. Москва выглядит почти обыденно, но почему тогда такая сила скрыта в этом городе? Вот хотя бы эта улочка. Неожиданно просторные дворы со скамьями, врытыми в землю, и дубом в три обхвата, укравшим все вокруг зыбкой кровлей. Особняки, построенные еще в том веке, прежде белостенные, теперь беле-

ые и серые. Крыши, не очень новые, крашенные зеленою и охрой, и на чистом поле стены березка. Издали она кажется нарисованной. Трубы на домах, как дубы, тоже едва ли не в три обхвата, построенные на века, и синие клубы дыма, которые невысоко движутся над городом. Церквушки, церквушки, одна меньше другой. Все очень обыденно и просто, но тогда почему так тоскливо и радостно тревожится сердце и почему такая сила сокрыта в этом городе для Репнина?

Москва — патриархальная, дедовская, Николай Алексеевич так хочет сказать, старореппинская.

И неожиданно — Спиридоньевка. И здесь, на Спиридоньевке, многое напоминает арбатские переулки. Особняки, крытые беленым тесом, как на Арбате, дворы с дубами и вязами. Церковки злато- и сребряноглавые, расписные (церковь Спиридония, что на Козьем болоте), с выводком деревянных домов — жилище настоятеля, дьякона да псаломщика, жилище просвирни. Но здесь и нечто необычное: точно корабли, потревожившие спокойную московскую воду, выстроились на Спиридоньевке новые особняки. Они не вплыли, а вторглись в кирпич и дерево старой Москвы, растолкав сильными боками все вокруг, где сплющив и смяв, а где обратив в пыль и щепу. Вторглись и замерли, радуясь добротности металла и камня, в который закованы, весомости имен, высеченных на камне: Рябушинский, Морозов, Тарасов... Дом, куда сейчас держал путь Репнин (Наркоминдел был там), находился на углу Спиридоньевки и Патриаршего переулка и принадлежал Гавриилу Тарасову.

Репнин испытал нечто похожее на беспокойство при этом имени. «Гавриил Тарасов,— повторил он,— Тарасов!» Репнин вспомнил историю о стремительном возвышении четырех братьев, которую как-то рассказывал ему Илья, историю, в которой климат России двадцатого века отразился достаточно. Армяне-горцы, чьим родным языком был черкесский, они начали торговлю забавной мелочью, которую, по преданию, расположили на табурете, установленном на людной улице степного города. Через тридцать с лишним лет они внесли табурет как реликвию в особняк на Спиридоньевке, который правильнее было бы назвать дворцом. Один бог знает, каким был этот путь из степного города в древнюю русскую столицу, Репнин полагает, что он не был усыпан розами.

Москва не изумилась приходу братьев — она видела и не такое. Единственно, кто сделал большие глаза — обитатели кирпичного дома через дорогу от тарасовского особняка, там была дворянская богадельня (Репнин знал эти богадельни: длинные коридоры с комнатами-норами, тоскливую тишину, нарушаемую виноватым покашливанием, и этот воздух, которым пахнет сама старость). Когда старик Тарасов брал зубило и присоединялся к каменотесам, одевающим особняк в гранит, обитатели богадельни выходили на улицу. Не было зрелища диковиннее: в особняке художники, выписанные из Италии, расписывали плафоны и стены, высоко по фасаду рабочие выбивали мудреную латынь (латынь, и не иначе: «Gabrielus Tarassof, Fecit anno domini...»<sup>1</sup>), а у входа в особняк сидел едва ли не самый богатый человек империи и тесал камень. Как полагал Николай Алексеевич, в этом был вызов и обитателям богадельни, жестокое напоминание, что их век кончился, но было и другое: энергия и целеустремленность класса, набирающего силы. Вряд ли поступок Тарасова мог вызвать у Репнина восхищение, но человек ума спокойного и точного, привыкший считаться с фактами, Николай Алексеевич должен был своеобразно легализовать это явление в своем сознании, трезво его признать.

В подъезде было темно и холодно. Пахло тесом, где-то шумел рубанок, что-то срочно перестраивали. Секретарь Чичерина сказал, что у Георгия Васильевича прием, и вручил Репнину ключ от будущего кабинета. Репнин отыскал кабинет, отпер и, к удивлению своему, обнаружил в нем секретер, шифоньер, шесть полукресел, все из одного гарнитура, а также фарфоровую настольную лампу, миниатюрную и нарядную, очевидно, все это принадлежало семье, судя по всему богатой, которая накануне выехала отсюда. Впрочем, стопка визитных карточек, ненароком найденных Репниным в ящике секретера, указывала на это безошибочно — уже после Тарасовых здесь осели беженцы из Петрограда.

— Николай Алексеевич, вот где довелось встретиться!

Репнин обернулся: после солнца непросто разглядеть человека, стоящего в дверях.

---

<sup>1</sup> Гавриил Тарасов, построил божьей милостью в году...

— Здравствуйте... да неужели я так изменился?

Репнин шагнул человеку навстречу — Маркин!

— Давно замечено, ничто не способно так переиначить и душу и лицо человека, как дипломатия, Николай Григорьевич.

— А вы полагаете, я уже дипломат? Я так не думаю.

— Простите, почему?

— Я был дипломатом, пока не надо было сидеть за столом. А сейчас вам дали стол, да и мне, говорят, облюбовали. Не стол — четырехвесельная шлюпка.

Репнин рассмеялся.

— Так это же знак признания.

Маркин помрачнел.

— Ко мне это признание могло бы прийти и позже — так лучше.

— Как это понять, Николай Григорьевич?

— Понять нелегко, Николай Алексеевич.

Маркин сощурил глаза — казалось, в них отразилось само апрельское небо, его простор.

Репнин подумал: а ведь он был добрым приятелем Настеньки, быть может, другом. Чем-то она отличила его от всех прочих учеников. Не в синих же глазах дело. Есть в нем и ум, и такт, и тот простой и ясный взгляд на жизнь, когда человек знает, что ему надо. В той среде, к которой принадлежала Настенька, таких было немного.

— Хочу знать, как пахнет буря, а заодно посмотреть на жизнь, набраться ума-разума. Человеку важно не переоценить себя.

— И не недооценить, — сказал Репнин.

Маркин помолчал, повторил убежденно:

— Не переоценить.

Маркин протянул руку, но Репнин не торопился ее пожать. Приход этого человека в его новый дом был бы приятен Репнину, да и Настеньке тоже.

— Анастасия Сергеевна не раз о вас говорила. Не зайдете ли к нам как-нибудь?

— Анастасия Сергеевна? — он улыбнулся, будто вспомнил что-то очень давнее. — Я бы пришел, да ведь время все вышло.

— Да неужели так прямо в дорогу?

— В дорогу.

Репнин задумался.

— Я что-то не понимаю, Николай Григорьевич. По моему, вы здесь очень нужны.

Маркин засмеялся.

— Главное, не переоценить себя.

Маркин ушел, а Репнин долго не мог успокоиться. Как тогда, на Охте, в родительском доме Настеньки, Репнин не мог не подивиться мудрой скромности этого человека, его цельности и тому, как благородно и сильно он смотрит на жизнь. Почему он решился пригласить Маркина в дом? Из всех, кого он встретил в эти ненастные месяцы и кто для Репнина представлял тот мир, именно его?

Апрель явился в белом наряде — неожиданно завьюжило.

В кабинете Чичерина попахивает сырым дымком — разожжен камин.

— Бери стул и садись рядом, — произносит Георгий Васильевич, увидев в дверях Репнина. — Мне этот холод неважно, пожалуй, отвык...

Огонь в камине от сырых дров неяркий, в синих отблесках, в дыму.

— Вот взгляни... документ, который Робинс увезет в Америку. — Чичерин взял со стула папку и, не раскрывая ее, подал Репнину.

— Не программа ли это русско-американской торговли, как ее видим мы? — спросил Репнин, все еще не раскрывая папку.

— Ты угадал: программа.

— Как некогда... в обмен на ипское сукно Россия гонит на Запад корабли, груженные бочками с воском, медом и беличьим мехом: белка, как разменная монета — за штуку сукна тысячу белок!.. Не так ли?

Чичерин усмехнулся: реплика Репнина была Георгию Васильевичу приятна, но имела к предмету разговора отношение косвенное.

— Нет, дело не в ипском сукне, да, пожалуй, и не в беличьих шкурках, — заметил Чичерин, приглашая раскрыть наконец папку. — То, что Америка сумеет купить в России, она нигде не купит, да и Россия заинтересована в американских товарах немало...

Репнин углубился в чтение документа — он был напи-

сан с размахом и страстью. Мысленному взору Николая Алексеевича открылась картина торговли России и Америки, как ее сегодня представляли русские. Да, это, пожалуй, был один из первых документов, когда русский революционер, разрушив государственную машину царизма, брался за дела созидательные. Русский революционер?.. Да, документ принадлежал, так показалось Николаю Алексеевичу, перу государственного человека, обладающего и оком прозорливым, и дерзостью, и хваткой десницей, и умом. По полю были рассыпаны пометки, сделанные энергичной и крепкой рукой.

— Пометки... Левина? — спросил Репнин и взглянул на Георгия Васильевича.

— Ленина.

— А самую программу писал другой?

— Да, конечно. На твой взгляд, она недостаточно весома?

— Нет, почему же? В ней есть и замах и мысль.

— А чего в ней нет? — спросил Чичерин.

— Все есть, но я думаю о другом.

— О чем?

— Кому адресована эта программа?

— По-моему, американскому президенту.

— Ее вручит президенту... Робинс?

— Да, очевидно.

Репнин молчаливо смотрел на огонь — синий поток пламени чем-то был похож сейчас на движение мысли Репнина: такой же переменчивый и неуловимый.

— Ты полагаешь, что в этом нет смысла? — спросил Чичерин.

— Нет, почему же? Смысл есть при всех обстоятельствах.

Чичерин не настаивал. Для Георгия Васильевича это значило: если Репнин уходит от разговора, следовательно, для него не все ясно, что-то он должен додумать.

Тремя часами позже, прощаясь, Чичерин вдруг остановил Репнина, спросил:

— Прости, если мой вопрос прозвучит необычно, но я задам его. Какой момент в жизни ты мог бы назвать для себя лучшим?

Это было похоже на Георгия Васильевича: что-то второе, сокровенное и непознанное, шло в его сознании ря-



дом с насущными делами, которыми был занят его ум, не уступая дороги и переуступая ее.

— Тот, когда сделал хорошо близкому человеку,— сказал Репнин, не задумываясь.— Радость человека близкого — это и есть лучший момент...

— Радость человека близкого,— повторил Чичерин, не выдав своего отношения.— А для меня нечто совсем иное, совсем,— добавил он и задумался.— Есть такой момент в жизни человека, момент заповедный; только что сорвано покрывало с египетской гробницы: еще не музей, но уже развезяна тайна...

Репнин возвращался к себе пешком. Николай Алексеевич любил эту дорогу — в дороге хорошо думалось. Он сказал Чичерину, что в миссии Робинса к американскому президенту есть смысл, при всех обстоятельствах есть. Если говорить строго, то вряд ли при всех обстоятельствах. Как некая разведка истинных намерений американцев — смысл есть. Как акция практическая, как серьезный расчет — вряд ли. В самом деле, в нынешней обстановке, когда Брест совершился и в разговоре с русскими союзников все больше представляют пушки, кажется, что проект русско-американской торговли писал великий забияка и гордец с Ламанчи. Кстати, Репнин думал прежде и готов подтвердить вновь, что рыцарь печального образа — явление не только испанское, русское — тоже. Даже русское больше, чем испанское. Знаменитое русское подвижничество, подвижничество во всем — в храбром служении вере, искусству, революции, разве это не донкихотство? Как ни парадоксально, самые земные из политиков — большевики для Репнина во многом донкихоты, и Чичерин не меньше остальных. Вот так самоотверженно предать забвению все, что было твоей плотью и кровью,— семью, среду, близких, обречь себя на пожизненное холостячество и пожизненно заточить себя в монастырь революции, да не донкихотство ли это?.. И в поступках — то же неумирающее донкихотство — беспочвенное фантазерство, будто средой, в которой ты живешь, является не земля с ее рытвинами и хлябями, а облако... Наверно, как пробный шар, хорош и нынешний проект русско-американской торговли, как маневр, как попытка разведать политическую погоду в том стане... Но для Чичерина это не просто маневр, а насущное дело, в своем роде черный хлеб революции... Кто же

прав: Чичерин или Репнин?.. И потом эта последняя чичеринская фраза о гробнице, с которой только что сорвано покрывало: еще не музей, но уже развеяна тайна... Может, и революция для него всего лишь заповедный рубеж на пути к вечному узнаванию: пали покрывала, и тайна перестала быть тайной...

## 76

— Ты помнишь, Николай, разговор о грозных кортиках, который был у нас с тобой еще в Питере, кажется, в Смольном? — услышал Репнин в телефонной трубке голос Чичерина, как всегда в полуночный час неожиданно громкий. — Ты имеешь возможность повторить все свои возражения, — заметил он, смеясь. По тому, как произнес Чичерин эти слова, нарочито-громко, с вызовом, Репнин понял: Георгий Васильевич в кабинете не один. — Я жду тебя. — Однако он сказал не «мы», а «я» — что-то от игры, озорной и неловкой, в какую играют только взрослые, свойственно и Чичерину, иначе погибнешь в этот поздний час.

— Входи, Николай Алексеевич, мы ждали тебя, — сказал Чичерин, едва Репнин открыл двери чичеринского кабинета; сочетание дружески-фамильярного «ты» с именем и отчеством было для отношений Репнина и Чичерина необычным и показало Репнину, сколь своеобразна обстановка.

Репнин вошел и в глубине кабинета в свете настольной лампы рассмотрел фигуру Дзержинского, низко склонившегося над журнальным столиком, устланном большой географической картой, края которой, свешиваясь, лежали на полу. Увидев Репнина, Дзержинский встал и, пытаясь разогнуть спину, замер, ссутулившись. Видно, полтора месяца, прошедшие со времени последней встречи, были для Дзержинского нелегкими — лицо потемнело, в глазах прибыло горящих углей.

— Однако в наших встречах есть известная закономерность, — сказал Репнин, здороваясь. Репнину казалось, что ему следует расковать неловкость, которая была при их встрече прежде и, очевидно, будет сегодня.

— Закономерность уже потому, что они происходят ночью? — спросил Дзержинский, рука у него была приятно прохладной.

— Все значительное возникало ночью, — сказал Репнин.

— Не было бы ночи, не было б и тайны, — засмеялся Дзержинский. — Дипломатической, — добавил он. — Ведь тайна — душа каждого дела, не так ли?

Репнин смешался: что-то в этих словах было знакомое.

— Душа... душа... — произнес он.

Чичерин пододвинул к журнальному столику кресло. Репнин сел.

— Чаю хочешь, Николай? — спросил Чичерин.

— Да, пожалуй, — ответил Репнин, заметив, как Дзержинский потянулся к стакану с чаем, впрочем, уже остывшему.

Наступила пауза, чай помогал ее продлить.

— Кортик оказался и в самом деле оружием грозным, — заговорил Чичерин, заговорил так, точно предыдущий разговор о кортике и дипломатах был только что прерван. — Международное право обогатилось новым термином: заговор послов. Впрочем, не будем голословны, — взглянул он на Дзержинского.

Нет, Дзержинский не был настроен столь иронически-воинственно. Он строго посмотрел на карту, лежащую перед ним, задумался, подперев кулаком сильный лоб. Все, о чем он приготовился говорить, было для него вопросом жизненным — бессонные ночи, жестокие стычки с врагами на допросах.

— Мы вас побеспокоили столь поздно, Николай Алексеевич, в связи с обстоятельствами чрезвычайными, — произнес Дзержинский тихо, много тише, чем говорил только что. — Службой ЧК установлено, что мозговым и оперативным центром восстания, которое началось на юге России и грозит сомкнуться с восстанием на востоке, все больше становится дипломатический корпус, — Дзержинский умолк, видно, длинная фраза ему была сейчас не по силам. — Наиболее деятельная фигура, не только оперативная, — Локкарт.

Репнин подумал: «Нет, Бьюкенен выехал из России не потому, что привилегию стать разведчиком доверил своим преемникам Линдлею и Локкарту. Позволь ему воз-

раст и здоровье, он бы воспринял и эти обязанности». Для Репнина все это было очевидно, однако хотелось думать, что старик Бьюкенен переуступил эти функции преемникам, решив остаться до конца дней своих дипломатом. Очень хотелось хорошо думать о Бьюкенене, быть может, вопреки здравому смыслу, и сберечь в сознании представление о дипломатии как об искусстве, не оскверненном тем, что зовется нечистым словом «шпионаж».

— Нашей дипломатии не следует обманываться насчет истинного облика своих коллег из того лагеря,— медленно продолжал Дзержинский.— Локкарт деятелен и агрессивен. Он знает Россию, у него связи, он молод.

Дзержинский сказал «он молод», а Репнин решил: «Да, все в том, что он молод, люди того поколения честнее, разборчивее в принципах и средствах. Они бы не решились на это. Но тогда какова цена непорочным сединам Френсиса, добрым глазам, мягким рукам, да, какова цена сединам Френсиса, который так похож на классический тип человека того столетия?»

— Вологда стала истинной столицей... той России,— произнес Дзержинский и прямо взглянул на Репнина.— В Осаново под Вологдой сегодня в своем роде совет дипломатов, аккредитованных в России. Телеграмма о первом заседании должна быть к одиннадцати,— Дзержинский рассмотрел в сумерках кабинета дымчато-матовый циферблат больших настенных часов.— Пожалуй, телеграмма уже есть.

Он поднялся и медленно прошагал к письменному столу, на котором стояли телефоны, шел, вскинув голову, будто хотел себя взбодрить и победить усталость.

— Вместе с депешами,— услышал Репнин голос Дзержинского.— К Чичерину,— добавил он.— А как Тверь? Тверь как? — спросил он, когда разговор, как показалось Репнину, был закончен.— Не оставлять провода! Каждый час — Тверь! Каждый час!

Репнин подумал: «А при чем тут Тверь? Не перекочевала ли дипломатическая столица из Вологды в Тверь?»

Репнин слышал, как Дзержинский положил трубку на рычажок, положил осторожно, явно контролируя каждое движение, опасаясь, как думал Репнин, обнаружить усталость.

— Да, Вологда стала истинной столицей белой России,— заметил Дзержинский, повторив интонацию своей реплики, на которой разговор был оборван.— Все, что нам угрожает, идет оттуда,— добавил он и посмотрел на Чичерина — очевидно, эта фраза была адресована ему.— Это отлично усвоили дипломаты, в том числе и стран-нейтралов. Многие из них Вологду, по существу, предпочли Питеру.

— Не думаете ли вы, Феликс Эдмундович, что своеобразное представительство в Вологде должно быть и у комиссариата иностранных дел? — спросил Чичерин.

— Да, если говорить об интересах России, несомненно,— сказал Дзержинский, не сводя внимательно-пристальных глаз с Чичерина.

Репнин опять подумал: «Вологда — столица белой России, а при чем тут Тверь?» Дзержинский сказал: «Об интересах России». Он хотел сказать: «Об интересах Советской России», а сказал просто «России» — совершенно очевидно, что эти слова он обратил к Репнину. Не его ли, Репнина, он имел в виду, когда говорил о необходимости лучше знать тайны дипломатической Вологды? Репнин еще не проник до конца в суть этого чувства, оно было для него неосознанным, но явственно ощутил, как гневное пламя поднялось из самых глубин души. Да не Репнина ли Дзержинский имел в виду, когда думал о человеке, который направится в Вологду и, опираясь на свое положение, сословное, профессиональное, общественное в конце концов, проникнет в святая святых вологодских дипломатов?

Дверь приоткрылась. Дзержинский оторвал глаза от карты (они все еще были устремлены в буйные дубравы Заволжья), произнес:

— Входите, Василий Николаевич, мы вас ждем.

Репнин посмотрел на дверь и увидел тусклые в сумеречном свете чичеринского кабинета седины Кокорева.

— Прошу вас, пожалуйста,— подхватил Чичерин и остановил весело-недоуменный взгляд попеременно на Репнике и Кокореве, точно спрашивая: «Что происходит, друзья? Нет, объясните, что происходит?»

Кокорев вошел и поклонился присутствующим, поклонился с той робостью, которая показывала, как хорошо он понимает, что здесь он младший.

— Василий Николаевич Кокорев,— произнес Дзержинский и, взглянув на Репнина, добавил: — Вы знакомы?

— Да, при обстоятельствах... своеобразных,— заметил Репнин, улыбаясь.

— Не подверг ли он вас ненароком... аресту? — спросил Дзержинский и рассмеялся впервые в этот вечер.

— Что-то в этом роде,— сказал Репнин.

Кокорева точно горячим паром обдало — он стал мокрым.

— Было дело, Василий Николаевич? — спросил Дзержинский — ему было приятно воспользоваться этим обстоятельством и несколько разрядить беспокойно-тревожное настроение вечера.— Когда?

— В ноябре,— Кокорев не удержал улыбки.

— За давностью срока простим! — произнес Дзержинский весело.— Впрочем, взглянем, что вы принесли, и решим, стоит ли вас прощать.

Репнин не улыбнулся шутке Дзержинского, один он не улыбнулся. Очевидно, Дзержинский заметил это, и мигом вернулась к нему пасмурность и усталость.

— Телеграмма получена в одиннадцать? — спросил он Кокорева серьезно, спросил, чтобы, возможно, обрести прежний тон и инициативу в разговоре.

— Четверть двенадцатого, Феликс Эдмундович,— уточнил Кокорев.— В одиннадцать я напомнил специальной депешей,— добавил Кокорев, он хотел дать понять и Чичерину, и главным образом Репнину, что его обязанности отнюдь не обязанности курьера. Но Дзержинский уже не реагировал, он был занят чтением телеграммы — сейчас он ее воспроизведет, воспроизведет или прочтет? Для Репнина это существенно.

— Сегодня поутру в Осаново выехали Френсис, Локкарт и Нуланс,— проговорил Дзержинский, не отрывая глаз от листа, выклеенного телеграфной лентой.— Вместе с ними были американский и французский военные атташе,— продолжал Дзержинский, по тому, как убыстрил речь Дзержинский, Репнину показалось, что, очевидно, он не столько читал текст, сколько пересказывал его.— В полдень они вызвали к себе трех русских, прибывших накануне в Вологду, как говорят, с юга.— Нет, Дзержинский щадит самолюбие Репнина и текст читает, хотя ка-

жется, что пересказывает — просто текст тускл, а в комнате не хватает света.— Из всех, кто участвовал в переговорах, в город вернулся только французский военный атташе.— Дзержинский закончил чтение. Если его чтение чем-то отличалось от текста, то только пропусками.— Атташе сообщил доверительно, что в Осанове речь шла о помощи чехословакам.

Дзержинский свернул телеграмму и возвратил Кокореву.

— Следующая телеграмма должна быть в шесть утра,— произнес Кокорев нетерпеливо, но Дзержинский и на этот раз не реагировал: в конце концов, важно ли, когда будет следующая телеграмма?

В тишине, которая наступила, слышно было простуженное чихание автомобильного мотора у подъезда да скрежет заводной ручки — шофер крутил что было силы, однако мотор решительно отказывался заводиться.

— Разрешите идти, Феликс Эдмундович? — спросил Кокорев, укладывая телеграмму в папку и поднимаясь.

— Нет, подождите, Василий Николаевич,— сказал Дзержинский, и Кокорев медленно опустился в кресло; то ли Кокорев действительно был ему нужен, то ли он хотел выказать истинное положение Кокорева перед присутствующими.

— Мне кажется эта информация недостаточной,— сказал Дзержинский.— Обидно недостаточной.

Ну конечно, подумал Репнин, он оставил Кокорева, чтобы произнести эту фразу в его присутствии и показать Репнину, что им был прочитан только что весь текст вологодской депеши, именно весь.

— Но то, что придет в шесть утра, будет богаче? — спросил Чичерин быстро.

— Вероятно, но возможно и повторение,— произнес Дзержинский.

Да, речь явно идет о поездке Репнина в Вологду. Однако в каком качестве? Неужели Репнин должен направиться в Вологду, чтобы пополнить информацию, которой недостает Дзержинскому? Если вопрос будет поставлен так, у Репнина есть только один ответ.

— Заговор послов — такого термина дипломатическая практика не знала,— проговорил Чичерин, разумеется, этой репликой он хотел вызвать Николая Алексеевича на разговор, расковать наконец молчание, которое ста-

новилось неприличным.— Все, что происходит в Вологде, не в меньшей мере касается и иностранного ведомства,— сказал Чичерин, а Репнин подумал: «Он точно торопит меня: «Тебе надо ехать в Вологду, пойми, только тебе!»

— Завтра в Вологду выедет группа наших сотрудников,— подхватил Дзержинский, поднимаясь.— Всем, что добудем, поделимся,— заметил он и улыбнулся.— В Вологду поедете и вы, Василий Николаевич,— взглянул он на Кокореву.

Кокорев вобрал нижнюю губу, безжалостно сдавил.

— А как Тверь, Феликс Эдмундович?

— За Тверью прослежу я,— сказал Дзержинский и, взглянув на озадаченное лицо Репнина, смутился.— В Твери скопилось пять составов с хлебом для Питера,— пояснил он, обращаясь прямо к Репнину.— Если протолкнем, в Питере можно увеличить паек на осьмушку, там половина русских рабочих.

Репнин пошел домой пешком. Решил идти дальней дорогой — вниз к Манежу, потом вдоль реки. Очень нужен был час тишины, час абсолютной тишины. Хотелось додумать все, что только что произошло, именно додумать. Да нет же, он не торопил и тем более не навязывал своей воли Репнину. Он сказал просто, что дипломатно делать без информации трудно, именно дипломатю. И потом эти вагоны в Твери, которые все время вторгались в разговор и гремели, гремели... Надо вернуться сейчас в Наркомат, вломиться к Чичерину, если спит — поднять, сказать: «Мне надо ехать в Вологду, только мне!» Да нет же, не ты делаешь дело Дзержинского, а он твое, делает скромно и твердо, без компромиссов. Делает и даже не упрекает тебя в этом.

— Николай Алексеевич, это вы?

Кокорев вышел из-под тени деревьев, закрывших решетку Александровского сада. Наверно, и ему нужен час тишины, чтобы все додумать. Он идет рядом с Репниным, однако все еще поодаль, опасаясь сократить расстояние.

— Николай Алексеевич...

Они стояли под купами деревьев и молчали. Каждый из них понимал, что в этом молчании и есть их спасение. Наверно, этот разговор с Дзержинским дал право Кокореву остановить Репнина.



— Я хотел сказать, что нет человека лучше... чем Елена Николаевна, нет честнее,— произнес Кокорев и опрометью ринулся в темноту. Репнин еще долго видел его узкоплечую фигуру, внезапно четкую.

Маркин, а потом Кокорев. Маркин в начале дня. Кокорев — в конце. Где-то тут объяснение всех правд.

Часа тишины недостаточно, чтобы совладать с этим вечером и этим днем. «Там половина русских рабочих»,— сказал Дзержинский. Он так и сказал: «русских рабочих». Так вот к какой цели он шел длинными российскими трактами с кандалами на ногах! Длинными российскими трактами... Россия, мать родимая, как же трудны мысли о тебе!

Николай Алексеевич оглянулся: Кремль, мощный изгиб стены, завершающейся вдаль Троицкой башней. Репнин шел к Кремлю, знал, что он рядом, и все-таки, когда увидел сейчас лицом к лицу, вдруг ощутил, что не хватает дыхания. Что-то было для него в облике Кремля непреходящее. Оно пришло в сегодняшний день из всевластной древности и будет воспринято будущим и распространено на века.

Репнин встретил Чичерина у Никитских ворот. Майское солнце не очень свирепо, но пальто расстегнуто, да и меховая шапка приподнята больше обычного — лоб вспотел. Георгий Васильевич шел из Кремля к себе, на Спиридоньевку.

— Кажется, перевалили зиму... Грееет! — Он взглянул на солнце, оно было ему сейчас в диковинку: назло всем ненастьям и бедам зимы солнце греет, обещая не обделить щедротами весны и лета. — Только что простились с Робинсом: как я говорил, он избрал дальний путь — через Сибирь...

— Дальний — не самый спокойный?

— Верно, не спокойный, хотя на руках у него и мандат, какой имеет не каждый...

— Мандат... то бишь письмо американскому президенту?

— Письмо письмом, а мандат мандатом... Прежде чем пожать руку, Ленин вручил американцу мандат, предписывающий всяческое содействие беспрепятствен-

ному и быстрейшему проезду из Москвы во Владивосток...

— Не столько оценка прошлых заслуг, сколько гарантийная квитанция на будущее?

Чичерин заулыбался:

— Да, будущее не исключается.

— Но... риска нет?

— Наверно, есть, но, быть может, он оправдан?

И вновь застучал тревожный барабан сомнения: оправдан ли риск?.. Оправдан? А какой резон рисковать?.. Тот ли он человек? Надо ли Репнину убеждать себя в истине, которую он постиг еще осенью: Робинс — троянский конь, заброшенный в стан революции!.. Но тогда что произошло?.. Надо очень хорошо знать Робинса, чтобы облечь его доверием, каким он облечен сейчас. Ленин и Чичерин знают? А может быть, и это... донкихотство? С точки зрения такого трезвенника, как Репнин, и Октябрьская революция... донкихотство?.. В самом деле, если бы в октябре семнадцатого было испрошено мнение Репнина... только мнение, что сказал бы он? Наверно бы, забаллотировал Октябрь! Значит, дело не в донкихотстве, а в законах, о существовании которых Репнин может только догадываться... У Ленина такая правда, какой не обладал никто другой, — она, эта правда, дала возможность Ленину повернуть ладью американца...

Они минули Александровский сад, и Георгий Васильевич пошел к Кутафьей башне, чье зубчатое полудужье обозначилось справа.

— Боюсь, что Робинс должен не просто вручить письмо, но и защитить его, — сказал Репнин.

— Ты полагаешь, что он способен на первое и не способен на второе?

— Я так думаю.

— Напрасно, — заметил Чичерин и протянул руку.

Репнин видел, как Чичерин идет вдоль ограды Александровского сада. Казалось, последнее слово, которое произнес он, придавало его шагу твердость, какой прежде не было. И Репнин подумал: Чичерин — проблема для психолога... Как-то, говоря о любимых литературных героях, Георгий Васильевич сказал, что ему интересны «натуры двойственные, проблематические»... Репнин готов понять Чичерина; в натуре проблематической и даже двойственной сильно столкновение начал противополож-

ных, борьба, в ходе которых человек и растет, и совершенствуется, и мужает. На взгляд Репнина, Чичерина нельзя назвать фигурой двойственной: его цель ясна, его жизнь — целеустремленна, однако при всем этом он, выражаясь его же словами, фигура достаточно проблематическая, при этом настолько, что иногда кажется, что качества, свойственные Чичерину, принадлежат разным людям: идеалист и одновременно человек дела очень земного; эрудит, чьи познания коснулись самых разных и неожиданных сфер человеческого разума, и революционер-практик, с редким воодушевлением отдающий себя черной работе; дворянин по всем своим корням и храбрый слуга рабочей России, чья преданность новому делу стала нарицательной; человек, на первый взгляд робкий и одновременно неколебимо последовательный, выражающий и энергию и целеустремленность молодого класса, когда перед ним цель... Сравнения эти можно продолжать бесконечно, однако одно ясно: Георгий Васильевич — натура достаточно проблематическая, если под этим понимать сочетание человеческих качеств, порожденных живой жизнью. При первом взгляде он может показаться нерешительным, больше исполнителем, чем инициатором и творцом, «человеком при Ленине», способным отстоять его идеалы и идеи перед зарубежным миром. На самом деле своеобразие чичеринского ума в энергии анализа, в способности проникать в суть явления — все, что совершает сегодня Наркоминдел, вызвано к жизни Чичериним, его деятельной мыслью... «А как все-таки Робинс... сумеет он защитить письмо и план?» Чичерин сказал: «Сумеет».

Нет справедливее судьи, так думает Репнин, чем время, надо дать ему возможность рассудить.

## 77

Из окна дома Белодедов на Литейном была видна просторная крыша соседнего особняка, крытого фигурной черепицей. Только вчера глыба снега на черепичной крыше была нерушима, Петр любовался ее могучим пластом — с завидной точностью она повторяла контуры Австралии. Однако к утру пласт растаял до пределов Скандинавии, а к полудню повис чахлым стебельком — так на школьной карте выглядят Апеннины.

Петр явился в полдень, явился неожиданно.

— Собирайся, мать, и кличь Лельку. Да, да, заколачивай свою церковь, отдавай ключи соседям, а сама — со мной. Кстати, и машина у ворот.

Мать тронула ладонью рябое лицо, но с места не сошла.

— У-у-у... шальной! И когда ты переделаешься.

Она поднесла ладонь к глазам, неторопливо вытерла, хотя глаза были сухи — очень трудно вытапливались у нее слезы; если плакала, то без слез.

— Ну, жди, — бросил Петр, — может, чего и дождешься. Только Лельку я возьму.

Уже под утро где-то на перегоне между Тверью и Клином Петр проснулся, за окном клубился туман, обильный, предутренний, в вагоне было холодно, тепло ушло еще с вечера. Петр снял с себя одеяло, укрыл Лельку, укрыл старательно, заправив одеяло за спину. Она едва заметно шевельнула плечом, произнесла что-то свое, невнятное. Она показалась Петру совсем малышкой, несмышленной и беспомощной, очень хотелось протянуть руку и коснуться щеки, а может, задержать ладонь где-то у виска, так, чтобы тепло проникло в руку.

— Ты не спишь, Петя? — она выпростала из-под одеяла кисть руки. — Как там будет? — она указала взглядом на окно.

Он дотянулся до ее руки.

— Этот парень... муж твой, что погиб под Солдау...

— Грика?

Он заметил: так говорят только на Кубани — Грика.

— Да, Гриша, он был человек стоящий?

Она вздохнула.

— Очень... — она выпростала всю руку, положила на одеяло, рука была тонкой, четко очерченной. — Он был человек необыкновенный, Грика, — она вздохнула, помедлила, она чувствовала, что Петр ждет следующего слова. — Я заметила, парень с такой внешностью — баловень судьбы, белоручка, а Грика...

Она умолкла, а Петру хотелось договорить все, что не было еще сказано.

— Это ты по нем... черное платье надела?

Она долго молчала, точно дожидаясь, когда тронется поезд, и тогда грохотом и посвистом, стуком колес заколотит все, что было и должно быть сказано.

Но поезд не шел.

— По нем, Лель?

Она натянула одеяло, скрыв и плечи, и подбородок, и рот, только глаза были обнажены.

— Да, по нем,— произнесла она.— Убили его — точно сердце мое живое в огонь кинули,— она вздохнула, будто не хватило воздуха.— Это такое варварство, Петя, такое варварство. А когда погиб, осталось чувство вины перед ним. Все казалось: никто не виноват, только я.

Поезд тронулся. Потек седой туман, нескончаемая полоска леса вдали, белая полоска снега в кювете, поля, перечеркнутые косыми линиями льда.

— Ты сказала, парень с такой красотой — баловень? А я заметил, это бывает у художников.

— Ты знал такого? — спросила она.

Он отрицательно покачал головой, засмеялся.

— Знал... такую.

Она улыбнулась.

— Там, Петь?

Петр подумал: скоро четыре месяца, как он уехал из Лондона, целых четыре. Не было бы того, что произошло в жизни Петра за эти четыре месяца, наверно, не пережить бы разлуки с Кирой. Но в эти месяцы одно событие следовало за другим, и события эти, как камни, падающие с гор, преградили реку памяти. Нет, реку памяти преградить нельзя — она вспухнет и разметет камни, не пытайся преграждать!

Ранним вечером он взял Лельку за руку и повел смотреть город. Они шли по Тверской, скрепив руки и размахивая ими, весело, как ходили, наверно, в детстве. По небу бежали облака, крепкие и яркие, точно в каждое из них было завернуто по солнцу. Лелька покраснелась, казалось, даже загар подрумянил щеки, прогнав и природную бледность и усталость, да и в глазах поубавилось сини. Они спустились к реке, долго шли по набережной, вспоминая свободную невскую воду. У храма Христа Спасителя перебрались на ту сторону и уже к вечеру добрались счастливые и усталые до Нескучного сада.

Было холодновато и ясно.

Он смотрел на нее, как она шла вдоль воды, и отражение в реке — светло-серое пальто, чуть-чуть взбитые и

схваченные бантом волосы — было приглашено сумеречно-стью воды. И казалось, там, в воде, идет она, а здесь, на земле, рядом с тобой, ее отражение. В воде она была больше похожа на себя. Все меняется в человеке, даже кожа, но обличье, будь то светское или, как сейчас, монашеское, труднее сбросить, чем кожу. Какая-то скованность движений, робость шага, неловкость и нерасторопность речи напоминали о монастырской церкви, о сводах келий и трапезных монастыря.

Вечером им выдали ключ от небольшого особняка в Староконюшенном, хозяева (уральские заводчики, жившие в Москве по зимам) выехали в неизвестном направлении. Видно, жизнь остановилась здесь неожиданно — подъехал грузовик, перенесли чемоданы и сундуки, шофер, быть может, даже не дал сигнала и не включил фар, и тихо покатили по затененным и притихшим переулкам большого мира, каким издавна был Арбат, и канули во тьму — московская тьма, как топь, она принимает, но не отдает.

Петру почудилось: дом точно ожесточился. На Петра пошли в атаку и запахи и вещи. Рядом со старым креслом, стоящим у камин, Петр увидел мельничку для кофе; Петр выдвинул ящик, и оттуда пахнуло нюхательным табаком. На кухне Петр нашел гончарный круг — что делали на нем здесь? В прихожей, рядом с бархатным салопом, в каких ходят замоскворецкие купчихи в церковь, висел головной убор индейца, расцветенный синими перьями. В мансарде, где красный угол сплошь был заставлен иконами, Петр обнаружил черный клубук.

— Благочинный носит клубук? — спросил он сестру, которая неотступно следовала за ним не столько из любопытства, сколько из страха.

Она отрицательно повела головой.

Казалось, она ответила, имея в виду прямой смысл этого вопроса, не осознав еще обидной для нее сути.

Больше в этой комнате он не задерживался.

А потом они вошли в галерею, и Петр увидел деревянный желоб. Длинный, хорошо сбитый желоб протянулся из одного конца галереи в другой, в конце деревянной канавки лежали красный деревянный шар и жестоко разметанные по сторонам фигуры. Видно, последнее, что сделал хозяин, навсегда покидая дом, тщательно поста-

вил своих воинов, с веселой и злой удалью пустил в них красный шар. Удар пришелся в самое ядро кона, и деревянные фигуры кинуло вразброс. Петр решил повторить удар и, к страху и трепету Лельки, которая издали наблюдала за братом, выстроил деревянное войнство и пустил красный шар. Раздался гром, такой глубокий и мощный, что, казалось, эхо пронеслось по ближним и дальним комнатам. Как ни силен был замах, шар едва докатился до того края канавки — деревянное войнство продолжало стоять.

А все-таки не просто Петру проникнуть в душу Лельки, уразуметь ее суть. Чем она еще осчастливит Петра? Чем сокрушит? Если и был у нее когда-нибудь бог, то это любовь к мужу — большего бога она не ведала. Она не очень знала жизнь и принялась искать своего бога там, где отродясь его не было. Благочинный понял это прежде, чем смогла уразуметь она, и пытался обратиться в Грику. Однако благочинный не все может. А пока Лелька тихо идет по большому и холодному дому, идет сторожко, и зыбкая тьма, тьма недобрая, точно колеблется в ее глазах.

Странно все-таки: мельничка, гончарный круг, наряд индейца, деревянный желоб... неожиданное и нелепое сочетание вещей. Неужели когда-нибудь Петр поймет, к чему здесь был гончарный круг и синие перья индейского вождя? А потом Петр подумал: «А может быть, в каждом доме можно найти что-то похожее? Вот попробуй заберись в дом Белодедов на Литейном — найдешь там и монашескую скуфью и прямоугольные гвозди, которыми ковал лошадей отец».

Наутро, когда Петр окликнул Лельку, она не отозвалась. Он пошлепал в соседнюю комнату. Постель была даже не разобрана. Видно, сестра ушла еще ночью.

## 78

Петру не терпелось посмотреть новые апартаменты Наркомата. Чичерин его удерживал.

— В этом доме мы жильцы временные, — заметил Георгий Васильевич. — Для посольства нет особняка лучше, для Наркомата он мал. Если есть возможность жить в одном доме, какой резон расселяться в трех?

Чичерин был прав. Переехав в Москву, Наркомат расселился в трех особняках: нарком и оперативные отделы — в тарасовском на Спиридоньевке, часть аппарата — на той же Спиридоньевке в особняке Рябушинского, наконец, консульская служба — где-то на Хорошевке.

Но взглянуть на красивый дом всегда приятно, тем более если в этом доме предстоит работать, и Георгий Васильевич уступил настояниям Петра: Чичерин и Белодед пошли из комнаты в комнату. Хозяева особняка давно выехали, но... природа не терпит пустоты, в особняке поселились знатные беженцы из Питера — большие и малые чиновники, которых породила мартовская революция.

— Мы на вас управу найдем, узурпаторы! — человек в шубе с каракулевым воротником хотел сказать нечто еще более дерзкое, но, оглянувшись, увидел Чичерина. — Простите, вы не новые хозяева?

— Новые, — произнес Чичерин, не останавливаясь.

— С кем имею честь?

Чичерин назвал себя.

Человек нетерпеливо переступил с ноги на ногу.

— Вы... интеллигентные люди, проехали полмира... — он на секунду запнулся. — Как вы можете... допускать такой произвол?

— Но это же революция!

— Мы-то знаем, что такое революция! — сказал господин в шубе.

Петр улыбнулся.

— Так то была другая революция!

Человек в шубе побелел.

— Самозванцы! Самозванцы! Кто вас выбирал?

— Что вы сказали? Повторите! — грозно обернулся Петр.

Человек, качнувшись, полетел по лестнице вниз. Было слышно, как он кричал внизу, и голос доносился сюда, как со дна колодца:

— Это же бог знает что!

Петр остановился, обеспокоенный тем, как ко всему происшедшему отнесется Чичерин, и был потрясен: в нескольких шагах от него стоял Репнин, доброжелательно-строгий, заметно похудевший за две недели жизни в Москве.



— Мне сказали, что вы где-то здесь,— заметил Репнин, адресуясь к Чичерину и Петру.— И, признаться, я не устоял от искушения...

Эти несколько слов были произнесены столь невозмутимо, что не оставалось сомнений: Репнин не был свидетелем напряженного диалога с человеком в шубе. А может быть, он так произнес эти слова именно потому, что был свидетелем? С тех пор как они столкнулись с Петром в споре о дипломатии догматической и творческой (так, кажется, выглядела окончательная формула?), Петр видел Репнина не однажды, но каждый раз Петру казалось, что Репнин настойчиво, хотя и осторожно, пытается продолжить спор.

— Сегодня пришла почта с французской прессой,— сказал Репнин.— «Тан» поведал о презабавном случае, когда французский консул в городе, занятом немцами, чудом избежавший интернирования, продолжал оставаться консулом Франции и выполнять свои обязанности.

Белодед был убежден: Репнин обратился к этому рассказу о французском консуле в оккупированном городе, чтобы возобновить спор с Петром.

— А я полагаю,— воинственно реагировал Петр,— консул должен быть консульством, посланник — миссией, посол — посольством, если... даже город, в котором они находятся, и оккупирован немцами!

Они шли сейчас неосвященным коридором, и было слышно, как затих шаг Репнина. Белодед жаждал поединка.

— Я вас не понимаю, Петр Дорофеевич,— заметил Репнин.

— Я тоже, признаться, не очень вас понял,— усмехнулся Чичерин.— Значит, консул — консульством, так, кажется? — добродушно подзадорил он.

Коридор был все так же темен, и только звук шагов и дыхание определяли, где находится каждый из идущих.

Петр подумал: настало время сказать все, что в нем тревожно зрело все эти месяцы, что однажды уже свело его в поединке с Репниным.

— Я хочу говорить только о дипломатии, Георгий Васильевич,— произнес Петр и огляделся. Комната, в которую они вошли, была самой солнечной в доме — она была угловой.

— О дипломатии? — переспросил Чичерин и закурил губу так, что бородака ошетибилась.— Ну что ж, о дипломатии и, быть может, чуть-чуть о жизни.

— Но предупреждаю вас, Георгий Васильевич,— сказал Петр и посмотрел на Репнина.— То, что я скажу,— это мой взгляд на жизнь и людей, моя память, быть может, даже симпатии мои и антипатии. Это прежде всего я. Это много, для меня по крайней мере, но это и очень мало. Короче, хочу иметь право говорить только от себя. Можно?

— Да, разумеется. Это будет интересно мне, да и Николай Алексеевич, я думаю, не устранился,— заметил Чичерин не без лукавства, он-то великолепно понимал, кому в первую очередь Петр адресовал то, что намеревался сейчас произнести.

Петр оглядел комнату: три венских стула, которые стояли в разных концах, как повздорившие собеседники,— вся мебель, что еще здесь оставалась.

— Кто такой дипломат? Вот простой и бесконечно сложный вопрос,— заговорил Петр.— Ответ может быть один: тот, кому страна доверила говорить от своего имени с другой страной. Заметьте, доверила. Разумеется, помимо него, есть много таких же, как он, и вместе они составят ума палату! Но в данном случае речь идет о нем, облеченном доверием. И сразу вопрос: коли народ ему доверил, может ли он, дипломат, вести себя так, как ведет себя капитан в открытом море?

— Как велит ему чувство долга, как требует разум? — нетерпеливо перебил Чичерин.

— Да, долг и разум! — подхватил Белодед, он любил эту способность Чичерина определять самое сложное понятие двумя словами, двумя динамическими словами — «долг» и «разум». — Как велит долг и требует разум,— повторил Белодед. Этот разговор начинался слишком стремительно — как при сильном ветре, вдруг не хватило воздуха.— Значит, может быть положение,— продолжал Петр,— когда один человек — я подчеркиваю: один! — станет своеобразным наркоматом иностранных дел? Его слово и его дело — слово и дело наркомата? Я свободен в способе действий, лишь бы они были полезны делу и по характеру своему, ну, как бы это сказать... были достойны.

— Да, у вас есть это право, Петр Дорофеевич, которым вы не злоупотребите.

— У меня есть свобода действий, без которой нет дипломатии творческой,— продолжал Петр, он хотел вести разговор в прежнем темпе.— Я свободен решать, когда и с кем мне встречаться, к каким аргументам обратиться. Я свободен выбрать собеседников, ими могут быть банковские воротилы и туземные царьки, департаментские клерки и хозяйева сахарных плантаций, сенаторы и председатели синдикатов, автомобильные короли... Я волен вести эту беседу так, как подсказывает мне мое сознание, разум, знание предмета, опыт. Я готов нести ответственность, самую строгую, за каждый свой поступок, каждое слово, но я прошу взамен одного — доверия.

— Слушаю вас, Петр Дорофеевич, и мне кажется, что я перенесся в девятнадцатый век,— как бы невзначай реагировал Репнин.

— Не понимаю вас, Николай Алексеевич,— заметил Петр.

— Это в те далекие времена, при примитивных средствах сообщения и связи,— заговорил Репнин вразумительно,— каждое посольство представляло собой остров в океане и должно было решать задачи, сообразуясь лишь с картиной неоглядного моря, которая открывалась из окна, решать на свой страх и риск. Ныне, в век аэропланов, беспроволочного телеграфа и железных дорог, в этом нет решительно никакой необходимости. Вы создали проблему искусственно, сегодня ее нет.

— Где ее нет? — спросил Петр, спросил горячо, он хотел обострения спора.

— Как... где? — изумился Репнин.— В практике дипломатии.

— Какой дипломатии? — настаивал Петр, ему показалось, что он нащупал слабое место в позиции Репнина, и хотел его выявить.

— Я лучше знаю дипломатию английскую,— скромно заметил Репнин, терпимым тоном он пытался умерить воинственность разговора.

— Так это же естественно, что там ее нет, этой проблемы,— заметил Петр воодушевленно.— Но там к дипломату нет и того доверия, которым располагаю я, дипломат новой России.

Репнин улыбнулся, улыбнулся саркастически, не стараясь скрыть своей улыбки — не часто он был столь откровенен.

— Дай бог, чтобы мы располагали завтра таким доверием, какое они имеют сегодня!

Петр поднялся так резко, что стул едва не опрокинулся.

— Дай бог им и впредь такую же меру счастья, но мне ее мало! — воскликнул он.

Вмешалась тишина. Даже Чичерин, только что настроенный иронически, насторожился.

— Да поймите же, что я не упорствую в своих заблуждениях, — заговорил Репнин, стараясь самым тоном, спокойно-доброжелательным, доверительным, показать, что он хотел бы вернуться к началу разговора. — Сами проблемы, которые предстоит решать дипломатам, стали много сложнее, чем были прежде. Нередко решить их не под силу одному человеку. Дипломатия блестящих одиночек отошла в прошлое, настало время мозговых трестов и в дипломатии. И техника дает нам эту возможность: даже если человек действительно находится посреди океана, он не чувствует себя там более одиноким, чем на Даунинг-стрит.

— Вы хотите сказать, что время самостоятельных действий для дипломата бесповоротно минуло, а доверие обременительно? — спросил Петр неожиданно, но Репнин только развел руками.

— Вольному воля, — сказал Николай Алексеевич, дав понять, что намерен стоять на своем.

## 79

Белодед заметил еще в Питере: самую трудную работу Чичерин делал ночью. Когда город уходил на покой и затихали ближние и дальние шумы, Чичерин гасил верхний свет, придвигал настольную лампу, клал перед собой стопку нелинованной бумаги (по давней привычке газетчика такую бумагу он предпочитал всякой другой) и садился за работу. В Москве Чичерин не изменил своего режима. Далеко за полночь, в предрассветный час, когда тишина, как и темнота, наиболее глубока и неру-

шима, были написаны все знаменитые чичеринские письма Ленину с проектами нот и телеграмм. Ленин мог вызвать Чичерина в полночь — от Спиридоньевки до «Националя», где первое время находились квартира и рабочий кабинет Владимира Ильича, а позднее от Спиридоньевки до Кремля в десять — пятнадцать минут можно управиться и пешком.

Чичерин вызвал Петра в третьем часу ночи.

Георгий Васильевич сидел за журнальным столиком, придвинутым к окну, поближе к батарее парового отопления.

— Нет, нет, пальто не снимайте,— поднял он ладонь предупредительно.— Кстати, и мне нелишне накинуть,— Чичерин пошел к вешалке.— Вот поставил стол у батареи, а она остыла. Сижу колдую,— указал он взглядом на просторный лист бумаги перед собой.

Петр взглянул и все понял: ну конечно же, это был план нового здания; Чичерин не оставлял своего намерения собрать Наркоминдел в одном доме — таким домом мог стать «Метрополь», его боковой подъезд, прилегающий к Китайгородской стене.

— Как должен выглядеть наш новый дом? Кстати, вы заметили там, на Мойке, все представительские комнаты, все эти золотые гостиные, банкетные, буфетные и рюмочные одеты от пола до потолка в бархат, а в служебных комнатах, где сидел наш брат, самая большая роскошь — фаянсовые умывальники и медные краны.

Петр смотрел на него, не зная, что ответить: никогда в жизни он не думал, что ему придется заниматься бронзой и хрусталем. Не думал он, что страдная дорога профессионального революционера — тайные встречи на лодках, ночные поездки из Дувра в Гавр с почтой и оружием, нелегальные путешествия по степным дорогам Южной России, что эта ненастная и страдная дорога когда-нибудь приведет его под крышу этого дома и заставит заниматься вещами, которые до сих пор ему казались ненужными для жизни.

— Ну, я вижу, вы совсем растерялись! — произнес Чичерин.— Скажите, Белодед, а вы никогда не думали, как спланирован административный Петроград? Тут и немецкая четкость и целесообразность тоже немецкая. Со-

вершите мысленное путешествие по Петрограду, обогните Зимний, и вы сделаете открытия покрупнее, чем Пржевальский на Аркатаге и Миклухо-Маклай в Астролябии. Представьте все это зрительно: в самом центре, разумеется, дворец, через площадь — министерства: военное, иностранных дел и финансов, то есть все, что необходимо, чтобы государственная машина вертелась. По правую руку — священный синод и сенат. По левую — посольский квартал. Вы обратили внимание, какая дисциплина ума, точно все это создавалось не веками, а один раз и навечно! А министерство иностранных дел и весь комплекс больших и малых учреждений, которые к нему тяготеют! Не менее рационально: министерство иностранных дел — в центре, под одной крышей с ним — военное и финансовое министерства, в двух шагах главные посольства: на площади у Исаакия — германское, на Дворцовой набережной — английское и французское. Американское посольство — на Фурштадтской, зато консульство — на Невском. Чисто американское решение задачи: Вашингтон, административная столица, — в стороне от больших дорог; Нью-Йорк, деловая столица, — на большой дороге. Разумеется, у нас иные цели, и пусть вся эта комбинация больших и малых дворцов останется в назидание потомкам как памятник тому режиму. Но у них был государственный ум, нередко точный, а это и нас не обременит. Как вы полагаете? — Чичерин достал часы. — Что-то нет звонка... А вы думаете, что я поднял вас в полночь, чтобы рассказывать, как экономно спланирован старый Питер? — Чичерин засмеялся, пальто упало с плеч. — Невысокого вы обо мне мнения. Приезжает Мирбах. Да, граф фон Мирбах, германский посол. Я жду звонка от Ленина, хочу, чтобы вы были со мной.

Но звонок, которого ждал Чичерин, раздался только под утро. Петр слышал, как загудела мембрана телефона, и узнал быструю речь Владимира Ильича.

— Нет, нет, не хитрите, небось окоченели там в своих хоромах? — телефон захрипел и на какой-то миг стих, а в следующую минуту раздался голос, но на этот раз необыкновенно живой, точно из соседней комнаты: — Куда вы запропастились, Георгий Васильевич? Я давно сказал: жду!

Они оделись и вышли из здания, мягкость неба, пробуждающейся земли и теплого ветра обняла их. Все время, пока они шли до Кремля, в памяти Петра звучали несколько слов, услышанных по телефону: «Я давно сказал: жду!» Город спал, но тишина была и приятна и чуть тревожна.

Их встретила Надежда Константиновна, приветливая, усталая.

— А чай уже на столе,— сообщила она и, улыбнувшись, поправила плед на плечах — здесь было не теплее, чем в наркоминдельском особняке.— Только вы уж похозяйничайте сами, мне неможется,— произнесла она и вновь улыбнулась, так же приветливо и устало.— Володя,— позвала она, приоткрыв дверь.— Встречай, к тебе!

Чичерин открыл дверь пошире, и Петр увидел у самой двери Ленина.

— Да не на аэроплане ли вы так быстро? — Владимир Ильич медленно развел руки. «Утром бы он их развел стремительнее»,— подумал Петр.— Чайник не успел вскипеть, а вы тут. Вот чай, хлеб. По-моему, есть даже масло.— Он указал глазами на масленку.— Наливайте чай и пододвигайтесь к столу. Да похрабрее, храбрости-то вам не занимать, а?

Чичерин пододвинул чашку, налил чай, потом взял ломтик хлеба, тщательно разрезал вдоль, срезал тонкую пластинку масла и, прикрыв хлеб, положил бутерброд рядом.

Петр попытался сделать то же, но сломал ломтик и, потеряв надежду разрезать его, придвинул к себе чай.

Ленин улыбнулся одними глазами.

— Вновь встала тень Бреста — приезжает Мирбах,— сказал Ленин.— Как его встретить? Как повести себя с ним? Я полагаю, надо встретить достойно...— Ленин умолк и взглянул на дверь, она бесшумно открылась — на пороге стоял Соловьев-Леонов, черная повязка все еще поддерживала руку.— Встретить достойно,— повторил Ленин, особо выделив «достойно». Ленин молчаливо пригласил Соловьева сесть.— И не только встретить, но и оказать ему внимание, которое должно быть оказано послу.

— Внимание? — удивился Соловьев. Он сидел в даль-

нем углу, куда не доставал свет настольной лампы, и был почти скрыт от присутствующих.— По-моему, на внимание не рассчитывают даже немцы.

— Если посол попросится на прием к председателю Совнаркома, очевидно, придется принять,— проговорил Ленин, он сделал вид, что не расслышал слов Соловьева.

— Принять? Надо ли, Владимир Ильич? — Соловьев сказал «Владимир Ильич», чтобы смягчить резкость этой и предыдущей фраз.

— Полагаю, что отказать — значит оскорбить,— подтвердил Ленин энергично.

— Это же... почти чествование, Владимир Ильич,— возразил Соловьев.— Зачем чествовать немцев, за какие заслуги?

— Чествовать? — стремительно реагировал Ленин.— Ни в коем случае! Но элементарную вежливость соблюсти.

— Но что даст эта вежливость реально? — спросил Соловьев.

— Она сохранит отношения с немцами на уровне, который нас устраивает,— заметил Ленин.

— Это нам нужно? — спросил Соловьев.

— До поры до времени очень.

— Погодите, как же все это поймут наши друзья за рубежом? — нашелся Роман. Он даже улыбнулся от сознания того, что довод найден.— Сколько добрых людей отойдет от нас после каждого такого приема?

— Весьма возможно, что кто-то отойдет,— ответил Ленин.

— Вы согласны, что это может иметь место? — спросил Соловьев, ему очень нужно было согласие Ленина.

— Да, согласен,— сказал Ленин.— Возможно, кто-то отойдет, но это погоды не сделает.

— Но достоинство, наше достоинство, Владимир Ильич!

Ленин стоял посреди комнаты, положив руки на спинку кресла, словно то, что он намеревался сейчас сказать, не мог произнести без того, чтобы не опереться вот так прочно.

— Когда я буду принимать Мирбаха, приходите посмотреть, как мне будет сладко,— он долго молчал, не поднимая глаз.— Но я его все-таки приму и, думаю... сохраню достоинство.



У подъезда Наркоминдела собиралась толпа: Мирбах собственной персоной!

Это было в диковину: посол императорской Германии при большевиках.

Мирбаху определенно импонировала популярность. Когда автомобиль выскакивал из Денежного переуллка и сворачивал на Арбат, рука в белой замше неожиданно испытывала неудобство на остром колене Мирбаха и перекочевывала на борт автомобиля. Машина проносилась быстро, но так, чтобы фигура германского посла, восседающего в открытом автомобиле, была опознана горожанами. Золотое шитье на парадном мундире способствовало этому немало. На московских панелях, где все чаще стучали башмаки на деревянных подошвах, слепящее золото мундира Мирбаха было в диковину. То ли рассчитывая на плохое знание протокола, то ли пользуясь тем, что права и привилегии дипломатического корпуса монопольно сосредоточились у него да, пожалуй, у турецкого посла, прибывшего в Москву почти одновременно с Мирбахом, кайзеровский посол явно злоупотреблял парадной формой.

Белодед встречал Мирбаха в приемной наркома.

— Как я люблю русскую церковную службу! — вернулся немец к своей теме. — Как хорошо было в церкви в ту субботу!.. Как после хорошего вина, да, да... Теперь, в апреле, самые красивые службы... и вербное воскресенье, и всенощная, и пасха... Там, в Афинах, присутствие на больших церковных службах для дипломатов приятная обязанность, — посол косвенно дал понять, что эта традиция уже не может иметь места в России. — Особенно служба в ночь на пасхальное воскресенье, постоять со свечой — толстая свеча и под ней бумажный веер... А потом процессия идет вокруг храма, и полуночная встреча в патриаршем дворце и крашенные яйца... Нет, что ни говорите, а приятно удариться с патриархом этими... крашенками!

Мирбах чуть-чуть позировал, разговаривая с Белодедом. Он вдруг обращал рассеянный взгляд за окно, при этом глаза его застилала столь непроницаемая пленка самообожания, что он, как был уверен Петр, решительно ничего не видел ни за окном, ни в комнате. Иногда он,

едва ли не молитвенно воздев очи к большой люстре, висящей в приемной, окаменевал. Чаще же всего старался так поместить мощный торс, чтобы по правую и левую руки был кто-то из сопровождающих чинов посольства. В этом случае военный и штатский чины, как правило, фигуры абсолютно молчаливые, намертво отстранившиеся от участия в беседе и прочно доверившие послу свои мнения по вопросам, которые когда-либо возникли или могут возникнуть, были не больше чем золоченые грани богатой рамы, в которую был вправлен великолепный портрет Мирбаха.

Но золото рамы заговорило.

— Господин Белодед, а мы ведь с вами встречались,— произнес человек в черной паре.— Помните Стокгольм, гостеприимный дом господина Лундберга и два пистолета, с помощью которых мы пытались решить спор?

Оказывается, английские усы обладают силой магической: вон как неузнаваемо преобразили они философа и дипломата Рицлера.

— Ваш приезд в Москву меня настораживает, господин Рицлер,— усмехнулся Петр.— Очевидно, опасность для меня не миновала.

— Мы еще скрестим шпаги, господин Белодед,— произнес Рицлер и поднял тонкий палец. Палец дрожал.

«Как он чувствует себя, философ и дипломат, молчаливо обрамляя Мирбаха? — не мог не подумать Петр.— Что у него на душе? Не уходит ли он в тень сознательно, чтобы дожидаться своей минуты и стать уже не рамой, а портретом?»

## 82

Вечером, когда Петр вернулся на Конюшенный, у порога особнячка стояла тяжелая московская фура, а на ступеньках дома сидела Лелька.

Петр бросился к ней, не поднял, а вскинул.

Он смотрел на сестру: что-то в ней просыпалось жизнелюбивое, просыпалось вместе с весной, тоскливым волнением и соблазнами.

— Оденься, и давай завьемся с тобой куда-нибудь, Лелька! — произнес он с веселым молодецеством.— Я любил там, в Глазго...

Он сказал «Глазго» и ощутил, как Кира застучала по сердцу кулаками. «Вот пойдем, и скажу ей о Кире, обязательно скажу», — подумал он.

Они пошли по бульварам, вначале Пречистенскому, потом по Никитскому, Тверскому и Страстному. Земля была еще черной. В канавках отстаивалась вода — влажная почва отказывалась ее принимать. Деревья казались настороженно-тревожными, живыми, все чудилось: дохли на них еще раз теплом и солнцем, и они зацветут.

Кто-то крикнул вслед:

— Ничего себе парочка!

Она обернулась:

— А тебе завидно?

Петру была по душе ее дерзость, храбрая при всех неприятностях и бедах, белолодежская.

Где-то на Тверском в погребке они выкляли бутылку «Церковного» — вино отдавало прелой пробкой, но казалось неслыханно вкусным.

Потом они долго шли бульваром, черным, как весенняя река, только что освободившаяся ото льда.

— А знаешь, Лелька, — сказал Петр. — Вот этот пейзаж надо писать тушью. Краски тут беспомощны.

— А та... девушка писала тушью?

— Маслом... — сказал он. — Знаешь, Лелька, она... эта девушка, очень настоящая.

Он подумал: сейчас спросит иронически-лукаво: «Так уж и настоящая? А-ай... настоящая!» Она спросит, и он расскажет все, что хотел рассказать. Но она ничего не сказала, только плечи странно сузились и сильнее сомкнулись губы.

Быть может, прежде Петр осекся бы и смолчал, но сейчас все рассказал: и про последнюю встречу в Кирином доме, и про встречу и расставание в Лондоне, рассказал и спросил, что делать.

Все время, пока он говорил, она не разомкнула рта.

— А я не верю ни в ее талант, ни в ее любовь, — сказала она неожиданно.

Он был обескуражен.

— Не пойму тебя, Лелька, почему ж?

— Не верю — вот и все.

Они пошли медленнее.

Она, не стесняясь, подняла кулаки:

- Вот ты говоришь, Россия! А что ты видел в ней?  
— Ты видела?  
— Видела.  
— Что?

Она пыталась заглянуть ему в глаза, знала, что они у него злые.

— Разве об этом расскажешь.

— А ты попробуй рассказать.

Она пошла быстрее, так и не рассмотрев его глаз. Наверно, она имела в виду длинные свои дороги по Руси, длинные и ой какие трудные!

Они пришли домой, так и не возобновив разговора.

Петр опасался, что утром, когда встанет и заглянет в ее комнату, увидит неразобранную постель и в очередной раз решит: «Она уехала еще с вечера...»

Однако, проснувшись, он увидел ее рядом.

— Слушай меня, в Петроград вернулся Вакула, — она повела черными глазами. — Завтра, а может, послезавтра будет здесь с матерью. Мать — от нее никуда не денешься, как от неба, она наша. А он? Гони его от ворот, чтобы духу здесь не было.

Петр ухмыльнулся:

— Чего гнать, он брат.

Она встала:

— Не погонишь ты, я погоню.

Петр спешил в Наркоминдел, разговор с Лелькой не шел у него из головы. В ее жизни, как в жизни каждого, есть закрытые города — туда она никого не пустит, тсперь и навечно. А может быть, когда-нибудь пустит? Как она говорила о Кире и почему так говорила? Это тоже запретный город? Что-то в ней было непреодолимо дремучее, как июльская полночь где-нибудь на Кубани, когда тьма от самых звезд до земли.

## 83

Вечером позвонил Столетов, родственник Киры по отцу. Однажды он звонил Петру, сказал, что знает о Белодеде от Клавдиевых, что ждет их приезда. И вот новый звонок:

— Петр Дорофеевич, в это ваше ведомство пушками не достучишься! Верите, звоню с шести вечера — не мо-

гу дозвониться! Едут!.. Клавдиев и Кира. Поезд приходит в одиннадцать...

Шутка ли сказать: через три часа Кира будет в Москве.

Петр мысленно оглядел себя. Надо и переодеть костюм и, пожалуй, еще раз побриться... Домой! Только сейчас он вспомнил, что обещал быть с Лелькой сегодня вечером. Он взглянул на часы: сейчас восемь. Если поспешить — можно еще застать ее дома.

Уже на Конюшенном он вдруг вспомнил разговор с Лелькой о Кире и подумал: как она отнесется к его сообщению?

Он застал Лельку дома.

— Ой, как хорошо, что пришел... я почти готова.

Он решил сказать ей сразу:

— А я не могу, Лель... сегодня не могу.

Она засмеялась, смех был недобрый:

— Тоже хорошо, а я что-то трудно собиралась... потому так долго и не собралась.

Он подошел к ее двери.

— Можно к тебе?..

— Да, конечно...

Он вошел, она сидела на кровати, припав щекой к холодному никелю. «Это она села, когда я сказал ей, до этого она не сидела», — подумал он.

Он положил ей руку на затылок, взъерошил волосы.

— Лель, а ты знаешь, почему я не могу?..

— Ну?..

Как прежде, приподнялись и сузились ее плечи.

— Кира сегодня приезжает... в десять.

Она встала, сокрушенно заломила руки:

— Ой, тоска, тоска меня забирает!..

Он посмотрел на нее, недоумевая. Внешне она точно преобразилась. Как-то приободрилась, даже похорошела.

— Ой, берет она меня, проклятушая! — повторила она.

Петр смотрел на нее хмурый.

— А я хотел показать тебе Киру...

Она пошла от окна, не останавливаясь.

— Не надо.

«Ну, вот началось крутое, негнущееся, белодедовское», — подумал он.

Петр увидел Киру в окно вагона и поймал себя на мысли: «Я берег ее другой...» Он хранил в памяти другие глаза, совсем другие, а те, что она приехала из Глазго, были не ее.

— Петр! — крикнула она, очевидно думая, что он ее не видит. — Я же здесь, Петр!

Он кинулся к ней. Сейчас он чувствовал: это она. В эти месяцы все растеклось и размылось в памяти, но ощущение упругости и робкой податливости плеч осталось. Это она. Сейчас он видел ее, все остальное отступило. Даже Клавдиев. Он должен быть где-то здесь, в вагонных сумерках. Но сейчас Петр мог видеть только ее.

— Кира... Кира... — говорил он и все думал: как он мог без нее все эти месяцы? Почему она была с ним, в его сознании, его памяти не постоянно? Почему были дни, когда она бесследно уходила куда-то прочь, а когда приходила, то из такого далека, что он спрашивал себя вновь и вновь: была она в его жизни или ее не было?

Из купе донесся сдержанный кашель Клавдиева.

— Я готов ждать еще, только вагон, как мне кажется, пуст и мы рискуем укатить в Питер.

Но Белодед уже шел на Клавдиева.

— Это же чудо, Федор Павлович, вот так встретить-ся в Москве!

Уже за полночь Кира упросила Петра пройтись по Москве, и он привел ее к храму Василия Блаженного. Шел дождь. Блестели тротуары. В эту ночь, не потревоженную городскими шумами и суতোлкой, хорошо смотрелось и виделось. Кира подставила лицо дождю. Капли, теплые и обильные, сбегали по щекам. Она мягко шурилась, улыбалась, жадно и неожиданно вздыхала.

— Господи, только подумать — я в Москве, только подумать... — не уставала произносить она и прикинула мокрой щекой к плечу Петра.

Потом они стояли где-то на мосту, над текучей водой Москвы-реки, и он целовал ее в губы, они пахли мокрыми листьями.

— Кира, никуда тебя не пушу, — говорил он.

А она отвечала улыбаясь:

— Да... да...

И нельзя, решительно нельзя было понять, что означает это «да», но очень хотелось, чтобы она повторяла его бесконечно.

Вернувшись домой, он не без изумления заметил, что крайнее окно справа, где находилась его комната, освещено. Он вошел в дом и увидел спящего в кресле Вакулу. Голова Вакулы, жирная и седеющая, свалилась набок, только руки, упершиися в подлокотники, удерживали тело от падения.

Видно, Вакула услышал шаги Петра, он подобрал ноги и приготовился привстать, но Петр не подал голоса, и Вакула замер. Так они долго молчали, не двигаясь с места. Потом Вакула подтянул тяжелое тело, опершися о подлокотники (он устал первым), и, повернувшись к Петру, моргнул.

— Здравствуй... брат.

— Здравствуй.

Вакула поднял пятерню, запустив ее в седые лохмы, взъерошил их, точно желая разогнать сон. Потом повалился на стол, долго смотрел перед собой — там лежала толстая, в сером переплете книга.

— Вот раскопал здесь кассовую книгу хозяина, — он ткнул коротким пальцем в пол, точно желая этим жестом показать, какого именно хозяина он имеет в виду. — Толковый, я тебе скажу, человек. Тут у него, — он постучал согнутым пальцем по лбу, — и расчет и понимание, — он посмотрел кругом. — Я обошел дом, у него, наверно, детишек много было. Постоял, подумал: зачем было гнать человека — не пойму.

— А его не гнали.

— Положим, гнали, — произнес Вакула сумрачно и зевнул. — Только почему прогнали, сами не знаете, поэтому и говорите, что не гнали.

Петр расхохотался.

— Ты что? — спросил Вакула, скосив на Петра глаза, он же понимал, почему смеется брат.

— До чего же ты похож на одного человека! — продолжал хохотать Петр. — Тот тоже все знает и все понимает на сто лет вперед. И думает — за тебя, и говорит — за тебя...

— Кто это? — мрачно спросил Вакула.

— Есть такой человек, — уклончиво ответил Петр.

— Нет, ты скажи, кто? — настаивал Вакула.

Петр хмуро молчал.

— Троцкий, — наконец произнес он.

Теперь умолк и Вакула.

— Этот человек, — Вакула указал взглядом на книгу — разговор о Троцком его не устраивал, — талант. — Он продолжал благодарно смотреть на переплет. — Человека этого я никогда не видел, а по книге этой разумею: на таких, как он, Россия держалась.

— Ты что хочешь от меня, чтобы я сейчас вернул его? — ухмыльнулся Петр.

Вакула раскрыл книгу и, зажав в пятерне листы, медленно, страница за страницей их выпустил:

— Да нет, пожалуй, уже не вернешь. Он от любви к вам так шарахнулся, что если и найдешь его, так только в том краю России. Ты Кубань помнишь?

— Помню.

— А коли помнишь, ответь: кто там был заводилой, кто был мотором? Кто строил железку, кто гнал поезда, кто молотил хлеб и грузил составы, кто давил масло и наливал цистерны? Кто, скажи.

— Наш брат рабочий, вот кто!

Вакула сокрушенно гаркнул:

— Рабочий-то оно рабочий, да не в нем дело.

— А в ком?

Вакула постучал согнутым пальцем по кассовой книге.

— Вот в ком! Я тебе дело говорю: он пуп земли! — Вакула продолжал упорно стучать пальцем. — Хочешь скажу, в чем ваша беда? Хочешь?

— Говори.

— Вы жизни не знаете и человека. Да, человека вы не знаете, и в этом все ваши несчастья. Что говорит малютка перво-наперво, когда на свет божий появляется? «Это мое!» Да, да, «мое!». Вот и танцуй от этой печки, коли это у тебя в крови. Дай человеку почувствовать силу свою, дай размахнуться уму. Он будет богаче, и ты будешь богаче, он войдет в тело, и тебе перепадет. А вы у него выкромсали сердцевину, оскопили, отняли у него право сказать «мое» и хотите, чтобы он трудился и землю русскую украшал. Не будет он трудиться! Все бурьяном захлестнет, все запаршивеет и сгниет.

— Ну, ты ложись, утро вечера мудренее, — сказал Петр.

Вакула недоуменно взглянул на него.

— А при чем тут утро, — он захлопнул кассовую кни-



гу и отодвинул прочь.— Если всех хозяев вырубить, кто кормить будет, кто хлеб даст, а? Скажи, кто даст? Мирбах?

Петр вышел: где-то он уже слышал эту фразу о Мирбахе.

А едва забрезжил свет, Петр разбудил Вакулу.

— Вот что, собирайся и уходи! Чтобы духу твоего тут не было.

Вакула ничего не сказал, начал медленно собираться.

## 85

Лето восемнадцатого года было знойным. По вечерам небо над Москвой было пыльно-багряным — к ветру. День ото дня с Воробьевых гор, с песчаных полей, лежащих на юг и запад от лесистых увалов и скатов левобережья, тянул ветер, жестко-сухой, насыщенный песком и гарью,— где-то рядом с городом горели леса. Ветер переокрасил город, трава стала серой, пожухла и потускнела листва, деревья и дома стояли в багровом чаду, точно в ожидании большого пожара. Прошел дождь, один, второй, третий, но не победил зноя. Москва-река обмелела, жестокая проседь тронула леса.

У новой России была одна столица. У дипломатов, аккредитованных и неаккредитованных, три.

В Петрограде оставались нейтралы. Казалось, они обрели единственную в своем роде возможность доказать, что они нейтральны. Вслед за столицей они не поехали. За союзниками — тоже. Нет ничего вернее нейтралитета.

В дипломатической Вологде уже сложился свой быт. Дворянская с ее деревянными особняками — гордость и украшение Вологды — стала своеобразным посольским кварталом. Осаново, небогатая усадьба в пяти верстах от города, чью колокольню не мудрено рассмотреть и с Дворянской, заменила дипломатам Гатчину.

И наконец, то, что можно было бы назвать дипломатическим корпусом Москвы, в сущности, ограничивалось германским и турецким послами да консулами держав Согласия, впрочем, последние не в счет не только потому, что по давнейшей традиции консул не дипломат, но и по другой, более важной причине: до того как факт признания совершится, положение союзных представителей в России более чем условно.

Итак, у новой России была одна столица, у дипломатов — три.

От Петрограда до Вологды — четыреста пятьдесят верст, от Вологды до Москвы — пятьсот, от Москвы до Петрограда — шестьсот. Больше полутора тысяч. Непросто послу страны, упорно не признающей нового строя, проехать из Вологды в Москву или тем более в Питер. Положение посла не дает никаких привилегий, наоборот, обременяет. Единственно, кто беспрепятственно курсирует между тремя городами — военные атташе посольств и миссий. Они не послы, они атташе. В отличие от американского посла, который прочно осел в своем вологодском особняке, или посла германского, который не менее прочно прикрепился к каменным хоромам в Денежном переулке в Москве, резиденцией военных атташе, в сущности, стал вагон железной дороги, который, точно заведенный, бежит по треугольнику.

И, обгоняя атташе и курьеров, в посольский особняк на проспекте с деревянными мостовыми идут радиодепеши, идут день и ночь, даже больше ночью, чем днем. Свет в крохотном окне под самой крышей указывает на это безошибочно. Кажется, что он, этот свет, негасим, и если бы не дневное светило, то был бы виден и днем. Человек, принимающий радиошифры и переводящий их на язык смертных, как огонь в его окне, всегда бодр, всегда во всеоружии. В посольстве никто не знает, когда этот человек спит, когда сидит за обеденным столом с женой и сыном, когда говорит жене: «Люблю» — и сыну: «Ты опять выпачкал губы химическим карандашом». Такое впечатление, что за своей толстой, обитой белой жестью дверью человек разгадывает тайны круглосуточно. Кажется, только ему и доверено говорить в посольстве с солнцем, звездами и облаками. Только он и в состоянии проникнуть в тайны языка и изобразить этот язык на бумаге. Стопка этих бумаг, заключенных в зеленую папку, у него всегда под мышкой. Когда он идет со своей папкой по посольству, кажется, что полуночный разговор со звездами оставил свой отсвет на его лице, оно выглядит сине-голубым — лунный человек! Может, поэтому, когда железная дверь неожиданно распаивается и точно выщелкивает его на лестницу вместе с зеленой папкой, коллеги почтительно расступаются, готовые пропустить его в посольский кабинет — этот алтарь и преиспод-

июю. И лунный человек смело шагает, хорошо зная, что облечен правом едва ли не без стука войти к послу и в малую гостиную, где он принимает деятелей священно-го синода, и в кабинет, где сейчас диктует записи своих бесед, и даже в личные апартаменты. Всесилен лунный человек: депеша, которую он снял едва ли не с самого неба, дает ему это право.

И вот он стоит сейчас перед шефом, всемогущий *sending clerk*<sup>1</sup>, со своей зеленой папкой и скептически-великодушно взирает, как посол ширит глаза, читая радиодепешу. Человек с зеленой папкой имеет право на иронию — он знал эту депешу, когда посол не имел о ней понятия. А депеша способна вызвать удивление. Русская проблема вновь стала предметом специального разговора союзников в Париже. Вторжение в Россию должно принимать все большие размеры. В новом русском походе участвуют англичане, американцы, французы, итальянцы, сербы. Главный фронт — север. Центр накопления сил — Мурманск. Британская военная миссия в составе семидесяти офицеров ожидается в Мурманске со дня на день. Известно имя главнокомандующего: английский генерал Пуль. Стратегический замысел: накопить силы в Мурманске и овладеть Архангельском, Петрозаводском, Вологдой. Сигнал к захвату Архангельска должен быть подан в июле — для русского севера это лучшее время. Депеша хоть куда!

Но в июле должны выступить не только англичане. От Пензы до Владивостока вдоль великой магистрали расположились чехословацкие войска, что некогда составляли армию австрийского императора и предпочли русский плен бессмысленной гибели. Войска изголодались, исхолодались, истосковались по родине. Это учитывает командование и французские инструкторы — они и в Пензе, и в Челябинске, и в Сибири... Июль — начало генеральных действий и для чехословаков. Лозунг, адресованный солдатам, что зажженная спичка над бочкой бензина: «На родину, пробиться на родину, чего бы это ни стоило!» А что значит пробиться? Это значит ударить с тыла по большевикам! Кстати, расходы по вооруженному походу берет на себя американский президент. Очередная депеша, лежащая перед послом, сообщает об этом недвусмысленно: чехословацким войскам переведе-

<sup>1</sup> Чиновник шифровальной службы, шифровальщик (англ.).

но восемь миллионов долларов... Посол смотрит на человека с зеленой папкой не без восхищения: вон какие дёшевы низверглись сегодня — всесилен лунный человек!

Было лето восемнадцатого года.

Петр доехал паровничком до дачного полустанка и пошел опушкой леса. Солнце уже давно село, но небо было нетускнеющим, и белесые полуночные сумерки разлились над полем и лесом. Земля давно остыла от полуденного зноя, и лес дышал холодной свежестью, а повсюду в стороне, отступая от дороги и леса, где днем поблескивали озера и болотца, поле было мягким, серо-пепельным.

Петр шел и думал, как он сейчас подойдет к решетчатой ограде Столетовых, просунет руку меж реек и откинет крючок. Затем будет идти садом, отводя от лица ветви деревьев, полные листья. А потом долго будет стоять перед погасшими огнями дачи, прислушиваясь, не заскрипит ли где половица, не подаст ли кто случайный голос, но дача будет тиха — Столетовы уже легли, да и Клавдиев, наверно, видит третий сон. Только Кира не спит — поднялась в свою мансарду — там у нее и спальня и нечто вроде мастерской. Потом Петр обогнет дачу и, отступив, запрокинет голову. В этот час Кира не должна спать — она читает, и окна мансарды затянуты розоватым сумраком. Он поднимет кусок земли и, разломив его, бросит в окно, а затем долго будет ждать, когда распахнутся створки. А может, света нет и окно распахнуто — тогда комок земли влетит в комнату и будет слышно, как он глухо ударится об пол и распадется. А потом они будут бродить по светлым подмосковным полям, холодным и влажным, и она будет говорить о том, как ей не даются этюды русской природы — в этюдах, которые она написала, нет ни настроения, ни души — словно из этюдов навсегда изгнали человека.

Но в этот раз он не откидывал крючка калитки, не стоял перед окнами дачи, не бросал комка земли в распахнутое оно — еще дача была далеко, когда на белой тропе, огибающей лесок, он вдруг увидел светлое платье Киры. Быть может, она выходила к поезду и, не дождавшись, возвращалась обратно. Он шел вслед, думал: «Все, что надо сказать, скажу сейчас». Они будут идти по тропке, касаясь друг друга плечами — тропка неширока — и он спросит...

— Кира! — крикнул он негромко.

Она оглянулась и, не увидев Петра, пошла быстрее. Петр улыбнулся. Ну конечно же, она идет сейчас и думает, что голос ей померещился. Он сошел с тропы — трава скрадывала шаг.

— Кира!

Она обернулась и пошла навстречу усталым и храбрым шагом.

— Ты звал меня сейчас? — спросила она.

Он кивнул и, сняв пиджак, набросил ей на плечи — все казалось, что она мерзнет.

— Мне не холодно, — сказала она и благодарно посмотрела на него.

— Ты работала сегодня?

— Да, только утром, — сказала она.

День у нее распisan точно — четыре часа при утреннем солнце, четыре — при послеобеденном и вечернем. Она была тверда, когда речь шла о рабочих часах. Тогда почему в послеобеденные часы, которые Кира особенно ценила, она не работала?

— Тебе неможется?

— Нет...

— Пришло письмо?

— Да... от мамы.

— Оно пришло в полдень?

— Да, а ты откуда знаешь?

Он сжал ее плечи, зарыл лицо в ее волосы. Они пахли влажной землей и едва уловимым дыханием трав — видно, она долго бродила по холодным вечерним полям.

— Знаю. Оно пришло, и тебе стало худо. Так?

Кира не ответила, только упрямо и ласково ткнулась в грудь.

— Она не хочет ехать в Россию, так ведь?

Кира и в этот раз не разомкнула губ, только беспомощно замотала головой и вновь припала к груди, точно умоляя спрятать ее как можно надежнее.

— Не хочет, Кира... да?

Она притихла и вздохнула.

Они повернули и пошли через поле, пошли без дороги. Поле было молочно-зеленым от росы, и там, где они ступали, оставался темный след. Ноги стали влажными, и туман обнял их, но они не чувствовали ни холода, ни влаги. Где-то вдали невысокой и призрачной черточкой

темнел лес. «Вот дойдем до этого леса,— думал Петр,— и я спрошу ее, обязательно спрошу». Но лес поднимался над холмистым полем и исчезал, а расстояние до него не уменьшалось. Петр отчаялся, решил сказать.

— Погоди,— сжал он ее плечи.— Но если она не придет сюда, как тогда ты?

Она высвободила руку, сбросила с плеч пиджак.

— Не знаю...

Где-то в сосновом лесочке, сухом и неожиданно теплом, они остановились. Он оперся спиной о ствол. Что-то тревожное, непоправимо смятенное промелькнуло в этот вечер. Это чувствовал он, и это безошибочно ощутила она. Быть может, поэтому с такой силой они потянулись друг к другу. Она старалась прикинуться к нему, и ей все казалось, что он далеко, что ей не дотянуться до его дыхания и тепла.

Они вошли в березовую рощу, здесь заметно посветлело. Он даже подумал: до того как осветить землю, заревое солнце пришло сюда.

— Но если она не придет, как ты все-таки?

Она долго не отвечала.

— Ты не видишь разве, что мне трудно?

— А... Клавдиев?

Она поднесла кончики пальцев ко рту.

— Он приболел... И потом, у меня с ним разладилось.

— Что так?

— Не знаю.

Она никогда так не говорила о нем. Если и был кто-то дружен в их семье, то это Клавдиев и Кира.

Они добрались до решетчатой ограды дачи Столетовых.

— Мы зайдем, да?

Он помедлил.

— Сейчас уже поздно. В следующий раз я приеду раньше.

— Ну зайди ненадолго,— сказала она, слабо противясь; он уловил это.

— Нет,— сказал Петр и протянул руку.

Он слышал, как она идет через сад и отводит от лица ветви. Нет, она не отшатнулась от Петра, но что-то встало между ними сегодня. Мать? Может, и мать, но, если бы не было ее, тогда как? И он вспомнил недавнюю встречу в Москве. Она только что вернулась с дачи, и

первые этюды лежали перед ней, среди них большой этюд — ели, освещенные солнцем. Петру он показался необыкновенным. Солнце и ели в солнечной тиши. И каждый ствол, каждая ветвь, не потревоженные ветром, точно застыли в неслышной музыке света. Да, именно музыка елей и солнца. Наверно, это настроение в природе бывает не часто. Оно было и тогда один миг. Кира его подсмотрела.

— По-моему, вот это... стоящее, — не мог он скрыть.

— Стоящее? Верно, или тебе так показалось?

Уже потом он все старался додуматься: почему она, вместо того чтобы обрадоваться этим его словам, неожиданно опечалилась? Не верила в искренность этих слов и старалась понять их подлинное значение? Или, наоборот, очень верила в то, что они были произнесены от сердца, и поэтому затужила? В конце концов она верила, что способна воспринять и глазом и сердцем только свечение меловых холмов и росную мягкость луговой Шотландии, только. И может, этим объясняла то, что неласковую чужбину предпочла родным полям и долам. А тут вдруг... эти ели и солнце!

Он шел на станцию и думал: неужели их любовь, такая нескладная и все-таки светлая, так мало для нее значит? Если она решилась в эту трудную пору бросить все и приехать сюда, может быть, она будет способна сделать и следующий шаг? Мужества требовало и то, что она уже сделала, быть может, достанет мужества и на все остальное?

Он знал, что ей нелегко, но очень верил: ее честность и ее доброта и прежде приходили ей на помощь и помогали сделать верный выбор. Должны же они помочь ей теперь. Она сказала, что у нее разладилось с Клавдиевым. По какой причине разладилось?.. Не участвует ли он незримо в споре Киры и Петра? Быть может, поэтому и разладилось?.. Точно жар обьял Петра, руки стали влажными. Ему показалось, что где-то здесь был ответ на вопрос, где-то здесь лежала истина.

Петр решил быть у Киры завтра же, вернее, сегодня (день уже наступил, солнце было еще за линией горизонта, и поля лежали, освещенные рассветным сумраком, без теней), но сегодня открывался съезд Советов. Долгожданный съезд, а следовательно, и очередная крепкая стычка с летучей армией Марии Спиридоновы.

О чем спор? Разумеется, о мужике, хлебе и, конечно же, Бресте — через четыре месяца после подписания мира спор вокруг Бреста не утратил остроты.

Белодед вспомнил Воровского. Накануне Петр встретил его в Наркоминделе. Встретил и почувствовал: тревожным ветром потянуло, предгрозовым. Воровский знает, когда ему быть в Москве. «Как вы думаете, Белодед, левые эсеры покажут нам... кузькину мать?!» Петр рассмеялся: «Могут и показать, Вацлав Вацлавич». Воровский закашлялся. «Я знаю, вы сторонник крайних мер». — «Похоже ли это на меня, Вацлав Вацлавич?» — спросил Петр, однако подумал: «Он говорит сейчас о Королеве. Надо разрубить этот узел. Улучить момент и разрубить — все выяснить, все договорить до конца».

Петр подходил к станции. Он оглядел небо. Оно было незамутненно-чистым и безветренным, видно, день предстоял знойный — с одного берега не видно другого. Как-то удастся переплыть эту воду, не замутит ли ее сегодня, не вздыбит?

## 86

Петр вышел из Наркоминдела, когда до открытия съезда оставалось минут пятнадцать (Чичерин осуществил свое намерение — Наркоминдел покинул особняк и переехал в «Метрополь»). Белодед пересек Лубянский проезд и впереди, у Малого театра, увидел Воровского. Тот стоял у кромки тротуара, развернув перед собой широкий лист «Известий».

— Происходит нечто странное, — произнес Воровский, увидев Петра. — Только что прошла здесь Мария Спиридонова, окруженная своей гвардией, при этом все были вооружены, — он поправил пенсне. — Все решительно.

Петр улыбнулся.

— Старая привычка, Вацлав Вацлавич, читать улицу?

— Да, читать и прочитывать, — он указал взглядом на тротуар, лежащий вдоль широкой стены Большого театра.

Воровский сложил газету, и они перешли дорогу.

По тротуару к входу в театр шел Ленин и рядом с ним его младшая сестра Мария. Ленин шел быстро, сильным, вразмах шагом, делавшим фигуру больше



обычного коренастой, и Марии Ильиничне стоило немалого труда идти вровень. На Владимире Ильиче был темный костюм и светлая кепка с широким козырьком — видео, кепка была новой. На Марии Ильиничне — длинная, чуть расклешенная юбка и белая, совсем летняя блуза.

— Вы обратили внимание, они сегодня очень молоды, — произнес Воровский, когда Ленин с сестрой скрылись из виду.

— И праздничны, — сказал Петр, улыбаясь. — Особенно Мария Ильинична.

— Не только она, — бросил Воровский, повеселев. — У Ильича кепка хороша... ох, хороша кепка!

Ленин решительно исправил Воровскому настроение.

К главному входу в театр медленно подкатил лимузин, большой, траурно-черный. Из автомобиля выскочил шофер, точно его вытолкнули тугой пружинкой. Ему было нелегко обогнуть лимузин и приблизиться к задней дверце — народ валил валом. Пока шофер пробивался к дверце, человек, сидящий за нею, являл завидное терпение. Шофер дотянулся до полированной ручки, и посол медленно выбрался наружу. Он шел по лестнице, и толпа расступалась перед ним. Он близоруко смотрел вокруг и пробовал улыбаться, но толпа оставалась враждебно-суровой.

— Доброе здоровье! — вдруг произнес Мирбах, но толпа была нема. — Доброе здоровье! — повторил посол и ускорил шаг. — Доброе!.. — воскликнул он и почти вбежал в театр.

Петр взглянул на Воровского.

— Вы что-то сказали, Вацлав Вацлавич?

— Нет, я ничего не сказал, — заметил Воровский, — но, если хотите, скажу...

— Говорите. — Но Воровский молчал. — Говорите же! — повторил Белодед.

— По-моему, немец не понимает своего положения.

Он ничего больше не сказал, но Петру показалось, что его мысли шли дальше, много дальше.

Белодед поднял глаза. «Колонны, как братья», — подумал он и устремился по ступеням к входу в театр.

— День добрый, Петро!

Петр напряг зрение, здесь было уже сумеречно, — Вакула.

— Здравствуй.

Между ними пять ступеней, Вакула — на верхней, Петр — на нижней. Если бы дело дошло до кулаков, то, пожалуй, Вакуле сподручней обрушить их на Петра.

Петр не остановился.

Сейчас между ними уже не пять ступеней — три, две, одна... Вакула отступил.

— Мы еще встретимся, брат,— Вакула ткнул большим пальцем через плечо — вход в театр был там.

Петр прошел в дипломатическую ложу, отведенную для Мирбаха. В зыбких сумерках возникла неестественно длинная фигура посла.

— А-а-а... господин Белодед! — произнес Мирбах и угрожающе протянул дрожащую ладонь.— Доброе здоровье!

Петр подумал, что сейчас начнется дежурный разговор о пасхальной службе в храме Христа Спасителя и достоинствах буйволиного молока, к которому Мирбах пристрастился в Греции («Ах, какое масло из этого молока, господин Белодед, белое-белое, как русский снег!»), однако не угадал — не об этом пошла речь.

— Как вы полагаете, сухая погода еще удержится? На Рейне горят леса...

— Леса горят на Рейне? — переспросил Петр и внимательно посмотрел на Мирбаха: какой смысл он вкладывал в эти слова?

— Горят, горят.... — повторил посол.

Мирбах стоял сейчас в глубине ложи, и обильное золото парадного мундира точно дремало.

— Непобедимость Германии в союзе с Россией,— вдруг произнес германский посол и пристально взглянул на Белобеда, точно дожидаясь, какое впечатление эта фраза произведет на собеседника.

— Вы сказали: в союзе? — спросил Белодед, будто он ослышался.

Мирбах передернул плечами, и золотое шитье его мундира ожило.

— Когда глубокие тылы России будут тылами Германии, удар с Запада нам не страшен. Любой удар.

Так вот о каком союзе говорил Мирбах: когда тылы России будут тылами Германии!

Они молчали, только горело золотое шитье на обшлагах парадного мундира Мирбаха.

Все-таки в этом есть что-то фатально-зловещее, подумал Петр, глядя на сполохи мирбаховского золота. К чему вырядился человек, какой праздник справляет, по какому случаю торжествует?

Когда глаза пообвыкли, Петр рассмотрел в ложе белые ресницы Рицлера.

— Положение сложнее, чем нам кажется,— произнес Рицлер меланхолически.

— Это подсказывает вам знание русской истории?

— И философии,— ответил Рицлер.— У русских своя философия.— Дверь в ложу полуоткрыта, и гул зала доносился сюда. Заседание еще не началось, и Петру кажется, что Мирбах чутко прислушивается к гулу в зале, выжидая минуту, чтобы выйти в поле света — для него и это имеет смысл. Сейчас зазвонит председательский колокольчик, и Мирбах предстанет перед залом, опершись белой рукой о красный бархат.

А в зале председательский колокольчик уже сражался с многоголосым гулом. Точно весенний ручей, подтачивал он и рушил снежный вал этих голосов. Шум стих, Мирбах встал у бархатного борта, оглядел зал.

— Вы полагаете, сухая погода еще удержится? — спросил он Петра и искоса посмотрел на Ленина, который вышел к самой рампе, чтобы обратиться к залу.

— Да, пожалуй...— сказал Петр.

— Сейчас повсюду в Европе сухая погода, очень сухая,— произнес Мирбах и медленно опустился в кресло.— На Рейне горят леса...

— Долой брестский позор! — крикнул кто-то у самой ложи иступленно-лихим голосом.

Передвинулось кресло Рицлера. Немец привстал и подался вперед, будто желая защитить посла своим телом своим. И вновь Петр подумал: как долго еще придется советнику стоять рядом с Мирбахом, изображая верность и подобострастие? Кстати, чем вызван приезд Рицлера в Россию: знанием страны или предчувствием, что быстротекущее русское время сулит неожиданности?..

87

Петр шел по коридору и через раскрытые двери слышал, как в зале неистовствовали все те же голоса:

— Просите хлеба у Мирбаха!..

В вестибюле было полутемно и прохладно. Тишина казалась прочной настолько, что ее не в состоянии потревожить шаги идущих. Из-за поворота вышли Соловьев и человек в зеленом френче.

— Эсерам никогда не кончить начального училища,— сказал человек во френче.— Их невежество и провинциальность непобедимы.

— Но согласитесь,— возразил Соловьев,— царь боялся их так, как даже большевиков не боялся.

— И это привело его к катастрофе! — мгновенно отозвался человек во френче и, поклонившись, прибавил шагу, оставив Соловьева с Белодедом.

Очевидно, эта встреча не отвечала намерениям ни Соловьева, ни Белододеда — если и заканчивать спор то не сегодня: зноен нынче июль в Москве.

— Помнишь наш разговор, Роман?

— Помню.

— Ты все думаешь о нынешнем, а я хочу заглянуть в корень — часто корни могут рассказать больше, чем стебель.

— Ты имеешь в виду Троцкого? — вдруг спросил Соловьев.

Петр взглянул в окно и увидел Китайгородскую стену, освещенную солнцем,— это солнце пододвинуло ее, прежде стена была дальше.

— В Бресте мы говорили о нем,— сказал Белодед.— Ты когда-нибудь интересовался ранним Троцким, самым ранним?

— Когда мы жили в Одессе,— сказал Роман,— мне кто-то говорил, что его отец был мелким буржуа, то ли хозяином аптеки, то ли портняжной.

— Ты помнишь приход Троцкого в «Искру» и обращение его в новоискровца? Помнишь его столкновение с Лениным и восторг Струве по этому поводу? Помнишь крылатую фразу Ленина о Горе и Жиронде? Потревожь память и вспомни еще раз. Корень — там.

— Но коли ты увидел этот корень, скажи, что в нем? — сказал Соловьев.

Петр молчал, не глядя на собеседника. Китайгородскую стену точно объяло пламя — она была багрово-дымной.

— Дело разве в аптеке? — произнес он.— К черту аптеку! Речь идет все-таки о буржуазности Троцкого.

— Но какое это имеет отношение к Бресту? — спросил Соловьев.

— Жиронда жива... по крайней мере в Троцком, — ответил Петр. — Ты знаешь меня, Роман, чтобы сказать это, я должен был пуд соли съесть.

— И ты съел его?

— Съел... после десятого февраля, — Петр помолчал, слова, точно камни-валуны, лежали на пути. Сказать — сдвинуть валун. — Знаешь, когда лет через пятьдесят люди заглянут в преисподнюю Бреста и еще раз внимательно одну за другой одолеют пудовые книги, которые родил Брест, они увидят: отношение Троцкого к союзникам было много предпочтительнее, чем к немцам, и это отразил его взгляд на Брест.

— Значит, он считал, что надо договориться с союзниками, а не с немцами?

— Я так думаю, — сказал Петр.

— И по этой причине отверг Брест?

— Мне кажется, по этой, — ответил Петр. — Но мы построены с тобой надолго, Роман, и у нас есть время ждать... Посмотрим, что скажет провидица-история... Сегодня летопись ведется более совершенными средствами, чем при Пимене: каждый шаг протоколируют тысячи перьев. Все, что не увидело свет, свет увидит, скажут свое слово современники, дипломаты тиснут свои бело-сине-голубые книги!.. Ложь сожжет самое себя, правду ничто не возьмет — она останется. Короче, история определит точно, чья сторона оказалась правой и чья линия генеральной.

— Ты жди, а я ждать не буду, — возразил Соловьев. — Для меня нет линии генеральнее, чем русская граница!..

— Это что... рецидив левого коммунизма? — спросил Белодед.

— Ну, что же, может, и левого, если ты его увидел у меня...

Время между тем действует, думал Белодед, оппозиция Романа прогрессирует. А что, если бы Роман встретился в Вакулой, они нашли бы общий язык? Нет, встреча эта невозможна, но представить такую встречу и тем более увидеть, чем она закончится, любопытно. Роман человек способный. Что греха таить, так, как знает немецкий Роман, немногие знают его. За большим столом

переговоров, где единоборство нередко превращается в искусство вести спор и преимущество накапливается по крупицам, такой человек очень полезен. В Наркоминделе это понимают и широко используют Романа в переговорах с немецкими купцами, которые с некоторого времени ведутся во все больших масштабах.

Петр вернулся в зал, из полутьмы дипломатической лжи сверкали глаза германского посла. И вновь Петру пришли на ум слова Мирбаха: «На Рейне горят леса...»

— Долой Мирбаха! — гудело в зале.

На трибуну поднялся Ленин, и зал встал: одни, охваченные воодушевлением, другие — заманчивой возможностью прямо, с лету, с маху кинуть, как камнем, поднятым с земли злым словом.

— Россия не простит брестского позора!

— Неверно! Россия все поймет — мы дали ей мир.

— Мир миру рознь! Не убережетесь — на вас идет вал ненависти. Он поглотит вас вместе с вашим Мирбахом.

— Возьмите его и Камкова в придачу! Пугали пуганых!

— Долой Брест!..

Петр смотрел на Ленина. Казалось, за всю его жизнь не было поры более трудной, чем эта. Вот он вышел навстречу врагу, чтобы глазами, грудью, лицом, всем телом, что было его именем и его сутью, защитить веру и правду свою.

— Долой Брест! — устремила тонкие руки к небу Мария Спиридонова и зашлась в беззвучном кашле. — Долой... позор России! — продолжала она кричать, охватив грудь, сизая от наступившего удушья. — Долой!..

А Ленин поднялся на трибуну. Он говорил, что Брест в нынешнюю суровую пору отвечает интересам революционной России и отказаться от брестских обязательств — значит пойти на открытый конфликт с Германией. Это выгодно всем, кроме России. Очевидно, задача заключается в том, чтобы набраться терпения и ждать.

— К какому терпению вы призываете? — поднялась со своего места Мария Спиридонова. — Сохранить терпение — значит умереть с голоду.

— С голоду умереть...

— С голоду!..

Ленин наклонился, произнес:

— Да поймите же...

Петру казалось, что радостная ясность, которую он увидел на лице Ленина сегодня утром, исчезла и выступила усталость, все беды нынешнего нелегкого дня.

88

Петру позвонили от Клавдиевых и сообщили, что Федор Павлович почувствовал себя лучше и хотел бы завтра нанести визит старому дубу на Сретенке. Клавдиев просил Петра быть с ним. Петр подумал, что поездка на Сретенку даст возможность видеть Клавдиева и Киру и многое объяснить. Он сказал, что будет поутру.

На другой день Петр взял извозчика и поехал на Воздвиженку. Было десять утра, но солнце уже палило немилосердно, и извозчик по просьбе Петра поднял верх.

Петр поместил Клавдиева под верхом, а сам с Кирой сел на узкое и не очень удобное сиденье напротив. Под верхом было полутемно и, наверное, прохладно. Петр видел, с какой жадной пристальностью Клавдиев смотрит вокруг — будто любопытство к тому, как выглядит город, разбудило прежнюю силу в глазах и они сейчас видели так, как давно уже не видели.

Притихла и Кира.

Вот чудо, в сравнение с которым не идут никакие чудеса земли и неба: кажется, легче перенестись на другую планету, чем раскрыть тайну человека, тепло и дыхание которого чуть ли не слились с твоим.

Извозчик остановился у подъезда дома с колоннами. Дом, как показалось Петру, был меньше и неказистее, чем тогда на дагерротипе.

— Дуб жив... жив дуб! — закричала Кира и, не обращая внимания на спутников, понеслась во двор.

Петр подал руку Клавдиеву. Тот все еще был молчалив.

— Не думал, что доживу до этой минуты, Петр Дорофеевич, — тихо проговорил он.

«Перед этой встречей даже Клавдиев безоружен, — сказал себе Белодед. — Не он, Петр, а вот этот дуб, стоящий посреди двора, заставил Клавдиева произнести то, что не произнес бы он ни при каких обстоятельствах прежде...»

А Клавдиев стоял перед дубом, не в силах обнять взглядом и крону и черную колонну ствола.

— Он, как зачинатель рода, праотец, чудом выживший...

Федор Павлович положил ладонь на ствол дуба, а Петру представилось, что рука, темная, в бугристых и вздувшихся венах, вросла в кору старого дерева.

Клавдиев был взволнован, а Кира... в ее взгляде, обращенном на деда, Петр увидел и недоумение и укор. Здесь между ними лег ров.

В доме где-то наверху, чуть ли не на уровне маковки дуба, раздался удар топора. Потом еще и еще. Казалось, рубят не дрова, а старое клавдиевское гнездо.

Клавдиев поднялся на крыльцо, сделал усилие открыть дверь — она поддалась. Кира и Петр следовали за ним. Наверно, человек, орудующий топором, услышал шаги на лестнице, удары топора утратили силу.

— Кто там? — вдруг раздался голос, неожиданно тихий, и Петр увидел над собой великана с повязанным горлом, в руках у него был колун. — Я спрашиваю: кто? — повторил великан.

Сейчас человек с колуном стоял над Клавдиевым.

— Этот дом принадлежал... моему отцу, — сказал Федор Павлович. — Я приехал из Англии.

— Вы Клавдиев?

— Да.

Великан с повязанным горлом опешил, он смотрел на Клавдиева и точно соизмерял с тем, каким он представлял его себе прежде.

— Гусаров Глеб Глебыч, — отрекомендовался великан и взглянул на колун — сейчас колун лежал у его ног. — Ну, и как вы нашли Москву? — спросил он.

— Я еще многого не видел, — произнес Клавдиев.

Гусаров засмеялся — смех, отраженный в просторных окнах веранды, казался стеклянным.

— Разве это смешно?

— Смешно.

— Простите, почему?

— Смотри не смотри — все ясно.

— Что именно?

— Я готов голодать, — заметил Гусаров и вздохнул, да так шумно, что вздох восприняли за спшной пустые комнаты дома. — Я готов жить без хлеба... но оставьте



мне хотя бы свободу! Нельзя у человека отнять и хлеб и свободу — он распадется, превратится в пыль.

— А разве вы менее свободны, чем прежде? — спросил Клавдиев.

— Менее? Конечно, менее, хотя внешне я свободен.— Он взял с пола колун, повертел его и положил обратно.— Я солдат армии труда. В пределах этой армии я свободен абсолютно. Я брошен в поток, и меня несет вместе со всеми к великой цели, но до нее, как до дальней планеты, триста тысяч лет свободного падения!

— Простите, а... ваш идеал?

— Мой идеал? Хоть на четвереньках, но выкарабкаться из потока и остаться человеком, чтобы тебя не истерло до блеска, чтобы на лице остались рот, нос и глаза... чтобы лицо не стало похожим на коленку в конце концов! Хочу делать то, что делают все люди: гневаться, ненавидеть, сомневаться... хочу сомневаться, черт возьми! Хочу дать волю страстям, которые, наверно, есть у меня, как есть у вас. Хочу быть богатым!

— Но богатство не свобода, угнетение,— сказал Клавдиев.

Гусаров покраснел.

— Тогда не хочу быть богатым,— нашелся он мгновенно и, взглянув на Петра, помрачнел.— Я заметил, вы все время скептически улыбаетесь. Вы хотите что-то сказать?

Петр рассмеялся.

— А мне все-таки кажется, что вы хотите быть богатым.

— Я хочу быть свободным, а нет богатства больше.

— Верно,— сказал Клавдиев.— Нет богатства больше. Верно,— подтвердил он и пошел к выходу.

Уже очутившись во дворе, они вдруг услышали, как распахнулось над ними окно — там стоял Гусаров.

— Все великие революции были в июле! — крикнул он и исчез.

— Что он сказал? — спросил Клавдиев.

— Он сказал, что все великие революции были в июле,— ответил Петр, смеясь.

— Так и сказал?

— Так.

Клавдиев взглянул на окно, прислушался, надеясь,

что великан с топором произнесет нечто подобное еще раз, но лишь неистово и зло застучал топор — Гусаров колот дрова.

89

Воровский остановил Петра и не столько кивком головы, сколько движением глаз дал понять, что намерен сообщить нечто чрезвычайное.

— Товарищ Белодед,— Воровский коснулся руки Петра ладонью — она была холодна.— Только что убит Мирбах... Да, разумеется, эсерами, Ленин просил разыскать вас.

Как обычно в эти дни, Кремль люден, тем чутче тишина в приемной председателя Совнаркома.

Ленин сидел у края стола и быстро нумеровал записи, которые Петр увидел в руках Владимира Ильича сегодня утром, когда тот был на трибуне. Ленин оглянулся на голос Петра, и Белодед только сейчас понял, насколько серьезно все, что произошло.

— Белодед? — произнес он быстро, видимо удерживая в памяти номер помеченной, но уже перевернутой страницы.— Свердлов и я едем в германское посольство, да, с соболезнованием,— он пометил лежащую перед собой страницу.— Вы будете с нами,— его рука обрела прежнюю стремительность — одна за другой нумеровались страницы.— Что же вы молчите? — он закончил нумерацию, собрал листы в стопку и, поставив вертикально, дважды ударил ими о стол.— И вы считаете, что этого делать не стоит?

— Я ничего не сказал, Владимир Ильич,— ответил Петр.

— То-то же,— Ленин пошел к выходу. Навстречу Ленину шагнул человек в вельветовой блузе.

— Простите,— обратился он к Владимиру Ильичу,— мог бы я задержать вас на минутку?

Ленин внимательно посмотрел на него: длинные, хорошо промытые волосы рассыпались и закрыли уши.

— Да, пожалуйста, но... с кем имею честь?

Человек отвел ото лба волосы.

— Я Феофан Строганов, делегат Пятого Всероссийского съезда Советов, член партии социалистов-революционеров.

Ленин поклонился.

— Слушаю вас, товарищ.

Строганов поднял голову — так удобнее было удерживать рассыпающиеся волосы.

— Мне сказали, что убит Мирбах.

Ленин нетерпеливо сжал лацкан пиджака.

— Да, убит... час назад.

— Мне еще сказали, что вы решили направиться в германское посольство, чтобы выразить соболезнование.

— Да, сию минуту, если разрешите, — произнес Владимир Ильич.

Собеседник Ленина протянул руку — жест выражал нетерпение.

— Я заклинаю вас не делать этого.

— Почему?

— Есть такое абстрактное понятие: достоинство! Да, да, достоинство государства, народа, правительства, наконец, собственное достоинство. Для гражданина и человека нет понятия более святого, чем это.

Ленин молча смотрел на собеседника; рука Ильича, зажавшая лацкан, казалась белой.

— Что вы хотите этим сказать?

— Если вам не дорого собственное достоинство, поберегите достоинство России, от имени которой... волею судеб... — он шумно вздохнул. — Волею судеб... вы говорите сегодня с миром. Я заклинаю вас, — произнес он мягко и поправил волосы.

Ленин взглянул на небо — неожиданно смерклось.

Где-то высоко над Москвой грозовая туча затенила солнце и ударил гром. Он был легким и быстрым, этот гром, как первый гонец приближающейся грозы.

— Достоинство, — произнес Ленин. — Личное достоинство, — повторил он. — Мое личное достоинство ничего не значит, если речь идет о благе России, — он задумался, быть может, он впервые представил, как сейчас явится в германское посольство на Денежном с соболезнованием — нелегкая это миссия. — О благе России...

— Но этот акт... соболезнования, — встряхнул волосами Строганов, — отнюдь не ваше личное дело и даже не дело вашего правительства.

— Нет, это дело мое... и правительства, — сказал Ленин.

Он посмотрел на небо. Оно было сплошь сизо-фиолетовым, но посреди него, точно кружочек чистой воды в проруби, прорывался кусок синевы — тучи не заволакивали этот кусок синевы, наоборот, оберегая, они отодвигали его на край неба все дальше, все стремительнее. Ленин смотрел на это озерцо чистого неба, убегающее на север, и свет этой сини лежал на его лице.

— Вы не имеете права,— почти выкрикнул Строганов.

— Имею. Его дал мне съезд.— Ленин направился к выходу.

Машина шла, взрывая воду. За каких-нибудь четверть часа потоки заполнили город. Небо точно отвердело, и молния колола его на острые и ломкие глыбы, как колют уголь и лед. Еще удар — и небо осыплется и завалит город. На Пречистенском бульваре ливень начал стихать. Когда молния вспыхивала, листва, промытая дождем, казалась ярко-зеленой, молодой.

Всю дорогу Ленин молчал. Петр сидел рядом с шофером и не видел лица Владимира Ильича, но слышал его дыхание. В какой раз за этот час Петр возвращался к одной и той же мысли: съезд Советов и убийство германского посла. Со времен Бреста никогда Россия не была так близка к войне с Германией, как сейчас. Издревле убийство посла было поводом к войне. История не знает случая, чтобы сторона, заинтересованная в войне, пренебрегла этой возможностью. Все, что делал Ленин после Бреста, в сущности, преследовало одну цель: охранить новую Россию от конфликта с Германией, лишить Германию возможности развязать конфликт. До сегодняшнего дня это удавалось! Сейчас немцы обрели такую возможность, какой они никогда не имели прежде: в Москве убит немецкий посол. Разумеется, приезд главы правительства в иностранное посольство по столь необычному поводу с соболезнованием акт чрезвычайный. Но, может быть, в этой напряженной ситуации это единственно уместный акт. Конечно, личное достоинство дело великое, но разве в нем суть, когда речь идет о судьбе революции. Да, если говорить по-человечески, небольшое удовольствие входить в этот дом и потом стоять перед белобровым молодцом, который скептическим покашливанием и молчанием демонстрирует свое пренебрежение.

Автомобиль поднялся по Пречистенке, однако в Денежный было проникнуть нелегко — толпа заполнила мостовую. Стоял автомобиль, кажется, «роллс-ройс» или «пежо», слишком новый и нарядный для Москвы восемнадцатого года — очевидно, на место происшествия пожаловал кто-то из иностранных корреспондентов.

— Посольство оцеплено? — наклонился Ленин, глядя в стекло. Машина медленно въезжала в Денежный переулок.

— Да, мне сказали, — заметил Свердлов. Небо по-светлело, и в глубине машины блеснули стекла пенсне.

— Держинский уже там?

— Держинский и Бонч-Бруевич.

В пролете переуллка, слева, глянула решетчатая ограда и за ней посольский особняк, высокую крышу которого точно венчал чугунный кубок с ясно различимым шпилем громоотвода. Вряд ли русский немец Берг, построивший этот особняк, полагал, что под его крышей разыграется одно из трагических событий века. Единственно, о чем он мечтал, чтобы особняк белизной мрамора и добротностью дерева не уступил, а превзошел особняк брата на Арбате. Но как ни тверд был громоотвод на железном кубке над парадным входом в особняк, оказалось, что не все громы и молнии следует ждать почтенному заводчику с неба — огонь, свирепствующий на земле, не менее грозен.

Автомобиль остановился у парадного входа. Посольская дверь полуоткрылась, и Ленин увидел на фоне деревянных панелей, ярко-желтых и лоснящихся, посольского чиновника, желтое лицо которого было неотличимо от панелей. Страх еще свирепствовал в бледно-карих глазах чиновника, а плечи, что крылья птицы, вздрагивали и приподнимались, казалось, он вот-вот сорвется и устремится прочь. Но он не бежал. Даже напротив, защитив грудь дрожащей рукой, он преградил собой вход в особняк, пытаясь установить, что, собственно, господин Ленин еще хочет от посольства, после того как главное сделано и посол убит.

Он был худ, этот человек, длинноног и длиннорук. Видно, самой большой бедой для него были диковинно длинные руки и ноги. Они тряслись. Тряслись катастрофически, и не было сил сдержать дрожь, как не было сил куда-то упрятать эти руки и ноги. Петру показалось:

именно этот нелепо длиннорукий человек, и никто другой, два с половиной часа тому назад вышел навстречу убийцам Мирбаха, быть может, даже попытался проверить мандаты, а потом ввел в покои посла. Ввел и удалился, однако, едва переступив порог приемной, а возможно, даже дойдя до середины следующей комнаты, почувствовал, как что-то толкнуло его в спину. И вдруг сами по себе распахнулись окна на улицу, распахнулись разом, как они распахивались только перед грозой. А потом комната наполнилась дымом и в покаях посла точно обломилась колонна, обломилась и рухнула, хотя человек и помнит, что там колонны не было. С той минуты у человека заходили руки, как два маятника. Казалось, их так раскачало в этот день, что уже ничто и никто не остановит. Сколько им ходить вот так, туда-сюда, отбивая такт бедам?

Человек унес раскачивающиеся руки и вернулся тотчас вместе с Рицлером. Очевидно, посольский скипетр был принят из холодных рук Мирбаха именно им. (Дипломатия, при всей любви к церемониям, вручает посольский жезл, как, впрочем, и отбирает его, без церемоний — шальная пуля вышибла посла, и следующий в шеренге по крайней мере на время занял его место.) Ленин говорил, а Рицлер стоял, закрыв глаза и выпятив губы. Желтые панели особняка больше были одухотворены и мыслью и чувством, чем лицо советника: стучи в него кулаком — не отзовется. Впрочем, губа выпячивалась и даже нежно розовела, выдавая и молодость, и здоровье, и вопреки закрытым глазам и дежурной печали хорошее настроение. Да, настроение тоже. А почему не быть хорошему настроению, когда доброе десятилетие человек мечтал сделать заветный шаг от советника до посла и вдруг стал или почти стал им. В конце концов не каждый день в посольских особняках рвутся бомбы и послы падают замертво. Нет, нежно-розовая губа выдавала Рицлера с головой, хотя и призвана была выражать другое: и гнев, и обиду, и, конечно, ущемленный престиж, который требовал удовлетворения.

— Прошу вас, — сказал Рицлер и двинулся в глубь дома. Русские последовали за ним.

Эта комната могла быть названа парадной. На больших приемах посольства здесь, очевидно, собирались гости до того, как их приглашали в банкетный зал.

В этом случае стол посреди комнаты убирался и комната становилась просторной и действительно парадной. Однако сейчас все надежды именно на этот стол. Испокон веков он выполнял в дипломатии благодарную функцию: был зыбким, но нередко единственным мостом, соединяющим разные умы и души. Быть может, и теперь в его силах как-то объединить людей, вошедших в зал: антагонисты по всему строю взглядов на жизнь, на первоприроду и бытие человека, они отброшены друг от друга так далеко, как только могут быть отброшены люди. Есть ли в природе мост, который мог бы соединить этих людей, и может ли им стать стол, разделивший зал надвое, большой, нарочито тяжелый и темный, с виду скорее железный, чем деревянный, точно специально выкованный для сегодняшней встречи русских и немцев.

Рицлер переводит взгляд на стол и легким кивком головы, торжественным (казалось, торжественность не покидает дипломата и в минуту скорби) и печальным, приглашает вошедших сесть.

Гости рассаживаются.

Русские садятся лицом к окну. Немцы — спинами.

Вот и пришла минута лаконичных и точных слов, которые медленно отлились в сознании, пока автомобиль двигался к Денежному переулку.

Говорит Ленин. Он говорит по-немецки. Его взгляд обращен на Рицлера, чьи глаза скорбно смежены, а подбородок вздернут, да так высоко, что мышцы на шее напряглись и вздулись.

Ленин приносит извинения правительству по поводу случившегося, как он сказал, внутри здания посольства, что лишило советскую сторону возможности оказать необходимое содействие германскому посольству. Он выражает соболезнование правительству по поводу трагической смерти посла. «Дело будет немедленно расследовано, и виновные понесут законную кару», — заключает он.

Ленин встает, а вслед за ним и все, кто его сопровождает.

Рицлер медленно размыкает веки, смотрит на Ленина.

— Германское императорское посольство в России передаст все сказанное вами своему правительству.

Гости и хозяева обменялись рукопожатиями.

Русские пошли через здание, направляясь во внутренний дворик.

Комната, где произошло печальное событие, лежала на пути. Видимо, взрыв был достаточно сильным: паркет разворочен, стекла, а кое-где и оконные рамы вышиблены. Железными брызгами бомба разлетелась вокруг — стены в зазубринах и ссадинах.

Дом хранил следы травмы, посольский дворик не воспринял ее.

Стояли, как по ранжиру, большие и малые метлы, лопаты, ведра, весь арсенал больших и малых средств, с помощью которых маленький двор посольства мыли и драили. Дворник в фартуке лилейной белизны мел каменный пол, сметая в кучу осыпавшиеся стекла с той легкой неторопливостью и почти заученным ритмом, как если бы стекла эти выдавила из рам не взрывная волна, а неосторожный порыв ветра. В этом мире привередливой чистоты и порядка, где все предусмотрено вплоть до случайно сломанной ветром ветви и преждевременно опавшего листа, казалось неправдоподобным все, что случилось сегодня.

— Пока заговорщики говорили с Мирбахом, на улице стоял автомобиль с работающим мотором, — сказал Дзержинский, шагая через двор, он продолжал восстанавливать картину покушения. — Если учесть, что на руках у них был мандат...

— Вы полагаете, что в заговоре участвовала организация? — пробасил Свердлов.

— Да, несомненно, и весьма основательная, — ответил Дзержинский.

Во двор шагнул человек в кожаной куртке, крашеной ядовитым кармином. Решительно не зная, к кому обратиться, он поднес руку к околышу фуражки; рука дрожала, и крупные ногти бились о клеенчатый козырек.

Дзержинский стоял рядом с Петром, и Белодед увидел, как едва заметные капельки пота выступили у него на виске; видно, человек в кожаной куртке привез сообщение чрезвычайное.

— Да говорите же! — сказал Дзержинский, обращаясь к подошедшему.

— Восстал конный полк Попова! — наконец произнес человек.

Ленин оглянулся: поодаль дворник продолжал сметать в кучу рассыпанные стекла — его ничто не смущало, он нес службу исправно.



— Попов эсер? — спросил Ленин.

— Да, Владимир Ильич.

— Вот вам и организация, Феликс Эдмундович!

— Я должен быть там, Владимир Ильич,— произнес Дзержинский настойчиво. На улице взревел мотор автомобиля. Дзержинский умчался в отряд Попова.

— Убийство германского посла как сигнальная ракета, как призыв к восстанию,— сказал Ленин и пошел к воротам, в которые только что вышел Дзержинский.

«Все великие революции были в июле!» — вспомнил Петр фразу, произнесенную утром тем человеком с топором в старом клавдиевском доме.

90

— Вот это... денек!

Петр оглянулся.

Позади него, след в след, шагал Вакула. Вечернее заседание начиналось в пять — он шел на съезд.

— Ну как тебе нравятся новости? — буркнул Вакула, поразнявшись, вид у него был спящий.

— Что именно? — спросил Петр и искоса посмотрел на брата. Необычно он выглядел сегодня. Куда только делись и шерстяная шведская шапочка с козырьком и легкий джемпер, которым Вакула очень гордился,— несложные доспехи русского делового человека западного толка, да-да, не воронежца и не самарца, а питерца. На смену пришли френч и краги. Никогда прежде Петр не видел брата в таком наряде.

— Ты думаешь, я говорю о Мирбахе? — Вакула пошел быстрее: ему хотелось взглянуть на брата.— Какой там! Есть новости и поважнее.

— Какие именно? — спросил Петр, продолжая рассматривать брата. Три большие пуговицы на френче едва удерживали могучий живот Вакулы. Казалось, нитки треснут и пуговицы покатаются по асфальту.— Какие новости?

— Наши,— Вакула произнес это слово не без гордости,— взяли в плен Дзержинского.— Вакула теперь шел впереди Петра, не оборачиваясь и не заглядывая ему в глаза, точно откровенно пренебрегая тем, какое впечатление эта новость произведет на Петра.— Сегодня в Покровских казармах... Но это еще не все...

Он сказал: «Это еще не все», — надеясь распалить любопытство Петра, но Петр молчал.

— Да не в поход ли ты собрался, брат? — спросил Петр и подивился тому, что, как ни старался, не мог скрыть в голосе неприязнь.

— Утро вечера мудренее. Я сказал: утро...

Они дошли до театра, и Вакула взбежал по лестнице, явив такую легкость, какая до сих пор в нем и не предполагалась. Быть может, и этим он хотел показать Петру, как хорошо у него на душе.

А Петр, глядя брату вслед, долго видел широкую спину Вакулы, обтянутую тонким сукном френча, красный затылок, насеченный двумя поперечными складками, короткими и глубокими. Однако не из любви же к брату Вакула пренебрег размовкой и заговорил с Петром.

Он сказал: утро вечера...

Очевидно, все надежды возлагались на ночь.

Красный бархат и золото Большого театра, как показалось Петру, и в этот раз горели пламенеющим огнем — и в радости и в печали театр был одинаково праздничным. Петр был немало удивлен, когда увидел Марию Спиридонову, которая, глядя куда-то ввысь очами страдальцы, внимательно слушала Прошьяна, а подле, расстелив на кресле газету, как карту, и наклонившись над ней, стоял Борис Камков. Однако гвардия Марии Спиридоновой неспроста предпочла Большой театр Покровским казармам.

Прозвучал председательский колокольчик. Прозвучал и умолк. Спиридонова пошла на сцену.

Из-за стола президиума встал Свердлов. Он стоял, опершись о кулаки, дожидаясь, когда умолкнут последние голоса. Но гул стихал медленно, как гул товарного поезда, пересекающего степь, казалось, он уже стих, но потом вдруг вырос, видно, поезд вышел из-за роши или взгорья. Мария Спиридонова сейчас находилась в конце стола, у боковой грани. Свердлов — у самой середины стола, на месте председателя. Они смотрели друг на друга в упор и будто ничего не видели.

Свердлов готовился открыть заседание. Спиридонова намерена была взять слово, как только заседание откроется. Однако случилось непредвиденное. Те несколько слов, которые произнес Свердлов, как только установилась тишина, никакого отношения к открытию заседания

не имели. Он сообщил, что очередное заседание съезда состоится позже, а сейчас делегатам-большевикам необходимо собраться в здании Второго дома Советов.

Свердлов сказал и пошел со сцены. Спиридонова продолжала стоять. Очевидно, все, что сейчас произошло, настолько не входило в ее расчеты, что ее охватило смятение. Когда она нашлась, зал уже встал.

— Я хочу говорить! — воскликнула она с намерением перекричать зал, но у нее явно не хватило голоса, да и зал уже наполовину опустел.

Петр был в ложе второго яруса. Он видел, как Спиридонова сошла со сцены. К ней устремились ее сподвижники, Спиридонова говорила, и толпа смыкалась. Потом толпа точно раздалась, пропустив Спиридонову вперед. Сейчас Спиридонова шла меж рядами, вскинув голову, и прядь волос срезала наискось половину лба. Петру казалось, что ее лицо выражало сейчас не суровое раздумье или злую сосредоточенность, каким оно было до этого, а решимость. Всем своим видом она точно говорила: «Пришел мой час! Мой час пришел!»

Петр вышел из зала, и тотчас глубоко внизу, очевидно, на первом этаже, может быть, у самого выхода, возник шум, и вновь Петру показалось, что он слышит вечерней колокол:

— Произвол... Узурпаторы...

Петр подошел к окну, взглянул на площадь перед театром. Шли шеренги моряков с винтовками. «Да не оцеплен ли театр? — мелькнуло у Петра. — А если оцеплен, то кем? В конце концов среди сторонников Спиридоновой тоже были матросы». Петр спустился в первый этаж.

— Как в мышеловке: бац — и защемило!..

— Мышеловка? Какой там! Бутылка с пробкой... Как на пивоваренном: клац — и пробка в горлышке...

— Глупо, глупо!

В кресле, обитом красным бархатом, сидит юноша и рвет зубами папиросу:

— Господи, вот и конец!..

Однако вся эта история была решена не без юмора. Большевики оцепили театр. Сами вышли из него, а эсеры забыли там.

— Истинно: забыли!.. — ключья изорванной папиросы лежат у ног юноши. — Не думал, что конец будет таким нелепым...

— О каком конце вы говорите, молодой человек? — рядом с юношей сел старик с распатланной бородой (монах-расстрига или капельмейстер?). — Слышите выстрелы? То братья вызволяют свободу.

— Господи, какие братья? Какую свободу?

Петр увидел Вакулу. Отступив от толпы, он стоял в стороне, держа погасшую папиросу. Быть может, даже заметил Петра, но не подал виду.

## 91

Петр выбрался из театра только через час. У подъезда Наркоминдела он встретил Чичерина.

— Погодите, с какого облака вы свалились, Петр Дорофеевич? Так ничего и не знаете? Ну, вы меня удивили! Покровка в руках мятежников. В наркомате никого нет. Все на баррикадах, — последние слова он произнес не без воодушевления. — На баррикадах!

Видно, Георгий Васильевич обрел единственную в своем роде возможность подышать пороховым дымом и не хотел лишать себя этого.

— Действует железный закон алфавита! — произнес Чичерин. — Погодите: А, Б, В... Верно: Б, В! Белодед, Воровский... Под начало Воровского! Ильинка! Там штаб. Марш, марш!

Петр подумал: «Под начало Вацлава Вацлавыча! И тут дороги скрестились... Вперед, вперед! Воровский где-то на Ильинке!»

То, что называлось штабом, помещалось в конторе большого винного магазина. Вино выпили почти год назад, и с тех пор запасы его не восполнялись, но этикетки сохранились — ими можно было восславить реки виноградных вин. Все вместили этикетки: и фирменный герб, и гроздь винограда, и созвездие почетных медалей, собранных со всего света, и имя хозяина, по этому случаю облагороженное и благозвученное, и высокий титул винодела, не отказавшегося вынести его (о времена!) на винную бутылку: князь Феликс Юсупов, граф Воронцов-Дашков... Этикетки были рассыпаны по столам. Фольга пыталась донести до наших дней представление о былом достатке и благополучии. Впрочем, этикетки великолепно горели в голландской печи, шумно потрескивая. А на огне клокотал солдатский чайник, и большие

руки доброй и емкой пригоршней высыпали на стол ржаные сухари.

— Вкусен чай на зорьке утренней! — воскликнул Воровский, потирая руки.

Посол был вызван правительством для консультации, а оказался на баррикадах. Не в этом ли весь Воровский: храбрая страсть и мысль. Эта ночь и на него упала внезапно. Он даже не успел переодеться. На нем был тот же темный костюм и крахмальный воротничок, стянутый пепельно-серым галстуком, в котором Петр видел Воровского в Наркоминделе.

Где-то рядом, срезав край города, прошел дождь, и холодное дыхание проникло в комнату; в большом, тонкого стекла фужере дымился чай. Воровский жадно пил, не боясь опалить губы.

— Через Охотный ряд, направо на Тверской! — приказывал Воровский парням с винтовками наперевес. — Через Охотный ряд налево — к Китайгородской стене и обратно к Ильинским, — обращается Воровский к человеку в форменной куртке почтового чиновника.

К двенадцати уходили последние наряды — и была очередь Петра с напарником, стариком метранпажем из сытинской типографии.

— Нам, пожалуй, на Воздвиженку? — спросил старик. — Как, Вацлав Вацлавич?

Воровский задумчив — вот и дождался баррикад, о которых говорил в Стокгольме, да только в облике его не столько воодушевление война, сколько раздумье, раздумье человека, которому дано проникнуть в сущность происходящего, понять, как грозно все это и опасно.

— Да, сейчас пойдете, — проговорил Воровский. Что-то важное, что носил долгие годы Воровский в себе и не мог выговорить, он должен был сказать Белодеду в эту ночь. — Хотите постоять минуту под звездным небом? — спрашивает он Петра. — В июле небо необыкновенное и не только в Одессе...

Они вышли на веранду и по каменной лестнице спустились в сад. Над головой покачивались округлые кроны лип, каждая с полнеба.

— Вы отдаете себе отчет, Белодед, насколько серьезно положение? — спросил Воровский, опершись ладонью о ствол дерева.

— Да, Вацлав Вацлавич, все решится этой ночью.

— Не столько ночью, сколько, пожалуй, утром,— сказал Воровский. Он поднял глаза, точно хотел взглянуть повыше, выше кроны дерева, выше облаков.— Может вернуться круто, круче, чем мы с вами думаем, и революция вынуждена будет обратиться к крайним мерам.

Воровский точно подвел Белододеда к пределу, который давал право сказать: «Ну, говори, говори, что лежит у тебя на душе!»

— Пусть на то будет воля партии, я и в Москве готов сделать то, что сделал в Одессе,— медленно произнес Белододед, будто короткой этой фразой хотел предупредить все, что может сказать Воровский.

Петру почудилось: взгляд Воровского свергся с высокого высока на землю.

— Что вы имеете в виду, Петр Дорофеевич?

— Теперь молчал Петр.

— Что вы имеете в виду?

— Королева казнил я, Вацлав Вацлавич.

Воровский приблизился к стволу дерева, глубже зарыл руки в карманы пальто. Теперь Петр видел: Воровский ничего не знал об этом прежде.

— Вы казнили его... волей партии? — спросил Воровский.

— Нет, я казнил его своей волей... за смерть Арсенальца.

— Казнили и считаете, что были правы? — спросил Воровский.

— Гнев мой был гневом правым, Вацлав Вацлавич.

— Я не об этом,— нетерпеливо произнес Воровский.

У Воровского не было сомнений, что Петр решился на казнь Королева в справедливом гневе. Разговор об ином: имел ли он право действовать один и не худший ли это вид анархизма, грозивший бедами товарищам?

И вновь молчание обратилось в безмолвие полуночного города — так оно было прочно.

— Представьте, что все это было не в Одессе, а в Москве,— произнес Воровский; худой и высокий, он точно врос в ствол.— Больше того, в июльской Москве восемнадцатого года... Представьте себе, что сегодня ночью вы стали лицом к лицу с Королевым, вы поступили бы так же?

— Я и прежде не умел отвечать на трудные вопросы, Вацлав Вацлавич...

Они шагали по Никольской. Их двое, Петр и тот старик метранпаж из гвардии Воровского, каждый ушел в свои думы. Что-то произошло этой ночью такое, что, наверно, заставит Воровского взглянуть на Петра по-новому. В способности Петра убить такую тварь, как Королев, Воровский не сомневался и прежде. Но то, что Белодед, действуя анархически, до сих пор этого не понял, должно было заставить Воровского серьезно встревожиться и, может быть, даже спросить себя: да тот ли это Белодед, которого столько лет знал Воровский?

Уже за полночь они подошли к Воздвиженке. Дом под цинковым козырьком был освещен от земли до неба. Однако Москва надолго потеряла сон. Свет и в трех окнах над парадной дверью — Столетовы бодрствовали.

— Здесь у меня друзья, — сказал Петр.

— Ну что ж, валяй, а пока суть да дело, скручу-ка я сигарку, — старик полез за кисетом.

В подъезде темно. Дверца лифта заперта.

Петр вытянул руку с зажигалкой — тени заколебались на стенах. Идти нелегко, ноги нетверды, лестница точно рассыпалась. На третьем этаже Петр долго водил зажигалкой по двери, разыскивая номер и звонок.

— Кто там?

Столетов. Голос свеж. Конечно, еще не ложился.

— Я, Белодед!

— Милости прошу, Петр Дорофеевич! Нет гостя желаннее, чем тот, что после полуночи! — Смех, точно блики от зажигалки, поскакал по изразцам.

Клавдиев стоял посреди комнаты. Волосы вокруг лысины вздыбились, будто брызги воды, в которую бросили камень.

— Не революция ли это, Петр Дорофеевич, одна из тех, которые происходят в июле?

Что-то огненно-дымное скопилось за этот день и в сердце Клавдиева. Еще секунда — к черту полетит дом с изразцами.

— Не я ли говорил вам: если правда монополизирована, нет правды, — произнес Клавдиев неожиданно спокойно.

— Вы это к чему, Федор Павлович? — спросил Петр в тон Клавдиеву.

— Вы прихлопнули Учредительное собрание, прихлопнули грубо, силой, а оно прорвалось в июле и так

пальнуло по Кремлю, что у нас стекла повыскакивали! — Клавдиев ткнул кривым пальцем в окно, заткнутое подушкой.— Вы не так единодушны, как вам кажется, вы не так сильны, как вообразили.

— Но мы правы, Федор Павлович.

Клавдиев вдруг затих, на цыпочках подошел к окну, будто подбирался к птице, которую боялся вспугнуть, быстро обернулся.

— Почему ваша правда лучше моей? И почему вы должны править Россией, а не другие?

Петр вздрогнул, точно его остановили на полном скаку: «Ну вот... Клавдиев махнул хвостом!»

— Правда не у вас и не у меня,— сказал Петр,— она у народа.

— Иначе говоря, народ — это вы? — спросил Клавдиев и полез за платком.

— В какой-то мере и я, Федор Павлович.

— Почему вы, а не Учредительное собрание, например?

— Октябрь дал народу мир и землю. Учредилка не дала ни того, ни другого, да и не может дать,— возразил Петр.

— Вы обратились к этим средствам, чтобы удержаться у власти! — закричал Клавдиев.— Завтра вы отнимете у народа мир и землю! Это всего лишь тактика.

— Нет, это стратегия, Федор Павлович.

— Неправда! Для вас тактика важнее стратегии! Вся ваша политика сплошные тактические изломы! Только то правительство прочно, которое не боится своей интеллигенции! — выкрикнул Клавдиев неожиданно, он берег эту фразу.

— Интеллигент не графский титул, доставшийся от предков,— сказал Петр, сохраняя самообладание.— Российский интеллигент — это еще и сельский лекарь и учитель. У них не меньшее право говорить от имени интеллигенции — они добыли его холодом и голодом, Федор Павлович.

— Вы меня боитесь, а их нет, поэтому хотите отобрать у меня это право! — выговорил Клавдиев.

Петр обернулся: Столетов жег его из темноты красными углями — таких глаз Белодед не видел у Столтова.

— До четырнадцатого июля осталась целая неделя,



Петр Дорофеевич,— красные угли взрогнули.— У каждой революции есть свое четырнадцатое июля...

Петр вновь очутился на улице,— старик ждал его. Они свернули на Пречистенский бульвар, зашагали в гору. Белодед продолжал спорить. Философия Клавдиева — сомнение. Все подвергать сомнению, все прощупывать нервными пальцами скепсиса. «Только то правительство прочно, которое не боится своей интеллигенции,— для него это почти кредо.— Вы меня боитесь, а их нет, поэтому хотите отобрать у меня это право». В Столетове Клавдиев нашел единомышленника или Столетов пошел еще дальше? «У каждой революции есть свое четырнадцатое июля».

Московский июль — нелегкий перевал. Кто-то одолеет этот перевал, а кто-то повернет обратно. Нет, не только для Клавдиева и Столетова, для Киры тоже. Перевал.

Вечером Петр вышел из наркомата. В городе было мало огней, и глыба Большого театра казалась необычно темной.

Петр свернул направо и зашагал по Неглинному проезду. Навстречу Белодеду прерывистой и неровной цепью шли арестованные — картина восемнадцатого года! Время от времени они входили в поле уличного фонаря, и Петр видел нечесаную бороду, седую голову, по-мальчишески наголо остриженную, посеребренные виски... Шли конвойные, много конвойных, едва ли не столько же, сколько конвоируемых. Что-то защемило, застучало в сердце. «Может, и Вакула здесь?» Петр пробился к кромке тротуара, сошел на булыжник. Сейчас арестованные шли почти рядом — между ними и Петром кожаная тужурка или шинель конвойного. Все пожилые: спины колесом да неподвижные руки. «Вакула... где-то здесь Вакула!» Все забылось вот здесь, у этой роковой меты... Остались лишь страх за брата да жалость к нему, которых никогда прежде не было. «Вакула!..» Петр подобрался ближе к фонарю: еще седая голова и еще борода... Мать родная! Так это же Роман Соловьев! Упер глаза в Петра, медленно отвел, только из ладони выпала на булыжник недокуренная папироса.

Конвой прошел, но Петр не сдвинулся с места. В нескольких шагах дымился окурок, выпавший из руки Романа...

В полдень следующего дня, когда Петр явился в Наркоминдел, позвонила Кира.

— Ты жив? Нет, скажи, жив? А я примчалась сюда еще утром. Я здесь, рядом с тобой, на площади.

Петр сбежал вниз — действительно, у фонтана посреди площади он увидел Киру.

— А я уж чего только не передумала... — призналась она.

Он протянул руку и коснулся ее плеча, потом охватил ее шею легкой ладонью и приник к виску, не устоял и тронул щеку... Как же она дорога ему! Каким же длинным и нелегким должен был показаться ей путь в Россию, когда она думала о поездке сюда, и как непросто ей было отважиться. Она приехала сюда ради него — как он этого до сих пор не понял. И от сознания, что в эти дни, да, в эти два-три дня все могло осложниться и оборваться, она показала ему еще дороже, чем прежде... И хотелось отыскать такие слова, которые единственно могли бы объяснить ей, как он ей благодарен. Его осенила мысль, которой он до сих пор страшился: явиться с нею домой, показать ей мать и Лельку, а заодно и сказать: оставайся.

— Я хочу, чтобы ты пошла со мной к нам.

— Вот теперь?

Он кивнул.

— Пойдешь?

Она остановилась, неторопливо и бережно отвела прядь волос за ухо. Глянула ее родинка, та самая, бледная, чуть размытая, похожая на звезду.

— Пойду.

Они пошли, пошли быстро, почти бегом — вдоль Александровского сада, по Воздвиженке, потом по Арбату.

— Как Клавдиев? — спросил он, не останавливаясь. — Ты же знаешь его девиз: «Только то правительство прочно, которое не боится своей интеллигенции!»

Она рассмеялась.

— Ты хочешь сказать, он имел счастливую возможность проверить эту истину, он же был в Москве в июле? — спросила она.

— Проверить... он? — Петр посмотрел ей прямо в глаза.— И для тебя это так же важно, как для него?

Она заулыбалась.

— Пойдем... Пойдем,— как показалось ему, она избегала ответа.

Он смотрел, как она шагает рядом, стремясь за ним поспеть, и думал: «Не должна она себя вести так, если решилась уезжать».

Им открыла мать. Видно, собиралась к вечерне — платье из черной тафты она надевала только в церковь. Открыла, сдержанно поклонилась, пропустила гостью, не без умысла поотстала, оглядела ревнивым взглядом.

Они шли по дому, и Кира повторяла:

— А мне нравится у вас. Мне нравится!

Она непривычно высоко держала голову, пытаясь пошире обнять взглядом комнаты, в которые входила, точно от пола до потолка было как от земли до облаков.

— Лелька дома?

Петр оставил Киру с матерью, пошел к сестре.

Мать усадила Киру в кресло, а сама села на жесткий стул.

Они сидели и молчали, наверно, от неожиданности, оттого, что вот так вдруг очутились друг перед другом.

— Петр сказывал давеча,— наконец подала голос мать.— Покойный родитель ваш был мастак по литью...

— По литью,— быстро ответила Кира, казалось, спасительное это слово освобождало Киру от разговора на деликатную тему.

— Лил стволы? — нетерпеливо передвинулась мать на своем стуле. Жена кузнеца, сама не раз стоявшая у горна и наковальни, она не рисовалась, когда говорила так.— Стволы лил? — повторила она.

— Да, пожалуй, стволы лил и отлаживал,— ответила Кира. Она не сильна была в деле столь специальном, как литье артиллерийских стволов, но, видно, отец приносил эти слова когда-то, и они остались в семье.

— А отец был один, когда подался на чужбину? — вдруг спросила мать.

— Нет, с матерью.

— Мать... после отца одна?

— Да...

Вновь передвинулся стул.

— Вот то-то мы, вдовы... досыта накормила нами

землю война. Чего это он там развоевался? — она подняла палец, и Кира увидела, как большая лампа, висящая посреди, вздрагивает, точно мансарду, куда поднялся только что Петр, дыбило волной.

Петр сбежал вниз, шумно вошел.

— Небось звал, а она не хочет идти? — подняла жесткие глаза мать.

— Что-то неможется ей, — строго взглянул он на мать. — Видно, солнцем голову напекло.

Мать иронически хмыкнула:

— Напекло. Где напечь-то, когда она носу из дому не кажет! Не хочет, вот и все! Напекло!

Мать погладила твердыми, задубевшими в работе пальцами подбородок, нежный и рыхлый.

— Может, и напекло.

Лелька не вышла и к чаю. Они пили втроем.

— Значит, отец лил стволы? — спросила мать Киру, спросила, чтобы о чем-то спросить — молчания и прежде было много.

— Да, мама мне говорила.

— Так-то...

А потом Петр провожал Киру на дачу. В вагоне было сумеречно и душно; за окном проплывали луга, прикрытые туманом, бледно-зеленым, едва просвечивающимся, неотличимым от лунной мглы.

— Ты не кляни себя, — говорила Кира. — Не было бы сегодняшнего вечера, я все одно уехала бы... Я решила...

— Решила?

Она расстегнула ворот его сорочки, теплая ладонь припала к груди.

— Да, еще в тот вечер. Даже успела написать тебе в Питер. В субботу утром она встретит меня.

Он нащупал ее руку у себя на груди.

— Теперь я вижу, ты решила.

Через полчаса они простились, условившись встретиться в четверг.

Он вернулся почти к полуночи — мать не спала.

— Я тебе холодного молока из подпола достала...

Он прошел не останавливаясь.

— Спасибо.

В доме было жарко, и окна, выходявшие в сад, раскрыты настежь. Он слышал, как в соседней комнате шлепает босыми ногами по полу и вздыхает мать. Он пошел

к ней. Она стояла у окна, босая, в холщовой рубаше, простоволосая, и смотрела в сад.

— Ты не спишь?

— Нет...— Она медленно пошла к кровати, села.

Он стоял в дверях.

— Что стряслось с нею? — Он поднял глаза, указывая взглядом на мезонин.

Мать скрестила на груди руки, задумалась, хмуро задумалась:

— Бабья душа — лес темный...— молвила она и вздохнула.— Темный,— повторила,

Петр пошел к себе.

### 93

Солнце еще удерживалось над темной полоской леса, когда Петр сошел с пригородного поезда. С тех пор как он последний раз видел Киру, он не мог найти себе места. В какой раз он возвращался в своих мыслях к встрече с ней, клял себя, миловал и еще раз клял. Ему казалось, что в его силах было отвратить отъезд Киры. Она просто струсила. Ее до смерти испугала Москва. Москва голодная, вся во власти больших и малых бед. Москва мятежная, казалось, безнадежно расколота надвое. Одно это могло заставить воспротивиться. Почему же он не вступил в единоборство с Кирой, почему до сих пор не сказал ей, что она для него значит? Почему не дал понять, что не отпустит из Москвы? Именно не отпустит! В конце концов пусть везет сюда и мать и брата. Неужели для них Россия уже отрезанный ломоть? Почему не сказал всего этого? А может, есть еще возможность сказать? Надо сказать, сейчас же все сказать. Какое счастье, что есть этот вечер, бесценный вечер.

Он вышел к роще, прибавил шагу. Накануне в роще были лоси. Они вели себя бурно. На тропках лежали клочки лосиной шерсти, необычной по цвету, пепельно-синей. Там, где лежала шерсть, земля была жестоко истоптана.

Мезонин столетовской дачи поднимался над купами деревьев. Когда Кира была дома, освещенное окно ее комнаты виднелось еще с опушки. Сейчас, как ни всматривался Петр, света в окне не рассмотрел. Петр с ходу толкнул калитку.

— Кира! — он продолжал идти, идти быстро, за шумом деревьев не было слышно шага.— Кира!

Он вышел к дому; в раскрытом окне стояла она.

— Ты?.. А я думал...

Загудели деревянные ступени — вот-вот обрушатся. Одним духом он взлетел на площадку, распахнул дверь. Ее волосы сейчас лежали у него на лице, на руках, на шее. Они точно обвили его, напоив теплом и дыханием.

И ей было худо в эти дни, и она небось пыталась разобрать по стеблю каждую из их последних встреч, и она корила себя за опрометчивость, и она, так думал он, была рада, что есть еще этот вечер, этот последний вечер, чтобы все переосмыслить, все перерешить...

— Я весь день работала,— вдруг произнесла она.— Весь день. И ждала тебя, чтобы уйти на пруды, в лес... Пойдем?

Они шагали по большому лугу, стараясь короткой тропой выйти к прудам, а он думал: «Надо сказать ей. Остается все меньше времени — надо сказать...» А потом они дошли до пруда, и он оставил ее на круче, а сам поспешил к дальнему дереву, стоящему у самой воды. Он разделся и поплыл, поплыл быстро, сильно работая руками.

— Вода холодная? — крикнула она.

— Нет, совсем теплая!.. Теплая! — отозвался он.

Она сбросила с себя платье, сбросила легко, как это делала еще там, в Шотландии, у моря, и шумно вошла в воду.

— Нет, не теплая! — сказала она.— Не теплая, но хо-рошая...

Он вынырнул рядом с Кирой и коснулся ладонью ее спины.

— Ну говори: останешься или нет? Говори!

Она засмеялась и, изловчившись, устремила к берегу.

А он вновь настиг ее и, взяв на руки, погрузил в воду, а потом бережно приподнял над водой, потом вновь погрузил.

— Кира... Кира...

Они выбрались на берег, когда туман забелил леса и поля. Только вода сберегла дневное тепло, не хотелось из нее выходить. Она натянула на мокрое тело платье и побежала, не дожидаясь его.

— В рощу, там тепло! — засмеялась она.

— Там лоси!

Она не расслышала.

— Лоси там! — крикнул он громче. — Лоси!

— Если там лвыы, я все равно пойду.

Он нагнал ее, когда она скрылась в рощице. Здесь было сухо и тепло. Где-то далеко-далеко в тишине леса чутко хрустнула сухая ветвь.

— Лось? — засмеялась она и, протянув руку, нащупала горячую ладонь Петра. — Будь рядом, я боюсь... Иди ко мне ближе...

Он обнял ее. Платье ее было влажным.

Они ушли в глубь рощи, туда, где уцелели старые ели, здесь было еще теплее, чем на опушке, а под деревьями было много сухой хвои, рыхлой и мягкой.

— Здесь сядем, — сказал он и, бросив пиджак, сел, привалившись спиной к стволу. Она села рядом. — Теперь понятно, почему сюда прибегают лоси. Как тепло!

— Да, тепло, — сказала она и зябко повела плечами. — Дай мне руку...

Она пододвинулась к нему, прикинув щекой к его груди.

— Кира?

Он вздохнул.

— Могу я тебе сказать все то, что хочу сказать... должен...

Она сделала такое движение, словно хотела разметать лицом горячую тьму на его груди, зарыться поглубже.

— Говори... ну, говори!..

— Слушай, — его большая ладонь, твердая и горячая, сейчас лежала у нее на спине. — Я прошу тебя: останься. — Он вдруг почувствовал, как холодно, как трудно ему говорить — губы точно отвердели, свело скулы. Ему вдруг показалось, что он так и не сможет сказать главного. — Все, что тебя пугает, ничто в сравнении с тем, что у нас есть... пойми это. — Нет, он говорил не так, как хотел.

Она приподнялась и охватила его шею. И вновь, как прежде, ее волосы упали ему на лицо. Напитанные хвойной свежестью, они стекали по лицу, застилали глаза. Все тепло, что еще осталось в лесу, собралось в ее ладонях, в губах ее... И поток ее волос будто ворвался в его грудь и растекся по телу. Где-то рядом ломались сучья и

шумно рушились, но он ничего не слышал, не хотел слышать... Пламя обволокло их, пламя, пламя. Когда оно опало, роща была тиха. Они вдруг почувствовали, как им холодно. Они пошли, прикинув друг к другу. Идти было неловко, но их руки оставались сомкнутыми. Утро уже не светило тропу. Кустарник был изломан и истоптан больше прежнего. Повсюду валялись ключья лосиной шерсти, синие в свете утра.

— Так ты останешься? — спросил он.

Она не подняла глаз, пошла быстрее.

— Нет,— ответила она и уже шагнула прочь, шагнула резко, но потом остановилась.— Послезавтра папин день. Мы хотим, чтобы ты был. На Воздвиженке. Придешь?

— Приду...

Он подумал: «Папин день — предлог. Просто это будет прощальный вечер. Она уезжает. Июльская революция не оставила никаких сомнений ни для Клавдиева, ни для Киры. Даны все ответы, и их дисциплинированный ум принял решение, единственное».

Он сумел выбраться к Клавдиевым только в десятом часу. Его встретила Кира.

— А наши уже встали из-за стола. Ты что так поздно?

Они прошли в кабинет. Горела лампа под зеленым абажуром, и комнату наполнял полумрак. Три кресла, высоких, темного дерева, с узкими спинками, чем-то напоминающими силуэты готических замков в ночи, стояли, образуя треугольник.

— Вам известна эта новость? — спросил Клавдиев, когда Петр и Кира вошли в кабинет.

— Какая, Федор Павлович?

— Чрезвычайная комиссия расстреляла Александровича.

— Известна.

— Вы и этот шаг одобряете?

Петр взглянул на Клавдиева; он сидел в своем кресле, собравшись в комок. Поодаль стоял молчаливый Столетов.

— Моего одобрения никто не спрашивал,— заметил Белодед,— но... если хотите знать мое мнение...

— Да, Петр Дорофеевич,— сказал Клавдиев.

— Мне кажется эта мера... верной.



— Сказать «верной» — еще ничего не сказать, — вставил Клавдиев.

Петр взглянул на Киру: она смотрела на ночную Москву — всем своим видом она хотела показать, как безразлична к тому, что происходит рядом.

— Он лично ответствен за убийство Мирбаха, — ответил Белодед. — Лично, — добавил он, — если учесть, что это грозило и все еще грозит великими бедами России, одного этого достаточно.

Столетов вышел из-за стола, встал перед Петром.

— Быть может, для вас Александрович лицо неизвестное, а я знал его — он убежденный революционер, человек, ненавидевший царизм.

— Это не меняет положения, — ответил Петр.

— Вы не смеете так говорить, — бросил Столетов. — В моем доме... не смеете!.. — воскликнул он, накаясь.

Белодед медленно пошел к двери.

— Петр Дорофеевич, погодите! — услышал Белодед голос Клавдиева и тотчас подумал: «Это кричит Клавдиев — не Кира. Надо остановиться. Надо, надо остановиться!» Он был убежден, что ему надо остановиться, не дать себя увлечь волнению, найти какое-то слово, самое обычное, и ответить Клавдиеву, но он продолжал идти, продолжал упорно, сознавая, что нет силы в природе, которая могла бы его теперь удержать, хотя завтра он пожалеет о том, что сделал так, завтра обязательно пожалеет, и все же продолжал идти.

— Погодите, Петр Дорофеевич! — кричал ему вслед Клавдиев, а Белодед думал о своем: «Это кричит Клавдиев, а не Кира. Кира заодно со Столетовым, она своим молчанием будто толкает его в спину и гонит, гонит: иди!»

## 94

Репнин позвонил домой.

— Настенька, ты? — он был явно чем-то взволнован. — Вот что, собери чемоданы, мы с тобой уезжаем на месяц.

— Это тот самый месяц, который ты мне обещал?

— Тот, разумеется.

Она рассмеялась легко, от всего сердца — у нее было хорошо на душе.

— А какое место мы избрали для нашего месяца? Вологду? Нет, почему же, рада! Ведь это же север, русский север... деревянные дома и дороги, церкви с сизыми куполами и озера, как купола, и сизые и синие... Я очень хочу в Вологду! Когда мы едем?

— Поезд уходит на рассвете.

Она положила трубку. В самом деле, сна была почти счастлива: они проведут целый месяц в Вологде, их месяц. Нет, куда Кавказским горам и Черному морю до красавицы Вологды!

— Лена! Аленушка! Мы едем в Вологду!

Елена вышла из своей комнаты. Настенька схватила ее за плечи, неловко поцеловала в щеку.

— Понимаешь, в Вологду... на целый месяц. Понимаешь?

Скрипнул дверью Илья. Он вышел на площадку, откашлялся, словно желая дать понять, что и он хотел бы участвовать в разговоре.

— Вологда? — переспросил он. — Это зачем же?.. — он потоптался, точно раздумывая, сходить ему вниз или не сходить. — Ах, так ведь там теперь дипломатический корпус!.. — Он медленно стал спускаться — пришла в движение лестница, а вместе с нею и тревожные хрипы Ильи. — Да, да, и Френсис, и Нуланс... и еще итальянец с японцем, бельгийцем и, кажется, сиамцем... все в Вологде! Все!..

Настенька и Елена терпеливо ждали, когда Илья спустится с заоблачных своих небес на землю. Наконец он вздохнул, присвистнул и благополучно утвердился в двух шагах от них.

— Значит, в Вологду, — он был в чесучовом костюме с дежурным платочком в кармане и при этом выбрит тщательно — с тех пор как Настенька поселилась в доме, он бдительно следил за своей внешностью. — Было время, когда дипломаты ехали за правительством, а нынче... эх! — Он тронул платком губы и вернул его в карман. — Поздравляю, с легкой руки грозного Ивана... кстати, он любил Вологду, — Илья пошел к лестнице и уже поднялся на три ступеньки, однако, остановившись, внимательно и как-то откровенно грустно взглянул на Настеньку.

А Настенька пошла к себе, пошла неторопливо, ей все виделись глаза Ильи. В часы долгого летнего дня, когда Николай Алексеевич был на работе, Настеньке было невыносимо слушать, как где-то наверху в маленькой, плохо проветренной комнате сухо и нелегко кашляет Илья, как тянется дрожащей рукой к графику и гремит стаканом, как крупно и гулко булькает вода и как потом вместе с тишиной растекается запах табака, сухой, пыльный, горьковато-терпкий. Наверно, так уныло и безнадежно горько пахнет одиночество.

Из гостиной была видна улица. Ничто: ни река с вечным движением, ни огонь с быстротекущей изменчивостью красок и очертаний, ни облачное небо, такое бесконечно разное, ни картина рассветной зари, всегда неповторимая,— ничто для Настеньки не представляло такого разнообразного и увлекательного зрелища, как вид обычной улицы. Она была убеждена, что в мире нет иного зрелища, которое бы в такой мере обнаруживало разноликий образ человека, как улица. Она любила смотреть улицу и могла смотреть ее бесконечно.

Но в этот раз она должна была отойти от окна тотчас: напротив остановился извозчик на новых, еще не успевших опасть рессорах. Из него вышли Рудкевич и старший Жилль. Извозчик тронул лошадей, очевидно желая поставить пролетку под тень старой липы, что росла в стороне, а настоятель и Бекас пошли через дорогу, направляясь к жилищу Репниных.

Настенька заметила: впереди шел Бекас, и его короткие ноги, обутые в русские полусапожки, нетвердо ступали по булыжнику. Эти русские полусапожки были характерны для Бекаса, как и старомосковский его говор. В отличие от сводного брата, явившегося в Россию человеком взрослым, Бекас был привезен сюда юнцом, и дом дяди-мануфактуриста на замоскворецкой Ордынке на всю жизнь стал домом Бекаса, многое определив в его характере и облике.

У Настеньки похолодело в груди.

Вот и звонок.

Она идет медленно — надо выгадать время. Пусть позвонят еще раз — тогда она откроет.

— Здравствуйте, Анастасия Сергеевна,— Рудкевич, как всегда, чуть-чуть застенчив.— Простите, что мы вот так... незвано!

— Пожалуйста, пожалуйста,— произносит Настенька, хотя надо, наверно, сказать иначе, например: «Кто же вас вынуждает ходить незвано?»

— Благодарю вас,— настоятель почтительно склоняет голову, почтительно и чуть-чуть кокетливо; как ни естественна его застенчивость, в ней видно кокетство.— Благодарю,— склоняет еще ниже голову Рудкевич и краем глаза смотрит на своего спутника, точно приглашая его извлечь из своей груди какой-то звук, но Бекас нем как камень.

Они входят в гостиную. Настенька указывает взглядом на кресла, сама садится.

Наступает пауза — старший Жилль все еще не поднял глаз, в такой позиции он видит тупые носки своих башмаков, ножку кресла, стоящего напротив, быть может, кусок ковра.

Рудкевич, наоборот, воздел глаза к небу.

Настоятель понимает: неудобно вот так сразу начинать с сути дела, тем более такого деликатного, наверно, беседе надо предпослать фразу-другую, которая должна явиться своеобразной прокладкой. Но где добыть эту фразу? Спрашивать о доме глупо, спрашивать о том, как удался переезд в Москву, еще глупее. Очевидно, надо начинать беседу — не может быть, чтобы Рудкевич не чувствовал этого. Вот он значительно откашлялся, и взгляд переключался с потолка на ломберный стол.

— Анастасия Сергеевна,— наконец сказал он.— Мы понимаем, насколько наш приход может нарушить ваш покой... Мы понимаем...— он взглянул на своего спутника, словно приглашая его, если не словом, то хотя бы кивком головы, присоединиться к нему, но тот продолжал упрямо смотреть в пол.— Если мы решились явиться, очевидно, иного выхода у нас не было.

Бекас оторвал взгляд от ботинок и неловко качнул головой.

— Вот письмо, которое третьего дня мы получили из Стокгольма,— он положил письмо на стол; темно-зеленый плюш оттенял белизну конверта, хотя, если присмотреться, конверт скорее кремовый, чем белый.— Оно адресовано мне, но я не делаю секрета...— уперев большой палец в край конверта, указательным и средним пальцами он извлек письмо и разгладил его.— Теперь я скажу, о чем идет речь, а вы можете проверить все по тексту,—

он взял со стола письмо и, приблизившись к Настеньке, положил перед ней на подоконник.— Могу я говорить? — он огляделся вокруг, точно спрашивая ее, не может ли кто-то еще быть участником их разговора.— Могу?

— Да,— произнесла она, однако этим «да» не выразила воодушевления.

— Из письма следует, что ваш супруг (он сказал это осознанно: «ваш супруг») узнал обо всем, и это... это... Вы представляете, Анастасия Сергеевна, какое горе он пережил? — Рудкевич умолк и взглянул на Настеньку, ему было любопытно, как она примет весть, которую он, словно камень, переложил со своих плеч на ее.— Но он добрый человек, и он...

Настенька подняла глаза и увидела губы Рудкевича, некогда полные и яркие, а сейчас увядшие и бледные, но, странное дело, такие благородные, выражающие такую неуступчивость, правоту и верность долгу, какую трудно было предполагать в нем.

— И он простил меня? — спросила Настенька.

— Да, он простил вас,— произнес Рудкевич тихо.— И не только простил,— он поднял руки, они были так непорочно чисты и честны, эти руки, руки апостола, правдолюбца, устами которого глаголет совесть, будто Рудкевич взял эти руки в займы у кого-то другого.— Он просит вас вернуться...— Он умолк и как-то сник.— Только, господа ради, не говорите «нет»,— он сжал руки.

— А я уже сказала,— произнесла Анастасия Сергеевна и поднялась, точно давая понять гостям, что все слова произнесены и остается лишь проститься.— Это же так понятно: нельзя войти в этот дом, не решившись...

Настенька стояла, Рудкевич и Бекас продолжали сидеть.

Прошла минута, потом еще и еще. Настенька молча стояла над гостями, словно говорила: «Это же в конце концов неприлично...» Ее молчаливому укору первым внял Рудкевич. Он встал и тихо пошел к окну, где лежало письмо, однако письма не тронул.

— Анастасия Сергеевна, я ведь ваш пастырь и не могу желать вам худа. Вы идете по грани. Один неосторожный шаг, и вы...

— Как вы можете так говорить со мной? — она решительно шагнула к входной двери, будто предлагая гостям не мешкать и тотчас покинуть дом.— В конце кон-

пов я требую...— ее глаза неестественно расширились.— Я призову мужа.

Старший Жилль взял с подоконника письмо.

— Значит... призову мужа! Ну, гляди, агнец милый! Крепостную стену прошибу, а тебя достану.

Но Рудкевич уже поднял ладонь, кроткую и храбрую.

— Андрей Андреевич, это еще что такое? — воскликнул Рудкевич, его грозно воздетая рука была сейчас над лысиной Бекаса.— По праву пастыря я запрещаю...

Бекас бросился вон из дома; за первой дверью хлопнула вторая, потом третья хлопнула и будто пресекла все звуки — пауза была долгой.

— У меня один выход: поговорить с Николаем Алексеевичем, — произнес наконец Рудкевич, прислушиваясь к затихающему скрипу рессор — Бекас покидал Остоженку.— Он человек разумный, поймет меня. Не может не понять, — заключил он почти горячо.

«Он и в самом деле отважится поговорить с Николаем, — подумала Анастасия Сергеевна.— Отважится и, чего доброго, найдет общий язык. У него есть нечто такое, что может понравиться Николаю, — допустила она на миг и вдруг увидела Рудкевича сидящим в их доме за ломберным столиком и играющим с Репниным в карты. Увидела и поймала себя на мысли, что ей приятно об этом думать.— Его покладистость, его юмор в конце концов, такой щедрый и такой домашний, весь он, простой и уютный, очень пришелся бы...— думала она.— Вот этой простоты и душевности как раз и недостает рациональным Репниным».

— Завтра я буду в Наркоминделе и, пожалуй, не миную Николая Алексеевича, — сказал Рудкевич все так же простосердечно, целуя руку Настеньке, а она подумала, что слишком далеко залетела в мыслях своих: все многократно сложнее у Рудкевича и, наверно, не так бескорыстно.

Настенька стояла у окна и смотрела на улицу. Рудкевич перебрался через дорогу и вошел в тень. Анастасия Сергеевна могла его видеть, он шел медленно, чуть склонив голову. Настеньке очень хотелось верить, что весь его вид, выражающий сейчас и печаль и трудную мысль, не нангран. А если это так, то какое отношение эта печаль и раздумье это имеют к желанию Рудкевича видеть Репнина, желанию, которое у настоятеля храма

святой Екатерины было так определено, что он не оставился даже перед тем, чтобы осечь Бекаса?

Она вышла на веранду. За столом, накрытым клеенкой, сидел Илья и дочитывал исторический фолиант. Откуда он взялся, Илья? Она хорошо знает: в доме его не было.

Вспомнился случай, происшедший накануне. Настенька возвращалась домой от портного. Сверток с меховой шубкой был хоть и невелик, но весом. На Пречистенском за нею увязался некто во френче. «Сделайте милость, разрешите помочь?» Нелегко отказать, если человек хочет сделать доброе. «Нет, спасибо». Человек потянулся к свертку. «Вы меня обидите — разрешите». Настенька оглянулась: не такая уж она трусиха, но тут стало страшно. «Я сказала: спасибо». Однако человек изловчился и взял сверток. «Не надо, — успела произнести Настенька. — В этом нет нужды...» — «Действительно нет нужды, Анастасия Сергеевна!» Она оглянулась: Илья. «Простите, ради бога...» — произнес человек во френче, и его след простыл. «Господи, откуда вы взялись?» — взмолилась она, обращаясь к Илье — она была без ума от радости. А он шел рядом, сдерживая хрипы, больше обычного желтый, с припухшим лицом, и, казалось, был необыкновенно счастлив. «Нет, скажите, откуда вас бог послал?» — допытывалась она. «Послал», — отвечал он, отводя счастливые глаза. А она искоса смотрела на него, смятенного, неожиданно потерявшегося, думала: «Что-то происходит в его сердце такое, что он и сам понять не может... Нет, в самом деле: как он очутился рядом?»

Вот и сейчас она не могла понять: откуда он взялся и был ли он в доме, когда явился со своей коллегией Рудкевич, а если был, то что это все значит?..

## 95

Ранним вечером поезд подходил к Вологде.

Они смотрели, как солнце катится где-то рядом (протяни руку — достанешь) по зеленым увалам и полям, по зубчатой кромке соснового бора, вздрагивая и подпрыгивая на колдобинах, точно большой детский мяч, ярко-алый, блестящий. Настенька смотрела на Репнина. Смотрела и думала, как бесконечно дороги ей и эта вмятинка на подбородке, и шероховатость под нижней гу-

бой, и мочки ушей, сейчас нежно-розовые, и седины на висках, самые перые... Они появились уже этой весной, а может, даже летом. И вновь она поймала себя на мысли: она не должна ничего скрывать. До сих пор казалось, что это его ранит, быть может, больно ранит, и лучше все удары принять на себя. С другой стороны, в неравном единоборстве она была стороной слабой, и кто знает, как обернется все, если она будет продолжать оставаться одна... Прежде огонь бушевал где-то в стороне, сейчас перенесся к ней в дом. Если они отважились переступить порог дома, очевидно, не остановятся и перед большим. Фраза старшего Жилля о крепостной стене предвещала это.

— Ты что так посуровела? — он наклонился к ней и щекой тронул плечо.

— Нет... ничего.

Она подумала: сказать или не сказать сейчас? Как ни быстра она была во всем, она не любила опрометчивых решений. Сказать или все-таки не говорить? Если сказать, то не сейчас, а там, в деревянной Вологде, в тени берез, на пологих берегах равнинной речки или в сухих и светлых комнатках их деревянного особняка, из верхних окон которого будут видны кремль и его звонница. У нее будет время сказать об этом.

— Николай... — по тому, как было произнесено это слово, он понял, что за ним, за этим словом, последует нечто значительное. — У тебя был Рудкевич?

Он посмотрел на нее так, будто стоял далеко и должен был напрячь зрение, чтобы рассмотреть.

— Был.

— Ты недоволен? — она заметила, как помрачнел Репнин.

— Тем, что ты об этом спрашиваешь... недоволен?

— Нет, тем, что он у тебя был.

Он улыбнулся, он не хотел огорчать ее.

— По-моему, ты дала ему повод к этому посещению.

— Лучше, если бы этого повода не было?

— Лучше.

— Почему? — она засмеялась, смех был сейчас спасительным, без него ей трудно было бы спросить об этом.

— Ты же знаешь, что Рудкевич дипломат и все, что он делает, надо рассматривать через это стеклышко.



Ей стоило усилий не спросить мужа: «А коли он дипломат, что ему нужно от Репниных?» Но она остановила себя. Остановила, а сама подумала: «Да так ли это страшно, как думает Николай? И какая в конце концов беда, что Рудкевич увидел лишний раз Николая — они и у Губиных беседовали славно».

А Репнин в это время думал о Рудкевиче: «Он дипломат поистине божьей милостью, кладезь ума и знаний. Маска, которую он обрел, действительна. Маска! Локкарт надел маску дипломата, Рудкевич — иную маску, чтобы за нею скрыть дипломата. Но вот что интересно: оказывается, нет маски, которая годилась бы на все времена. И маски устаревают: октябрьской волной выбросило питерских католиков на камни вместе с их настоятелем. Рудкевичу неуютно на этих камнях окаянных с иностранцами и аристократами — паства католического собора сплошь из них — русского мужика, надо отдать должное его упорству, католичество не увлекло. Хочешь не хочешь, а подумаешь, как раздвинуть нещедрые пределы камней и узнать, что делается в мире...»

Опять поплыли поля. Солнце катилось теперь по их неровной глади, точно ядро, пущенное по поверхности реки, — там, где оно задевало воду, возникала белая черточка.

— Ты полагаешь, Николай, что Рудкевич знал о поездке в Вологду?

— Я так думаю.

— Но может быть, то, что ты сказал ему, скажешь мне? — слукавила она. — У твоей миссии есть цель... какая?

— Убедить дипломатов переехать в Москву.

Она была осведомлена о том, что он делал, и любила говорить об этом.

— Ты рассчитываешь на успех?

Это его развеселило.

— Если бы обо всех поражениях знали заранее, не было бы баталлий.

Она рассмеялась.

— Кстати, кто нас в Вологде встретит? Ты говорил, Кедров.

В Москве он действительно как-то рассказывал о Кедрове. Накануне Чичерин разговаривал с Кедровым по прямому проводу, и тот обещал всяческое содействие.

«Послушай, Николай, ты знаком с Михаилом Сергеевичем? — спросил Чичерин Репнина. — Интеллигент, которого к революции призвала... совестливость. Да, не улыбайся. Это не так мало». Вернувшись домой, Репнин рассказал Анастасии Сергеевне о разговоре с Чичериним. «Так и сказал, совестливость?» — «Представь, так и сказал!»

Она свела брови в раздумье.

— Кто едет в Вологду, кроме тебя? — она решила задать ему все вопросы.

— Радек, впрочем, он придет позже, — ответил Репнин, выдержав паузу.

С тех пор как Радек был назначен заместителем Чичерина, Репнин видел его в Наркоминделе, часто и не однажды разговаривал с ним. Маленький, с крупной и круглой головой, он был ершист, как показалось Репнину, в слове, во взгляде, в манере держаться — достоинство, и, наверно, немалое для полемического бойца, но отнюдь не для дипломата. Отдавая должное данным Радека, дипломаты заметно сторонились его. Этому в известной мере способствовала слава, упрочившаяся за Радеком. Утверждали, что дипломат, беседующий с Радеком, подвергался двойной атаке: вначале с глазу на глаз, затем анонимно со страниц большой столичной газеты. Внешне, как полагал Репнин, двойной удар, быть может, выглядит и эффектно, но только внешне — реальная польза была много меньше потерь. Искусство инспирации, на взгляд Репнина, предмет более сложный и тонкий. Наверно, есть обстоятельства и в дипломатии, когда риск возможен, но меньше всего именем своим. Из опыта Николай Алексеевич знает, что, как ни одарен дипломат, его качеств может оказаться недостаточно, если он позволил небрежно обойтись со своим именем. Разумеется, имя твоё — ты сам. Но оно существует еще и независимо от тебя и требует внимания, какого сам ты, быть может, и не требуешь.

96

Поезд пришел в Вологду, когда на бледно-зеленом северном небе зажглись белые звезды.

Репнин видел, как по перрону, стараясь не отстать от вагона, шагает человек в кожаном картузе. Ему нетруд-

но было «идти в ногу» с поездом — человек был высок и шаги его широки. И весь он казался неторопливо-сосредоточенным. Только темные глаза и борода выражали нетерпение.

— Не Кедров ли? — спросила Настенька.

— По-моему, он.

Они покинули вагон, и человек в кожаном картузе решительно шагнул к ним.

— Рад приветствовать вас в древней Вологде, — он улыбнулся, и Репнин увидел, что борода человека, густо-каштановая, с едва заметной бороздкой выцветших волос, и черная кожа, в которую он был затянут с ног до головы, предназначались единственно для того, чтобы сделать человека старше его лет. — По долгу хозяина, признаюсь, очень приятно, хочу пригласить вас к себе. Кстати, дом мой в двух шагах отсюда, — Кедров указал взглядом на рельсы.

Дом Кедрова действительно был в двух шагах отсюда — он жил в вагоне. Они минули бронепоезд, темно-зеленый корпус которого нечетко обозначался в полумгле, потом платформу с походной кухней, над которой вился веселый дымок, и в тени пристанционных складов увидели пассажирский вагон.

— Кто... на путях? — послышался крепкий басок, и из тьмы шагнул, широко переступив через рельс, матрос с винтовкой.

В вагоне, куда привел Кедров Репниных, было полутемно, неярко, вполне накала горела лампочка, где-то в глубине вагона, за перегородками, оклеенными дерматином, гудел голос:

— Котлас... Котлас... Вологда на проводе...

Кедров провел гостей в большую комнату, которую называл кают-компанией. Посреди комнаты у стола, застланного картой, склонился человек в офицерском френче. Заслышав шаги, он поднялся и бросил на вошедших взгляд, выражающий и пристальное внимание и радушие. С быстротой и четкостью профессионального военного он вытянулся, отчего полноватая фигура стала почти стройной, и склонил голову — впрочем, как нетрудно было заметить, человек встревожился, увидев среди вошедших в вагон женщину.

— Северцев, — назвалса он, едва слышно пристукнув каблуками.

— Вы как-то мне говорили, Петр Николаевич,— заметил Кедров, обращаясь к человеку в офицерском френче,— что истинный военный не воспринимает приказание как волю другого лица — для него это всегда приказ сердца...

— Да, говорил,— согласился человек, заметно смутившись.

— Тем большее право я имею на следующее приказание: пока мы с Николаем Алексеевичем будем уточнять диспозицию, все заботы об Анастасии Сергеевне на вас. Повторите приказание!

Человек во френче улыбнулся.

Настенька пересела в кресло, стоящее у стола, за которым работал Северцев, будто поощряя к выполнению приказания. Но Северцев, казалось, бездействовал. Настенька видела, как в этой тишине медленно багровеет и покрывается испариной его лицо.

— Хотите чаю? — вдруг предложил он с видом человека, которого осенило.— Такого вы еще не пили.

Через десять минут спасительный чай уже дымился перед ними, но и он был не всесилен — Настенька явно повергла Северцева в смущение, каждое новое слово давалось ему с трудом.

— Расскажите мне о Питере,— попросил ее Северцев.— Я не был там с начала войны.

Настенька начала говорить: «Питер хорош, особенно под снегом, тогда он молодеет и точно сбрасывает с себя унылое платье войны...» — и внимательно наблюдала за Северцевым. Сколько ему могло быть лет? Сорок, быть может, сорок два, лицо хранит следы пережитого. Эта привычка нервно-иронически смыкать губы так, что обостряется подбородок и кожа стягивается в углах рта. Наверно, прошел войну по ее самой огневой тропе и не однажды видел смерть. Настенька продолжала говорить: «Невский пуст, и гофрированное железо бережет его витрины, как в престольные праздники...» — а сама все чуть-чуть прислушивалась к разговору, который шел сейчас за перегородкой.

— Они держатся одной шеренгой и поместились на одной улице,— заметил Кедров.— Только подумать, посольский квартал в Вологде! Там есть и свой замыкающий и свой головной.

— Френсис? — спросил Репнин.

— Да, на правах дуайена, но действовать через него — значит положить все яйца в одну корзину.

— Нуланс и Карлотти? — спросил Репнин.

— Именно, — ответил Кедров. — И не только: весь посольский квартал, всю Дворянскую...

Наступила пауза, Настенька слышала, как стучат вагоны на соседних путях.

— Через всех действовать? — спросил Репнин.

— Да, так кажется мне, — ответил Кедров. — Кстати, завтра все они будут в «Золотом якоре».

Настенька обратила взгляд на своего собеседника и точно столкнулась с его глазами, строго-внимательными.

— У вас чай остыл, — сказал он. — Хотите горячего?

Они ехали по городу втроем. Кедров сидел с шофером, Настенька с Репниным — позади.

— Когда мы уходили, Северцев не смотрел на меня, — шепнул он ей. — Ты дала ему повод... надеяться?

Она рассмеялась.

— Интересно жить, даже когда тебе говорят одно и то же.

Солнце прощалось с Вологдой на куполах собора — они тускло пламенели. Настенька вспомнила слова Ильи: «Грозный любил Вологду». Кажется, собор построил он. Прогремели сухие доски моста, и автомобиль вошел на Дворянскую, миновав монастырь. Пошли особняки — деревянный проспект. Окна итальянского посольства распахнуты, но за окнами темно, французский особняк освещен, античные колонны дома, в котором расположились американцы, в свете закатного солнца казались мраморными. Где-то в глубине двора гремело сухое дерево — американцы играли в городки.

— Однако дипломаты достаточно обжили Вологду, — заметил Репнин. — Они могут и не предпочесть ей Москву.

— За спиной Москвы нет дверей, — возразил Кедров.

— А Вологды?

— Есть, — ответил Кедров после некоторого раздумья. — Даже две, что в данном случае важно: Мурманск и Архангельск.

Солнце уже село, когда автомобиль остановился у красного крыльца дома на берегу Вологды.

Окна были распахнуты, по комнатам гулял ветер — холодноватый, пахнувший речным песком («Река рядом», — подумала Настенька), — и сушил только что вымытые полы. Появилась девушка, неожиданно черноволосая (а казалось, в Вологде все женщины с льняными волосами); с полными ведрами она шла от Вологды.

— Как тебя величают, красавица? — спросила Настенька и взяла из ее рук ведра, нелегко было нести их в гору.

— Мелентьева я, дочка Осипа Поликарповича, а зовут Ольгой, — говорок девушки был особым — приятно грудным и окующим.

Дом выглядел новым. Как тут же рассказала Ольга, его выстроил местный мукомол для дочери, но та предпочла особый дом над рекой жилище свекра. Мукомол и теперь жил в Вологде и время от времени являлся сюда, чтобы взглянуть на свой дом.

— Он и завтра придет, — сказала Ольга, смеясь. — Но вы не бойтесь его. Походит, походит и уйдет.

Пока Репнин продолжал разговор с Кедровым, Настенька осмотрела новое жилище. В доме было все, что полагается для особняка, построенного безбедно: гостиная с окнами на улицу, столовая с окнами на реку, кабинет, спальня и даже детская, они смотрели в старый и разросшийся сад — дом как бы пристраивался к саду.

— Ну что ж, — сказал Кедров задумчиво, прощаясь с Репнинными. — «Золотой якорь» не поле боя, но, может быть, первую диспозицию надо сделать там...

...Они долго сидели на веранде, выходящей на Вологду. Это ощущение светлого ночного неба, деревянного города и особой студености, свойственной северорусскому лету, было необыкновенно радостным, хотя Настенька и казалась печальной — разговор мужа с Кедровым не шел у нее из головы.

— Ты что? — спросил Репнин.

Она точно очнулась.

— Я все думаю, — сказала она, не опуская глаз. — Не очень-то приятно сидеть на якоре, даже если он золотой.

Он приблизился к ней. Сразу ушло ощущение студеной первозданности и необжитости нового жилья. Казалось, простыни, что так долго берегли и холод и свежесть, разом стали горячими и знойным сделалось небо,

не ночное, и хотелось закрыть все окна и погрузиться во тьму, но уже не было сил дотянуться до них.

Много позже, когда они затихли в легкой и радостной полудреме, он вдруг шепнул:

— Мне кажется, кто-то ходит под окном.

— Кто?

— По-моему... Северцев, — улыбнулся он.

Она ткнулась лицом в его грудь и уснула, добрая.

## 97

За полчаса до отъезда в «Золотой якорь» Репнин сказал:

— Кстати, ты заметила, это будет первый дипломатический прием, на котором мы появимся вместе.

Она рассмеялась:

— Думаешь, это меня повергнет в страх? Ничуть!

— По крайней мере будь рядом со мной.

Она стояла неодетая, и между ней и садом была лишь тонкая, вздуваемая ветром пленка тюля. Свет обтекал ее. То ли от сознания силы, то ли из презрения к предрассудкам она не стеснялась своего тела. Ей доставляло удовольствие вот так обнажаться перед мужем. Он любил наблюдать ее в такую минуту: чтобы озорно стучали босые ноги по полу, золотились плечи и чтобы она, как это бывало в последнюю минуту сборов, отчаянно клала, хлопала, скрипела бесчисленными застежками, пряжками и поясами. В этих звуках было ощущение твердой прелести бытия и, может быть, молодости, которая вопреки прибывающим годам решительно отказывалась убывать.

Кстати, каким человеком был ее муж? От того первого вечера на Кирочной осталось нечто смутное: эта комната — сейф и рыжие руки человека, лежащие на исчерченном ватмане. Уже тогда Репнин смотрел на него как на мужа Настеньки и, наверно, был пристрастен. Однако, если бы Николай Алексеевич воспринял его независимо от нее, наверно бы, открыл достоинства, о существовании которых сейчас и не подозревает. «Я был тебе хорошим мужем!» — как-то она невзначай повторила фразу Жилля. Повторила и испугалась. Кем был он для нее и какво истинное значение слов, которые она припомнила?

Репнины приехали в «Золотой якорь» много позже того, как собрались гости. Николай Алексеевич полагал, что имеет право на такую вольность — психологически опоздание иногда ставит тебя в более выгодное положение перед тем, кто пришел вовремя. Он не думал, что сегодня сумеет существенно выяснить позицию дипломатов, но установить контакт, условиться о встрече и как-то подготовить ее он определенно сумеет. Опыт подсказывал, что в данном случае постепенное наращивание сил всегда предпочтительнее внезапной атаки.

Гости еще были у стола (накрывать стол «а-ля фуршет» было так же модно, как носить брюки галифе — прекрасная Франция и здесь собирала своеобразную дань), но где-то в боковых залах уже начались танцы.

Духовой оркестр гремел так, что вздрагивали и распались завидным звоном люстры.

Репнин видел, как наполнились горячим светом глаза жены: как бы она была благодарна ему, если бы, презрев все условности, он пригласил ее на вальс.

— Не вздумай уходить. По-моему, дипломаты с женами.

Лицо ее не выразило воодушевления.

И вновь, как в тот раз, в салтыковском доме с Бьюкеном, тревожный ветер проник в его сердце: а все-таки он для них отступник. И впервые Репнин подумал, что ставит под удар не только себя, но и ее, быть может, ее больше, чем себя: кто знает, как поведут себя с нею жены дипломатов. Опыт подсказывал Николаю Алексеевичу: они могут пойти дальше мужей и в приязни и в неприязни. Может быть, поэтому соблюдение всех условностей было бы сегодня излишним: пусть она ведет себя как хочет.

Репниных встретил Кедров.

— Ну что ж, не будем медлить,— сказал он, поздоровавшись.— Я вас представлю Нулансу, как только он расстанется с японцем.— Кедров указал на дальний угол, где француз беседовал с японским послом.

— Он знает обо мне?

— Да, конечно.

— Разрешите... падеспань.

Репнин едва не вздрогнул: Северцев.

Настенька оглянулась на мужа.



— Сочту за честь,— молвил Репнин, не поднимая глаз.

Когда много позже он увидел бордовое платье жены, развеваемое танцем, ему показалось, что ей очень хорошо в эту минуту.

Она вернулась, как только кончился танец, и даже попробовала коснуться щекой его руки, а потом вдруг произнесла:

— Северцев сказал, у него мать в Кинешме.

— Он был сегодня словоохотлив, если решился на такое признание,— улыбнулся Репнин.

— Разрешите... на краковяк.

Репнин увидел только сапоги Северцева, они были сегодня надраены так, как не драились, наверно, от сотворения мира.

— Пожалуйста,— произнес Репнин по инерции и, увидев Кедрова, который шел к нему (очевидно, Кедров хотел представить Репнину Нулансу сейчас), добавил: — И последующие два танца. Я буду занят с полчаса.

— Да, разумеется, Николай Алексеевич,— подхватил Северцев, осмелев, и даже улыбнулся.

И Настенька улыбнулась: ее словно устраивал такой оборот дела.

И вновь Репнин увидел, как потекло платье Настеньки, и стало не по себе от сознания того, что ей может быть хорошо и без него.

А Нуланс уже быстро шел к нему, и казалось, брюшко француза способно все смести на своем пути.

— Репнин? — произнес он и задумался, скрестив свои смуглые руки на животе.— По-моему, я вас видел на Французской набережной.

Нуланс, как хорошо помнит Николай Алексеевич, не мог видеть Репнина на набережной (Французская набережная была синонимом французского посольства), однако в словах Нуланса был свой смысл.

— Я был на набережной в день приезда президента Пуанкаре,— сказал Репнин.

— А позже? — спросил Нуланс.

— Позже — никогда.

— Разве?

Они медленно шли вдоль окон, и платье Настеньки стояло у Репнина в глазах, будто бы никто и не танцевал в этом зале, кроме нее и Северцева.

— Значит... если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе,— взглянул вдруг своими круглыми глазами Нуланс.

Репнин не ожидал, что французский посол так безбоязненно приблизится к огню, который бушевал между ними. Близость огня Репнину показалась опасной, и он предпочел отступить.

— Собственно, кто Магомет и кто гора? — спросил он, улыбаясь.

— Магомет, Магомет,— вдруг задумчиво произнес Нуланс и почти сокровенным шепотом добавил: — В наше время и горы не стоят на месте.

— Нет, мне решительно необходимо установить: кто гора и кто Магомет? — рассмеялся Репнин.

— У нас еще будет время решить эту задачу,— заметил Нуланс и, обратившись к жене, которая сейчас медленно шла к нему, поддерживая ладонью обильные желто-седые волосы, добавил: — Я хочу тебе представить господина Репнина,— Нуланс запнулся не без умысла: посол хотел дать понять Репнину, что испытывает затруднение в попытке как-то охарактеризовать его.— Он был на Французской набережной во время визита президента Пуанкаре,— добавил посол тоном, в котором иронический подтекст был едва ли не обнажен.

Блеклые уста мадам Нуланс на какой-то миг оставались сомкнутыми — ей явно надо было больше времени на раздумье, чем мужу. Все-таки они были очень похожи, месть и мадам Нуланс. Если верно, что со временем супруги становятся похожи друг на друга — чем больше лет, тем больше сходства,— то в данном случае счастливое супружество четы Нуланс длилось века — за десятилетия такой степени сходства достичь невозможно.

— О, мы не теряем надежды принять вас вновь на Французской набережной в Петрограде,— наконец произнесла супруга посла бойко, не очень сообразив, с кем имеет дело.

Круглые глаза Нуланса мученически расширились. Фраза жены явно не входила в его расчеты.

— Но прежде чем мы примем вас на набережной, мы рады будем видеть вас в Вологде,— сказал он, не уточнив, где и когда хочет видеть Репнина.

Нет, они были очень похожи, месть и мадам Нуланс,

настолько похожи, что казалось недоразумением, что один все еще носит брюки, а другая — юбку.

— Как ваша первая акция? — спросил Кедров, когда Репнин расстался с четой Нуланс.

— Разговор едва ли не протокольный, — заметил Репнин уклончиво, ему не хотелось огорчать Кедрова.

— Без надежды на успех? — спросил Кедров; этот вопрос слишком напрашивался, чтобы не задать его.

Репнин молчал.

— Мы увидим сегодня и Френсиса? — спросил Николай Алексеевич после некоторой паузы.

— Да, разумеется. Кстати, он, кажется, повернул сюда.

Подошел человек выше среднего роста, седоусый, с бледным высоким лбом и рассеянными пристальными глазами, какие бывают у людей весьма почтенных лет. Впрочем, надо отдать должное Френсису, его глаза умели незаметно обнять весь зал и все видели.

— Репнин? Как же, слышал, и неоднократно, — он на миг умолк, и лицо изобразило озабоченность. — В одно время с вами в Лондоне работал Арчибальд Хэлл, мой школьный друг.

«Если Френсис придумал историю с этим Хэллом, то придумал хорошо, — сказал себе Николай Алексеевич. — Но к истории этой можно прибегнуть, будь она даже и мифической, только если есть необходимость, а главное, желание найти с собеседником общий язык. Тогда позиция Френсиса отлична от позиции Нуланса».

— Вот что, господин Репнин, — Френсис тронул руку Репнина как будто случайно, но в этом жесте было расположение. — Завтра вечером мы с женой будем в Осанове, — он оглянулся, будто усадьбу, которую он назвал, можно было рассмотреть не сходя с места. — Я приглашаю вас. Вы с женой?

Репнин внимательно оглядел зал, высматривая Настеньку, и едва сдержал вздох удивления: Анастасия Сергеевна быстро шла к нему.

— Я хочу тебе представить, душа моя, американского посла господина Френсиса, — сказал Репнин и протянул жене руку, точно желая помочь преодолеть неожиданное возникшее на пути мостик. — Господин посол просит быть у него завтра за городом, — он продолжал удерживать

живать ее руку, путь через мостик был небезопасен.— Мы будем, не правда ли?

— Да, разумеется,— сказала Настенька, не очень понимая мужа: она была взволнована не на шутку.— А господин посол один в Вологде?

— Нет, почему же? С женой,— сказал Репнин и раскланялся.

— Северцев сказал, что знаком с Маркиным,— произнесла она, как только они остались одни.

Репнин был удивлен: это имя прозвучало для него неожиданно.

— Да, Северцев и Маркин друзья. Северцев знал его по Кронштадту.

— И знает, где он теперь? — Репнин так и сказал: «он».

— На Волге, в военной флотилии, сражаются, и... отчаянно.

Репнин быстро взглянул на нее и уловил в глазах нечто похожее на восхищение. «Что-то она ищет в Маркине такое, чего недостает ей в новой жизни», — не мог не подумать Николай Алексеевич.

## 98

Сизые купола вологодских церквей еще затягивал предутренний туман, когда Настенька проснулась. Сад был полон холодной влаги. По мосту катил тарантас, и крепкие копыта отсчитывали сухие доски. Пахло березовой листвой, сухой и пыльной, вчера было и в Вологде знойно. Настенька заглянула во флигелек — Ольга спала.

Настенька взяла ведра и пошла к реке. На ней было ситцевое платье, в котором она любила работать по дому, и туфли на босу ногу. Тропка едва прорезала высокую траву. Трава была полна росы, холодные струи стекали по ногам и копились в туфлях. Не выпуская из рук ведер, Настенька сбросила туфли и вошла в воду. Она уже наполнила оба ведра, но продолжала стоять в воде — не хотелось выходить. Вода обтекала ноги, в ней была и студеность и мягкость северного лета.

Настенька поднялась с полными ведрами в дом, принесла из флигелька половую тряпку и, подоткнув юбку, как делала это, когда жила с отцом на юге, принялась

мыть пол. Она мыла его в охоту, не скупясь, щедро расходуя воду, смывая вновь и вновь, круто отжимая тряпку, вытирая пол досуха. Она мыла широкими взмахами, отступая назад, не думая о том, как много вымыла и сколько еще осталось. Перевела дух, лишь когда дошла до комнаты, где спал муж. Она уже внесла в комнату воду, плеснула на пол, бросила рядом тряпку, намереваясь все теми же широкими взмахами сильных рук освежить пол, но увидела Репнина.

Он лежал, разбросав руки, и легкая ткань простыни укрывала его по пояс. Настенька и прежде любила смотреть, как он спит. Ей всегда казалось, что в нем жило что-то непобедимо молодое — сколько ни вслушивайся, не уловишь дыхания, так человек спит только в молодости. И Настеньке почудилось, что все люди, сколько их есть на белом свете, разделены на тех, кто сберег на всю жизнь молодость, и на тех, кого она покинула еще в детстве, а может, и никогда к ним не приходила. С Николаем молодость еще не рассталась, а к Шарлю, быть может, никогда не приходила. К Шарлю? Господи, как давно это было!

Настеньке показалось почти чудом, что когда-то (когда-то? Нет, это не то слово! Совсем недавно) у нее был муж со странным нерусским именем Шарль и она радовалась его радостями, тосковала его тоской, была с ним близка и (это совсем кажется дивом) испытывала радость от встречи с ним. Встречи? Господи, да были ли они, встречи с этим мужчиной, теперь чужим и призрачным, или привиделись ей? Нет, она помнит Шарля, помнит рыжие усы, которые он так холил, белые руки, округлые, как у женщины, плечи, мускулистый живот, но это была не она, нет, ее там не было, все, что когда-то случилось, случилось не с ней, да и, откровенно говоря, она не очень помнит, было ли в их отношениях нечто такое, что связывает мужчину и женщину.

И Настенька взглянула на Репнина. Солнце еще лежало за вологодскими лесами и увалами, и купола вологодских храмов были свинцово-синими, но над рекой уже вздымался туман, клубясь и растекаясь. И Настенька подумала, что человек, который лежит сейчас перед ней, друг ее жизни, с которым идти и идти до скончания дней своих, самый дорогой для нее человек на свете.

Настенька сдвинула оконные шторы; солнце, так и не

поднявшись над Вологдой, впервые с тех пор как стоит земля, уходило на восток, на восток... Настенька сбросила с себя платье, подошла к кровати.

— Какая ты холодная,— шепнул он.

У нее горели лицо, шея, грудь, но руки еще хранили устойчивую прохладу реки. Она приникла к нему, и тепло его тела обволокло ее. Нет, солнцу и в самом деле обратилось вспять — оно сейчас шло тропой, которой с сотворения мира не ходило.

## 99

Автомобиль выехал из города, а Репнины увидели впереди на холме Осаново.

— Наверно, верст пять,— сказал Репнин шоферу, рассматривая холм, который сделали выше старые липы и церковка.

— Около того,— ответил шофер сдержанно.

Дорога некруто шла в гору, и поля, по-летнему ярко-зеленые, ухоженные, с островками рощ и садов, высветлило солнце. В церковке на пологом холме звонили к вечерне, и округло-мягкие звуки колокольного звона катились по полям, взбираясь на невысокие холмы, скатываясь в лощины. Машина прошла Нижнее Осаново — двухэтажный дом, окруженный садами и купами уже отцветшей сирени, осталась в стороне — и начала взбираться на холм: Верхнее Осаново было там.

— Как просто все вокруг, а глаз не оторвешь,— произнесла Настенька.— Вот оно, русское поле.

— Русское поле,— задумчиво сказал Репнин.— Поле... русское,— повторил он, а сам подумал: «Кто знает, что происходило на осановском холме все эти месяцы. Быть может, здесь именно и сооружался заговор против России».

И вновь холодная рука коснулась его сердца, и Репнин подумал: «Глупо, конечно, но кажется, будто эти березы, и пологий скат холма, и речка под холмом, что были невольными очевидцами событий, изменили сути своей».

У него было то же состояние, когда часом позже он шел с Френсисом боковой аллеей, огибающей верхнеосановскую усадьбу, к деревянному домику над речкой. «Уж этот дом видел все»,— думал Репнин. Домик смахи-

вал на лесную сторожку. Два окна смотрели на аллею, два на другую сторону, в поле: холмистое, убранное рощами и садами, оно было видно далеко отсюда.

По тому, как Френсис ткнул дверь, как наклонился, входя в комнату, и, протянув руку, подвинул стул, приглашая Репнина сесть, тот понял: уединенная осановская обитель была Френсису известна и прежде. Кстати, обитель была убрана умелой рукой: комнату обставили резной мебелью простого, но приятного северорусского рисунка. На самодельной полке разместилась деревянная посуда — разумеется, декоративная: плоские блюда со жбанками, чаши с ковшками, все емкое, громоздко большое, добротное. Но Френсис не воспользовался ни ковшом, ни жбаном. Он открыл дверцу полированного шкафа-теремка и достал оттуда бутылку канадского виски «Верри бест», блюдо с сэндвичами (копченая колбаса не стареет), поднос с рюмками — посол непредусмотрительно задержал руку с подносом над столом, и близко поставленные друг к другу рюмки обнаружили, к неудовольствию Френсиса, как дрожит рука. Репнин знал: алкоголь был недугом американца. В Питере посол пил много, однако в отличие от прочих подверженных влиянию зеленого змия хмелел не сразу. Быть может, дрожащие руки единственный признак, выдававший посла.

— Мне сказали, что вы школьный друг министра Чичерина? — спросил посол по-английски, поспешно опустив поднос с рюмками на стол и загасив звон. — Школьный друг?

— Не в меньшей степени, чем Арчибальд Хэлл, которого вы изволили вспомнить вчера, — заметил Репнин в том полушутливом тоне, который делал колкую фразу не обидной для Френсиса.

Посол не смутился, лишь испытующе посмотрел на Репнина.

— Нет, я просто хочу сказать: не является ли эта миссия проявлением приязни министра, — он помолчал, наблюдая, как воспримет его слова Репнин. — В нашем мире, как вы знаете... — он кивнул на окно, из которого была видна темная туча над лесом — собирался дождь. — В нашем мире это не так предосудительно, как здесь. Там этим гордятся.

Репнин улыбнулся — он полагал: шутка иногда помогает овладеть беседой.

— Если это полезно делу, очевидно, проявлением личной приязни...

— Не затем ли вы приехали в Вологду, чтобы выяснить, как долго дипломаты предполагают оставаться здесь и не намерены ли они...— Френсис умолк, глядя на Репнина, ему была интересна реакция собеседника.

— Да,— сказал Репнин.

— И не намерены ли они переехать в Москву,— закончил свою сложную фразу Френсис.

— Именно это меня и интересует,— сказал Репнин.

Посол встал.

— Я не хочу вас огорчать, но... хотите знать мое мнение?

— Разумеется.

— Это зависит не от нас и даже не от наших правил,— поспешно закончил Френсис.

— Тогда от кого же?

Френсис помедлил.

— От правительства, которое вы имеете честь представлять. От Советов.

Репнин пересек комнату по диагонали — деревянные полы скрипели: три шага — один угол, три шага — другой.

— Я вас не понимаю, господин посол.

Френсис протянул руку к бутылке с канадским виски, налил Репнину и себе; он невысоко поднял рюмку, выпил и быстро взял свободной рукой бутылку, точно торопя Репнина пригубить и свою рюмку, но Николай Алексеевич не спешил.

— Ваше правительство должно недвусмысленно показать, что оно видит в Германии... общего врага, общего...— сказал Френсис.

Репнин все еще держал рюмку с виски, вино слабо плеснулось

— Брест?

Френсис поставил бутылку на поднос, встал, рюмка с виски была зажата в его бледной руке, казалось, прежде чем выпить вино, он хотел согреть его, но рука не давала тепла.

— Если говорить откровенно...

— Да, господин посол.

Френсис неожиданно протянул руку, чокнулся и единым духом выпил вторую рюмку.



— Я не верю, что ваше правительство расторгнет сейчас Брестский договор, да сегодня это уже и не имеет для союзников того значения... не имеет.

Репнин пригубил вино и поставил рюмку на поднос.

— Тогда в чем дело?

— В простом доказательстве лояльности, господин Репнин.

— То есть?

Френсис указал Николаю Алексеевичу на стул — американскому послу не очень хотелось продолжать разговор, глядя на своего русского собеседника снизу вверх — он не хотел давать Репнину и этого преимущества. Репнин сел.

— Я элементарно осведомлен о том, из кого состоит нынешнее русское правительство. Простите меня, но оно только по официальному титулу рабоче-крестьянское, а по сути... Нет, честность этих людей для меня вне подозрений. Быть может, оно действительно защищает интересы рабочего и крестьянского большинства, но согласитесь...

— С чем мне надлежит согласиться, господин посол?

— Я сказал, оно только по титулу рабоче-крестьянское, а по сути... Кто такие господа Чичерин, Коллонтай, господин Ульянов, наконец, кто они такие? Изгои, разувверившиеся в способности своего класса творить историю и решившиеся его взорвать.

Посол взял поднос с рюмками, чтобы переставить на другое место, рюмки неистово зазвенели, и посол поспешно возвратил поднос на прежнее место.

— Всевышний ведет строгий учет их заслуг и великодушно воздаст им за это. Я не о том.

— Тогда о чем же, господин посол?

— Все они интеллигентные люди, больше того, все они прожили половину жизни на... Западе,— он хотел сказать «в Европе» и раздумал.— Неужели они не понимают, что нормой современной жизни, нормой прогресса является терпимость к мнению другого человека, если хотите, парламентаризм, каким он показал себя? Согласитесь, от царя к Учредительному собранию шаг вперед, и немалый, от царя к диктатуре Советов... вперед ли?

Репнину стоило усилия, чтобы не встать.

— Значит, в обмен на признание реставрация Учредительного собрания, так?

Теперь встал Френсис.

— Вы огрубili мою мысль, но суть ее вы поняли правильно.

— В обмен на признание?

Френсис тронул оконный шпингалет, створки раскрылись, пахло свежестью.

— Нет, больше. В ответ на лояльность западного мира.

Репнин встал с Френсисом рядом. Солнце зашло, туча, стоявшая над полем, прошла, не окропив поля влагой, где-то далеко-далеко за лесом, за перекатами холмистого поля куковала кукушка. Казалось, Френсис давно заметил ее голос и, затаив дыхание, отсчитывал, сколько лет она ему посулит. Иногда ветер, гуляющий над равниной, чуть-чуть задувал ее голос, но потом он возникал с новой силой — кукушка была неутомима.

— Сто двадцать? — спросил Репнин, смеясь.

Френсис улыбнулся:

— Да, около этого.

Репнину не хотелось сообщать этим словам иронического оттенка.

— Ну что ж, это помогает жить.

— Помогает, — сказал Френсис, вздохнув.

В церкви рядом ударил колокол — служба кончилась.

Они покинули дом над рекой.

— Вы полагаете, что новое Учредительное собрание, если оно будет созвано, утвердит декрет о земле? — спросил вдруг Репнин.

Френсис остановился — в аллее было сумеречно.

— Вы русский, вам лучше знать, — ответил Френсис, не глядя на Репнина.

Они пошли дальше.

— Но вопрос о возвращении дипломатов в Москву — это же не признание...

— Да, разумеется, — ответил Френсис.

— Русское правительство полагает, что пребывание дипломатов в Вологде небезопасно, и настаивает... — проговорил Репнин.

Френсис остановился; голос кукушки еще слышался, и казалось, посол намерен продолжать отсчитывать годы — сто двадцать его не устраивало.

— Вы сказали, небезопасно, — заметил наконец

Френсис.— Ну что ж, мы еще найдем возможность вернуться к этому разговору.

Когда машина покинула Осаново, Репнин нащупал в полутьме руку жены.

— Как тебе... мадам Френсис?

Настенька усмехнулась.

— Все слушала кукушку и отсчитывала годы.

Репнин погасил усмешку.

— Суеверие — признак возраста, душа моя.

Репнин умолк: разговор в уединенной осановской обители вызывал нелегкие раздумья. Конечно, Френсис недвусмысленно дал понять Репнину, что исключено не только признание, но исключен или почти исключен даже жест, который мог бы быть истолкован как выражение лояльности к новой России. Впрочем, на этот счет Репнин не питал иллюзий. У Репнина была более скромная цель: склонить дипломатов переехать из Вологды в Москву. Репнин уловил, что и Френсису эта перспектива казалась небесмысленной, по крайней мере американец хотел продолжения разговора на эту тему. Репнин решил этой же ночью вызвать к прямому проводу Чичерина — у Кедрова была такая возможность. Кстати, кто не знал, что лучшим временем для разговора с наркомом была ночь.

## 100

Репнин не застал в вагоне Кедрова. Зато там был Северцев. У него оказались дела в городе, он уже совсем собрался уходить и встретил Репнина в шинели.

— Нет, нет, Николай Алексеевич, ради бога,— произнес он, увидев Репнина, и быстро снял шинель.— Я, разумеется, никуда не поеду,— как показалось Репнину, он даже был рад проявить таким образом свое расположение.

— Я вижу, вам необходимо ехать,— заметил Репнин.— Я как-нибудь сам.

— Нет, остаюсь,— возразил он.— Все остальные дела менее важны. Кстати, хотите чаю?

Он определенно желал выказать расположение к Репнину.

Николай Алексеевич неотрывно наблюдал, как Северцев тут же вызвал дежурного и заказал Москву, как по-

звонил в город и просил сообщить Кедрову, что приехал Репнин, как зажег спиртовку и подогрел чай. «Да неужели он делает все это ради Анастасии? — подумал Репнин. — Не было бы Настеньки, не удостоился бы я такого внимания».

— Прошлый раз вы как-то неожиданно уехали из «Золотого якоря», — сказал Репнин. — Очевидно, все важное, что скапливается за день, приходит вечером? — добавил он не без умысла.

Казалось, Северцев был рад этому вопросу — очевидно, он догадывался об истинной причине репнинского великодушия, столь неожиданного и явного.

— Вслед за событием идет донесение независимо от того, когда событие происходит, — Северцев улыбнулся горько. — А иногда опережая его, — добавил он, подумав.

— Опережая? Каким образом? — Репнин хотел растормошить собеседника, вызвать на более активный разговор.

Северцев достал трубку — она и прежде помогала овладеть собой.

— Вот хотя бы сегодняшнее сообщение из Ярославля, — заметил он и кротко посмотрел на Репнина. — Там распространился слух о восстании, — он продолжал смотреть на Репнина, точно дожидаясь, какое впечатление это произведет на него. — Удар по нашим войскам из Ярославля грозил нам большими бедами.

— Потерей Вологды? — спросил Репнин осторожно, он не переоценивал своих военных познаний.

— Не только Вологды, — очень живо отозвался Северцев, его уже увлек этот разговор. — Всего русского Севера! — он зажег трубку и неторопливо выдохнул первое облачко дыма. — Представьте себе такую перспективу: отсекается Север и создается в своем роде белая республика под эгидой союзников. Нет задачи проще: ворота за рубеж рядом — до Архангельска и Мурманска рукой подать, — он шумно выдохнул следующее облачко, трубка раскурилась. — Даже дипломатов присылать не надо, они здесь.

Репнин придвинул стакан с чаем, отхлебнул — чай был крепким, очевидно, Северцев заваривал его по своему вкусу, для ночной работы только такой и годился.

— Не мог бы я задать вам еще один вопрос? — вдруг спросил Репнин, не поднимая глаз. — Примите его

как вопрос частный, мне просто хочется знать ваше мнение.

Северцев остановил трубку у самых губ — о чем еще хотел спросить Репнин?

— Да, пожалуйста.

Репнин отпил добрых полстакана чаю — он был действительно припек, этот чай, его приятно было пить.

— Вы верите в то, что нам удастся склонить дипломатов переехать в Москву?

Северцев припал к своей трубке, и клубы дыма один за другим поднялись над его головой и застлали все вокруг.

— Вот вам мое мнение, частное: все будет зависеть от того, как закончится эта авантюра в Ярославле. В какой мере им удастся организовать силы, на которые можно было бы опереться,— он на миг умолк, словно раздумывая, говорить ему то, что он хотел сказать, или повременить.— Учредительное собрание было бы для них находкой, просто находкой,— заключил он значительно.

Репнин привстал от неожиданности — все, что сейчас произнес Северцев, перекликалось с тем, что говорил Репнину сегодня Френсис.

— Вы сказали, Учредительное собрание?

Коротким жестом Северцев разгреб облако дыма, как разгребают ветви дерева.

— Я сказал, находкой...

Репнин подумал: однако этот фронтовой офицер — провидец. Но тут же прогнал эту мысль: не превозносит ли он Северцева? Но сейчас же остерег себя: а почему все-таки Репнин не признает это качество за Северцевым? Не потому ли, что?.. Нет, Настенька тут ни при чем.

— Я полагаю, что здесь не те причины...— произнес Репнин в ответ на реплику Северцева.— Не те...— повторил он, а сам подумал: не от недостатка ли мужества он отказывается признать правоту Северцева?

Вошел красноармеец-телеграфист: нарком Чичерин был на проводе.

Репнин быстро направился в соседнюю комнату, однако, прежде чем войти в нее, остановился:

— Анастасия Сергеевна говорила мне, что вы знаете Маркина?

— Да, по совместной службе в Кронштадте,— ответил Северцев.

— Какие вести от него? — спросил Репнин и открыл дверь — он требовал быстрого ответа.

— Он нашел то, что искал.

— Огонь?

— Адовый.

Репнин перешел в соседнюю комнату. Аппарат точно ждал его прихода и отозвался торопливым стуком. В этом стуке, как в говоре, была своя интонация.

— У аппарата наркоминдел Чичерин.

— У аппарата уполномоченный Наркоминдела Репнин.

Аппарат умолк на минуту, Репнин словно увидел, как Георгий Васильевич пододвинул блокнот и быстро обозначил вопросы к Репнину: первый, второй, третий... Ничего не забыть, все выяснить, хотя времени в обрез — на столе лежит неоконченное письмо Воровскому в Берлин (Вацлав Вацлавович выехал туда третьего дня по оперативным делам Наркоминдела), дипломатическая почта уходит утром.

Ч и ч е р и н. Как вас встретила Вологда? Как встретил Кедров? Кого видели из дипломатов?

Р е п н и н. Вологда и Кедров были гостеприимны. Сегодня вечером говорил с Френсисом.

Ну конечно, Георгий Васильевич отодвинул неоконченное письмо Воровскому и, быть может, перевернул страницу — она отвлекает.

Ч и ч е р и н. Не находите ли вы, что позиции Френсиса и Нуланса тождественны?

Р е п н и н. В главном — да. В деталях — нет.

Георгий Васильевич выдернул страничку с вопросами и положил перед собой, блокнот передвинул ближе — все существенное надо записать.

Ч и ч е р и н. В деталях? Каких именно? Распространяется ли это на вопрос о переезде в Москву?

Р е п н и н. Несомненно. Как мне кажется, Нуланс отвергает эту перспективу категоричнее и решительнее, чем Френсис.

Ч и ч е р и н. Тогда какова позиция Френсиса? Что в ней для нас привлекательно? Как нам надо себя вести? Коротко.

Какова же все-таки позиция Френсиса? Да есть ли разница во мнениях Нуланса и Френсиса? Очевидно, есть. Но какая? Быстро и коротко... Коротко, коротко!

Репнин. Френсис не отвергает перспективу переезда дипломатов в Москву. Возможно, из тактических соображений. В какой мере это искренне, покажут события этих дней.

Чичерин. Вы сказали, события? Что вы имеете в виду?

Ах, эта жесткая интонация разговора по прямому проводу. Аппарат выморозил все, что копилось в отношениях между людьми годы и годы. Начисто выморозил и обратил в железо, от прикосновения к которому кожа сползает с рук. Будь это даже просто разговор по телефону, появились бы и тепло, и темп, и интонация, и объемность живой речи. Нет, это только так казалось, что железный стук аппарата имеет разумную интонацию.

Репнин. Очевидно, события в Ярославле.

Аппарат сомкнул уста. Он удерживает молчание человека, который задумался в эту минуту.

Чичерин. А не полагаете ли вы, что Френсис наводит вас на ложный след, внушает неопределенные иллюзии, чтобы сковать энергию и выиграть время?

Николай Алексеевич задумался.

Репнин. Не исключен и такой вариант.

Чичерин. Как думаете вести себя? Ждать или действовать?

Репнин. Действовать.

Чичерин. Тогда как?

Если бы можно было встать и пройти из одного конца аппаратной в другой. Где-то в конце вагона настенные часы бьют одиннадцать. Наверно, и в кабинете Чичерина бьют сейчас часы, те, большие, с золотым циферблатом.

Репнин. Если события не примут неожиданного оборота, склонить вернуться в Москву всех остальных.

Чичерин. Если не примут неожиданного оборота? Ну что ж, я, пожалуй, согласен.

В заключение разговора Репнин спросил, следует ли ему ждать представителя Наркоминдела, как это предполагалось вначале.

Из ответа Чичерина Николай Алексеевич понял, что такая перспектива не исключена.

Репнин вернулся. Северцева не было. Он не дождался окончания разговора и выехал в город. Видимо, выехал поспешно. В пепельнице лежала трубка. Она продолжала дымиться.

Был первый час ночи, когда Репнин направился домой. В окнах давно погас свет. Поблескивала река. В белом июльском небе купола кремлевского собора выглядели призрачными. Далеко за городом шальные выстрелы рвали тишину.

Репнин вспомнил разговор о Маркине и вновь, как тогда в Питере, ощутил при упоминании этого имени тревогу. Он не мог до конца понять теперь, как не понял тогда, чем ей был интересен этот человек и каковы были истинные причины их добрых отношений, а может, даже дружбы. Репнин был убежден: то, что делала Настенька теперь, в сущности, было определено желанием порвать со всем тем, чем был для нее мир ее первого мужа, и вернуться к добрым берегам юности, ко всему тому, что неизменно отождествлялось с обликом и именем отца. Как ни сильно было ее чувство к Репнину, она должна была признать, что он чужд идеалам ее юности. А Маркин? В нем были и симпатичная простота и добрая лукавинка, то есть как раз то, что она привыкла видеть в отце и что она так ценила в людях.

Автомобиль пересек площадь. Дома были погружены в темноту — город видел уже третий сон. Только «Золотой якорь» бодрствовал — желтое пламя дымилось в окнах.

Репнин все чаще ловил себя на мысли: ничто так не создает ощущения полноты жизни, как семья, дом. Какое счастье видеть твою большую семью за столом. Жена. Дочь. Брат. Мир твоей крови и дыхания твоего. Что тебе ближе и тебе дороже?.. И чего недостает тебе, чтобы счастье было полным?.. Душевного покоя, даже, вернее, равновесия и работы. Да, именно работы, дипломатической, дипломатической! Так, чтобы тебе противостоял сильный противник и победа над ним дала бы удовлетворение. Бой не понарошку, бой без дураков! Противоборство интеллекта и умения, противоборство ума, черт возьми!.. Такое напряжение ума, чтобы испарина выступила на могучих лбах всех Репниных, сколько их ни было, думных дьяков, клириков, военачальников, математиков, наконец!.. И еще: постоянное ощущение, что дело, которому ты служишь, справедливо. Нет, не только тем, что представляют это дело люди честные, но и сутью, сутью своей — справедливое высшей справедливостью.



В полдень к Репнину явился Кокорев, он робко вступил в гостиную.

— Прошу вас,— Репнин указал на кресло.

В тот раз Кокорев за минуту их встречи в ночи открыл Репнину многое. Сколько же минут потребуется ему сейчас, чтобы поставить все с ног на голову?

— Курите? Прошу,— все протокольные слова, пока не было сказано ни единого человеческого.

— Благодарю вас, Николай Алексеевич,— в который раз уже Кокорев робко-почтительно повторил «Николай Алексеевич» и получил в ответ «вы», «вас», «вам». Да надо ли с ним так говорить?

— Я осведомлен о целях вашего приезда в Вологду,— начал Кокорев и неистово загремел коробком со спичками, пытаясь зажечь папиросу — столь несложная операция стала вдруг ему не под силу.— Быть может, то, что я сообщу, будет вам полезно,— добавил он почти скороговоркой.

Репнин поднялся, пошел по комнате. Когда он обернулся, увидел Кокорева со спины — сутулая спина, седины; такое впечатление, что место Кокорева занял старик. Вскоре после того как Кокорев принес томик Уитмена, Елена спрашивала отца: «Дано ли человеку право убивать другого?» Кроткая Елена, и вдруг такое. Не иначе как на мысль эту навел «Комиссар» — этим именем уже окрестили у Репниных Кокорева.

— Я вас слушаю,— произнес Репнин все тем же тоном и вновь подумал: «В самом деле, надо ли с ним так говорить? Ведь он оробел не потому, что робок,— слава богу, на фронте, наверно, бывал в переплетах. И не потому, что он, Репнин, важная птица. Просто Николай Алексеевич отец Елены».— Положение продолжает оставаться тревожным?

— Да, очень,— произнес Кокорев и придвинул стул.— Помните наш разговор о заговоре послов?

Репнин встревожился — беседа обещала вторгнуться в самую опасную сферу.

— Помню, разумеется. Но я часто вспоминаю и вашу реплику о Локкарте и Робинсе,— произнес Репнин.— Да, по дороге в Смольный, второй раз...— уточнил Николай Алексеевич. Среди явлений, которые вызвал к жизни дип-

ломатический Петроград, история Локкарта — Робинса была во многом примечательна и неизменно вызывала интерес Репнина.

— Робинс и Локкарт — это проблема любопытная! — оживленно заговорил Кокорев, чувствуя, что Репнин как бы поощрял его к разговору. — Как вы помните, они явились в Смольный в разное время: Робинс — в ноябре, по горячим следам, Локкарт — в феврале, вскоре после приезда. Да и непохожи они друг на друга. Робинс — очень широкий, земной, первозданный, хотя прикоснувшийся и к культуре и к политике, он политик отменный! Локкарт... да что говорить? Вы знаете Локкарта! Разные характеры, да и политические полюса у них разные, хотя задача одна — разведка. Я думал об этом, Николай Алексеевич, и утверждаю категорически: и у Робинса была эта задача, когда он явился в Смольный, — разведка против Советской власти, против Ленина, если хотите! Я не дипломат и не знаю, так ли себя вела дипломатия в подобных обстоятельствах прежде, но тут она нашла ход очень эффективный: в момент, когда отношения прерваны, сделать своими представителями и связными с новым правительством таких людей, как Робинс и Локкарт. Я сказал, разведка...

— Но знал ли об этом Ленин? — осторожно спросил Репнин.

Кокорев взглянул на красные руки и снял их со стола. Только сейчас Репнин заметил, что фуражка с поломанным козырьком и звездочкой, лежащая на стуле рядом, сбильно покрыта рыжей здешней пылью. Очевидно, Кокорев примчался сюда, не заезжая на квартиру, которая должна быть у Кокорева — он в Вологде недели три. Все эти дни зной, не по-северному сухой и жесткий, сменялся под Вологдой ливнями, тоже не по-северному обильными, с потоками белого огня, низвергающегося с неба, и такой же белой грохочущей воды.

— Знал ли об этом Ленин? По-моему, знал. Но поставьте себя в положение Ленина. Как вести себя с людьми, явившимися со столь своеобразной миссией? Велико искушение принять позицию лица официального. Я знаю: так бы сделали многие и были бы правы. Ленин повел себя иначе, надо очень доверять правде своей, чтобы повести себя иначе! Нельзя сказать, чтобы Ленин обратил Робинса в свою веру, да в этом, пожалуй, не было необ-

ходимости; но он противопоставил его Френсису и, пожалуй, Локкарту.

— Но вот вопрос,— система доказательств Кокорева и, пожалуй, энтузиазм увлекли Репнина,— насколько монолитен был этот союз — Робинс и Локкарт?

— По-моему, до поры до времени очень... Как правило, после каждой своей поездки в Смольный Робинс бывал у Локкарта. Допускаю, что какие-то данные, которыми обладал Робинс, были интересны и для британца. Таким образом, эти данные получал и Френсис, и через Локкарта английский коллега Френсиса Линдлей.

— А как повел себя Робинс после того, как позиция его претерпела изменения и американский посол бойкотировал его?

— Робинс послал Френсиса туда, откуда и послал нелегко возвратиться! — произнес Кокорев и покраснел: он понял, что принял тон, недопустимый в разговоре с таким собеседником, как Репнин.

— И Локкарта послал туда, откуда... затруднено возвращение? — засмеялся Николай Алексеевич — фраза Кокорева пришлась ему по душе, он воспринял ее как знак расположения Кокорева к нему, Репнину.

— Нет, только Френсиса,— лицо Кокорева все еще было малиновым.

— Вы хотите сказать: вопреки разрыву Робинса с Френсисом Локкарт сохранил отношения с американцем?

— Да, у меня есть основание утверждать это,— произнес Кокорев, пытаясь овладеть собой.— Все, что Локкарт говорил о Робинсе, а говорил он о нем много и охотно, было проникнуто симпатией к этому человеку, даже после того как Робинс порвал с Френсисом и выехал в Америку, имея на руках известный мандат Ленина, после того как он прибыл на родину и был атакован прессой, да только ли прессой! Говорят, его отказался принять Вильсон! Даже после этого Локкарт продолжал говорить о Робинсе с симпатией.

Репнин не мог не заметить: его вопросы не застали собеседника врасплох. Задолго до Репнина эти вопросы наверняка задал себе Кокорев. Видно, молодой сподвижник Дзержинского шел за Локкартом след в след, шел давно, пренебрегая опасностью, переселившись в душу Локкарта, торжествуя и сокрушаясь, радуясь и удерживая себя от разочарования. И Репнин представил вдруг

глаза Дзержинского, застланные синеватой дымкой усталости, матово-темные глаза, какие были у него и в тот раз на Спиридоньевке. «Как Тверь? — спросил тогда Дзержинский у Кокорева и повторил свой вопрос: — Как Тверь?» И Репнин подумал: в Кокореве была частица Дзержинского — его воинственность и верность тому дерзкому и большому, что звалось новой Россией.

— Вы сказали, Локкарт продолжал говорить о Робинсе с симпатией. Но как объяснить это?

— Если бы Локкарт вел себя иначе, его отношения с Робинсом могли бы прерваться, а вряд ли он был заинтересован в этом, — нашелся Кокорев.

— С этим можно было бы согласиться, если бы Робинс оставался в России, — возразил Репнин. — Но вот уже три месяца, как американец выехал, а Локкарт все так же щедр и доброжелателен, когда речь заходит о Робинсе. Почему?

— Я ждал этого вопроса! — воскликнул Кокорев. — Вы можете со мной не согласиться, но мне кажется, что англичанин повел себя так, чтобы отмежеваться от всех тех, кто подготовил высылку Робинса из Москвы.

Репнин знал, что Робинс выехал из Москвы вынужденно, и был элементарно осведомлен об обстоятельствах отъезда. Робинс находился в постоянной оппозиции не только к Френсису, но и к Саммерсу, американскому генеральному консулу в Москве, кстати, женатому на знатной русской и отчасти поэтому воинственному антибольшевику. Весной этого года Саммерс внезапно скончался. Этим не преминули воспользоваться враги, распространив слух, что в смерти Саммерса повинен и Робинс... Этот слух странным образом совпал с молвой, что Робинс продолжает противопоставлять себя послу и последнее время все труднее установить, кто представляет президента Северо-Американских Штатов в России; однажды этот вопрос был даже задан Френсису публично. Робинс узнал об этом и избрал решение, в его нелегком положении единственное: он покинул Россию. Но по тому, как один слух совпал с другим, было очевидно: распространение их исходит из одного источника. Трудно сказать, имел ли Локкарт отношение к этому источнику, но несомненно: англичанин смертельно опасался, что подозрение падет и на него, опасался и не уставал говорить, как ему дорог Робинс.

— Хорошо, я готов принять вашу точку зрения,— заметил Николай Алексеевич спокойно, он не хотел своим согласием слишком ободрять молодого собеседника.— Готов принять... однако в какой мере Робинс противостоял тому, что делали и делают Френсис и Локкарт? Согласитесь, что угроза, которую нес с собой Робинс, вряд ли была для них серьезна.

— Нет никакой угрозы,— произнес Кокорев.— Но то, что прежде было тайной, сейчас ею уже не может быть — погода стала другой, Николай Алексеевич.— Кокорев взглянул на руки, все еще красные; странное дело, он уже не стеснялся их.— Вторжение.

«Вторжение...» Это слово вызревало в разговоре с Кокоревым постепенно и не было неожиданным для Николая Алексеевича, но, когда Кокорев его произнес, оно будто упало с неба. Но было ли вторжение акцией дипломатов, это еще требовало доказательств, по крайней мере для Репнина.

— Простите, но утверждение столь категорическое, как это... должно сопровождаться доказательством, чтобы не быть голословным.

Кокорев залился румянцем настолько густым, что волосы, казалось, стали снежно-белыми.

— Есть истины настолько очевидные, Николай Алексеевич, что нет необходимости их доказывать,— произнес Кокорев голосом, готовым сорваться; его обозлило замечание Репнина.

— Истина становится очевидной лишь после того, как она доказана,— произнес Репнин спокойно и не без укоризны взглянул на Кокорева. Что-то было в Кокореве для Репнина от фанатика, которого ведет не столько разум, сколько сердце: как истинный фанатик, он был нетерпим к тем, кто не хотел принимать его правду на веру.

— Пока гром не грянет...— заметил Кокорев и взял фуражку со стола; когда он ее держал, он лучше себя чувствовал.— Все истины будут доказаны, когда копьё будет на пути к цели.

— Вы говорите о копьё Локкарта? — спросил Репнин.

— Да, Николай Алексеевич, об этом копьё,— сказал Кокорев и, осторожно сжав фуражку, поднялся. Там, где ступал Кокорев, оставались следы — видно, действительно он явился сюда, не заезжая домой. Репнин взглянул в окно; у крыльца стоял кокоревский автомобиль с комья-

ми спекшейся глины на смотровом стекле — видно, проехал версты и версты по полям, затопленным водой, каменистым проселкам и разрушенной гати. Где он был накануне: в Иваново-Вознесенске или Рыбинске?

— Вы сказали, что у копыа есть цель? — спросил Репнин, когда они вошли в сумерки коридора.

Кокорев обернулся, и Репнину показалось, что он уловил запах разогретого солнцем лица Кокорева — запах припаленного жнивья и потревоженной дождем пыли.

— Я вам давно хотел сказать, Николай Алексеевич, — произнес Кокорев, и Репнин услышал, что голос его собеседника, исполненный до сих пор спокойного раздумья и даже воодушевления, непонятно дрогнул. — Наверно, это тот случай, когда я могу обратиться к оружию.

Кокорев ушел, а Репнину казалось, что он все еще слышит запах июльского поля. Не продолжал ли Кокорев спор, начатый с ним? «...Тот случай, когда я могу обратиться к оружию...» Какой смысл несли эти слова? И еще: что было целью визита Кокорева — рассказ о Локкарте и Робинсе или не только этот рассказ?

## 102

Репнин спросил жену, не изменила ли она своему намерению ехать с ним на пикник дипломатов в Осаново. Настенька сказала, что дипломаты будут с женами и ему неудобно появиться там одному — он и без этого был для них белой вороной. Гостей принимала чета Френсисов: пикник давал редкую возможность Френсису показать себя дуайеном.

Очевидно, это был не первый пикник и какие-то условности были гостям понятны. Полянка стала буфетным залом — столы накрыли здесь. Высокая круча над рекой — верандой, где при желании удавалось уединиться. Березка перед полянкой — и парадным входом и большой люстрой посольского зала. Чета Френсисов встречала своих гостей здесь. Очевидно, Репнины были не первыми. Поэтому хозяйка взяла Настеньку под руку и повела представлять женам дипломатов. Хозяин сделал то же самое с Репниным. Момент был весьма удачен — гостей еще не приглашали к столу.

Представляя Репнина дипломатам, Френсис был не щедр на радушие, но церемония представления давала

какую-то возможность и ему постоять под большой люстрой, американский посол не пренебрегал этой возможностью. Кстати, от внимания Николая Алексеевича не ускользнула такая деталь: когда они оставались один на один, Френсис был весьма предупредителен, но стоило к ним присоединиться кому-то из дипломатов, радушие немедленно иссякало. Это было так явно, что Репнину было непонятно, как этого не замечает сам Френсис.

— Посланник его величества короля Швеции генерал Свеаборг Виборг,— генерал, разумеется, в штатском, но казалось, его штиблеты издают звон.

Значит, резиденцией нейтралов только формально остается Питер — на самом деле и они в Вологде.

Репнин смотрел на генерала.

— Если лавр ложится на генеральский меч, таким мечом можно сокрушить горы! — сказал Репнин, смеясь, он не терял надежды встретиться с генералом еще раз.

— Генерал от церкви тоже генерал!..— подхватил шведский посланник воодушевленно, очевидно имея в виду великого дипломата Франции.

— Был бы Талейран, а Вена будет! — заметил Репнин и, отойдя, оглянулся — шведский посланник улыбался ему заговорщически. Значит, первый шаг к беседе с ним сделан.

Однако круча над рекой действительно была похожа на веранду. Сейчас здесь собрался весь дипломатический корпус, а заодно корпус корреспондентский. Репнин оглядел веранду и вдруг увидел всю картину приема в том иронически-злом и беспощадном свете, в каком она виделась только ему. И французского посла, который на два часа прилепился к своему советнику, будто бы с собственным советником не было другой возможности встретиться, если бы американский президент не назначил Френсиса послом, а посол не устроил этот прием на осановском холме под Вологдой. И жену бельгийского посланника, чей гвардейский смех был слышен в дальнем конце Осанова, точно только ей, и никому больше, не был доступен скабресный подтекст анекдота, который рассказывал сейчас английский консул. И трогательную швейцарскую пару — месье консильер Ив Фурер и мадам консильер Ив Фурер, которая появлялась с дежурной улыбкой на устах: «Мы все знаем, и не пытайтесь от нас скрывать что-либо». И итальянского советника, трогло-

дита, который шел от стола к столу и оставлял после себя зону пустыни; гости пятались от него, предусмотрительно прихватив с собой тарелки с едой. И молодого попа, высокого, великолепно сложенного, с черно-маслянистыми глазами и такой же черно-маслянистой бородой, а рядом нестареющую супругу датского консула, глядящую на попа глазами голодной волчицы. И многоопытную корреспондентку манчестерской газеты, которая в свои двадцать семь лет успела побывать и секретарем у первого лорда адмиралтейства, и телефонисткой на ночном пункте противоздушной обороны, и санитаркой в окопах, и сестрой милосердия в венерическом солдатском госпитале. «Ничего не могу с собой поделывать,— говорила она, прихлебывая виски.— Профессиональная привычка: гляжу на дипломатов и вижу их голыми, начисто голыми — какие у них животы, бедра и все прочее...» Репнин смотрел на дипломатов, думал: «Наверно, и я вижу их голыми, совсем голыми».

А навстречу Репнину уже шла Настенька и рядом с ней шведский генерал.

— Я не знал, что человек, который так щедро прочил мне меч Талейрана, ваш муж,— говорил швед, улыбаясь.

Гостей пригласили к столу, Репнины направились вместе со шведским посланником. Только сейчас Репнин заметил: генерал чуть-чуть прихрамывал, однако это как-то не делало его ни менее мужественным, ни менее величественным. Смуглое от природы, иссеченное морщинами лицо было полно суровости, той самой, которой в избытке наделены настоящие военные и которой иногда так недостает дипломатам.

— За то, чтобы генералы были генералами, а дипломаты — дипломатами,— произнес посланник, наполняя бокалы.

— Очевидно, шведский генерал в своих устремлениях не менее бескровен, чем дипломат,— подхватил Репнин.

Женщины пошли есть мороженое к столу, где находилась сейчас мадам Френсис. Мужчины остались одни. Была та особенная минута, когда утолены и жажда и, пожалуй, голод и дипломаты торопливо разбирают гостей — у каждого свои виды на сегодняшний вечер.

— Здесь уже третий день упорно ходят слухи,— произнес шведский посланник, и его зобастая шея вздулась.— Ходят слухи, что Чичерин уступил германскому



ультиматуму и дал согласие на ввод германских войск в Москву.

— А о том, что две германские колонны движутся на Москву, ничего не говорят? — спросил Репнин, внешне не показывая скрытой в этих словах иронии.

— Двойной удар со стороны Киева и Минска? — переспросил генерал, придав этой фразе не столько политический, сколько военно-стратегический смысл — слишком велико было у него искушение дать стратегической задаче свою оценку.

— К счастью, то, что так легко рассмотреть из Лондона, совершенно невозможно рассмотреть из Москвы, наши военные этого сообщения не подтверждают, — заметил Репнин все так же серьезно.

Реакция генерала была неожиданной:

— О-о... Значит, врут?

— Врут! — сказал Репнин.

Этот разговор еще больше взбудрил генерала. Они прошли на веранду, а оттуда проникли в аллею, ту самую аллею, дальний конец которой упирался в уединенную осановскую обитель.

— Но пресса нейтралов не опровергла этого сообщения, — сказал генерал, когда они погрузились в полутьму аллеи.

— К сожалению, нейтралитет и самостоятельность не всегда тождественны, генерал. — Репнин, кажется, подошел к существу того, что хотел сказать сегодня шведу.

— Простите, но как разрешите понимать ваши слова? — спросил посланник. — Как понимать?

Репнин медлил. Они были сейчас у самой обители, и Николай Алексеевич видел, как быстро Нуланс повлек туда итальянского посла.

— А я не очень понимаю вас, генерал, — сказал Репнин, когда они вновь вошли в сумерки аллеи. — Какая необходимость вам так безоговорочно и, простите меня, так слепо идти за великими державами? — Генерал остановился и внимательно и недоверчиво взглянул на Николая Алексеевича. Репнин медленно пошел дальше, однако, остановившись, увидел, что генерал не тронулся с места, его рослая, с квадратными плечами фигура была грозно насторожена. Репнин сделал еще шаг, но генерал продолжал стоять. Он словно говорил: «После всего сказанного вами нам говорить не о чем».

— Значит, вы полагаете, никакой необходимости? — вдруг произнес генерал, точно этому предшествовало неожиданное прозрение.

— Никакой!

Они продолжали свой путь.

— Поймите, генерал, у наших отношений другая природа. Будем откровенны. Великие державы заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала воевать с Германией. Пошла Россия на Брест или нет — для них вопрос насущный именно по этой причине. А для вас? Очевидно, вам более важно другое: останется ли Россия вашей соседкой или льды Полярного моря ее оттеснили на восток? Способна ли Россия покупать шведские генераторы и нет ли у нее тайных намерений против шведской короны?

— И в этой связи Швеция должна первой признать правительство Ленина?

Теперь остановился Репнин.

— Нет! — заметил он горячо. — Признание придет в свое время, и я бы считал неудобным для себя разговор на эту тему. Я имею в виду другое: к чему вам лишать себя суверенных прав настолько...

— Настолько, чтобы безотчетно следовать за великими державами и оставаться в Петрограде, когда надо быть в Москве? — с полувопросительной интонацией закончил посланник мысль Репнина.

— Ну что ж... и такая формула меня бы устроила, — согласился Репнин. — Не думаю, чтобы это прибавляло достоинства суверенному шведскому государству.

Генерал вновь остановился. Он стоял и молчал. Солнце дотянулось оранжевыми лучами и до чистых седин генерала — они больше обычного горели. Репнин смущенно кашлянул и двинулся с места, но генерал продолжал стоять. «Да не взбунтовался ли генерал?» — подумал Репнин и внимательно взглянул на спутника, но вид его ничем не выдавал его состояния.

— Вы полагаете, такая политика не прибавляет ни авторитета, ни достоинства Швеции? — спросил генерал наконец.

— Ничуть!

— О-о!..

Казалось, что только это «О-о!..» способно было сдвинуть с места генерала.

— Я не могу сказать, чтобы доводы ваши были лишены резона,— сказал посланник, когда они вновь пришли к бревенчатому домику над рекой (Репнин отметил про себя, что бойкий Нуланс еще удерживал там итальянского посла).— Но поймите и меня: то, что легко дается вначале, труднее осуществляется потом, тем более в дипломатии, здесь сила инерции иногда непреодолима.

— Вы полагаете, что и теперь нет средства, которое бы?..— Репнин запнулся.

— Средство есть,— продолжил мысль Репнина генерал.— Да, оно есть: те самые турбины, на которые вы сослались достаточно убедительно.

У Репнина было такое состояние, как если бы он после многодневных и бесперспективных хождений по топким полям вдруг ощутил под ногами твердь, упругую и обнадеживающе прочную.

— Вы склонны думать, что декларация нового русского правительства о торговле со Швецией, как она видится нам сегодня, была бы уместна?

Репнин произнес «нового русского правительства» без затруднения, и это не мог не заметить бдительный генерал. Увы, для правительства революционной России в сознании Репнина пока еще не было иного имени.

Генерал остановился, но в этот раз лишь на один миг.

— Декларация и... план?

— Да, так, чтобы было видно будущее.

— О-о-о!

Репнину показалось, что теперь это «О-о-о!» выражало одобрение.

Репнин пробыл в Вологде еще неделю; все эти дни здесь был и Радек.

Так непосредственно Николай Алексеевич впервые наблюдал Радека. В стремлении склонить дипломатов выехать в Москву Радек был динамичен, но это не дало результата.— очевидно, решение было ими принято прочно и вряд ли советская сторона могла изменить его. Но нечто другое все еще было возможно: сделать проблему предметом диалога — это всегда полезно. Однако сама фигура Радека и все, что сообщила этой фигуре молва, затрудняли какой-либо обмен мнениями. Радек писал письма Френсису, послу и дуайену, а Френсис через голову Радека отвечал на них Чичерину. Впрочем, в этом случае письма Френсиса описывали соответствующий по-

лукруг и над головой Репнина... Чтобы обрести ту степень единодушия, которую обрели сейчас дипломаты, надо было, чтобы Радек появился в Вологде. Это был тот самый пример, когда потеря личного престижа нанесла ущерб не столько дипломату, сколько делу, которое он представляет. Как был убежден Репнин, процесс, о котором он думал по дороге в Вологду, достиг своего логического завершения: оказывается, твоего умения и профессионального опыта недостаточно, если ты позволил небрежно обойтись с именем своим. Есть сфера деятельности, где этот процесс обратим. В дипломатии другие законы.

Репнины собрались в Москву.

... Кедрова не было в Вологде, и их провожал Северцев.

... Репнину показалось, что Северцев непонятно обеспокоен, и Николай Алексеевич спросил его об этом. Северцев встревожился еще больше, заметив, что чувствует себя прескверно, плохо спит. Но когда впереди возник дымок паровоза, Северцев взял Репнина под руку и, отойдя с ним в сторону, сказал, что вчера на рассвете погиб Маркин.

Поезд отошел тотчас. Репнин с женой стояли у окна и смотрели, как тускнеют поля. Опять было светлое небо и поодаль в лесном море тонуло солнце. Маркин не шел у Репнина из головы. На память пришли Охта и разговор с Маркиным о возмездии. В том, с какой решимостью Маркин оставил дипломатию и ушел на фронт, было, как убежден Репнин, не безразличие к дипломатии, с которой Маркин связывал надежды жизни, а сознание, что он необходим России именно на линии огня. Наверно, в открытую атаку на тот мир были способны пойти только такие, как Маркин,— ключ к разговору о возмездии лежал где-то здесь. Репнин подумал: как он утаит печальную новость от жены и надо ли утаивать? Сейчас Анастасия Сергеевна была рядом. Состояние мужа передалось и ей. Она говорила, что дипломатическая Вологда была ей не по силам и, вернувшись в Москву, она примется за работу. Она будто подвела Репнина к разговору, которого он так боялся. Надо было вспомнить питерских учеников Анастасии Сергеевны и сказать о Маркине. Но Репнин пощадил жену. Время утишит боль — пусть пройдет время, решил он.

Если бы Петру сказали, что ему будет так худо после отъезда Киры, он бы, пожалуй, не поверил. Произошло что-то совершенно неведомое для него. Вначале его полонила жестокая обида — так хотелось, чтобы Кира осталась, он просил ее, как только можно просить, но она не вняла ему. На обиде этой он держался дня три. Потом она иссякла, как высыхает на знойном солнце вода. Он пытался теперь припомнить, что говорил ей, и все слова казались ему тусклыми, лишенными живой крови. Он стал восстанавливать в памяти обстоятельства ее отъезда и неожиданно нашел деталь, которая все объясняла удивительным образом, все делала ясным, не оставляла места сомнениям. В самом деле, почему она вдруг с такой силой устремилась в Англию? В ее силах было не уехать, а она уехала — ведь Клавдиев остался в Москве!

Очевидно, там был кто-то такой, кто был дороже Петра и кого, это несомненно, нельзя было переселить в Россию. И как только Петр сделал это открытие, все стало ясным, и доводы, один убедительнее другого, стали возникать в сознании, и ни один из них не опровергал этого предположения. И Петр стал думать о том, что все освещенное их любовью: и ее родительский дом, и эти поля за городом, и взгорье, с которого они смотрели спектакль, и, наконец, море — осквернено прикосновением этого человека, все море, как бы далеко оно ни простиралось. Но проходили дни, недели, минул месяц. Боль была неутолимой. Он стал серьезно думать, что нужны другие сроки и другие расстояния, чтобы загасить огонь.

Как-то в полдень он поймал себя на мысли, что ему легче. Даже стало как-то весело: он свободен от боли. Однако время побеждает все, сказал он себе. Он даже вспомнил, как однажды на кладбище увидел у свежей могилы молодого мужчину и старуху, древнюю, очевидно, сына и мать. «Надо перебороть лето, только лето...» — сказала старуха, и Петр был удивлен, что сказала она это голосом, в котором не было участия, а была непонятная жестокость. Кто умер у человека? Наверно, жена. Ее он опустил в могилу. А старуха? У нее было сто лет за плечами, и она была мудра безбоязненной мудростью прожитого. Она так и сказала: «перебороть лето». Она-то знала, что надо дожить до осени. Только до осени. Он

вспомнил библейскую истину «Все проходит» и улыбнулся очень горько. Кира? Он помнил всю ее, как только можно помнить женщину, которую очень любишь. Ему вдруг припомнились руки, которые она точно подставляла взгляду мужчины, когда хотела понравиться. «Ты заметил, как он посмотрел на мои руки? — могла сказать она. — Я почувствовала его взгляд кожей».

Все, что происходило с ним, было для него открытием. Ему было в диковинку, что он прожил столько лет и не знал, как слаб. Да, человек действия, неколебимый перед лицом смерти, он вдруг увидел, как велика в нем мера его слабости. Впервые в жизни он подумал, что не знает себя. Он стал думать, что навеки, сколько будет жить, будет любить эту женщину и только она может дать ему великое чувство удовлетворения жизнью, называемое счастьем человеческим.

Однажды за полночь, вернувшись домой, Петр вдруг увидел в полутьме глаза сестры. Наверно, весь этот месяц она вот так внимательно-пристально следила за ним, подумал он.

Как-то в предрассветный час она растормошила его, охватив тонкими и сильными руками его плечи:

— Мычишь, как тридцать непоеных коров. Душу извел — не уснуть.

Он сел на кровати, сжав голову руками, не очень сообщая, что происходит. Он сидел так долго, а когда поднял глаза, сестра все еще стояла перед ним.

— Убьешь себя совсем, — сказала она.

Петр вспомнил Клавдиева. Захотелось увидеть его. Увидеть теперь же, Клавдиев не Кира, но от него до Кирры ближе, чем от кого-либо иного. Петр решил идти на Воздвиженку. Знал, что это будет не просто.

Ему открыл Столетов. Едва опознал, шарахнулся во тьму — даже тени своей не оставил на изразцах. Петр шагнул в глубь квартиры. У самого окна, положив книгу на подоконник, залитый солнцем, сидел Клавдиев. Он взглянул на Петра. Смотрел, молчал, мрачно шевелил бровями; где-то на кухне гудел примус, гудел напряженно.

— Вы зачем пришли? — спросил Клавдиев наконец.

— Вас повидать, Федор Павлович, — улыбнулся Петр, но Клавдиев не отозвался на улыбку, он втянул нижнюю губу, отчего борода его приподнялась.

— Она давно доехала,— он перевел взгляд на письменный стол.— Телеграмма пришла из Глазго.

Петр не нашелся, что ответить. Молчал и Клавдиев — они пытались друг друга молчанием. Только примус гудел — чем неодолимее было молчание, тем гудение ближе.

— Вы помните наш разговор о терпимости? — спросил Клавдиев, не глядя на Петра.

— Помню, Федор Павлович.

— Помните мою формулу: «Если правда монополизирована, нет правды»?

— Да, не забыл.

— Как же быть теперь, когда у вас исчезла последняя возможность критики?

— Как так... исчезла, Федор Павлович?

— Но ведь вторую партию прихлопнули? А если нет второй партии, нет и критики! А коли нет критики, дорога столбовая в монархию!

Где-то открыли дверь, и гудящий примус будто возник рядом.

— Федор Павлович, а на кого должна опираться эта вторая партия в таком обществе, как наше? Какую политическую веру исповедовать? К какой цели стремиться?

Клавдиев встал, прямо пошел на Петра.

— Нет, тут я вам не помощник! Без меня заблудились, без меня и выбирайтесь из лесу. Революцию, если она революция, можно сберечь, если сбережешь возможности говорить друг другу правду, говорить прямо и честно, как бы тяжка эта правда ни была. Две партии эту возможность дают, одна исключает.

— Но ведь правду может сказать друг, а не недруг.

— Почему же? Чем отчаяннее правда, тем лучше.

— Но мне не нужна абстрактная правда, отчаянная и злая, Федор Павлович. Нужна правда, помогающая мне сохранить Октябрь и осуществить мой коммунистический идеал...

— А это уже от вас зависит, сбережете вы или нет свой идеал. Если вы сильны силой ваших идеалов, выдюжите. Если хилы, туда вам и дорога!

— Значит, это риск?

— Ну что же, пожалуй, риск!

— Но рисковать делом, за которое отдали жизнь миллионы, да и жизнь... вашего сына среди них, Федор Павлович, имею ли я право?

Клавдиев затих. Казалось, его воинственная энергия остановилась. На секунду остановилась. Потом он пришел в себя, взметнул ладонь.

— А вы думаете, что, отказавшись от возможности говорить друг другу правду, вы не рискуете делом, за которое отдали жизнь миллионы? И моего Колюшки жизнь...

Клавдиев умолк неожиданно, но Петр понимал, что где-то на оборванной его собеседником фразе сшиблась правда Клавдиева с его, Белододеа, правдой.

— Мы молодая демократия, Федор Павлович, и нам еще торить и торить нелегкие наши дороги, но мы сбережем возможность говорить друг другу правду.

Дверь на кухню все еще была открыта. Слышно было, как кто-то накачивает примус короткими рывками.

— Поймите, если правда монополизирована... — убежденно начал Клавдиев.

— А вы не пугайте меня этой вашей формулой, Федор Павлович, — прервал его Петр. — Моя правда действительно монополизирована, и я считаю это справедливым.

Клавдиев онемел — только дрожала его бородка да грозная просинь выступила на желтых щеках.

— Это какая же такая ваша правда? — спросил наконец Клавдиев.

— А та, что я добыл кровью, Федор Павлович, не было бы ее — смерть мне и революции моей.

Клавдиев молча закачался на каблуках.

— Я хочу вас просить об одолжении, — вдруг заговорил Клавдиев. — Не были бы вы любезны написать бумажку в министерский архив? Нет, не в питерский, а в московский?

Казалось, Петр воспрял: ну вот, разговор наконец пошел на лад. Да и дело доброе: Клавдиев решил вернуться к работе — это хороший признак.

— Разумеется, могу, Федор Павлович, да есть ли в этом необходимость? Приходите и работайте, я все сделаю сам.

Клавдиев встал — грозно шевельнулись брови. «Ну вот, сейчас махнет всеильным своим хвостом, и все рухнет», — подумал Петр.

— Вы уже видите меня... государственным клерком? — Клавдиев принялся раскачиваться, как там, в



Глазго, с каблука на носок, с носка на каблук.— Сосьть... на казенный замок, да?

Когда Петр вновь очутился в коридоре с изразцами, примус уже не гудел — он наверняка взорвался.

## 104

✓ Наверно, нужна еще одна беда, которая все потрясет, все перевернет вверх дном и потом поставит на ноги, думал Петр. Беда, от которой померкнет небо. Да есть ли у него силы принять эту новую беду и справиться с нею? Ох, накличет он на себя горя горького!

Петр шагал и шагал: Смоленская, Зубовская, Хамовники... нет, он и не хотел в Хамовники... А куда он шел? И вновь Остоженка, особняки, ее каменные дворы, ее липы и каштаны, ее палисадники. Нет, здесь человек не поможет, да есть ли еще другой такой человек? Он остановился — где-то здесь дом Репниных. Не хочет ли он в Елене найти Киру? Петр постучал в окно — Елена, наверно, читала, да не один час просидела над книгой, и теперь, стараясь согреться, принялась натирать руки от запястья до локтя. Нечего сказать, молодость, в августе замерзла.

— Откуда вы в такое время? — заметила она, распахивая окно пошире.

Он просиял — как все-таки хорошо, что застал ее дома.

— Кто же сидит сейчас дома? — спросил он и подивился беспечно-радостному тону, с которым произнес эти слова.— Выходите...

Она передернула плечами — все еще было холодно.

— А не поздно ли? — вымолвила она и смешно наморщила нос; он видел, ей хотелось пойти, но не отпускали уютные сумерки дома, горящий ночничок под бумажным абажуром и, конечно, книга, ее тепло, ее воздух, такой обжитой, домовитый.

Они шли по Пречистенке, и он нет-нет краем глаза поглядывал на нее: аккуратная головка с копной коротко стриженных мальчишеских волос, и вообще она больше похожа на мальчишку. Нет, это не Кира. Но в глазах что-то жертвенное, жажда несбыкновенного. Он не мог не подумать: и зачем он извлек ее из дома, оторвал от книги, с которой ей было так хорошо?

— Послушайте, Елена Николаевна, что такое женский характер? — он все еще был со своими мыслями и не хотел с ними расставаться.

Она взглянула на него, чуть прищуриив глаз, совсем по-мальчишески.

— Женщина в большом и малом неожиданна.

«Ей очень хочется быть старше, чем она на самом деле», — подумал Петр. Он слушал вполне серьезно — это воодушевило ее.

— Хотя она молится богу только мужского пола, казнит себя его казнию, но никогда не признает власти его над собой.

Белодед не удержал улыбки, она заметила это и тут же все обратила в шутку — торопливость, с которой она это сделала, свидетельствовала, как ей не хотелось быть жертвой его иронии.

— Я ее возвеличила, эту женщину, которую вы знали? — спросила она и засмеялась, встряхнув мальчишескими кудрями. — Вы не хотите признать ее превосходства над собой? — она продолжала смеяться.

Она пыталась выйти из положения с той же настойчивостью, с какой только что произносила свои аксиомы.

Сейчас они шли по Староконюшному.

Ему показалось, что парадная дверь их дома распахнута, у самого крыльца стоит извозчик.

— По-моему, это у нас... — Они прибавили шагу.

Да, дверь распахнута настежь, впрочем, раскрыты и окна, в доме народ, слышны голоса, говорили где-то в глубине дома, быть может, наверху.

— Войдемте вместе, — сказал он.

Он заметил, ее никогда ни в чем не надо упрашивать: если она это считает разумным, делает все легко и просто. Они вошли. Послышался острый запах карболки, очень острый.

— Я так и знал — Лелька!..

Дверь соседней комнаты вдруг распахнулась, и что-то круглое, закутанное с головы до ног выкатилось в коридор и чуть не сшибло Петра.

— Ты... Раиса? — вскрикнул Петр, он узнал соседскую девчонку.

— Ой, крест, крест! — закричала Раиса и помчалась дальше. — Лельке худо!

— Вот, сердце мне сказало!..

Он переступил порог. На кровати, той самой, никелированной, что мать привезла с Кубани, Лелька. Лицо пергаментное, и сама не толще пергамента, будто на белом чахоточном огне сушили сто лет и обратили в бумагу. Мать — в изголовье, скрестив руки, ненастна, словно небо перед степным бураном, губы — клещами не разомкнуть. Увидела сына — глазом не повела, все железо собралось у нее в ту минуту в сердце, все железо, которое она в своей жизни калила, ковала и гнула.

Лишь сейчас Петр увидел человека, сидящего рядом. Белая рубаха была расстегнута, волосатые руки обнажены, лицо влажно, грудь, поросшая рыжими волосами, тяжело вздымалась, человек шумно дышал. Видно, он только что ворочал пудовыми ящиками и присел отдохнуть, чтобы тут же вновь взяться за дело. И вообще у него было лицо не врача, а рабочего, много лет имевшего дело с металлом, с металлической стружкой; казалось, металлическая пыль намертво въелась в кожу, сделав лицо серо-стальным, неживым — ни солнце, ни мыло не возьмут металла.

— Жить будет? — спросил Петр.

— Дадим жизнь, будет, — ответил врач, не глядя на Петра. Встал и пошел вон из комнаты, словно приглашая идти за ним.

Петр пошел вслед, но в коридоре, который все еще был погружен во тьму, его остановил голос врача:

— Вы должны знать: ей очень плохо — брюшной тиф, где-то напилась плохой воды. Нет тифа злее, чем тиф... восемнадцатого года!.. Сердце... оно у нее и прежде было не богатырским, а тут!.. — Врач потряс кулаками и беспомощно их опустил. — В общем, нужны ум и глаз день и ночь. И еще: отлучаться, даже как я сейчас, нельзя, отлучишься — убьешь.

Врач ушел. Петр продолжал стоять в темноте. Тишина мягко обтекала его, железная тишина белодедовского дома — неслышное дыхание Лельки, сомкнутые губы матери, тяжелые, точно вросшие в пол, сундуки и комоды. Оказывается, можно накликать и беду. Вот и пришла она, вторая беда. Да, пожалуй, вторая. Попробуй прими ее на плечи, отрази сердцем; если и отражать, то сердцем, все остальное не осилит, сдастся. Он подавил вздох и пошел за врачом; у окна, того самого, матового, стояла Елена.

— Я все слышала,— сказала она, и он вдруг почувствовал у себя на груди ее руку.— Что, если этим человеком буду я?

— Каким человеком? — Он еще не очень понимал.

— Тем, что на дни и ночи...

Елена точно приковала себя к никелированным прутьям Лелькиной кровати, к сумеркам комнаты, затененной остролистой ивой. Где-то на исходе первой ночи невидимо сомкнулись ночь и день. Сомкнулись и точно обрели один цвет, цвет желтого электричества, ярко-охристых стен, белесых простынь и изжелта-карих глаз Лельки, хотя в иное время они, наверно, были серыми...

## 105

В парадную дверь постучали. Стук был недолгий, но крепкий — стучали кулаком. Пошел открывать Петр. В дверях стоял красноармеец с винтовкой-трехлинейкой. А рядом чернобородый с проседью Вакула.

— Вот умолил человека доброго (кивнул он на часового) зайти в дом родимый — может, сухарей дадут на дорогу... Еду. Еду-то вон куда! — махнул он рукой и присвистнул.

— Ну что ж, заходи, сухарей, пожалуй, наберем,— молвил Петр и искоса посмотрел на брата — тот же полувоенный френч цвета хаки и брюки галифе, однако все несвежее, обносившееся.— Только мать не пугай да еще вот... Лельку.

Видно, Вакула почуял, что при имени сестры брат запнулся.

— Лелька... или случилось что? — приободрился он и сразу стал хозяином положения.

— Сухарей мы тебе припасли,— ответил Петр и быстро вошел в дом.

Вакула оглянулся на часового, точно искал у него защиты от брата.

— Ты заходи, служивый, заходи, и тебе сухарей найдется.

Вакула не вошел, а вбежал в дом, устремился в Лелькину светелку и тут же возвратился обратно.

— Или нет Лельки дома?

— Нету,— сказала мать, вливая в комнату и расти-

рая ладонями щеки — она знала, что сон, как бы он ни был хорош, перекрашивает ее в желтый цвет.

Братья сели за стол, лоб в лоб, мать заняла место между ними. Взглянешь — не нарадуешься, нет семьи дружнее.

— Ну, чья взяла? — вдруг не сказал, а взвыл Вакула.

— Это ты о чем? — спросил Петр, он и в самом деле не очень понимал брата.

— Как будто и не понимаешь? — Он подмигнул матери. — Нет, серьезно не понимаешь?

— Не понимаю.

Он приподнялся, точно желая рассмотреть солдата, сказал:

— А все о том же, — он вновь подмигнул матери. — Немец-то, немец-то ухватил за палец, потом хват за локоть, а теперь, того гляди, голову откусит. Чья взяла? Нет, ты скажи при матери: чья взяла? — Он ткнул мать локтем. — Мать, не дашь ведь покривить душой?

Но мать хмуро смотрела на Вакулу.

— Будет, — произнесла она. — Скажи слово человечесь.

Он расстегнул и застегнул ремень — щелкнула бляха, звонко хлопнула кожа.

— Я скажу, скажу... Вот послушай, мать, разве это слово не человечесь? — он опять приподнялся на цыпочки, будто хотел удостовериться, продолжает свою трапезу часовой или уже закончил. — Нет, ты послушай, мать, в марте они отдали Польшу и Лифляндию, а заодно и приняли контрибуцию. В мае положили под германский сапог половину Малороссии. В июне кинули к чертям собачьим Одессу и половину Крыма, а сейчас по доброй воле отдали, расписались и поставили печать под новым Брестом. Там встали перед немцем на колени, а тут распластались, уткнувшись рожей в землю, и немец гуляет по нашему хребту и мнет наши кости... мнет, мнет...

Мать зябко повела квадратными плечами.

— Будет, — произнесла она.

Но он, видно, долго копил все, что хотел сказать.

— Добро бы немец был в соку и силе, а то хворый, совсем хворый, не сегодня завтра ноги протянет, богу душу отдаст. Вместо того чтобы трахнуть его с ходу, с маху и пришибить, мы его на костыли поставили, а того не понимаем, что костыли не спасут. Не вы трахнете —

другие найдутся, а будете мешать — ты чего глядишь на меня зверем? — и вас достанем! Не я — другой достанет! Ты понимаешь, что такое социалист-революционер? В нем и ярость и ум народа. Ты думаешь, миновал июль — и все кончено? Нет, июль повторится в августе, а август в сентябре. — Он предусмотрительно отодвинулся от стола. — Ты мне ничего не сделаешь, не со мной будешь иметь дело, с охраной моей. — Он ухватил волосок, натянул его. — Волос упадет, головой ответишь!

Но и того, что он уже сказал, наверно, было достаточно, чтобы гнев свел скулы и кулаки Петра — он кинул прочь стул.

— Тищенко! — окликнул Вакула красноармеец. — Наш час вышел, пора, пора. — Вошел часовой, увязывая на ходу мешок. — Бери свою пушку и веди меня, — сказал Вакула, оглядывая смеющимися глазами брата. — Только, чур, сторожи, а то разные чужие тут ходят, мирных людей пугают. — Он остановился. — Ты думаешь, июль кончился? Ему и летом и осенью конца не будет. Нынешний июль високошный, в нем сто дней.

Вакула ушел. Петр вспомнил тот июльский вечер, когда в Лубянском проезде увидел арестованных, идущих под конвоем, и пытался разыскать среди них Вакулу. Вспомнил, как тревожился и жалел брата, забыв про все обиды. Вспомнил и выругал себя, что готов был простить Вакуле то, что, наверно, прощать нельзя.

## 106

Не прошло и полугодя, как наркомат переехал в Москву, а в нем уже возникли свой ритм жизни, свой быт. С этажа на этаж шествует пышноусый старик с внешностью румынского короля Кароля. «Ковры пора убрать! — произносит он, похваляясь баритоном. — Пусть летом ходят по мрамору!» Трое парней в черных костюмах и в таких же черных негнущихся шляпах волокут вализы, сшитые из крепкого брезента. «Эх, тяжел ты, мешок дипломатического курьера!» У окна, выходящего на площадь, столпотворение: корреспонденты пытаются занять позицию с утра — по слухам, у Чичерина должен быть новый германский посол. Стайка юных женщин, совсем юных, носится по площади — то ли жены молодых дипломатов, то ли их невесты. Подобно коррес-

пондентам, у них все смутно: ни точной позиции, ни точных часов встречи. По лестнице сбегает наркоматский портной. «Кто шьет сегодня фрак с шелковыми лацканами? — спрашивает он, выставив указательный палец и стремительно наматывая на него сантиметр. — Нет, вы скажите мне: кто?» — настаивает он и так же стремительно принимается сантиметр разматывать. «Какой там, к чертовой матери, фарфор, когда жрать нечего? — вопрошает человек в сапогах, медленно шагая по лестнице со стопой тарелок из тончайшего фарфора, и каждый его шаг отдается грозным эхом «гох!.. гох!». — Вчера дали полфунта, а нынче осьмушку! Вот грохнул бы всю эту батарею об пол, вот тебе и на двенадцать персон!» Дамы в пыльных бархатных шляпах почти шарахнулись в сторону: «Господи, кто сегодня в России знает латынь? Вымерли, как мамонты!»

Петр неожиданно встретил Чичерина у самого входа в наркомат. Георгий Васильевич шел от Александровского сада.

— Здравствуйте, Белодед, — приветствовал он Петра. И обратил глаза на книгу, которую держал. — Вы бывали когда-нибудь в Зальцбурге?

— Да, Георгий Васильевич, и не однажды. Какое пиво там у монахов!

— Пиво? Нет, я не об этом, — Чичерин продолжал смотреть на книгу, она была в синей коже с золотым, давно выцветшим тиснением.

— Георгий Васильевич, ваш секрет проник и за кордон: русский министр иностранных дел задумал книгу о Моцарте.

— Ну, ну, это уже легенда. — Чичерин раскрыл синий томик, который держал в руках, и тут же захлопнул. — Что же касается пива у зальцбургских монахов, то вечером мы обсудим и это. — Чичерин направился к двери.

Весь этот летний день, долгий и знойный, Петр нет-нет да вспоминал свою утреннюю встречу с Чичериным, вспоминал не без улыбки — все-таки Георгий Васильевич не мог отказать себе в удовольствии задать своему собеседнику задачу с Зальцбургом и Моцартом. И вначале по ассоциации с этой встречей, а позднее и вне связи с нею на память Петру то и дело приходил Зальцбург:

его узкие средневековые улочки, ломаные, мощенные камнем, спускающиеся под гору или в гору поднимающиеся, с темными каменными арками, украшенными надписями, которые источили дожди и время. И хлопотливые стаи монахов, и степенно-церемонные стаи богатых иностранцев, и, конечно, проститутки на углах улиц, на геометрических углах,— вершина треугольника упирается в позвоночник. И площадь посреди города, окруженная пятиэтажными домами, не площадь, а городской дворик — квартира Моцарта на третьем этаже одного из этих домов. Петр помнил низкие, точно сплюснутые комнаты этой квартиры, окна, выходящие в городскую полумглу, каменную, безнадежно серую.

Позвонил Чичерин.

— Все оборачивается круче, чем можно было предположить. Немцы хотят вписать в дополнительный протокол новые требования. Хочу поговорить, хотя вряд ли это удастся сделать раньше вечера.

Действительно, второй звонок от Чичерина раздался около полуночи. Белодед направился к наркому.

В комнате секретариата было тихо. Мягко отсвечивал гофрированный панцирь, наглухо закрывший секретер, комната была пуста, ночную вахту Чичерин нередко нес сам. На паркете лежала полоса бледного света — дверь в кабинет была открыта.

— Это вы, Петр Дорофеевич? — послышался голос Чичерина.

Петр увидел просторный кабинет наркома, красноватый блеск ворсистого ковра, свечение полированной мебели, отсвет настольной лампы в окне и, как всегда в полуночный час, уже не бледно-смуглое, а восковое с просинью лицо Чичерина.

— Вот прочел старинную монографию о Зальцбурге.— Перед ним лежала книжка в синей коже, которую он держал в руках, когда возвращался из Румянцевской библиотеки.— Историю города нельзя понять без знания монашеских орденов.

Чичерин сказал: «монашеских орденов». Перед глазами Петра встали стрельчатые окна большого зальцбургского собора, холодноватая полутьма внутри, икона божьей матери и на стекле (икона была под стеклом) вместе с суматошным и радостным сиянием полуденного света блеск и движение автомобилей, идущих через пло-



щадь. Там, в туманной тьме собора, старое неожиданно встретилось с новым.

— Зальцбургские францисканцы народ более предприимчивый и светский, чем римские,— сказал Петр.— Дальше от Рима — больше светскости и даже светской воинственности.

Чичерин усмехнулся:

— Да, там вера держится не столько на вере, сколько на кулаках.

— Немцы драчливы не по силе своей,— сказал Петр уклончиво и вдруг заметил, что неожиданно приблизился к самому главному, что должно составить предмет разговора с Чичериным.— Все, что здесь стоит,— Петр кивнул на большой, красного дерева книжный шкаф, в котором Чичерин берег литературу по германскому вопросу: германист, он считал этот вопрос для себя насущным,— свидетельствует об одном: истоками всех ошибок немцев была переоценка своих сил и недооценка сил противника.

— Вы хотите сказать, что в оценке своих сил мы не пошли дальше кайзера? Те, кто атаковал нас шестого июля...— Чичерин не окончил фразу, но Петр продолжал мысленно: «думали так же».

Чичерин встал и пошел к вешалке, стоящей в дальнем затененном углу, там висели демисезонное пальто с аккуратным плюшевым воротником и шляпа — те самые пальто и шляпа, которые были на Чичерине, когда в ненастный лондонский вечер Литвинов и Петр везли его из тюрьмы.

— Нет, они думают о другом,— сказал Чичерин, снимая пиджак и водружая его на вешалку.— Непросто сохранить позиции и ответить на требование отказом, атаковать, вступить в войну, схватиться. Вы представляете себе последствия этой позиции для нас? — Чичерин возвращался к столу в жилете.

— Вы полагаете, достаточно нам схватиться, как союзники заключат перемирие? — спросил Петр.

— Не исключено и это,— заметил Чичерин.— Вы же знаете, как это бывает в жизни... не обязательно быть самым сильным, чтобы победить, иногда надо быть самым... предусмотрительным.

— Но Владимир Ильич полагает, надо ждать? — спросил Петр.

— Что полагает Владимир Ильич, он вам скажет сам — я жду звонка через семь минут.

Но в этот раз семи минут не прошло — раздался звонок, звонок резкий и, как показалось Петру, требовательный, и Белодед увидел, как мягко разгладились брови Чичерина.

— Да-да, Владимир Ильич. Нет, почему же... Все телеграммы из Берлина говорили о стремительном нарастании... не расслышал. Я сказал, нарастании, да, разумеется, революционной ситуации... Кайзер? Кто поддерживает? Даже не армия, а высшее офицерство! — Он умолк на минуту, выражение лица стало не просто суровым, а грозно-торжественным. — Нет, он здесь, рядом со мной. А мы его сейчас спросим. — Чичерин посмотрел на Белододеда. — Владимир Ильич хотел бы знать, что подсказывает вам знание германских дел?

Петр задумался. Неужели Ленину действительно в такой мере необходимо знать мнение Петра, или он делает это с другой целью? Петр и прежде убеждался: Ленин дипломат, хоть и не очень хочет в этом признаваться. Так с какой же целью он это делает? Иногда и для него такой радостный знак симпатии предшествует большому: он точно желает показать, как ценит человека.

— Владимир Ильич, я прошу Белододеда высказать вам свое мнение непосредственно, — произнес Чичерин не без вызова, — передаю ему телефон.

— Здравствуйте, Владимир Ильич.,

Но ответа не последовало. Белодед лишь услышал, как загудела мембрана и голос, глухой и растекающийся, совсем не похожий на голос Ленина, произнес: «Четверть фунта... Четверть!» Больше ничего не услышал Белодед, кроме этих «четверти фунта», но Петр вдруг почувствовал, как тоскливый холод подобрался к самому горлу.

— Здравствуйте, товарищ Белодед! — вдруг услышал Петр голос Ленина совсем рядом и едва не обернулся. — Не находите ли вы, что немцы раскололись в своем отношении к нам, раскололись невиданно? Вы понимаете меня? Мирбах ими не отомщен... Вы понимаете меня, товарищ Белодед?

— Владимир Ильич, вы говорите о диверсии, котсрая возможна? — спросил Петр.

— Так мне кажется, — ответил Ленин.

— Тогда что делать нам, Владимир Ильич?

— Вот об этом вам сейчас и скажет товарищ Чичерин. Он положил трубку.

Петр взглянул на Чичерина: тот стремительно пересекал комнату — он был взволнован не меньше Петра.

— Так поняли, о чем идет речь? — спросил Чичерин, остановившись в дальнем углу кабинета, вид у Георгия Васильевича был воинственно-храбрый, по всей вероятности, то, что он намерен был сказать, имело прямое отношение к этому виду Чичерина.

— Смутно догадываюсь, — ответил Петр.

— Вы едете в Германию со специальной миссией.

— В Берлин? — мог только произнести Петр. Признаться, о такой перспективе он не мог и смутно догадываться, видно, в Берлине события действительно приняли неожиданный и обнадеживающе крутой оборот и в порядок дня ставилась... активная дипломатия.

Активная дипломатия? Какая же, к черту, здесь дипломатия, когда речь идет о революции в Германии? Бастует половина Берлина, по ночам поезда летят под откос, и снаряды вдруг отказываются взрываться, неуклюже плюхаясь в свежую землю прирейнских берегов, и лежат там в ложбинах и вмятинах, как годовалые свиньи в миргородских лужах. О какой дипломатии, даже активной, может быть речь, когда пришла революция?

— Значит, «летучий голландец» жив, Георгий Васильевич?

Чичерин взглянул на Петра, точно хотел сказать: «А я полагал, что столь несложная истина тебе доступна...»

— Придет время, и мы припишем вас, Петр Дорофеевич, к английскому, немецкому или турецкому столу, а стол этот ...якорь, — он засмеялся, отвел глаза. — А сегодня революция, и нам нужны дипломаты, которых не обременит ни наше доверие, ни трудность задачи... Короче, вы и советник и, если хотите, дипломатический курьер. Не ищите эту должность в табелях иностранных ведомств: ее придумала революция.

Петр заметил, что Чичерин обращался к этой мысли не впервые, при этом однажды и в разговоре с Репниным. Георгий Васильевич, очевидно, полагал, что оперативность является знаком революционного времени и Комисариату иностранных дел нужны дипломаты, у которых опыт и зрелость сочетаются со смелой настойчивостью.

Они сидят сейчас за журнальным столиком в дальнем конце кабинета, и Чичерин тянется к шкафчику, врезанному в стену.

— Простите, но проголодался я отчаянно. Не угодно ли кусок черного хлеба с сыром? Сознаю, этот бар знал лучшие времена, как сознаю и то, что он должен быть богаче у дипломата и теперь, но... кстати, была у меня здесь бутылка старого рейнского, привез друг газетчик из Риги. Пусть вас не смущает: не марочное.— Он извлек из шкафчика бутылку, она была без обычных в этом случае ярлыков, черная и неприятно обнаженная.— Сказал: пролежала в земле пропасть годов, и на стекле спеклись комья глины, драгоценной глины, которая вдруг становится драгоценной, когда укрепляется на бутылке со старым вином. Но до меня бутылка уже дошла чистой, впрочем, на качестве вина это не отразилось, вот убедитесь.— Чичерин пододвинул Петру бокал, налил, потом щедро плеснул себе — он был не большим любителем вина, и в эту августовскую ночь восемнадцатого года кусок черного хлеба с овечьим сыром был для него несравненно более насущным, чем бокал вина, даже вот такого экзотического.— Ну как... правда, букет отменный? — спросил он и, сознавая, что сказал нечто очень обычное, добавил: — Глоток хорошего вина да еще с таким великолепным бутербродом, как этот, дипломатии не противопоказан.

— Эта миссия действительно дипломатическая, — заметил Чичерин.— Нам стало известно — против нас готовится диверсия. Повод — Мирбах. Точнее, Советы не наказали убийц Мирбаха. Цель — разрыв отношений. Поход ведет юнкерство. Это могущественная сила. Но еще внушительней сила, которая юнкерству противостоит. (События развиваются, и одни силы тают, другие прибывают. Наши силы прибывают — это хорошо.) Необходимо выехать в Берлин и сделать нашу позицию достоянием Германии. Вот наша программа, как видим ее мы: политика, экономика, культура... Вы понимаете, свободный разговор, нет, не только с прессой, но и с аудиторией, встречи с людьми, обладающими влиянием.

Они встали. Петр видел, как Чичерин расставляет бокалы в шкафу — он это делал с той тщательностью, которая выдавала человека, знающего цену горькому холостячеству.

Петр не видел Елену больше недели. Она поставила Лельку на ноги и ушла. Ушла и больше не приходила. А чего ради она должна была прийти? Она оставалась у Белодедов лишь для того, чтобы вернуть жизнь Лельке. Сделала это и ушла. Иного дела у нее там не было.

Где-то неподалеку от храма Христа Спасителя он купил у старика в куртке железнодорожника букет гладиолусов и пошел на Остоженку. Уже по дороге вспомнил, что на днях вернулся из Вологды Репнин с женой и они могут встретиться. При всех прочих обстоятельствах он был бы рад этой встрече, но сегодня? Он постарается сделать, как в прошлый раз: постучит в окно. Кстати, уже стемнело, и это сделать легко.

Еще издали он заметил: окна распахнуты. Он подошел к крайнему справа и приподнялся на цыпочки. За окном было тихо. Захотелось, как это делают мальчишки, бросить цветы в окно и убежать.

Он окликнул ее и попросил выйти.

— Я хочу куда-нибудь далеко, — сказал он, когда она появилась в платице из светлого шелка с красной гарусной кофтой в руках.

Он сказал «далеко» и увидел лесистые уступы Воробьевых гор, церквушку на скате, мягко поблескивающую воду, неожиданно просторные поляны на берегу и старые дубы, дремучие, задумчиво-мудрые.

Они поднялись на высокий берег Москвы-реки, вышли на дорогу и далеко за заставой очутились в рощице, мокрой и топкой, потом в таком же мокром лесу, березовом да осиновом, с остролистой и жесткой травой, с озерцами непросыхающей воды, сейчас лилово-розовыми, под цвет предвечернего неба. Здесь повсюду было студено, осень шла в Москву по мокрым лесам. Лес дышал свежей смолой и сумеречностью.

— Сядем... вот здесь, — сказала Елена, указав на ствол старой березы, лежащей на самой опушке.

С поля тянуло студеным ветерком — с каждой минутой все ощутимее. Всю дорогу, пока они искали вот этот холм и эту березу, они говорили о Лельке. Петр полагал, что Лелька дала себя увлечь черному воинству, увлечь и обмануть. Петр не бранил сестру, но в словах звучали и боль и досада. Елена, наоборот, жалела Лельку, жале-

ла и оправдывала, видела во всей ее истории беду, которая могла стрястись и с ней, Еленой.

— Но если бы такая же история,— спросил он быстро,— приключилась с девушкой, живущей напротив вашего дома, вы пришли бы ей на помощь точно так же?

Она не сводила глаз со взгорья, над которым передвигался дымок — где-то за взгорьем была железная дорога, там сейчас показался поезд.

— Пришла бы...

— И осталась бы с нею на ночи и дни?

— Осталась бы!

Ее ответы, внешне бесстрастные, вызывали досаду. «Кривит душой?» — не мог не подумать он. Хотелось верить, что она осталась не просто из человеколюбия, а потому, что это были его дом, семья, сестра... он сам, наконец!

Она взглянула на него, и впервые в этот вечер он увидел ее глаза, непрестальные, затянутые ненастьем, которое делало эти глаза непривычно большими и странно печальными, безбоязненно открытые и честные глаза, и подумал: «Ну конечно же, она осталась бы! И дело не в Лельке — с кем бы ни приключилось несчастье, Елена вызвалась бы помочь. И как он мог подумать о ней иначе?» В эти месяцы потому так часто и так упорно думал о ней, потому искал встречи, потому и оказался здесь, в мокрых подмосковных лесах, что это была она.

— Человек должен понимать, что он не птица,— произнес Петр, не сводя остро-испытующих глаз с Елены.— Он не может так просто вспорхнуть и улететь.— Он продолжал смотреть на Елену, пытаясь установить, насколько хорошо она понимает его.— Человек обременен сознанием, словом, наконец, которое он дал, если у него даже нет на руке обручального кольца.— Взглянул он на золотой ободок, стянувший ее палец.

Он взял руку Елены и попытался снять кольцо — оно поддалось. Он вынес кольцо на свет. «Любовь — нет ее храбрее», — прочел он и, поймав себя на том, что прочел вслух, смутился.

— Это написала ваша мама?

— Нет, я.

— Ваш девиз? Что он значит?

— Жизнь,— сказала она.— Верность...— добавила задумчиво.

Она медленно подняла на него глаза, с трудом оторвавшись от сизой полоски взгорья, на которую смотрела; в этом взгляде было сейчас не много храбрости, он это понимал.

— Если пойти прямо, мы дойдем до станции,— произнес он, его дыхание пресекалось.

Она встала, не успев отступить, и плечо ее коснулось его руки. Наверно, и она понимала, как это страшно, она от него отпрянула, но он удержал ее, ощутив в ладонях ее плечи; если бы она попыталась защититься, уперев крепкие локти в грудь, он бы, очевидно, потерял голову. Но Елена была сейчас такой незащищенно робкой, в такой мере в его власти, что сама ее робость обратилась в силу и остановила Петра.

Они пошли навстречу дымку над горизонтом. Казалось, что от них к нему пролегла по полю прямая и открытая тропа. Но тропы не было, а было поле и луг, покрытый все той же мокрой осокой. Они сейчас шли лугом, шли все быстрее, не обращая внимания на то, что ноги давно уже были мокрыми. Дымок рассеялся и исчез; но гора все еще была видна, и они шли к ней, будто топясь упрятаться за ее теплую спину.

— Странное дело,— сказал он, стараясь приладиться к ее неширокому, но быстрому шагу.— Диву даюсь. Лелька с ее рыжей злостью вдруг признала вас.

Елена засмеялась, она не хотела скрывать, что ей приятны его слова.

— Вы говорите так, будто до меня был кто-то другой, кого она не признала.

Петр точно оступился.

— Она вам сказала?

— Нет, это я поняла из ваших слов.

— Вы хотите, чтобы я подтвердил?

— Нет, зачем же?

— Тогда извольте, был такой человек.

Теперь она пошла тише.

— Только ради бога... как говорит Патрокл: я хочу быть сама по себе.

— Патрокл? Вы обещали объяснить, почему Патрокл?

— А я, право, не знаю.— Она задумалась.— А может быть, знаю? Патрокл... Это же так на него похоже! Патрокл, верный друг Ахилла... верный, без страха...

Они добрались до Остоженки лишь к полуночи. Елене открыли дверь тотчас. Когда светлое платье Елены растушевалось в темноте и осторожно закрылась дверь, Петр поднял глаза к окну рядом и едва не отпрянул. В окне стоял Репнин.

## 108

Осень восемнадцатого года была еще тепла, когда упал снег. Он лежал на листве, не тронутый осенним багрянцем. Потом ветер сменился, небо поголубело, явилось солнце и тепло, на грунтовых дорогах взвилась пыль. О снеге вспоминали не без юмора: зима среди лета! Только зелень не воспринимала юмора — снег был не по ней. Листва, так и не приняв красок осени, пожухла и осыпалась, листья желтели на земле. Солнце и обнаженные деревья — поистине необычайной была осень восемнадцатого года.

В раннем снеге и белой замети вдруг стал зримым грозный лик русской зимы. Из черных посольских сундуков извлекали дохи и меховые шапки, обсыпанные нафталином, как инеем. Погасли огни на Дворянской в Вологде, опустело Осаново — дипломатическая Вологда подала в отставку. На запад, к Питеру, а потом резко на север, к Мурманску, по ломаной прямой, будто ее прочертили не по топи русского севера, а по белизне ватмана, ушел поезд с дипломатами. Только бы добраться до Мурманска! Мурманск — дверь в Россию и из России, распахнутая настежь. Еще короткий миг, и дипломаты выйдут в эту дверь, не отказав себе в удовольствии ею хлопнуть.

Вместе с черными посольскими сундуками со скарбом, вместе с коврами, обернутыми в рогожу, и ящиками с посольской посудой и серебром, вместе с тюками, кулями, коробами, узлами, полными посольского добра, из Вологды на север подался весь многоцветный и многоязычный сонм посольской знати и челяди, не исключая поваров, письмоводителей, священников, шифровальщиков, экономов и, разумеется, учителей русского языка.

У посла персональная языковая опека. Русскому языку его учит мадам Кноринг. Она не переоценивает данных посла и полагает, что он сделает успехи, если характер мадам Кноринг будет железным до конца. Не беда,



что педагогине за семьдесят и что образцом грации она считает Софью Федорову, а образцом мужской красоты Александра III. Главное — в железной воле старой женщины, в ее умении заставить трепетать своего почтенного ученика. В посольстве знают: никого посол так не боится, как мадам Кноринг. Когда поутру целеустремленная педагогиня появляется в посольстве и занимает свою позицию у выхода из квартиры посла, почтенный дипломат начинает метаться в своих апартаментах, как мышь, почувывая приближение кота: надо улизнуть от мадам Кноринг и нельзя — у квартиры одна лестница. Человек, перед кабинетом которого стоят в очереди промышленные, финансовые, земельные магнаты, человек, который не всегда ходит на прием к министру, предпочитая, чтобы тот являлся к нему, человек, чувствующий себя на равной ноге и с государем и с патриархом, пуще смерти боится красного карандаша мадам Кноринг и, получив тетрадку, расцветченную этим карандашом, спешит упрятать ее за три дверцы своего стального шкафа, как редко когда прячет наисекретные бумаги.

У мадам Кноринг есть мечта. Осуществись она, мадам Кноринг, пожалуй, обрела бы сознание, что прожила жизнь не напрасно. В сущности, этому была посвящена если не жизнь динамичной педагогини, то ее последние годы. Мадам Кноринг мечтает увидеть своего почтенного ученика произносящим речь. Разумеется, по-русски. Попытки были две, отчаянные. Первая: «Общность исторических судеб двух великих народов». Но это оказалось не по силам послу: не выдержала память — речь пресеклась еще до победы американского Севера над Югом. Потом была вторая попытка: «Общность экономических интересов». Силы посла иссякли еще до того, как речь зашла о поставке в Россию американских жатвенных машин, которые двинутся по полю, увлекаемые табуном лошадей. Но воля тщеславной педагогини не знала границ. Там, где посол готов был капитулировать, полная решимости мадам Кноринг продолжала атаку: «Общность военных интересов двух великих народов». Нет, рациональная мадам Кноринг заставит зайца зажигать спички! Пусть презренный заяц пишет русские слова хотя бы латинскими буквами, но речь произнесет!

А сейчас утро, посольский поезд, прибывший накануне в Мурманск, еще стоит на запасных путях, а бдитель-

ная педагогиня уже поместилась на черном сундуке, стоящем возле купе посла — как некогда на Фурштадтской в Петрограде и позже на Дворянской в Вологде. Ничто не может обмануть зоркости мадам Кноринг.

Но, кажется, произошло чудо, быть может, физиологическое, а возможно, педагогическое: посол заговорил по-русски! Уже давно ночь занавесила окна вагона светлыми северными шторами, уже давно сон сморил мадам Кноринг, и она тихо дремлет на своем черном сундуке, а посол бодр и полон сил. Он усадил перед собой всех, кто способен слушать: и секретаря-переводчика, и шефа посольского протокола, и лунного человека, и, разумеется, военного атташе. Нет, бывают же чудеса на свете: посол заговорил по-русски!

— Говорят, что мы в Мурманске потому, что сюда не только легко войти, но отсюда легко и выйти. Неверно!

Да, в речи, где русские слова изображены латинскими буквами, посол стремится убедить мятежную Россию в преимуществах старого порядка над новым. Посол уже может говорить об успехах союзнического оружия на русской земле! Британский крейсер «Атентив» расстрелял в упор береговые батареи острова Мудьюг и открыл войскам вход в Архангельск. От Мурманска до Архангельска, от Архангельска к Вологде, от Вологды к Москве! Сколько надо войск, чтобы взять Москву? Сто тысяч — более чем достаточно. А с востока идут чехи — о чехах забывать не надо! Правда, первые бои на пути к Вологде были наихудшими, но терпение и настойчивость все победят — на Москву!

Была осень восемнадцатого года.

Репнины решили, что Николай Алексеевич съездит на два дня в Питер — не все дела по переезду в Москву были устроены. Поезд был полупустым и ушел с опозданием на час. Москва осталась позади, обьятая дождливым мраком и туманом, совсем осенним. Медленно проплывали дощатые платформы подмосковных дачных станций, черные от дождя, похожие на плоты. Москва будто удерживала поезд силой своего притяжения, вот выйдет он за пределы магнитного поля и тогда наберет скорость.

Тревога, идущая исподволь, все нарастающая, от которой не убережешься, взяла в плен и Репнина — каза-

лось, что она, как прибывающая вода, подберется к самым шлюзам и сломит их... Перед отъездом в Питер Репнин говорил с Чичериным — Георгий Васильевич не скрывал, что после июльского взрыва не стало тише. Куда устремит Россию ее трудная судьба, по каким косограмм?

Где-то за Клином Репнин невольно прислушался к разговору, происходящему у окна. Наверно, говорил питерец, есть в говоре жителей северной столицы своя отчетливость, чуть-чуть торжественная. Голос был слышен даже тогда, когда человек переходил на шепот.

Трех фраз было достаточно, чтобы Репнин понял, что речь шла о событии, происшедшем в салтыковском дворце у Троицкого моста, который все еще был занят под английское посольство. История казалась необычной даже для петроградской хроники восемнадцатого года, которая не была бедна событиями. Чека получила сообщение, что в салтыковском дворце происходит нечто вроде конференции английских агентов. Дворец был оцеплен. Когда отряд чекистов проник в здание, то оказалось, что оно полно дыма — во дворце жгли бумаги. Не без опаски чекисты прошли вестибюль и вступили на лестницу, ту самую, на которой обычно встречал своих гостей Бьюкенен. Выступили знаменитые зеркала против входной двери — здесь дым был не так густ. Заветные три ступени и на этот раз преодолеть было нелегко — сработала система зеркал, и раздались выстрелы. Позднее выяснилось, что на лестнице, где было традиционное место Бьюкенена, стоял, обнажив пистолет, военно-морской аташе Кромби. Англичанин сразил наповал чекиста, идущего впереди. В следующий момент упал с простреленной головой и сам Кромби.

Репнин слушал рассказ незнакомца, и в памяти встали январский вечер восемнадцатого года, пестрая стая питерских аристократов, атакующая столы расчетливых англичан, беседа с сэром Джорджем Бьюкененом о путях новой русской дипломатии и руки сэра Джорджа, лежащие на столе без признаков жизни.

Репнин вышел в коридор. Незнакомец (нестарый человек в офицерском кителе с отпоротыми погонами) продолжал свой рассказ.

— Стены посольств уже никого не сдерживают, если огонь перенесен за их пределы! — произнес незнакомец. — Линия фронта пересекла апартаменты посла, и

«максимы» ведут огонь по кабинету первого советника! Вы улыбнулись иронически? — обратился человек в кителе к Репнину.

— Как следует из ваших же слов, не столько по апартаментам, сколько из апартаментов,— заметил Репнин. Человек в кителе смутился:

— А это уж как когда!

Дверь купе в дальнем конце коридора открылась, и вышел Кокорев, одетый необычно: пиджак, косоворотка, брюки в сапогах.

— Николай Алексеевич, нам с вами никак не разминуться! — произнес он, быстро приближаясь. — Еще в Москве до отправления поезда мне показалось, что я услышал ваш голос.

Действительно чудо, и не только по той причине, какую имел в виду Кокорев. Чудо в другом: разговор, который только что услышал Репнин, будто вызвал сюда Кокорева.

— Заходите, Василий Николаевич (время не обскачешь — Репнин может назвать Кокорева так), в купе я один. Вы надолго в Питер?

— Дня на три... Дзержинский там.

— События переместились? — спросил Репнин.

— Нет, почему же? Эпопея Локкарта достигла своей кульминации, Локкарт — это Хлебный переулок в Москве.

— Разве это все еще его адрес? — спросил Репнин.

— Нет,— ответил Кокорев.— С той ночи,— пояснил он.— Признайтесь, вы не очень верили, что Локкарт пойдет так далеко?

Репнин сел удобнее, опершись спиной о стену вагона.

— А я и сейчас принимаю это до определенного предела.

Кокорев не мог скрыть улыбки — он будто хотел сказать: «В известном возрасте человек нелегко расстается со своими заблуждениями».

— А вы знаете, что произошло?

Что имел в виду Кокорев? События в Хлебном переулке? Всю эту историю, которая пошла по Москве под названием «арест Локкарта»? Это имеет в виду Кокорев?

— Я хочу знать, что произошло,— сказал Репнин с той прямоотой, какая у него обнаруживалась не часто.

— У вас есть два часа, Николай Алексеевич?

— У меня есть ночь.

— Вряд ли от вас потребуется такая жертва,— сказал Кокорев и улыбнулся, улыбнулся рассеянно, думая уже о том, что намеревался рассказать Репнину.— Должен признаться, Николай Алексеевич, сомнения, и немалые, были и у меня. Все произошло, как вы знаете, в ночь на первое сентября. Когда во тьме встало это шестиэтажное здание в Хлебном переулке, очень плоское, зауженное, не без претензии на моду, я, признаться, подумал: почему Локкарт поместил свою резиденцию в многоэтажном доме, а не в особняке, как живут обычно люди его круга? Чем объяснить это: неискушенностью или желанием иметь по соседству таких, как он сам? А может, все от молодости, от щегольства и для него комфорт не роскошь, а потребность. Мне тоже нравятся эти новые дома, построенные в начале века,— их много в Питере на Каменноостровском. Есть в этих домах нечто от прогресса времени. Нет, не только лифт, паровое отопление, электричество — сам стиль дома, обилие стекла и камня, высокие потолки, простор... Этот шельма Баскаков был человеком расчетливым, он и хозяин, он и подрядчик: строит первый этаж, а подвал уже сдал в аренду, строит второй — сдал первый и так до самого неба, лишь бы фундамент был толстым, лишь бы основа устояла. Хоть он сдавал по этажам, а подобрал квартирантов один к одному: генералы в отставке, присяжные поверенные, крупные чиновники, знатные иностранцы. Я не знаю, жил ли здесь Локкарт, когда был вице-консулом. В доме один подъезд, и это облегчило нам задачу. Былой комфорт заметно поубавился в этом новом доме — восемнадцатый год! Лифт не работает, электричество на лестнице выключено, и свет от наших зажигалок поскакал по бугристому восьмиграннику, которым на лестничных площадках застеклены просветы. Вот так, размахивая зажигалками, пошли на пятый этаж. Шел, думал: как-то встретит Локкарт? Представьте, ощущение чисто психологическое: месяцы и месяцы держать человека в поле зрения, думать о нем день и ночь, знать его так, как, наверно, знают его немногие, и потом встретиться лицом к лицу в той своеобразной обстановке, в какой предстояло мне встретить его этой ночью. Стук в дверь, заспанный голос секретарши, узкий коридор, точно улочка в средневековом городе, и, совсем как в таком городе,

коробка уличного фонаря над головой вместо абажура. А потом разговор с Локкартом, который поднялся с постели так проворно, точно ждал нас еще с вечера, а мы запоздали и пришли за полночь. Как сейчас вижу, Локкарт сидит на оттоманке. Уши чуть-чуть оттопырены (он из тех, кого зовут лопухими), толстые губы сомкнуты, но дышит тяжело — видно, безнадежно простыл. Удушливо пахнет маслянистым кремом, которым смазаны его волосы... Разумеется, обыск очень тщательный. Нет, это не просто холостяцкая квартира, пожалуй, квартирант-контора с секретарем и слугами, которые живут тут же, квартира-штаб, где все шесть комнат, даже гостиная и спальня, не столько приспособлены для жилья, сколько для работы, где батареи полных и пустых бутылок, которые никуда не упрятать, в сочетании с такими же запасами сигарет и папирос свидетельствуют, что работа эта преимущественно ночная, где деньгами, и царскими и советскими в крупных купюрах, забиты ящики письменного стола, где пистолет и патроны лежат у хозяина квартиры под рукой... Это квартира — командный пункт, квартира-бивак, куда можно было явиться и по телефонному звонку и, что надежнее, по световому знаку в окне — дом стоит, как утес, окна пятого этажа видны издали, при желании их можно рассмотреть и с Поварской в любую непогоду. Последнее, что я увидел, когда обыск заканчивался, окна, уже тронутые предрассветным солнцем, желтое лицо Локкарта, зябко пожимающего плечами, и грудку денег на обеденном столе, именно грудку — такое количество денег можно увидеть только в банке. Кстати, позже я не раз возвращался в мыслях именно к этой грудке денег, — как показали последующие события, Локкарт дал этим деньгам работу.

Кокорев умолк — он завладел вниманием своего собеседника и мог позволить себе такую вольность. Он умолк и посмотрел в окно. Поезд шел просторным полем, безлесым и темным, только где-то далеко справа висело облачко тумана, видно, там было озеро.

— Простите, но для меня ваш рассказ... свидетельство не столько фактическое, сколько эмоциональное, — заметил Репнин осторожно. Он очень хотел выразить недоверие к тому, что рассказал Кокорев, но опасался это сделать определенно — боялся ненароком вспугнуть Кокорева. — Согласитесь, что, как ни любопытно эмоцио-

нальное свидетельство, в данном случае оно недостаточно...

— Я всего лишь протянул руку, чтобы развязать узел: сейчас вы увидите, как я это сделаю,— засмеялся Кокорев. Замечание Репнина не было для него неожиданным.— Я сказал, что и через две недели после этой ночи я все время видел невыспавшегося Локкарта и грудку денег на столе. Короче, он передал мешок этих кредиток человеку, который, как был уверен Локкарт, употребит их на захват Кремля... Надеюсь, Николай Алексеевич, что это свидетельство нельзя назвать только эмоциональным, в нем есть и фактическое зернышко?

— Значит, можно рассмотреть уже и финал истории Локкарта — Робинса? — спросил Репнин. Он продолжал считать эту историю примечательной для дипломатической хроники восемнадцатого года и хотел знать, как она завершилась.

— Если говорить о Робинсе, то кампания против него в прессе достигла точки кипения и, по слухам, он будет судим специальным судом сената...

Репнин молчал, хмуро глядя на Кокорева, который нехотя отвел глаза к окну. Поезд уже минул поле, и озеро с белым облачком тумана осталось позади. Теперь пошел лес, а вдоль него дорога, старая — сколько шин впечаталось в нее, сколько подков истоптало? Дорога шла рядом с поездом, не опережая его и не отставая.

Кокорев оторвал взгляд от окна.

— Наверно, пройдут годы, и Локкарт соорудит толстую книгу, в которой хроника восемнадцатого года, как она возникла перед ним, будет прослоена записями о собственных доблестях. И в этих записях осторожно, чуть иронизируя над временем и собой, Локкарт внушит читателю, как он был прозорлив и храбр.

— Вы полагаете, что он не был храбр?

— Нет, почему же,— тут же отозвался Кокорев.— Наверно, Локкарт был храбр и опасен, очень опасен, как только может быть опасен человек, поступками которого руководит авантюра. Но если говорить о доблестях, которые припишет себе Локкарт, то истины ради следует сказать, что они, эти доблести, преувеличены,— на мой взгляд, он нередко действовал непрофессионально.

Кокорев в очередной раз отвел глаза к окну: дорога была рядом, она шла перелеском и неглубокими оврага-

ми, обходила болотца и взбиралась на холмы, но не отставала ни на шаг.

— Простите, но в какой мере случай с Локкартом компрометирует дипломатию, даже английскую? — спросил Репнин. — Всегда было так: разведка разведкой, а дипломатия дипломатией. Есть неколебимые принципы английской дипломатии, опирающейся на традицию, — она ходит на своих ногах, костыли ей не нужны. — Репнин умолк, стараясь сосредоточиться и поточнее выразить свою мысль. — В какой мере сэр Джордж Бьюкенен должен отвечать за Брюса Локкарта? Да, в какой мере, когда всем известно, что Бьюкенен выехал из России в знак несогласия, в известной мере разумеется. — Репнину хотелось сказать еще многое, но он остановил себя, он умел остановить себя в тот самый момент, когда у эмоций оказывалось слишком много власти над ним.

— Вот я смотрю на эту дорогу и думаю: она вечна, — сказал Кокорев, все еще глядя в окно, будто истина, которая возникла в беседе, лежала в спекшейся глине дороги, в ее рытвинах и ухабах. — Не по этой ли дороге проехал Радищев? Помните: «Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение»? Помните?

Так вот почему он так долго смотрел на дорогу, идущую рядом! Смотрел, и дорога возвращала его к Радищеву, а радищевской ненавистью можно затопить всю Россию — она копилась века. Не Репнина ли видит Кокорев в помещике жестокосердом? И Николаю Алексеевичу пришло на память первое впечатление от Кокорева (нет вернее впечатления, чем первое!), когда они ехали той глухой ночью из репнинского дома в Смольный. Помнится, Кокорев заговорил о Зимнем и Петропавловке, и казалось, что он только что вышел из боя и все еще держит обнаженную саблю над головой. В Кокореве решительно есть что-то от фанатика — в его бледном лице, в блестящих глазах с косинкой, в седирах — фанатики седеют рано!

— «Употребление власти кружит голову» — это тоже... Радищев, — недобро бросил Репнин.

Кокорев засмеялся, он вдруг понял обиду Репнина.

— Но ведь у Радищева это сказано о коллежском асессоре, который зрил себя повелителем нескольких сотен себе подобных!



— Но у Радищева сказано и другое: ассессор происходит из сословия отнюдь не привилегированного, — заметил Репнин, ответив на смех Кокорева улыбкой, которая должна была свидетельствовать, что он понимает шутку.

Кокорев загремел своими сапогами — он собрался уходить.

— Можно подумать, что жестокий пламень Радищева обращен против коллежских, что в Любани, Спасской волости, Вышнем Волочке, Медном и Пешках — сплошные коллежские..

Кокорев сказал «Спасской волости» и «Вышнем Волочке», а у Репнина мороз пополз по коже. Ненависть к тому миру жива, и никуда ее не упрятать! Хотел ли сказать Кокорев то, что сказал, или у него вырвалось это невзначай, но Репнин умолк.

— Нам не надо обманываться, Николай Алексеевич, — миролюбиво заговорил Кокорев, точно сожалел о том, что разговор неожиданно обострился. — Дипломатии, как она сложилась в минувшем веке, уже нет. Дипломат ли Локкарт? Пожалуй, дипломат, но из тех, которые пришли в дипломатию в веке двадцатом. Нам не надо обманываться.

Кокорев ушел, а Репнин безнадежно потерял сон. Наверно, никто так не близок к истине, как солдат, узнавший, почем фунт лиха, — ничто так не обостряет чувства правды, как смерть, когда она рядом. Где-то Кокорев нащупал стержень проблемы, нащупал грубо, поручив Репнину добираться до сердцевины.

Английский дипломат покладист и уравновешен. Его позиция — счастливая середина между расчетом и умеренной фантазией. Он усидчив и тщателен. Он чужд презренной похвальбе. Он благороден, но никогда не играет в благородство. Он сговорчив, храбр и справедлив. Кто влушил все это Репнину? Не английские ли книги, посвященные доблестям дипломатии? Но вот задача: все это будто специально написано для того, чтобы не быть похожим на Локкарта. Это Локкарт... благороден, но никогда не играет в благородство? Это он сговорчив, храбр и справедлив? И не он ли, наконец, чужд презренной похвальбе? Нет, у дипломатии началась новая история, и учебники дипломатии, как науки ума и достоинства, должны быть переписаны.

Да в жестоком ли лемехе революции дело? Издавна

в мирной колеснице посольства коренным был посол, а пристяжными два его верных сподвижника — коммерческий и культурный советники. Все на своих местах: и легально, и благородно, и достойно. Разумеется, русская дипломатическая служба знала и иных советников, но их стыдились, как стыдятся в богатом доме бедного родственника, да никто и не считал их дипломатами. Что-то произошло в мире непоправимое, если коммерческий атташе стал мишенью насмешек (господи, какая может быть торговля, когда рушатся троны и карта мира изрезана в лоскутья!), а о культурном советнике просто забыли, будто он никогда не существовал.

Коренным все еще остается посол, но могучие пристяжные держат его на помочах, как держат больную лошадь, утратившую способность опереться на собственные ноги: справа от посла — советник от разведки, слева (именно слева, а не справа!) — советник от генерального штаба. Как хочешь, так и понимай. Собственно, в какой мере необходим в этих условиях посол и обязательно ли должен быть послом дипломат? При новой системе послом может быть человек, который в самых смелых своих мечтах видел себя туземным царьком, главой американских духоборов или, наконец, вожаком мафии, но только не послом, а стал именно послом. Дипломатия становится машиной, а посол всего лишь винтиком, главное, чтобы винтик был — в дополнительном запасе прочности нет нужды, машина будет работать.

Другое дело советник от разведки или советник от генерального штаба. Нет, многомудрость нашего века в этих людях с неизменно посеребренными висками и розовыми лицами, в их кастовости, в их патриархальности, в их откровенном пренебрежении к штатским, в их знании истории, истории — не философии!

Утром, когда поезд пришел в Петроград, Репнин вышел на перрон вместе с Кокоревым. Казалось, и Кокорев не спал: шаг был тих, лицо серо-желтое, под цвет неярких питерских камней.

— Вы помните наш разговор о копье? — спросил Кокорев.

Разумеется, Репнин помнит этот разговор, но какой смысл Кокорев пытается придать словам о копье сейчас? Не о том ли он говорит, что убиты Володарский и Урицкий, тяжело ранен Ленин?..

— Невозможно отразить удар, не взяв в руки оружия, Николай Алексеевич,— сказал Кокорев.

Вот Кокорев и пошел по последнему кругу: все, о чем не может он сказать Елене, он говорит Репнину.

На площади у вокзала они расстались.

— В Москву послезавтра? — спросил Репнин.

— Может, и послезавтра, но только не в Москву, Николай Алексеевич.

— В Вологду? — улыбнулся Репнин.

Кокорев помолчал.

— Нет... в Архангельск.— Он снял свой кожаный картуз.— Кланяйтесь... Елене Николаевне.

Так вот куда устремил свои стопы Кокорев! В тревожную тьму севера, в Архангельск, за пределы кордона, который стал с некоторого времени огненным. «Кланяйтесь... Елене Николаевне». Да не в этой ли фразе приязнь к Репнину, которая при всех взрывах была у Кокорева прочной, приязнь и, пожалуй, доверие?

Репнин сошел с тротуара, пытаясь рассмотреть входящего Кокорева, но тот уже не был виден.

## 109

Чичерин сообщил Репнину, что их приглашает к себе Ленин. Для Репнина это было неожиданно: лишь третьего дня Ленина впервые видели на улице. Его рука была на перевязи, он шел нетвердо, обратив улыбающееся лицо к солнцу. Если в таком состоянии он хочет видеть Репнина, значит, дело не терпит отлагательства. Николай Алексеевич условился с Чичериным направиться в Кремль вместе, однако Георгия Васильевича вызвали туда еще утром и он не возвращался в наркомат весь день. Нет, все указывало, что происходит нечто необычное.

Чичерина в Совнарком не оказалось, как, впрочем, не было там и Ленина. Пришел секретарь и сказал, что Ленин хотел бы остаться этот вечер дома и просит Репнина к себе, кстати, Чичерин уже там.

Девушка в просторной бумазейной блузе повела Репнина по длинному коридору, мимо солдата, сидящего на табуретке, с огромной трехлинейной винтовкой в руках, мимо шкафа с книгами, мимо человека в кожанке, задумчиво раскуривающего трубку, мимо женщины в пен-

сне, замершей над раскрытой тетрадью, к дальней двери, где находилась квартира Ленина.

— Простите,— произнесла девушка, приглашая Репнина войти.— А как скоро будет товарищ Белодед?

— Право, не знаю,— сказал Репнин, а сам подумал: «Однако не предполагал я увидеть Белододеда сегодня».

Репнин готовился войти в просторные апартаменты, заполненные сумерками, с высокими орехового дерева панелями, со стенами, оклеенными тисненой кожей, а увидел небольшую комнату со столом под клетчатой скатертью, уставленным разномастной посудой, и в пролете раскрытой двери другую комнату, очевидно спальню, с кроватью, застланной пледом.

— Это ты, Николай? — Репнин услышал мягкую поступь Чичерина, и в следующую секунду Георгий Васильевич появился в дверях.— Не припомнишь ли,— заговорил он, и Репнин ощутил в ладони некрепкую, заметно податливую руку.— Не припомнишь ли, Британский музей давал книги на дом?

— Да, да, давал на дом? — послышался голос Владимира Ильича из соседней комнаты. Ленин медленно поднялся с кресла, опершись правой рукой о подлокотник — левая была на перевязи.— Я не могу припомнить, чтобы брал книги на дом,— он поклонился Репнину и, все так же опираясь на подлокотник, медленно опустился в кресло.

— Я проработал в библиотеке музея год и, очевидно, воспользовался бы этой возможностью, если бы она...— Репнин запнулся, ему явно не хотелось отдать предпочтение кому-либо из спорящих.— Если бы она имела место,— заключил он.

— Я же говорил! — возликовал Ленин, ему было приятно, что память не подвела его.— Нет, нет, Георгий Васильевич, я претотлично помню: не давали, не давали!

Он произнес «не давали!» так, будто связывал с этими словами больше, чем исход спора,— каждой страсти он отдавал всего себя.

— Хорошо помню, что проштудировал том Бисмарка, который только что вышел, проштудировал от корки до корки,— произнес Ленин, указывая взглядом на кресло подле себя и приглашая Репнина сесть.— И каждый раз,— продолжал Владимир Ильич,— когда приходил в библиотеку, возвращался к странице, которую закончил

накануне. Кстати, у него есть великолепное высказывание о дипломатии творческой и догматической.

«Ну вот мы обогнули землю и благополучно вернулись на прежнее место! — решил Репнин. — Спор о дипломатии творческой и догматической продолжается». Репнин огляделся. «Сейчас придет Белодед, и я ввяжусь в этот спор», — подумал он и тут же услышал, как комната вздрагивает от размеренных шагов; разумеется, это был Белодед.

— Нет-нет, мы вас не ругали. Но через одну минуту начали бы ругать, — заметил Владимир Ильич, подавая руку Белодеду. — Не правда ли?

— Да, а заодно и меня, — Репнину стоило усилий взглянуть сейчас в глаза Петру: пришла очередь Репнина отвечать на рукопожатие Белододеда.

— Дипломатия и революция никогда не состояли в законном браке, — сказал вдруг Ленин.

— Там, где революция, много ли дела у дипломатии? — спросил медленно Репнин. Ему казалось, что замечание Владимира Ильича адресовано ему.

— Нет, наоборот, но они никогда не шли рука об руку, — заметил Ленин.

— Не шли, но должны идти! — живо реагировал Чичерин и подошел к книжной полке. Он не терял надежды вернуться к спору о Британском музее.

— Да, разумеется, — задумчиво произнес Ленин, обращаясь к собеседникам и осторожно перекладывая здоровой рукой руку на перевязи. Он готовился к обстоятельному разговору и хотел занять позицию удобнее. — Нет, речь отнюдь не будет идти о том, чтобы дипломатия пришла на помощь революции. — Ленин теперь уже прямо смотрел на Репнина: то, что он намеревался сказать, он хотел высказать именно Репнину. — Наше представительство в Берлине активно, однако его активность имеет свою тенденцию. Пока я болел, я перечитал депеши нашего посла в Берлине, и у меня создалось впечатление... Короче, круг людей, с которыми общаются наши дипломаты, мог бы быть шире.

— Вы полагаете, Владимир Ильич, — нетерпеливо откликнулся Петр, — что мы игнорируем связи с пролетарским Веддингем?

Ленин улыбнулся.

— Только ли с ним надо говорить? — Он сделал паузу.

зу, раздумывая, как точнее ответить на вопрос Петра.— Мы, как мне кажется, повернулись спиной к аристократическому Берлину.

— Но это так естественно, Владимир Ильич,— сказал Белодед.

— Очевидно, естественно, как все, что определено нашими эмоциями, но верно ли?

Репнин смотрел сейчас, как Ленин укладывал большую руку; он еще не все сказал.

— Но берлинские аристократы могут и не пойти в дом с красным знаменем.— Белодед начинал понимать замысел Ленина, однако продолжал настаивать на своих возражениях.

— Но, может быть, тогда надо пойти к ним? — сказал Ленин.

— Оттого, что я пойду к ним, дело не изменится, Владимир Ильич,— произнес Белодед, улыбаясь.

В этот раз пауза была достаточно долгой — ключ беседы находился здесь.

— Да, речь идет именно об этом,— сказал Ленин.— Положение в Берлине напряженное. Этот германский ответ Вильсону о новой конституции весьма красноречив. Все решится в ближайшие три недели, и мы не можем больше быть в неведении.

Репнин понял: Ленин говорил о его поездке в Берлин, поездке неотложной. Возможно, когда эта идея родилась, в берлинскую миссию должен был войти и Белодед (речь шла и о Вединге). Сейчас положение менялось. К радости Репнина? Но, быть может, и к радости Белододеда?

Репнин поднял глаза и вновь встретился с взглядом Белододеда, упрямо-пасмурным, испытующим. И вновь ему показалось, что Белодед думает не о Берлине, а об отношениях с семьей Репниных, и вновь, как прежде, Николаю Алексеевичу стало бесконечно жаль Елену.

— Насколько я понимаю,— сказал Репнин,— нам предстоит решить вопрос практический.

— Да, именно практический,— поддержал Ленин, остановив большую руку на весу; каждый раз, когда он забывал о руке, боль напоминала о ней.— Я говорю о вашей поездке в Берлин.— Он обратил взгляд на Белододеда.— Вам, Петр Дорофеевич, мы дадим другое направление.— Он перевел глаза на Репнина.— В Берлин,— произнес он твердо.

Репнин задумался: вот этого он как раз и боялся, когда шел. Берлин пугал своей таинственностью. Ленин был прав, когда говорил, что чувствует приближение грозных событий в Берлине. Чем еще поразит мир угрюмая тевтонская доблесть? Что греха таить, дело там может повернуться так, что Репнин окажется в положении человека, который никого не представляет. Но как об этом сказать сейчас? И потом этот взгляд Белододеда, все такой же упрямо-сумрачный, он и требует и предупреждает. Но какое значение для Репнина может иметь этот взгляд и в какой мере он перед этим человеком в ответе?

— Если говорить откровенно, я не хотел бы ехать в Берлин,— сказал Николай Алексеевич.

— Простите, почему? — спросил Ленин.

— Можно подумать,— произнес Репнин,— что среди русских людей теперь в Берлине именно меня и не хватает...— Репнин запнулся.— Буду откровенен: эта миссия требует доверия, которого я не имею и иметь не могу,— сказал Репнин, чувствуя, как ветерок волнения проник в грудь — подобного он еще не говорил в этом кругу.

Было такое впечатление, что этой своей репликой Репнин поставил в нелегкое положение и Ленина.

— Если вам поручается эта миссия, очевидно, доверие, о котором вы говорите, есть...— возразил Ленин.

— Я дипломат и люблю смотреть в будущее, не обманывая себя: каждое доверие... относительно,— подхватил Репнин.— Может получиться так, что я буду лишен возможности снестись с Москвой и стану островом в море, отнюдь не добром.

— Вот и отлично,— сказал Ленин.— Будете действовать, как велит вам... ваше понимание долга.

«Нет, сегодня не избежать спора с Белододедом! — подумал Репнин.— Все идет к этому».

— Я не скрою,— сказал Репнин, глядя на Белододеда,— что у меня свое понимание того доверия, которым дипломат должен обладать, и ответственности, которую он в этой связи несет.

— Какое? — спросил Ленин.

— Я считаю, что дипломат не должен себя ставить в положение острова в открытом море.

— Но если он все-таки оказался в таком положении?

— Сделать все, чтобы им не стать.— Репнин смотрел на Ленина, тот молчал, что-то обдумывая.— Я не скрою, у меня был спор, спор жестокий, с Петром Дорофеевичем.

Ленин рассмеялся и, осторожно поднявшись, пошел по комнате; казалось, вместе с хорошим настроением к нему вернулось и здоровье.

— Меня это действительно начинает увлекать.— Он оглянулся, и улыбка осветила его лицо.— Что же сказал Петр Дорофеевич?

Белодед взлохматил черные вихры.

— Я сказал: завидую дипломатам семнадцатого века, их отделяли от столицы полосатые столбы и месяцы нелегкого пути.

— И что же из этого следует?

— Практически дипломат лишен был возможности сообразовать свое поведение с точкой зрения третьего лица.

— Третье лицо — это... правительство? — спросил Ленин весело. Он продолжал шагать по комнате.

— Может, и правительство,— ответил Петр невозмутимо.

— Прелюбопытно,— заметил Ленин.

— А коли так, дипломат, не став островом, должен быть готов им стать в любую минуту. Он должен быть готов к тому, что не сможет послать депеши, снарядить дипкурьера, призвать в советники или в свидетели коллегу. Он сам, его сознание, его опыт будут в этом случае министерством иностранных дел, сам себе он будет посылать депеши и отвечать на них, отвечать на них и за них. Ведь может произойти, например, такой чрезвычайный случай: посольство подожжено...

— Ну, случай действительно чрезвычайный,— улыбнулся Ленин.

— Но и он не исключен, этот случай,— ответил Петр.— Посольский особняк уже объяло пламя. Надо спасать и людей и бумаги... Особняк обложила толпа, режут сирены — они требуют впустить их в пределы посольства и погасить пожар. Но мы же знаем, что значит тушение пожара. Особняк с той целью и был подожжен, чтобы его разрешили потушить людям с улицы! Все средства связи в посольстве давно выключены, и до Москвы достучаться мудрено. И вот постарайтесь на секунду



влезть в шкуру посла! На острове он?.. На острове, да еще каком!.. Что делать?.. Сидеть и ждать депеши из Москвы или, полагаясь на свой ум и храбрость, действовать? Что делать послу?

— Разумеется, такое возможно,— произнес Репнин спокойно: то ли волнение Петра не передалось ему, то ли он его умело не обнаружил.— Но ведь из частных никогда не выводят закона, Петр Дорофеевич.

— Все, что составляет жизнь, Николай Алексеевич, не частность! — откликнулся Петр горячо.— Доверие — вот что необходимо дипломату! Это право должно быть дано дипломату декретом. Дипломат должен иметь возможность действовать без оглядки, только в этом случае он сумеет быть полезным стране в той мере, в какой позволяет его ум, опыт, талант...— Петр умолк и взглянул на Ленина, который медленно приближался к дальнему концу комнаты. Наступившее молчание заставило Ленина обернуться, их взгляды встретились.

— Ну, насчет декрета вы это... слишком,— произнес Ленин и неожиданно взглянул на Репнина.— Мне бы хотелось, чтобы вы были в Берлине еще в октябре. Впрочем, это уже детали, не так ли, Георгий Васильевич?

— Да, конечно,— ответил Чичерин. Спор между Репниным и Белодедом поверг его в раздумье.

Петр спрашивал себя: что могла означать последняя реплика Ленина? Одобряет он точку зрения Петра или отвергает? Петр хотел думать, что в этом споре с Репниным Ленин отдавал предпочтение мнению Петра. Белодед хотел убедить себя в этом, очень хотел. Если таких оснований не давала последняя фраза Ленина, фраза осторожная, то эти основания, как думал Петр, давала жизнь Ленина, опыт его жизни, цель, к которой она была устремлена. Петр знал письмо Ленина, адресованное, кажется, послу в Германии. Оно недвусмысленно предупреждало, что без ведома и разрешения наркома иностранных дел послы не вправе делать решающих шагов. Но разве это предупреждение противоречило тому, о чем сейчас говорил Петр?

— Я могу подумать,— сказал Ленин,— что вы затеяли весь этот спор, чтобы... Как это называется в дипломатии? — обратился он к Чичерину.

— Навести на ложный след, Владимир Ильич,— усмехнулся Чичерин добросердечно.

— Вот именно,— мгновенно подхватил Ленин.— Вы нас вовлекли в спор, чтобы отвести удар от себя,— произнес он, адресуясь к Белодеду.— Однако мы предупредили удар и нанесли ответный! Получайте: вот он! — Ленин на минуту умолк, собираясь с мыслями.— В ответ на арест Локкарта английское правительство... Подскажите мне эту вашу дипломатическую формулу...— обратился Ленин к Чичерину.

— Чинит препятствия! — весело реагировал Чичерин.

— Именно: чинит препятствия деятельности нашего представительства,— подхватил Ленин серьезно.— В итоге поток информации из английской столицы остановился. Да, именно остановился. Поставлена плотина, русло высохло, мы все ощутиее испытываем жажду. Короче, вам надо выехать в Лондон, как некогда, взорвать плотину. И еще одно: надо помочь... Папаше,— так Ленин называл Литвинова.— Подробнее поговорите с Чичериним.

Петр мог ожидать всего, но только не этого: Лондон! Точно кто-то легко и нетерпеливо ударил в грудь. Что греха таить, это был щадящий, больше того, радостный удар. Нет, не только потому, что это был Лондон, не только потому, что надо было взрывать плотину, а следовательно, сражаться, что было и оставалось для Петра великим счастьем, но еще потому, что эта поездка обещала встречу с Кирой. Петру стало вдруг страшновато: не позже как через две недели он увидит ее, взглянет ей в глаза — глаза не врут, только глаза не врут.

— Время не ждет — мы не можем дать вам на сборы и двух дней,— сказал Ленин, а Петр подумал: «Он мог бы спросить, согласен ли я ехать в Англию, но это, наверно, было бы лицемерием; совершенно очевидно, что я не могу отказаться, не должен, не имею права. Кому не понятно, что я не могу отказаться?»

— Я выеду завтра.

Вечером он сказал Елене об отъезде.

Они долго бродили по далеким и ближним аллеям Нескучного сада, потом он позвал Елену к себе, дал ей комплект «Нивы» за девятьсот второй год, который накануне купил на развале у Китайгородской стены, а сам по давней привычке закатал рукава сорочки, надел фартук матери и ушел на кухню. Елена слушала, как он

орудовал там ножами — в этих звуках был свой ритм, веселый, исполненный доброты и охоты. Потом из кухни донеслось аппетитное шипение и запахи, один вкуснее другого. Это воистину было чудо, одно из чудес, которые мог явить только он. Гора крупно нарезанной жареной картошки, гренки с нежно-румяной корочкой, пучок зеленого лука, который, как хорошо знала Елена, не выводелся в белодедовском доме круглый год, чай с молоком. А он сидел рядом большой, сияющий, довольный, что нехитрой этой трапезой порадовал ее.

А часом позже они стояли в саду под молодой, но рослой яблоней, на которой в эту позднюю осеннюю пору чудом удержались листья, не без опаски смотрели на дом, где одно за другим зажигались окна (видно, мать вернулась и не могла понять, куда делся Петр и гостя), и он говорил о поездке в Лондон, говорил и ждал: сейчас она спросит о Кире, сейчас обязательно спросит. А она и не думала спрашивать.

— Меня мучит вопрос,— поднесла Елена руку ко лбу, ее кольцо слабо блестело.— Все хочу спросить вас: вот такой, какой вы есть... могли бы вы лишиться жизни человека?

— Ничего не понимаю... К чему это вы?

Елена не отняла руки ото лба; посветлело, и кольцо загорелось ярче.

— Мне важно знать: могли бы?

Петр вдруг вспомнил разговор с Кокоревым в вагоне, идущем на фронт. «Этот вопрос она тогда задала Кокореву, задала и сразила его. Не пришел ли теперь мой черед?»

— Разумеется, мог бы.

— Вы сказали это с такой готовностью, будто все это у вас было?

Петр нахмурился.

— Было! — вдруг вырвалось у него.— Лишил, как вы говорите, жизни... человека!

Елена отняла руку ото лба, посмотрела на Петра с безбоязненной печалью.

— Хорошо, что я узнала такое о вас.

— Вы даже не спросили, что это был за человек,— сказал Петр.

— Это как раз не важно. Достаточно, что он был человеком.

Она подумала, почему же она не говорит Петру всего того, что сказала в тот раз Кокореву? Почему она медлит: то ли отваги в ней стало меньше, то ли ей недостает теперь честности? Почему то, что она сказала тогда Кокореву, не говорит она Петру?

### 111

А Репнин, выйдя от Ленина, не торопился покинуть Кремль. Подняв глаза, он вдруг увидел артиллерийские стволы у стен арсенала, ярко-черные от только что прошедшего дождя. Репнин видел эти стволы, когда много лет назад приходил в Кремль с дедом. И ему показалось, что сегодняшний день до боли, до внезапно остановившегося дыхания, до толчка в груди похож на тот далекий день его детства, когда он шел с дедом по свежей траве Кремля, входил в сумерки Архангельского собора, смотрел на Ивана Великого, как чудилось Репнину, чуть наклоненного, готового рухнуть и все-таки неколебимо устойчивого. И оттого, что эти два дня, сегодняшний и тот, далекий, неожиданно повторили себя в сознании Репнина, на память пришло нечто такое, что никогда бы не вспомнить. «Храбрость должна быть прикрыта умом, как кольчужкой...» Эти кремлевские камни дышат холодом: за недолгое московское лето солнце не успевает добраться до их сердцевины. Вот Репнин и бросился в пучину событий, и поток подхватил и увлек. «Упаси бог ей быть короткой...» Куда донесет его этот поток?

Репнин вернулся домой. Дом был темен, только окно Ильи освещено.

С тех пор как в доме появилась Настенька, как показалось Николаю Алексеевичу, брат преобразился. И не то, что его дежурный платочек в пиджачном кармане стал ослепительнее, нечто неуловимое произошло в строе жизни Ильи. Ко всему, что происходило в доме, он обнаружил интерес, какого никогда у него не было прежде, ближе стали ему заботы по дому. Он принялся вдруг окапывать деревья, привел в порядок изгородь и ящики для цветов, высадил флоксы. Он возвращался из сада в дом раскрасневшийся, заметно возбужденный, надолго уходил в умывальную комнату, видно, мылся не без удовольствия, и не однажды опаздывал к обеду с очевидным желанием, чтобы ему накрыла стол Анастасия Сергеев-

на. Младшего Репнина это и умиляло и чуть-чуть беспокоило. Он про себя журил жену: «Всему виной эта ее улыбочка — влюбится. Илья, беды не миновать...» Репнин хотел было поговорить с женой, но потом раздумал: «Чего доброго, поймет неверно, — нет...» Решил дождаться очередного разговора с братом и полусерьезно-полусерьезно сказать... Шутка, что бронебойная пуля, — любое железо возьмет. Дождался однажды, сказал: «Вот гляжу на твоё бобылье житье-бытьё, и тоска берет: а не сыграть ли нам ещё одну свадьбу?» Илья хмыкнул, как показалось Николаю, иронически-недоуменно: «Ты обо мне?» — «Да, конечно». — «Нет». И пуще прежнего затревожился младший Репнин: «Надо поговорить с женой — ох, эта её улыбочка до добра не доведёт».

А не зайти ли сейчас к Илье — не спит Пимен, кропает летопись — и у него страдная пора. Дверь в комнату брата полуоткрыта, точно тот приглашает Репнина войти. Негасим белый лист на столе, наполовину заполненный круглым и крупным почерком Ильи, однако Ильи нет — видно, вышел на веранду хлебнуть вечерней свежести, взглянуть на небо. А почерк у Ильи действительно круглый и крупный — нужно усилие, чтобы оторвать глаза от него. «Неумолима логика этого года — огненного года. Союзники проломили линию германцев — все решится в эти два месяца. Не хочу быть провидцем, но, кажется, провидцем буду: есть одна цель, способная примирить страсти, сплотить воедино недавних недругов, — поход на восток... Не хочу быть провидцем, но буду им... Ненависть сплавивает». Нет, действительно надо усилие, чтобы оторвать глаза от круглых строк. Они накатываются на тебя...

Репнин круто повернулся, пошел вон из комнаты, в дверях стоял Илья.

— Ты прочел?

— Прочел.

— Не хочу быть провидцем! — засмеялся Илья.

— А ты им и не будешь, — сказал Репнин-младший.

— Буду! — почти воскликнул Илья, он был воинственно-радостен сегодня... — Не я провидец — история!

— У нее привилегия перед тобой?

— Если хочешь, привилегия — она более цельна, чем я: сегодня у нее успех частный, а завтра Берлин... Не было в природе еще такого вала.

— Берлин не Москва,— сказал Репнин.

— Не обманывайся, будет и Москва.

Только сейчас Репнин подумал, что не сообщил брату о поездке. Подумал и не пожалел. «Время не праспело,— решил он.— Праспеет — скажу».

Николай Алексеевич прошел в свою комнату, нащупал край софы, сел. Не хотелось зажигать свет. Никогда Илья не был так решителен, так весело лих, как теперь. Кажется, даже неудачи с сыном не могли повергнуть его в уныние. Небо его надежды было не так уныло, тучи рассеялись. «До Берлина они будут идти одни, дальше пойдут с немцами!» — вот смысл его записи. Он так и сказал; «В природе еще не было такого вала...» Репнин не мог отказать брату в логике: все могло повернуться так, как говорил Илья. «В природе еще не было такого вала...» Значит, Репнину предстояло пойти навстречу этому валу, наперекор... И вновь припомнились слова деда о кольчужке; «Упаси бог ей быть короткой...»

Ночью Репнин сказал Настеньке о предстоящем отъезде. Тревога, вызванная поездкой в Берлин, теперь, когда он рассказывал об этом жене, как-то раздалась и опала. Осталось только ощущение единоборства с Петром и беспокойство за Елену. «Что-то в нем и открыто радушное и скрытное, скрытное в этом радушни...» — сказал он о Петре. Окно на улицу было распахнуто. Сквозной ветер, по-осеннему холодноватый, входил в комнату, прохладными ладонями касался плеч, охлаждал шею и тело. Настенька лежала безгласная, покорная и странно радостная.

— Да скажи ты... хотя бы слово,— вымолвил Репнин.— Что с тобой?

Она засмеялась — в смехе были и хорошее настроение, и озорство, и тайная мысль.

Он призыв к этой ее реакции, неожиданной, нередко противной логике. В самом деле, какая причина для радости и тем более для озорства, когда Репнин едет в Берлин?

— Я знаю,— заметил он.— У тебя произошло что-то.

Она взяла его руку в свои ладони, поднесла к губам. Он чувствовал, как пынут жаром губы, жаром и горячей влагой. Она положила его руку себе на плечо — оно казалось ему сейчас более хрупким, чем обычно. Она охватила его ладонью свою шею и передвинула ладонь.

себе на живот. Она накрыла его руку своей, и он почувствовал, как кожа ладони стала чуткой.

— Слышишь... вот это и есть Вологда,— сказала она и замерла.

— Вологда? — На какой-то миг он затих, пытается проникнуть в смысл слов, очень тайных, на какой-то миг, потом все понял.— Вологда! — И он вспомнил то утро, когда она пришла с реки чуть-чуть озябшая, с руками, облитыми речной прохладой, и вдруг разогрелась и ожила, такая родная.— Вологда!

И он вдруг подумал, что в этой горячей тьме, которая так туго перепеленала землю и которую не потревожить никаким сквозным ветром, проклевывалась, рвалась к свету и набиралась сил новая жизнь.

— Вологда, Вологда...— говорил он, целуя ее, и ловил себя на мысли, что ведет себя так, как никогда не вел, безнадежно растеряв где-то по дороге от себя к Настеньке все, что было сущностью и натурой его.

Она остановила его, коснувшись рукой щеки.

— Слышишь?

В ночи, нет, не на улице, а в доме, быть может, вот за этой стеной играл граммофон, играл негромко, опасаясь потревожить сон большого дома.

— Да не Елена ли это? — Настенька приподнялась на кровати.— Елена... одна? — Настенька оживилась.— Я хочу посмотреть!

Она быстро оделась и выпорхнула из комнаты. Репнин вдруг услышал ее смех, в этот раз нескрываемо ликующий, и все ту же танцевальную мелодию. Не часто в репнинском доме в полночь устраивались танцы. Репнин оделся так, точно выходил из дому (полуодетым он никогда не покидал своей комнаты), прошел в столовую. Дверь в гостиную действительно была полуоткрыта, и по лепному потолку, смешно переломившись, скользили тени танцующей пары. Репнин шагнул к двери и едва не отпрянул. У окна сидела Елена, а Настенька, возбужденная, с раскрасневшимся лицом, двигалась в веселозадорном вальсе с Петром. Признаться, Репнин готов был ко всему, но только не к этому. Он стоял в темноте, прислушиваясь к стонущему голосу граммофона. «Ничего не произошло,— говорил он себе.— Ровно ничего не произошло, все в ее характере, всего лишь в ее характере, и тебе пора к этому привыкнуть... пора...»

Анастасия Сергеевна получила письмо из Христиании. Письмо было корректным, даже ласковым. Жилль просил Настеньку встретиться с настоятелем храма святой Екатерины. Она не хотела делать тайны из беседы с настоятелем, наоборот, полагала, что разговор будет тем пристойнее, чем ближе к нему окажется ее дом. Настенька сказала Репнину, что хотела бы встретиться с Рудкевичем у себя, даже если настоятель будет не один. Репнин спросил Настеньку, желает ли она, чтобы он, Репнин, был дома. Она не знала, что ответить. Ему показалось, что она хотела быть дома одна.

Когда, по мысли Настеньки, до встречи оставалось добрых минут пятнадцать, она увидела у себя под окном трех извозчиков и целую стаю духовных и статских лиц, которые, точно серые гуси, медленно шествовали к дому. Вместе с Рудкевичем их было шестеро, все почтительно-корректны, молчаливые, с внимательными глазами.

В гостиную, где ожидала их Настенька, первым вошел отец Рудкевич, как обычно, осиянный с ног до головы своей добрейшей улыбкой, за ним неторопливым чередом, едва ли не нога в ногу, все остальные.

Представлял их Рудкевич, представлял с тем светским изяществом, какое было свойственно ему всегда:

— Действительный статский советник Малама, Донат Степаныч.

— Тайный советник фон Бедигер, Федор Иваныч.

— Титулярный советник Лозино-Лозинский, Николай Осипович...

Баки, полубаки, усы а-ля Блерио, подусники, еще раз баки с полубаками...

У стола устроились удобно, точно разговор, который их ожидал, мог затянуться на день. Рядом с собой Рудкевич посадил того, кто был назван Федором Ивановичем фон Бедигером. У Бедигера были рыжие усы и животик, крепкий и изящно округлый. Впрочем, желтый портфель, который он держал в руках, был таким же крепким и изящно округлым. Рудкевич скосил на него белые глаза, Бедигер понимающе пожал плечами и мигом выложил на стол стопку бумаг и увесистый фолиант, заключенный в красный шелк, — он сделал все это так



быстро, что первое время казалось непонятным, откуда он извлек фолиант: из портфеля или из-под матово-черного сукна пиджака.

— Достопочтенная Анастасия Сергеевна,— произнес Рудкевич.— Мы потревожили вас, чтобы просить вас соблюсти некоторые формальности, вытекающие из вашего брака...— Он взглянул на Бедигера, точно прося его согласия на безобидную эту фразу.— Вам предстоит подписать два документа.— Теперь он взглянул на господину с седыми подусниками, которого за минуту до этого назвал Донатом Степановичем Маламой, и тот в знак согласия покорно опустил глаза.— Вот первый документ, быть может, вы о нем не знали, а может, и знали.

Перед Настенькой лежал акт об отказе на владение экономией в Христианин.

— Каменный особняк, два флигелька, мельница...

«Да, да, именно мельница, ее фотография стояла на письменном столе мужа... Господи, да неужели это все существует в природе и я к этому имею или, вернее, имела отношение? Имела?»

— ...Настоящим отказываюсь от владения всем этим имуществом... Москва, октября двадцать третьего, года тысяча девятьсот восемнадцатого... в присутствии...

Вздрыгнули баки с полубаками и усы с подусниками. Бедигер поименно перечислил высоких гостей, впрочем, не упомянув Рудкевича.

Настенька взглянула на него: казалось, все, что происходит здесь, содеяно вопреки его воле. Его серые с искоркой глаза были полны небесной сини. Все было на земле, а он в заоблачных высях.

— Тогда разрешите зачитать? — произнес Бедигер и смешно сомкнул и разомкнул толстые губы.

— Да, пожалуйста.

Бедигер начал читать:

— «Я, Жилья Анастасия Сергеевна, настоящим...»

«Господи, да неужели я все еще Жилья?...— подумала Настенька.— Как же все это далеко... И Кирочная, и мокрые питерские вечера, и полуночные поездки на острова, и дежурные приемы по средам, и торжественно-робкие речи Шарля о железных магистралях из Европы в Америку и чудо-паровозах — этаких дредноутах суши...»

— «...Отказываюсь от владения экономией «Фрам»

близ Христиании, Норвегия... семьдесят три гектара пахотной земли и тридцать четыре луговсй, шерстомойка, галетная фабрика...»

«Ах, какие галеты шли из Христиании, жесткие, чуть присоленные и хрупкие, сахарные, с тисненой надписью «Фрам».

— «...Три ледника, одиннадцать амбаров для хранения зерна, ковроткацкая мастерская...»

«Да, именно паласы... серо-синие, синие, под цвет медленно тускнеющего северного неба, ими была выстлана квартира на Кировчой...»

Потом была пауза. Она, очевидно, тоже входила в расчеты Рудкевича. В тишине лишь вздрагивали усы и подусники. Ручка, костяная, в золотых колечках, была рядом. Настенька взяла ее с письменного стола Репнина по просьбе Рудкевича. Было приятно сейчас взять ручку — она весома и прохладна. Взять ее в руки и начертать: «Анастасия Репнина». Настенька улыбнулась. Один миг тишины.

— Анастасия Сергеевна.— Казалось, фиолетовая дымка колыхнулась в глазах Рудкевича.— Не мог бы я...— Он указал глазами на дверь комнаты, откуда Настенька принесла перо.

Она встала.

— Надеюсь, мне будет прощена такая вольность? — Он оглядел сподвижников.

— Сделайте милость,— выдохнул Бедигер.

Они прошли в рабочую комнату Репнина. Окна были зашторены, и в комнате властвовала полутьма, красновато-золотая, точно настоящая на терракотовой краске, которой были окрашены шторы. Настенька потянулась к окну, чтобы раздвинуть шторы, но рука отца Рудкевича легла на ее плечо.

— Анастасия Сергеевна, могу... я дать вам совет?

Что-то происходило с Рудкевичем необычное — что-то внутри него дрогнуло и сообщилось голосу и руке, которую Настенька чувствовала своим плечом.

Она потянулась к шторе, но он удержал ее вновь.

— Анастасия Сергеевна, я уже был свидетелем вашей решимости и дерзости вашей,— начал отец Рудкевич.— Все, что вы хотели доказать вашему мужу, вы доказали.— В его голосе впервые послышались просительные ноты. Он твердо наставлял, редко советовал, но никогда

не просил.— Вам надо проявить благоразумие, и здесь я ваш друг.— Его свободная ладонь коснулась другого плеча Настеньки.— Все мы беспечны и расточительны в молодости, но жизнь — это не только молодость, даже не столько молодость, — жизнь — это усталость и недуги, жизнь — это старость.— Он сдавил ее мягкими и сильными ладонями, потряс, точно хотел сказать: «Опомнись! Опомнись!» — Вот мой совет: я заклинаю вас, Анастасия Сергеевна, всем лучшим.— Он не без раздумий произнес не «святым», а «лучшим».— Я заклинаю вас, сделайте так, как я вам велю. Возвращайтесь в гостиную и скажите этим господам, что хотите поразмыслить и не можете подписать бумагу. Я вам обещаю, что никто из них не будет настаивать. Можете сказать Николаю Алексеевичу, что так советовал ваш духовник.

Ну конечно же, ему надо, чтобы она сказала об этом Николаю! Вся его игра сводится к этому. И эта встреча у Губиных, когда они впервые появились вместе с Николаем, и разговор в храме святой Екатерины, и этот первый визит вместе с Бекасом в московский дом Репниных, и нынешний визит, когда Рудкевич ведет себя рыцарски, нет, не только по отношению к Анастасии Сергеевне, но и к Николаю Алексеевичу, даже больше к нему, чем к ней... Все ополчились против Репниных: и Жилль, и его сводный брат, и старые друзья Анастасии Сергеевны,— а Рудкевич устоял. Впрочем, такое впечатление, что эти недоброжелатели нужны ему, чтобы утвердить приязнь. Недаром он приволок в дом Репниных целую коллегия — откуда только норы и энергия, не молод ведь человек! Он почти настаивает, чтобы Анастасия Сергеевна сказала мужу о его совете. Шутка ли, усилиями отца Рудкевича возвращено имение в Христиании! Как не признать в Рудкевиче благожелателя, как не благодарить его. Нет, не только Анастасии Сергеевне, но и Репнину. Такое впечатление, что без дружбы Репнина отцу Рудкевичу не сделать и шагу. Но вся эта акция не риск ли для отца Рудкевича? Вдруг Анастасия Сергеевна возьмет и скажет «нет». В конце концов, что ей Христиания? Не окажется ли тогда отец Рудкевич, как любит говорить он сам, в пиковом положении?

Но взгляд ее глаз, обращенных на духовника, кроток.

Он наклонился к ней. Ему хотелось удостовериться, не шутит ли она.

— Разумеется, если это соответствует вашему желанию...

Он улыбнулся: да неужели лукавит она? Но ведь изумление ее было таким натуральным.

— Анастасия Сергеевна, сделайте так, как я советую. Она высвободила плечи.

— Вы это мне хотели сказать... это? — спросила Настенька и шагнула к окну.

— Я заклинаю вас... сделайте, — повторил он, теперь уже не опасаясь, что его услышат в соседней комнате.

Звякнуло колечко на металлическом стержне — она отодвинула штору.

— Где ваши бумаги?.. Я хочу подписать их сейчас. Все бумаги, сколько бы у вас их ни было.

Три извозчика медленно проехали мимо дома Репниных.

Настенька видела, как Елена прошла в сад. На Елене была бордовая куртка из мягкой замши. Сад был полон солнца, и куртка казалась красной. Настенька поймала себя на мысли, что следит, как пламенеющее пятнышко удаляется в глубь сада. И еще подумала Настенька: она видит в Елене Николая. Бывает так, даже Елена отступает прочь и остается Репнин. И не только Елена отступает, но вместе с нею та женщина, что родила Елену. Кстати, кем была та женщина Репнину? Женой? О господи! Настенька вошла в дом. В столовой по-летнему занавешены окна, в комнате Елены, наоборот, солнце добралось до пледа, которым застлана кровать. Женщина, очень юная, с пучком темно-русых, Настеньке даже кажется, пепельных волос, смотрит с портрета. В глазах женщины спокойная радость. Такие глаза бывают у молодой матери. Наверно, она уже родила. Настенька смотрит в сад. Оттуда доносится запах сухих яблоневых листьев, он очень терпок, этот запах. И горек. А во взгляде женщины, что смотрит со стены, все та же радость, мудрая. Она была счастливая в тот далекий и для нее непреходящий миг, эта женщина. Она родила, родила... Наверно, нет большего счастья, чем это — счастье общей крови. Настенька смотрит на женщину — та будто отняла у Анастасии Сергеевны нечто очень большое, чем она только что владела. И чего ради она вызвала эту жен-

щину из небытия? Настенька бросилась к двери. Там стояла Елена. Ну конечно, она была свидетельницей встречи Настеньки с матерью. Сейчас Настенька видит, как она похожа на мать.

— Анастасия Сергеевна, вам худо?

В самом деле, худо ли ей, если одна мысль о Репнине, искорка мысли способна сжечь всю ее старую жизнь. «Цепи — это жалость?» — донеслось издалека, из далекого далека. Даже чуть-чуть жутковато: все во власти времени. Да был ли сегодня в ее доме Рудкевич и о чем он говорил, к кому взывал, что дарил и что пытался отнять? Вот вопрос: был ли сегодня Рудкевич?

### 113

Репнин вернулся домой к одиннадцати и по обыкновению, прежде чем уйти к себе, зашел к брату.

Илья работал. В эти полуночные часы он был особенно деятелен. Все, что обеспокоило его мысль днем, что воинственно насторожило и сосредоточило, он поверял бумаге. События развивались с утроенной силой; ему казалось, что каждый новый день приносит нечто такое, что утверждает его правоту. Он искал встречи с братом — все, что хотелось сказать, он мог выговорить только Николаю. Нередко фраза, только что записанная в дневник, адресовалась брату, а фраза, сказанная брату, перекочевывала в дневник. Илья уже готовился произнести одну из таких фраз, которые были призваны сразить Репнина-младшего, вроде той, что «Франция не была союзником Германии, теперь будет», когда Николай Алексеевич сообщил:

— Брат, я еду в Берлин.

Илья онемел.

— Погоди, погоди... куда?

— У меня командировка в Берлин... на месяц.

Илья усмехнулся, нелегко было рассмешить Илью в эти дни — брат это сделал: у него командировка в Берлин, да еще на месяц!

— А ты представляешь, наивный человек, что будет через месяц в Берлине?

— Представляю.

— Тогда, быть может, просветишь: что будет? — спросил Илья.

Репнин насупился.

— Прости, брат, но я бы не хотел вести разговор в таком тоне.

— Нет, погоди, давай договорим до конца! Ты представляешь, что будет через месяц в Берлине? — перефразировал Илья. Он был заинтересован в продолжении разговора.

Николай был мрачен.

— Сделай любезность, скажи, что будет.

Илья решительно отодвинул свою рукопись: столь непочтительно он поступал с нею нечасто.

— Через три недели союзные армии войдут в Берлин, в Германии будет образовано новое правительство, и ты окажешься в тылу могущественного войска, наступающего на Совдепию. История не знает такого сплава: трезвый ум Альбиона, влияние Франции на умы и сердца, технический гений германцев и ко всему этому сказочные ресурсы Америки... Какая сила может противостоять этой?

— Считать умеешь не только ты, — слабо возразил Репнин.

— Ленин умеет считать, да? — вознегодовал Илья.

— По-моему... умеет.

— По тебе, Ленин — Кутузов, а по мне — Пугачев. Потерял Пугачев копейку, и надо считать заново. Только одну копейку потерял, и расчеты не сошлись.

— Ты полагаешь, ошибка в расчетах?

Илья стоял сейчас над братом.

— Уверен.

Николай сидел безмолвный — видимо, в словах брата был резон и для него.

— Брат, ты кинулся в горную реку! — говорил Илья. — Она подхватила тебя и понесла по перекатам и крутинам! Не робей, брат, вперед! Зачем жечь кровь и корчиться, когда можно довериться природе — она по крайней мере честна, не так ли? Отдай себя во власть течению — оно за тебя в ответе. Или расплющит на камнях, или выплеснет на спасительную отмель. Вперед, брат! Помнишь, как мальчишками мы смотрели на кавалерийские маневры в Таврии? Тоже река, да только черная: и гогот и гик! Отпусти поводья да припади к гриве, не то снесет тебя с коня ударом ветра! Вперед, вперед! Снесет, и свои же истолкут тебя в пыль. Копытом в грудь, в спину, по черепной кости — свои, свои... — Илья смот-

рел на брата, задумчиво шевелил пальцами. Как ни азартен был рассказ, он не распалил Илью, не увлек.— Но ведь та сила без глаз, а у тебя они еще остались,— тихо сказал Илья.— Придержи коня, оглянись, куда тебя занесло; если с седла глядеть, оно виднее.

Николай замер, уткнув глаза в землю. Может, и надо придержать коня и оглянуться? Не ушел ли он дальше, чем того хотел? И не пошел ли за... Лениным? Неправда, за Лениным он не пошел. За Чичериным? Пожалуй. Но почему надо Репнину идти за Чичериным, а не за Сазоновым и Даубе? Чичерин человечески ближе Николаю Алексеевичу? Да. Он интеллигентнее? Разумеется. Он порядочнее? Наверно. Его правда совестливее? Конечно. Да как можно сравнивать Чичерина с Сазоновым? Чичерин бесребреник, готовый на все ради счастья России... Кажется, Репнин добрался до истины: ради счастья России. А какая разница между Чичериным и Лениным? Для Репнина какая разница? Встав под начало Чичерина, признал Репнин над собой авторитет Ленина?

— Ты хочешь знать, что надо делать? — спросил Илья. Он продолжал стоять подле Николая.

— Хочу знать, предположим,— сказал Репнин.

— Есть одно безотказное средство у дипломатов, на все случаи жизни безотказное: заболей!

Репнин встал; давно он вот так рядом не стоял с братом, с мальчишеских лет не стоял.

— Нет...

Илья вздохнул, его горячее дыхание донеслось и до Репнина.

— Дал слово?

— Дал.

— Репнины слово держали и перед Каином.

Николай Алексеевич точно и не услышал этой фразы — он полагал, что не всем словам брата он обязан внимать.

— Ты думаешь, что логика событий именно такова, как представляешь ее ты? — спросил Репнин. В той мере, в какой брат обращался к расчетам, неразумно было их отвергать.

— Когда дело касается дела, нет больших атеистов, чем дипломаты, они в чудеса не верят,— сказал Илья.

— Ты полагаешь, что только чудо может опрокинуть твои расчеты?

— Да, только чудо, но ведь его не будет.

— А революция... чудо? — спросил Николай.

Илья рассмеялся.

— Революция — татарник, на культурных землях не растет.

— Революции не боишься? — вдруг вырвалось у Николая помимо его воли.

— Татарник рубят огнем, — отсек Илья. — Не боюсь татарника, боюсь огня, особенно если ляжет вот тут. — Он указал на кусок паркета, разделивший их.

— Боишься потерять брата? — спросил Репнин.

— Боюсь, — сказал Илья. — Выбирайся из потока, не то расшибет он тебя на камнях! Там, где должен решать ты, никто этого за тебя не сделает.

— Подумай о себе, это будет лучше! — сказал Николай Алексеевич и удивился тому, что сказал, не хотел он сказать этого.

— Что ты имеешь в виду? — тут же отозвался Илья.

— Послушай, Илья, мне сказали... Не спрашивай, кто сказал! — Репнин умолк, фигура брата была едва различима на светлом поле стены. — Этой ночью... Кочубеева тетка увезла Егора за кордон.

Илья нащупал край стола, оперся.

— Так... — не проговорил, а простонал Илья. — Надо что-то делать.

— Дневник в кулак — и за Егоркой, не так ли? — Репнин не без умысла произнес эту недобрую фразу, ему хотелось и сшибить ею дурное состояние духа Ильи и узнать, что в конце концов намерен делать брат.

Илья пошагал прочь, слабо толкнул дверь.

— Не грех в моем положении податься и за Егором, — произнес он и усмехнулся. — Ну что ж... утро вечера! — вымолвил он, но с места не сдвинулся. — Будто видимся последний раз — все новости выложили, ничего на завтра не сберегли, — Илья умолк, стараясь припомнить, что еще не сказал брату. — Совет за совет, — вдруг произнес он. — Будешь в Берлине — повидай Франца Шульца! Он дипломат со связями и человек... не злой.

— Спасибо, — сказал Репнин, а сам подумал: «Может, и в самом деле есть смысл повидать Франца Шульца, давнего и доброго друга братьев Репниных. Есть смысл повидать, хотя встреча с Шульцем... Господи, чего только на свете не бывает?»



Николай Алексеевич видел последний раз Шульца 4 августа четырнадцатого года. 1 августа вступила в войну Россия, 3 августа — Франция. Весь день по Французской набережной шли манифестанты с флагами и иконами. Студенты, священники, мелкие чиновники, гимназисты, приказчики. «Да здравствует Франция!» Потом незримая, но сильная рука направила этот поток от французского посольства к посольству германскому. Посольство кайзера — в центре столицы, у скрещения ее главных путей, между Исаакиевским собором и Марининским дворцом. Здание являет собой темно-красную глыбу из финляндского гранита. Фасад увенчан монументальной скульптурной группой: бронзовые атлеты держат могучих коней. Репнин не помнит, донесла ли толпа от дома французского до дома немецкого иконы и флаги, но по мере приближения к Исаакиевской площади она зверела. Короче, толпа предала посольство разору и, точно в гигантской ступе, искрошила мебель, картины, посуду, уникальные мрамор и бронзу эпохи Возрождения из частной коллекции посла Пурталеса. Разгром посольства завершился тем, что толпа обрушила с крыши на мостовую бронзовых атлетов и их коней. При всех иных обстоятельствах вряд ли Шульц рискнул бы выйти за пределы посольства, но в тот момент спасение было на улице. И Репнин встретил его на Лебяжьем мостике через Фонтанку. Чего греха таить, Репнин растерялся: каким бы добрым другом ни был Шульц, он был дипломатом страны, с которой Россия находилась в войне. Как подсказывал Репнину опыт, чисто житейский, отношения между людьми более устойчивы перед испытаниями времени, чем отношения между государствами. В наше переменчивое время государства чаще обращаются во врагов, чем это могут сделать два человека. Так по крайней мере думал Репнин. Да и Шульц, наверно, думал так. Они бросились друг к другу, как добрые друзья, благо берег Фонтанки был в эту минуту пуст...

— Ну что ж... Шульц так Шульц, и на том спасибо,— сказал Репнин, пожимая руку брату.

Петр решил не сообщать Литвинову о своем приезде. Он выехал вечером из Абердина и ночь провел в дороге.

Он был в Лондоне на рассвете, нанял такси и прибыл на Виктория-стрит, 82, к большому шестиэтажному дому, где по письмам, полученным накануне от Литвинова, должно было помещаться советское посольство. Петр перешел на противоположную сторону тротуара и внимательно осмотрел здание. Оно строилось с пониманием того, что выходит на Виктория-стрит. Первый этаж отвели под магазины. И солнцезащитные тенты украшали рекламные аншлаги так же, как зеркальные стекла витрин. Во втором и третьем этажах, очевидно, помещались деловые конторы. Резиденция Литвинова должна была быть где-то здесь. В четвертом и пятом — квартиры. Мансарда, обрамленная мощными дымоходными трубами, была построена в два этажа и выглядела весьма нарядно.

Петр вернулся к парадному подъезду. Здесь должна быть табличка «Русское народное посольство». Таблички не было. Не рискуя быть замеченным (был тот предутренний час, когда Виктория-стрит почти безлюдна), он смерил дом взыскательным взглядом с ног до головы: ничто не выдавало в нем жизни. Казалось, небо над крышей было продолжением дома, такое же каменно-неподвижное, коричневое. Неизвестно, как долго стоял бы Петр, глядя на дом, небо, если бы его не окликнул зябкий голос:

— Хэлло, друг, отсюда вы не увидите окна своей любимой, вам нужно отступить дальше.

Перед Петром стоял полисмен — многоопытный страж безошибочно определил, что соответствующее окно должно быть в мансарде. Петр скопил глаза на полисмена: крутой подбородок с ямочкой (кончиком мизинца тронули тесто), крупные губы, яркий деревенский румянец — словно не было ни бессонной ночи, ни холодной влаги, ни тумана.

— Нет, мое окно тремя этажами ниже, — сказал, улыбаясь, Петр.

Полисмен затенил лохматой бровью глаз, взглянул на третий этаж, мысленно пересчитал каждое из семи окон.

— Мистер Лоу, присяжный поверенный? — спросил полисмен с ходу.

В догадках полисмена была своя логика: если не девушка из мансарды, то присяжный поверенный с третьего

этажа — и к той и к другому мог навеститься человек в этот предутренный час.

— Ваша пуля легла рядом с яблочком,— сказал Петр, не обнаруживая иронии.

Полисмен улыбнулся — слова Петра ободрили его.

— Мистер Хилл, портной его величества? — произнес полицейский, не задумываясь,— твердые «г» выдавали в нем шотландца.

Петр едва сдержал улыбку — мысль полисмена неожиданно изобразила зигзаг.

— Нет, не присяжный поверенный, не портной его величества,— сказал Петр,— а всего лишь русское народное посольство.

Полисмен присвистнул:

— Друг мой, оно переселилось в Брикстон-призн, это ваше народное посольство! — Он беззвучно засмеялся и вытер свободной рукой веселые слезы, в другой руке он держал свой жезл. Петр решительно поправил на строение полисмену с Викториа-стрит.

— Вы сказали, Брикстон-призн? — Петр был не в силах скрыть впечатления, которое произвело на него сообщение полисмена.

— Да, разумеется, в Брикстон-призн,— заметил полисмен сдержанно: он щадил Петра.— История весьма заурядная,— продолжал полисмен. Встреча с Петром оживила для него это скучное утро.— Русские действительно сняли пять окон на третьем этаже и в каждом из них установили по гаубице. Вы что смотрите на меня такими глазами? Именно по гаубице! Они установили гаубицы и трахнули по дворцу английского короля! Трахнули один раз, потом другой. Точно так, как они били по царскому дворцу в Петрограде! Хозяин дома всполошился. «Джентльмены, одну минуту! — сказал он; речи полисмена были свойственны не только шотландские «г», округлые и крепкие, но и юмор, тоже шотландский.— Разумеется, вы можете стрелять и по Букингему, как вы можете палить по Даунинг-стрит и даже Скотланд-ярд, но только не из моего дома!» Русский посол сказал, что хозяин дома нарушил контракт, и подал на него в суд. На суде хозяин дома не отрицал, что нарушил контракт, но объяснил, что сделал это единственно потому, что хотел спасти английскую корону от неосторожной артиллерийской пальбы. Суд принял сторону хозяина дома.—

Полисмен умолк, потом значительно добавил: — Русский посол продолжал настаивать — это смутило английский суд. Для ясности русского посла направили в Брикстон-призн — там большой опыт в разбирательстве таких дел.

Петр еще раз взглянул на дом, он был тих и благополучен, ничто не выдавало в его облике недавних событий.

Петр шел по Лондону. Опять Брикстон встал на пути. В январе — Чичерин. В октябре — Литвинов. Очевидно, будущий историк английской дипломатии скажет, что самое большое, на что решились английские власти, это объявить посла персоной нон грата. Да, более чем корректно объявить, что пребывание посла в стране нежелательно, заготовить необходимые выездные документы и вежливо указать на дверь. Вряд ли в этой истории будет замечено, что в борьбе с первыми дипломатами революционной России участвовал Брикстон-призн. Вряд ли будет признано, что первые встречи с представителями революционной России официальная Англия перенесла из золоченых покоев Букингемского дворца под темные своды Брикстона. Вряд ли будет упомянуто, что в силу исторических метаморфоз, внешне случайных, а в действительности закономерных, два самых крупных дипломата революции начали дипломатическую деятельность в качестве пленников английской короны. Петр шел по Лондону, а рассвет приближался трудно, точно солнце шло к городу, пробивая путь киркой, — может, дойдет, а может, обессилеет и повернет обратно. Солнце шло трудно: удар кирки — шаг, еще удар — новый шаг. Это, наверно, не в характере Петра, но, быть может, надо действовать и ему так же осторожно, словно рассчитывая силы: удар — шаг, еще удар — новый шаг. Именно осторожно, не переоценивая свои силы. На другое сегодня он не имеет права.

Петр поднял глаза. Стояли дома, точно тесаные камни, цельные от земли до неба, нерасторжимо цельные в своей неприязни и ненависти своей. Никогда Лондон не виделся Петру таким враждебным, как в это утро. Не верилось, что когда-то Петр любил бродить по улицам этого города, мчаться по серой воде Темзы на катере, блуждать по далеким окраинам, слушать бродячих ора-

торов, музыкантов, певцов, покупать букеты вереска, встречаться с Кирой. Встречаться с Кирой?.. Надо сегодня же дать телеграмму в Глазго. Телеграмма уйдет, и наступят дни ожидания. День, второй, третий... Приедет или нет? Как не приехать — приедет! Каким же нелегким был этот год. А солнце все еще трудно движется к городу. Удар — шаг, еще удар — новый шаг... Прежде чем решиться на действие, надо призвать свой собственный опыт и, пожалуй, опыт товарищей. Адреса? Три, целых три. Какое это сейчас богатство — три адреса! Сподвижники Литвинова? Да, пожалуй, сподвижники и помощники. Прежде чем действовать, попросить у них совета. Пройти по тайным путям, разыскать и встретиться. Где? Возможно, в коридорах Британского музея, а может, на пароме, идущем через Темзу. Вода не слышит, вода не выдаст. Но не исключен и другой путь — пенька. Красный купец прибыл в Лондон, как издавна приезжали в английскую столицу купцы из России. Прибыл и разложил товар: пеньковые полотна попрочнее льняных, а каковы канаты!

Солнце приблизилось к городу еще на вершок, но в городе светлее не стало. Когда-то Петр презрел бы в себе осторожность и сокрушил бы крепость с ходу. Презрел бы осторожность, как нечто недостойное настоящего человека, а сейчас возвел эту осторожность в доблесть. Петр шел по Лондону. Светало все заметнее. Однако от одной зари до другой — длинный путь. Что ожидает Петра сегодня? По каким магистралям пройдет путь, какой улицей начнется, какой площадью закончится? Неисповедимы пути чужого города.

Петр бывал в Лондоне много раз. Он жил в нем, знал его ближние и дальние пути. Иногда казалось, что он пересек тот тайный предел, когда город перестает быть чужим и каждое утро как бы выходит тебе навстречу. Но так могло произойти с любым другим городом, только не с Лондоном. Чтобы пересечь заповедный рубеж, наверно, нужны не годы, а сама жизнь, иной образ жизни, совсем иной, а не тот, который вел гонимый русский. Петр помнит, как в первый приезд он был в одном лондонском доме, судьба свела его с библиографом Британского музея, молодым ученым, посвятившим себя изучению болгарского Возрождения. Семья молодого англичанина принадлежала к старолондонской интеллигенции, когда-то

пользовавшейся дворянскими привилегиями, но потом оскудевшей. Однако вопреки всем переменам в семье дом являл собой непо потревоженный уголок минувшего века. Петр помнит матовый блеск тисненой кожи, которой оклеены стены, темное, точно приглашенное временем, дерево кресел, тусклый отсвет посуды, тяжелой, отмеченной густой паутиной трещинок, лишенной вульгарной белизны. И все это — стены, кресла, фолианты, посуду — будто напитали сумерки, которые, наверно, не размывались ни ярко-облачной лондонской весной, ни осенью и олицетворяли в этом доме само время, его мудрое молчание, устойчивый покой, да, именно покой, который навсегда останется достоянием этой страны, ее городов и сел и который ничто не в состоянии нарушить. Что-то было в этом доме неразгаданное, такое, что навсегда останется за всесильной чертой тайны. Наверно, это смешно, но Петру не раз казалось: сумерки старой лондонской квартиры окутали весь Лондон. Русскому человеку не просто преодолеть этот рубеж и постичь душу города. Петр говорил это себе каждый раз, когда предстояло совершить в Лондоне что-то значительное. Такое ощущение было и теперь. Красный купец прибыл в Лондон. Отгремела слава парусных фрегатов — на пеньковых парусах и канатах гордый бритт подчинил себе половину планеты. А как теперь? С какого края проникнуть в дебри Сити, как проложить себе дорогу в их перевозданной чаще?

Такое ощущение, что ты на острове! Спор с Репниным продолжается. Вот так и бывает с дипломатом в жизни: ты и твоя совесть да еще чуть-чуть ума и храбрости, если, разумеется, ими обладаешь. А против тебя чужая страна с тоскливой тьмой чужой речи и интересов чужих. Если и есть в такую минуту добрый друг, друг верный, который все может заменить — и семью, и близких, и даже страну родную, то это доверие соотечественника, родины твоей. Полное доверие. С ним, с этим доверием, ты все выдюжишь, все преодолеешь, тебе, в сущности, ничего не страшно, а вот попробуй совладать со всем тем, что на тебя навалилось без него! От одной мысли умрешь, хотя в жизни бывает и такое. Спор с Репниным продолжается! Все, что стремился узнать в эти дни Петр, не далось ему щедрой пригоршней. Это больше походило на то, как возникает мозаика: разноцветные горы камней окружают художника, картина рождается от камешка к камешку.

Впрочем, то, что родилось сейчас, меньше всего походило на картину — всего лишь кусок мозаичного пола римского храма, единственное, что удалось раскопать на месте древнего города. Итак, картины не было, возникала лишь ее деталь.

Все малые и большие дороги вели к одному человеку — молодому клерку на Даунинг-стрит Джеймсу Тейлору. Да, тот самый Джеймс Тейлор, который совершенствовался в русском под руководством Литвинова, а затем посредничал при освобождении Чичерина из Брикстон-призн. Однако пути твои, господи, действительно неисповедимы: русский народный посол заключен в Брикстон и посредником между министерством иностранных дел и послом выступил Тейлор. Подробности, которые узнал Петр, были любопытны: Тейлор хочет посетить Литвинова. Хочет или, быть может, уже посетил? Петр решил, что при всех обстоятельствах его встреча оправдана. Петр дал знать об этом Тейлору. Судя по тому, как быстро пришел ответ, не было сомнений, что эта встреча отвечает интересам и англичан.

## 115

Автомобиль бежит неширокими улочками Вест-Энда. Всесильная копоть перекрасила кирпич, бетон, камень. Дома кажутся серыми: чем старше, тем темнее. Только двери сохранили свой цвет — оранжевые, коричневые, ярко-черные. Двери да, пожалуй, газоны перед ними — глубоко зеленые. Улица вбегает в рощу, каким-то чудом миновав трущобы пригорода. Трущобы отеснены отсюда на северо-восток. Там сейчас небо густо-бордовое, задымленное. А здесь прямой путь к рощам и лугам, к чистой воде пригородных озер.

Деревянный дом у дороги, желтый, точно оструганный, просторный бар, светлый и почти пустой. Пол выстлан кирпичом. Окна в кованом железе, из такого же железа сплетены люстра и бра. Из окна справа видно дерево над прудом, чистый луг, рябые коровы на лугу. Пейзаж почти деревенский. Молодой человек с неярким городским румянцем идет Петру навстречу.

— Здравствуйте, мистер Белодед! Как удались сделки с пенькой?

— День добрый, мистер Тейлор. Благодарю вас. Все идет как нельзя лучше.

— Английский флот без доброй русской пеньки рискует оказаться на мели, мистер Белодед.

— Ему и прежде случалось оказываться на мели, мистер Тейлор, и русская пенька была беспомощна выручить его.

— Однако канат из русской пеньки — гарантия успеха, мистер Белодед.

— Садитесь на мель, мистер Тейлор, а мы подумаем, пускать нам в ход наши крепкие канаты или повременить.

— Сдаюсь, мистер Белодед, у русской пеньки отменный ходатай.

Как все иностранцы, мистер Тейлор любит старорусские слова и лепит их напропалую — «отменный», «ходатай». Впрочем, к чести Тейлора, надо сказать, что он охотно, с видимым увлечением говорит по-русски и весьма преуспел.

Однако далась ему эта пенька! Очевидно, признак хорошего тона для мистера Тейлора в том, чтобы не обнаружить камуфляжа даже тогда, когда он явный, но легкая ирония допустима. Иронизируя, Тейлор точно хотел сказать: «Не заблуждайтесь в своей игре, она никого не обманет».

— Теперь вижу, мы встречались,— произносит Тейлор. В облике молодого человека что-то старомодное, английское. Его полубаки, небрежно расчесанные, и яркие запонки на манжетах, и рыжий костюм в легкую полоску будто из того столетия. Страшное дело, но человек в тридцать лет очень хочет выглядеть сорокалетним, хотя понимает: ничто не может приблизить для него заветного сорокалетия.— Да, я вижу теперь, мы встречались,— повторяет Тейлор, приглашая Петра к столу.

Петр оглядывает холл еще раз. Это сочетание дерева, точно окрашенного яичным желтком, и черного плетеного железа, наверно, красиво.

Джеймс Тейлор смущен — не хотелось начинать разговор с Брикстона, однако разговор начат.

— Время, как аэроплан! — произносит Тейлор.— Всегда... впереди.

Наступила пауза. Первая после того, как беседа началась. Предстоял разговор по существу.



Только сейчас Петр увидел за высокой стойкой бара хозяина. Если верно, что каждый человек повторяет своим обликом какое-то животное, то этот за высокой стойкой бара — слон. Округлые формы, мощные и добрые, меланхолический хобот носа и маленькие глаза, грустные и незлобивые, — все от слона. И два черноволосых человечка, прислуживающих в зале, очевидно, сыновья хозяина — трудолюбивые слонята. Нет, не слон — цепелин. Всю войну лондонцам мерещилось его появление. И сейчас они смотрят на небо и им кажется, что сами облака обратятся в мощное чудовище и засыпят английскую столицу смертоносным металлом. Нет, зачем же цепелин? Танк! Создание английского технического гения, чьей сильной броней был проломлен бетон и камень германской обороны. Этакий земной эсминец, утвердивший славу английского оружия на суше. До сих пор Британия была владычицей морей, теперь — владычица суши?

— До меня дошли слухи, что у вас возникли трудности с русскими прилагательными и вы решили призвать на помощь старого учителя, — сказал Петр, смеясь, не сводя глаз с Тейлора.

Собеседник Петра улыбнулся. Ему определенно были приятны эти слова.

— Bravo, вы все знаете! — воскликнул Тейлор с видимой искренностью. — И про... прилагательные знаете!

Руки Тейлора робко взлетели. Кстати, степень восприятия им русской речи заметно выше его умения говорить по-русски. Впрочем, это, наверно, характерно для тех, кто изучает русский. У изучающих английский процесс обратный.

— Ну что ж, если это и так, цель достигнута, — деланно-простодушно заметил он. Он смеялся тем сдержанно-искусственным смехом, когда звучит только голос, а глаза остаются безучастными. Ему легко было перестать смеяться. — Вы хотите знать, мистер Белодед, что заставило меня поехать в Брикстон-призн? — спросил Тейлор так кротко и спокойно, будто только что и не смеялся.

Петру казалось, что медленно-ровный голос Тейлора походит чем-то на его рукопожатие, на жесты, расслабленные и вместе с тем рассчитанные, на выражение глаз, которые смотрели тихо и отрешенно-внимательно.

Тейлор умолк на миг, и этим тут же воспользовался слоненок. Он приволок блюдо дымящихся ростбифов, щедро засыпанных кольцами лука. На столе оказался и жареный картофель, приятно подсоленный. Нашлось место и для салатниц и для кувшина с вином.

— Вы обратились ко мне в самое время, — начал англичанин, когда добрые куски ростбифа перекочевали с блюда на тарелки и первая кружка вина была выпита, — он очень аппетитно произнес это русское «в самое время». — Мистер Литвинов может быть освобожден в ближайшие три дня, — проговорил он без запинки: видно, эту часть беседы он заучил наизусть. — Английские власти помогут русским вернуться на родину. Все ваши просьбы будут выполнены...

— Этому великодушию, наверно, есть цена? — засмеялся Петр.

Тейлор напряг взгляд — не хотелось, чтобы разговор принял такой оборот.

— Какая? — спросил Петр.

Где-то рядом послышалось несмелое дыхание слоненка. Но Тейлор предупредительным жестом оттеснил доброе животное к стойке.

— Помните, как вернулся в Россию мистер Георгий Чичерин? — спросил Тейлор.

— Вы имеете в виду обмен?

— Конечно, на господина посла Бьюкенена, — подтвердил Тейлор.

Петр поднял глаза, взгляды слона и слонят, казалось, были обращены на него.

— Вы считаете обмен обязательным условием и сегодня? — спросил Петр.

— Да.

— Значит, Литвинов возвращается в Россию из Англии, а кто-то второй должен вернуться из России в Англию?

— Первый.

— Кто же?

— Брюс Локкарт.

Слон обвинил бревно хоботом, нелегко приподнял — вот-вот рухнет, его глаза полны крови.

— Брюс Локкарт?

— Да.

При том умении понимать русскую речь, каким мис-

тер Тейлор обладает, эти лаконичные «конечно» и «да» ему очень удобны.

Значит, единственное, чего хочет Тейлор, — обменять Литвинова на Локкарта. А Петр думал, что Тейлора привела сюда добрая память об учителе, желание протянуть ему руку. Наверно, нет более неразборчивого в средствах существа, чем молодой клерк, подающий надежды. Ему кажется: если за пять лет он не выбьется в люди, наша древняя планета рассыплется в прах и погребет под обломками многомудрое свое дитя.

— Но мог бы я рассчитывать на ваше содействие, мистер Тейлор, если бы возник вопрос о моей встрече с Литвиновым?

Англичанин поднял кружку.

— Да, конечно. Хотя есть одно... примечание.

— Какое примечание, мистер Тейлор?

Тейлор нарочито долго пьет вино.

Вопрос все еще висит в воздухе, как то бревно, поднятое хоботом. Глаза слона напряженно красны, словно огни бакенов в предвечерний час на Темзе. Час действительно предвечерний — луг за окном потускнел.

— Если вас устраивает встреча с Литвиновым через три дня, я вам ее обещаю.

Иногда правда может быть обнажена, если ее вскрыть прямым ударом.

— Не хотите ли сказать, что за эти три дня должна произойти ваша встреча с Литвиновым? — спрашивает Петр.

Новая пауза. Сейчас они стоят над столом, готовые поблагодарить слона и его двух слонят, откланяться и выйти. Это пальто с плюшевыми отворотами, котелок, зонт дополняют представление о Тейлоре. Молодой человек пришел сюда из девятнадцатого века. А может быть, он призвал всесильный тот век, чтобы защититься от века нынешнего?

— Я увижу господина Литвинова завтра, — произнес Тейлор медленно, — и смогу передать от вас... привет, — добавил он без улыбки.

Петр вернулся в город. Не хотелось идти в гостиницу, и он пошагал вдоль Темзы. Река казалась черно-багро-

вой: черной от надвигающегося вечера, багровой от неушедшего солнца. Ощущение тревоги, которое возникло еще за городом, здесь, у реки, стало острее. Петр помнит самую интонацию голоса Ильича, когда в последний раз в Москве, перекладывая большую руку с подушки на маленький столик у кровати, Ленин сказал: «Надо по-мочь... Папаше...»

Сейчас Петр припоминает, что видел однажды письмо Ильича Литвинову. Там так и было написано: «Папаше от Ленина». Петр и сейчас помнит это ощущение, когда он прочел письмо Ильича. Ничто так не передает характера человека, строя его души, сердца, как письмо. Будто взглянул человеку в глаза, услышал его голос. Это письмо было характерно не только для Ленина, но и для Литвинова. Такое письмо Ленин мог написать именно Литвинову, оно учитывало особенность характера этого человека. Помнится, Ильич писал там: «Надо действовать решительно, революционно и ковать железо, пока горячо». Так и сказано: «Вы тысячу раз правы, что надо действовать открыто». И еще там было: «За транспорт беритесь вы, и поэнергичнее». Что ни слово, то призыв к действию. А может, все дело в моменте, когда было написано письмо, и характер Литвинова здесь ни при чем? Письмо написано в самый канун пятого года. Революция была не за горами. Первая революция. Быть может, все дело в этом? Вот грянула революция, и Литвинов стал народным посланцем в Лондоне. Да нет, суть не в дипломатии, в ее больших и малых правдах. Наоборот, все, что делал человек, он делал вопреки дипломатии. По крайней мере наперекор тем нормам, которые она до сих пор исповедовала. Посол — это черный фрак и черный лимузин, медленно шуршащий по улицам Лондона. Когда это было, чтобы посол выступал на митинге трамвайщиков? Или назначил шотландского учителя Маклина советским консулом? Нет, не просто единомышленника, а честного человека, именем которого в Шотландии можно открыть любую дверь. Взял и назначил советским консулом. Погодите, но ведь это вопреки всем нормам дипломатии. Да, вопреки! Но главное не в дипломатии — в революции. Пора понять: в России произошла революция, какой не было с той поры, как земля встала на свои библейские опоры.

Значит, завтра в полдень Тейлор будет в Брикстоне и

Литвинов узнает, что англичане согласны обменять его на Локкарта. Обменять. Любопытно, что самая древняя форма человеческих отношений, древняя и, быть может, примитивная, изжив себя во всех сферах современного общества,— обмен,— осталась в наиболее тонкой и аристократической из них — дипломатии. Давно не меняют хлеб на пряжу, галеры на табун лошадей, раба на раба, а дипломатов еще меняют. Меняют примитивно, как меняли в свое время кусок золота на алмаз-самородок. Того и гляди, твой партнер по обмену выхватит у тебя кусок золота до того, как отдаст алмаз. Выхватит, и поминай как звали — только пятки блеснут! Процедура обмена, как ее определила современная практика дипломатов, в общем сводится к тому, чтобы предупредить этот побег. Впрочем, не будем голословны. Над пограничной рекой повис мост. Часовые, с каждой стороны по трое, выводят дипломатов к середине моста, точно к середине. Дипломаты, обремененные тяжелыми дохами и титулами, идут по мосту, с завидной легкостью отбивая шаг. Они достигают середины моста и становятся лицом к лицу. Да, они стоят сейчас друг против друга, будто часовые на смене караула. Команда — дипломаты делают шаг в сторону. Еще команда — два человека одновременно (одновременно!) делают шаг вперед. Не дай бог один из дипломатов замешкается и запоздает сделать заветный шаг вперед: за линией окажутся два дипломата, свой и чужой! Чем черт не шутит, того и гляди, сорвется с моста чрезвычайный посол, и поминай как звали!..

Завтра в полдень Литвинов узнает, что Петр будет у него еще на этой неделе. Только бы Тейлор сообщил ему эти новости, а Литвинов сумеет постоять за себя. В позиции англичан не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если мы начнем с ними разговор об обмене, мы сразу отождествим правовое положение Литвинова в Лондоне с положением Локкарта в Москве. Локкарт арестован, следовательно, и правовое положение Литвинова должно быть таким же. Значит, тот факт, что переговоры начались, не означает освобождения Литвинова из Брикстона. Наоборот, этот факт предполагает, что Литвинов должен находиться в Брикстоне, поскольку взят под арест и Локкарт. Но в Москве переговоры об обмене могут вести те из англичан, которые не находятся под арестом, в то время как в Лондоне таких русских нет. А как

же Петр? По существу, сегодня он уже начал эти переговоры. Нет, Петр должен отстраниться, начисто отстраниться от каких-либо переговоров по этому вопросу с Тейлором. В конце концов его правовое положение в Англии (ткацкие станки в обмен на лен и пеньку, только ткацкие станки!) не дает права на ведение таких переговоров. Расчет Петра прост. Пусть разговаривает на эту тему Литвинов. Именно это обстоятельство может заставить англичан освободить его. В своем нынешнем положении Литвинов лишен возможности вести переговоры и тем более сноситься со своим правительством, — он узник. Значит, он должен быть освобожден.

Но может случиться и так, что англичане заупрямятся и Литвинова не освободят. Как следует поступить тогда? Тридцатистрочная заметка в правом верхнем углу любой газетной полосы обладает магической силой. Быть может, эта заметка и будет тем ключом, который наконец откроет железную дверь. Фронт лондонских газет отнюдь не так монолитен, как кажется иногда. Желание обойти партнера и напечатать необычное сильнее взаимной солидарности.

## 117

Встали темные вязы и медленно отступили. Вот и отель. Петр войдет сейчас в гостиницу и по привычке взглянет через голову портье в гнездышко справа. Нет ли письма от Киры, или лучше телеграммы, или, еще лучше, записки? Но произошло нечто такое, что было много проще и счастливее того, о чем думал сейчас Петр. В гнездышке письма не было, но зато в глубине холла за столиком сидела Кира. Он узнал ее по движению протянутой руки, по чуть-чуть приподнятым плечам, по откинутой голове, по волосам — только у нее они такие. Лицо ее было обращено к открытой двери, но Кира, казалось, ничего не видела.

— Кира! — крикнул он и замер.

Она встала, близоруко отвела голову — свет из открытой двери слепил ее, шагнула навстречу Петру, беспомощно всплеснула руками — свет все еще мешал ей видеть, вошла в тень и, наконец, рассмотрела Петра.

— А я тебя жду, — сказала она.

— Я тоже, давно.

Видно, этих слов, сказанных ими друг другу, было достаточно, чтобы она овладела собой. Сейчас от ее столика до него было шагов семь. И по тому, как она прошла это расстояние, медленно, церемонно склонив голову, не торопясь, даже сдерживая себя, он все понял. А потом они шли по парку и хлынул ливень. Она раскрыла зонт, но зонт не уберег их. Все деревья неожиданно прохутились, и нельзя было найти места ни под одним из них. Они перебежали от дерева к дереву. Потом выбежали на поляну и увидели, что окружены потоками воды. Вода била по ткани зонта с такой силой, что казалось, ткань прорвется. Они стояли, припав всем телом друг к другу. Только тонкая косточка ручки зонта была между ними. Она соединяла их и, быть может, разъединяла.

Когда белая ветвь молнии, обнаженная, по-осеннему без листьев, падала на землю, чудилось, что сама земля вместе с камнем зданий, оград и мостовых расплавилась и побежала к Темзе. Этот шквал ненастья обступил Петра и Киру и будто соединил навечно: если есть от ненастья спасенье, то для него — в ней, а для нее — в нем.

Неожиданно она выглянула из-под зонта, и струи воды побежали по лицу.

— Скажи, ты приехал из-за меня?

Он подумал, что она подставила лицо дождю, чтобы скрыть слезы.

— Из-за тебя.

Она сдвинула зонт, и вновь по ее лицу побежали струи ливня.

— Нет-нет, скажи, ты приехал сюда, чтобы увезти меня?

— Увезти.

— Я тебе все хотела сказать, — произнесла она. — Чтобы человек по-настоящему почувствовал себя счастливым, надо вначале отнять у него это счастье.

— А потом вернуть? — спросил он.

— Вернуть, как у меня получилось с мамой, — сказала она. — До того как я уехала в Россию, мама казнила меня изо дня в день. А теперь нет ее счастливее.

— Отнять, а потом вернуть счастье? — Он понимал, что Кира говорит не о нем, а о своей маме.

— Обязательно вернуть, — сказала она.

— А если не вернуть? — спросил он.

Она затихла.

— Я тебя не понимаю.

— А вот если отнять счастье, а потом не вернуть, как ты сделала со мной? — повторил он.

Ливень стих. Неожиданно стало тепло. Навстречу им будто вставали из тумана и медленно шествовали черные деревья. Когда-то в дни загородных прогулок с Кирой в Глазго у Петра был молчаливый зарок. Он не разрешал ни случайному прохожему, ни сухому придорожному кусту, ни рекламной тумбе, стоящей у скрещения окраинных улиц, ни дереву пройти между ним и Кирой. Наверно, это было наивно, но было именно так. А сейчас деревья свободно шли между ними, надменные в своей сытой радости.

Петр и Кира ждали речного трамвая, который должен был отвезти ее куда-то на левый берег Темзы. Там жила ее тетка, та самая, у которой она останавливалась в прошлый раз.

— Нет, ты не думай, что я уеду сейчас совсем, — сказала она, преданно глядя на него. — Ты дай мне телеграмму, и я приеду тебя провожать.

Подошел пароходик и забрал ее. Пароходик отчалил и скрылся в полумгле.

А Петр смотрел ей вслед, думал: ей не надо было перебарывать лето, как ему. Ей было легче, чем ему. У нее был этот ее расчет, который, как второе дыхание, помогал ей унять боль. Но он тут же осек себя. Если бы она была такой, какой он видит ее сейчас, он бы не полюбил ее. Пусть она уйдет от него, но пусть уйдет такой, какой он знал ее всегда. Почему же тогда ей так легко далась разлука и почему она сейчас там, в гостинице, шла к нему этой походкой, сдерживая порыв, словно любуясь собой? Пусть уйдет, но пусть тревога владеет и ею. Пусть хоть на миг будет слабым человеком, который не может справиться с бедой. Пусть будут и слезы и тревога. Пусть будет даже крик о помощи, как было в парке, когда шумел ливень. Нет, это не нужно ему, это нужно его мыслям о ней...

Петр вернулся в отель. Оказывается, звонил Тейлор, и неоднократно: очевидно, дело приняло оборот нежиз-



данный и для него — без большой нужды он не позвонил бы дважды.

Тейлор не долго оставлял Петра в неведении — раздался новый звонок.

— Добрый день, господин Белодед! — заговорил Тейлор. — Как поживает русская пенька?

— Великолепно, мистер Тейлор! — парировал Петр; тон Тейлора не должен сбить с толку, наоборот, надо поддержать этот тон и заставить Тейлора отказаться от него. — Английский флот без надежных русских канатов — какая ему цена?

— Пусть будет у вас сто контрактов, господин Белодед!

— Благодарю вас, мистер Тейлор!

Тейлор перевел дух: и нехитрые остроты стоят сил.

— Неожиданные обстоятельства, мистер Белодед.

— Мне нравятся неожиданные обстоятельства, если они не печальны, мистер Тейлор.

— Нет, не печальны, мистер Белодед. — Тейлор рассмеялся почти беззаботно. — Завтра я не могу быть у господина Литвинова.

— А вы хотели быть там и завтра?

— Конечно, я говорил вам.

Разумеется, хитрец Тейлор ничего не говорил Петру о завтрашнем визите в Брикстон по той причине, что не предполагал быть там завтра, да и версию о завтрашнем визите в Брикстон Тейлор только что придумал. Придумал единственно для того, чтобы ускорить визит Петра в лондонскую тюрьму и встречу с Литвиновым.

— Мистер Тейлор, меня осенило: а нельзя ли мне быть в Брикстоне завтра вместо вас?

Тейлор затих. Не проник ли Петр в замысел Тейлора?

— Я... могу вам предложить, — произнес Тейлор спокойно.

— Благодарю вас, мистер Тейлор. Нам остается договориться о деталях.

— Пожалуйста, мистер Белодед.

Они условились: Петр будет у Литвинова завтра в два. Петр положил трубку. Что же произошло вчера в Брикстоне между Литвиновым и Тейлором? Их беседа определенно осложнилась, если столь неожиданно возникла необходимость разыскивать Петра и назначать встречу

на завтра. Петр должен быть в Брикстоне завтра в два — нелегко прожить сутки, почти сутки. И вновь он стал думать о Кире. Ему все казалось, что она в Лондоне. Он вспомнил, что уже с парохода она ему крикнула, что будет на будущей неделе в среду. Будет ли, и надо ли, чтобы она была? Он заметил, что, вспомнив, он не растрогался, как, впрочем, и не испытал большой радости. Он полагал, что Кира устремится к нему, а она пошла к нему этой своей походочкой. «Я отлично пережила эти месяцы и без тебя, — точно говорила она ему этой своей походочкой. — Естественно, я тосковала по тебе. Но в моей власти было совладать с этой тоской. Я совладала. А вообще я сильнее, чем ты думаешь обо мне. Я сильная. Настолько сильная, чтобы не повернуть к тебе, не повторить ошибки. Для меня это была бы ошибка». Именно так она должна была думать. Именно так и думала. Это похоже на нее. Тогда зачем же он пытается вызвать ее из небытия? Упорно пытается. Внезапная мысль остановила Петра: Елена. Когда-то и она жила здесь. Быть может, ходила по этой набережной, поднималась по этой лестнице, сидела вот под тем старым вязом. А как бы на месте Кире повела себя она? Но она настолько другая, что вряд ли она могла бы оказаться в положении Кире.

## 118

Белодед прибыл в Брикстон без четверти два.

Петр не преминул установить, что коридор, которым он шел сейчас, был и просторнее, и выше, и светлее того, которым они следовали на свидание с Чичериным. Впрочем, и комната, которой они закончили длинный путь, была похожа именно на комнату, а не на тюремный каземат, как тогда. Помимо обычных окон, из которых, к удивлению Петра, виднелось небо (судя по всему, этим достоинством в Брикстоне обладали не все окна), здесь были камин и люстра, большая, домовитая, которая за долгую свою жизнь висела, наверно, и над столом, застланным скатертью.

Вошел Литвинов, увидел Петра, протянул руки. Както мгновенно запотели очки. Литвинов снял их, достал платочек, протер. Сейчас очки почти сухи, да и голос свободен от волнения.

— Берите стул и идемте со мной,— Литвинов подходит к окну. Окно, в отличие от стен, не слышит, а может, он просто захотел воспользоваться возможностью и взглянуть на настоящее небо.— Все, что вы хотите мне сказать,— говорит Литвинов,— вы должны успеть произвести за сорок минут.

— Готов поступиться пятью минутами, Максим Максимович... в знак признательности.

— Вы щедры,— смеется Литвинов.

За жизненным смехом Литвинова трудно рассмотреть настроение. Без смеха ему нельзя: поступишься — погибнешь.

— Вы видели Ильича до отъезда?

Литвинов сказал «Ильича», точно хотел спросить, как он совладал с черным днем тридцатого августа.

— Я видел его за день до отъезда,— сказал Петр.— Он еще слаб, но быстро поправляется и полон надежд.

— Газеты пишут, что опасность не миновала,— сказал Литвинов.

— Миновала,— заметил Петр.

— Ну что ж, это весть добрая,— сказал Литвинов.— Теперь коротко: ваше мнение о европейской ситуации. Ваше.

Петр готовился к разговору по конкретному деловому вопросу, но отнюдь не по столь зыбкой и неясной проблеме, как общеевропейская ситуация. С чего здесь начинать и чем кончить?

— По-моему, у войны есть два конца, Максим Максимович. Первый: чистая победа союзников, чистая настолько, чтобы единолично ею воспользоваться и наказать Германию. Второй: Антанта делает Германию союзницей и обращает ее армию против революционной России.

Литвинов улыбнулся:

— Невероятно. Однако вы не исключаете и такой вариант?

— Я не думаю, чтобы союзники решили сохранить германскую армию даже после ее поражения,— сказал Петр.— Мы опасаемся альянса немцев с союзниками, Антанта еще больше боится союза немцев с нами.

— Значит, остается первый вариант? — спросил Литвинов.

— Да.

— Тогда как поведем себя мы? Не думаете ли вы,— спросил Литвинов,— что в этом случае мы обретем какие-то козыри?

— Да, наверняка,— ответил Петр.

— Но есть еще один вариант — третий,— сказал Литвинов.— Вы понимаете меня?

Пауза была короткой.

— Да, разумеется.

Сказав «третий», Литвинов имел в виду главный вариант — революцию.

— Все решится в течение этих шести недель,— сказал Петр.

— Может быть, даже четырех,— заметил Литвинов.

Подошел человек в форменной куртке служителя тюрьмы. Высокий, худой, с мглистыми сединами. Они у него были какими-то мглисто-синими, как синим было его лицо. Быть может, это цвет серых камней Брикстон-призн?

— Господин посол, вы имеете еще двадцать минут,— сказал человек, почтительно поклонился и отошел.

— Благодарю вас,— сказал Литвинов и проводил его взглядом.

Петр отметил для себя: поклон человека в форменной куртке был весьма почтителен, и человек при этом сказал: «господин посол». Очевидно, сами слова «господин посол» должны были прозвучать в Брикстоне необычно.

Итак, в распоряжении собеседников оставалось двадцать минут, только двадцать, а до окончания разговора еще было далеко.

— У меня к вам будут три поручения. Очень прошу вас все хорошо запомнить,— сказал Литвинов и умолк, как показалось Петру, пытаясь сосредоточиться,

«Сейчас пойдут имена, названия улиц, номера домов»,— подумал Петр. Новое русское посольство продолжало путешествовать по Лондону. Оно посещало банк и вокзал, ненадолго останавливалось у почтового окошка, делало короткую передышку на скамье в Гайд-парке, путешествовало в омнибусе по городу и, как может удостоверить Петр, не пренебрегало обширной и гостеприимной кровлей Брикстонской тюрьмы.

— Я прошу вас посетить три дома. Вот адреса. Запоминайте...

Литвинов говорит, Каскад имен, названия районов Лондона, названия улиц, имена хозяев домов, наконец, самих адресатов. Очень много номеров улиц, квартир. Каждое название и каждый номер Литвинов произносит раздельно, будто давая Петру возможность вцементировать номер и имя в память.

Вновь подошел человек с синими сединами.

— Господин посол, у вас еще десять минут.— Его поклон был, как и прежде, подчеркнуто почтителен.

— Оказывается, мои достоинства и мои недостатки имеют точное измерение — Локкарт,— произнес, смеясь, Литвинов, когда человек отошел. Его смех, как, впрочем, и хорошо отутюженный костюм и свежая сорочка, был спасительным в нелегком положении.— Я хотел сказать Тейлору: честное слово, я стою больше. Но ведь у них своя мера длины и своя мера веса.

— Но как я понял Тейлора, этот разговор не имел для него результата,— сказал Петр.

— Не только для него, но и для меня,— заметил Литвинов.— Тейлор уговаривал меня дать телеграмму в Москву прямо из Брикстона.

— Телеграмма, посланная вами из Брикстона, освобождает их от необходимости освобождать вас из тюрьмы,— сказал Петр.

— Именно! — воскликнул Литвинов.— И это, разумеется, я не скрыл от Тейлора, но тот сделал круглые глаза. Коли ему хочется делать их круглыми, пусть. Кстати, какого вы мнения о нем?

Превыше всего именно твое мнение, даже, как сейчас, о Тейлоре. Он должен оценить твою способность видеть, анализировать, мыслить. Ему это необходимо, чтобы потом, когда он вспомнит этот разговор от начала до конца, правильно расставить акценты.

— Мне кажется,— сказал Петр,— что в разговорах с вами он похвально положением в министерстве иностранных дел, а в разговоре с коллегами из министерства — связями с вами.

Литвинов нахмурился. Что бойко, то мелко — кажется, так когда-то сказал Литвинов. Петр сейчас видел: ему не по душе фраза Петра. В этой фразе Литвинов мог рассмотреть претензию. В его вкусе другое: спокойное и рациональное.

— Как вы считаете,— спросил Литвинов,— можем ли

мы рассчитывать на его лояльность? Или в нашем деле он сохранит нейтралитет?

Петр задумался: не слишком ли много задач для получасового разговора? Но можно ли рассчитывать на лояльность Тейлора? Нет, не на доброжелательность, а именно на лояльность. Если не рисковать ошибиться, можно обратиться к ответу, который при всех обстоятельствах будет верным. Надо сказать, что Тейлор сохранит нейтралитет. Погодите, но нейтралитет не синоним лояльности? Нет, пожалуй, нейтралитет меньше. Но ведь Литвинов спрашивает мнение Петра. Как полагает Петр, Тейлор будет лоялен, но практически эту лояльность не следует учитывать, нет расчета.

— Что будет практически, я представляю,— возражает Литвинов.— Меня интересует лояльность Тейлора как таковая. Есть она в природе?

— Скорее... есть.

— Он вас еще не приглашал к себе? Пригласит. Имейте в виду, что у семьи Тейлора... русские традиции. Сегодня это выражается в том, что именно в доме Тейлора собираются члены русского клуба во главе с сэром Джорджем Бьюкененом...

Подошел человек с синими сединами, показал на часы.

— Господин посол, ваше время истекло, но пять минут я могу взять на себя.

— Благодарю вас, мистер Кейк.

Но как Литвинов использует эти пять минут, которые великодушно предоставил ему человек с синими сединами?

— Послушайте, Белодед, все хотел вас спросить, какими пистолетами вы увлекаетесь? — спросил Литвинов.— Браунингами или кольтами? Если память мне не изменяет, вашей страстью были кольты?

Петр рассмеялся. Наверно, это характерно для Литвинова. В тот раз он запомнил эту деталь: дипломат, увлекающийся кольтами. В его сознании Белодед отождествляется с этой страстью.

— Нет, зачем же кольт и браунинг, сейчас есть великолепная машина смит-вессон,— заметил Белодед.

— И вы, конечно, были у лондонских оружейников и видели ее?

— Видел.

— И я увлекался когда-то оружием! Но об этом,— Литвинов помедлил, оглянулся вокруг,— в другой раз.

Они быстро пошли от окна.

— Вы видели этого мистера Кейка?

— Да, разумеется.

— Простая и верная душа, хотя и работает здесь не первый год,— произнес Литвинов, пытаясь приметить в толпе человека с синими сединами, который, видимо, на минутку вышел в коридор.

— Между прочим, он относится к нам не без симпатий, и я ему верю. Ему ведь незачем хитрить.— Литвинов посмотрел на распахнутое окно.— У меня такое впечатление, что еще на этой неделе мы с вами встретимся под чистым небом.

## 119

Тейлор пригласил Петра к себе.

Хочешь не хочешь, а продолжишь спор с Репниным: для Петра британская столица сейчас именно остров необитаемый. Для Петра — не для Тейлора. За Тейлором — ревнивое участие родного города, сонм друзей и советчиков, многоопытный Форейн-оффис. За Белодедом только он сам, Белодед. Нет, здесь девятнадцатый век ни при чем! И многомесячные поездки на перекладных, и длинные российские дороги, и полосатые столбы упомянуты не к месту! Все может обернуться так круто, что ты окажешься один. Короче, в посольстве пожар — и судьба большого дела, которое тебе доверено, как собственная судьба, в твоей власти.

В семь вечера Петр был на Бейсуотер. Подъезд трехэтажного каменного дома, чем-то напоминающего гостиницу. На звонок вышел Тейлор.

— Простите, что я не при галстукке — работал — как это по-русски? — до седьмого пота! — Молодой дипломат одет с изысканной простотой. Небрежность его домашнего костюма рассчитанна.— Подписал гору бумаг и могу съезть вола!

Тейлор не рисуется: ему действительно кажется, что он много работал и имеет право быть довольным собой. На взгляд Петра, гордость Тейлора наивна: вряд ли ему ведом смысл слов, которые он произносит,— «до седьмого пота».

Они идут по дому. На улице полдень с облачным не-

бом, а тут сумерки. В гостиной портрет человека в жабо — наверно, далекий предок. По лицу разлился румянец, в то время как губы посинели. Румянец бело-розовый, стариковский — от холодной спальни, в которой по английскому обычаю, должно быть, спал предок. Впрочем, синие губы тоже от холодной спальни. Если бы можно было заглянуть чуть-чуть вперед, то нетрудно установить: синие губы предрекли почтенному предку кончину — предок умер в своей спальне, окоченев — английская смерть для знатных и, пожалуй, незнатных. А сейчас предок задумался, смежив набухшие веки и сжав губы. Где-то волнистое жабо слилось с волнистой кожей лица — из жабо торчат только глаза, выражающие и норов и упорство, да старушечий рот, исполненный неутоленной гордости и презрения, на века и века вперед — презрения. Сколько поколений Тейлора обречены ходить под взглядом этих глаз и нести на себе это презрение?

— Не нашли ли вы хорошего покупателя пеньки? — спросил Петр. Он решил заплатить Тейлору за его остроты сторицей.

— Нет, я хочу говорить о пеньке в той мере, в какой она относится к дипломатии, — парировал Тейлор.

— Но предметом нашего разговора будет пенька, мистер Тейлор, — настаивал Петр.

— Дипломатия, мистер Белодед.

Два часа пополудни слишком поздно для ленча, впрочем, в Лондоне час ленча у каждого свой: у докеров в двенадцать, у клерков Сити в двенадцать тридцать, у деловых людей — между часом и двумя. Что же касается Тейлора, то он лишен предрассудков и по необходимости может сесть за стол в одно время с докерами, клерками или деловыми людьми.

Человек с красным затылком, накрывавший стол, художник: сочетание добрых кусков мяса, зажаренных на устойчивом и сильном огне, со свежеподжаренным хлебом и искристой грудой зеленого салата, хорошо и по краскам.

Тейлор приглашает гостя к столу — он накрыт в комнате рядом.

— Мистер Белодед, как вы знаете, я вчера был у господина Литвинова. Я подробно изложил ему предложение об обмене и просил дать телеграмму в Москву, — речь Тейлора текла довольно гладко; самые гладкие речи



мистера Тейлора, как успел уже убедиться Петр, были самыми важными, он возлагал на них известные надежды и репетировал.— Он сказал, что из тюрьмы ему депеши посылать трудно,— все той же безупречной скороговоркой произнес Тейлор.— Не думаете ли вы, что для вас это было бы удобнее, господин Белодед?

Вопрос поставлен точно: Литвинов должен оставаться в тюрьме, а ты пошлешь телеграмму. Главные линии замысла англичан прочерчивались все четче. Англичане были достаточно осведомлены, насколько серьезна ответственность их агента за события в России, и спешили с его освобождением. Разумеется, они действовали через своих представителей в Москве, но этого им казалось мало. Они хотели, чтобы в этом участвовал Литвинов — его депеша в Москву могла бы решить все. Участвовал, оставаясь в Брикстон-призн. Литвинов дал понять им, что обязательной предпосылкой должно быть его освобождение. Но, быть может, депешу пошлет Белодед? Вопрос поставлен точно и требует ответа.

Однако Петр еще раз может убедиться, что Великобритания — цитадель! Испокон веков вода соединяла Британию с внешним миром. Теперь она утратила это свое свойство. Ее валы поднялись и окаменели, обратившись в крепостные стены. Россия отсечена намертво, она в другом мире. Разумеется, друзей, и многих, можно найти и в крепости, добрых друзей, но и они не решат за Белододеда. Вот и обернулся новой гранью спор с Репнинным. Итак, вопрос поставлен точно: готов Белодед слать депешу в Москву? Никто не решит этого вопроса за Петра, вопроса, в котором свои свет и тени, свои глубины и скрытые отдели.

— А стоит ли так спешить с депешей? — спросил Белодед и посмотрел на Тейлора. Тонкие брови англичанина медленно приподнимались — он недоумевал.

Здесь, у окна в палисадник, еще светло, а в большой гостиной с портретом человека в жабо уже вечер. И кресла, обитые плюшем, дремлют вдоль стен. И пепельницы из камня-самоцвета потускнели. Вряд ли эти пепельницы постоянно стоят в гостиной — их принесли сюда в тот вечер, когда здесь были сэр Джордж и его сподвижники по русским делам. Наверно, горел камин и сэр Джордж то и дело подносил к огню зябнущие руки. Вот и сейчас, так видится Белодеду, Бьюкенен обернулся к столу, где сидят

почтенные члены русского клуба, а руки, худые стариковские руки вдруг отказались следовать за своим господином, они словно прилипли к огню — не ровен час вспыхнут и опадут на штиблеты сэра Джорджа маслянистым пеплом. «Полагаю, что лучшего советника по делам России, чем русский клуб, правительству его величества не найти...» Десять человек, сидящих за столом, согласно кивают головами — вот попробуй опровергнуть это утверждение, даже если с ним не совсем согласен.

— Вы сказали: «Стоит ли спешить?» Но ведь речь идет о том, сколько господину Литвинову сидеть в тюрьме? — возразил Тейлор.

— Тогда надо посылать депешу теперь, — бросил Белодед простодушно.

— Но я это сказал раньше вас: надо послать депешу немедленно, — произнес Тейлор.

— Да, да, ни единого дня промедления, — поддержал Петр, он определенно действовал заодно с Тейлором. Они сделали еще по одному кругу и вернулись к исходной точке. Очевидно, Тейлору следовало произнести фразу, ничем не отличающуюся от той, с которой он начал этот разговор. Она, эта фраза, была у него на кончике языка, и все-таки он не решался ее произнести. Неспроста же Белодед прогнал его по кругу. Тейлор медлил. Но само молчание обладало не меньшей силой, чем слова. В сущности, оно должно было сказать то же, что и слова, даже больше, чем слова. И англичанин решился:

— Мне трудно понять, мистер Белодед, причины вашего отказа.

— Простите, но, обращаясь с этой просьбой к Литвинову, вы это понимали?

— Да, но почему депеша в Москву должна быть послана Литвиновым, а не вами?

— По той самой причине, по какой вы это считали вчера, мистер Тейлор.

— Я отказываюсь понимать, мистер Белодед.

Кто-то невидимый прошел по дому, растушевавшись во тьме и тишине, прошел и разбросал огни по стенам — кажется, и в большой гостиной зажглись бра. Зажглись и вызвали из тьмы неяркий блеск дверных ручек. Кажется, и Тейлор встрепенулся, обратив взгляд в гостиную, — заседание держателей русских ценных бумаг продолжается!

Сэр Джордж здесь авторитет. Его участие дало клубу имя. Он равнодушен к знакам внимания, однако готов их принять сполна — все, что причитается, отдай! Когда сэр Джордж открывает коробку с сигарами, три руки поднимают пепельницы; не беда, что сэр Джордж окружен хоромом пепельниц, у него это не вызывает улыбки. Когда Бьюкенен неожиданно останавливает усталый взгляд на окне, почтенные знатоки русских дел тянутся к форточке: «Не душно ли вам, сэр Джордж?» Бьюкенен устал, у него болят ноги и поясница, его мучит головокружение. Как некогда в Летнем саду, его иной раз так завертит и закружит на дорожке Гайд-парка, куда он приходит по утрам, что впору броситься в объятия дубам и вязам. Нет, Бьюкенен принимает знаки внимания не из тщеславия, просто пришла старость и без крепкой руки, которая поддерживает тебя, на ногах не удержаться.

Но вот в глубине дома осторожно щелкнул дверной замок, и большая люстра точно уловила шаги человека, входящего в гостиную.

— Сэр Уинстон Черчилль...

Нет, нет, надо смотреть не на сэра Уинстона, а на сэра Джорджа — в своем роде психологический фокус. Взгляните только, как подскочил сэр Джордж, с какой легкостью и радостной бравадой он устремился вперед, как ткнул локтем соседа и отвел створку двери — не просто тучному сэру Уинстону войти в дверь! Но дело даже не в том, как Бьюкенен встретил сэра Уинстона, взгляните только, как он повел себя дальше: сдвинулся рычажок в мозгу человека, пришли в движение колесики, которые были неподвижны едва ли не с рождества Христова! Сэр Джордж уже не полулежит в кресле, а скорее стоит, избрав своей длинной фигурой вопросительный знак. Диву даешься, как можно принять эту мудреную позу, не утвердив соответствующего места на сиденье. «Настоящему политику, сэр Уинстон, никогда не стыдно отказаться от своих прежних взглядов, если время... Короче, я — за вторжение. Разумеется, я понимаю, что при налоге в шесть шиллингов на фунт это сделать трудно, но при шести шиллингах и десяти пенсах... Речь идет лишь о десяти пенсах, сэр Уинстон!»

В большой гостиной становится все темнее и, так кажется Петру, тише; члены русского клуба погрузились

В трудное раздумье: десять пенсов и вторжение в Россию.

— Все так ясно,— произнес Петр с той энергией и непримиримостью, с какой вел весь разговор.— Как ни спешно для вас было это дело, вы выждали сутки и обратились с просьбой о депеше к Литвинову. Заметьте, не ко мне, а к Литвинову, и в этом был резон...

— Вы сказали: резон. Какой? — спросил Тейлор.

К этим жестким «вы сказали» Тейлор обращался без умысла. Он получал от Петра готовые русские фразы и, повторяя их, выгадывал время — в этом напряженном разговоре время было ему очень нужно.

— Если вы частное лицо, вы можете обратиться с этой просьбой и ко мне,— проговорил Белодед.

— Я лицо не частное! — почти патетически воскликнул Тейлор.— И все, что я сказал, имеет силу официального разговора.

Любопытно, чем определены русские интересы Тейлора? Его далекий предок, может, тот самый, чей портрет висит в большой гостиной, ходил в Вологду за русским мехом, или другой прародитель, не столь древний, но столь же упрямо цепкий, был главой британской дипломатической миссии у Екатерины. В какой мере это было так и насколько все это могло оказать влияние на судьбу Тейлора? Кем видит себя Тейлор в будущем: шефом восточноевропейского департамента на Даунинг-стрит или директором русско-британской, лучше британской, нефтяной компании в городе на Каспийском море?

— А вот о себе я этого сказать не могу,— возразил Петр.— В этом вопросе, разумеется, преимущество у вас.— Петр поймал себя на мысли, что произносит эти слова — «преимущество у вас» — с радостью.— Как вы понимаете,— продолжал Белодед,— этот разговор имеет смысл, если он ведется на началах паритетных. Официальному положению вашему должно соответствовать такое же положение человека, с которым вы ведете разговор.

— Вы сказали: «на началах паритетных». Тогда мы зашли в тупик,— проговорил Тейлор.

— Нет, почему же,— был ответ Петра.— Литвинов должен быть освобожден из тюрьмы. Он единственное официальное лицо, которое правомочно вести переговоры.

— Ну что ж, желаю вам... продать всю пеньку, мистер Белодед! — вырвалось вдруг у англичанина,

— Благодарю вас, мистер Тейлор.

Они простились, едва вышли из холла. Дальше прожогать Петра Тейлор не стал. Нормы вежливости дозированы: меньшее внимание неприлично, большее в данном случае вряд ли уместно.

Петр не мог не спросить себя: «Разрыв ли это и надо ли было вести к разрыву?» Он затревожился: «Однако ты действительно на острове! Не исключено, что Тейлор на этом сочтет свою миссию завершенной и отстранится — в сущности, события пришли к логическому концу и для него. Кто выиграет от такой перспективы?» Литвинов останется в Брикстон-призн, а этим определяется и результат миссии Петра на Британские острова. Но в какой мере возможен такой исход? Разумеется, англичане пренебрегут судьбой Литвинова и оставят его в Брикстон-призн на месяцы и месяцы, как оставили они там Чичерина. Но пренебрегут ли они судьбой Локкарта? Все свидетельствует о том, как они спешат. Очевидно, Петр вел себя верно, и не о чем жалеть. Легко сказать: жалеть не о чем. Когда ты один, наверно, так же трудно принять решение, как и его выполнить. Значит ли это, что ты не должен принимать решение?

Вернувшись в гостиницу, Белодед взглянул на деревянное гнездышко с ключом от номера. Завтра среда, и Кира могла подтвердить свидание письмом или телеграммой. Но в деревянном гнезде покоился только ключ. Петр ждал телеграммы до конца дня, потом утром — напрасно. Он позвонил из города в отель — результат тот же. Потом он подумал, что она всегда была точна, точна до обидного, и решил, что она будет, будет в их час. Он вернулся в отель без четверти шесть — она ждала его в холле, все за тем же столиком.

— Пойдем вдоль Темзы, — сказала она. — Будем идти и идти, пока не дойдем до луны.

Она все рассчитала: луна должна была быть сегодня в девять.

С моря двигались тучи, они были темно-лиловыми, непросвечивающимися и, надвигаясь, будто сплющили чистую полоску неба, и от этого она стала такой яркой.

— Все люди, сколько их на белом свете, разделены на два больших народа, только на два: первые живут для себя, вторые — для других...

Петр рассмеялся.

— Прости, а к какому народу ты относишь себя? — решил он спросить ее.

— А разве это не очевидно?

— Нет.

— Ты же знаешь, что для меня без мамы нет жизни, — сказала она.

— Это монастырь? — спросил он.

— Если хочешь, монастырь, — ответила она.

— Ты уехала из России из-за мамы?

Она молчала.

— Из-за мамы уехала? — повторил он.

Она вздохнула.

— Я скажу, Петр, но ты меня не осуждай.

Она опять умолкла.

— Ну, говори же.

— Пойми, Петр. Я честно ехала туда, и Клавдиев — честно...

— Но Клавдиев остался в России! — воскликнул Беллод.

— Только не спеши меня осуждать, — заговорила она тихо, волнение источило ей голос. — Для Клавдиева родина Россия, для меня... Шотландия.

Он остановился, потом зашагал вперед.

— Я никогда не пойму тебя, — бросил он гневно и обернулся. Она медленно шла вслед: «Только не спеши меня осуждать...»

Туча застлала небо, полоска света стала и уже и ярче — пронзительный свет выхватил высокие крыши храмов, шпили, купола, переплеты моста, выхватил и погас, стало очень темно.

Она стояла сейчас перед ним.

— Только ты не говори, что любишь меня, — сказала она. — И что тебе без меня тяжело. И что приехал сюда потому, что не можешь меня забыть. И что тебе со мной будет хорошо, а мне с тобой. И ласковых слов не говори, совсем не говори, я не хочу, — произнесла она быстро, словно опасаясь, что он ее прервет; она шла где-то рядом, у самого берегового борта, но он едва видел ее.

— Почему не говорить? Боишься? — спросил он.

— Боюсь.

Они шли и шли. Иногда он слышал ее дыхание.

— Ты со мной была бы счастлива...— Из всех слов, что она запретила ему произносить, эти были самыми страшными.

Она кинулась к нему.

— Я люблю тебя. Пойми, тебя, тебя...

Туча разверзлась, и на землю пролился свет: они дошли до луны.

Кира стояла сейчас перед ним молчаливая — все, что кричало в ней, затихло, все, что болело, наверно, отболело.

— Я знаю, все кончилось... все,— произнесла она. Казалось, она была спокойна.

Поздно вечером позвонил Тейлор. Он сказал, что завтра господин Максим Литвинов будет освобожден.

## 120

«Революция — татарник, на культурных землях не растет». Странно, но именно эти слова пришли Репнину на память, когда поезд уже шел через Германию. Сосед по купе, краснолицый бельгиец, не то поэт, не то архитектор, а вернее, и то и другое одновременно, каким-то чудом ухитрялся выскочить на перрон даже там, где поезд останавливался ровно на столько, сколько требовалось, чтобы подать сигнал к отправлению.

— Чудные люди эти немцы,— хлопал красными веками бельгиец.— Говорят о каком-то фантастическом ящике, который упал с тачки на берлинском вокзале, распался и засыпал весь Берлин листовками с призывом к революции, разумеется, русскими листовками.— Бельгиец недоуменно разводил руками.— Я спрашиваю: «Ящик упал с тачки или с самолета?» — «С тачки»,— говорят. «И засыпал весь Берлин листовками?» — «Засыпал». При этом бельгиец смеялся и выглядывал из окна: поезд уходил, а перрон был полон народом. Такое впечатление, что пассажиры остались на перроне и поезд ушел пустым.

А ранним вечером километрах в двухстах от Берлина бельгиец выглянул в вагонное окно, воскликнул: «Однако эти листовки с берлинского вокзала проникли и сюда!» Вслед за бельгийцем Репнин посмотрел в окно и увидел

корпус завода, точно сложенный из тесаных глыб антрацита, асфальтовую мостовую и добрую сотню рабочих, идущих с красным флагом. И вновь пришли на память слова: «Революция — татарник, на культурных землях не растет».

Репнин уже не мог отойти от окна: смеркалось. Черная вода в реках, черные рельсы — они разлиновали и землю, и небо, черные кирпичные заборы и чайки, грязно-черные, задымленные, на этих заборах. А много позже, вечером, поезд остановился на полустанке, затопленном ночью, и Репнин вышел. В ночи разговаривал колокол. Разговаривал не по-русски. И Репнин вдруг понял, что он в Германии, в той самой трижды проклятой, вильгельмовской, которая виделась ему единственно виновницей русского горя. И Репнину вдруг показалось, что ничто не изменилось с тех пор, как началась война: есть фронт от Черного моря до Белого, есть траншеи и в этих траншеях русские люди. Все было как прежде. Непонятно лишь, как Репнин преодолел фронт и очутился под Берлином, на этой платформе, затопленной ночью, под этими ударами колокола...

Поезд пришел поздно вечером. Едва он остановился, в дверь купе постучали. Репнин открыл дверь. Черноглазый великан в бушлате, назвавший себя Алексеем Апатоновым, посольским управляющим делами, не сообщил, а доложил, что ему поручено встретить Николая Алексеевича.

Войдя в купе и осторожно закрыв за собой дверь, он сказал, что посол и его коллеги покинули Берлин еще той ночью, вынуждены были покинуть, и что единственным хозяином в посольстве является он, Алексей Апатонов. Дождавшись, пока Репнин закончит сборы, Апатонов взял из рук Николая Алексеевича один из чемоданов и двинулся было к выходу, но остановился, заметив, что на перроне Репнина ожидает некто Шульц.

— Не хочет и слышать, что вы поедете вместе со мной,— произнес Апатонов, не глядя на Репнина.— На мое замечание, что я готов отвести вам хоть целый особняк, ответил, что особняк есть и у него.

Репнин сказал Апатонову, что Шульц действительно его давний приятель и Николай Алексеевич хотел бы этот вечер провести с ним, к тому же у него есть к Шульцу дело.



Невелика дорога от купе до перрона, но сколько мыслей промелькнуло у Репнина. Он вспомнил посольскую квартиру Шульца в красном доме у Исаакя, пианино в простенке, на котором недурно играл хозяин, двухпудовые гири в углу, Шульц убедил себя, что обладает силой необыкновенной, и, обмениваясь первым рукопожатием, считал необходимым так сдвинуть руку своего нового знакомого, что у того слезы выступали, при этом дамы не могли рассчитывать на снисхождение. В остальном Шульц был славным малым, он даже увлекался философией и слыл вольнодумцем. Шульц утверждал, что кайзер перенес правило в подборе потсдамских офицеров (разумеется, по росту) на подбор статс-секретарей; последний из них (по иностранным делам) был назначен после того, как покорила сердце императора тем, что во время поездки в Танжер легче и быстрее остальных поднимался и спускался по веревочному трапу яхты «Гогенцоллерн». Репнин готовился встретить рыжеусого здоровяка с лицом, усыпанным ярко-красными веснушками (на ум пришла фраза Ильи, обращенная к Шульцу: «Милый Франц, отдаю должное твоей родовитости, но не вижу твою кровь голубой, она у тебя рыжая!»), а встретил сухонького человека с быстрым взглядом.

— Ничего не пойму: ты мне казался и выше и могучее! — произнес Репнин, приветствуя приятеля. — Этак ты и пудовой гири с места не сдвинешь!

— Я и сам не пойму, что со мной стало, — высох, как высыхает кисель! Был кисель, а осталась... корочка! Как будто и не болел, но даже ростом стал меньше! Но сила есть. — Нет, это только казалось, что Шульц изменился, он был прежним.

Они вышли из здания вокзала.

— Прости, Николай, но не мог добыть ничего пристойнее, — произнес Шульц и оглядел громоздкое сооружение на дутых шинах. — Революция, как бы это сказать... перетасовала колоду! — Как все иностранцы, которым знание русского языка давалось не без усилий, он дорожил ходкими словечками. — Сам увидишь: потерял счет часам. Нет, усадеб не жгут и пока не берут нашего брата на вилы — это же немецкая революция! Пока, а там один бог ведает!

— Чудно, товарищ Репнин! — поднял могучую руку Апатонов, до сих пор не проронивший ни слова. — Не ду-

мал, что увижу германскую революцию! Это, скажу вам, такая картина! Поставили на крыше советского посольства красный флаг и пошли, и пошли! — Он развел руки. — Для них этот красный флаг — и Москва, и Советы, и Ленин... Велите гнать на Унтер-ден-Линден! — обратился он к Шульцу. — Там вся картина германской революции как на ладони!

Они действительно проникли на широкую Унтер-ден-Линден. Репнин был последний раз в Берлине едва ли не четверть века назад. (Была конка, и по городу расхаживали военные в эполетах.) А сейчас он смотрел кругом во все глаза и ничего не узнавал. Берлин был и тот и не тот. Город точно возникал в памяти и тут же рушился, заново отстраивался и мгновенно обращался в руины. А толпа становилась все гуще — веселая воинственность владела ею.

— Вы взгляните, взгляните сюда! — вдруг воскликнул Апатонов.

Репнин поднял глаза и все понял, до дрожи внутри, до холодного озноба понял: дом с черными затененными окнами и красный флаг на крыше — советское посольство.

Что произошло в течение этого вихревого года, если он, Репнин, очутился посреди революционного Берлина, имея по одну руку Шульца, а по другую Апатонova? Где находится Репнин сейчас, на каком свете, в начале трудного пути или на той островерхой хребтовине, на которую и взойти было немисливо, а сойти во сто крат труднее? Как должен был вздыбиться и перевернуться вверх дном мир, а заодно с ним и Россия, что произошло такое?

— Не тревожьтесь, я с вами, — произнес Апатонов, легонько, но властно сдвливая локоть Николая Алексеевича. — Салют, камарад! — крикнул он старику в вязаной шапочке и, обратив лицо к Репнину, продолжал: — Видите отметину? — указал он на шрам, перечеркнувший щеку. — Нет, не живой рубец, а знак революции. — Он прикрыл ладонью шрам. — Нет, не на море — на суше! Салют, камарад! — Он скосил веселый глаз на человека в квадратных очках и, взглянув на Репнина, продолжал: — Июнь пятого года, Черное море, порт Одесса. Миноносец номер двести шестьдесят седьмой. Тот самый, что пришел в Одессу вместе с броненосцем «Потемкин-Таврический».

Там было так, как сейчас в Берлине. Только не дай бог, чтобы здесь было так, как там. Салют, камарад!..

Шульц отпер калитку, пропустил Репнина, а потом долго и тщательно проверял, как надежно заперта калитка, сотрясая ее крепкой рукой. Когда шли темным садом, Репнин еще долго слышал, как гремит на камнях экипаж, на котором уехал Апатонов и увез вещи Репнина,— Николай Алексеевич полагал, что задержится допоздна.

— Только подумать, русская революция в Германии!

— Русская? — переспросил Репнин.

— А ты думаешь, французская? — мгновенно отозвался Шульц.

— Может быть, и... французская,— заметил Репнин.

Они пришли в маленький особнячок в глубине сада, похожий на охотничий домик.

— Нравится тебе моя обитель? Я тебе сейчас все объясню.— Он взглянул в окно.— Там мой особняк. Там электричество, паровое отопление и холодильные шкафы. Там двадцатый век. А здесь — век девятнадцатый.— Он оглядел комнату.— Здесь сальные свечи, добрая бюргерская печь, которую можно истопить дровами, березовыми дровами,— я тебе это покажу. Сейчас я поставлю сковороду и изжарю сосиски.

В самом деле в мгновение ока полыхнул в печи огонь, запахло березовыми поленьями, зашипело масло, и добрый запах жареного мяса пошел по дому.

— Это надо есть горячим,— произнес Шульц, извлекая шипящую сковородку из самого пламени.

Они осушили первые бокалы — наступило молчание, чуть торжественное.

Горели свечи, потрескивали поленья, сумеречные тени вздрагивали на стеклах окон.

— Как в исповедальне,— засмеялся Репнин.

— Не раньше как третьего дня здесь исповедовался Бернгард Бюлов — он сидел на твоём месте.

— Бюлов! — Репнину захотелось встать и оглядеть стул, на котором он сидел.

Только подумать: Бюлов! Для Репнина Бернгард Бюлов олицетворял если не золотую эпоху русско-германских отношений, то по крайней мере пору, когда не все мосты еще были сожжены и на будущее смотрели не без надежд, правда, весьма скромных, но все-таки надежд.

Сын известного дипломата, ставшего сподвижником Бисмарка, Бернгард Бюлов пришел к высокому положению имперского канцлера путем, который может быть назван немецким. У дипломатов были свои привилегии, когда речь шла о высоком положении в государстве. Право на дипломатическую карьеру обреталось не только в лучших университетах той поры (Лозанна, Лейпциг, Берлин), но и в армии. Поэтому вслед за университетом у Бюлова был фронт; на франко-прусскую войну будущий канцлер пошел волонтером, а явившись после фронта в иностранное ведомство, мог рассчитывать лишь на весьма скромный дипломатический ранг — атташе. Казалось, ни образование, ни связи, ни военные заслуги, ни более чем высокое происхождение не дают Бюлову никаких преимуществ: он был в самом начале пути. Пятнадцать лет — небольшой срок, чтобы атташе стал посланником даже в периферийной европейской столице, но пятнадцать лет он отмерил сполна. Потом (это характерно) пошло быстрее: посол в Риме, статс-секретарь по иностранным делам и, наконец, канцлер, при этом на срок значительный — девять лет. Наверно, Бюлов хотел быть преемником бисмарковского начала германской политики, но время было не то, да и умения, должно быть, не доставало. По признанию Бисмарка, «железный канцлер» ушел в отставку, будучи обвинен в русофильстве. Как утверждал Бюлов, он тоже считал главным средством своей политики поддержание добрых отношений с Россией, при этом пытался даже журить Бисмарка за то, что тот подчас был непочтителен с Горчаковым. Но деятельность Бюлова, в особенности на посту канцлера, плохо соотносилась с этим его утверждением. Отсутствие бисмарковского таланта и характера Бюлов пытался заменить тонкой лестью. На Вильгельма, как это было установлено задолго до Бюлова, это средство действовало безотказно. «Ну, похвалите же меня!» — требовал он от Бюлова прямо и грубо. Бюлов зябко поводил плечами и хвалил.

Лесть — конь резвый, но ненадежный: обойти крутой поворот он может, преодолеть длинную дорогу — никогда. Бюлов пал.

— Бюлов был здесь до отречения... кайзера? — спросил Репнин.

— До отречения,— сказал Шульц, с угрюмой пристальностью глядя на Репнина, и разлил вино по бокалам.

— И речь шла об отречении?

— Да, конечно,— Шульц коснулся бокала, но не поднял его.— Бюлов сообщил, что накануне с ним беседовал один испанский дипломат. Испанец сказал, что кайзер попросил у Испании убежища.— Шульц не отнимал руки от бокала, однако и не пытался бокал поднять.— Был даже получен ответ. В соответствии с рыцарским духом нации король испанский готов был принять кайзера. Но как добраться до Испании — вот вопрос! — Голос Шульца воспрял.— Обычный путь через Париж и Эндай-Ирун так же малоприемлем, как и морской через Италию и Барселону. Единственный путь — подводная лодка и Бискайский залив. Господи, короли спасаются бегством на подводных лодках! За твое здоровье, Николай! — неожиданно поднял бокал Шульц.

— А я думал, за германского императора! — рассмеялся Репнин.

— Ты полагаешь, что я вел разговор к этому? — произнес Шульц, пряча улыбку в рыжие усы.— Ни один германский монарх не был обезглавлен,— произнес он с пафосом, который Репнин не очень понял.— Ни один германский властелин, ни тайно, ни явно!

— Погоди, погоди, это тоже сказал Бернгард Бюлов? — спросил Репнин.

— Бюлов.

— В знак скорби по царствующему дому?

Шульц взял бокал, как показалось Репнину, чтобы упрятать рыжие свои очи.

— Думаю, в знак скорби и... осуждения Вильгельма!

— Но что было делать Вильгельму? — посмотрел Репнин на Шульца.

— Сражаться, сражаться, чего бы это ни стоило! — Шульц налил новый бокал.— Покрепче затянуть вожжи и воевать. Всех наличных мужчин, у которых есть силы, чтобы нажать на спусковой крючок, отправить на фронт. Если даже император смалодушествует и покинет родину, вернуть его и заставить быть императором!

— Так полагал Бюлов?

Шульц насторожился: его рыжие уши пришли в движение.

— Да, Бюлов.

— А как думаешь ты?

Руки Шульца невольно потянулись к ушам — надо было погасить пламя, живой ладонью зажать его, погасить.

— Республика... не для Германии.

Часом позже они вышли из дому, оставив дверь в доме открытой — в такой жаре не усидишь. Долго стояли посреди мокрого сада, дожидаясь, пока глаза будут способны что-то видеть. Потом во тьме обозначилась крона дерева с широкой прядью сухих листьев, светлый круг фонтана, бетонный бордюр садовой дорожки, сам дом, большой, с верандой, выходящей в сад.

— Тот раз стояли здесь с Гофманом. Да, тем самым, и он, представь себе, проклинал Брест! Все несчастья, так думал он, начались с Бреста. Да, именно Брест дал возможность Лондону и Парижу убедить мир в претензиях немцев на мировое господство.

Шулец затих и поднял глаза на дом, черные окна которого, окантованные светлыми рамами, были будто развешаны в ночи, каждое на своей веревочке. Может, поэтому каждое по-своему раскачивалось и вздрагивало.

— Это Гофман проклял Брест? — спросил Репнин.

— Нет, не только — Шулец тоже. — Он отвел глаза, неспроста он приволок Репнина в эту тьму, здесь упрятать глаза легче. — И все-таки... не дай бог, чтобы поднялась у вас рука на Брест! Для вас Брест — территория, для нас — больше...

— Революция? — спросил Репнин. Он хотел, чтобы Шулец договорил до конца, ничего не утаил, все выложил.

— Нет, я этого не сказал, — заметил Шулец.

В доме зазвонил телефон — звонок был тонкий, режущий.

— Слышишь? Звонит Мольтке! Нет, не тот — его племянник, шеф информации в «Берлинер тагеблатт». Согласился в знак личных симпатий сообщать все чрезвычайное — так сказать, личная служба президента! — Он засмеялся. — Вчера поднял с постели и сообщил, что в Компьенском лесу подписан договор. Разумеется, я его отругал: «Что же здесь здесь чрезвычайного? Я знал об этом еще первого августа четырнадцатого года!» — Они вошли в дом, Шулец пошел к аппарату не торопясь, демонстри-

руя характер.— Здравствуй, дружище Мольтке! Что ты сказал? Кайзер прибыл в замок Амеронген? Ну что ж, вот это сообщение чрезвычайное! Благодарю тебя, Мольтке! — Шульц положил трубку, печально взглянул на аппарат.— Не телефон, а часы революции!

Он сел за стол, обернулся к печи, в которой поленья уже были обращены в угли, крупные, затянутые мерцающей пленкой.

— Подсыпать сухих листьев в огонь? Запахнет, как в осеннем лесу.— Он налил еще вина.— Мне говорили приятели, бывавшие в России, что видели тебя на Спиридоньевке... Вон как! — Он изобразил голосом нечто похожее на радость, однако в глазах была тоска.— Я сейчас вспомнил: ты говорил мне, что знал в Лондоне некоего Чичерина.— Он продолжал смотреть на Репнина, а глаза все еще были тоскливы.— Это нынешний Чичерин?

— Теперь я вижу: ты привел меня в исповедальную! — засмеялся Репнин и отодвинулся от печи — угли жгли немилосердно, их устойчивый жар, казалось, стягивал кожу.

— Нет, ты ответь: Чичерин нынешний? — настаивал Шульц.

— Нынешний, другого нет,— сказал Репнин.

Шульц дернул плечами.

— Значит, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты?

— Чтобы понять эту фразу, за ней должна быть следующая,— бросил Репнин; разговор обострялся, Репнин понимал это достаточно.

— Изволь, Чичерин — друг Либкнехта, очень близкий. Ты — друг Чичерина,— сказал Шульц.

«Вот и стал ты главой департамента мировой революции! — подумал Репнин.— Красный Карл, перед которым трепещет юнкерская Германия, Карл, чьей заветной мечтой являются германские Советы, сделался едва ли не твоим единомышленником. Видно, все усилия Шульца были направлены к тому, чтобы установить эту истину. И эта исповедальная с печным отоплением и сальными свечами, и шипящая сковорода, и медленно колеблющееся вино в бокалах, и березовые поленья, и запах горящих листьев — все, все было призвано подтвердить одну эту истину».

Вновь бешено зазвонил телефон.

Шульц устремился к телефону — он сорвал трубку,

однако не удержал ее, трубка грохнулась об пол, и вместе с гудением мембраны в тишину дома ворвался голос, точно барабанная дробь, сбивчивый и громкий.

— Мольтке! — произнес Шульц, прилаживая трубку к уху. — Мольтке! — Голос в трубке, казалось, остановился, а вместе с ним и дыхание Шульца. — О господи, — произнес Шульц по-русски и выронил трубку: она с лету ударилась о стену, и мембрана загудела с новой силой, загудел и голос Мольтке в трубке — он гневался, этот голос, и вопил о сострадании. Когда Репнин вошел в соседнюю комнату, телефонная трубка еще раскачивалась, а подле сидел Шульц, уперев кроткие глаза в пол.

— Ленин порвал Брестский договор, — произнес Шульц и для наглядности изобразил это руками. — В ключья!..

Репнин оделся и вышел.

Раннее солнце, самое раннее, просвечивалось как сквозь дымное стекло.

Калитка была распахнута — дворник мел улицу. Видно, только что прошел дождь, и казалось, что плоские камни мостовой выклеены газетами и листовками.

Репнин пересек площадь и вышел к собору. Двери были открыты — собор дышал холодом.

Репнин взглянул на собор.

Симметрия. Семь стрельчатых окон — справа, семь — слева.

Ангел — справа, ангел — слева.

Колокольня — справа, колокольня — слева.

Симметрия, классическая симметрия, нет более точной формулы нейтралитета.

Разложи собор на унции — ни одной стороне не отдашь предпочтения.

Кажется, веди сюда классических нейтралов — шведов и швейцарцев, всех, кто испокон веков стоял на проволоке, стараясь удержать равновесие: «Вон ваша формула, если хотите увидеть ее воочию».

И мысль, точно толчок сердца, остановила Репнина: а формулой твоей жизни не является ли та же симметрия?

Семь стрельчатых окон — справа, семь — слева.

Колокольня — справа, колокольня — слева.

Ангел — справа, ангел — слева.

Нет, Репнин должен додумать эту формулу до конца.



Совесьть — справа, а жизнь — сложная, обремененная сомнениями, очень земная — слева?

Шульц — справа, а Апатонов с рассеченной щекой? Куда поместить матроса Апатонова, вторгшегося в жизнь Репнина сегодня ночью?

Собор точно переселил в Репнина и недвижимость своих плит, и каменную тишину, и холод — нужна немалая сила, чтобы сдвинуться с места.

Заговорили колокола, сразу все, торопясь, точно запыдали с началом.

## 121

Поезд с Петром пришел в Москву вечером, и, не заезжая домой, Белодед поехал в наркомат.

Елена разыскала Петра по телефону под утро.

— Приезжай, очень прошу. Ничего не спрашивай, только скорее!

Нет зловещее звука, чем глухой щелчок падающей телефонной трубки, означающий окончание разговора.

...Ему открыла Елена. Она хотела что-то сказать, но успела лишь вздохнуть и ткнулась ничком в грудь ему.

— Господи...— могла лишь произнести Елена.

Она отыскала руку Петра и, удерживая ее, повела его из комнаты в комнату, через весь дом. Пахло йодом и сладкой до тошноты, до головокружения валерьянкой, зловещим дыханием беды. Она дошла да двери Ильи Алексеевича, на мгновение остановилась, потом коротким движением оттолкнула от себя дверь, именно оттолкнула. Горела настольная лампа. Илья Алексеевич лежал на софе опрокинувшись, точно в лицо ему пахло смертным пламенем и, отстраняясь, он упал на спину. Крупные осколки стакана, выпавшего из уже слабеющей руки, усыпали пол.

— Германия? — спросил Петр.

— Все сразу! — произнесла она, не поднимая глаз на Петра. Ей было больно на него смотреть в эту минуту.— Он кинулся за Егоркой в Стокгольм, но тут же повернул обратно. Разве это на него не похоже? — произнесла она после минутной паузы. Ей надо было совладать с тем, что она только что в Петре заметила.— Нет, это он, он!..— Точно в ознобе, она повела плечами, ссутулилась.— Я еще не знаю, что произошло, не подпустила себя к

этому, но знаю, что кончилось в жизни моей что-то большое...

А он слушал ее и думал: «Кончилось или началось?» Нет, он не рад смерти Патрокла. Не рад... А это не лицемерие? Пусть бы он жил... жил и единоборствовал? Видно, не просто разобраться в этом — умер человек, который тебе враг, а другу твоему близок. Но в этом ли смысл того, что произошло: закончился смертельный тур. Он начался прошлой осенью, этот тур, и завершился только что. Год! Один год — от осени до осени, по кругу. Он замкнулся, этот круг. И все, что легло в пределах этого кольца, было отмечено борьбой насмерть. И январь, и март, и июль, и август, и, как теперь, ноябрь! Вон какие костры поднялись к небу, костры, что вехи нелегкого пути. Наверно, немалое мужество нужно, чтобы пройти по этому пути. Храбрость жизни...

И в какой раз пришла на память каприйская фотография Ленина. Все решит последний удар, последний ход. И кулаки на коленях так сжаты, что казалось, затекли. И напряженная спина изогнулась круче. И подбородок оперся о твердый воротничок. Напряглась мысль. Все во власти человека и его воли... А теперь взгляни издалека на сегодняшний день, из того дальнего далека, когда все силы были на ущербе: добыта победа, добыта.

Ночью, облачной и лунной, Петр пришел в Кремль. Он подошел к Малому дворцу, по привычке взглянул на окна в третьем этаже. Вспыхнул и погас свет, точно человек появился в комнате и тотчас ее покинул. Петр замедлил шаг. Хлопнула дверь, и тень легла на плоский камень. Петр смотрел человеку вслед. То ли ветер был встречным, то ли дорога пошла в гору, — человек шел небыстро, заметно приподняв больное плечо. Но в шаге его было упорство. Вот он вышел на открытую тропу и возник с неожиданной ясностью вопреки расстоянию. Человек шел...

*Москва, 1958—1966*

**Савва Дангулов**

**ДИПЛОМАТЫ**

*Роман*

Редактор И. Краснобрыжий  
Художник Ю. Боярский  
Художественный редактор Н. Егоров  
Технические редакторы Л. Анашкина,  
В. Никифорова  
Корректоры В. Марычева,  
Л. Антонова

Сдано в набор 2/VIII 1976 г. Подписано  
к печати 11/I 1977 г. Формат изд. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумала тип. № 1. Печ. л. 18+вкл. Усл.  
печ. л. 30,35. Уч.-изд. л. 31,41. Тираж  
200 000 экз. Заказ № 3492. Цена 2 р. 28 к.

Издательство «Современник» Государст-  
венного комитета Совета Министров  
РСФСР по делам издательств, полиграфии  
и книжной торговли и Союза писателей  
РСФСР.  
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа  
Государственного комитета Совета Мини-  
стров БССР по делам издательств, поли-  
графии и книжной торговли, Минск, Крас-  
ная, 23.